МАСТЕРА
СОВРЕМЕННОЙ
ПРОЗЫ

МОСКВА
«ПРОГРЕСС»
1978

МАСТЕРА СОВРЕМЕННОЙ ПРОЗЫ • ИТАЛИЯ

Редакционная коллегия:

Андреев Л. Г., Барабаш Ю. Я., Засурский Я. Н., Затонский Д. В., Клышко А. А., Мамонтов С. П., Марков Д. Ф., Палиевский П. В., Челышев Е. П.

АЛЬБЕРТО МОРАВИА

РИМЛЯНКА

РОМАН

ПРЕЗРЕНИЕ

РОМАН

РАССКАЗЫ

ПЕРЕВОД С ИТАЛЬЯНСКОГО

Составитель Г. Д. Богемский
Предисловие Р. И. Хлодовского

ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В НАСТОЯЩИЙ СБОРНИК, ОПУБЛИКОВАНЫ НА ЯЗЫКЕ ОРИГИНАЛА ДО 1973 г.

© Составление, предисловие и перевод на русский язык «Прогресс», 1978

М $\frac{70304\text{-}307}{006\ (01)\text{-}78}$ 126-78

РЕАЛИЗМ И АНТИФАШИЗМ АЛЬБЕРТО МОРАВИА

Моравиа — это псевдоним. Настоящее имя автора «Римлянки» и «Презрения» — Альберто Пинкерле. Он родился в Риме 28 ноября 1907 года. Отец его занимался архитектурой. Ни талантом, ни артистизмом Карло Пинкерле особенно не блистал. Семья, в которой рос будущий писатель, была самая что ни на есть буржуазная. Из ее унылого обывательского благополучия мальчика вырвала болезнь. В девять лет Альберто заболел костным туберкулезом, его отрочество и юность прошли в горных санаториях Италии, Австрии и Германии. Рассказ «Зима больного» построен на остро пережитом материале личных впечатлений. В «Краткой автобиографии», написанной для книги Оресте дель Буоно (1962), Моравиа скажет: «Болезнь была важнейшим фактом моей жизни». Но тут же добавит: «Другим важнейшим фактом стал фашизм. Я придаю большое значение болезни и фашизму, потому что болезнь и фашизм заставили меня испытать и совершить такое, чего в иных условиях я никогда не испытал бы и не совершил. Характер наш формирует не то, что мы делаем по собственной воле, а то, что мы бываем вынуждены делать».

Моравиа всегда признавал, что писатель не может существовать вне общества, в котором он живет, и не испытывать его влияния. Однако социальный детерминизм никак не исключал для него возможности внутренней свободы. Писателя Альберто Моравиа сформировало нравственное сопротивление сперва итальянскому, а затем европейскому фашизму. Именно это предопределило специфические особенности его гуманизма и сделало из него одного из самых значительных реалистов XX века.

Первый роман Альберто Моравиа появился в 1929 году. Он назывался «Равнодушные». Этот год был отмечен в Европе и Америке экономическим кризисом, и судороги капиталистической системы определенным образом отразились в романе итальянского писателя, хотя, конечно, отнюдь не непосредственно. В «Равнодушных» не упоминалось ни о безработице, ни о классовой борьбе, ни о терроре. Но словам Моравиа, в ту пору, когда он вступал в литературу, его совсем не интересовала политика. Видимо, так оно и было. Но молодой писатель старался писать правду. Это привело его к конфликту сперва с литературной критикой, а потом с тоталитарным режимом Муссолини, опиравшимся не только на насилие, но и на ложь как в политике, так и в искусстве.

Настоящий писатель, даже не будучи революционером, почти всегда новатор. Первый роман Альберто Моравиа стал подлинно новым словом в тогдашней итальянской прозе. В Италии заговорили о кризисе романа еще в 20-е годы. Критики уверяли, будто итальянский роман умер и конце первой мировой войны вместе с Итало Свево и Федерико Тоцци. «Хватит, господа, — говорил Джованни Бойне, теоретик эстетской группы «Ла воче», — хватит романов... Бросим литературу и займемся лирикой». В те годы в Италии укреплялась фашистская диктатура. Несмотря на все старания Муссолини подкупить писателей крупными поощрительными премиями, ему так и не удалось создать свою собственную апологетическую литературу. Даже прозаики с билетом фашистской партии в кармане — такие, как Баккелли, Чекки, Бальдини, Кардарелли, — подобно поэтам-герметикам, наглухо замкнулись в «башне из слоновой кости» и сознательно закрывали глаза на окружающую их действительность. Они погрузились в филигранную отделку лирических фрагментов, доступных лишь избранным, и изящных безделушек так называемой «артистической прозы». Такой крупный прозаик, как Коррадо Альваро, отвергал в это время роман только за то, что роман «для того, чтобы держаться, нуждается в композиции, сюжете — арсенале в известном смысле условном».

Именно Альваро ввел Альберто Моравиа в литературу. Но в «Равнодушных» присутствовало все то, что запрещала теория «артистической прозы». Это был настоящий, почти традиционный по форме роман. В нем имелись и острый сюжет, и эпическая объективность, и подчеркнуто драматическая композиция, которой, кстати сказать, молодой итальянский писатель был во многом обязан автору «Идиота». И в то же время это был в полном смысле слова современный роман. Фашизм как бы катализировал исторические процессы, характерные для последней стадии капитализма, и Альберто Моравиа смог уже в 1929 году уловить зловещие симптомы той неизлечимой болезни современного буржуазного общества, которые экзистенциалистская критика 50-х годов окрестит «отчуждением» и «некоммуникабельностью». На последних страницах романа «Равнодушные» автор говорит о главном герое, студенте Микеле: «Ему стало противно, тошно. В сердце были лишь опустошенность и сознание одиночества, точно он один в целой пустыне. Ни веры, ни надежды. Он видел, что и другие столь же лицемерны, и грязны, и подлы, как он. И все время с отчаянием наблюдал за самим собой, и это отравляло ему жизнь. «Хоть бы мне немного искренности и веры, — твердил он, не в силах избавиться от навязчивой идеи, — и я убил бы Лео... Погубил бы себя, зато стал бы чистым, как вода в ручье». ...Мысли его сбивались, путались. «А может, — подумал он, внезапно вернувшись к суровой действительности, — может, у меня просто сдали нервы?.. Может, все дело в деньгах или в неудачном стечении обстоятельств?» Но чем больше он

старался упростить, преуменьшить свои проблемы, тем более пугающими и трудными они ему казались. «Так дальше жить нельзя!» Непролазно густой, темный лес жизни обступил его со всех сторон. А вдали — ни единого огонька. И никакого выхода».

В итальянской критике Моравиа нередко объявляют непосредственным предшественником Сартра и Камю. Вряд ли это правомерно. Не следует путать автора и героя. Автор «Равнодушных» не упрощал стоящие перед ним проблемы и не склонен был отождествлять социальные аномалии с космической абсурдностью бытия. Роман появился как раз в то самое время, когда итальянские фашисты всячески рекламировали «семейные добродетели» и демагогически утверждали, будто режим Муссолини укрепил расшатанные «моральные устои» и спас Италию от всеобщего кризиса. «Равнодушные» соскоблили глянец ханжества с фашистской пропаганды и показали, что разрекламированная буржуазная семья столь же гнила и зловонна, как и породивший ее строй. Это было нравственное осуждение фашизма. Моравиа был и остался моралистом. Реализму его это не противоречило. В тех условиях, в которых он создавал свой первый роман, правдивое изображение распада и разложения обычной итальянской семьи приобретало не только нравственное, но и общественно-политическое звучание.

Впрочем, в романе «Равнодушные» Альберто Моравиа не ограничился тем, что сорвал покров святости с лицемерно защищаемой фашистами «здоровой» буржуазной семьи. Этот роман был беспощадным осуждением того человеческого поведения, которое сделало возможным фашизм.

В 1929 году Альберто Моравиа было всего двадцать два года. Он поднялся до уровня большой европейской литературы как-то сразу, одним мощным рывком, вдохнув в свою первую книгу всю силу гнева и отчаяния лучшей части тогдашнего, исковерканного фашизмом молодого поколения Италии.

Молодому Моравиа не всегда хватало жизненного и литературного опыта. Его второй роман «Ложные амбиции» (1935) был явной неудачей. Но вышедший в том же 1935 году сборник рассказов «Прекрасная жизнь» содержал превосходные новеллы. Вошедшие в него рассказы «Преступление в Теннис-клубе» и «Зима больного» развивали проблематику «Равнодушных». Не обращая внимания на насмешки эстетствующих критиков, молодой писатель продолжал думать, чувствовать и упорно совершенствовал свое изобразительное мастерство. Итальянская критика делала вид, что не замечает этого. В фашистских кругах Моравиа обвиняли в безнравственности и пораженчестве. К концу 30-х годов о нем принято было говорить как о случайном авторе, выплеснувшем всего себя в свой первый роман. Впоследствии Моравиа напишет: «Деся-

тилетие между 1933 годом, годом прихода к власти Гитлера, и 1943-м, когда пал итальянский фашизм, было с точки зрения общественной жизни худшим временем в моей жизни, и я до сих пор не могу вспомнить о нем без содрогания. Чтобы хоть как-то вырваться из отравленной атмосферы лжи, страха и конформизма, я много путешествовал». Моравиа побывал в Греции, в Китае, в Америке. Во Франции он познакомился с антифашистской эмиграцией. Она вызвала в нем двойственное чувство, и это отразилось в парижских сценах романа «Конформист» (1951). Не так давно в беседе с писателем и критиком Энцо Сичильяно Моравиа сказал: «Единственный антифашизм, который действительно имел смысл и был мне симпатичен, был антифашизм коммунистов. Только коммунисты могли и стремились сделать что-то конкретное». В конце 30-х годов Моравиа уже не стал бы утверждать, что политика его не интересует. Однако написать откровенно антифашистское произведение и издать его в Италии было почти невозможно. Тем не менее Моравиа это удалось. В 1941 году он опубликовал роман «Маскарад». Из-под вульгарной маски генерала Терезио, диктатора некоей выдуманной латиноамериканской страны, в романе выглядывало лицо Бенито Муссолини, а полицейская провокация, на которой держалась вся интрига, воскрешала в памяти поджог рейхстага.

Правда, сатирический роман Моравиа не отличался особой глубиной. Автор сознательно придал ему форму мелодраматического детектива. Но все равно это был смелый жест. И он не остался без последствий. «Маскарад» был немедленно изъят и запрещен, а Альберто Моравиа изгнан из литературы. Впредь писателю было категорически запрещено печататься под этим псевдонимом.

Альберто Моравиа снова появился в итальянской литературе в июле 1943 года. Сразу же после падения Муссолини Моравиа публикует на страницах редактируемой Коррадо Альваро газеты «Пополо ди Рома» несколько острых антифашистских памфлетов. Один из них назывался «Эпидемия» и отличался почти свифтовским сарказмом. Когда через некоторое время в Рим вместе с гитлеровскими войсками вернулись чернорубашечники, Моравиа пришлось бежать. Его имя значилось в списке лиц, подлежащих немедленному аресту.

В течение девяти месяцев Альберто Моравиа скрывался в горах близ Фонди. Он жил среди крестьян Чочарии, разделяя их ожидания и надежды. Его антифашизм стал глубже, а горизонт шире. Героиня романа «Чочара» (1957) скажет: «Больше всего я ждала одного — освобождения, потому что свобода не только прекрасна, но и справедлива, если все люди становятся в равной мере свободными. И я вдруг поняла, что жизнь людей, которые ждут и надеются на освобождение, полна более глубокого смысла, чем жизнь тех, кто ничего не ждет и ни на что не надеется. Идя от своего личного и мелкого к общему и большому, я ста-

ла думать, что то же самое можно сказать о людях, ожидавших более важных событий, как, например, второго пришествия Христа на землю или установления справедливости для бедняков».

В данном случае за спиной бывшей крестьянки из Чочарии явно стоит автор. В 1944 году, едва вернувшись в освобожденный от гитлеровцев Рим, Альберто Моравиа издал книжку с характерным заглавием «Надежда, или Христианство и коммунизм». В ней утверждалось, что, после того как христианство полностью изжило себя и утратило всякий исторический смысл, один лишь марксизм способен дать людям ту надежду на лучшее будущее, без которой невозможны ни настоящая жизнь, ни настоящее искусство. Моравиа до сих пор иногда именует себя марксистом, но его понимание марксизма никогда не отличалось ясностью. Книжка получилась путаная, но искренняя. Журнал «Ринашита» откликнулся на нее доброжелательной рецензией, написанной Пальмиро Тольятти. В творчестве Альберто Моравиа начался новый и самый плодотворный период. В 1944 году он написал повесть «Агостино». Многие критики называли ее самым ярким произведением Моравиа. В 1947 вышла «Римлянка». Этот роман принес Моравиа мировую славу. Говорить о нем только как об авторе «Равнодушных» стало уже невозможным.

Роман Альберто Моравиа «Римлянка» несколько напоминает «Моль Флендерс» Дефо. Это тоже история проститутки, рассказанная ею самой. Рассказанная просто, иногда даже с трогательной наивностью и в то же время устрашающе деловито. Это история о том, как бедная, простая и необычайно красивая девушка Адриана не только превратилась в публичную женщину, но и стала относиться к проституции как к самой обычной профессии, способной обеспечить ей что-то вроде «приличного существования».

В юности у Адрианы были свои мечты, простые, несколько примитивные, но по-человечески понятные. Ей хотелось жить «нормальной жизнью», жить «так, как все». Она мечтала о хорошем муже и чистом уютном доме. Но жизнь и люди, которым верила Адриана, обманули ее. Первые жизненные уроки научили ее, что «жить, как все», совсем не значит жить так, как она мечтала. Однако это не озлобило Адриану и не вызвало у нее чувства протеста против той действительности, которая убила ее лучшие надежды. Она попыталась приноровиться к этой действительности и жить, никого не обвиняя. Жизнь кажется ей непереносимой, но в то же время она считает, «что никто ни в чем не виноват и что все произошло так, как и должно было произойти».

Образ главной героини романа «Римлянка» сложен и весьма противоречив. Польский писатель Мариан Брандыс в книге «Итальянские встречи» рассказывает, что в беседе с ним работница римской табачной

фабрики Антония очень резко отозвалась об этом романе Моравиа: у нее создалось впечатление, будто Альберто Моравиа сознательно обрек свою героиню на гибель и отрезал ей все пути для возвращения к нормальной жизни. «Так нельзя писать, — сказала Брандысу Антония. — Разве Моравиа не знает, что «Союз итальянских женщин» подготовил ряд мероприятий для оказания помощи бывшим проституткам?»

Работница римской табачной фабрики и явно разделяющий ее мнение Мариан Брандыс во многом правы. Но они увидели лишь одну сторону романа Моравиа. От подобной односторонней и слишком прямолинейной оценки и «Римлянки», и всего творчества Альберто Моравиа очень хотелось бы предостеречь.

«Римлянка» меньше всего напоминает те социально-филантропические романы о проститутках и проституции, которые некогда наводняли литературу западноевропейского натурализма. В этом романе Моравиа не ставил своей целью обличение проституции как одной из язв современного общества, подлежащих, так сказать, терапевтическому лечению. Тема «Римлянки» шире. Трагичность судьбы Адрианы, с точки зрения Моравиа, состоит не в том, что она проститутка, а в том, что Адриана не может подняться над тем обществом, для которого нормальная и «нравственная» жизнь ничем не отличается от обычной проституции.

В изображении Моравиа Адриана — нормальный, «естественный человек». Альберто Моравиа больше всего любит писателей XVIII века, видимо, потому, что он тоже склонен питать некоторые, так сказать, просветительские иллюзии. Однако буржуазная действительность XX века сильно обкорнала идеалистические представления о «естественном» и «общечеловеческом». В представлении Моравиа естественно человеческое ограничивается областью самых простых чувств и ощущений. Главная героиня романа «Римлянка», бесспорно, и искреннее, и нравственно чище покупающих ее буржуа. Но, живя только в сфере пусть искренних, но примитивных чувств, она в своем стремлении к «нормальной жизни» не выходит за пределы чувственности. Уже одно это делает ее жизнь и неестественной, и ненормальной. И реалист Альберто Моравиа, как бы споря с Моравиа-моралистом, очень хорошо показывает это.

Автор «Римлянки» показывает также и другое. Адриана живет не на необитаемом острове и не в условной обстановке сюрреалистического рассказа. Она живет по хотя и неестественным, но вполне реальным законам того мира, в который ей хотелось бы войти. Неправильно видеть в Адриане только обычную девушку из народа. Героиня романа наделена писателем некоторыми хорошими и глубоко человеческими качествами, но в то же время она уже отравлена ядом мещанской психологии. И чем дальше, тем глубже этот яд проникает в ее сознание. Именно поэтому возвращение к подлинно нормальной жизни становится для Адрианы принципиально невозможным, В этом заложено глубокое осуж-

дение не простой римской девушки, ставшей проституткой, а той буржуазной действительности, к которой стремится приспособиться Адриана и моральные законы которой она принимает. Отсюда очень двойственное отношение писателя — а также и читателя — к главной героине романа «Римлянка». Альберто Моравиа, подобно Адриане, тоже иногда склонен думать, что в окружающей его действительности все непереносимо. Но вряд ли можно сказать, что ему свойственна философия непротивления и приспособленчества, исповедуемая его героиней.

В «Римлянке» есть один очень характерный для Моравиа-романиста персонаж: буржуазный интеллигент Джакомо. Он бунтарь. Это Микеле из «Равнодушных», но оказавшийся в несколько иных жизненных обстоятельствах. Джакомо восстает против того мира, который засасывает Адриану. «Он был хорошо воспитан, — говорится о Джакомо в «Римлянке», — ...образован, умен, тонок, серьезен. Но он презирал все эти качества лишь за то, что обязан был ими семье и той среде, в которой родился и вырос». На протяжении всего романа Джакомо не устает утверждать, что презирает и ненавидит людей. Однако, как замечает о Джакомо Адриана, «вопреки всем его разговорам о ненависти к людям, которая, я думаю, была вполне искренней, он в то же время, как это ни странно и ни противоречиво, с неукротимой энергией проповедовал и действовал во имя того, что он считал благом для человечества».

Это стремление приводит Джакомо в антифашистскую организацию. Однако Джакомо отнюдь не борец. Если Адриана живет только чувствами, то Джакомо живет в сфере абстрактных, не переходящих в действие идей. Поэтому, когда он попадает в фашистский застенок, ему начинает вдруг казаться, что все, во имя чего он готов был бороться, — «только слова» и что страдать ради одного звучания слов так же нелепо, как идти на смерть ради рева осла. Джакомо совершает предательство. А потом кончает самоубийством.

Конечно, Джакомо не типичный итальянский антифашист. Моравиа и не ставил своей задачей нарисовать в «Римлянке» образ активного борца против фашизма, точно так же как он не ставил своей задачей нарисовать в этом романе типический характер итальянской девушки из народа; Джакомо не вызывает у писателя даже слабого чувства симпатии. То глубокое презрение к лицемерию буржуазного общества, которым пронизана и «Римлянка», и все лучшие произведения Альберто Моравиа, не имеет ничего общего с анархическим бунтарством буржуазного интеллигента Джакомо. Нигилизм и бунтарство Джакомо — обратная сторона приспособленчества и примиренчества Адрианы. Мир, против которого бунтовал Джакомо, убивает его, потому что в конечном итоге этот буржуазный антифашист не может противопоставить ненавистной ему тоталитарной действительности ничего, кроме мещанского равнодушия и эгоизма.

В чем же автор «Римлянки» видит выход? Этот роман тоже заканчивается словами о надежде. Адриана надеется, что ребенок, который у нее родится, будет жить лучше и счастливее, чем она.

Стоя на позициях прогрессивных писателей, Альберто Моравиа в своих выступлениях как по общественно-политическим вопросам, так и по вопросам, непосредственно связанным с литературой и эстетикой, выражает порой несколько спорные суждения. С Моравиа-публицистом спорить легко, но вряд ли здесь следует это делать. Он принадлежит к тем зарубежным писателям наших дней, творчество которых нередко оказывается гораздо глубже и содержательнее их высказываний и деклараций. Хотя в его романах почти не встретишь положительного героя, Альберто Моравиа, несомненно, обладает, хотя и несколько абстрактными, гуманистическими идеалами. Именно поэтому за внешне спокойным и бесстрастным изложением драматических событий романа «Римлянка» все время ощущаются глубокая скорбь писателя о поруганной женской красоте и его негодование против того мира, где даже любовь к людям оборачивается слепым и бесцельным человеконенавистничеством. Альберто Моравиа не всегда разделяет с лучшими прогрессивными писателями Запада их веру и их политические убеждения, но, как гуманист, он ненавидит то же, что и они. Сила художника и мастера Моравиа — прежде всего сила ненависти и отрицания.

Художественные особенности творчества Альберто Моравиа и основная проблематика его романов в значительной мере определяются тем кругом читателей, для которого он главным образом пишет. Альберто Моравиа говорит на языке, принятом и понятном в этом кругу. Он прежде всего писатель итальянской интеллигенции. Моравиа ставит своей задачей помочь итальянской интеллигенции разобраться в том мире, в котором она живет.

Мир, который изображает в своих романах Моравиа, — не вся современная Италия, но это значительная часть современной Италии. Это мир, в котором живет итальянская буржуазия и который она устроила по своему образу и подобию. Моравиа хорошо знает этот мир и ненавидит его как антифашист и гуманист. Именно поэтому мир романов Моравиа почти всегда населен равнодушными обывателями. Персонажи его романов весьма различны: разорившаяся аристократка Мариаграция и проститутка Адриана, преуспевающий делец и уличный громила, но это всегда обыватели. Моравиа как бы говорит своему читателю: буржуазный мир враждебен человеку, потому что он превращает его в нравственно порочного конформиста, ко всему безразличного мещанина. Это главная тема большинства романов Моравиа.

Герои Моравиа стремятся к личному счастью, но писатель почти всегда приводит их к краху. Это не один лишь бесплодный скептицизм

и не просто мизантропический пессимизм, столь характерный для некоторых современных буржуазных писателей: это разрушение иллюзий о возможности человеческого счастья, когда оно сводится к пошлому мещанскому благополучию.

Пожалуй, нагляднее всего это проявилось в одном из лучших произведений Моравиа, в романе «Презрение» (1954).

«Презрение» в еще большей мере, чем «Римлянка», — роман психологический. Это психологический портрет среднего итальянского буржуазного интеллигента. Но Моравиа не углубляется здесь в дебри иррационального и подсознательного. В «Презрении» не осталось и следа от фрейдизма «Агостино». Попытка кинорежиссера Рейнгольда интерпретировать Гомера по Фрейду встречает самый активный протест со стороны не только героя романа, но и его автора. Не заметно в романе и того интереса к психопатологии, которая испортила антифашистский роман «Конформист». Главный герой романа «Презрение» Риккардо Мольтени — интеллигент со здоровой психикой среднего обывателя, он не вызывает такого чувства омерзения, как герой «Конформиста» Марчелло. Именно потому, что Риккардо Мольтени лишен той патологической исключительности, которой Моравиа наделил своего ко всему безразличного фашиста, его образ в романе получился и реалистичнее, и ярче, и, пожалуй, типичнее.

Фабула романа «Презрение» довольно проста. В известном смысле она даже традиционна. В этом романе Альберто Моравиа не касается крупных общественных и политических событий жизни современной Италии. Тем не менее роман обладает глубокой жизненной правдивостью. Его тему никак нельзя назвать незначительной, а ее художественное решение интересно и в известном смысле жизненно актуально. Роман «Презрение» — это горький рассказ героя о тщетной попытке обрести семейное счастье.

В «Презрении» Альберто Моравиа опять вернулся к форме «романа-исповеди», которую он до этого использовал в «Римлянке». Введение героя-повествователя в эпико-драматическую структуру «Презрения» позволило Моравиа достичь того гармонического слияния объективно-эпического с лирически-субъективным, к которому тяготеют почти все лучшие образцы современной западноевропейской прозы. Но это значительно усложнило задачу Моравиа-моралиста. Альберто Моравиа не тождествен Риккардо Мольтени. Внешне Моравиа очень объективен: он предоставляет самому герою излагать факты и делать из них выводы. Естественно, что Мольтени не «разоблачает» себя, он считает, что поступал так, как должен был поступать. Мольтени не осуждает и свою жену Эмилию: он считает, что ее презрение к нему только следствие недопонимания, и не может ее разлюбить. Моравиа не делает никаких выводов, но — и в этом проявляется его мастерство художника-реали-

ста — он подсказывает читателю выводы, идущие вразрез с выводами героя. Художественное и общественное значение романа «Презрение» заключается в тех мыслях и вопросах, которые вызывает этот роман у каждого задумывающегося над ним читателя.

Почему Риккардо в Эмилия не могут быть счастливы? Когда закрываешь роман Моравиа, ответ напрашивается сам собой: потому, что они оба стремятся только к мещанскому счастью, а такое счастье невозможно именно потому, что оно мещанское.

Жена Риккардо Эмилия во многом напоминает героиню романа «Римлянка», только по-человечески она гораздо мельче. У нее тоже есть свои идеалы. Так же как и Адриана, Эмилия больше всего хочет иметь собственный дом. И так же как у Адрианы, ее любовь к вещам граничит с чувственностью. Эротическая сцена в третьей главе романа и менее откровенна, чем аналогичные сцены в «Римлянке» и «Конформисте», и художественно более оправданна. Она помогает лучше понять характер Эмилии и характер отношений между ней и Риккардо. Более того, она тесно связана с общим замыслом романа. Эта эротическая сцена нужна Моравиа, чтобы показать, во что превращают любовь мещанские идеалы буржуазного мира. На грязном полу еще не обставленной квартиры Эмилия отдавалась не любимому мужу, а человеку, который купил ей квартиру.

Мещанские идеалы Эмилии очерчены четко и ясно. Все ее поведение очень логично и последовательно вытекает из этих «идеалов». Эмилия любит Риккардо, но еще больше она любит материальное благополучие. Разлюбив Риккардо, она продолжает продавать себя мужу, как проститутка. Она легко может поверить в то, что муж хотел «продать» ее своему продюсеру Баттисте: это вполне соответствует ее представлению о нормах человеческого поведения и кажется ей даже чем-то вполне естественным. Она бросает в лицо Риккардо: «Ты не мужчина». Но не только потому, что Риккардо промолчал, увидев, как ее целовал Баттиста. Мужчина для Эмилии — это успех, а успех — это деньги. У Баттисты больше денег, поэтому он, а не Риккардо, «мужчина». Поэтому Эмилия смотрит на расхваставшегося кинопромышленника восхищенными глазами. Поэтому она готова стать его содержанкой. Риккардо Мольтени может убедить жену в том, что он не хотел продавать ее своему продюсеру, но ему никогда не удастся доказать Эмилии, что он такой же «мужчина», как Баттиста.

Эмилия гибнет. Нелепо случайная гибель Эмилии художественно закономерна и даже необходима. Эмилия должна погибнуть потому, что мещанское счастье *не должно* торжествовать, — даже если это такое «счастье», которое мог дать Эмилии Баттиста. Моравиа не оставляет у читателя даже малейшей иллюзии возможности счастья как чисто животного благополучия.

Риккардо Мольтени — человек более образованный, чем Эмилия.

Иногда он высказывает очень правильные суждения о том большом и подлинном искусстве, служению которому ему некогда хотелось посвятить всю свою жизнь. Он иронически воспринимает фрейдизм Рейнгольда и очень трезво оценивает Баттисту. Благодаря этому Моравиа, который показывает действительность через восприятие Мольтени, удается создать яркий, почти сатирический образ буржуазного дельца, который тем больше говорит о своей «бескорыстной любви» к искусству, чем большую выгоду собирается извлечь из постановки того или иного коммерческого фильма. Однако всей логикой событий и внутренней логикой характера Мольтени Моравиа заставляет читателя понять, что Риккардо Мольтени не так далек от Эмилии, как это кажется ему самому. Да, Риккардо Мольтени — «цивилизованный человек», а Эмилия — «натура примитивная». Но «цивилизованный человек» Мольтени — такой же обыватель, как и Эмилия. Это «культурный» мещанин, разменявший на мелочь все то хорошее, что в нем, возможно, было когда-то заложено. Он тоже конформист. И, как это почти всегда бывает у Моравиа, конформизм Риккардо Мольтени тесно переплетается с мерзким мещанским равнодушием к окружающему и окружающим.

В романе «Презрение» есть одна деталь, которая у каждого, кто мало знаком с творчеством Альберто Моравиа и его художественными приемами, может вызвать некоторое недоумение. В начале романа оказывается, что Риккардо Мольтени... коммунист. На первый взгляд это может показаться чем-то лишним. Сам Мольтени рассматривает свое вступление в партию как случайный факт. Для развития сюжета романа этот факт не имеет никакого значения. О том, что Мольтени — коммунист, никто больше не говорит и не вспоминает, в том числе и сам герой. Но в строго рациональном, почти рационалистическом расположении художественного материала романа «Презрение» нет ничего неоправданного. Заставляя Мольтени рассказывать о том, как и почему он вступил в коммунистическую партию, Моравиа разоблачает его как ко всему безразличного обывателя. Мольтени считает, что всякий человек руководствуется только личным и эгоистическим интересом. Он уверен в этом потому, что так поступает он сам. Он завидует богатым и обеспеченным людям, и только поэтому его начинает возмущать «общественная несправедливость». Мольтени не понимает, как он сам выражается, «той алхимии», которая растворяет личный интерес в общественном. Для него это невероятно и невозможно. И именно поэтому для Риккардо Мольтени оказывается возможным отказаться от своей, пусть скромной, мечты о театре и подлинном искусстве и принести ее в жертву мещанскому благополучию. Поэтому Эмилия имела основание — и читатель чувствует это — заподозрить Риккардо в том, что он хотел «продать» ее Баттисте. То, что Риккардо кажется трагическим недоразумением, на самом деле — закономерное следствие всего его поведения и характера,

Мольтени считает, что он не заслуживает презрения. Но Моравиа думает иначе. Моравиа назвал свой роман «Презрение», а не «Недоразумение», как его, несомненно, назвал бы сам Мольтени. Когда Эмилия говорит своему мужу: «Ты не мужчина», она и права и не права. Риккардо такой же «мужчина», как и Баттиста. В этом-то все и дело. Эмилия была бы права, скажи она: «Ты не настоящий человек». Но это говорит не Эмилия, а читатель, и это ему подсказывает Моравиа. Риккардо Мольтени достоин презрения, потому что он обыватель и интеллигентный мещанин. Поэтому Моравиа приводит его к катастрофе: ко всему безразличный мещанин не может и не должен быть счастлив.

В «Презрении» Альберто Моравиа уделяет большое внимание этическим проблемам, но не сводит все только к ним. Его герои действуют отнюдь не в безвоздушном пространстве. Их поведение обусловлено законами того мира, в котором они живут. В этом романе этическая критика еще более тесно, чем в «Римлянке» и «Равнодушных», переплетается с критикой социальной. Для внимательного читателя романа «Презрение» становится совершенно ясно: в том, что Эмилия и Риккардо несчастны, виноваты не только они сами, но и то общество, которое, навязав им свои представления и свою мораль, убило в них подлинно человеческие чувства. Это общество олицетворяет в романе продюсер Баттиста; сначала он покупает Мольтени, а потом и его жену. Он топчет их любовь. Вина Риккардо Мольтени в том, что он отказался от борьбы с Баттистой и позволил убить в себе человека. Моравиа не делает выводов. Так же как и в других романах Моравиа, в «Презрении» нет ни одного положительного героя. Тем не менее этот роман глубоко поучителен. Судьба Риккардо Мольтени заставляет читателя задуматься над тем, кто и что мешает человеку быть счастливым, а также над тем, каким должен стать человек, чтобы не вызывать к себе чувства презрения.

Альберто Моравиа свойствен в некоторой мере и пессимизм и скептицизм. Это наложило отпечаток и на роман «Презрение», и особенно на его развязку. Но из этого вовсе не следует, что автор «Презрения» полностью разуверился в человеке. В романе «Презрение» с Моравиа-скептиком успешно борется Моравиа-гуманист и реалист. Именно потому, что Альберто Моравиа верит в человека и любит его как гуманист, он с трезвым безжалостным реализмом изобразил в своем романе калечащую человека буржуазную действительность современной Италии.

В нашей критике Альберто Моравиа иногда называли неореалистом и даже ссылались на личные заявления писателя по этому поводу. Повидимому, тут имело место какое-то недоразумение. Моравиа даже в пору создания «Римских рассказов» решительно отрицал свою причастность к этому, теперь уже давно изжившему себя направлению. Но кри-

тический реализм «Равнодушных», «Римлянки», «Презрения», «Чочары» вряд ли может быть поставлен под сомнение. Безусловно, критика современной действительности ведется в романах Моравиа в основном с позиций чисто этических, что во многом обусловлено абстрактным характером гуманизма писателя, всем его мировоззрением, а также и тем, что Моравиа-моралист непосредственно обращается к довольно узкому кругу читателей. Это — иногда даже в очень значительной мере — суживает возможности реалистического метода писателя. Но это еще не дает основания выводить Альберто Моравиа за пределы подлинно реалистической литературы XX века. К творчеству Альберто Моравиа, и прежде всего к его роману «Презрение», можно отнести слова Ф. Энгельса, отмечавшего, что в тех условиях, когда «...роман обращается преимущественно к читателям из буржуазных... кругов... роман целиком выполняет... свое назначение, правдиво изображая реальные отношения, разрывая господствующие условные иллюзии о природе этих отношений, расшатывая оптимизм буржуазного мира, вселяя сомнения по поводу неизменности существующего, — хотя бы автор и не предлагал при этом никакого определенного решения и даже иной раз не становился явно на чью-либо сторону» *.

Еще очевиднее, чем в «Презрении», черты критического реализма обозначились в «Римских рассказах» (1954) и в романе «Чочара». В этих книгах Моравиа шире, чем в «Римлянке», и во многом принципиально по-новому трактует тему народа, которая, как он справедливо замечал, «всегда питала лучшие традиции итальянской литературы».

По замыслу Альберто Моравиа «Чочара» должна была стать романом об итальянском Сопротивлении. То, что автор «Равнодушных», «Римлянки» и «Конформиста» решил рассказать о Сопротивлении именно в середине 50-х годов, когда некоторые писатели подвергли ревизии свои недавние идеалы, было весьма знаменательным и свидетельствовало не только об общественной, но и об эстетической позиции Моравиа. В беседе с критиком Д. Монакорда (опубликованной в журнале «Контемпоранео» 18 мая 1957 года) Моравиа сказал: «Сопротивление, бесспорно, самый важный период нашей новейшей истории... Однако сегодня в различных кругах ставится под сомнение самое значение Сопротивления, а вместе с ним и то реалистическое искусство, истоки которого лежат в событиях этого периода». Антифашизм и реализм были для Моравиа почти синонимами.

Роман «Чочара» нашему читателю хорошо известен, и подробно говорить о нем нет надобности. Это едва ли не вершина реалистического

---

* К. Маркс и Ф. Энгельс. Избранные письма. Госполитиздат, 1953, с. 395.

мастерства Альберто Моравиа. Образ крестьянки Чезиры стал большой удачей писателя. Дальнейшее углубление в романе получила и антифашистская тема. Его герой Микеле Феста во многом восходит к Микеле Арденго из романа «Равнодушные», но он уже гораздо яснее понимает, за что и против чего ему следует бороться. Микеле Феста твердо убежден, что борьба против Гитлера и Муссолини кончится подлинной победой только в том случае, если после разгрома фашизма будет создан «новый мир, более справедливый, более свободный и счастливый, чем старый». Микеле Феста не поступается своими убеждениями и гибнет, собственным телом заслоняя крестьян от немецких пуль. Однако и его антифашизм, так сказать, программно пассивен. Читая крестьянам евангельскую притчу о Лазаре, Микеле говорит: «Только в тот день, когда мы поймем, что мы умерли, давно умерли, сгнили, разложились и что от нас на километр разит трупом, только тогда мы начнем пробуждаться к жизни». Такая программа во многом объясняла характер реализма Альберто Моравиа, его критики буржуазного общества, но она не намечала реального пути к тому «новому миру», о котором мечтал антифашистский герой «Чочары» и за который он отдал свою жизнь. «Чочара» — роман о войне и о тех ни с чем не сравнимых бедствиях, которые она несет людям. Это — антивоенный роман, но не роман об итальянском Сопротивлении. Пожалуй, ни одно из произведений Моравиа не доказало столь наглядно, что абстрактность гуманизма мешает воссоздать правдивую картину важнейших событий современности в их подлинно историческом развитии.

После «Чочары» в творчестве Альберто Моравиа наступил спад. Он написал три романа — «Скука» (1960), «Внимание» (1965), «Я и он» (1971), и все они, по сути дела, об одном и том же: о бессильных попытках художника — живописца, прозаика, кинорежиссера — понять окружающий мир, эстетически овладеть им и создать подлинное произведение искусства. И это не случайно. Бесспорно, было бы неверным отождествлять сегодняшнего Моравиа с не верящим в свой народ писателем Франческо Мериги (роман «Внимание»), которому именно поверхностное отношение к жизни помогает поставлять читателям буржуазных газет легкое чтиво, какое они ждут от него, и который оказывается неспособен создать серьезный роман о собственной жизни именно потому, что он уже не может не лгать даже себе самому. Но было бы также неверно вообще отрицать какую-либо связь не только между Моравиа и Дино из «Скуки», но даже между Моравиа и вульгарно-гротескным «героем» романа «Я и он». Проблемы, которые ставились в романах Моравиа, всегда оказывались в той или иной мере жизненными проблемами самого писателя. С некоторых пор от Альберто Моравиа начала ускользать та самая реальность, которая столь ощутимо присутствовала в его книгах 30-х, 40-х и 50-х годов.

Альберто Моравиа объясняет свой разлад с действительностью неким Всеобщим Отчуждением, которое якобы, подобно античному Року, тяготеет над каждым художником, живущим в современном «индустриальном обществе», и пытается преодолеть отчуждение, делая его предметом своей прозы. Сегодняшний Моравиа порой прибегает к мифам буржуазной идеологии, и это ведет к серьезным искажениям реальности, влияя как на содержание его произведений, так и на их форму. Реалистический роман сменился в творчестве Моравиа романом-эссе, в котором беседы героев чаще всего напоминают заполнение социологических анкет, а реалистический рассказ оказался вытесненным новеллой-притчей, или, как теперь говорят, апологом. Апологи появились уже в сборнике «Автомат» (1962) и целиком заполнили сборник «Вещь — это вещь» (1967).

Однако причислять теперешнего Альберто Моравиа к писателям-модернистам отнюдь не следует. К произведениям современной модернистской литературы не могут быть отнесены даже роман «Я и он» и сборник «Boh» (1976), произведения, на которые наложила некоторый отпечаток буржуазная «массовая культура». Моравиа — по-прежнему Мастер. Он, как всегда, прост, в меру грубоват, рационалистичен и предельно ясен. В отличие от многих современных итальянских писателей он по-прежнему не считает, что новеллистическое или романное повествование может быть сведено к одним лишь головоломным играм с языком и стилем. У Моравиа сложилось определенное мнение о нравственном облике «общества потребления», и он высказывает его прямо, без недомолвок, порой чуть-чуть навязчиво, не боясь, что читателя это шокирует или покоробит. Бернард Шоу, несомненно, зачислил бы его последние произведения в разряд «неприятных». Чувство почти физического отвращения, которое вызывают роман «Я и он» и рассказы из сборника «Boh», автором предусмотрено и рассчитано чуть ли не с математической точностью.

Анархическое бунтарство, свойственное многим героиням сборника «Boh», писателем не только дегероизировано — оно дается как извращенное проявление довольно-таки зловещего буржуазного конформизма. Мещанская ярость, автоматизированная и соответственным образом направленная, может снова представить для всех нас вполне реальную угрозу. Моравиа, который живет в стране, где правый экстремизм усиливается, спекулируя на вполне респектабельной игре буржуазной интеллигенции в маоизм и левую фразу, это известно лучше, чем кому бы то ни было. «Неприятные» притчи «Boh» вызывают не только чувство омерзения к так называемому буржуазному благополучию, но и заставляют задуматься о завтрашнем дне всего человечества. Мастером это тоже предусмотрено. Несмотря на весь свой скептицизм, Альберто Моравиа остался непримиримым антифашистом.

Р. Хлодовский

РИМЛЯНКА

La romana

Перевод Т. Блантер
Редактор Н. Жаркова

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

К шестнадцати годам я стала настоящей красавицей. Лицо у меня было правильной овальной формы, оно чуть сужалось к вискам и слегка расширялось книзу, глаза — миндалевидные, большие и лучистые, линия лба плавно переходила в прямой нос, а крупный рот с красиво очерченными розовыми и пухлыми губами обнажал в улыбке ровные ослепительно-белые зубы. Мама говорила, что я вылитая Мадонна. А мне казалось, что я похожа на одну популярную в то время киноактрису, и поэтому стала причесываться так же, как она. Мама говорила, что если лицо у меня красивое, то фигура во сто крат лучше. Другой такой фигуры, говорила она, во всем Риме не сыщешь. Но тогда я еще не придавала этому большого значения: мне казалось, что важно иметь красивое лицо; но теперь могу подтвердить: мама была права. У меня были сильные прямые ноги, полные бедра, ровная спина, узкая талия и широкие плечи. Живот у меня всегда чуть-чуть выдавался вперед, а пупка почти совсем не было видно, так как он утопал в мышцах живота, но мама говорила, что это как раз и красиво, потому что живот у женщины должен быть выпуклый, а не плоский, как модно сейчас. Грудь у меня тоже была полная, но упругая и высокая, так что я могла обходиться без лифчика. Когда же я жаловалась, что грудь у меня слишком большая, мама утверждала, что это как раз хорошо, а что за грудь у теперешних женщин: смотреть не на что! Обнаженная, как я

заметила позже, я выглядела высокой и полной, как статуя, но в платье казалась хрупкой девочкой; никто и не подумал бы, что я так хорошо сложена. Как мне объяснил потом художник, которому я начала позировать, все зависело от пропорций.

Художника нашла мама: она до того, как вышла замуж и стала белошвейкой, была натурщицей. Этот художник заказал ей сорочки, и мама, вспомнив о своем прежнем занятии, предложила ему меня в натурщицы. В первый раз, когда я отправилась к художнику, мама решила проводить меня, хотя я и твердила, что прекрасно могу дойти одна. Я испытывала неловкость, пожалуй, не потому, что впервые в жизни мне придется раздеться перед мужчиной, а просто боялась, что мама начнет расписывать мою красоту, чтоб уговорить художника взять меня на работу. Так оно и вышло. После того как мама помогла мне раздеться и вытолкнула на середину комнаты, она с жаром принялась меня расхваливать:

— Вы только посмотрите, какая грудь, какие бедра, посмотрите, какие ноги... где вы найдете такую грудь, такие ноги и бедра?

При этом она ощупывала меня, как барышники ощупывают и расхваливают на рынке скотину, надеясь завлечь покупателя. Художник улыбался, а я сгорала со стыда и дрожала от холода — дело было зимой. Но я понимала, что мама мне зла не желает, она просто гордится моей красотой: ведь это она родила меня, и своей красотой я обязана только ей. Художник, должно быть, тоже понял материнские чувства, он смеялся беззлобно и от души, так что я сразу же почувствовала себя свободнее и, преодолев робость, приблизилась на цыпочках к печке, чтобы хоть немного согреться. Художник выглядел лет на сорок. Это был полный мужчина, с виду веселый и уравновешенный. Я сознавала, что он смотрит на меня без всякого вожделения, как на вещь, и успокоилась. Позднее, когда мы познакомились ближе, он стал относиться ко мне почтительно и любезно, видел во мне уже не вещь, а человека. Я сразу же прониклась к нему симпатией и, пожалуй, влюбилась бы в него из чувства благодарности, только за то, что он был так любезен и мил со мной. Но он никогда слишком не откровенничал и смотрел на меня только как художник, а не как мужчина, и все время, пока я ему позировала, мы держались друг с другом вежливо и сдержанно, как и в первый день знакомства.

Когда мама перестала расхваливать меня, художник молча подошел к стулу, на котором лежала куча каких-то папок, и, порывшись в них, вытащил цветную репродукцию. Показав ее маме, он тихо сказал:

— Вот твоя дочь.

Я отошла от печки, чтобы тоже взглянуть на картинку. На ней была изображена нагая женщина, возлежащая на богато убранном ложе. Позади него спускался бархатный полог, и в его складках парили два младенца с крылышками на манер ангелов Женщина действительно оказалась похожей на меня. Но только, хотя она и была голая, судя по этим покрывалам и по кольцам, которыми были унизаны ее пальцы, было ясно, что она — либо королева, либо еще какая-то важная персона, а я — всего-навсего бедная девушка. Мама сначала не поняла, в чем дело, и недоверчиво разглядывала картинку. Потом вдруг заметила сходство и взволнованно произнесла:

— Верно, верно... похожа, видите, я правду говорила... но кто же это?

— Даная, — с улыбкой ответил художник.

— А кто она, эта Даная?

— Даная — языческая богиня.

Мама надеялась услышать имя живого, реального человека, а потому растерялась и, желая скрыть свое замешательство, принялась объяснять мне, что я должна позировать так, как прикажет художник. Скажем, лежа, как эта женщина на картинке, или же стоя, или сидя, и не шевелиться, пока он будет рисовать. Художник пошутил, что мама в этом деле разбирается лучше него, и мама, польщенная его словами, тотчас принялась рассказывать, как когда-то она сама позировала и весь Рим знал ее как одну из самых красивых натурщиц. И про то, какую ошибку совершила она, выйдя замуж и бросив эту профессию. Тем временем художник заставил меня лечь на софу, стоящую в глубине комнаты, и сам согнул, как нужно, мои руки и ноги, но проделал все это с задумчивой и рассеянной мягкостью, едва касаясь моего тела, будто он уже раньше видел меня такой, какой хотел изобразить. Потом он начал делать первые наброски на холсте, укрепленном на мольберте, а мама все еще продолжала болтать.

Заметив, что художник, поглощенный своим делом, уже перестал ее слушать, она спросила:

— А сколько вы будете платить моей дочери за час?

Художник, не отрывая глаз от холста, назвал сумму. Мама схватила мои вещи, которые я повесила на спинку стула, кинула их мне прямо в лицо и скомандовала:

— А ну-ка, одевайся... Нам здесь делать нечего.

— Да что это с тобой? — удивленно спросил художник, бросив рисовать.

— Ничего, ничего, — отвечала мама, делая вид, что торопится, — пошли, Адриана... У нас еще уйма дел.

— Послушай, — заявил художник, — скажи прямо, сколько ты просишь, к чему вся эта канитель?

И вот тут-то мама закатила страшный скандал, она громко кричала на художника, как видно, он совсем спятил, если решил так мало платить мне, ведь я не какая-нибудь старая грымза, которую уже никто не хочет нанимать, мне всего шестнадцать лет, и я позирую впервые. Когда мама хочет поставить на своем, она всегда кричит, я со стороны может показаться, что она по-настоящему сердится. В действительности, уж я-то ее знаю, она ничуть не сердится и не теряет душевного равновесия. А кричит она просто так, как кричат базарные торговки, когда покупатель предлагает им за их товар слишком низкую цену. Мама кричит главным образом на вежливых людей, так как знает, что из вежливости они в конце концов уступят.

Так было и на сей раз, художник тоже уступил. Пока мама верещала, он только улыбался и несколько раз поднимал руку, будто просил слова. Наконец мама остановилась, чтобы перевести дух, и тогда он опять спросил, сколько же она хочет. Но мама ответила не сразу. Она вдруг задала вопрос:

— А интересно узнать, сколько платил своей натурщице тот художник, который вот эту картинку рисовал?

Художник рассмеялся:

— Какое это имеет отношение к нам... тогда было совсем другое время... может, он налил ей бокал вина... или же подарил пару перчаток.

Мама снова растерялась, как и тогда, когда он сказал ей, что на картине изображена Даная. Художник чуть-чуть подтрунивал над мамой, правда совсем беззлобно, и она этого не замечала. Мама снова принялась кричать, обозвала его скупердяем и начала опять расхваливать мою красоту. Потом притворилась, будто совладала с собой, и назвала сумму, которую хотела получить. Художник поспорил еще немного, и наконец они сошлись на цене немного ниже той, которую запросила мама. Художник подошел к столу, открыл ящик и протянул маме деньги. Мама, довольная исходом дела, дала мне еще несколько последних наставлений и ушла. Художник запер за ней дверь и, вернувшись к мольберту, спросил меня:

— Твоя мать всегда так кричит?

— Мама меня любит, — сказала я.

— А мне кажется, что она больше любит деньги, — спокойно заметил он и принялся рисовать.

— Нет, это неправда, — горячо возразила я. — Больше всего она любит меня... Но она переживает, что я родилась в нищете, и хочет, чтобы я заработала много денег.

Я потому так подробно рассказываю об этом случае у художника, что, во-первых, с этого дня я начала работать, хотя позднее выбрала себе другое занятие, а, во-вторых, мамино поведение в этой истории как нельзя лучше характеризует ее и объясняет те чувства, которые она питала ко мне.

Через час я встретилась с мамой, как мы условились, в молочной. Она спросила меня, как прошел сеанс, заставила подробно передать ей разговор, который вел со мной художник, хотя во время работы он больше молчал. Наконец она заявила, что я должна держать ухо востро. Может, этот художник и не думает ни о чем плохом, но многие из них берут натурщиц для того, чтобы сделать их своими любовницами. Поэтому я должна отклонять любые их предложения.

— Все они голодранцы, — объяснила она, — от них нечего ждать... ты с твоей красотой сможешь устроиться лучше... куда лучше...

Хотя мама впервые завела со мной подобный разговор, говорила она уверенно словно уже давно все это обдумала.

— О чем это ты? — не поняла я.

Мама как-то туманно ответила:

— Все эти люди щедры на посулы, а не на деньги... Такой красивой девушке, как ты, пристало иметь дело с синьорами.

— Какими синьорами?.. Да я не знаю никаких синьоров.

Она посмотрела на меня и уж совсем загадочно сказала:

— Пока поработаешь натурщицей... а там посмотрим... остальное приложится.

И меня испугало выражение ее лица, задумчивое и алчное. В тот день я больше не заговаривала с нею на эту тему.

А вообще говоря, мамины наставления были излишни, потому что в то время, несмотря на молодость, я была очень серьезная девушка. Я нашла работу и у других художников. Вскоре в студиях меня уже хорошо знали. Надо признать: многие художники вели себя учтиво и вежливо, хотя некоторые и не скрывали своих чувств ко мне. Но я решительно отвергала их ухаживания, так что очень быстро за мной утвердилась репутация девушки скромной и порядочной. Я уже сказала, что почти всегда художники держались со мной уважительно; это, я думаю, объяснялось тем, что главное для них было — рисовать меня, а не ухаживать за мной, и когда они работали, то каждый смотрел на меня не глазами мужчины, а глазами художни-

ка, как смотрят, скажем, на стул или на какую другую вещь. Они привыкли видеть натурщиц, и мое обнаженное молодое и соблазнительное тело не волновало их; то же самое происходит с врачами. Но зато приятели художников часто приводили меня в смущение. Они являлись в мастерскую и начинали болтать с хозяином. Однако очень скоро я заметила, что, как ни старались они казаться безразличными, они не спускали с меня глаз. Некоторые, забыв всякий стыд, принимались нарочно ходить по мастерской, чтобы получше разглядеть меня со всех сторон. Эти взгляды и туманные намеки мамы пробудили во мне кокетство, я поняла, что хороша собой и что красотой можно выгодно воспользоваться. Постепенно я не только привыкла к бесцеремонности приятелей художника, но даже стала испытывать удовольствие, когда замечала волнение на их лицах, и чувствовала разочарование, когда видела, что они оставались равнодушными. Так я размечталась и невольно пришла к заключению, что стоят мне только захотеть, и я смогу благодаря красоте устроить свою жизнь лучше, а маме только того и надо было.

В то же время я очень много думала о замужестве. Во мне еще все чувства дремали, а мужчины, которые смотрели на меня, пока я позировала, вызывали во мне лишь тщеславие и гордость. Все заработанные деньги я отдавала маме, а в дни, свободные от работы у художников, я оставалась дома и помогала ей кроить и шить сорочки. До сих пор шитье было нашим единственным заработком после смерти моего отца, который служил на железной дороге. Жили мы в маленькой квартирке на втором этаже невысокого длинного дома, выстроенного пятьдесят лет назад специально для железнодорожников. Дом находился на окраине города, к нему вела тенистая платановая аллея. По одной стороне улицы располагались дома, похожие на наш. Это были двухэтажные строения с голыми кирпичными фасадами, с подъездом посредине, с двенадцатью окнами, по шесть на каждом этаже. По другую сторону тянулась городская степа с башнями, она в этом месте хорошо сохранилась и заросла пышным зеленым кустарником. Недалеко от нашего дома находились городские ворота. За воротами прямо от стены шел забор Луна-парка, где с начала летнего сезона загорались огни и играла музыка. Из моего окна, чуть-чуть наискосок от парка, я видела гирлянды цветных фонариков, крыши павильонов, украшенных флагами, и людей, что толпились под тенистыми платанами у входа в Луна-парк. Особенно хорошо было слышно музыку. Слушая ее по ночам, я часто не спала и грезила наяву. Мне казалось, что звуки эти лились из какого-то недоступного для

меня мира, чувство это усиливалось еще и оттого, что меня окружали стены тесной и мрачной комнаты. Мне казалось, что все жители города собрались в Луна-парке и только меня там нет. Мне хотелось встать и пойти туда, но я лежала не двигаясь, а музыка, звучавшая почти до утра, навевала мысли о лишениях, которые я вынуждена терпеть бог знает за какие провинности. Иногда, слушая музыку, я горько плакала, чувствуя себя одинокой и заброшенной. Тогда я была еще очень сентиментальна и плакала по любому поводу: от грубого слова подруги, от упрека мамы, от душещипательной сцены в кино на глазах у меня выступали слезы. Возможно, я не считала бы, что весь этот счастливый мир мне заказан, если бы в детстве мама не держала меня подальше от Луна-парка и других развлечений. Но наша бедность, вдовство мамы и особенно ее предубеждение против всяких развлечений, которыми судьба ее обделила, стали причиной того, что я не ходила в Луна-парк, как, впрочем, и в другие увеселительные места, до тех пор пока я не стала уже девушкой и мой характер сформировался. Вероятно, именно поэтому меня почти всю жизнь не покидало чувство, будто я исключена из какого-то веселого, сверкающего счастьем мира. Даже когда я наверняка знаю, что счастлива, то и тогда мне не удается окончательно избавиться от этого чувства.

Я уже говорила, что в ту пору я больше всего мечтала выйти замуж. И вот как я себе это представляла. Пригородная аллея, на которой стоял наш дом, спускаясь вниз, переходила в квартал, где жили люди более обеспеченные, чем мы. Вместо длинных и низких домов железнодорожников, похожих на старые запыленные вагоны, там стояли небольшие особняки, окруженные садами. Это не были роскошные виллы: здесь проживали служащие и мелкие коммерсанты, но по сравнению с нашими убогими домишками они казались богатыми и блестящими. Прежде всего каждый особняк отличался от соседнего, потом, они не были такими облупленными и закопченными, как наш дом и стоящие рядом, глядя на которые поневоле начинаешь думать о полном равнодушии их обитателей; наконец маленькие, но густые сады вокруг этих особняков внушали мысль о ревностно охраняемом покое вдали от уличного шума и суеты. А наш дом носил клеймо улицы буквально на всем: на больших дверях, которые были похожи на ворота торгового склада, на широкой, грязной и голой лестнице и даже на комнатах, где ветхая и разностильная мебель напоминала о старьевщиках: ведь они выставляют на тротуары именно такую рухлядь для продажи.

Как-то летним вечером, прогуливаясь с мамой по аллее, я увидела в окне одного маленького особняка семейную сценку, которая запечатлелась в моей памяти и которая, как мне тогда показалось, отвечала моим представлениям о нормальной, приличной жизни: небольшая, но чистая комната, стены оклеены цветастыми обоями, буфет, в над накрытым столом висит лампа. За столом сидят пять или шесть человек, среди них, кажется, трое детей в возрасте от восьми до двенадцати лет. Посредине стола красуется суповая миска, мать стоя разливает суп. Странно, но больше всего меня поразил электрический свет или, вернее сказать, тот необычайно мирный и уютный вид, который придавал этот свет окружающим предметам. Всякий раз, вспоминая эту сцену, я приходила к убеждению, что должна поставить себе целью поселиться когда-нибудь в таком доме, как этот, иметь такую семью, как эта, и жить в атмосфере такого же света, который, казалось, является воплощением самых спокойных и безмятежных чувств. Многие, пожалуй, подумают, что мои желания были слишком скромны. Но нужно вспомнить условия, в которых я жила тогда. На меня, выросшую в доме для железнодорожников, маленький особняк производил такое же впечатление, какое, вероятно, на жителей понравившегося мне особняка производят богатые и просторные виллы роскошных городских кварталов. Так каждый видит свой рай там, где для других все стало адом.

У мамы имелись на мой счет иные, более смелые планы, но они, как я вскоре заметила, никак не совпадали с моими. Она считала прежде всего, что я благодаря своей красоте могу надеяться на особую удачу, но для этого мне вовсе не следует выходить, как это принято, замуж и плодить детей. Мы были бедны, и моя красота казалась ей единственным богатством, не только моим, но и ее собственным, потому что как-никак родила-то меня она. И этим богатством я должна распоряжаться с ее согласия, чтобы, не гнушаясь никакими средствами, изменить наше существование. На большее, вероятно, у нее не хватало фантазии. Поэтому-то мысль воспользоваться моей красотой и пришла маме прежде всего. Она как ухватилась за эту идею, так больше и не расставалась с нею.

В ту пору я еще не совсем хорошо разбиралась в маминых планах. И даже значительно позднее, когда я уже поняла, к чему она клонит, я никогда не осмеливалась спросить у нее, как же случилось, что при подобных взглядах на жизнь она сама дошла до такой нищеты и стала женой простого железнодорожника. Из намеков мамы я поняла, что причиной ее неудачи была

именно я, мое непредвиденное и нежелательное появление на свет. Короче говоря, родилась я случайно, мама, не осмеливаясь помешать этому (хотя, по ее словам, следовало бы это сделать), вынуждена была выйти замуж за моего отца и нести бремя этого брака. Много раз мама, имея в виду мое рождение, говорила: «Ты моя погибель!» Поначалу я не понимала ее слов и обижалась, но позднее все стало ясно. Слова эти должны были означать: «Не будь тебя, не вышла бы я замуж и разъезжала бы теперь в автомобиле». Понятно, что, рассуждая таким образом о своей жизни, мама не желала, чтобы и ее дочь, куда более красивая, чем она сама, повторила те же ошибки и чтобы судьба ее детища сложилась точно так же, как ее собственная. Даже теперь, когда я могу смотреть на вещи более опытным глазом, я не решаюсь осудить маму. Семья для мамы означала бедность, кабалу и те скудные радости, которые кончились вместе со смертью мужа. Вполне естественно — а может быть, и вполне справедливо, — мама считала нормальную семейную жизнь несчастьем и не оставляла меня в покое до тех пор, пока я не поддалась тем иллюзиям, осуществить которые сама она уже не могла.

Мама по-своему любила меня. Например, как только я стала позировать художникам, она справила мне два наряда: костюм, то есть юбку и жакет, и платье. По правде говоря, мне больше хотелось получить новое белье, потому что каждый раз, раздеваясь у художников, я стыдилась своего грубого, поношенного, а часто и не совсем свежего белья, но мама говорила, что вниз можно надеть хоть тряпки, самое главное, чтобы сверху все выглядело прилично. Мама выбрала два дешевых отреза яркой расцветки и сама взялась кроить. Но так как она была белошвейкой и платьев никогда не шила, то, несмотря на все свои старания, испортила обе вещи. Помню, платье на груди все время распахивалось и приходилось закалывать его булавкой. А жакет был узок в бедрах и груди, рукава слишком коротки, так что казалось, будто я вся вылезаю из него, юбка же, наоборот, получилась широкая и собиралась на животе складками. Но все равно эти наряды казались мне роскошными, потому что до сих пор я одевалась еще хуже, носила какие-то юбчонки, не доходившие до колен, старые кофточки и платочки. Мама купила мне еще две пары шелковых чулок, а до сего времени я носила гольфы и ходила с голыми коленками. Я радовалась этим подаркам и гордилась, не уставая ими любоваться и постоянно думать о них; я важно шествовала по улице, как будто на мне были не жалкие тряпки, а дорогое платье от модной портнихи.

Маме все время не давала покоя мысль о моем будущем. Через месяц-другой ей уже разонравилась моя профессия натурщицы. По словам мамы, я зарабатывала слишком мало, кроме того, художники и их друзья — люди бедные и в их среде нельзя завести сколько-нибудь полезное знакомство. И вот она вдруг вбила себе в голову, что я могу стать танцовщицей. Мама всегда была полна честолюбивых замыслов, тогда как я — об этом я уже говорила — не переставала мечтать о спокойной жизни с мужем и детьми. Мысль о танцах появилась у мамы после того, как она получила заказ от антрепренера одной труппы варьете, которая выступала на сцене кинотеатра перед началом каждого сеанса. Не то чтобы мама считала профессию танцовщицы такой уж выгодной, но, когда появляешься на сцене, всегда может подвернуться случай познакомиться с каким-нибудь синьором, а «остальное приложится», как любила говорить мама.

В один прекрасный день она заявила, что договорилась с антрепренером и тот велел привести меня. Утром мы отправились в гостиницу, где жили антрепренер и вся его труппа. Гостиница эта, как сейчас помню, находилась в большом старом здании рядом с вокзалом. Время близилось к полудню, но в коридорах было сумрачно. Спертый воздух, скопившийся за ночь в стенах номеров, расползался по коридорам, и было нечем дышать. Мы миновали несколько коридоров и в конце концов очутились в темной прихожей, где три танцовщицы и аккомпаниатор у рояля репетировали в том полумраке, какой обычно царит на сцене. Рояль стоял в углу возле двери уборной с матовыми стеклами, в противоположном конце комнаты высилась огромная груда грязного постельного белья. Аккомпаниатор, тощий старик, играл по памяти, мне показалось, что он думает о чем-то своем и даже как будто дремлет. Три молодые танцовщицы, сняв блузки, остались по пояс обнаженными, в одних юбочках. Они держали друг друга за талию, и, как только пианист ударял по клавишам, все трое устремлялись вперед, к куче белья, разом поднимая ноги и выкидывая их то вправо, то влево, а потом поворачивались, сильно раскачивая бедрами, и вид у них был вызывающий, что так не вязалось с этим темным и мрачным местом. Когда я увидела, как они четко отбивают такт, дробно стуча ногами об пол, у меня сжалось сердце. Я понимала, что никаких способностей к танцам у меня нет, хотя ноги у меня были длинные и крепкие. Вместе с двумя своими подругами я уже брала уроки в школе танцев нашего квартала. Мои подруги сразу после первых уроков начали ритмично двигать

ногами и бедрами, как завзятые танцорши, я же еле-еле передвигалась, будто вся половина моего тела ниже талии была налита свинцом. Мне казалось, что я устроена не так, как все девушки, во мне было что-то громоздкое и тяжелое, даже музыка не могла меня расшевелить. Потом, когда я пробовала танцевать — а было это всего несколько раз, — я, чувствуя, как мою талию сжимает чья-то рука, испытывала такую слабость, что не могла двигаться как положено и едва волочила ноги. Художник как-то мне сказал:

— Тебе бы, Адриана, родиться лет четыреста назад... тогда ценили таких женщин, а теперь, когда пошла мода на хрупких, ты выглядишь белой вороной... года через четыре, через пять ты будешь совсем как Юнона.

В этом он, положим, ошибся, теперь, когда миновали пять лет, я не располнела и не стала похожей на Юнону, но художник был прав, когда говорил, что я не гожусь для нынешнего века хрупких женщин. Я страдала от своей неповоротливости, мне так хотелось похудеть и научиться танцевать, как все девушки. Но несмотря на то, что я ела мало, я все-таки оставалась массивной, как статуя, а во время танцев мне никак не удавалось уловить скачущие и быстрые ритмы современной музыки.

Обо всем этом я объявила маме, так как знала, что визит к антрепренеру обречен на провал, а его отказ ранил бы мое самолюбие. Но мама тут же начала кричать, что я во сто раз красивее всех этих несчастных девиц, которые подвизаются на подмостках, и что антрепренер должен благодарить небо, что я согласна пойти в его труппу, и все в таком же духе... Мама не понимала в современной красоте, она искренне считала, что, чем пышнее грудь и шире бедра у женщины, тем она красивее.

Антрепренер ожидал нас в соседней комнате, вероятно, оттуда он следил через открытую дверь за репетицией. Он сидел в кресле возле разобранной постели. На кровати стоял поднос с кофе, антрепренер как раз кончал завтракать. Это был толстый старик, холеный, напомаженный и необычайно элегантно одетый. Среди этих скомканных простыней, в этом тусклом свете и спертом воздухе он производил особенно странное впечатление. Лицо у него было цветущее, мне даже показалось, что оно подкрашено, потому что сквозь румянец проступали неровные темные нездоровые пятна. Он носил монокль и непрерывно двигал губами, тяжело отдуваясь и показывая зубы такой ослепительной белизны, что невольно заставляло думать об искус-

ственной челюсти. Как я уже сказала, одет он был очень элегантно, особенно мне запомнился галстук бабочкой такого же рисунка и цвета, как носовой платок, торчавший из кармашка пиджака. Он сидел, расставив колени, между ними свисал его толстый живот. Кончив есть, он вытер рот и сказал скучающим и почти жалобным голосом:

— Ну-ка, покажи ноги.

— Покажи ноги синьору, — дрожащим от волнения голосом повторила мама.

Теперь, когда я уже позировала художникам, я перестала стесняться. Я потянула кверху платье и показала ноги. Так я и стояла, держа подол юбки в руке и открыв ноги. Ноги у меня в самом деле хороши: длинные, прямые, ровные, вот только от колен они становятся толще и кверху расширяются вдоль всего бедра. Разглядывая меня, антрепренер покачал головой и потом спросил:

— Сколько тебе лет?

— В августе исполнилось восемнадцать, — без запинки ответила мама.

Антрепренер ничего не сказал. Поднялся с места, тяжело дыша, подошел к патефону, стоящему на столе среди бумаг и тряпок. Он покрутил ручку, выбрал пластинку и поставил ее на диск. Потом проговорил:

— Теперь постарайся потанцевать под музыку... а юбку все время держи так.

— Она взяла всего несколько уроков танцев,— предупредила мама.

Понимая, что испытание будет решающим, и зная мою неповоротливость, она боялась за исход этого экзамена. Но антрепренер махнул рукой, приказывая ей молчать, включил музыку и тем же жестом предложил мне танцевать. Я начала двигаться, приподняв юбку, как он велел. По правде говоря, я вяло и тяжело передвигалась из стороны в сторону, чувствуя, что все время сбиваюсь с ритма. Антрепренер стоял возле патефона, упершись локтями в стол и повернувшись ко мне лицом. Внезапно он остановил пластинку и пошел к своему креслу, красноречиво указав на дверь.

— Разве не годится? — с тревогой и вызовом спросила мама.

Он ответил, не глядя на нее:

— Да, не годится, — а сам тем временем шарил по карманам, ища портсигар.

Я знала, что, когда мама начинает говорить таким тоном, она непременно затеет ссору, и поэтому потянула ее за рукав. Но

она с силой оттолкнула меня и, глядя на антрепренера сверкающими глазами, повторила еще громче:

— Не годится? А нельзя ли узнать почему?

Антрепренер, найдя сигареты, стал искать спички. Он был очень полный, и казалось, каждое движение стоит ему величайших усилий. Он ответил спокойно, хоть по-прежнему тяжело дышал:

— Не годится потому, что у нее нет способностей, и еще потому, что фигура не подходит.

Тут произошло то, чего я так опасалась: мама начала кричать, выкладывая ему все свои обычные доводы: что я настоящая красавица, что лицом я похожа на Мадонну, и пусть он только посмотрит, какие у меня ноги, грудь и бедра. Антрепренер зажег сигарету и закурил, глядя на маму и ожидая, когда она кончит. Потом он сказал грустным и жалобным голосом:

— Года через два из твоей дочери может выйти прекрасная кормилица... но танцовщица никогда.

Он еще не знал, какая неистовая сила таится в маме, и поэтому ужасно удивился тому, что произошло вслед за этим, даже курить перестал, а так и остался стоять с разинутым ртом. Он хотел было что-то возразить, но мама ему не дала произнести ни слова. Мама была худая и слабенькая, и просто непонятно, откуда у нее брался такой голос и такой запал. Она поносила старого антрепренера, а также его танцовщиц, которых мы видели в коридоре. Под конец она схватила куски шелка, из которых должна была шить ему сорочки, и швырнула их старику прямо в лицо с криком:

— Пусть вам шьют сорочки другие... может, ваши танцовщицы с этим справятся... а я, хоть осыпьте меня золотом, не буду вам шить, и все тут!

Такого исхода антрепренер вовсе не ожидал, он стоял пораженный и побагровевший, закутанный с головы до ног материей. Я тянула маму за рукав и чуть не плакала от стыда и унижения. Наконец она послушалась меня, и, оставив старика выпутываться из развернувшихся кусков шелка, мы вышли из комнаты.

На другой день я рассказала об этой сцене художнику, которому поверяла все свои тайны. Он очень смеялся над предсказанием антрепренера, что из меня выйдет хорошая кормилица, а потом заметил:

— Бедная моя Адриана, я тебе уже говорил много раз... опоздала ты родиться... надо было это сделать четыреста лет назад: то, что сейчас считается недостатком, в то время очень це-

нилось, и наоборот... антрепренер в какой-то мере прав... он знает, что публике нравятся худенькие блондинки с маленькой грудью и узкими бедрами, с лукавым и вульгарным личиком... а ты хотя и не толстая, но крупная, к тому же брюнетка, у тебя пышная грудь, и бедра — тоже, а лицо нежное и спокойное... что тут поделаешь? Мне ты подходишь... продолжай позировать... а потом в один прекрасный день выйдешь замуж и нарожаешь детей, похожих на тебя, таких же смугленьких и пухленьких, с нежными и спокойными мордашками.

Я твердо сказала:

— А мне большего и не надо!

— Молодец, — одобрил он, — а теперь чуть-чуть повернись на бок... вот так.

Этот художник по-своему привязался ко мне, и, если бы он остался в Риме, я по-прежнему делилась бы с ним своими мыслями, он мог бы помочь мне советом, и тогда, вероятно, жизнь моя сложилась бы иначе. Но он постоянно жаловался, что его картины плохо раскупаются, и в конце концов ему подвернулся случай устроить выставку в Милане, куда он и переехал насовсем. Я по его совету продолжала работать натурщицей. Но другие художники оказались не такими любезными и симпатичными, поэтому я не была склонна рассказывать им о своей жизни. По правде говоря, вся моя жизнь в ту пору состояла из сплошных грез, желаний и надежд, и в ней не происходило ничего особенного.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Итак, я продолжала работать натурщицей, хотя мама ворчала — ей все казалось, что я мало зарабатываю. Мама в то время часто бывала сердита, и, несмотря на то, что она скрывала истинную причину своего дурного настроения, я понимала, что все это из-за меня. Как я уже говорила, она делала ставку на мою красоту, надеясь добиться бог знает каких успехов и удач, моя работа натурщицы была, по ее мнению, лишь первой ступенькой, а остальное, как она любила выражаться, приложится. И то, что я оставалась жалкой натурщицей, огорчало ее и даже вызывало в ней раздражение против меня, будто я своей непритязательностью лишала ее верных денег. Конечно, она не высказывала своих мыслей вслух, но давала это понять грубыми словами, упреками, вздохами, печальными взглядами и другими столь же прозрачными намеками. Все это было настоящей пыткой, и тогда-то я поняла, почему многие девушки, которых, как

и меня, пилят их разочарованные и честолюбивые мамаши, в один прекрасный день убегают из дома и вешаются на шею первому встречному, лишь бы избавиться от подобной тирании. Понятно, что мама вела себя так из любви ко мне. Но такая любовь отчасти напоминает любовь хозяйки к курам-несушкам: когда курица перестает нестись, ее начинают щупать, взвешивать на руках, раздумывая, а не выгоднее ли будет ее зарезать.

Как терпелива и наивна молодость! Моя жизнь в то время была ужасной, а я этого не замечала. Все деньги, которые я получала за свои долгие, тяжелые и скучные сеансы в студиях художников, я до единою гроша отдавала маме, а в свободное время, когда я не позировала обнаженная, озябшая и онемевшая, я гнула спину за швейной машиной или сидела с иголкой в руке, помогая маме. Ночь заставала меня за шитьем, а утром чуть свет я поднималась: нужно было ехать в мастерские, они находились далеко от нашего дома, а сеансы начинались всегда очень рано. Но прежде чем отправиться на работу, я прибирала постель и помогала маме навести порядок в доме. Я была неутомима, покорна и нетребовательна и одновременно спокойна, весела и безмятежна, душе моей были чужды зависть, злоба и ревность, наоборот, я была полна какой-то неизъяснимой нежности и благодарности, оттого что чувствовала себя цветущей и молодой. Я не замечала убогости нашего жилища. Одна большая и почти пустая комната служила нам мастерской: середину ее занимал стол, заваленный лоскутами, другие лоскуты висели на гвоздях, вбитых в темные, потрескавшиеся стены, тут же стояло несколько старых, продавленных стульев; в другой комнате мы с мамой спали на широкой двуспальной кровати, и как раз над нами на потолке расплылось большое влажное пятно, а когда шел дождь, капало прямо на нас; в закопченной кухоньке было тесно от мисок и кастрюль, которые не слишком чистоплотная мама никогда не успевала перемыть все до одной. Я не замечала, что приносила в жертву свою молодость, не зная развлечений, не ведая любви и радости. Когда теперь я вспоминаю свои юные годы, свой добрый и простодушный нрав, сердце мое переполняется сочувствием к самой себе, такой слабой и беззащитной, подобное чувство вызывают у нас злоключения героев в романах, хотелось бы, чтоб все несчастья их миновали, да знаешь — это невозможно. Так уж заведено, люди не понимают, на что им, собственно, нужны доброта и простодушие; и не в этом ли заключена грустная загадка жизни: достоинства, которыми природа щедро наделила людей и которые все восхваляют на словах, на деле лишь усугубляют наши несчастья.

В ту пору мне казалось, что мои надежды обзавестись семьей рано или поздно должны осуществиться. Каждое утро я садилась в трамвай на площади недалеко от нашего дома. На этой площади среди других зданий виднелось длинное и невысокое строение, примыкавшее к городской стене, оно служило гаражом для автомобилей. В этот час у ворот гаража всегда стоял юноша, который мыл и приводил в порядок свою машину. Он пристально смотрел на меня. Черты его смуглого лица были тонки и безукоризненны, нос небольшой, прямой, глаза темные, красиво очерченный рот и белые зубы. Он был похож на популярного в то время американского киноактера, поэтому я обратила на него внимание и даже приняла его сперва не за того, кем он был на самом деле, потому что он прекрасно одевался и держался с достоинством, как хорошо воспитанный человек. Я вообразила, что у него собственная машина, а сам он, вероятно, человек обеспеченный, именно из тех синьоров, о которых так часто твердила мне мама. Он, конечно, нравился мне, но я думала о нем, только пока видела его, а потом, на работе, забывала. Однако он, должно быть, этими взглядами незаметно приручил меня. Однажды утром, когда я стояла на остановке и ждала трамвая, я услышала, что кто-то зовет меня точно так, как зовут кошек, я обернулась и увидела, что он из машины делает мне знак приблизиться, и я, ни минуты не колеблясь, с бессознательной покорностью, которая очень удивила меня, пошла к нему. Он открыл дверцу, и, прежде чем сесть в машину, я увидела, что рука его, лежащая на окне, была большая и загрубевшая, с поломанными почерневшими ногтями, а указательный палец пожелтел от никотина, словом, это была рука человека, занимающегося физическим трудом. Молча я села в машину.

— Куда вас отвезти? — спросил он, захлопывая дверцу.

Я назвала адрес одной из мастерских. Голос у него был тихий и приятный, хотя уже тогда я почувствовала в нем что-то фальшивое и манерное.

Он сказал:

— Прекрасно... сейчас мы прокатимся немного... ведь еще очень рано... потом я отвезу вас, куда вы пожелаете.

Машина тронулась. Мы выехали из нашего квартала на пригородную аллею, которая тянется вдоль городской стены, потом поехали по длинной улице мимо маленьких домишек и лавок и выбрались наконец за город. Тут машина помчалась как бешеная по шоссе, с обеих сторон обсаженному платанами. Не глядя на меня и показывая на спидометр, он то и дело говорил:

— Вот сейчас восемьдесят километров... девяносто... сто... сто двадцать... сто тридцать...

Видно, он хотел поразить меня этой скоростью, но я беспокоилась только о работе и боялась, как бы из-за какого-нибудь несчастного случая машина не застряла по дороге. Вдруг он затормозил, выключил мотор и повернулся ко мне:

— Сколько вам лет?

— Восемнадцать, — ответила я.

— Восемнадцать... я думал больше. — В его голосе действительно было что-то манерное. Иногда он понижал его до шепота, будто разговаривал сам с собой или хотел поведать какую-то тайну. — А как вас зовут?

— Адриана... а вас?

— Джино.

— Чем вы занимаетесь? — спросила я.

— Я коммерсант, — не задумываясь ответил он.

— И эта машина ваша собственная?

Он презрительно оглядел машину и сказал:

— Да, моя.

— А я вам не верю, — откровенно заявила я.

— Не верите... вот так да, а почему? — спросил он удивленным и шутливым тоном, нисколько не смутившись.

— Вы шофер.

Он еще более насмешливо и недоуменно спросил:

— Вы говорите удивительные вещи... смотрите-ка... шофер... а почему вы так думаете?

— Вижу по вашим рукам.

Он спокойно, без смущения посмотрел на свои руки и сказал:

— От синьорины, видно, ничего не скроешь... какой у вас, однако, острый глаз... правильно, я шофер... Ну что, довольны?

— Нет, не довольна, — сухо ответила я, — прошу вас сейчас же отвезти меня в город.

— Но в чем дело? Вы рассердились на меня за то, что я сказал вам неправду?

В эту минуту, сама не знаю почему, я невольно обозлилась на него.

— Не будем говорить об этом... Отвезите меня, пожалуйста.

— Но это же шутка... что тут такого... разве уж и пошутить нельзя?

— Я не люблю подобных шуток.

— А вы с характером... я-то подумал, а вдруг эта синьорина какая-нибудь принцесса... и, если она узнает, что я всего-навсе-

го бедный шофер, она и смотреть на меня не захочет... Скажука ей, что я коммерсант.

Он очень ловко вывернулся, польстив мне и в то же время давая понять, что питает ко мне определенные чувства. А кроме того, он сказал эти слова с такой обольстительной улыбкой, что совсем покорил меня.

— Я не принцесса... я работаю натурщицей и этим живу. Так же как вы работаете шофером.

— А что значит «натурщица»?

— Я хожу в студии художников, раздеваюсь, и художники меня рисуют.

— А мать у вас есть? — возмущенно спросил он.

— Конечно, а почему вы спрашиваете?

— И мать разрешает вам раздеваться перед мужчинами?

Я никогда не думала, что в моей профессии есть нечто постыдное, ведь и в самом деле в ней нет ничего плохого, но мне было приятно, что он именно так смотрит на вещи, это говорит о его серьезном отношении к жизни и его нравственности. Как я уже говорила, мне очень хотелось жить по-человечески, и он, несмотря на свою фальшивость, понял (я до сих пор не знаю, как это ему удалось), что он должен был мне говорить и чего не следовало. Другой на его месте, думала я, узнав, что я позирую обнаженной, поднял бы меня на смех либо повел себя нескромно. Так первое неприятное впечатление от его обмана рассеялось незаметно для меня самой, и я подумала, что он все-таки, должно быть, серьезный и честный парень, именно таким я в мечтах представляла себе человека, который станет моим мужем.

— Мама как раз и нашла мне эту работу, — откровенно призналась я.

— Тогда она, видно, не любит вас.

— Нет, — возразила я, — мама меня любит... но она сама в девушках тоже была натурщицей... и потом, уверяю вас, в этом нет ничего дурного... я знаю многих девушек, которые этим занимаются, и все они очень серьезные.

Он с сомнением покачал головой и, прикоснувшись к моей руке, сказал:

— Знаете, мне приятно, что я с вами познакомился... очень-очень приятно.

— И мне тоже, — ответила я просто.

В эту минуту я ощутила вдруг влечение к нему, я почти хотела, чтоб он меня поцеловал. И конечно, поцелуй он меня тогда,

я не стала бы противиться. Но он сказал серьезным и покровительственным тоном:

— Будь на то моя воля, вы не стали бы натурщицей. — Я почувствовала себя несчастной и была благодарна ему за эти слова. — Такая девушка, как вы, — продолжал он, — должна сидеть дома, в крайнем случае работать... но заниматься честным трудом, не принося в жертву свою репутацию... Такая девушка, как вы, должна выйти замуж, вести хозяйство, иметь детей, любить мужа.

Как раз то, о чем я мечтала! Я была очень довольна, что и он думает или делает вид, что думает так же. Я сказала:

— Вы правы... но все равно вы не должны плохо говорить о маме... она хотела, чтобы я стала натурщицей, как раз потому, что любит меня.

— Я бы этого не сказал, — безжалостно отрезал он, и в голосе его послышалось возмущение.

— Нет, она меня любит... только она некоторых вещей не понимает.

Так мы разговаривали, устроившись на переднем сиденье машины. Как сейчас помню, стоял май, воздух был теплый, причудливые тени от платанов застилали дорогу. Изредка мимо нас с бешеной скоростью проносились машины. На зеленом, залитом солнцем поле не было ни души. Наконец он посмотрел на часы и сказал, что пора возвращаться в город. Он только один раз прикоснулся к моей руке. Я ждала, что он хотя бы попытается поцеловать меня, но этого не произошло, потому я была одновременно и разочарована и довольна его сдержанностью. Разочарована потому, что он мне нравился, и я невольно глядела на его красные пухлые губы; а довольна потому, что мое мнение о нем как о человеке серьезном подтверждалось, таким именно я и хотела его видеть.

Он довез меня до мастерской и сказал, что с нынешнего дня он всегда сможет провожать меня на работу, если только я в определенный час буду приходить на трамвайную остановку, так как он в это время свободен. Я охотно приняла его предложение, и в тот день долгие часы, проведенные в мастерских художников, не были для меня такими тяжкими, как обычно. Мне казалось, что жизнь моя приобрела новый смысл. Я радовалась, что могу думать о нем спокойно, без всяких угрызений совести, как о мужчине, который нравится мне не только своей внешностью, но и обладает теми достоинствами, которые я считаю необходимыми в человеке.

Маме я ничего не сказала, так как боялась, и не без основа-

ний, что она не допустит моего брака с бедным шофером, не имеющим блестящих видов на будущее. На другое утро он, как и обещал, приехал за мной и отвез прямо в мастерскую. В последующие дни, когда стояла хорошая погода, он увозил меня на какую-нибудь пустынную пригородную аллею или на шоссе, чтобы спокойно поболтать со мной. Разговоры мы вели на серьезные и пристойные темы, держался он по отношению ко мне почтительно, старался мне понравиться. Я в то время была очень сентиментальна, а все, что касалось отзывчивости, добродетели, нравственности, семейных отношений, в особенности волновало меня, ну прямо до слез, которые часто наворачивались мне на глаза, и душа моя наполнялась томным и упоительным покоем, сочувствием и доверием к людям. Так постепенно я стала считать Джино идеалом. Иногда я задумывалась: какие же у него недостатки? Он красив, молод, умен, честен, серьезен, его действительно нельзя упрекнуть ни в малейшем грехе. Размышляя так, я даже удивлялась: ведь не каждый день приходится встречать идеальных людей. Это почти пугало меня. Что он за человек, спрашивала я себя, сколько его ни испытывай, в нем не проявляется ни одной плохой черты, ни одного недостатка? Я и не заметила, как влюбилась в него. А ведь известно, что любовь смотрит сквозь розовые очки, так что и урод может показаться привлекательным.

Я была так влюблена, что, когда он впервые поцеловал меня на том самом шоссе, где мы вели наш первый разговор, я испытала какое-то облегчение: это был естественный переход от давно созревшего желания к его осуществлению. Однако та непреодолимая страстность, с которой встретились наши губы, немного испугала меня. Я поняла, что отныне мои поступки уже зависели не от меня, а от той сладкой и могучей силы, которая настойчиво толкала меня к нему. Но я совершенно успокоилась, когда сразу же после поцелуя он сказал, что теперь мы жених и невеста. И на этот раз он угадал мои сокровенные мысли и сказал именно то, что полагалось. Так рассеялся мой страх, вызванный первым поцелуем, и все время, пока машина стояла на шоссе, я целовала его, уже не сдерживая себя, с чувством полной, страстной и естественной отрешенности.

Впоследствии я получила и ответила на много поцелуев, однако, бог тому свидетель, я не участвовала в них ни душой, ни телом — так получают и отдают старую монету, прошедшую через тысячи рук, — но я навсегда запомню тот первый поцелуй за его почти скорбную силу, в него, казалось, я вложила не только свою любовь к Джино, но и все свои надежды, Помню, как я по-

чувствовала, что перед глазами все закружилось, небо и земля поменялись своими местами. В самом же деле я только запрокинула голову немного назад, чтобы продлить поцелуй. Что-то живое и прохладное ударялось и давило на мои зубы, и, когда я их разжала, я почувствовала, что его язык, столько раз ласкавший мой слух нежными словами, теперь, проникая в мой рот, доставляет мне иное, до сих пор еще не изведанное удовольствие. Я не знала, что можно так целоваться и что поцелуй может быть таким продолжительным, поэтому я очень скоро задохнулась и как будто бы опьянела. Когда мы поцеловались, я откинулась на спинку сиденья с закрытыми глазами и затуманенным сознанием, готовая вот-вот упасть в обморок. Так в этот день я поняла, что на свете существуют и другие радости, кроме спокойной семейной жизни. И мне не казалось, что эти радости лишат меня той самой жизни, о которой я до сих пор мечтала. А после обещания Джино жениться на мне я почувствовала, что в будущем смогу наслаждаться и тем и другим, не считая себя грешницей и не испытывая угрызений совести.

Я была уверена, что поступаю правильно и честно, поэтому в тот же вечер, только, пожалуй, с излишним трепетом и радостью, рассказала обо всем маме. Она сидела за швейной машиной возле окна при ослепительном свете лампочки без абажура. Покраснев, я сказала:

— Мама, у меня есть жених.

Я увидела, как мамино лицо исказилось, будто ее окатили с головы до ног ледяной водой.

— Кто он?

— Один юноша, я с ним недавно познакомилась.

— А чем он занимается?

— Он шофер.

Я хотела еще что-то сказать, но не успела. Мама бросила шить, вскочила со стула и схватила меня за волосы.

— У тебя жених... и меня не спросилась... да еще шофер... о, несчастная... ты меня уморить хочешь! — вопила она, пытаясь ударить меня по щеке.

Я изо всех сил закрывала лицо руками, потом вырвалась, но она погналась за мной. Я бегала вокруг стола, стоящего посредине комнаты, она преследовала меня с криком и руганью. Меня страшно испугало выражение болезненного исступления на ее худом лице.

— Я тебя убью, — кричала она, — сейчас я тебя убью!

И казалось, что чем упорнее она твердила слова «я тебя убью», тем больше росло ее бешенство и тем реальнее станови-

лась угроза. Я задержалась у стола и внимательно следила за каждым ее жестом, потому что она действительно была способна если не убить, то, во всяком случае, покалечить первым же подвернувшимся под руку предметом. И в самом деле, она схватила большие портновские ножницы и швырнула их в меня, я едва успела отскочить в сторону. Ножницы с размаху ударились в стену. Мама, испугавшись сама своего поступка, внезапно рухнула на стул, закрыла лицо руками и разразилась нервными и хриплыми рыданиями, в которых, казалось, было больше злобы, чем обиды. Сквозь слезы она произнесла:

— А я-то возлагала на тебя такие надежды... мечтала увидеть тебя богатой... с твоей-то красотой... и нате вам — невеста нищего.

— Но он не нищий, — робко возразила я.

— Шофер, — пожала она плечами и еще раз повторила, — шофер... Несчастная, ты кончишь, как я.

Эти слова она произнесла нараспев, будто смаковала их горечь.

— Он женится на тебе, ты станешь его служанкой, а потом будешь служить своим детям, вот чем все кончится,— добавила она.

— Мы поженимся, когда он накопит достаточно денег и купит свою собственную машину, — сказала я, выдавая один из проектов Джино.

— Это еще на воде вилами писано... Только сюда не смей его приводить! — закричала она вдруг, повернув ко мне свое заплаканное лицо.— Не смей сюда его приводить... Не желаю его видеть... делай что угодно, встречайся с ним где хочешь... Но сюда не смей приводить!

В тот вечер я легла спать без ужина, на душе у меня было грустно и тревожно. Но я понимала, что мама ведет себя так, потому что любит меня и возлагает на мое будущее бог знает какие надежды, а мои отношения с Джино разрушают все ее планы. И гораздо позднее, когда я узнала, что это были за планы, я все равно не могла ее осуждать. Ведь всю свою жизнь она честно трудилась, а видела одни лишь огорчения, заботы и бедность. Что же тут удивительного, если она желала своей дочери совсем другой участи? Должна добавить, что у мамы, скорей всего, не было определенных и точных планов, просто она тешила себя неясными и радужными мечтами, которые как раз за эту их неопределенность можно было лелеять без всяких угрызений совести. Таково мое предположение, но, возможно, мама в глубине души все-таки решила направить меня когда-

нибудь по тому роковому пути, на который мне пришлось позднее ступить самой. Я не ставлю это ей в упрек, а говорю так, потому что до сих пор сама не разобралась, о чем же она тогда думала. Кроме того, я по собственному опыту знаю, что можно одновременно одинаково относиться к совершенно противоположным вещам и не замечать при этом противоречия, а выбирать то, что тебя больше всего устраивает в данный момент.

Мама заклинала меня не приводить в дом Джино, и я какое-то время выполняла ее просьбу. Но после наших первых поцелуев Джино, казалось, потерял покой, мы обязаны были, говорил он, поступать по всем правилам; каждый раз он настаивал, чтобы я познакомила его с мамой. Я боялась сказать ему, что мама и видеть его не желает, так как считает профессию шофера ничтожной, поэтому я под разными предлогами оттягивала их встречу. В конце концов Джино понял, что я что-то от него скрываю, и принялся так настойчиво допрашивать меня, что я вынуждена была сказать ему правду:

— Мама не хочет видеть тебя, она считает, что я должна выйти замуж за благородного синьора, а не за простого шофера.

Разговор наш происходил в машине все на том же загородном шоссе. Джино посмотрел на меня и печально вздохнул. Я была так влюблена, что не заметила фальши в его поведении.

— Вот что значит быть бедняком! — воскликнул он с пафосом.

Потом он долго молчал.

— Ты обиделся? — наконец решилась спросить я.

— Нет, но я оскорблен, — ответил он, качая головой, — другой на моем месте не просил бы представить его, не говорил бы о помолвке... а поступил бы так, как поступают все.

Я сказала:

— Какое это имеет значение? Я ведь тебя люблю. Этого вполне достаточно.

— Если бы я пришел с кучей денег, — продолжал он, — и даже не заикнулся бы о браке... вот тогда твоя мать с радостью приняла бы меня.

Я не осмелилась спорить, ведь он говорил чистую правду.

— Знаешь, что мы устроим? — начала я. — В ближайшие дни я просто приведу тебя к нам, мама поневоле должна будет познакомиться с тобой, не станет же она отворачиваться от тебя.

В условленный день я ввела Джино в нашу комнату. Мама только что кончила работу и освобождала один конец большого стола для ужина. Я подошла к ней и сказала:

— Мама, это Джино.

Я ожидала какой-нибудь выходки с ее стороны, поэтому на всякий случай предупредила Джино. Но, к величайшему моему удивлению, мама окинула его взглядом с головы до ног и сухо произнесла:

— Очень приятно.

И вышла из комнаты.

— Вот увидишь, все будет хорошо, — сказала я, приблизившись к Джино, и, подставив губы, попросила: — Поцелуй меня.

— Нет, нет, — произнес он шепотом, отталкивая меня. — Твоя мать тогда будет вправе думать обо мне плохо...

Он всегда знал, что надо делать и чего не надо. В глубине души я не могла не признать справедливости его слов. Вошла мама и сказала, не глядя на Джино:

— Откровенно говоря, я приготовила ужин только на двоих... ты меня не предупредила... но сейчас я схожу и...

Ей не удалось договорить. Джино шагнул вперед и перебил ее:

— Ради бога... ведь я пришел сюда не есть, разрешите пригласить вас и Адриану отужинать со мной.

Он держался чинно, как вполне благопристойный человек. Мама не привыкла к такому тону и приглашениям, поэтому с минуту она колебалась, потом, взглянув на меня, сказала:

— Мне все равно, как Адриана.

— Мы можем пойти в ближайшую остерию, — предложила я.

— Как вам будет угодно, — ответил Джино.

Мама сказала, что пойдет переоденется. Мы остались одни. На душе у меня было радостно, мне казалось, что я одержала величайшую победу, тогда как в действительности это была лишь комедия, в которой только одна я не принимала участия. Я подошла к Джино и порывисто поцеловала его, так что он даже не успел оттолкнуть меня. Этим поцелуем я хотела выразить свою радость освобождения от того тревожного состояния, в котором я пребывала много дней, уверенность, что теперь наша свадьба наверняка состоится, и благодарность Джино за то, что он так мило разговаривал с мамой.

У меня не было никаких затаенных мыслей, я вся была как на ладони: я хотела выйти замуж, я любила Джино и маму. Я была искренна, доверчива, беззащитна, какой бывает девушка в восемнадцать лет, когда разочарование еще не затронуло ее душу. Только гораздо позднее я поняла, что такая наивность волнует и нравится очень немногим, а большинству людей она кажется просто смешной и толкает их на подлые поступки.

Мы все трое отправились в остерию, которая находилась недалеко от нашего дома, по ту сторону городской стены. За столом Джино даже не глядел в мою сторону, он направил все свое внимание только на маму с явным намерением завоевать ее симпатию. Его желание понравиться маме казалось мне закономерным, и поэтому я не придавала значения той неприкрытой лести, которую он щедро расточал. Он называл маму «синьора», что было для нее непривычно. Он старался повторять это слово как можно чаще, оно звучало как припев то в начале, то в середине фразы. Как бы невзначай он говорил: «Вы женщина умная и, конечно, поймете...» или «Вы знаете жизнь, поэтому вам не нужно объяснять такие вещи...» И еще более кратко: «С вашим умом...» Джино даже счел нужным сказать маме, что в моем возрасте она была, наверное, красивее меня.

— Откуда ты знаешь? — спросила я, немного обидевшись.

— О, это само собой разумеется... есть вещи, которые понятны и так, — неопределенно ответил он вкрадчивым голосом.

Бедняжка мама только хлопала глазами от такого потока лести, лицо ее стало ласковым, приятным, нежным, она, как я заметила, беззвучно шевелила губами, точно повторяла про себя слащавые комплименты, на которые не скупился Джино. Я уверена, что впервые в жизни ей говорили такие слова, и ее изголодавшееся по ласке сердце никак не могло насытиться. А мне, как я уже сказала, это лицемерие казалось выражением искреннего уважения к маме и внимания ко мне, что явилось новым ярким дополнением ко всем достоинствам Джино.

Между тем за соседний столик уселась компания молодых парней. Один из них был явно навеселе, он уставился на меня и громко произнес по моему адресу довольно неприличный комплимент. Джино услышал эту фразу, тотчас же встал и подошел к молодому человеку:

— А ну-ка, повторите, что вы сейчас сказали!

— А тебе какое дело? — спросил парень, притворяясь совсем пьяным.

— Синьора и синьорина пришли со мной, — повысил голос Джино, — и, пока они со мной, все, что касается их, касается и меня... поняли?

— Понял, успокойся... Ладно, ладно, — ответил тот, оробев.

Все остальные смотрели на Джино с неприязнью, но не осмеливались поддержать дружка. А тот, притворяясь еще более пьяным, чем был на самом деле, наполнил бокал вином и предложил его Джино. Но Джино решительно отказался.

— Не хочешь выпить, тебе не нравится это вино? — заорал пьяный. — Не хочешь, как хочешь... вино — первый сорт... сам выпью.

И он залпом выпил вино. Джино еще раз строго посмотрел на него и вернулся на свое место.

— Невоспитанные люди, — сказал он, садясь на стул и нервно одергивая пиджак.

— Зачем вы разговаривали с ними? — сказала польщенная вниманием мама. — Вы же знаете, что это за сброд...

Но Джино, очевидно, считал, что он еще не до конца показал свою галантность, поэтому ответил:

— Как это зачем? Я стерпел бы, если бы находился здесь с какой-нибудь... надеюсь, вы меня понимаете, синьора, — стерпел бы, говорю я... Но быть в таком месте, в ресторане с синьорой и синьориной... В конце концов этот тип понял, что я шутить не намерен, и, как вы видели, сразу притих.

Это происшествие окончательно покорило маму. А кроме того, Джино уговаривал ее пить вино, которое опьяняло ее не меньше, чем все его комплименты. И как бывает с подвыпившими людьми, она, несмотря на невольную симпатию к Джино, все-таки не сумела скрыть своего огорчения из-за того, что он стал моим женихом. При первом же удобном случае она решила намекнуть ему, что все равно останется при своем мнении.

Такой случай представился, когда начался разговор о моем занятии. Не помню, почему зашла речь о новом художнике, которому я в то утро позировала. И вот тогда Джино сказал:

— Можете считать меня глупцом, несовременным, как угодно... но я не могу примириться с тем, что Адриана каждый день раздевается перед всеми этими художниками.

— А почему? — спросила мама изменившимся голосом, который предвещал бурю, чего не мог знать Джино.

— Да хотя бы потому, что это неприлично.

Не буду воспроизводить полностью ответ мамы, потому что он весь был пересыпан бранными словами, к которым мама прибегала каждый раз, когда выпивала вина или сердилась. Но мамина речь даже без этих слов отражала ее взгляды и чувства.

— Ах, неприлично! — начала она кричать что было силы, и все посетители, бросив есть, повернулись в нашу сторону. — Ах, неприлично... а что же тогда прилично? Может быть, прилично весь божий день гнуть спину, мыть посуду, шить, готовить обед, гладить, чистить, натирать полы и потом вечером встречать мужа, который еле ноги волочит от усталости и тотчас же после ужина ложится спать, повернувшись лицом к стене? Это при-

лично? Жертвовать собой, не иметь ни минуты отдыха, стареть, дурнеть, подохнуть, это прилично? Да знаете вы, что я вам скажу? Мы живем на свете только раз, а после смерти — царство небесное... и вы можете катиться ко всем чертям вместе с вашими приличиями, а Адриана правильно делает, что раздевается перед художниками, которые ей за это платят... и она поступала бы еще правильнее, если бы...

Тут последовал целый поток непристойностей, которые мама выговорила все так же громко, а я, слушая их, заливалась краской.

— И если бы Адриана занималась этим, — продолжала она, — я не только не мешала бы ей, а даже помогала бы... да, помогала бы... лишь бы, конечно, за это платили, — добавила она, подумав немного.

— Я уверен, что вы на это не способны, — ничуть не смутившись, возразил Джино.

— Не способна? Вы так считаете?.. И что это вы себе думаете, а? Воображаете, будто я счастлива, что Адриана невеста шофера, невеста такого нищего, как вы? Да я бы все отдала за то, чтобы она жила в роскоши. Вы думаете, приятно видеть, как Адриана с ее красотой, за которую другие не пожалели бы отдать тысячи, готова на всю жизнь стать вашей служанкой? Ну, так вы ошибаетесь, глубоко ошибаетесь!

Мама кричала, все на нас оглядывались, и мне было ужасно стыдно. Но Джино, как я уже сказала, нисколько не смутился. Он улучил минуту, когда мама, выбившись из сил, замолкла, взял графин и, наполнив ее бокал, предложил:

— Не желаете ли еще немного вина?

Бедной маме ничего не оставалось, как сказать: «Спасибо» и принять бокал, который ей протягивал Джино. Публика, видя, что мы, несмотря на ссору, продолжаем пить как ни в чем не бывало, занялась своими делами.

— Адриана так красива, что вполне заслуживает жизни, какую ведет моя хозяйка, — сказал Джино.

— А какую жизнь она ведет? — быстро спросила я, желая перевести разговор на другую тему.

— Утром, — ответил он с самодовольным, даже гордым видом, как будто богатство его хозяев отбрасывало частицу блеска на него самого, — она просыпается в одиннадцать, а то и в двенадцать часов... ей приносят завтрак прямо в постель на серебряном подносе и в серебряной посуде... после она принимает ванну, но сперва ее горничная растворяет в воде какие-то соли, отчего вода становится душистой. Потом я в автомо-

биле везу ее на прогулку... она заезжает в кафе выпить рюмочку вермута или же заходит в магазины... Вернувшись домой, обедает, спит и потом целых два часа одевается... если бы вы видели, сколько у нее платьев... шкафы битком набиты... потом опять едет на машине и наносит визиты знакомым... затем ужинает... вечером отправляется в театр или на бал... часто принимает у себя гостей... они играют в карты, пьют, слушают музыку... Это богатые люди, очень богатые. У моей хозяйки одних драгоценностей, я думаю, на несколько миллионов.

Словно ребенок, которого ничего не стоит отвлечь и у которого из-за любого пустяка меняется настроение, мама уже забыла обо мне, о том, как несправедливо обошлась со мной судьба, и слушала затаив дыхание рассказ об этой роскошной жизни.

— Миллионов? — жадно повторила она. — А ваша хозяйка красива?

Джино, куривший сигарету, с презрением выплюнул табачную крошку:

— Какое там красива... самая настоящая уродина... худая, похожа, скорей, на ведьму.

Так они продолжали разговаривать о богатстве хозяйки Джино, вернее, он продолжал хвастаться этим богатством, будто оно было его собственным. А мама, любопытство которой скоро иссякло, впала в мрачное настроение и за весь вечер не произнесла больше ни слова. Возможно, она стыдилась, что вела себя бестактно, а может быть, завидовала этому богатству и с досадой думала, что мой жених — нищий.

На следующий день я с беспокойством спросила у Джино, не обиделся ли он на маму, но Джино ответил, что, хотя он и не разделяет ее точку зрения, зато прекрасно понимает, что все объясняется жизнью мамы, полной несчастья и лишений. «Можно только пожалеть ее», — сказал он. Я была уверена, что говорит он так потому, что любит меня. Таково было мое мнение на этот счет, поэтому я была благодарна Джино, проявившему необыкновенную чуткость. По правде, я боялась, что мамина выходка испортит наши отношения. Да, я была благодарна Джино за его тактичность и еще раз подумала, что он — само совершенство. Если бы я была не так ослеплена и более опытна, я бы поняла, что такое впечатление может производить только человек бессовестный и лживый, а искренний выказывает вместе с достоинствами свои слабости и недостатки.

Короче говоря, я стала чувствовать себя ничтожеством рядом с Джино, мне постоянно казалось, что я ничем не вознаградила

его за долготерпение и такт. И если через несколько дней я уже не противилась его все более смелым ласкам, то это, вероятно, происходило от моей мягкости и доброты, ибо я смутно чувствовала, что в жизни нужно за все так или иначе платить. А кроме того, как я уже говорила о нашем первом поцелуе, меня влекла к нему неодолимая и притягательная сила, которую можно сравнить лишь с силой сна; ведь именно сон, желая сломить наше сопротивление, заставляет нас думать, что мы бодрствуем, так мы и засыпаем, убежденные, что не сдались.

Я прекрасно помню все ступени моего грехопадения, потому что каждая победа Джино была для меня и желанной и нежеланной, вызывала во мне и радость и угрызения совести. Объяснялось это тем, что каждую победу он одерживал не спеша, даже с умышленной медлительностью, не выражал нетерпения. Джино вел себя не как влюбленный, снедаемый страстью, а как полководец, который осаждает крепость, и мое послушное тело покорялось ему постепенно. Однако впоследствии Джино по-настоящему влюбился в меня, хитрость и расчет уступили место если не глубокой любви, то сильной и ненасытной страсти.

Во время наших прогулок на машине он ограничивался поцелуями в губы и шею. Но как-то утром, целуясь с ним, я почувствовала, что его пальцы теребят пуговицы моей кофточки. Потом я ощутила холод и, взглянув из-за его плеча в зеркальце над ветровым стеклом машины, увидела, что грудь у меня наполовину обнажена. Мне стало стыдно, но я не осмелилась прикрыться. Джино сам пришел мне на выручку, торопливым движением он натянул на меня кофточку и застегнул пуговицы. Я была ему благодарна за этот поступок. Но потом, дома, вспоминая об этом случае, я испытала приятное волнение. На следующий день он повторил то же самое, на сей раз мне это доставило удовольствие и не было уже так стыдно. Постепенно я привыкла к таким доказательствам его страсти, и думаю, что, если бы он не прибегал к ним вновь в вновь, я испугалась бы, что он меня разлюбил.

Между тем он все чаще говорил, как мы будем жить, когда поженимся. Он рассказывал и о своих родителях, которые жили в провинции и которые, собственно, не были уж такими бедняками: они владели небольшим участком земли. Я думаю, что с Джино случилось то, что случается со многими лгунами: они сами начинают верить в свои выдумки. Конечно, его сильно влекло ко мне, это влечение, по мере того как росла наша близость, становилось все более искренним. Что касается меня, то наши разговоры заглушали угрызения совести и давали мне

ощущение полного безмятежного счастья, какого я никогда после уже не испытывала. Я любила, была любима, рассчитывала скоро выйти замуж, и мне казалось, что бо́льшего и желать нечего.

Мама прекрасно понимала, что наши утренние прогулки носят не совсем невинный характер, и часто давала мне это понять, заявляя: «Я не знаю и знать не желаю, чем вы занимаетесь во время ваших поездок на машине» или «Ты и Джино затеяли глупость... тебе же будет хуже» и тому подобное. Однако я не могла не заметить, что теперь ее упреки звучали как-то неубедительно, спокойно и безразлично. Казалось, что она не только смирилась с мыслью, что мы с Джино будем любовниками, но как будто даже желала этого. Теперь-то я знаю точно; она ждала случая, чтобы расстроить нашу свадьбу.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Как-то в воскресенье Джино сказал мне, что его господа уехали за город, все слуги распущены по домам, а на вилле остались только он да садовник. Не хочу ли я посмотреть дом? Он мне так часто и так восторженно рассказывал о доме, что мне было интересно побывать там, и я охотно согласилась. Но в ту самую минуту, когда я дала согласие, меня охватило сильное волнение, и я поняла, что желание посмотреть виллу лишь предлог, а дело совсем в другом. Но я старалась обмануть и себя, и его, притворяясь, что верю в этот предлог; так, вероятно, всегда бывает, когда желаешь чего-то запретного.

— Я знаю, мне не следовало бы ехать туда, — сказала я, садясь в машину, — но ведь мы там долго не задержимся?

Я старалась говорить непринужденно, но все же в голосе моем слышался испуг. Джино с серьезным видом ответил:

— Мы только осмотрим дом... потом пойдем в кино.

Дом стоял на склоне холма в новом, богатом квартале среди других вилл. День был ясный, и на фоне голубого неба все эти разбросанные на холме виллы с фасадами из красного кирпича и белого камня, с лоджиями, украшенными статуями, с застекленными крышами, с террасами и балконами, уставленными геранью, с садами, где росли высокие тенистые деревья, произвели на меня впечатление чего-то неизведанного и нового, как будто я вступила в некий свободный и прекрасный мир, в котором так приятно жить. Я невольно вспомнила наш квартал, нашу улицу, тянущуюся вдоль городской стены, дома железнодорожников.

— Я жалею, что согласилась сюда приехать, — сказала я.

— Почему же? — непринужденно спросил Джино. — Мы там пробудем недолго... не беспокойся.

— Ты не так меня понял, а жалею я потому, что теперь буду стыдиться своего дома и нашей улицы, — ответила я.

— Что верно, то верно, — сказал он с облегчением, — но что поделаешь? Тебе надо было родиться миллионершей... здесь живут одни миллионеры.

Он открыл калитку и повел меня по дорожке, усыпанной гравием, по обе стороны которой росли деревца, подстриженные в виде сахарных головок и шаров. Мы вошли в виллу через широкую стеклянную дверь и очутились в чистом и просторном вестибюле с мраморным, в белую и черную клетку, полом, сверкающим как зеркало. Потом мы попали в светлый большой зал, сюда выходили двери комнат первого этажа. В конце зала находилась белая лестница, которая вела на верхний этаж. Я так оробела от всего увиденного, что невольно пошла на цыпочках. Джино заметил это и весело сказал, что я могу шуметь сколько угодно, ведь в доме никого нет.

Он показал мне гостиную, большую комнату с широкими окнами и множеством кресел и диванов; показал столовую, которая была меньше гостиной, там стояли овальный стол, стулья и буфеты из красивого темного полированного дерева; показал гардеробную со стенными белыми шкафами. В следующей, небольшой комнате в стене было углубление, там находился самый настоящий бар, на полках стояли бутылки, никелированный кипятильник для кофе и даже цинковая стойка, комната эта напоминала часовенку из-за своей золоченой решетчатой дверцы. Я спросила у Джино, где же у них готовят еду, он объяснил, что кухня и комнаты слуг находятся в полуподвале. Впервые в жизни я попала в такой дом, и, не удержавшись, стала трогать все вещи подряд кончиками пальцев, я почти не верила своим глазам. Все казалось мне новым и дорогим: стекло, дерево, мрамор, металл и ткани. Я не могла втайне не сравнивать эти полы, эти стены, эту мебель с нашими грязными полами, нашими почерневшими стенами, нашей неуклюжей мебелью и твердила сама себе, что мама права, говоря, что главное на свете — деньги.

Кроме того, я думала, что люди, живущие среди этих прекрасных вещей, сами невольно становятся прекрасными и добрыми, они не напиваются допьяна, не ругаются, не кричат, не дерутся, в общем, не делают того, что делают в нашем доме и в подобных домах.

Джино между тем в сотый раз принялся рассказывать мне, как идет жизнь в доме его хозяев. Говорил он с такой гордостью, как будто эта роскошь и это богатство отчасти принадлежали и ему.

— Обедают они на фарфоровых тарелках... а фрукты и десерт подаются на серебре... все приборы серебряные... обед состоит из пяти блюд. К нему полагаются вина трех сортов... синьора надевает платье с декольте, синьор — во всем черном... К концу обеда служанка приносит на серебряном подносе семь сортов сигарет, все, разумеется, иностранных марок... потом хозяева выходят из столовой и приказывают поднять наверх столик на колесиках с кофе и ликерами... почти всегда у них гости... иногда двое, а когда четверо... У синьоры есть вот такие большие бриллианты... а одно жемчужное колье так просто чудо... драгоценностей у нее на несколько миллионов.

— Ты мне уже говорил об этом, — резко оборвала я его.

Но, увлеченный рассказом, он не заметил моей резкости и продолжал:

— Синьора никогда не спускается к нам вниз... она отдает приказания по телефону... в кухне полно электроприборов, а чистота в ней такая, какой не найдешь у некоторых и в спальне... да что там кухня! Даже обе собаки нашей синьоры куда чище и холенее многих людей.

Джино говорил о своих хозяевах с восторгом и не скрывал презрения к бедным людям, и от его разговоров я чувствовала себя настоящей нищенкой, тем более что все время сравнивала этот дом с нашим.

Мы поднялись по лестнице на второй этаж. На лестнице Джино обнял меня за талию и крепко прижал к себе. И тогда я, не знаю почему, представила себя хозяйкой этого дома, поднимающейся на второй этаж со своим мужем после приема или званого обеда, чтобы лечь спать в одну постель. Джино как будто угадал мои мысли (это ему часто удавалось) и произнес:

— А сейчас мы ляжем спать... а завтра утром нам в постель подадут кофе.

Я рассмеялась, но почти верила, что так может быть.

В тот вечер, собираясь на свидание с Джино, я надела свой самый лучший костюм, самые лучшие туфли, самую лучшую кофточку и лучшую пару шелковых чулок. Помню, что на мне был черный жакет и юбка в черную и белую клетку. Сама ткань была неплохая, но портниха из нашего квартала, кроившая мне костюм, оказалась не намного искуснее мамы. Юбка получилась короткая, особенно сзади, так что колени были за-

крыты, а зад вздернут. Жакет с большими отворотами она обузила в талии, рукава были тесны и давили под мышками. В этом наряде я просто задыхалась, грудь сильно выпирала, будто в этом месте швее не хватило материи. Кофточка была розовая, очень простенькая, из недорогого материала, без всякой отделки, сквозь нее просвечивала моя самая лучшая сорочка из белого батиста. На мне были черные туфли из блестящей хорошей кожи, но старомодные. Я не носила шляпу, и мои темно-каштановые волнистые волосы спускались до плеч. Костюм свой я надела впервые и очень гордилась им. Мне казалось, что в нем я выгляжу элегантно, и я тешила себя иллюзией, будто на улице все обращают на меня внимание. Но как только я вошла в спальню хозяйки Джино и увидела большую, низкую и мягкую кровать с шелковым стеганым одеялом, с вышитыми полотняными простынями, с легким балдахином, спускающимся от потолка к изголовью, увидела себя сразу в трех зеркалах туалетного столика, стоявшего в глубине комнаты, я тут же поняла, что одета очень бедно, что выгляжу смешно и достойна жалости, и тогда я подумала, что до тех пор, пока не стану хорошо одеваться и жить в таком же доме, я не буду счастлива. Мне захотелось плакать, и, расстроенная, я молча присела на кровать.

— Что с тобой? — спросил Джино, усаживаясь возле меня и взяв меня за руку.

— Ничего, просто увидела одну знакомую уродину, — ответила я.

— Какую? — удивленно спросил Джино.

— Вон ту, — сказала я, показывая на зеркало, где я видела себя рядом с Джино, и мы оба, я даже больше, чем он, действительно, были похожи на двух жалких бродяг, случайно попавших в этот богатый дом.

На этот раз Джино понял, что меня одолевают чувства стыда, зависти и ревности. Обняв меня, он сказал:

— А ты не смотри в зеркало.

Он боялся, что мое настроение помешает ему осуществить задуманное, и не сознавал, что как раз состояние унижения, в котором я находилась, ему только на руку. Мы поцеловались, и этот поцелуй придал мне мужества, потому что я, несмотря ни на что, любила и была любимой. Но когда немного погодя Джино показал мне просторную комнату, отделанную белым блестящим кафелем, с ванной, с блестящими кранами, и особенно когда он раскрыл один из шкафов, где я увидела множество висевших вплотную платьев хозяйки, чувство зависти и сознание

своей бедности вернулись ко мне, и меня снова охватило отчаяние. Мне вдруг захотелось не думать больше обо всем этом, и впервые я вполне осознанно пожелала стать любовницей Джино, для того чтобы забыть о своем тяжелом положении, чтобы избавиться от гнетущего ощущения скованности и тем доказать себе, что я свободна в своих поступках. Пусть я не могу хорошо одеваться, не могу иметь такого дома, но по крайней мере могу любить так же, как любят богатые люди, а может быть, и еще сильнее.

— Зачем ты показываешь мне эти платья, какое мне до них дело? — спросила я у Джино.

— Я думал, что тебе это интересно, — растерянно ответил он.

— Нисколько, — отрезала я, — они, конечно, хороши, но я пришла сюда не затем, чтобы разглядывать платья.

Я заметила, что от моих слов глаза его сверкнули, и добавила небрежным тоном:

— Лучше покажи мне свою комнату.

— Она в полуподвале, — отозвался он, — хочешь пойти туда?

Я молча посмотрела на него, а потом с развязностью, которая была мне самой неприятна, сказала:

— Ну, хватит валять дурака!

— Но я... — смущенно и удивленно начал он.

— Ты прекрасно знаешь, что мы пришли сюда вовсе не для того, чтобы осматривать дом и любоваться платьями твоей хозяйки, а для того, чтобы попасть в твою комнату и предаться любви... ну, так пойдем скорее, и нечего больше разговаривать.

Так за то короткое время, пока мы осматривали дом, я успела измениться. Я уже не была прежней робкой и наивной девушкой, которая так недавно с трепетом переступила порог этого дома, я сама себя не узнавала и дивилась себе. Мы вышли из комнаты и начали спускаться по лестнице. Джино обнимал меня за талию, и мы целовались, останавливаясь на каждой ступеньке. Думаю, что никогда никто не спускался по этой лестнице так медленно. На первом этаже Джино толкнул скрытую в стене дверь и повел меня вниз, продолжая целовать и обнимать меня за талию. Уже наступил вечер, и внизу было темно. Так, не зажигая света, шли мы по коридору, прижавшись друг к другу и целуясь, пока не достигли комнаты Джино. Он отпер дверь, мы вошли, и я услышала, как дверь захлопнулась. Все было погружено во мрак. Мы долго целовались стоя. Наш поцелуй был бесконечен, каждый раз, когда я хотела прервать его, Джино начинал снова, а когда он хотел оборвать поцелуй, я

продолжала целовать его. Потом Джино подтолкнул меня к постели, и я упала навзничь.

Джино шептал мне на ухо нежные, вкрадчивые слова, явно пытаясь отвлечь мое внимание, чтобы я не заметила, как он старается раздеть меня, но в этом не было никакой нужды: во-первых, я уже решила отдаться ему, а во-вторых, мне стало противно мое платье, хотя прежде оно мне очень нравилось, и теперь мне не терпелось освободиться от него. Я думала, что, обнаженная, я буду так же хороша, как и хозяйка Джино, как все богатые женщины мира, а возможно, и лучше них. А кроме того, уже несколько месяцев мое тело ждало этого часа, и я чувствовала, что невольно дрожу от нетерпения и сдерживаемого желания, как дрожит изголодавшееся и связанное животное, с которого наконец после долгих мук сняли путы и дали пищу.

Поэтому все, что произошло, показалось мне вполне естественным, и к физическому наслаждению не примешалось сознание, что со мной случилось что-то необычайное. Мне даже показалось, что нечто подобное уже было со мною, не знаю где и когда, может быть в другой жизни; так бывает, когда попадаешь в незнакомую местность и тебе начинает казаться, что ты уже бывал здесь когда-то, но на самом деле ты впервые видишь этот пейзаж. Все эти мысли не мешали мне отдаваться Джино со страстью и даже исступлением, я целовала его и с силой сжимала в своих объятиях. Джино, видимо, владела такая же страсть. В этой темной комнатке, погребенной под двумя этажами пустого, безмолвного дома, мы, как мне казалось, еще долго с неистовой силой сплетали наши тела, обхватив друг друга руками, как два врага, которые борются не на жизнь, а на смерть и стараются причинить друг другу сильную боль.

Но как только наше желание было утолено и мы, изнеможенные и ослабевшие, лежали рядом, меня сразу охватил безумный страх: а вдруг Джино, овладев мною, раздумает на мне жениться. Тогда я начала говорить о доме, где мы поселимся после свадьбы.

Владения хозяйки Джино поразили меня, и теперь я была убеждена, что счастье возможно лишь в прекрасном чистом доме. Я понимала, что мы никогда не сможем иметь не только такой дом, как этот, но у нас даже не будет комнаты, похожей на эти; однако я упорно старалась не думать о трудностях и твердила, что бедный дом тоже может казаться богатым, если там чисто и все блестит как зеркало. Роскошь, а скорей всего, окружающая чистота пробудили во мне множество мыслей. Я старалась убедить Джино, что чистота преображает даже са-

мую скверную обстановку, но в действительности, приходя в отчаяние от сознания своей бедности и вместе с тем понимая, что единственный выход для меня — это брак с Джино, я старалась убедить главным образом самое себя.

— Даже две комнаты, если они чистые, если полы в них моются каждый день, — объясняла я, — если с мебели обметают пыль, медные ручки начищают до блеска и кругом полный порядок, посуда, белье, одежда и обувь, словом, каждая вещь находится на своем месте, даже и эти две комнаты могут быть уютными... главное — хорошенько подметать и мыть полы и протирать ежедневно все вещи... ты не думай, что мы с тобой будем жить так, как мы живем с мамой сейчас... мама не очень-то аккуратна, и потом ей, бедняжке, некогда... но наш дом, я тебе обещаю, будет блестеть как стеклышко.

— Конечно, конечно, — подтвердил Джино, — чистота прежде всего... знаешь, что бывает, когда синьора найдет где-нибудь в углу пылинку? Она зовет служанку, заставляет ее стать на колени и вытереть пыль руками. Вот так поступают с собаками, когда они нагадят... и синьора права.

— Я уверена, что мой дом будет чище и уютнее этого, — сказала я, — вот посмотришь.

— Но ведь ты будешь позировать, когда же тебе заниматься домом, — насмешливо возразил он.

— Еще чего — позировать! — горячо ответила я. — Позировать я больше не собираюсь... весь день буду дома, буду следить за чистотой и порядком, буду готовить для тебя... Мама говорит, что так я скоро превращусь в служанку... но если любишь человека, то и прислуживать ему приятно.

Мы еще долго-долго говорили об этом, и я почувствовала, что страх мой постепенно проходит, уступая место прежней наивной и пылкой доверчивости. Да и как я могла сомневаться? Ведь Джино не только одобрял все мои планы, но подробно обсуждал их и вносил свои поправки. Мне кажется, как я уже говорила, в тот момент он был искренен; обманывая меня, он верил в собственную ложь. Проболтав так часа два, я сладко заснула, думаю, что Джино тоже спал. Нас разбудил лунный свет, который проникал в окно полуподвала, освещая постель и нас. Джино заявил, что, должно быть, уже поздно, и в самом деле, стрелки будильника, стоявшею на столике, показывали первый час ночи.

— Мама теперь бог знает что со мной сделает, — сказала я, вскакивая с постели и принимаясь лихорадочно натягивать одежду.

— Почему?

— Первый раз я вернусь домой так поздно... ведь я никогда не выхожу вечером одна.

— Скажи ей, что мы катались, — предложил Джино, тоже поднимаясь с постели, — потом в машине что-то сломалось, и мы застряли на дороге.

— Так она и поверит!

Мы быстро покинули виллу, и Джино отвез меня домой. Я знала, что мама не поверит нашей выдумке, но не предполагала, что она чутьем поймет, что произошло у нас с Джино. Ключи от ворот и входных дверей были у меня с собой. Я вошла, бегом взлетела вверх по двум темным пролетам лестницы и отперла дверь. Я надеялась, что мама уже спит, и, видя, что в квартире нет света, успокоилась.

Не зажигая огня, я на цыпочках направилась в комнату, как вдруг кто-то с яростной силой вцепился мне в волосы. Мама — а это была она — втащила меня в темную комнату, толкнула на диван и молча принялась бить меня кулаками. Я старалась защитить голову, но мама словно разгадала мою хитрость и, изловчившись, наносила удар за ударом прямо по лицу. Наконец она устала и, тяжело дыша, уселась рядом со мною на диван. Потом поднялась, зажгла свет, встала возле меня и, уперев руки в бока, пристально посмотрела на меня. Испытывая от ее взгляда смущение и стыд, я старалась одернуть юбку и привести себя в порядок после нашей «схватки».

— Даю голову на отсечение, что ты переспала с Джино, — сказала мама своим обычным голосом.

Мне хотелось было ответить «да», сказать правду, но я боялась, что мама снова начнет бить меня, и страшилась я не столько боли, сколько того, что при свете ей будет удобнее бить меня по лицу. Я не хотела показываться на люди, а особенно Джино, с синяком под глазом.

— Нет... мы ничего не делали... во время прогулки сломалась машина, и поэтому мы задержались, — ответила я.

— А я тебе говорю, что ты спала с ним.

— Это неправда.

— Нет, правда... посмотри-ка на себя в зеркало... ты вся зеленая.

— Я просто устала... но я не спала с ним.

— Нет, спала.

— Нет, не спала.

Меня удивляло и смутно беспокоило, что в ее настойчивости не чувствовалось настоящего негодования, а, скорее, сильное и

пристрастное любопытство. Иначе говоря, мама хотела знать, отдалась я Джино или нет, ей требовалось просто узнать об этом из каких-то своих соображений, а не для того, чтобы бить или ругать меня. Но отступать было поздно, и, хотя я уже знала, что теперь она не станет меня бить, я продолжала упорно отрицать все.

Потом мама вдруг подошла ко мне и схватила меня за руку. Я собралась было опять защищаться, но она сказала:

— Не бойся, я тебя не трону... пойдем... пойдем со мной.

Я не понимала, куда она собирается вести меня, однако, напуганная всем происшедшим, молча подчинилась. Не отпуская моей руки, мама вывела меня из квартиры, заставила спуститься по лестнице и вышла со мною на улицу. На улице в этот час не было ни души. И тут я заметила, что мама держит путь прямо к красному фонарю дежурной аптеки, где помещался пункт первой медицинской помощи. У входа в аптеку я в последний раз воспротивилась, упираясь ногами в землю, но мама с силой толкнула меня, так что, влетев в аптеку, я чуть не упала на колени. В комнате находились только аптекарь и молодой врач. Мама обратилась к нему:

— Это моя дочь, осмотрите ее.

Врач провел нас в заднюю комнату, где стояла кушетка, на которой больным оказывали первую помощь, и спросил:

— Сначала скажи, что с ней случилось... почему я должен ее осматривать?

— Эта мерзавка переспала со своим женихом, а теперь все отрицает, — закричала мама, — я хочу, чтобы вы осмотрели ее и сказали правду.

Врач, которого все это начало забавлять, улыбался и подкручивал усы.

— Но вам нужна экспертиза, а не просто врачебный осмотр, — сказал он.

— Называйте это как вам угодно, — опять закричала мама, — но я хочу, чтобы вы ее осмотрели... разве вы не врач?.. Разве вы не обязаны осматривать людей, когда вас об этом просят?

— Спокойно... спокойно, — проговорил врач, — скажи, как тебя зовут?

— Адриана, — ответила я.

Мне было ужасно стыдно. Скандальный характер мамы, так же как и мой кроткий нрав, были известны всему кварталу.

— Ну, если даже она и поступила так, — сказал врач, который, очевидно, понимал мое смущение и пытался избежать

осмотра,— что же в том плохого? Они поженятся, и все кончится благополучно.

— Это уж не ваше дело!

— Спокойно, спокойно, — мягко повторил он. Потом, обращаясь ко мне, сказал: — Как видишь, твоя мать хочет, чтобы я осмотрел тебя... раздевайся... через минуту ты сможешь уйти.

Набравшись смелости, я сказала:

— Да, я отдалась Джино... пойдем домой, мама.

— Нет-нет, дорогая, — сказала она тоном, не допускающим возражений,— ты должна показаться врачу.

Я разделась и покорно вытянулась на кушетке. Врач осмотрел меня и заявил маме:

— Ты была права... Так оно и есть... Теперь ты удовлетворена?

— Сколько? — спросила мама, вынимая кошелек.

Я тем временем поднялась с кушетки и одевалась. Врач отказался от денег и спросил меня:

— Ты любишь своего жениха?

— Конечно, — ответила я.

— А когда вы поженитесь?

— Никогда он на ней не женится! — закричала мама.

Но я спокойно ответила:

— Скоро... как только накопим денег.

Наверное, в моих глазах было столько наивной веры, что врач сердечно рассмеялся, потрепал меня легонько по щеке и выпроводил нас.

Я ждала, что, как только мы вернемся домой, мама снова набросится на меня с руганью, а может быть, и с кулаками. Но дома она, не говоря ни слова, зажгла газ и принялась готовить мне еду, хотя время было позднее. Поставив сковороду на плиту, она вошла в комнату и, освободив один конец стола от лоскутов, стала накрывать. Я сидела на диване, куда совсем недавно она приволокла меня за волосы, и молча смотрела на нее. Я была в сильном замешательстве, так как она не только не упрекала меня, но даже старалась показать всем своим видом, что она чему-то очень рада и довольна. Кончив накрывать на стол, она пошла в кухню и немного погодя вернулась, неся сковороду.

— Садись, поешь.

По правде говоря, я была сильно голодна. Я смущенно подошла и села на стул, который мама заботливо мне придвинула. На сковороде была необычная еда: кусок мяса с яичницей.

— Мне много, — сказала я.

— Ешь... это полезно... тебе надо поесть, — ответила она.

Мне казалось странным это ее внимание ко мне, в нем была, пожалуй, насмешка, но не чувствовалось никакой враждебности. Немного погодя она с еле заметным ехидством спросила:

— А Джино и не подумал накормить тебя?

— Мы заснули, — ответила я, — а потом уже было поздно.

Она ничего не сказала, а только стояла и смотрела, как я ем. Так было всегда: она подавала мне еду и смотрела на меня, а потом сама шла есть на кухню. Она никогда не садилась вместе со мной за стол, ела она мало — или то, что оставалось после меня, или то, что похуже. Мама смотрела на меня, как на дорогую и хрупкую вещь, единственную вещь, которой она владеет и с которой надо обращаться осторожно и аккуратно, и эта ее ласковая услужливость и преклонение уже давно перестали меня удивлять. Но на сей раз ее спокойствие и довольный вид вызвали во мне смутную тревогу.

— Ты сердишься на меня за то, что мы с Джино... Но он обещал жениться на мне... и мы скоро поженимся.

Она тотчас же ответила:

— Я уже не сержусь на тебя... я сердилась потому, что прождала тебя весь вечер и очень беспокоилась... а теперь больше не думай об этом, ешь.

Ее фальшиво бодрый тон и уклончивый ответ — так обычно разговаривают с детьми, когда не хотят отвечать на их вопросы, вызвали во мне сильное подозрение.

— А почему не думать? Ты не веришь, что он женится на мне? — допытывалась я.

— Конечно, верю, но сейчас лучше поешь.

— Нет, ты не веришь.

— Не бойся, верю... ешь.

— Я не буду есть, пока ты не скажешь правду, — заявила я раздраженно, — почему у тебя такой довольный вид?

— Ничего подобного.

Она взяла пустую сковороду и унесла ее на кухню. Я дождалась, когда она вернется, и снова спросила:

— Ведь ты довольна?

Мама долго молча смотрела на меня и потом очень серьезно ответила:

— Да, я довольна.

— Но почему?

— Потому что теперь я наверняка знаю: Джино на тебе никогда не женится и бросит тебя.

— Неправда, он сказал, что женится.

— Не женится. Того, чего он хотел, он уже добился... он не женится и бросит тебя.

— Но почему он не женится на мне?.. Объясни, пожалуйста.

— Он не женится и бросит тебя... он только позабавится с тобой и бросит, ни гроша ты не получишь от этого босяка.

— Поэтому ты и радуешься?

— Конечно... теперь я твердо знаю, что вы не поженитесь.

— Но тебе-то какая в этом корысть? — с раздражением и горечью воскликнула я.

— Если бы он хотел жениться, он не стал бы спать с тобой, — неожиданно заявила она, — я была невестой твоего отца два года, и он только перед самой свадьбой первый раз меня поцеловал, а этот поиграет с тобой и бросит. Уж поверь мне... Я даже рада, что так получилось, если бы ты вышла за него, ты бы пропала.

В глубине души я чувствовала, что мама права, и мне на глаза навернулись слезы.

— Я знаю, ты не хочешь, чтобы у меня была своя семья... ты хочешь, чтобы я вела такую жизнь, какую ведет Анджелина, — сказала я.

Анджелина жила в нашем квартале. Сперва она все меняла женихов, а потом открыто занялась проституцией.

— Я хочу, чтобы тебе было хорошо, — буркнула мама и, собрав посуду, понесла ее на кухню мыть.

Оставшись одна, я долго размышляла над маминими словами. Я вспоминала обещания Джино, его поведение и пыталась убедить себя, что мама ошибается. Но меня смущали ее уверенность, спокойствие, ее веселый и довольный вид. Мама тем временем мыла на кухне посуду. Потом я услышала, как она поставила тарелки в буфет и пошла в спальню. Немного погодя я погасила свет и, усталая, разбитая, легла рядом с ней.

Весь следующий день я раздумывала, стоит ли говорить Джино о маминых сомнениях, и после долгих размышлений решила, что не стоит. Теперь я в самом деле опасалась, что Джино, как говорила мама, бросит меня, и я боялась повторять ему мамины слова, чтобы не натолкнуть на подобные мысли. Я впервые поняла, что женщина, которая отдалась мужчине, подчиняется ему полностью и уже не может заставить его поступать так, как ей хочется. Но я все-таки не сомневалась, что Джино сдержит свое обещание, и его поведение при первой же нашей встрече укрепило мою уверенность.

Я знала, что Джино будет ко мне внимателен и очень ласков, но я боялась, что он не заговорит о свадьбе или в крайнем

случае отделается общими словами. Но как только машина остановилась на шоссе на нашем обычном месте, Джино сказал мне, что намерен сыграть свадьбу не позднее чем через пять месяцев. Моя радость была так велика, что я не удержалась и сказала, невольно повторив мамины слова:

— А знаешь, что я думала?.. Думала, что ты меня бросишь после всего, что произошло вчера.

— Ты что же, считаешь меня подлецом? — спросил он возмущенно.

— Нет, но я знаю, что многие мужчины так поступают.

— Послушай, я могу и обидеться, — продолжал он, не обращая внимания на мой ответ. — Какого же ты мнения обо мне? Так-то ты меня любишь?

— Я тебя люблю, — ответила я просто, — но боялась, что ты меня не любишь.

— Разве я дал тебе повод так думать?

— Нет, но чужая душа — потемки.

— Знаешь, — сказал он вдруг, — ты меня так оскорбила, что я сейчас же отвезу тебя в мастерскую. — И он сделал вид, что собирается завести машину.

Испугавшись, я обхватила его шею руками и стала умолять:

— Нет, не сердись, я сказала просто так... забудь мои слова.

— Когда говорят такие вещи, значит, так думают... а если так думают, то, значит, не любят.

— Но я тебя люблю!

— А я тебя, стало быть, нет, — сказал он ядовито, — по-твоему, я решил позабавиться с тобой, а потом бросить... Странно, однако, что ты только теперь это заметила.

— Джино, почему ты так со мной разговариваешь? — спросила я со слезами на глазах. — Что я тебе сделала?

— Ничего, — ответил он и включил зажигание. — А теперь я отвезу тебя в мастерскую.

Машина тронулась, Джино с серьезным и хмурым лицом сидел за рулем, а я уже не сдерживала больше слез, глядя, как за окном мелькают деревья, километровые столбы и на горизонте, где кончаются поля, вырисовываются силуэты городских домов. Я подумала, как торжествовала бы мама, узнав о нашей ссоре и что Джино, как она и предсказывала, хочет оставить меня. В порыве отчаяния я открыла дверцу машины и, высунувшись наружу, крикнула:

— Остановись сейчас же, или я выброшусь!

Посмотрев на меня, он сбавил скорость и, повернув машину на боковую дорогу, остановил ее позади большой кучи щебня.

Потом он выключил зажигание, потянул тормоз и, повернувшись ко мне, нетерпеливо сказал:

— Ну, давай, говори быстрее.

Я решила, что он и в самом деле хочет бросить меня, поэтому стала с жаром уговаривать его, и теперь, когда я вспоминаю свое тогдашнее волнение, оно кажется мне одновременно и смешным и трогательным. Я говорила о том, как люблю его, и даже сказала, что мне неважно, поженимся мы или нет, что я была бы счастлива остаться его любовницей. Он слушал меня с мрачным видом, качал головой и повторял:

— Нет... нет, на сегодня хватит... может быть, завтра я отойду.

Но когда я сказала, что я буду рада быть хотя бы его любовницей, он резко оборвал меня:

— Нет, или мы поженимся, или все кончено.

Мы еще долго спорили, и несколько раз он своей ужасной рассудительностью доводил меня до слез и полного отчаяния. Потом постепенно его мрачное настроение начало проходить, и наконец после бесконечных поцелуев и ласк, которые я растрачивала впустую, мне удалось, как я думала, одержать над ним победу. Я уговорила его пересесть на заднее сиденье и там отдалась ему. Я должна была бы понять, что, поступая таким образом, я не только не одерживаю победу, а становлюсь еще более зависимой от него, не говоря уже о том, что я показываю свою готовность принадлежать ему не просто из чистого порыва страсти, а лишь для того, чтобы задобрить его любой ценой, когда для убеждения одних слов мало. К этому прибегают все любящие женщины, сомневающиеся в том, что они любимы. А я была тогда ослеплена его благородством и безукоризненным поведением и не понимала, что все это не более чем его врожденное лицемерие. Он делал и говорил то, что полагается делать и говорить в данном случае.

День свадьбы был назначен, и я тут же занялась приготовлениями. Мы с Джино решили хотя бы первое время после свадьбы пожить вместе с мамой. Кроме большой комнаты, кухни и спальни, в квартире была еще четвертая комната, которую мама из-за отсутствия денег не обставляла. Там мы держали старые, непригодные вещи, и можете себе представить, что это были за вещи, если все в нашем доме казалось старым и никуда не годным. После долгих разговоров мы выработали такой план: обставить эту комнату и поселиться в ней. Кроме того, надо было сшить мне приданое. Мы с мамой были очень бедны, но я знала, что у мамы есть кое-какие сбережения, по

ее словам, она копила эти деньги для меня, на всякий случай. Что это за случай, я не знаю, но уж, конечно, не моя свадьба с бедным и ненадежным человеком. Я пришла к маме и сказала:

— Деньги, которые у тебя есть, ты копила для меня, верно ведь?

— Верно.

— Тогда, если хочешь видеть меня счастливой, дай мне их, я обставлю нашу пустую комнату, и мы будем жить там с Джино... если ты откладывала эти деньги для меня, то теперь самое время их потратить.

Я ожидала ругани, скандала и наконец отказа. Но мама молча выслушала мою просьбу с тем же насмешливым спокойствием, которое так обескуражило меня, когда я возвратилась с виллы.

— А он ничего не даст? — только и спросила она.

— Конечно, даст, — солгала я, — он уже говорил об этом... но я тоже должна внести свою долю.

Мама сидела возле окна, она подняла глаза от работы и сказала:

— Пойди в спальню, открой верхний ящик шкафа... там есть картонная коробочка... в ней лежат сберегательная книжка и золотые вещи... возьми книжку и золото... я тебе их дарю.

Золота было не так уж много: кольцо, серьги и цепочка. Еще в детстве я наткнулась на эти жалкие драгоценности, спрятанные среди лоскутов, и они показались мне тогда настоящим сокровищем. Я горячо обняла маму. Она не резко, но холодно отстранила меня и сказала:

— Осторожно... у меня иголка... уколешься.

И все-таки я чувствовала себя неспокойно. Мне мало было добиться того, о чем я мечтала, я хотела большего: чтобы и мама была счастлива.

— Мама, если ты просто хочешь сделать мне приятное, тогда я ничего не возьму,— сказала я.

— Да уж, конечно, не для того, чтобы сделать приятное ему,— ответила она, принимаясь за работу.

— Ты в самом деле не веришь, что мы с Джино поженимся? — спросила я ласково.

— Никогда этому не верила, а теперь и подавно.

— Тогда почему же ты даешь мне деньги на обстановку?

— Это ведь не выброшенные деньги, у тебя останутся мебель и белье... вещи или деньги, какая разница?

— А ты пойдешь со мною в магазины выбирать вещи?

— Боже сохрани, — закричала она, — не хочу ничего знать... делайте все сами, идите, выбирайте сами, я вам не советчица!

Во всем, что касалось моей свадьбы, мама была особенно несговорчива, и мне было ясно, что эта ее несговорчивость объяснялась не поведением, характером и положением Джино, а ее собственными понятиями о жизни. То, что другим кажется странным, для мамы было совершенно естественно. Все женщины упорно желают, чтобы их дочери вышли поскорее замуж, а мама, наоборот, упорно желала, чтобы я осталась незамужней.

Так между нами началась молчаливая борьба: мама хотела, чтобы моя свадьба расстроилась и чтобы я признала справедливость ее доводов, а я, напротив, хотела, чтобы свадьба состоялась и мама убедилась бы, что мои взгляды на жизнь правильны. Поэтому мне казалось, что все мое существование зависит от того, выйду я замуж за Джино или нет. Мне горько было видеть, с какой неприязнью мама следит за моими хлопотами, желая, чтобы все кончилось крахом.

Должна заметить, что мнимое благородство Джино не было развенчано даже во время наших приготовлений к свадьбе. Я сказала маме, что Джино внесет свою долю денег на расходы, но я солгала, ибо до сих пор он даже и не заикался об этом. Потому я была удивлена и обрадована, когда Джино без обиняков предложил мне небольшую сумму денег для свадьбы. Он извинился, что сумма столь незначительна, оправдываясь тем, что не может дать больше, так как вынужден регулярно посылать деньги родителям. Теперь, вспоминая этот случай, я могу объяснить его только желанием Джино покрасоваться перед самим собой и оставаться до конца верным той роли, которую он взялся играть. Последовательность эта, вероятно, была вызвана угрызениями совести, что он обманывает меня, и сожалением, что он не может жениться на мне. Я с радостью сообщила маме о деньгах Джино. Мама едко заметила, что сумма слишком ничтожна для того, чтобы принести какую-то пользу, но вполне достаточна, чтобы пустить пыль в глаза.

Это был самый счастливый период моей жизни. Мы встречались с Джино каждый день и всюду отдавались своему порыву: на заднем сиденье машины, в темном закоулке пустынной улицы, за городом в поле и опять на вилле, в комнате Джино. Один раз ночью, когда Джино провожал меня домой, мы расположились на темной площадке лестницы, перед самым входом в квартиру, прямо на полу. Другой раз это произошло в кино, мы забрались в последний ряд, под проекционную будку. Я любила

бывать с ним в битком набитых трамваях, в общественных местах, где в толпе можно было прижаться к нему всем телом. Я испытывала постоянную потребность прикасаться к его руке, гладить его волосы, пользуясь любым случаем, ласкать его, где бы мы ни находились, даже на людях, почему-то считая, что никто ничего не заметит; так всегда кажется, когда уступаешь неодолимому влечению. Любовные ласки чрезвычайно мне нравились, и, вероятно, я любила их больше, чем самого Джино. Я замечала, что жду ласк не только из любви к жениху, но ради самого наслаждения, которое я испытывала в это время. И хотя у меня и мысли не было, что подобное наслаждение я могу испытать с другим мужчиной, я все же инстинктивно понимала, что пыл, искусность и страсть, с которыми я ласкала Джино, объяснялись не только моей любовью к нему. Все это было для меня совершенно естественно, эта черта, наверное, появилась бы, даже будь на месте Джино кто-то другой.

Но тогда я думала только о замужестве. Надеясь заработать побольше, я без устали помогала маме и зачастую ложилась спать очень поздно. В те дни, когда я не позировала, мы с Джино ходили по магазинам и присматривали мебель и другие вещи для приданого. У меня было мало денег, и именно поэтому я так придирчиво и тщательно выбирала покупки. Я просила показать мне вещи, которые заведомо не могла купить, долго разглядывала их, торговалась, сбивала цену, а потом говорила, что вещь мне не нравится, или обещала прийти в другой раз и уходила, ничего не купив. Я не понимала, что мои частые посещения магазинов, где я жадно любовалась недоступными мне вещами, невольно побуждали меня согласиться с мамой: без денег счастье не может быть полным. После второго посещения виллы, когда я снова заглянула в рай роскоши, из которого я была изгнана без всякой вины, я невольно почувствовала горечь и возмущение. Но я старалась, как и в первый раз, выбросить из головы мысль об этой несправедливости. Любовь была моим единственным богатством, и она позволяла мне чувствовать себя ровней богатым и более удачливым женщинам.

Наконец после долгих поисков и обсуждений я решилась сделать свои весьма скромные покупки. Я купила в рассрочку полный спальный гарнитур в стиле модерн: двуспальную кровать, туалетный столик с зеркалом, тумбочки, стулья и шкаф. Это были самые обыкновенные, недорогие и топорно сработанные вещи, но я сразу же ужасно полюбила свою мебель. Стены комнаты побелили, двери и окно покрасили, пол отциклевали, так что теперь наша комната походила на чистенький островок,

затерявшийся среди моря грязи. Тот день, когда в комнату привезли мебель, был одним из счастливейших дней моей жизни. Мне даже не верилось, что эта чистая, обновленная, светлая, пахнущая мелом и краской комната принадлежит мне, и к этому удивлению примешивалось чувство бесконечной радости. Иной раз, когда я знала, что мама за мной не следит, я шла в свою комнату, садилась на голый матрац и часами сидела, любуясь своим сокровищем. Сидя неподвижно, как статуя, я разглядывала мебель, не веря, что она существует, и боялась, что в любую минуту она исчезнет и останутся только одни пустые стены. Иногда я вставала и осторожно стирала тряпкой пыль с вещей, вновь возвращая дереву его блеск. Думаю, что если бы так продолжалось дальше, то в один прекрасный день я стала бы даже целовать свою мебель. Окно, на котором не было занавесок, выходило на большой грязный двор, окруженный такими же, как наш, низкими и длинными домами. Двор был похож на больничный или тюремный, но я, погруженная в свои грезы, уже ничего не замечала и была так счастлива, словно моя комната выходила окнами в прекрасный тенистый сад. Я представляла себе нашу жизнь с Джино здесь, в этой комнате, представляла, как мы будем спать здесь и как будем любить друг друга. Я уже раздумывала, какие вещи нужно еще прикупить, как только представится возможность: здесь будет ваза с цветами, тут — лампа, а вот тут нужна пепельница или какая-нибудь безделушка. Единственное, что меня огорчало, это невозможность устроить себе ванную комнату, пусть даже не такую, как на вилле, белую и сверкающую кафелем и никелем, но хотя бы просто новую и чистую. Зато я решила содержать свою комнату в чистоте и порядке. После посещения виллы я пришла к убеждению, что роскошь начинается именно с порядка и чистоты.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Я по-прежнему продолжала позировать художникам и подружилась с одной натурщицей по имени Джизелла. Это была высокая, прекрасно сложенная девушка с белоснежной кожей, с черными курчавыми волосами, с голубыми, глубоко посаженными маленькими глазками и пухлым ярко-красным ртом. Нравом она совсем на меня не была похожа: раздражительная, резкая, высокомерная и вместе с тем очень практичная и корыстная, думаю, эта разница характеров и сблизила нас. Я не зна-

ла, было ли у нее еще какое-либо занятие, кроме работы на¬турщицы, но одевалась она гораздо лучше меня и не скрывала, что получает подарки и деньги от мужчины, которого называла своим женихом. Помню, той зимой она щеголяла в жакете с воротником и манжетами из черного каракуля, я ей страшно завидовала. Жениха ее звали Риккардо. Этот высокий, толстый, холеный, флегматичный юноша с гладким, как яйцо, лицом казался мне очень красивым. Он всегда был аккуратно причесан, напомажен и одет с иголочки: его отец держал магазин галстуков и мужского белья. Риккардо был простоват до глупости, приветлив, весел и, возможно, даже добр. Он был любовником Джизеллы, и не думаю, чтоб между ними, как между мной и Джино, существовала какая-то договоренность о браке. Но Джизелла все-таки надеялась женить его на себе, хотя и не слишком на это рассчитывала; что касается Риккардо, то, я уверена, мысль о женитьбе на Джизелле даже не приходила ему в голову. Джизелла была не очень умна, но значительно опытнее меня, поэтому она решила покровительствовать мне и просвещать меня. Короче говоря, она смотрела на жизнь и на счастье так же, как и моя мама. Только мама пришла к такому горькому и сомнительному выводу после многих разочарований и лишений, а у Джизеллы эти взгляды были следствием ее тупости, к которой примешивалось упрямое самодовольство. Мама остановилась, если можно так выразиться, на провозглашении этих идей, для нее важнее было формальное согласие с ее принципами, нежели применение их на практике. Джизелла всегда думала только так и даже не подозревала, что можно смотреть на вещи иначе; ее удивляло, что я поступаю не как она, и, когда я однажды намекнула ей, что не разделяю подобных взглядов, удивление сменилось досадой. Она вдруг поняла, что я не только не нуждаюсь в покровительстве и советах, но могу даже при желании осудить ее с высоты своих бескорыстных и честных стремлений; и тогда она решила, возможно не отдавая себе в том отчета, развенчать мои мечты и добиться того, чтобы я стала такой же, как она, А пока она то и дело называла меня дурочкой за мою скромность, твердила, что ей жалко смотреть, как я жертвую собой, плохо одеваюсь, а ведь мне при моей внешности стоит только захотеть, и я смогу полностью изменить свою жизнь. В конце концов, устыдившись, что Джизелла, не дай бог, подумает, будто я вообще никогда не имела дела с мужчинами, я рассказала ей о Джино, упомянув при этом, что мы помолвлены и скоро поженимся. Она меня тотчас же спросила, чем занимается Джино, и, узнав, что он шофер,

скорчила презрительную гримасу. Но все же попросила познакомить ее с ним.

Джизелла была моей близкой подругой, а Джино — моим женихом, теперь-то я могу судить о них хладнокровно, но тогда я мало что смыслила в жизни и не умела разбираться в людях. Джино, как я уже говорила, казался мне идеальным человеком; что касается Джизеллы, то, как ни явны были ее недостатки, я считала, что их искупают доброе сердце и хорошее ко мне отношение; я предполагала, что она заботится о моей судьбе не из чувства зависти к моей чистоте и не из желания совратить меня, а по доброте никем не понятой и заблудшей души. Поэтому я не без трепета устроила их встречу: по своей наивности я желала, чтобы они подружились. Знакомство состоялось в кафе. Джизелла все время хранила сдержанное и вызывающее молчание. Мне показалось, что Джино решил очаровать Джизеллу, потому что, как всегда, завел разговор о вилле, превознося богатство своих хозяев, будто надеялся ослепить ее и скрыть свое собственное скромное положение. Но Джизелла не сдалась и продолжала смотреть на Джино с неприязнью. Потом, не помню, по какому поводу, она заметила:

— Вам повезло, что вы встретили Адриану.

— Почему? — удивленно спросил Джино.

— Потому что обычно шофера имеют дело со служанками.

Я видела, как Джино переменился в лице, но он был не из тех людей, которых легко захватить врасплох.

— Вы правы, совершенно правы, — медленно произнес он, понижая голос, тоном человека, который впервые задумался над таким вопросом, — в самом деле, шофер, который служил до меня, женился как раз на кухарке... понятно, а как же иначе? Со мной должно было произойти то же самое... шофера женятся на служанках, а служанки выходят замуж за шоферов... как же я раньше об этом не подумал? Однако я бы предпочел, чтобы Адриана была судомойкой, а никак не натурщицей, — небрежно добавил он и поднял руку, как бы предвидя возражения со стороны Джизеллы,— эта профессия вообще не нравится мне, и не только потому, что приходится раздеваться перед мужчинами, с чем, конечно, я тоже не могу примириться, но главное, это занятие предполагает сомнительные знакомства и симпатии...— Тут он покачал головой и скривил рот. Потом, предлагая сигареты, спросил: — Вы курите?

Джизелла не нашлась что сказать и просто отказалась от предложенной сигареты. Потом, посмотрев на часы, сказала:

— Адриана, мы должны идти, нам пора.

В самом деле, было уже поздно, и, попрощавшись с Джино, мы вышли. На улице Джизелла заявила:

— Ты собираешься совершить величайшую ошибку... я никогда бы не вышла замуж за такого человека.

— Он тебе не понравился? — тревожно спросила я.

— Ни капельки... вот ты говорила, что он высокого роста, а на самом деле он даже немного ниже тебя... глаза у него лживые, он никогда не смотрит прямо в лицо... никогда не бывает самим собой и разговаривает деланным голосом, сразу видно, что говорит совсем не то, что думает... и потом, откуда такая спесь у простого шофера?

— Но я его люблю, — возразила я.

Она спокойно ответила:

— Да, но он-то тебя не любит... и когда-нибудь бросит.

Я была поражена этим предсказанием, которое было сделано таким уверенным тоном и так совпадало с маминими словами. Теперь я могу заявить, что Джизелла при всей своей неприязни к Джино за один час узнала его характер лучше, чем я за все эти месяцы. Джино со своей стороны высказал по поводу Джизеллы нелестное мнение, с которым я впоследствии вынуждена была отчасти согласиться. В действительности я ничего не замечала не только из-за своей неопытности, но и из-за любви, которую питала к ним обоим; а ведь верно говорят, что если первое впечатление о человеке плохое, то оно почти всегда подтверждается.

— Таких женщин, как Джизелла, — сказал Джино, — у нас в деревне зовут покладистыми. — Я удивилась. Джино пояснил: — У нее манеры и характер уличной женщины... гордится тем, что хорошо одета... а как она заработала эти наряды?

— Ей жених их покупает.

— Каждый вечер новый жених... Ну вот что, выбирай, или я, или она.

— Что ты хочешь этим сказать?

— Я хочу сказать, что можешь поступать, как тебе заблагорассудится... но, если ты хочешь водить с ней дружбу, мы должны будем расстаться... или я, или она.

Я попыталась разубедить его, но мне это не удалось. Он, конечно, был оскорблен пренебрежительным отношением Джизеллы. Кроме того, в этой острой неприязни, должно быть, сказалось решение не отступать от роли жениха, следуя которой он внес свою долю денег на приготовления к свадьбе. Как всегда, он прекрасно сумел изобразить чувства, которых отнюдь не испытывал.

— Моя невеста не должна дружить с продажными женщинами, — упрямо твердил он.

В конце концов, боясь, что наша свадьба расстроится, я пообещала ему не встречаться больше с Джизеллой, хотя это было невозможно, так как мы позировали с ней одновременно в одной и той же мастерской.

С того дня я продолжала видеться с Джизеллой тайком от Джино. При всяком удобном случае она с насмешкой и презрением говорила о моей помолвке. Я допустила ошибку, рассказав ей о наших отношениях с Джино, и она воспользовалась моей откровенностью, чтобы высмеивать мою теперешнюю жизнь и мое будущее. Ее друг Риккардо, который, казалось, не видел никакой разницы между мной и Джизеллой, считая нас обеих девушками легкомысленными и недостойными уважения, охотно участвовал в игре Джизеллы. Он добродушно и глуповато подсмеивался надо мной, ибо, как я уже говорила, не был ни умен, ни зол. Для него моя помолвка служила поводом для шуток, возможностью убить время. А Джизелла видела в моей порядочности постоянный укор себе, и ей хотелось сделать меня похожей на себя, чтобы отнять у меня право критиковать ее поведение, поэтому она вкладывала в свои насмешки много ехидства и всячески изощрялась, чтобы обидеть и унизить меня.

Чаще всего она затрагивала больной для меня вопрос о моей одежде. Она, например, говорила: «Сегодня мне просто стыдно идти с тобой по улице». Или заявляла: «Риккардо никогда не позволил бы мне ходить в таких тряпках... правда, Риккардо? Любовь доказывают не словами, а делом...»

Я каждый раз по наивности попадалась на удочку, горячо защищала Джино, менее уверенно защищала свои платья и в конце концов, покраснев, с глазами, полными слез, признавала себя побежденной. Однажды Риккардо, очевидно пожалев меня, сказал:

— Сегодня я хочу сделать Адриане подарок... пойдем Адриана... я подарю тебе сумочку.

Но Джизелла воспротивилась:

— Нет, нет, никаких подарков... у нее есть Джино, пусть он и делает ей подарки.

Риккардо, который хотел сделать мне этот подарок по простоте душевной, тотчас же отказался, но он даже не предполагал, какое удовольствие доставил бы мне его подарок. И я, чтобы досадить им, тут же пошла в магазин и купила сумку на свои деньги. На следующий день я предстала перед ними с обновой и сказала, что сумку подарил мне Джино. Это была моя единст-

венная победа, которую я одержала в нашей жалкой войне. Обошлась мне она недешево: сумка была хорошая и дорогая.

Когда Джизелла сочла, что ей удалось своими оскорблениями и нотациями поколебать и сломить меня, она сказала, что хочет сделать мне одно предложение.

— Только позволь мне высказаться до конца, — добавила она,— не строй из себя, как всегда, недотрогу, пока не выслушаешь.

— Говори, — ответила я.

— Ты знаешь, — начала она, — что я тебя люблю, можно сказать, как родную сестру... ты при твоей внешности могла бы иметь все, что только пожелаешь... мне страшно обидно за тебя, что ты одеваешься, как нищенка... а теперь слушай.— Она взглянула на меня, потом торжественно продолжала: — Я знаю одного очень благородного серьезного синьора, который видел тебя и интересуется тобой... он женат, но семья его живет в провинции, он важная персона в полиции,— добавила она, понизив голос,— если хочешь познакомиться с ним, я могу тебе его представить... он, как я уже сказала, мужчина очень благородный, серьезный, ему можно вполне довериться: никто никогда ничего не узнает... вообще он очень занятой человек, и ты будешь встречаться с ним два-три раза в месяц... он ничего не имеет против того, чтобы ты продолжала видеться с Джино, если хочешь... и даже чтобы ты вышла за него замуж... он в свою очередь постарается скрасить твою жизнь... ну, что ты на это скажешь?

— Скажу, что очень ему благодарна, но согласиться не могу,— прямо ответила я.

— Но почему? — спросила она с искренним удивлением.

— Потому что не могу... я люблю Джино и если бы согласилась, то не смогла бы больше смотреть ему в глаза.

— Да ну... Джино об этом даже не узнает.

— Вот именно поэтому я не хочу.

— Подумать только, если бы кто-нибудь сделал мне такое предложение...— продолжала она, как бы разговаривая сама с собой, — ну так что же мне ему передать? Что ты подумаешь?

— Нет, нет... я не согласна.

— Дурочка, — насмешливо сказала она, — сама же отказываешься от своего счастья.

Она еще долго уговаривала меня, но я упорно отвечала отказом, и она ушла страшно раздосадованная.

Я решительно отвергла это предложение, даже не стараясь особенно вникнуть в его смысл. А потом, когда я осталась одна,

я почувствовала чуть ли не сожаление: а что, если Джизелла была права и это единственный путь получить то, в чем я так нуждаюсь. Но я тотчас отвергла этот соблазн и еще сильнее ухватилась за мысль выйти замуж и зажить хоть бедно, зато честно. Мне казалось, что жертва, которую я принесла, обязывала меня теперь больше, чем когда-либо, непременно выйти замуж.

Однако мое тщеславие давало себя знать, и я не удержалась и рассказала маме о предложении Джизеллы. Я надеялась доставить ей двойное удовольствие: поскольку мама очень гордилась моей красотой и, кроме того, не желала расставаться со своими идеями, это предложение было и лестным для нее и подтверждало правильность ее убеждений. Но того волнения, какое вызвал в ней мой рассказ, я никак не ожидала. Глаза ее заблестели, а лицо даже порозовело от удовольствия.

— А кто он? — спросила она наконец.

— Синьор, — ответила я.

Мне было стыдно говорить, что он служит в полиции.

— И она говорит, что он очень богат?

— Да... кажется, зарабатывает он порядочно.

Мама не осмеливалась вслух высказать то, что ясно было написано у нее на лице: отказавшись от этой сделки, я поступила глупо.

— Он тебя видел и говорит, что заинтересовался тобой... а почему бы тебе с ним не познакомиться?

— Но какой в том толк, если я не согласна?

— Жалко, что он уже женат.

— Будь он даже холост, я все равно не желаю его знать.

— Но это для тебя удобный случай устроиться, — сказала мама, — он человек богатый... любит тебя... а остальное приложится... он может тебе помочь, ничего не требуя взамен.

— Нет, нет, — ответила я, — такие люди ничего не делают даром.

— Это еще неизвестно.

— Нет, нет, — твердила я.

— Ну, ладно, — сказала мама, покачав головой, — но Джизелла, видно, добрая девушка и заботится о тебе по-настоящему... другая на ее месте позавидовала бы и промолчала... она же хорошая подруга.

После моего отказа Джизелла перестала говорить со мною о благородном синьоре и, к моему величайшему удивлению, совсем бросила подсмеиваться над моей помолвкой. Я продолжала потихоньку встречаться с Джизеллой и Риккардо, однако неод-

нократно заводила с Джино разговор о ней, надеясь помирить их, так как обманывать его мне было неприятно. Но Джино даже и слушать меня не хотел, он возмущался поведением Джизеллы и клялся, что, как только узнает, что я встречаюсь с ней, между нами все будет кончено. Он говорил об этом серьезно, и я даже испугалась, как бы он не воспользовался этим предлогом, чтобы расстроить нашу свадьбу. Я сказала маме, что Джино терпеть не может Джизеллу, и мама почти беззлобно заметила:

— Он неспроста хочет, чтобы ты не встречалась с Джизеллой. Ясно, ты будешь сравнивать свои лохмотья, в которых он тебя заставляет ходить, с платьями Джизеллы, которые ей дарит жених.

— Нет, он говорит, что Джизелла непорядочная женщина.

— Сам он непорядочный человек... узнай он, что ты видишься с Джизеллой, небось отказался бы от тебя.

— Мама, уж не думаешь ли ты сообщить ему об этом? — испуганно спросила я.

— Нет-нет, — быстро и как бы с сожалением сказала она, — я в ваши дела не вмешиваюсь.

— Если ты ему об этом скажешь, то ты меня больше не увидишь, — твердо сказала я.

Наступило бабье лето, дни стояли теплые и ясные. Как-то раз Джизелла сказала мне, что она, Риккардо и его друг задумали совершить прогулку на машине. Им нужна была еще одна девушка, чтобы составить компанию этому другу, и вот они решили пригласить меня. Я с радостью согласилась, ведь я старалась не упустить ни одного развлечения, которое хоть чем-то скрасило бы мою скучную жизнь. Я сказала Джино, что мне придется позировать несколько дополнительных часов, и рано утром отправилась на место встречи у моста Мильвио. Машина уже стояла там, и, когда я подошла, Джизелла и Риккардо, сидевшие впереди, даже не двинулись с места, но друг Риккардо вылез из машины и пошел мне навстречу. Это был еще молодой мужчина среднего роста, лысый, с желтоватым лицом, большими черными глазами, орлиным носом и широким ртом, уголки которого поднимались кверху, отчего казалось, что он все время улыбается. Выглядел он элегантно, но совсем не так, как Риккардо, на нем был строгий темно-серый пиджак, более светлые серые брюки, крахмальный воротничок и черный галстук с жемчужной булавкой. Голос у него был тихий, взгляд казался кротким, грустным, и вместе с тем, когда он смотрел на вас, становилось как-то не по себе. Держался он очень корректно и

даже церемонно. Джизелла представила его мне как Стефано Астариту, и я тотчас же решила, что он и есть тот самый благородный синьор, предложение которого она мне передавала. Но это знакомство не вызвало во мне недовольства, ведь в его предложении не было, в конце концов, ничего оскорбительного, даже, наоборот, оно мне в какой-то мере льстило. Я протянула ему руку, и он поднес ее к губам со странным благоговением и какой-то болезненной жадностью. Потом я села в машину, он устроился рядом со мною, и мы поехали.

Пока машина мчалась мимо пожелтевших полей по гладкой, залитой солнцем дороге, мы почти не разговаривали. Мне приятно было сидеть в машине, приятна была прогулка, приятен был ветерок, который овевал мое лицо, и я не могла наглядеться на деревенскую природу. Только второй или третий раз в жизни я совершала такую дальнюю поездку и боялась, что не смогу как следует насладиться, я смотрела во все глаза и старалась разглядеть все, что только можно: стога сена, сараи, деревья, поля, холмы, леса. Пройдут месяцы, думала я, а может быть, и годы, прежде чем я снова увижу эти места, поэтому нужно запомнить все до мелочей и сохранить в памяти эти картины, чтобы потом иногда вспоминать их. Астарита же, застывший, как статуя, и сидевший на почтительном расстоянии, смотрел только на меня. Он ни на минуту не сводил своих грустных и жадных глаз с моего лица и всей моей фигуры, и, по правде говоря, мне казалось, что этот взгляд ощупывает меня. Не могу сказать, что такое внимание было мне неприятно, но оно меня смущало. Потом я почувствовала, что должна развлечь его разговором. Он сидел, сложив руки на коленях, и я увидела на его руке обручальное кольцо и перстень с бриллиантом.

— Какой красивый перстень! — восторженно сказала я.

Опустив глаза, он посмотрел на перстень и ответил:

— Это перстень моего отца... я снял кольцо с его пальца, когда он умер.

— Ох, — сказала я, как бы извиняясь, и, показав на обручальное кольцо, добавила: — Вы женаты?

— А как же иначе, — ответил он с мрачным видом, — у меня есть жена, дети... есть все.

— А ваша жена красива? — робко спросила я.

— Не так красива, как вы, — тихо сказал он серьезным и торжественным тоном, как будто сообщал что-то очень важное. Рукой, на которой были кольца, он попытался коснуться моей

ладони. Но я тотчас же отстранилась и как ни в чем не бывало спросила:

— Вы живете вместе?

— Нет, — ответил он, — жена живет в... — и он назвал далекий провинциальный город, — а я живу здесь... совсем один... я надеюсь, вы навестите меня.

Я сделала вид, что не расслышала его слов, сказанных печальным, дрожащим голосом, и спросила:

— А почему так? Почему вы не живете вместе с женой?

— Мы разошлись полюбовно, — объяснил он, — я был совсем еще мальчишкой, когда меня женили... свадьбу устроила моя мать... вы знаете, как делаются такие дела... девушка из хорошей семьи с хорошим приданым... родители договариваются о свадьбе, а потом дети вынуждены пожениться... Жить вместе с женой? А вы на моем месте стали бы жить с такой женщиной?

Он вынул бумажник, открыл его и протянул мне фотографию. Я увидела двух девочек, похожих друг на друга как две капли воды, у обеих были черные волосы, бледные лица и светлые платьица. Позади, положив руки им на плечи, стояла маленькая женщина с черными волосами и бледным лицом, у нее были круглые, как у совы, глаза, а лицо злое. Я вернула фотографию, он положил ее в бумажник и выпалил единым духом:

— Нет... я хотел бы жить с вами.

— Но ведь вы меня совсем не знаете, — ответила я, встревоженная его горячностью.

— Я вас прекрасно знаю, уже целый месяц я наблюдаю за вами... Я знаю о вас все.

Он сидел, отодвинувшись от меня, говорил со мной почтительно, но было видно, что он сильно взволнован, от чего глаза его готовы выскочить из орбит.

— У меня есть жених, — ответила я.

— Джизелла мне рассказала, — произнес он глухим голосом, — но мы не будем говорить о вашей помолвке... какое это имеет значение? — И он сделал рукой резкий и небрежный жест.

— Для меня это имеет значение, — заявила я.

Он посмотрел на меня и сказал:

— Вы мне очень нравитесь.

— Я это заметила.

— Вы мне очень нравитесь, — повторил он, — вы даже не представляете как.

В самом деле, он был похож на безумного. Но меня успокоило то, что он сидел далеко от меня и не пытался больше взять меня за руку.

— В том, что я так вам нравлюсь, нет ничего плохого, — сказала я.

— А я вам нравлюсь?

— Нет.

— У меня есть деньги,— сказал он, и лицо его судорожно передернулось, — у меня достаточно денег, чтобы сделать вас счастливой... если вы навестите меня, вы не раскаетесь.

— Мне не нужны ваши деньги,— спокойно и мягко сказала я.

Казалось, он не расслышал и продолжал, глядя на меня:

— Вы очень красивы.

— Спасибо.

— У вас прекрасные глаза.

— Вы так думаете?

— Да... и рот у вас тоже прекрасный, я хотел бы поцеловать его.

— Зачем вы говорите мне такие вещи?

— Я хотел бы всю вас целовать... всю...

— Почему вы так разговариваете со мною? — снова возразила я. — Это нехорошо... я помолвлена и через два месяца выйду замуж.

— Извините меня, — сказал он, — но мне доставляет удовольствие говорить такие вещи... считайте, что я не говорил вам ничего.

— Далеко ли еще до Витербо? — спросила я, желая переменить разговор.

— Мы почти приехали... в Витербо мы пообедаем... разрешите за столом сесть возле вас?

Я рассмеялась, в конце концов такое сильное чувство подкупало меня.

— Ладно, — ответила я.

— Вы будете сидеть рядом вот так, как сейчас, — продолжал он,— мне достаточно вдыхать запах ваших волос.

— Но я ведь не надушена.

— Я подарю вам духи,— сказал он.

Мы уже въехали в Витербо, и машина замедлила ход. В продолжение всего пути Джизелла и Риккардо, сидевшие впереди нас, молчали. Но как только мы выехали на центральную улицу, полную народа, Джизелла обернулась к нам и сказала:

— Ну, как вы там? Вы думаете, мы ничего не видели?

Астарита молчал, а я запротестовала.

— Ничего ты не могла видеть... мы разговаривали.

— Рассказывай... — ответила она.

Я была удивлена и даже немного рассержена как поведением Джизеллы, так и молчанием Астариты.

— Но ведь я тебе говорю... — начала я.

— Рассказывай... — опять повторила она, — но ты не бойся... мы ничего не скажем Джино.

Мы остановились на площади, вышли из машины и начали прогуливаться по центральной улице среди нарядно одетой толпы под мягкими лучами яркого ноябрьского солнца. Астарита ни на минуту не оставлял меня. Он был серьезен, даже мрачен, высокий воротничок упирался ему в подбородок, одна рука была в кармане, а другая вяло повисла вдоль туловища. Казалось, что он не просто гуляет, а охраняет меня. Джизелла громко смеялась и шутила с Риккардо, и люди оборачивались на нас. Мы вошли в кафе и стоя выпили вермута. Вдруг я заметила, что Астарита цедит сквозь зубы какие-то ругательства, и спросила у него, в чем дело.

— Вон тот идиот возле двери нахально смотрит на вас, — с возмущением сказал он.

Я обернулась и увидела, что какой-то худощавый молодой блондин в самом деле смотрит на меня, застыв на пороге кафе.

— Что же тут плохого? — весело сказала я. — Он на меня смотрит... ну и что же?

— Я готов подойти к нему и набить морду.

— Если вы это сделаете, я больше никогда не буду с вами видеться и не буду разговаривать, — сказала я, начиная раздражаться. — Вы не имеете права... вы мне никто...

Он ничего не ответил и пошел к кассе заплатить за вермут. Мы вышли из кафе и снова начали прогуливаться по улице. Солнце, гул и движение толпы, здоровые и румяные лица провинциальных жителей подействовали на меня успокаивающе. Когда мы вышли на маленькую пустынную площадь, расположенную в конце улицы, я сказала, показывая на простой маленький двухэтажный дом, стоящий за церковью:

— Вот если бы у меня был такой хороший домик, как этот, я была бы готова остаться здесь навсегда.

— Боже сохрани, — ответила Джизелла, — жить в провинции, и вдобавок в Витербо... ни в коем случае, хоть озолотите меня.

— Тебе бы скоро здесь наскучило, Адриана, — подхватил Риккардо, — кто привык к столице, в провинции жить не может.

— Ошибаетесь, я охотно жила бы тут... с человеком, который меня любит... четыре чистые комнаты, балкон, увитый виноградом, четыре окна... большего мне и не надо.

Я говорила искренне, потому что видела в этом домике себя и Джино.

— А вы что на это скажете? — спросила я, обращаясь к Астарите.

— С вами бы я здесь остался, — ответил он тихо, чтобы другие не услышали его.

— Твой недостаток, Адриана, в том, что ты слишком непритязательна, — сказала Джизелла, — кто ждет от жизни мало, тот мало и получает.

— Но я ничего и не хочу, — ответила я.

— А выйти замуж за Джино хочешь? — заметил Риккардо.

— О, это да.

Было уже поздно, улица опустела, и мы вошли в ресторан. Зал первого этажа был полон, здесь собрались главным образом крестьяне, приехавшие в Витербо на воскресный базар. Джизелла, поморщив нос, заметила, что здесь ужасная вонь, просто дышать нечем, и спросила хозяина ресторана, не можем ли мы пообедать на втором этаже. Хозяин ответил, что можем, и повел нас по деревянной лестнице наверх. Мы вошли в длинную, узкую комнату с одним окном, выходящим в переулок. Хозяин распахнул жалюзи и накрыл скатертью грубо отесанный стол, занимавший большую часть комнаты. Помню, что стены были оклеены старыми, выцветшими, порванными во многих местах обоями, на которых были изображены цветы и птицы, кроме стола, здесь находился небольшой со стеклянными дверцами буфет, полный посуды.

Джизелла тем временем расхаживала по комнате и все осматривала, даже в окно выглянула. Наконец она открыла дверь, которая, вероятно, вела в другую комнату, заглянула туда, а потом, обратившись к хозяину, спросила с наигранной непринужденностью, что там такое.

— Это спальня, — ответил хозяин, — если после обеда кто-нибудь захочет отдохнуть...

— Отдохнем, Джизелла, а? — сказал Риккардо, глупо ухмыляясь.

Но Джизелла сделала вид, что не слышит, и, еще раз заглянув в спальню, осторожно притворила дверь, но не совсем плотно. Маленькая и уютная столовая понравилась мне, поэтому я вначале не обратила внимания ни на эту неплотно прикрытую дверь, ни на многозначительный взгляд, которым, как мне по-

чудилось, обменялись Джизелла и Астарита. Мы уселись за стол, и я оказалась рядом с Астаритой, как и обещала ему, но он как будто этого не замечал, он был чем-то озабочен, так что даже не мог разговаривать. Немного погодя снова вошел хозяин и принес вино и закуски. Я страшно проголодалась, поэтому с жадностью накинулась на еду, что вызвало смех у остальных. Джизелла воспользовалась случаем и снова начала свои шутки по поводу моей свадьбы.

— Ешь, ешь, — заметила она, — а то вам с Джино не придется так много и вкусно есть.

— Почему? — спросила я. — Джино сможет заработать на жизнь.

— Конечно, и каждый день вы будете есть фасоль.

— Фасоль не такая уж плохая штука, — сказал смеясь Риккардо, — вот возьму и закажу сейчас фасоль.

— Ты ведешь себя глупо, Адриана, — продолжала Джизелла, — тебе нужен хорошо обеспеченный человек... серьезный, порядочный мужчина, который заботился бы о тебе, ни в чем бы тебе не отказывал и ценил бы твою красоту... а ты вместо этого возишься с Джино.

Я упрямо молчала и, не поднимая головы, продолжала есть, Риккардо со смехом заметил:

— А я на месте Адрианы не отказался бы ни от Джино, который ей нравится, ни от серьезного мужчины... я прибрал бы к рукам их обоих... и Джино, скорей всего, не имел бы ничего против.

— Нет, это неправда, — быстро возразила я, — если он узнает о нашей сегодняшней поездке, он разорвет нашу помолвку.

— Это еще почему? — обиженно спросила Джизелла.

— Да потому что он не хочет, чтобы я с тобой дружила.

— Ах он гадкий, грязный оборванец, невежа, — злобно прошипела Джизелла, — с удовольствием пошла бы к нему и заявила: Адриана встречается со мною, сегодня мы целый день провели вместе, а теперь можешь разорвать помолвку.

— Нет, нет, — испугалась я, — не надо.

— Это было бы для тебя истинным счастьем.

— Да, но не делай этого, — принялась заклинать я, — если ты любишь меня, ты этого не сделаешь.

Во время нашего разговора Астарита не произнес ни слова и почти ничего не ел. Он смотрел только на меня своим тяжелым, печальным взглядом, что меня очень смущало. Я хотела было попросить его не смотреть так на меня, но я побоялась новых насмешек Джизеллы и Риккардо. По той же самой при-

чине я не осмелилась возразить Астарите, когда он взял мою левую руку и крепко сжал ее в своей, так что мне пришлось есть одной рукой. Очевидно, я совершила промах, потому что Джизелла вдруг засмеялась и сказала:

— На словах такая преданность Джино... а на деле... думаешь, я не вижу, как вы с Астаритой жмете друг другу руки под столом?

Я страшно покраснела в попыталась вырвать руку, но Астарита крепко ее держал. Риккардо произнес:

— Да оставь их в покое... что ж тут плохого? Они держатся за руки... последуем и мы их примеру.

— Я пошутила, — сказала Джизелла, — наоборот, я очень рада.

Покончив с макаронами, мы долго ждали второго блюда. Джизелла и Риккардо все время смеялись, шутили, пили вино, и меня тоже заставляли пить. Красное вино, приятное, но очень крепкое, быстро ударило мне в голову. Мне нравился его обжигающий и терпкий вкус, и мне казалось, что я совершенно трезва и могу пить сколько угодно. Астарита, серьезный и мрачный, сжимал мою руку, и я не сопротивлялась, успокаивая себя тем, что, в конце концов, тут нет ничего худого. Над дверью висела картина, на ней был нарисован балкон, увитый розами, и влюбленная парочка, которая стояла, обнявшись, в жеманной и неуклюжей позе. Джизелла посмотрела на картину и сказала, что не понимает, как эта пара ухитрилась в такой позе поцеловаться.

— Давай попробуем, — предложила она Риккардо, — посмотрим, сумеем ли и мы так сделать.

Риккардо со смехом поднялся и встал в позу кавалера с картины, а Джизелла, тоже смеясь, прислонилась к столу, как женщина к увитому розами парапету балкона. С огромным трудом им удалось поцеловаться, но в этот самый момент они потеряли равновесие и чуть не упали оба на стол. Джизелла, возбужденная этой выдумкой, закричала:

— А теперь попробуйте вы.

— Зачем? — всполошилась я. — При чем тут мы?

— Да просто так, попробуйте.

Я почувствовала, как Астарита обнимает меня за талию, и попыталась вырваться.

— Не хочу.

— Ух, какая нудная! — закричала Джизелла. — Ведь это шутка...

— Не хочу.

Риккардо смеялся и подстрекал Астариту поцеловать меня.

— Астарита, если ты ее не поцелуешь, я просто не захочу иметь с тобой дела.

Но Астарита оставался серьезен, он почти внушал мне страх: было ясно, что для него это не шутка.

— Отпустите меня,— сказала я, обращаясь к нему.

Он посмотрел на меня, потом вопросительно взглянул на Джизеллу, как будто ожидал поддержки с ее стороны.

— Смелее, Астарита! — закричала она.

Казалось, она не меньше, чем сам Астарита, хотела, чтобы он поцеловал меня, я угадывала в ее настойчивости какую-то беспощадную жестокость.

Астарита обхватил меня еще сильнее за талию и прижал к себе, он действительно не шутил и во что бы то ни стало хотел поцеловать меня. Я молча пыталась вырваться, но он был очень сильный, и, хотя я упиралась руками ему в грудь, я чувствовала, что постепенно его лицо приближается к моему. И все же ему, вероятно, не удалось бы меня поцеловать, если бы Джизелла не пришла на помощь. С громким радостным криком она вдруг вскочила с места, накинулась на меня сзади, схватила мои руки и заломила их за спину. Я не могла ее видеть, но все ее ожесточение проявилось в том, как она вонзила свои ногти в мои руки, как она сквозь смех шептала прерывающимся, возбужденным и хриплым голосом:

— Скорее, Астарита, лови момент, скорее.

Теперь Астарита держал меня крепко, я старалась откинуть голову назад — единственное движение, которое я еще могла сделать,— но он ухватил меня за подбородок и, повернув к себе мое лицо, крепким и долгим поцелуем прильнул к губам.

— Ура! — радостно закричала Джизелла и весело вернулась на свое место.

Астарита меня отпустил. Я была рассержена и оскорблена.

— Больше я никогда сюда не приеду с вами.

— Ну, Адриана, столько шума из-за одного-то поцелуя, — шутливо заметил Риккардо.

— Астарита весь перепачкался в губной помаде,— весело воскликнула Джизелла, — что сказал бы Джино, если бы сейчас вошел сюда?

И правда, у Астариты рот был в моей губной помаде, и эти красные пятна на его желтоватом и мрачном лице рассмешили даже меня.

— Ну, — закричала Джизелла, — помиритесь... а ты вытри ему лицо платком, а то войдет официант и подумает невесть что.

Невольно улыбаясь, я не без труда краем платка стерла губную помаду с мрачного и неподвижного лица Астариты. Я допустила новую ошибку, показав свою слабохарактерность, потому что, как только я спрятала платок, он тут же обнял меня за талию.

— Оставьте меня, — сказала я.

— Ну, Адриана...

— Да что он тебе сделает? — спросила Джизелла. — Ему это приятно... а тебе безразлично, и потом, ты его все равно целовала... разреши еще раз.

Так я снова уступила, мы сидели теперь рядом, он обнимал меня за талию, а я застыла в неподвижной, напряженной позе. Вошел официант и принес второе. Когда я начала есть, раздражение мое исчезло, хотя Астарита все еще продолжал обнимать меня. Еда была очень вкусная, и я не заметила, как выпила все вино, которое Джизелла то и дело мне подливала.

После второго подали фрукты и десерт. Сладкое оказалось очень вкусным, я никогда не пробовала такого, и, когда Астарита предложил мне свою порцию, у меня не хватило духу отказаться, я съела и ее. Джизелла тоже выпила немало вина, поэтому начала заигрывать с Риккардо, она клала ему в рот кусочки яблока, сопровождая каждый кусок поцелуем. Я чувствовала, что опьянела, но это опьянение было приятным, а объятия Астариты больше меня не тревожили. Джизелла вела себя с каждой минутой все более развязно, она встала со своего места, подошла к Риккардо и уселась к нему на колени. Я не могла удержаться от смеха при виде Риккардо, который притворно стонал, будто изнемогая под тяжестью Джизеллы. Внезапно Астарита, до сих пор обнимавший меня за талию, видимо, решил, что этого мало, принялся осыпать поцелуями мою шею, грудь и щеки. На сей раз я не сопротивлялась, во-первых, потому, что была слишком пьяна и у меня не было сил бороться, а во-вторых, потому, что мне казалось, будто он целует не меня, а кого-то другого — так мало действовали на меня его бурные ласки, я оставалась неподвижной и холодной, как статуя. Я совсем захмелела, мне даже стало казаться, что я тут ни при чем, что я нахожусь в другом конце комнаты и оттуда с любопытством постороннего свидетеля наблюдаю за выражением страстных чувств Астариты. Но остальные сочли мое равнодушие за согласие, и Джизелла крикнула мне:

— Молодчина, Адриана... вот теперь совсем другое дело!

Я хотела было ответить ей, но потом почему-то раздумала, взяла бокал, подняла его и сказала спокойным звонким голосом:

— А я совсем пьяная.

Потом залпом выпила вино. Кажется, кто-то зааплодировал. Но Астарита перестал целовать меня, внимательно посмотрел мне в глаза и прошептал:

— Пойдем туда.

Я проследила за его взглядом и увидела, что он показывает на дверь соседней комнаты. Я подумала, что он, видно, тоже пьян, поэтому покачала головой, однако не очень решительно, а, скорее, кокетливо. Он снова повторил как автомат:

— Пойдем туда.

Я заметила, что Джизелла и Риккардо, перестав смеяться и болтать, смотрят на нас. Джизелла сказала:

— Иди смелее... Чего ты ждешь?

Внезапно мне показалось, что весь мой хмель как рукой сняло. В самом деле, я была не настолько пьяна, чтобы не понять, какая опасность мне угрожает.

— Не хочу,— сказала я и встала.

Астарита тоже поднялся и, взяв меня за руку, попытался подтащить к двери под одобрительные крики Джизеллы и Риккардо:

— Смелее, Астарита!

Астарита дотащил меня почти до двери, хотя я и сопротивлялась, потом мне удалось вырваться, и я побежала к лестнице. Но Джизелла оказалась проворнее меня.

— Нет, дорогуша, не выйдет! — закричала она.

Вскочив с колен Риккардо, она оказалась у двери раньше меня, щелкнула ключом и вынула его из замочной скважины.

— Не хочу, не хочу, — твердила я дрожащим от страха голосом и остановилась возле стола.

— Съест он тебя, что ли? — закричал Риккардо.

— Дурочка,— грубо сказала Джизелла, толкая меня к Астарите, — иди же... вот еще фокусы.

Я поняла, что в данный момент Джизелла не отдает отчета в злобности и жестокости своего поступка, должно быть, эта ловушка, в которую попала я, казалась ей просто веселой, милой, остроумной шуткой. Меня также поразили бездушие и беспечность Риккардо, которого я считала добрым человеком, неспособным на дурной поступок.

— Не хочу, — снова сказала я.

— Ну, что тут плохого? — закричал Риккардо.

Джизелла настойчиво толкала меня локтем и раздраженно твердила:

— Вот не думала, что ты такая дура... иди же... чего ты уперлась?

Астарита молча стоял возле двери спальни и не спускал с меня глаз. Потом он вдруг заговорил. Он произносил слова медленно, как будто они застревали у него в горле и ему с трудом удавалось выдавить их из себя.

— Пойдем... иначе я скажу Джино, что ты была сегодня со мной и отдалась мне.

Я сразу же поняла, что именно так он и поступит. В его словах еще можно было усомниться, но тон, каким они были сказаны, не оставлял сомнений. Он, конечно, сдержал бы свое обещание, и для меня все кончилось бы, так и не начавшись. Теперь-то я думаю, что тогда мне следовало поднять шум. Если бы я закричала и начала сопротивляться, возможно, он понял бы, что шантаж и угроза ни к чему не приведут. А может быть, и это не помогло бы, так как его желание было сильнее моего сопротивления. В то время я чувствовала себя уже побежденной и думала не о том, что нужно сопротивляться, а только о том, как бы избежать скандала. Я тогда не была готова к подобному обороту, душа моя была полна светлых надежд на будущее, от которых я ни в коем случае не желала отрекаться. И та жестокость, с которой я тогда столкнулась, могла, я думаю, произойти с любым человеком, который, подобно мне, питает честолюбивые мечты, пусть даже самые скромные, естественные и наивные. Так уж устроен мир, что рано или поздно приходится дорого и горько расплачиваться за свое тщеславие; и только совсем отчаявшиеся и махнувшие на все рукой люди могут быть уверены, что им ничто не грозит.

В ту минуту, когда я уже решила примириться со своей судьбой, я почувствовала острую, жгучую обиду. Меня как бы озарило: глазам моим открылся прямой и светлый жизненный путь, обычно казавшийся мне таким неведомым и извилистым, и я на миг увидела все, что потеряю, если Астарита решится оклеветать меня перед Джино. Мои глаза наполнились слезами, и, закрыв лицо, я зарыдала. Я понимала, что плачу просто из-за своей покорности, а не из протеста. Я плакала, но чувствовала, что ноги сами несут меня к Астарите. Джизелла подталкивала меня и приговаривала:

— Ну, чего ты плачешь?.. Будто в первый раз.

Я слышала смех Риккардо и ощущала на себе пристальный взгляд Астариты, который смотрел, как я медленно приближалась к нему, закрыв лицо руками. Потом Астарита обхватил меня за талию, и дверь спальни захлопнулась.

Я не хотела ничего видеть, мне казалось чрезмерным уже то, что я чувствовала. Поэтому я упорно закрывала глаза руками, а Астарита пытался их отвести. Наверное, он намеревался поступить так, как поступают все мужчины в подобных обстоятельствах, то есть хотел постепенно и почти незаметно подчинить меня своему желанию. Но я упрямо закрывала лицо ладонями, и это вынудило его действовать более грубо и нетерпеливо. Он усадил меня на край постели и после тщетных попыток покорить своими ласками, вдруг опрокинул на подушки и навалился на меня. Мое тело словно застыло и налилось свинцом, и никогда еще не было оно так пассивно и так безучастно. Но я почти тотчас же перестала плакать, и, как только он прижался ко мне, тяжело дыша, я отняла руки от лица и уставилась в темноту широко раскрытыми глазами.

Я уверена, что Астарита любил меня в тот момент так, как только может мужчина любить женщину, и, уж конечно, сильнее, чем Джино. Помню, как он без конца гладил мое лицо и шептал ласковые слова, все его тело трепетало. Я смотрела в темноту сухими, широко раскрытыми глазами, а голова моя, из которой уже выветрился хмель, заработала хоть лихорадочно, но ясно и хладнокровно. Я позволяла Астарите ласкать себя и говорить, а сама предалась своим мыслям. Я представила свою спальню, обставленную новой мебелью, за которую я еще не все выплатила, и почувствовала какое-то горькое и надежное утешение. Отныне, твердила я про себя, ничто уже не помешает мне выйти замуж и зажить так, как я хочу. Но в то же время я чувствовала, что в душе у меня что-то раз и навсегда сломалось, на смену прежним светлым и наивным надеждам пришли решимость и смелость. Как-то сразу я стала сильнее, хотя сама сила эта вызывала грусть и была лишена любви.

Наконец я заговорила, и это были первые слова, которые я произнесла с тех пор, как мы очутились в спальне:

— Надо вернуться к ним.

В ответ он тихо прошептал:

— Ты сердишься на меня?

— Нет.

— Ты меня ненавидишь?

— Нет.

— Я так тебя люблю, — зашептал он и начал опять целовать мое лицо и шею.

Я снова сказала:

— Вернемся к ним.

— Ты права, — ответил он и, поднявшись с постели, начал

одеваться в темноте. Я еще немного полежала, потом встала и зажгла лампу у изголовья постели. В желтом свете лампы моим глазам предстала комната, именно такая, какой я себе ее представляла, судя по спертому воздуху и запаху лаванды: низкий потолок с побеленными балками, стены оклеены обоями, мебель старая и громоздкая. В углу стоял мраморный умывальник с двумя тазами, два кувшина, разрисованные розовыми и зелеными узорами, и большое зеркало в золоченой раме. Я подошла к умывальнику, налила немного воды в таз и концом мокрого полотенца провела по губам, с которых Астарита своими поцелуями стер помаду, а потом смочила еще красные от слез глаза. Из глубины зеркала, покрытого царапинами и пятнами, на меня смотрело грустное лицо, на минуту я залюбовалась собой, и душа моя наполнилась жалостью и изумлением. Потом я стряхнула с себя задумчивость, поправила волосы и повернулась к Астарите. Он ждал меня у двери и, как только увидел, что я готова, открыл ее, стоя ко мне спиной и избегая моего взгляда. Я погасила свет и последовала за ним.

Джизелла и Риккардо встретили нас весело, они находились все в том же радостном и беспечном настроении. Прежде они не поняли моего отчаяния, теперь не разгадали причины моего спокойствия. Джизелла закричала:

— Однако ты умеешь здорово разыгрывать невинность... сперва ты ломалась, а потом, как видно, быстро примирилась... в конце концов ты поступила правильно, раз сама этого хотела... только к чему все эти фокусы?

Я посмотрела на Джизеллу, и ее слова показались мне особенно обидными, ведь это она заставила меня уступить, это она держала мои руки, чтобы Астарите было удобнее целовать меня, а теперь издевается над моей слабостью. Риккардо, в котором здравый смысл взял верх, заметил:

— Ты все-таки непоследовательна, Джизелла... сперва сама настаивала, теперь стыдишь ее, будто она поступила плохо.

— Конечно, если она этого не хотела, тогда поступила плохо, — жестко отрезала Джизелла, — вот если бы я не хотела, ты никакой силой не заставил бы меня уступить... Но она-то этого хотела, да еще как... — добавила Джизелла, глядя на меня зло и неприязненно, — ведь я видела, как она вела себя в машине, когда мы ехали сюда. Вот потому-то я и говорю: нечего ей фокусничать.

Я молча дивилась черствости и жестокости Джизеллы, которая была так безжалостна и даже не понимала этого. Астарита

подошел ко мне и неловко попытался взять меня за руку. Но я оттолкнула его и села в самом дальнем конце стола.

— Гляди-ка, Астарита, — закричал со смехом Риккардо, — у нее такой вид, будто она с похорон вернулась.

Однако Астарита, несмотря на свою мрачность и сконфуженность, понимал меня лучше, нежели они.

— Вы все шутите, — заметил он.

— Что же нам, плакать прикажете? — закричала Джизелла. — А теперь вы посидите здесь и потерпите, как терпели мы... каждому свое. Пойдем, Риккардо.

Риккардо встал и сказал:

— Я вам советую...

Он был сильно пьян и сам не знал, что бы нам посоветовать.

— Пойдем, пойдем.

Теперь они в свою очередь ушли в спальню, а мы с Астаритой остались. Я сидела на одном конце стола, а он — на другом. Солнечный яркий свет, проникавший сквозь окно, освещал посуду, стоявшую в беспорядке на столе, корки хлеба, пустые бокалы, грязные вилки. Выражение лица Астариты по-прежнему было грустным и мрачным, хотя солнце светило ему прямо в глаза. Он удовлетворил свое желание, но в его взгляде, который он вперил в меня, осталась прежняя мучительная напряженность, которую я заметила с первых минут нашей встречи. Я почувствовала к нему жалость, несмотря на то зло, которое он мне причинил. Я понимала, что если прежде он был несчастлив, то и теперь, после того, как он овладел мной, счастья не прибавилось. Прежде он страдал от неутоленного желания, а теперь страдал, понимая, что я его не люблю. А жалость самый страшный враг любви, если бы я его ненавидела, тогда он мог бы надеяться, что когда-нибудь я полюблю его. Но я не испытывала к нему ненависти, а чувствовала, как уже говорила, лишь жалость и понимала, что никогда не буду питать к нему ничего, кроме равнодушия и отвращения.

Еще долго мы сидели молча в залитой солнцем комнате, ожидая возвращения Джизеллы и Риккардо. Астарита без конца курил, зажигая сигарету от предыдущего окурка, сквозь клубы дыма, которые обволакивали его, он бросал на меня красноречивые взгляды, словно хотел мне что-то сказать, но не осмеливался. Я сидела у стола, положив ногу на ногу, и мой мозг сверлила одна-единственная мысль: как бы поскорее уйти отсюда; я не ощущала ни усталости, ни стыда, но никогда еще я не испытывала такого желания остаться наедине с собой и на

свободе обдумать то, что со мной произошло. Я так горячо желала поскорее уехать отсюда, что не могла думать ни о чем другом. Меня отвлекали какие-то пустяки: жемчужина в галстуке Астариты, рисунок на обоях комнаты, муха, разгуливающая по краю бокала, пятнышко, которое я посадила на кофточку, когда ела макароны; я злилась на себя за эти мысли и за то, что неспособна думать о серьезных вещах. Но как раз это выручило меня, когда Астарита, преодолев наконец свою робость, глухо спросил после долгого молчания:

— О чем ты думаешь?

Немного помедлив, я спокойно ответила:

— Вот сломала ноготь и теперь вспоминаю, когда и где это случилось.

Я сказала правду, но он огорченно и недоверчиво поморщился и с этой минуты, кажется, окончательно отказался от мысли серьезно поговорить со мною.

Наконец Джизелла и Риккардо, слава богу, вернулись в столовую, немного усталые, но веселые и беззаботные, как прежде. Наше молчание, наши серьезные лица, видимо, удивили их, но время было уже позднее, да и то, что между ними произошло, сделало их не в пример Астарите более спокойными. Джизелла стала со мною ласкова, в ней не было больше ни того раздражения и ни той жестокости, которые она не сумела скрыть в тот момент, когда Астарита шантажировал меня, мне даже показалось, что поступок Астариты был для Джизеллы какой-то новой чувственной приправой к уже приевшейся ей любви. Когда мы спускались по лестнице, она обвила мою талию и зашептала:

— Почему у тебя такая постная физиономия? Если ты боишься Джино, то успокойся... ни я, ни Риккардо никому ничего не скажем.

— Я устала, — солгала я.

Я не злопамятна, и, как только Джизелла обняла меня, моя обида рассеялась.

— Я тоже устала, — ответила она. — К тому же меня продуло, когда мы ехали сюда.

И спустя минуту, когда мы остановились у входа в ресторан, а мужчины прошли вперед к машине, она спросила:

— Надеюсь, ты не сердишься на меня за то, что произошло?

— Да что ты, — ответила я, — при чем здесь ты?

Джизелле мало было, что ее коварная проделка удалась. Она еще желала успокоиться, увериться, что я не затаила против нее обиды. Я слишком хорошо разгадала ее мысли и испугалась, что она поймет это и разозлится. Мне хотелось рассеять

все сомнения и выказать свою симпатию к ней. Я поцеловала ее в щеку и сказала:

— За что мне сердиться на тебя? Ты ведь всегда говорила, что я должна бросить Джино и сойтись с Астаритой.

— Вот именно, — горячо подтвердила она, — я и сейчас так думаю... но ты, должно быть, никогда мне этого не простишь.

Она казалась встревоженной, а я беспокоилась еще больше, боясь, что она разгадает мои истинные чувства.

— Сразу видно, что ты меня плохо знаешь, — ответила я спокойно, — я понимаю, что ты этого хотела из любви ко мне и тебе обидно, что я сама себе порчу жизнь. Может быть, — тут я решилась на последнюю ложь, — может быть, ты и права.

Она взяла меня под руку и сказала доверительным и уже спокойным голосом:

— Пойми меня... Астарита или кто-то другой, но только не Джино... если бы ты знала, как мне обидно видеть такую красавицу, как ты, в столь жалком положении... Спроси хоть у Риккардо... Я целыми днями говорю с ним только о тебе...

Она разговаривала теперь со мною, как всегда, без всяких церемоний, и я поддакивала каждому ее слову. Так мы подошли к машине и заняли свои прежние места. Машина тронулась.

На обратном пути все молчали. Астарита не спускал с меня глаз, но теперь оп смотрел скорее смущенно, чем с вожделением, и его взгляд на этот раз уже не действовал на меня и не вызывал желания поддерживать с ним разговор хотя бы из вежливости. Я с удовольствием вдыхала свежий воздух, проникавший сквозь открытое окно, и машинально отсчитывала километровые столбы, чтобы определить расстояние до Рима. Внезапно я почувствовала на своей руке руку Астариты и заметила, что он пытается вложить что-то в мою ладонь, очевидно какую-то бумажку. Я подумала было, что он не смеет со мною заговорить и решил прибегнуть к записке. Но, опустив глаза, я увидела денежную купюру, сложенную вчетверо.

Астарита пристально смотрел на меня, крепко сжимая мою руку, а я еле удержалась от желания швырнуть эти деньги ему в лицо. Но я тут же поняла, что это был бы с моей стороны красивый жест, продиктованный не естественным порывом, а, скорее, подражанием. Ощущение, охватившее меня в тот момент, привело меня в замешательство, и впоследствии, сколько раз я ни получала деньги от мужчин, я никогда уже не испытывала столь явной и сильной, почти чувственной близости, той, которую Астарита хотел и не смог вызвать во мне своими ласками

в спальне ресторана. Это было чувство полной покорности, оно раскрыло во мне черту характера, какой я за собой до того времени не знала. Я, конечно, понимала, что должна отказаться от этих денег, но в то же самое время мне хотелось их взять. И не столько из корысти, сколько из-за этого нового ощущения, родившегося в моей душе.

Решившись взять деньги, я все-таки пыталась сделать вид, что отвергаю их, но и это тоже был просто бессознательный жест, без всякого расчета. Астарита не отпускал мою руку, глядел все время мне в глаза, и тогда я переложила деньги из правой руки в левую. Меня охватило какое-то странное возбуждение, я чувствовала, что лицо мое горит и дыхание стало прерывистым. Если бы Астарита мог в эту минуту угадать мое волнение, то он, чего доброго, решил бы, что я в него влюблена. И напрасно... Деньги, только деньги и мысль, что их можно получить таким образом, — вот что взволновало меня. Астарита взял мою руку и поднес к своим губам, я не сопротивлялась, но потом отняла руку. И больше мы не взглянули друг на друга вплоть до самого города.

Там мы сразу же расстались, как будто бы каждый из нас чувствовал за собой какую-то вину и теперь торопился поскорее скрыться. И в самом деле, все мы совершили в тот день что-то похожее на преступление: Риккардо по своей глупости, Джизелла из зависти, Астарита из чувственности, а я по неопытности. С Джизеллой мы договорились встретиться на следующий день и пойти вместе позировать. Риккардо пожелал мне спокойной ночи, а серьезный и печальный Астарита молча пожал руку. Они довезли меня до дома, и, несмотря на усталость и угрызения совести, я невольно испытала тщеславное удовольствие, ведь, когда я выходила из роскошной машины, остановившейся у наших ворот, на меня из окна глядела вся семья нашего соседа железнодорожника.

Я сразу же прошла в свою комнату, заперлась на ключ и первым делом достала деньги. Тут была не одна, а три купюры по тысяче лир, и, опустившись на край постели, я почувствовала себя почти счастливой. Этих денег вполне хватит не только на то, чтобы внести последний взнос за мебель, но на них я еще смогу купить вещи, в которых особенно нуждаюсь. Никогда в жизни я не держала в руках такой крупной суммы и от этого испытывала не столько удовольствие, сколько невероятное изумление. Я смотрела и смотрела на эти деньги, так же как глядела на свою мебель, чтобы окончательно убедиться, что они действительно принадлежат мне.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Не знаю, так ли это было, но сейчас мне кажется, что долгий и глубокий сон той ночью вычеркнул из моей памяти все, что случилось в Витербо. На следующий день я проснулась со спокойной уверенностью, что буду по-прежнему упорно стремиться к тихой семейной жизни. Утром я встретилась с Джизеллой, которая не обмолвилась ни словом о нашей вчерашней поездке, возможно, ее мучила совесть, а скорее всего, она молчала просто из предосторожности, но я все равно была ей за это благодарна. Я с беспокойством думала о предстоящей встрече с Джино. И хотя я не чувствовала за собой никакой вины, я понимала, что придется обманывать его, это было мне неприятно, и, кроме того, я не знала, как мне это удастся, ведь до сих пор я была с ним откровенна и впервые прибегала к обману. Правда, я скрывала от него, что вижусь с Джизеллой, но вряд ли можно было учитывать эту ложь во спасение, ведь я вынуждена была пойти на этот обман только из-за безрассудной неприязни Джино к Джизелле.

На душе у меня было тревожно, и, когда я увидела Джино, я с трудом сдержалась, чтобы не расплакаться, не рассказать ему обо всем и не попросить у него прощения. Поездка в Витербо тяжелым бременем лежала у меня на душе, мне ужасно хотелось сбросить с себя эту тяжесть и рассказать всю правду. Если бы Джино вел себя иначе и не был столь ревнив, я, конечно, рассказала бы ему все, и после этого, как мне думалось, мы стали бы любить друг друга еще сильнее, чем прежде, я видела бы в нем своего защитника, и нас связали бы еще более крепкие узы, чем любовь. В то утро мы, как всегда, остановили машину на нашем пригородном шоссе. Джино заметил мое волнение и спросил:

— Что с тобою?

«Сейчас я все скажу... — подумала я, — пусть он меня высадит из машины, пойду в город пешком».

Но у меня не хватило мужества, и я ответила вопросом на вопрос:

— Ты меня любишь?

— Ну конечно же, — отозвался он.

— И ты всегда будешь любить меня? — спросила я, глядя на него глазами, полными слез.

— Всегда.

— А мы скоро поженимся?

Ему, видимо, надоела моя настойчивость.

— Честное слово, — сказал он, — можно подумать, что ты мне не веришь... Разве мы не решили обвенчаться на пасху?

— Да, правда.

— Разве я не дал тебе денег на устройство нашего дома?

— Дал.

— Значит, я все-таки честный человек? Когда я что-то обещаю, я держу слово... Это, конечно, твоя мамаша настроила тебя против меня.

— Нет-нет, мама тут ни при чем, — быстро ответила я, — а скажи мне... мы будем жить вместе?

— Конечно.

— И будем счастливы?

— Это уж будет зависеть от нас самих.

— Значит, мы будем жить вместе? — снова спросила я, так как меня по-прежнему мучили тревожные мысли.

— Уф... Ты меня уже спрашивала, и я тебе ответил.

— Прости меня, — сказала я, — но иногда все это кажется мне несбыточным.

Я не удержалась и начала плакать. Джино был очень удивлен и даже смущен моими слезами, смущение это, казалось, было вызвано угрызениями совести. Но только много позднее мне стали по-настоящему ясны его причины.

— Ну, ну, успокойся, — сказал он, — чего ты плачешь?!

По правде говоря, я плакала от обиды и тревоги, оттого, что не могла рассказать ему все и чистосердечным раскаянием облегчить свою душу. Плакала я также от горечи, чувствуя себя недостойной такого доброго и безупречно честного человека.

Наконец я взяла себя в руки и сказала:

— Ты прав, я просто глупая...

— Я этого не говорил... но я не вижу причины для слез.

На душе у меня лежала все та же тяжесть. И, расставшись с Джино, я в тот же день пошла в церковь исповедаться. Уже около года я не ходила на исповедь; полагала, что всегда успею сделать это, и потому была спокойна. Исповедоваться я перестала с тех пор, как Джино впервые поцеловал меня. Я сознавала, что такие отношения, какие существовали между мной и Джино, религия считает греховными, но, веря, что мы поженимся, я не испытывала угрызений совести и надеялась получить отпущение грехов перед самой свадьбой.

Я направилась в маленькую церковь в центре города, которая находилась между кинотеатром и магазином. В полутьме церкви светлым пятном выделялся главный алтарь и боковой придел Мадонны. Церковь была грязная, стулья с плетеными

сиденьями стояли в беспорядке, как их оставили прихожане после мессы, словно здесь происходило не богослужение, а скучное собрание, которое покидают со вздохом облегчения.

Слабый свет лился из окон, находящихся под самым куполом, освещая пыльный пол и облупившуюся штукатурку на колоннах, раскрашенных под мрамор. Множество серебряных пылающих сердец было развешано по всем стенам в честь данных клятв и обетов, и все это напоминало унылую скобяную лавку. Но запах ладана, которым был пропитан воздух, успокоил меня. В детстве я часто вдыхала этот аромат, и теперь он будил во мне наивные и сладкие воспоминания. И хотя я впервые входила в эту церковь, мне показалось, что я уже не раз бывала здесь.

Перед исповедью мне захотелось пройти в большой придел, где стояла статуя девы Марии. С самого рождения я была отдана под покровительство Мадонны, и даже мама говорила, что я правильными чертами лица и большими черными и кроткими глазами напоминала божью матерь. Я любила Мадонну, ведь она держит на руках младенца, который стал потом мужчиной и которого убили. Сколько ей, родившей его и любившей его так, как только мать может любить сына, пришлось выстрадать, когда она увидела его распятым на кресте. Я часто думала, что только Мадонна, сама испытавшая немало горя, может понять мои печали, и с детства я молилась только ей. Мне нравилась Мадонна еще и потому, что она, безмятежная и спокойная, красиво одетая, была так не похожа на мою маму, ее взор был обращен на меня с нежностью, и мне казалось, что моя настоящая мать — она, а не та, что вечно кричит, вечно суетится, да к тому же плохо одета.

Поэтому я встала на колени и, закрыв лицо руками и опустив голову, произнесла длинную молитву; я обращалась к Мадонне, прося у нее прощения и защиты для меня, мамы и Джино. Потом я вспомнила, что не следует долго таить обиду на людей, и попросила у нее заступничества за Джизеллу, которая из зависти предала меня, за Риккардо, который по глупости помогал Джизелле, и, наконец, за Астариту. За него я молилась особенно горячо, потому что обида на него была всего острее, я хотела забыть ее, хотела полюбить его так же, как любила других, хотела простить ему все и никогда не вспоминать о том горе, которое он мне причинил. В конце концов я так растрогалась, что слезы выступили у меня на глазах. Я посмотрела на статую Мадонны над алтарем, и сквозь слезы, застилавшие мне глаза, она показалась мне расплывчатой и дрожащей, как будто

находилась под водой, а свечи, горевшие вокруг статуи, напоминали золотые блики, на которые приятно, но вместе с тем грустно смотреть; так бывает, когда смотришь на звезды — они совсем рядом, хочешь до них дотянуться, но не знаешь, как это сделать. Я долго стояла, глядя на Мадонну, почти не видя ее, потом слезы градом хлынули из моих глаз и потекли по щекам, а Мадонна с младенцем на руках смотрела на меня, и лицо ее было освещено пламенем свеч. Мне казалось, что она глядит на меня с состраданием и любовью. Поблагодарив ее, я поднялась и со спокойной душой пошла исповедоваться.

Все исповедальни были пусты, я огляделась, ища глазами священника, и вдруг увидела, как из дверцы, находящейся слева, вышел какой-то человек, прошествовал мимо алтаря, опустился на колени, перекрестился и пошел дальше. Это был монах. Я не разобрала, к какому ордену он принадлежал. Я набралась смелости и тихо окликнула его. Он оглянулся и тотчас же подошел ко мне. Это был еще совсем молодой человек, высокий и сильный, с цветущим, румяным и мужественным лицом, с голубыми глазами и высоким белым лбом. Я невольно подумала, что он очень хорош собой. Таких мужчин не часто встретишь не только в церкви, но даже на улице, я была рада исповедаться именно ему. Я тихо сказала, зачем пришла, и он легким кивком головы пригласил меня зайти в исповедальню.

Он вошел в кабину, а я приготовилась встать на колени перед решеткой. На эмалевой пластинке, прибитой к стене исповедальни, значилось имя «Элиа», Ильи-пророка — мое любимое имя, — и это обстоятельство ободрило меня. Я опустилась на колени, монах прочел короткую молитву, а потом спросил:

— Сколько времени ты не исповедовалась?

— Почти год, — ответила я.

— Долгий срок... очень долгий... почему так случилось?

Я заметила, что он грассирует, как француз, и не совсем чисто говорит по-итальянски. Кроме того, он несколько раз ошибся, переделывая иностранные слова на итальянский манер. Это окончательно убедило меня в том, что он француз. Я обрадовалась этому, сама не знаю почему. Вероятно, потому, что, когда готовишься к какому-то важному шагу, любая неожиданность кажется добрым предзнаменованием.

Я ответила, что как раз та история, которую я хочу ему поведать, и объяснит, почему я так долго не была на исповеди. И после короткого молчания он спросил, что же я хочу рассказать, тогда искренне и откровенно я начала рассказывать о наших отношениях с Джино, о моей дружбе с Джизеллой, о

поездке в Витербо и о мерзком поступке Астариты. Рассказывала, а сама думала о том, какое впечатление производят на него мои слова. Он не был похож на обычного священника, а его вид бывалого человека заставил меня гадать, что же побудило его пойти в монахи. Может показаться странным, что после столь сладостного волнения, которое во мне вызвала молитва, обращенная к Мадонне, я так быстро успокоилась, что заинтересовалась своим исповедником, но я не считаю, что волнение и любопытство противоречили друг другу. Все это объясняется свойствами моей натуры, в которой воедино сплелись набожность и кокетливость, задумчивость и чувственность.

Размышляя о монахе, я испытывала приятное облегчение и острое желание рассказать ему как можно больше, рассказать все. Мне казалось, что я освобождаю свою душу от страшной тяжести и оживаю, подобно цветку, впитывающему первые капли дождя после длительного и изнуряющего зноя. Сперва я говорила робко и нерешительно, а потом все свободнее и свободнее, наконец пылко и искренне, преисполненная светлой надежды. Я не утаила ничего, рассказала даже о деньгах, которые дал мне Астарита, и о чувствах, которые вызвал у меня его подарок, сказала, как я хочу потратить эти деньги. Он слушал меня не прерывая, а когда я замолкла, сказал:

— Желая избежать неприятности, боясь разрыва с женихом, ты причинила себе в тысячу раз больше вреда...

— Да, да, действительно, — сказала я, вся дрожа от радости, мне казалось, будто он нежными руками раскрывает мою душу.

— Откровенно говоря, — продолжал он, словно рассуждая про себя,— твоя помолвка тут ни при чем... уступая этому человеку, ты поддалась алчности.

— Да, да, правильно.

— Хотя лучше уж было отказаться от свадьбы, чем поступить так.

— И я так думаю.

— Мало думать... Теперь ты выйдешь замуж, но какой ценой ты за это заплатила? Ты уже никогда не сможешь быть хорошей женой.

Меня поразили суровость и твердость его слов, и я воскликнула с тоской:

— Но почему?! Для меня это ничего не значит... я уверена, что буду хорошей женой.

Моя искренность, должно быть, растрогала его. Он долго молчал, а потом ласково спросил:

— А ты чистосердечно раскаялась?

— Конечно, конечно, — порывисто ответила я.

Вдруг мне пришла в голову мысль, что он, вероятно, заставит меня вернуть деньги Астарите, и, хотя я заранее огорчилась, я все-таки чувствовала, что беспрекословно подчинюсь его приказу, приказу человека, который так нравится мне и внушает такое доверие. Но он ничего не сказал о деньгах, а продолжал говорить своим твердым приглушенным голосом, которому иностранный акцент придавал какую-то странную задушевность.

— Теперь ты должна как можно скорее выйти замуж... устроиться как положено... должна объяснить жениху, что ваши прежние отношения продолжаться не могут.

— Я ему это уже говорила.

— И что же он ответил?

Я невольно улыбнулась оттого, что этот красивый белокурый монах задает мне в полумраке исповедальни такой вопрос. Я ответила:

— Он сказал, что мы поженимся на пасху.

— Было бы лучше сейчас. Пасха еще далеко... — продолжал он, подумав немного, и мне показалось, что сейчас говорит со мной не духовное лицо, а вежливый светский человек, которому уже наскучили мои дела.

— Мы не можем пожениться раньше... я должна приготовить приданое... а ему нужно съездить в деревню и повидаться с родителями.

— Как бы то ни было, — продолжал он, — необходимо поскорее обвенчаться... и до самой свадьбы ты должна прекратить с женихом всякие плотские отношения... это тяжкий грех... поняла?

— Хорошо, я так и сделаю.

— Сделаешь? — с сомнением переспросил он. — Во всяком случае, старайся молитвой побороть искушение... попробуй молиться.

— Хорошо... я буду молиться.

— Что касается того, другого мужчины, — продолжал он, — ты не должна с ним встречаться ни в коем случае... Это как раз нетрудно, поскольку ты его не любишь... если же он будет настаивать и придет к тебе, прогони его.

Я ответила, что непременно так и сделаю, он дал мне еще несколько наставлений все тем же твердым приглушенным голосом, который звучал еще приятнее благодаря иностранному акценту и проскальзывающей в нем светскости, затем он велел мне для покаяния несколько раз в день читать молитвы и от-

пустил грехи. Но прежде чем отослать меня домой, он сказал, что хочет прочесть со мною вместе «Отче наш». Я с радостью согласилась, потому что мне не хотелось уходить, я желала бы слушать его голос бесконечно. Он произнес:

— Отче наш, иже еси на небесех.

И я повторила за ним:

— Отче наш, иже еси на небесех.

— Да святится имя твое.

— Да святится имя твое.

— Да приидет царствие твое.

— Да приидет царствие твое.

— Да будет воля твоя, яко на небеси и на земли.

— Да будет воля твоя, яко на небеси и на земли.

— Хлеб наш насущный даждь нам днесь.

— Хлеб наш насущный даждь нам днесь.

— И остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должникам нашим.

— И остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должникам нашим.

— И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

— И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

— Аминь.

— Аминь.

Я слово в слово еще раз повторила молитву, чтобы вновь пережить то волнение, которое испытала, когда произносила ее вместе с ним. Я представляла себя совсем маленькой, и он как будто вел меня за руку от фразы к фразе. Однако я вспомнила и о деньгах, которые мне дал Астарита, и была чуточку разочарована, что он не приказал мне вернуть их. По правде говоря, мне даже захотелось, чтобы он приказал мне отдать деньги, потому что я думала доказать ему на деле мою искренность, мою покорность и мое раскаяние, я хотела чем-нибудь пожертвовать ради него. Кончив молитву, я поднялась. Он вышел из кабины и собрался уходить, не глядя на меня, едва кивнув мне головою. Тогда я невольно, почти не отдавая отчета в своем поступке, потянула его за рукав. Он остановился и посмотрел на меня ясным, холодным и спокойным взглядом.

В эту минуту он показался мне особенно красивым, и тысяча безумных мыслей пронеслась у меня в голове. Я думала, как бы дать ему понять, что он мне нравится и что я могла бы полюбить его. Однако голос рассудка предостерегал меня, напоминая, что я нахожусь в церкви, что он священник и мой духовник. Все эти мысли овладели мною сразу, они взволновали

меня так, что я не могла произнести ни слова. Тогда, подождав немного, он спросил:

— Ты хочешь еще что-то сказать?

— Мне хотелось узнать, должна ли я вернуть деньги тому человеку.

Он бросил на меня быстрый, острый взгляд, пронзивший меня, казалось, до глубины души, потом отрывисто спросил:

— А ты очень нуждаешься?

— Да.

— Тогда можешь не отдавать... в любом случае поступай, как подсказывает тебе твоя совесть.

Он произнес эти слова особым тоном, давая понять, что разговор окончен.

— Спасибо, — прошептала я, глядя ему прямо в глаза.

В этот момент я совсем потеряла голову и надеялась, что он хоть знаком или словом пожелает показать, что я ему не безразлична. Конечно, он понял мой взгляд, и легкая тень изумления скользнула по его лицу. Он кивнул мне на прощание, повернулся и вышел, оставив меня в смущении и тревоге возле исповедальни.

Маме я ничего не сказала об исповеди, как, впрочем, и о поездке в Витербо. Я прекрасно знала ее мнение о священниках и о религии; она говорила: все это хорошо, однако богатые так и остаются богатыми, а бедные — бедными.

— Видно, богатые умеют лучше молиться, — повторяла она.

На религию мама смотрела так же, как на семью и брак: когда-то она была набожна, исполняла все обряды, но все равно дела ее шли плохо, поэтому она перестала верить. Как-то раз, когда я сказала, что на том свете нам за все воздастся, она подняла меня на смех и заявила, что хочет получить все сию минуту на этом свете, а если здесь нельзя получить, значит, все это враки. Однако, как я уже говорила, меня она воспитывала в полном повиновении богу, в которого когда-то сама верила. Только в последнее время неудачи ожесточили ее и она изменила свои взгляды.

На следующее утро, когда я села в машину рядом с Джино, он сказал, что его хозяева уехали и несколько дней мы сможем встречаться на вилле. Сперва я очень обрадовалась, потому что, как я уже говорила, мне нравилось предаваться любовным утехам, и именно с Джино. Но потом я вспомнила об обещании, которое дала священнику, и сказала:

— Нет, это невозможно.

— Почему?

— Потому что невозможно.

— Ну, хорошо, — уступил он со вздохом, — тогда завтра...

— Нет... и завтра тоже... никогда.

— Никогда, — повторил он с притворным удивлением, понизив голос. — Ах так? Никогда... но ты хоть объяснишь мне причину? — Он подозрительно посмотрел на меня.

— Джино, — быстро сказала я, — я тебя люблю и никогда тебя так сильно не любила, как сейчас... но именно поэтому... я решила, что до тех пор, пока мы не обвенчаемся... лучше, если между нами ничего не будет... понимаешь...

— А, теперь все ясно, — злобно воскликнул он, — ты боишься, что я на тебе не женюсь.

— Нет, я уверена, что мы поженимся... если бы я сомневалась, не стала бы все это затевать и тратить мамины деньги, которые она откладывала всю жизнь.

— Ух как ты носишься с этими деньгами! — сказал Джино. Я просто не узнавала его, так изменилось его лицо, оно стало почти отталкивающим. — Тогда почему же?

— Я была на исповеди, и мой духовник приказал мне воздержаться от любовных отношений, пока мы не обвенчаемся.

Он скорчил недовольную гримасу, и с его губ сорвались слова, которые прозвучали для меня чуть ли не кощунством.

— А по какому праву этот священник сует свой нос в наши дела? — Я предпочла промолчать. — Говори, почему ты не отвечаешь?

Он, видимо, понял, что я неколебима в своем решении, потому вдруг переменил тон и сказал:

— Ну, ладно... пусть будет по-твоему... значит, отвезти тебя в город?

— Как хочешь.

Надо сказать, что впервые Джино показал себя в таком невыгодном свете и был так резок со мною. Уже на следующий день он снова напустил на себя смиренный вид и стал относиться ко мне, как обычно, ласково, внимательно, заботливо. Мы продолжали встречаться, как всегда, каждый день, только теперь мы не занимались любовью, а ограничивались разговорами. Иногда я целовала Джино, хотя, по совести говоря, он не просил меня об этом. Я считала, что в поцелуях нет греха, а кроме того, мы как-никак были помолвлены и скоро должны были обвенчаться. Сейчас, вспоминая те времена, я думаю, что Джино так быстро смирился с новой ролью скромного жениха, надеясь постепенно остудить наши отношения и незаметно под-

готовить меня к неизбежному разрыву. Часто случается, что девушку покидают после затянувшейся и унизительной помолвки, когда лучшие годы молодости уже позади. Так, послушавшись священника, я невольно дала Джино предлог, который он, вероятно, давно искал, чтобы расстроить нашу свадьбу. Сам он, конечно, из-за своего безволия и эгоизма никогда бы не решился на этот шаг, ведь наслаждение, которое он получал от наших встреч, было сильнее, чем желание бросить меня. Но вмешательство священника позволяло ему воспользоваться лицемерным и внешне бескорыстным поводом.

Спустя какое-то время он начал встречаться со мною не так часто, уже не каждый день, а когда придется. Я заметила, что паши поездки на машине становятся все более краткими и что он все рассеяннее слушает мои разговоры о свадьбе. И хотя я видела эту перемену, я все еще ничего не подозревала, все это казалось мне мелочью, а в основном он относился ко мне попрежнему ласково и почтительно. Наконец однажды он с печальным видом объявил мне, что по просьбе родителей придется перенести нашу свадьбу на осень.

— Ты очень расстроена? — спросил он, смущенный тем, что я не выказываю своего огорчения, а только грустно и молча смотрю перед собой в одну точку.

— Нет, нет, — сказала я, очнувшись. — Неважно... потерплю... к тому времени я как раз успею приготовить приданое.

— Ты говоришь неправду... ты очень расстроилась.

Странно было видеть, как он пытается вырвать у меня признание, что отсрочка свадьбы меня огорчает.

— А я тебе говорю, что совсем не расстроилась.

— Значит, ты просто не любишь меня по-настоящему и, наверно, не огорчишься, даже если мы вовсе не поженимся.

— Не говори так, — испуганно произнесла я, — это было бы ужасно... Не хочу даже думать о таких вещах.

Он скривил лицо, я тогда не поняла, в чем дело. А он, вероятно, хотел испытать мою привязанность к нему и, к собственному неудовольствию, обнаружил, что она еще очень сильна.

Даже отсрочка свадьбы еще не возбудила во мне подозрения, зато она укрепила старые позиции мамы и Джизеллы. Мама, как иногда с ней случалось (а это было весьма странно при ее вспыльчивом и раздражительном характере), сначала никак не отреагировала на это известие. Но как-то вечером, когда кормила меня ужином, стоя молча возле стола и ожидая, пока я поем, она вдруг сказала в ответ на мои рассуждения об отсрочке свадьбы:

— Знаешь, как в наше время называли таких девушек, которые вроде тебя ждали, ждали свадьбы и так и не дождались?

Я побледнела, и сердце у меня упало.

— Как?

— Девушка про запас, — спокойно ответила мама, — он держит тебя про запас, как мясо, которое запасают впрок... а когда оно портится, его выбрасывают на помойку...

Эти слова меня страшно рассердили, и я сказала:

— Это неправда... в конце концов, мы в первый раз откладываем свадьбу... и всего на несколько месяцев... просто ты ненавидишь Джино за то, что он шофер, а не важный синьор.

— Я против него ничего не имею.

— Нет, имеешь... еще и потому, что тебе пришлось потратить все деньги на нашу комнату... но ты не бойся...

— Дочь моя, ты окончательно свихнулась от любви.

— Я говорю, не бойся, все остальные взносы за мебель сделает он... а то, что ты заплатила, мы тебе вернем... вот посмотри...

Взволнованная, я открыла сумочку и показала ей деньги, полученные от Астариты.

— Это деньги Джино, — продолжала я с таким жаром, что сама чуть было не поверила в свою ложь, — он мне дал их... и обещал еще.

Мама взглянула на деньги, и на лице ее отразилось такое раскаяние и разочарование, что я почувствовала угрызения совести. Впервые за последнее время я так плохо обошлась с ней: обманывала ее, ведь деньги-то я получила не от Джино. Мама молча убрала со стола и вышла. Какое-то время я лихорадочно думала как быть, затем поднялась и пошла за ней. Мама стояла ко мне спиной возле раковины и мыла посуду, которую затем ставила сушиться на мраморную доску стола, голова ее была опущена, плечи ссутулились — мне стало ее жалко. Я порывисто обняла маму за шею и сказала:

— Прости меня... я совсем не думала тебя обидеть... но когда ты начинаешь говорить о Джино, я теряю рассудок.

— Ладно, ладно, оставь меня, — ответила она, стараясь освободиться из моих объятий.

— Но пойми, — добавила я страстно, — если Джино на мне не женится, я либо покончу с собой, либо стану уличной девкой.

Джизелла встретила известие об отсрочке нашей свадьбы почти так же, как мама. Мы находились в меблированной комнате, которую она снимала. Я сидела на ее постели, а она в од-

ной сорочке причесывалась перед зеркалом. Джизелла выслушала меня, а потом спокойно сказала с довольным видом:

— Вот видишь, я была права.

— В чем?

— Он не хочет на тебе жениться и никогда не женится... теперь он перенес свадьбу с пасхи на день всех святых... а с дня всех святых перенесет на рождество... и наконец однажды, когда ты почувствуешь, что сыта всем этим по горло, ты сама его бросишь.

Меня огорчали и бесили ее слова. Но я уже сорвала свое зло на маме, а кроме того, я понимала, что если выскажу ей все, что о ней думаю, то нам придется расстаться, а этого я все-таки не хотела, ведь Джизелла была единственной моей подругой. А думала я по этому поводу вот что: Джизелла просто не хотела, чтобы я вышла замуж за Джино, поскольку знала, что на ней-то Риккардо никогда не женится. Что правда, то правда, но слишком подло было говорить ей об этом; мне казалось, что я не вправе обидеть Джизеллу только за то, что она, говоря со мною о Джино, поддавалась, быть может даже невольно, чувству зависти и ревности. Поэтому я только сказала:

— Не будем говорить об этом, ладно? Тебе ведь, в конце концов, безразлично, выйду я замуж или нет... а мне этот разговор неприятен.

Она вдруг поднялась с места и села рядом со мною.

— Почему же мне безразлично? — живо запротестовала она, а потом, обняв меня за талию, добавила: — Наоборот, мне обидно видеть, как тебя водят за нос.

— Никто меня не водит за нос, — тихо сказала я.

— Мне хотелось бы видеть тебя счастливой. — Она помолчала немного, а потом как бы между прочим сказала: — Кстати... Астарита меня просто замучил, просит встречи с тобой. Говорит, что не может без тебя жить, по уши влюблен... Хочешь, я устрою вам свидание?

— Не говори мне об Астарите, — ответила я.

— Он понимает, что плохо вел себя тогда в Витербо, — продолжала она, — но ведь он так поступил потому, что любит тебя... Он исправится.

— Единственный способ исправиться, — сказала я, — это больше не встречаться.

— Будет тебе... в конце концов, он человек серьезный и любит тебя по-настоящему... Он хочет во что бы то ни стало увидеться с тобой и поговорить. Почему бы вам не встретиться, скажем, в кафе в моем присутствии?

— Нет, — решительно отказалась я, — я не хочу его видеть.

— Смотри, потом раскаешься.

— Живи с ним сама.

— С удовольствием бы, дорогая... он человек щедрый, денег не жалеет... но ведь любит-то он тебя, это просто наваждение какое-то...

— Но я-то его не люблю.

Она еще долго расхваливала Астариту, но я не уступала, у меня было тогда такое сильное и отчаянное желание выйти замуж и зажить тихой семейной жизнью, что я твердо решила не поддаваться никаким уговорам и не соблазняться никакими деньгами. Я даже забыла, какое приятное чувство я невольно испытала, когда Астарита насильно сунул мне в руку деньги по дороге из Витербо. И, как это часто случается, я с еще большим упорством и надеждой ухватилась за мысль о браке именно из страха, что Джизелла и мама правы и свадьба вообще не состоится.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Тем временем я заплатила все взносы за мебель и стала работать еще больше, чтобы скопить себе на приданое. По утрам я позировала в мастерских художников, а после полудня запиралась с мамой в нашей большой комнате и работала как заведенная до вечера. Мама сидела за швейной машиной возле окна, а я за столом шила на руках. Мама обучила меня ремеслу белошвейки, и дело у меня спорилось. Приходилось пришивать и обметывать множество застежек и петель, и, кроме того, на каждой сорочке полагалось вышивать монограмму. Мне особенно удавались эти монограммы, они получались выпуклые и словно лепные. Мы шили обычно мужское белье, но иногда случалось делать дамские сорочки, блузы или панталоны, но все это были дешевые заказы, так как мама не справлялась с тонкой работой, да мы и не водили знакомства с синьорами, которые заказывали бы дорогие вещи. Сидя за шитьем, я думала о Джино, о свадьбе, о поездке в Витербо, о маме, о своей жизни, словом, обо всем, и время летело незаметно. О чем думала мама, не знаю, но, несомненно, и она думала о чем-то своем, потому что лицо у нее было сосредоточенное, и, если я с ней заговаривала, она, не поднимая головы от машины, чаще всего отвечала невпопад. Как только начинало темнеть, я вставала, стряхивала с себя нитки и, надев свое самое нарядное платье,

уходила из дому, навещала Джизеллу или встречалась с Джино, если у него выдавался свободный вечер. Сейчас я спрашиваю себя, была ли я счастлива в то время. Пожалуй, да, потому что желала только одного — выйти замуж, — и осуществление этого желания казалось таким близким и возможным. Позже я поняла, что человек чувствует себя действительно несчастным только тогда, когда уже перестает надеяться и стремиться к чему-то, и тут уж не помогут ни благополучие, ни достаток.

Не раз я замечала, что Астарита ходит за мной. Случалось это всегда ранним утром, когда я отправлялась в мастерскую. Обычно Астарита дожидался меня где-нибудь за выступом городской стены на другой стороне улицы. Он никогда не переходил на мою сторону, и, пока я быстро шла к площади, он медленно следовал за мной вдоль городской стены. Он просто смотрел на меня издали, и этого ему, очевидно, было достаточно, ведь именно так ведут себя без памяти влюбленные мужчины. Когда я доходила до площади, Астарита выбирал место, безопасное для пешеходов, как раз напротив меня. Он продолжал пожирать меня глазами, но стоило мне обернуться, как он тотчас же начинал прохаживаться взад и вперед, делая вид, будто ждет трамвая. Вряд ли женщина останется равнодушной к такой любви, и я, несмотря на твердое решение не разговаривать с ним больше, все-таки порой испытывала к нему невольное сострадание. Немного погодя приезжал на машине Джино или подходил трамвай, и я уезжала, а Астарита оставался стоять на тротуаре, глядя мне вслед.

Однажды вечером, вернувшись домой к ужину и войдя в нашу большую комнату, я увидела Астариту, держа в руках шляпу, он стоял, прислонившись к столу, и разговаривал с мамой. Увидев его у себя в доме и догадавшись, о чем он может говорить с мамой — я не сомневалась, что он старался склонить ее на свою сторону, — я забыла о всяком сострадании. Страшно разозлившись, я спросила:

— Что вам здесь надо?

Он посмотрел на меня, и лицо его свела судорога, как и тогда в машине, когда мы ехали в Витербо и когда он сказал мне, что я ему нравлюсь. Но на сей раз он не мог произнести ни слова.

— Этот синьор говорит, что знаком с тобою, — начала мама доверительным тоном, — и вот зашел повидать тебя...

По ее голосу я поняла, что Астарита говорил с ней именно так, как я думала, и, кто знает, может быть, он дал ей денег.

— Будь добра, выйди из комнаты, — сказала я маме.

Она испугалась моего сурового голоса и молча вышла на кухню.

— Что вам здесь надо?.. Уходите, — повторила я.

Он смотрел на меня, шевеля губами, но не мог выдавить из себя ни звука. Глаза его закатились, из-под век виднелись полоски белков, и я перепугалась, что сейчас он упадет в обморок.

— Уходите, — громко закричала я, топнув ногой, — или я позову людей... позову нашего друга, который живет внизу!

Много раз потом я задавала себе вопрос, почему Астарита снова не шантажировал меня и не пригрозил, что, если я ему но уступлю, он расскажет Джино обо всем, что произошло в Витербо. А ведь на этот раз он мог шантажировать меня с бо́льшим успехом, я действительно переспала с ним, посторонние могли подтвердить, и я не смогла бы опровергнуть это. Думаю, что тогда он просто хотел обладать мною, а теперь по-настоящему полюбил меня. Любовь требует взаимности, и влюбленный Астарита, должно быть, испытывал неудовлетворенность от того, что произошло в Витербо, когда я хоть и была с ним, но оставалась недвижимой и пассивной, словно труп. А кроме того, я теперь решилась рассказать всю правду Джино, и если он меня любит, то поймет и простит. Моя твердость, вероятно, убедила Астариту в тщетности новых попыток шантажировать меня.

На мою угрозу позвать людей он ничего не ответил, а медленно направился к двери, волоча шляпу по длинному столу. Дойдя до конца стола, он остановился, опустил голову, видимо собираясь что-то сказать. Но когда он снова поднял глаза на меня и зашевелил губами, мужество, по-видимому, опять покинуло его, и он молча уставился на меня. Этот его взгляд показался мне особенно долгим. Наконец, кивнув на прощанье головой, он вышел и прикрыл за собою дверь.

Я тотчас же побежала к маме на кухню и яростно набросилась на нее:

— О чем ты с ним говорила?

— Ни о чем я не говорила, — испуганно ответила она, — он меня спросил, чем мы занимаемся... сказал, что хочет заказать сорочки.

— Если ты к нему пойдешь, я тебя убью! — закричала я.

Она со страхом взглянула на меня и ответила:

— Никто и не собирается к нему идти. Пусть заказывает себе сорочки в другом месте.

— А обо мне он ничего не говорил?

— Спросил, когда ты выходишь замуж.

— А ты что ему ответила?

— Что свадьба в октябре.

— А денег он тебе не давал?

— Нет, с какой стати? — Она взглянула на меня с притворным удивлением. — А почему он должен давать мне деньги?

Я была теперь твердо уверена, что Астарита дал маме денег. Я подскочила к ней и с силой схватила ее за руки.

— Говори правду! Он дал тебе денег?

— Нет... ничего он мне не давал.

Она держала руку в кармане фартука. Я с силой дернула ее за запястье, и из кармана вывалилась купюра, сложенная пополам. И хотя я все еще не отпускала ее руку, она нагнулась и с такой жадностью и проворством схватила деньги, что моя злость сразу же улетучилась. Я вспомнила, какое волнение и счастье вызвали в моей душе деньги, полученные от Астариты в день поездки в Витербо, и поняла, что не имею права осуждать маму за те же самые чувства и за то, что она поддалась такому же соблазну. Теперь я пожалела о случившемся: лучше было ни о чем не спрашивать, чтобы никогда не видеть этих денег. Поэтому я сказала спокойно:

— Вот видишь, он все-таки дал тебе денег.

И, не ожидая дальнейших объяснений, я вышла из кухни. За ужином я поняла, что маме не терпится затеять разговор об Астарите и деньгах. Но я заговорила о другом, и она не стала настаивать.

На следующий день Джизелла пришла одна, без Риккардо, в кондитерскую, где мы обычно встречались. Она, как только уселась, сразу без всяких вступлений начала разговор.

— Сегодня я должна поговорить с тобой по очень серьезному вопросу.

Предчувствуя недоброе, я сильно побледнела.

— Если это что-то плохое, — прерывающимся голосом заявила я, — то прошу тебя, не говори мне.

— Это не плохо и не хорошо, — быстро ответила она, — просто я хочу кое-что сообщить тебе, вот и все... я уже говорила, кто такой Астарита...

— Не желаю слышать об Астарите!

— Но выслушай, не будь ребенком. Астарита, как я тебе уже говорила, человек очень важный... Он шишка в политической полиции.

Я почувствовала себя спокойнее, в конце концов, политикой я не занималась.

— Кто бы он ни был, хоть сам министр, меня это не касается, — сказала я.

— Ох, какая ты... — фыркнула Джизелла, — не перебивай меня, выслушай сначала... Так вот, Астарита сказал мне, что ты должна обязательно прийти к нему в министерство... он хочет поговорить с тобой... но разговор пойдет не о любви, — быстро добавила она, видя, что я собираюсь возражать, — он хочет поговорить с тобой о каком-то важном деле, которое касается лично тебя.

— Какое же дело может меня касаться?

— Это для твоего же блага... так он по крайней мере сказал мне.

Почему на этот раз после стольких отказов я согласилась принять приглашение Астариты? Сама не знаю. Я ответила совсем тихо:

— Хорошо, я схожу к нему.

Джизелла была немного обескуражена моей покорностью. Тут только она заметила, как я бледна и напугана.

— Да что с тобой? — спросила она. — Ты боишься, что он из полиции? Но он на тебя совсем не сердится... Он ведь не собирается арестовывать тебя, чего ты испугалась?

Я встала, хотя чувствовала, что еле держусь на ногах.

— Хорошо, — повторила я, — я к нему схожу... в каком он министерстве?

— В министерстве внутренних дел... это напротив кинотеатра «Суперчинема». Но послушай...

— А в какое время?

— Он будет тебя ждать с утра... но послушай-ка...

— До свидания.

В ту ночь я почти не спала. Я не понимала, чего может добиваться от меня Астарита, кроме любви, но какое-то странное предчувствие говорило мне, что ничего хорошего ждать не приходится. Достаточно того, что он позвал меня к себе на службу, значит, дело так или иначе связано с полицией. Как все бедные люди, я знала, что, когда в дело вмешивается полиция, хорошо это кончиться не может. Я еще раз обдумала все свои поступки и пришла к выводу, что Астарита снова собирается шантажировать меня, воспользовавшись какими-то сведениями о Джино. Мне была неизвестна его жизнь, но кто знает, может, он политически неблагонадежен. Сама я никогда не занималась политикой, но все же не была полной невеждой и понимала, что существует немало людей, которые выступают против фашистского правительства, и именно такие, как Аста-

рита, приставлены вести слежку за этими врагами правительства. Моя фантазия рисовала в ярких красках картину нашей встречи с Астаритой, который, наверно, заставит меня выбирать: либо я снова уступлю ему, либо Джино посадят за решетку. Беда была в том, что я ни за что не хотела уступать Астарите, но, с другой стороны, боялась, что Джино арестуют. Думая обо всем этом, я теперь не только не испытывала сострадания к Астарите, а даже ненавидела его. Он казался мне трусливым и низким человеком, не только недостойным жить на свете, но заслуживающим самой жестокой смерти. И должна признаться, что в ту ночь среди множества разных планов мне даже приходило в голову убить Астариту. Но скорее всего, это был просто болезненный ночной кошмар. Я никогда не смогла бы осуществить своего намерения, хотя бы из-за того, что у меня не хватило бы на то твердости и решимости. Кошмар этот не покидал меня до самого утра. Я уже представляла себе, как кладу в сумочку остро наточенный складной нож, которым мама чистит картошку, вхожу к Астарите с притворно робким видом, а потом изо всех сил недрогнувшей рукой наношу ему удар ножом в затылок, между ухом и узкой полоской белого крахмального воротничка. Я воображала, как спокойно выхожу из его комнаты, а потом убегаю и скрываюсь у Джизеллы или еще у какого-нибудь надежного человека. Однако, представляя себе все эти кровавые сцены, я в то же самое время знала, что никогда не смогу поступить подобным образом: я боюсь крови, боюсь причинить боль другому человеку, и по характеру своему я скорее склонна терпеть любое насилие над собой, чем прибегать к нему.

К утру я заснула, но спала мало, и, когда рассвело, я встала и отправилась, как обычно, на свидание с Джино. Как только мы очутились на нашем шоссе, я после короткого разговора спросила его:

— Скажи мне, ты никогда не занимался политикой?

— Политикой? Что ты имеешь в виду?

— Не замышлял ли ты что-нибудь против правительства?

Он пристально посмотрел на меня и спросил:

— Скажи, ты что, считаешь меня кретином?

— Нет, но...

— Нет, прежде всего ответь мне: похож я на кретина?

— Нет, — ответила я, — ты не похож... но...

— Тогда, — заключил он, — какого черта я стал бы заниматься политикой?

— Не знаю, но ведь иногда...

— Ничего подобного... а тому, кто тебе это скажет, можешь заявить, что Джино Молинари не кретин.

Около одиннадцати утра, после того как я целый час бродила вокруг министерства, не решаясь войти, я наконец обратилась к швейцару и спросила, как мне найти Астариту. Я поднялась сначала по одной длинной широкой мраморной лестнице, потом по другой, не такой длинной, прошла несколько просторных коридоров и очутилась в приемной, где было три двери. Я привыкла связывать со словом «полиция» грязные и темные помещения районных комиссариатов, поэтому меня очень поразила роскошь министерства, где работал Астарита. Приемная с мозаичным полом и со старинными картинами, какие увидишь только в церкви, была похожа на банкетный зал. Кожаные кресла были расставлены вдоль стен, а посредине комнаты стоял массивный стол. При виде всей этой роскоши я невольно подумала, что Джизелла права: Астарита и в самом деле, должно быть, важная персона. Совершенно неожиданным образом мне представилась возможность убедиться в этом. Только я села в кресло, как одна из дверей отворилась, и оттуда вышла высокая, красивая, хотя уже не молодая, изящно одетая синьора во всем черном, с вуалеткой на лице, ее сопровождал Астарита. Я встала, думая, что наступила моя очередь. Но Астарита издали сделал мне знак, предупреждая, что видит меня и просит подождать, а сам продолжал разговаривать с дамой. Затем, проводив синьору до середины комнаты и поцеловав на прощанье ей руку, он пригласил какого-то старика в очках с седой бородкой, в черном костюме, похожего на профессора, который тоже ждал в приемной. По знаку Астариты старичок тотчас же поднялся и с подобострастным видом, тяжело дыша, бросился к нему. Затем оба они скрылись в кабинете, а я осталась одна.

Больше всего меня поразила перемена в поведении Астариты, он теперь вел себя по-другому, совсем не так, как во время нашего знакомства и поездки в Витербо. Тогда он дрожал, был неловкий, молчаливый, смущенный, теперь же он предстал передо мною в другом свете: он прекрасно владел собою, держался непринужденно, хотя и серьезно, независимо, с чувством какого-то скрытого превосходства. Даже голос его переменился. Во время нашей поездки он говорил низким, страстным, сдавленным шепотом, а сейчас, когда он разговаривал с дамой в вуалетке, голос его звучал ясно, солидно, ровно и спокойно. На нем был, как и в прошлый раз, темно-серый костюм, белая

сорочка с высоким воротничком, так туго обхватывающим шею, что ему трудно было вертеть головой, и этот костюм, и воротник, которые я хорошо разглядела еще во время поездки в Витербо и которым тогда не придала особого значения, теперь как нельзя лучше соответствовали всей здешней обстановке, и этой строгой и массивной мебели, и этой огромной комнате, и этой тишине и порядку, царящим здесь, будто именно такая одежда была принятой здесь униформой. Джизелла права, снова подумала я, он действительно важная персона, и только любовью ко мне можно было объяснить его смущение и постоянную готовность унижаться передо мной.

Эти размышления настолько рассеяли мою прежнюю тревогу, что, когда несколько минут спустя дверь отворилась и старик ушел, я уже вполне овладела собой. Однако на сей раз Астарита не появился на пороге. Раздался звонок, какой-то чиновник вошел в кабинет Астариты, закрыв за собой дверь, потом вышел, приблизился ко мне и, тихо спросив мое имя, сказал, что я могу войти. Я встала и не спеша направилась к двери.

Кабинет Астариты был лишь немного меньше приемной. Здесь было почти пусто, только в одном углу комнаты стояли диван и два кожаных кресла да большой стол, за которым сидел сам Астарита. Сквозь белые занавески на обоих окнах в комнату заглядывал холодный, пасмурный, тихий и печальный день, и мне почему-то вспомнился голос Астариты, когда он разговаривал с дамой в вуалетке. На полу лежал большой мягкий ковер, а на стенах висело несколько картин. Одну из них я запомнила: широкие зеленые поля тянулись до самого горизонта и замыкались цепью крутых гор.

Астарита сидел за большим столом, а когда я вошла, он даже не поднял глаз от бумаг, которые читал, а скорее всего, делал вид, что читает. Я говорю «делал вид», потому что была уверена: все это обычная комедия, он хочет запугать меня и внушить, что, дескать, обладает большой властью и занимает важный пост. И в самом деле, когда я приблизилась к столу, то увидела, что на листе бумаги, на который он воззрился, было всего три или четыре строчки и внизу какая-то подпись. Как ни старался он скрыть волнение, рука, которой он подпирал подбородок, не выпуская зажатой между двумя пальцами сигареты, заметно дрожала. Так что даже пепел с сигареты упал прямо на лист бумаги, который он рассматривал с таким преувеличенным вниманием.

Я оперлась руками о край стола и сказала:

— Вот я и пришла.

Услышав эти слова, он вздрогнул, оторвался от бумаг, поспешно встал, подошел ко мне и пожал мне обе руки. Все это он проделал молча, стараясь сохранить независимый и непринужденный вид. Но я сразу поняла, что едва он услышал мой голос, как тут же забыл о той роли, которую приготовился разыграть, и им снова овладело обычное неодолимое волнение. Он поцеловал мои руки, сперва одну, потом другую, посмотрел на меня глазами, полными грусти и вожделения, хотел было заговорить, но губы его задрожали.

— Ты пришла, — сказал он наконец низким и сдавленным голосом, который был мне так знаком.

Вероятно, происшедшая с ним перемена вернула мне спокойствие.

— Да, я пришла... хотя не следовало бы этого делать... Так что вы хотите мне сказать? — спросила я.

— Поди сядь здесь, — прошептал он, крепко сжимая мою руку.

Так, не отпуская мою руку, он подвел меня к дивану. Я села, он, вдруг опустившись передо мной на колени, обхватил мои ноги и прижался к ним лбом. И все это молча, дрожа всем телом. Он обхватил мои ноги с такой силой, что мне стало больно, и на какое-то время замер, потом лысой головой потянулся кверху, как будто хотел уткнуться лицом в мои колени. Я пошевелилась, намереваясь встать, и сказала:

— Вы хотели сообщить мне что-то важное... говорите... если же вы собираетесь молчать, я уйду.

После этих слов он как бы с трудом поднялся, сел рядом со мною, взял меня за руку и прошептал:

— Ничего... Я хотел просто повидаться с тобой.

Я снова попыталась встать, а он, удерживая меня, добавил:

— Да, я хотел побеседовать с тобою, давай договоримся...

— О чем?

— Я тебя люблю, — сказал он поспешно, — я тебя очень люблю... переходи жить ко мне, в мой дом, будешь там полной хозяйкой... как будто ты моя жена... я накуплю тебе платьев, драгоценностей, всего, что только пожелаешь...

Он словно бредил, слова беспорядочно слетали с его перекосившихся и почти неподвижных губ.

— Ах, так за этим вы меня заставили сюда прийти? — холодно спросила я.

— Не хочешь?

— Не хочу даже говорить об этом.

Странно, но он ничего не ответил на мои слова. Он только

поднял руку и, почти гипнотизируя меня своим тяжелым, пристальным взглядом, нежно провел ею по моему лицу, будто хотел запомнить его очертания. Прикосновение его пальцев было ласковым, и я чувствовала, как они дрожат, а он снова и снова касался кончиками пальцев моих висков, щек, подбородка. Это были жесты сильно любящего человека, и любовь его была столь убедительной, что, несмотря на всю свою решимость никак не отвечать на его чувства, я все-таки на какое-то мгновение готова была из жалости сказать ему несколько слов, не таких резких и грубых, как раньше. Но не успела, как раз в эту минуту он встал и отрывисто сказал задыхающимся голосом, но что-то новое послышалось в нем, кроме уже знакомого мне волнения и желания:

— Подожди-ка... я в самом деле... хочу сообщить тебе одну важную вещь.

Он подошел к столу и взял какой-то красный блокнот. Теперь, когда он направлялся ко мне с блокнотом, настала моя очередь волноваться. Срывающимся голосом я спросила:

— Что это такое?

— Это, это... — он запинался и наконец с трудом выдавил из себя вопреки всем усилиям выдержать независимый и официальный тон, — это сведения, которые касаются твоего жениха.

— Ах, — вырвалось у меня, и на минуту я от страха зажмурила глаза.

Астарита ничего не заметил, он листал блокнот, беспокойно комкая бумагу.

— Джино Молинари, не так ли?

— Да.

— Ты должна обвенчаться с ним в октябре, не правда ли?

— Да.

— Но есть сведения, что Джино Молинари уже женат, — продолжал он, — точнее, женат уже четыре года на Антоньетте Партини, дочери покойного Эмилио Партини и Диомиры Лаванья, и у них есть дочь по имени Мария... в настоящее время жена его проживает у своей матери в Орвьето.

Я молча поднялась с дивана и направилась к двери. Астарита застыл как вкопанный посредине комнаты с блокнотом в руках. Я открыла дверь и вышла.

Стоял мягкий пасмурный зимний день. Помню, едва я очутилась на улице в толпе, меня охватило горькое сознание, что моя жизнь после короткого перерыва, связанного с моими надеждами и приготовлениями к свадьбе, подобно реке, которую

сначала заставили искусственно изменить свое течение, а потом направили в прежнее русло, потечет, как и раньше, уже без всяких отклонений и перемен. Вероятно, это чувство было вызвано тем, что я, сраженная страшной новостью, взглянула на окружающий меня мир внимательно, без иллюзий, и люди, дома, автомобили предстали передо мной впервые за много месяцев в своем истинном свете, такими, какими были в действительности, не безобразными и не прекрасными, не слишком значительными и не слишком ничтожными, как раз такими, вероятно, они кажутся внезапно протрезвевшему пьянице; скорее всего, это мое состояние объяснялось тем, что я вдруг ясно осознала: настоящую жизнь нельзя ограничить узкими рамками моего представления о счастье, она, наоборот, складывается из таких вещей, которые часто противоречат всем правилам и представлениям, проявляют себя неожиданно в крайне неприглядном виде, причиняют боль и приносят разочарование. И если жизнь действительно устроена так, какой я увидела ее теперь, то именно в то утро после нескольких месяцев опьянения я вновь начала жить.

И это новое восприятие жизни явилось единственным откровением, которое принесло мне разоблачение двуличности Джино. Я не думала осуждать его, даже не питала на него глубокой обиды. Я сама в какой-то мере была виновата в том, что поддалась на обман: слишком памятны для меня были минуты наслаждения, которые я переживала в объятьях Джино, чтобы не найти если не оправдание, то хотя бы извинение его лживости.

Ослепленный страстью, он скорее слабый, чем злой человек, думала я, и вся беда — если это можно назвать бедой — именно в том, что моя красота кружила мужчинам голову и заставляла забывать свой долг и всякий стыд. И в общем-то Джино был не более виновен, чем Астарита, только первый прибегнул к обману, а второй — к шантажу. Однако оба они любили меня по-своему, и, уж конечно, если бы могли законным образом соединить свою жизнь с моею, то каждый из них дал бы мне то скромное счастье, которое я ставила превыше всего. Но судьбе, видно, было угодно, чтобы я, несмотря на свою красоту, сталкивалась только с теми мужчинами, которые не могли дать мне этого счастья. И если мне было еще не ясно, кто же здесь главный виновник, то, во всяком случае, я хорошо понимала, что жертва есть и что жертва эта я сама.

Может быть, некоторым покажутся несколько странными те чувства, которые я испытывала после разоблачения преда-

тельства Джино. Но всякий раз, когда мне наносят обиду, у меня появляется желание простить обидчика и поскорее забыть обо всех оскорблениях. Такое смирение проистекает, скорее всего, из-за моей бедности, наивности и беззащитности. И если вследствие обиды какая-то перемена и происходит во мне, то она отражается не на моем поведении и внешнем виде, а прячется где-то в глубине души, которая, подобно кровавой ране, быстро зарастает сверху здоровой тканью и зарубцовывается. Но шрамы остаются; и эти, казалось бы, незаметные движения души являются определяющими.

И в этой истории с Джино со мною произошло то же самое. Я ни минуты не питала злобы к нему, но в глубине души почувствовала, что навсегда рухнули мои чаяния иметь семью, мое уважение к Джино, мое желание восторжествовать над Джизеллой и мамой, моя вера в бога или хотя бы то, что было до сих пор для меня верой. Я невольно сравнивала себя с куклой, которой играла в детстве: целыми днями я швыряла и тормошила бедняжку, вдруг однажды изнутри послышался звон и треск, и, хотя розовое лицо по-прежнему улыбалось, непоправимое уже произошло. Я отвинтила ей голову, и из отверстия посыпались осколки фарфора, веревочки, винтики и крючки механизма, который заставлял ее пищать и закрывать глаза, там внутри оказалось еще множество каких-то загадочных деревяшек и тряпочек, назначение которых мне так и не удалось выяснить.

Пораженная в самое сердце, но внешне спокойная, я пошла домой. В тот день я занималась своими обычными делами, маме я ничего не сказала о том, что случилось со мною и какие выводы я для себя сделала. Но поняла, что не в силах больше притворяться и шить себе приданое, поэтому я взяла уже готовые и еще не конченные вещи и заперла их в шкаф в своей комнате. От маминых глаз не укрылась моя грусть, столь необычная для меня, всегда веселой и беззаботной, но я сказала, что просто устала, как оно и было на самом деле. Вечером, когда мама еще сидела за шитьем, я ушла в свою комнату и не раздеваясь легла на кровать. Я смотрела теперь на свою мебель, за которую уже полностью расплатилась деньгами Астариты, совсем иными глазами, без прежней радости и надежды. Мне казалось, что я не страдаю, а только ужасно устала и все мне безразлично, как бывает после окончания тяжелой и бесплодной работы. Кроме того, я испытывала и физическую слабость, все тело мое болело и жаждало отдыха. Думая о своей мебели, о том, что теперь мне не придется поль-

зоваться ею, как мечталось, я так и заснула одетая. Проспала я, наверно, часа четыре глубоким, но тяжелым и беспокойным сном и, проснувшись в полной темноте, громко позвала маму. Она тотчас же откликнулась и сказала, что не хотела будить меня, потому что я спокойно и сладко спала.

— Ужин я приготовила час тому назад, — добавила она. — Что с тобой? Разве ты не встанешь?

— Мне не хочется вставать, — ответила я, прикрыв ладонью глаза, ослепленные светом, — принеси сюда ужин, ладно?

Мама вышла и немного погодя вернулась с подносом, на котором стоял мой обычный ужин. Она поставила поднос на край постели, и я, приподнявшись немного и опершись на локоть, начала нехотя есть. Мама стояла и смотрела на меня. Но проглотив несколько кусочков, я перестала есть и опустилась на подушки.

— Что с тобой? Почему ты не ешь? — спросила мама.

— Я не голодна.

— Тебе нездоровится?

— Я чувствую себя прекрасно.

— Тогда я уберу отсюда еду, — сказала мама, взяла поднос с кровати и поставила его на пол возле окна.

— Завтра утром не буди меня, — сказала я немного погодя.

— Почему?

— Потому что я решила больше не позировать: устаешь страшно, а зарабатываешь мало.

— А что же ты будешь делать? — с беспокойством спросила она, — я не могу содержать тебя... ты уже не девочка и обходишься недешево... Кроме того, у нас много расходов... твое приданое...

Мама начала причитать и хныкать. Закрыв лицо руками, я медленно и отчетливо произнесла:

— Сейчас не приставай ко мне... успокойся, деньги у нас будут.

Последовало долгое молчание.

— Ты больше ничего не хочешь? — спросила наконец мама испуганно и беспокойно, совсем как горничная, которую упрекнули в излишней фамильярности и которая пытается подольститься, чтобы ее простили.

— Будь добра... помоги мне раздеться... Я ужасно устала и безумно хочу спать.

Мама покорно уселась на постель, сняла с меня туфли и чулки, затем аккуратно сложила их на стуле возле изголовья

кровати. Затем она сняла с меня платье, белье, помогла натянуть ночную сорочку. Все это время я не открывала глаз и, как только очутилась под одеялом, свернулась калачиком и укрылась с головой простыней. Я слышала, как мама выключила свет, пожелала мне доброй ночи, остановившись на пороге, но я ничего не ответила. Заснула я мгновенно, крепко проспала всю ночь и проснулась поздно.

Утром я, как обычно, должна была встретиться с Джино, но, проснувшись, поняла, что не смогу видеть его до тех пор, пока не пройдет моя боль и пока я не буду относиться к его предательству беспристрастно и спокойно, как к событию, которое произошло не со мною, а с кем-то другим. И тогда, и много позднее я старалась избегать всяческих объяснений, вызванных смятением чувств, особенно когда чувства эти — как в данном случае — отнюдь не были чувствами симпатии и любви. Конечно, я уже больше не любила Джино, но и не таила зла против него, потому что не хотела, чтобы, кроме горечи от его предательства, душа моя наполнилась еще более неприятным и унизительным для меня чувством — ненавистью.

Впрочем, в то утро я испытывала особую, почти сладострастную лень и чувствовала себя уже не такой убитой, как накануне вечером. Мама надолго ушла, и я знала, что раньше полудня она не вернется. Я нежилась в постели, и это было первым удовольствием, которое я испытала в начале нового периода моей жизни, когда я решила, что буду отныне искать только одних удовольствий. Для меня, которой всю жизнь приходилось подниматься с постели ранним утром, это безделье в утренние часы было настоящей роскошью. Долго я отказывала себе в этом, а теперь решила позволить себе такую прихоть, и так я буду поступать всегда, буду иметь все, от чего до сих пор я вынуждена была отказываться из-за своей бедности или ради надежды на тихую семейную жизнь. Ведь я люблю мужчин, думала я, люблю деньги, люблю вещи, которые можно купить за деньги; поэтому отныне я не упущу ни одного удобного случая, не откажусь от любви, от денег и от того, что они могут мне дать. Однако не надо думать, что я собиралась жить так с досады, обиды или из чувства мести. Наоборот, я думала об этом с удовольствием, заранее предвкушала все радости, В любом положении, как бы неприятно оно ни было, есть своя прелесть. Я потеряла в течение часа надежду создать семью и обрести маленькое, тихое счастье, которое она мне сулила, а взамен получила свободу. Правда, мои самые сокровенные желания так и остались неосуществленными, зато

мне нравилась легкая жизнь, и блеск такой жизни затмевал все печальные и унизительные ее стороны. Наставления мамы и Джизеллы наконец принесли свои плоды. Все время, пока я вела честную жизнь, меня пытались убедить, что своей красотой я смогу добыть себе все, что только пожелаю. И в то утро я впервые стала смотреть на свое тело как на весьма удобное средство, благодаря которому можно достичь тех целей, каких я не смогла добиться ни трудом, ни добродетелью.

В этих мечтах или, вернее сказать, размышлениях утро пролетело незаметно, и я удивилась, когда услышала, как колокола на соседней церкви прозвонили полдень, а длинный солнечный луч, проникший сквозь окно, дотянулся до самой моей кровати. И этот колокольный звон, и солнечный луч, так же как и мое безделье, — все это казалось мне необычным, приятным и неслыханным удовольствием. Вот так же, должно быть, нежатся в своих постелях, мечтают, слушают колокольный звон и следят за солнечными бликами богатые синьоры, которые живут в домах, похожих на виллу хозяев Джино. И все с тем же сознанием, что я уже больше не бедная работящая Адриана, какой была вчера, а совсем новая, другая, я наконец поднялась с постели и, подойдя к зеркальному шкафу, сняла с себя ночную сорочку. Я посмотрела на себя в зеркало и впервые поняла мамину гордость, вспомнив, как она говорила художнику: «Посмотрите, какая у нее грудь... какие ноги... какие бедра».

Я вспомнила Астариту, вспомнила, как желание обладать этим телом меняло его характер, манеры и даже голос, и я сказала себе, что, конечно, найдется немало мужчин, которые за то, чтобы насладиться моим телом, заплатят столько же, а может быть, и еще щедрее, чем Астарита.

Не спеша, сообразно моему новому настроению, я оделась, выпила чашку кофе и вышла из дома. Я зашла в ближайший бар и позвонила по телефону Джино. Он дал мне номер телефона виллы, но посоветовал с особой лакейской предосторожностью звонить только в исключительных случаях, так как господа не любят, когда слуги пользуются телефоном. Я поговорила с какой-то женщиной, должно быть с горничной, потом через минуту подошел Джино. Он сразу же спросил меня, не заболела ли я, и я не могла сдержать улыбку, так эта заботливость соответствовала его неизменно безукоризненному поведению, которое, вероятно, не всегда было неискренним, потому-то и ввело меня в заблуждение.

— Я чувствую себя отлично, — ответила я, — никогда так хорошо себя не чувствовала.

— А когда мы увидимся?

— Когда угодно, — ответила я, — но только я хотела бы встретиться так, как мы встречались раньше... то есть на вилле, когда твои господа уедут.

Он тотчас же понял, о чем я говорю, и быстро сказал:

— Они уедут дней через десять... в рождественские праздники... не раньше.

— Тогда увидимся через десять дней, — небрежно сказала я.

— Как, — спросил он удивленно, — значит, раньше мы не увидимся?

— Раньше у меня не будет времени.

— Что случилось? — спросил он с подозрением в голосе. — Ты на меня сердишься?

— Нет, — ответила я, — если бы я сердилась, то не стала бы встречаться с тобой на вилле. — Тут мне пришло в голову, что он начнет ревновать и надоедать мне, поэтому я добавила: — Не бойся... я тебя люблю по-прежнему... просто мне нужно помочь маме выполнить срочный заказ... к празднику... я смогу выходить из дома только очень поздно, а ты в это время всегда занят, поэтому лучше подождать, пока твои господа уедут.

— Ну, а по утрам?

— Утром я буду спать, — ответила я, — между прочим, ты знаешь, я больше не позирую.

— Почему?

— Я устала... ты доволен? Итак, увидимся через десять дней... я тебе позвоню.

— Хорошо.

Он произнес эти слова не очень уверенно, но я достаточно хорошо знала его и была убеждена, что раньше чем через десять дней он, несмотря на свое подозрение, не даст о себе знать. И более того, именно потому, что он подозревает что-то, он не объявится раньше. Джино никогда не был смелым человеком, а мысль, что я разоблачила его обман, должно быть, наполнила его душу страхом и волнением. Повесив трубку, я вспомнила, что разговаривала с Джино спокойно, приветливо, даже любезно, и это меня порадовало. Скоро и в моем чувстве к нему я сумею обрести такое же спокойствие, такую же приветливость и любезность; и я смогу встретиться с ним без боязни обнаружить в себе, в нем и в наших отношениях фальшь, скуку и ненависть.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

В тот же день я отправилась в меблированные комнаты навестить Джизеллу. Было уже за полдень. В этот час Джизелла обычно только поднималась с постели и начинала одеваться, чтобы идти на свидание с Риккардо. Я присела на неубранную кровать, а Джизелла тем временем расхаживала по комнате, где царил полумрак, среди разбросанных в беспорядке платьев и белья. Я спокойно рассказала ей, как ходила к Астарите и как он сообщил мне, что Джино женат и у него есть ребенок. Услышав эту новость, Джизелла вскрикнула не то от радости, не то от неожиданности, подошла ко мне, села напротив и обняла меня за плечи.

— Да что ты... не может быть... жена и ребенок... да так ли это?

— Его дочь зовут Марией.

Было ясно, что ей хочется все разузнать как следует и обсудить эту новость, но мой спокойный вид разочаровал ее.

— Жена и дочь... дочь зовут Марией... и ты так спокойно об этом говоришь?

— А как же я должна говорить?

— И тебя это не огорчает?

— Конечно, огорчает.

— Значит, он тебе так и сказал: Джино Молинари женат и у него есть ребенок... да?

— Да.

— А ты ему что ответила?

— Ничего... что я должна была ответить?

— Ну, что ты почувствовала? Заплакала?.. В конце концов, это просто катастрофа для тебя.

— Нет, я не заплакала.

— Ведь теперь ты не сможешь выйти за него замуж! — воскликнула она с легкомысленным и веселым видом. — Ну и подлость... Надо же быть таким бессовестным... бедная девушка, которая, можно сказать, жила только ради него одного... Что за подлецы мужчины!

— Джино еще не знает, что мне все известно, — сказала я.

— На твоем месте, дорогая, — взволнованно воскликнула она, — я выложила бы ему всю правду в глаза... и не мешало бы влепить ему пару хороших оплеух.

— Я назначила ему свидание через десять дней, — ответила я, — думаю, что мы будем продолжать наши прежние отношения.

Она отступила назад, широко раскрыв от удивления глаза:

— Но зачем? Он тебе еще нравится? После всего, что он натворил?

— Нет, — ответила я, с трудом сдерживая волнение, — он теперь уже не так сильно нравится мне... Но, — я заколебалась, а потом, поборов себя, добавила: — не всегда ведь пощечины и ругань являются лучшим орудием мести.

С минуту Джизелла молча смотрела на меня, прищурив глаза и отодвинувшись назад, как это делают художники, когда разглядывают свою работу, потом воскликнула:

— Ты права... как я не подумала об этом... а знаешь, как я поступила бы на твоем месте? Преспокойно оставила бы его в счастливом неведении, а потом в один прекрасный день бац — и бросила бы его. — Я ничего не ответила. Спустя минуту она продолжала уже более спокойно, но все еще громким голосом, в котором слышалось воодушевление: — Прямо до сих пор не могу прийти в себя... жена и дочь... а перед тобой он корчил из себя бог знает кого... да еще заставил тебя купить мебель, приданое... ну и дела, ну и дела! — Я упорно молчала. — Но я-то, — воскликнула она с торжеством, — согласись, что я-то его сразу раскусила... что я тебе говорила? Этот человек тебя обманывает... бедная Адриана.

Она обняла меня и поцеловала. Я позволила ей поцеловать меня, а потом сказала:

— Да, по самое страшное, что из-за него я потратила все мамины деньги.

— А твоя мать знает об этом?

— Нет, пока еще не знает.

— О деньгах не беспокойся, — закричала она. — Астарита влюблен в тебя по уши... стоит тебе захотеть, и он даст тебе сколько угодно денег.

— Я не хочу больше видеть Астариту, — ответила я, — любой мужчина, только не Астарита.

Должна заметить, что Джизелла была вовсе не глупа. Она тотчас же поняла, что об Астарите, по крайней мере теперь, не может быть и речи, и поняла также, что значили мои слова «любой мужчина». Она сделала вид, что размышляет, потом сказала:

— В конце концов, ты права, я тебя понимаю... после всего, что случилось, мне тоже было бы неприятно видеться с Астаритой... он всего хочет добиться силой... и о Джино он рассказал тебе в отместку. — Она снова замолчала, а потом с торжественным видом заявила: — Положись на меня... хочешь,

я познакомлю тебя с человеком, который охотно тебе поможет?

— Да, хочу.

— Положись на меня.

— Только я не хочу больше ни с кем быть связанной, — добавила я, — хочу быть свободной.

— Положись на меня, — повторила она в третий раз.

— Первым делом я хочу вернуть все деньги маме, — продолжала я, — хочу купить кое-что себе и, наконец, хочу, чтобы мама больше не работала.

Джизелла тем временем уселась у туалетного столика.

— Ты всегда была слишком добра, Адриана, — сказала она, торопливо пудря лицо, — теперь видишь, к чему приводит доброта.

— Знаешь, сегодня утром я не ходила позировать, — заявила я, — решила бросить это занятие.

— И правильно сделала, — отозвалась Джизелла, — я тоже в конце концов занимаюсь этим только ради... — и она назвала имя одного художника, — только чтобы доставить ему удовольствие... а как только он кончит работу, баста!

Я совершенно успокоилась и испытывала теперь к Джизелле огромную симпатию. Ее слова «положись на меня» звучали для меня как ободрение, как сердечное и искреннее обещание разрешить как можно скорее все мои затруднения. Я прекрасно понимала, что Джизелла хочет помочь мне не из любви, а, как в том случае с Астаритой, из желания, возможно и неосознанного, увидеть меня поскорее в таком же положении, в каком находилась она сама — ведь никто ничего не делает даром, — и, поскольку на этот раз желание Джизеллы совпадало с моим, у меня не было повода отказываться от ее помощи, пусть даже и не бескорыстной.

Джизелла очень торопилась, она уже опаздывала на свидание с женихом. Мы вышли вместе и начали спускаться по темной, крутой и узкой лестнице старого дома. На лестнице Джизелла, находившаяся все еще в возбужденном состоянии, а может быть, испытывая желание как-то смягчить мое огорчение и показать, что я не одинока в своем горе, сказала:

— Знаешь, я начинаю думать, что Риккардо хочет устроить со мной такую же шутку.

— Он тоже женат? — наивно спросила я.

— Нет, конечно, он не женат... Думаю, что он просто водит меня за нос... я ему заявила: дорогой мой, я в тебе не очень-то

нуждаюсь, если угодно, оставайся, а не угодно, можешь катиться на все четыре стороны.

Я ничего не ответила, но подумала: какая огромная разница между мною и Джизеллой и как непохожи ее отношения с Риккардо на мои отношения с Джино. В конце концов, она никогда не обольщалась насчет намерений Риккардо и, насколько мне известно, время от времени беззастенчиво изменяла ему, а я всеми силами своей наивной души надеялась стать женой Джино и всегда оставалась ему верна, ибо нельзя назвать изменой тот случай, когда я уступила Астарите в Витербо, ведь он принудил меня к этому шантажом. Но я подумала, что Джизелла может обидеться на меня, если я ей это скажу, поэтому я промолчала. У ворот мы расстались, договорившись встретиться завтра вечером в кафе, она просила меня не опаздывать, потому что она, вероятно, будет не одна. Затем Джизелла убежала.

Я понимала, что нужно рассказать обо всем случившемся маме, но у меня не хватало духу. Мама по-настоящему меня любила, поэтому в отличие от Джизеллы, которая в обмане Джино видела лишь подтверждение своей правоты и даже не пыталась скрыть своего торжества, конечно, огорчилась бы, а не обрадовалась этой своей победе. Мама желала мне счастья, и ей было все равно, каким путем оно ко мне придет, просто она считала, что Джино не сможет мне его дать. После долгих колебаний я решила ничего маме не говорить. Пусть завтра вечером она увидит все собственными глазами, и хотя я понимала, что, пожалуй, слишком жестоко таким путем вводить ее в курс событий, перевернувших всю мою жизнь, однако так будет легче избежать объяснений, замечаний и разговоров вроде тех, на которые столь щедрой оказалась Джизелла. По правде говоря, теперь меня охватывал ужас при мысли о приготовлениях к свадьбе, и мне не хотелось ни думать, ни говорить об этом с кем бы то ни было.

На следующее утро, боясь расспросов мамы, которая уже что-то заподозрила, и сказав ей, что спешу на свидание с Джино, я ушла из дома и отсутствовала почти весь день. Специально для свадьбы я сшила себе новый серый костюм, собираясь надеть его сразу после венчания. Это был мой самый лучший наряд, и я долго колебалась, раздумывая, стоит ли надевать его. Но потом я решила, что когда-нибудь все равно придется это сделать, если не сегодня, то в другой раз, кроме того, я понимала, что мужчины всегда придают большое значение внешнему виду, а мне надо было произвести самое выгодное впечат-

ление, выглядеть как можно элегантнее, чтобы получить побольше денег, и потому отбросила все свои колебания. Итак, я не без трепета надела свой самый лучший наряд, который, как я теперь понимаю, был вовсе не так уж хорош, а, скорее, просто жалок, как и все мои платья в то время, потом я аккуратно причесалась и чуть-чуть, но не более обычного, подкрасилась. Тут я хочу сказать, что никогда не понимала, почему многие женщины моей профессии, выходя на панель, румянятся сверх меры, ведь лица их становятся похожими на карнавальные маски. Это, вероятно, объясняется тем, что в силу своего образа жизни они обычно очень бледны, а может быть, просто боятся, что, ненакрашенные, они не привлекут внимания мужчин либо не дадут им понять, что с ними можно заговорить. Я же, несмотря на усталость и утомление, всегда сохраняла здоровый смуглый цвет лица; без ложной скромности могу сказать, что мне никогда не составляло труда заставить мужчин оглядываться на меня на улице и незачем было прибегать к излишней косметике. Я привлекаю взгляды мужчин не румянами, не подведенными глазами, не выкрашенными в соломенный цвет локонами, а своей статностью — по крайней мере в этом уверяли меня многие мужчины, — своим спокойным и кротким выражением лица, белозубой улыбкой и густыми волнистыми каштановыми волосами. Женщины, которые перекрашивают волосы и румянят щеки, видно, не понимают, что мужчины сразу догадываются, с кем имеют дело, и заранее предвзято судят о них. Моя же непосредственность и вполне приличный вид вводят мужчин в заблуждение, они воспринимают все как случайное приключение, что, по правде говоря, нравится мужчинам больше, чем простое удовлетворение чувственности.

Одевшись и причесавшись, я пошла в кино и два раза подряд посмотрела один и тот же фильм. Когда я вышла из кинотеатра, было уже поздно, и я направилась в кафе, где мы с Джизеллой условились встретиться. Это кафе было шикарное в отличие от той скромной кондитерской, которую мы обычно посещали вместе с Риккардо; сюда я попала впервые. Я тут же поняла, что Джизелла не случайно выбрала это место, ей хотелось подчеркнуть мои прелести, набить мне цену. Все эти уловки и хитрости, а также и другие, о которых я еще упомяну в свое время, действительно могут надежно обеспечить материальное положение молодой красивой женщины вроде меня, что является желанной целью многих женщин. Но не всем удается достигнуть этого, и я как раз принадлежу к числу та-

ких неудачниц. В силу своего простого происхождения я всегда смотрела с недоверием на все роскошные места: в дорогих ресторанах и кафе я чувствовала себя неловко, стыдилась улыбаться или переглядываться с мужчинами, мне казалось, что меня выставили к позорному столбу под ярким светом хрустальных люстр. И наоборот, я всегда питала глубокую и искреннюю любовь к улицам родного города со всеми его домами, церквами, памятниками, магазинами, городскими воротами, ценила эти красивые и родные улицы больше любого роскошного зала ресторана или кафе. Мне нравилось гулять по улицам и бульварам в вечерние часы, медленно прохаживаться вдоль освещенных витрин магазинов, поглядывая временами вверх на постепенно темнеющие кусочки неба в просветах между крыш, нравилось толкаться в толпе и выслушивать, не оборачиваясь, недвусмысленные предложения мужчин, которые иной раз, поддавшись внезапному соблазну, отваживались шептать мне их на ухо; нравилось без конца ходить взад и вперед по одной и той же улице, и я прекращала прогулку, только когда выбивалась из сил, но душа моя оставалась все такой же свежей и ненасытной, будто я бродила по большому базару, где одна диковина сменяет другую. Улица заменяла мне и гостиную, и ресторан, и кафе; ведь я родилась в бедности, а бедняки, как известно, умеют развлекаться, не тратя денег, они любуются выставленными в витринах магазинов товарами, которые не могут купить, и фасадами домов, в которых не имеют возможности поселиться. По той же причине мне нравилось бывать в церквах, которых в Риме великое множество и которые открыты для всех. В этих богатых храмах среди мрамора, позолоты и дорогих украшений застарелый и тяжелый запах нищей толпы перебивает порой благовоние ладана. Конечно, богатые синьоры не прогуливаются по улице и не ходят в церковь, они разъезжают по городу в машинах и, откинувшись на спинки сидений, читают газеты; а я предпочитала улицу всем другим местам, поэтому сразу же пресекала все знакомства, которые, по мнению Джизеллы, необходимо было поддерживать, жертвуя своими даже самыми глубокими привязанностями. Я ни за что не соглашалась идти на эту жертву, и все время, пока длилась наша дружба с Джизеллой, мои вкусы были предметом бурных споров. Она не любила улицу, к церквам относилась равнодушно, а толпа вызывала в ней презрительное отвращение. Пределом ее мечтаний были дорогие рестораны, где предупредительные официанты следят за каждым жестом клиентов, самые роскошные кафе и игорные

салоны, а также модные дансинги, где музыканты наряжены в особые костюмы, а танцующие все сплошь в вечерних туалетах. Здесь Джизелла перевоплощалась, меняла манеры, жесты, даже голос. Словом, изо всех сил старалась казаться дамой из высшего общества, что было для нее идеалом, которого она, как вы увидите впоследствии, в какой-то мере достигла. Но самое любопытное, что человека, которому было суждено удовлетворить ее честолюбивые планы, она встретила не в этих роскошных ресторанах, а благодаря мне, именно на улице, которую так ненавидела.

Джизеллу я застала в кафе вместе с мужчиной средних лет. Он был коммивояжером. Джизелла представила его мне как синьора Джачинти. Он показался мне плечистым, среднего роста, но, когда он встал, я увидела, что он вовсе не высок, а очень широкие плечи делали его еще приземистей. Свои блестящие, как серебро, седые густые волосы он, очевидно, с умыслом подстригал «под ежик», надеясь казаться выше ростом; черты его румяного, пышущего здоровьем лица были правильные, даже благородные, как у статуи: прекрасный лоб, большие черные глаза, прямой нос и хорошо очерченный рот. Но выражение кичливого самодовольства и наигранного благодушия делало это на первый взгляд красивое и величественное лицо скорее отталкивающим.

Я немного волновалась, поэтому, обменявшись рукопожатием с новым знакомым, молча опустилась на стул. Джачинти как ни в чем не бывало продолжал разговаривать с Джизеллой, будто я подошла к ним просто случайно, хотя в действительности все затевалось ради встречи со мной.

— Ты не можешь пожаловаться на меня, Джизелла, — говорил Джачинти, положа ладонь на ее колено, — сколько времени длился наш союз, назовем его так, хорошо?.. Полгода? Так вот, скажи, обидел ли я тебя хоть раз за эти полгода?

Голос у него был звучный, он медленно отчеканивал каждое слово, но старался явно не для слушателя, а просто упивался самим собой.

— Нет, нет, — сказала Джизелла, опуская голову; ей, видно, все это уже давно надоело.

— Ну-ка, Джизелла, скажи Адриане, — продолжал Джачинти своим ясным чеканным голосом, — я не только не скупился платить за услуги — давайте договоримся называть это услугами, — но каждый раз, приезжая из Милана, привозил тебе какой-нибудь подарок... Помнишь, я привез тебе флакон французских духов? А в другой раз подарил тебе куклу из

кисеи и кружев?.. Женщины считают, что мужчины ничего не понимают в dessous *, но я — счастливое исключение, ха-ха!

Он сдержанно засмеялся, показав великолепные зубы, безупречная белизна которых заставляла сомневаться в их подлинности.

— Дай-ка мне сигарету, — чуть сухо сказала Джизелла.

— Сию секунду, — ответил он с шутливой поспешностью.

Он предложил сигареты и мне, взял себе одну и, закурив, продолжал:

— А ты помнишь сумку, которую я тебе привез в прошлый раз... Такая большая, из толстой кожи... настоящий шик-модерн... ты что же, больше ее не носишь?

— Но ведь это хозяйственная сумка, — сказала Джизелла.

— Люблю делать подарки, — сказал он, обращаясь ко мне, — понятно, не просто из сентиментальных соображений, — он покачал головой и выпустил из ноздрей струю дыма, — а по трем причинам: во-первых, я люблю, когда меня благодарят; во-вторых, подарки себя оправдывают: тот, кто получил один подарок, надеется заслужить другой; в-третьих, женщины привыкли строить иллюзии, а подарки служат как бы проявлением любви, даже когда ее нет и в помине.

— Какой же ты хитрец, — безразличным тоном, даже не глядя в его сторону, сказала Джизелла.

Он покачал головой и улыбнулся во весь рот.

— Нет, я не хитрец... просто я человек, который много пережил и сумел извлечь из этого урок... и знаю, что с женщинами надо разговаривать в одной манере, с клиентами — в другой, а с подчиненными существует третий способ разговора и так далее... У меня в голове все аккуратно разложено по полочкам... например, имея в виду какую-то женщину, я разбираю свою картотеку, смотрю: такие-то меры имели должный успех, а такие-то нет, я прячу все на место и действую в соответствии с этим... вот и все.

Он снова рассмеялся.

Джизелла со скучающим видом курила сигарету, а я попрежнему молчала.

— Женщины довольны мною, — продолжал он, — ибо понимают, что им не придется разочароваться, я-то знаю их потребности, их слабости и их капризы... я ведь тоже радуюсь такому клиенту, который понимает меня с полуслова и с которым не надо тратить зря время на болтовню, потому что знает,

---

* Дамское белье (*франц.*).

чего сам хочет и чего хочу я... у меня в Милане на столе стоит пепельница с надписью «Будь благословен тот, кто не заставляет меня терять время попусту». — Он отложил сигарету, отвернул рукав пиджака, взглянул на часы и добавил: — Я думаю, пора и поужинать.

— Который час?

— Восемь... извините, я сейчас вернусь.

Он встал и удалился в другой конец зала. И в самом деле, он был невысок, широкоплеч, с седыми густыми, стоящими дыбом волосами. Джизелла загасила сигарету о край пепельницы и сказала:

— Какой нудный, только о себе и говорит.

— Я уже заметила.

— Пусть он себе говорит, а ты ему только поддакивай, — продолжала она, — увидишь, он откроет тебе кучу секретов... он воображает себя невесть кем... Но он щедрый и будет делать подарки.

— Да, а потом начнет попрекать ими.

Она ничего не ответила, а только покачала головой, словно говоря: «Тут уж ничего не поделаешь». Мы сидели молча, пока не вернулся Джачинти, он расплатился, и мы вышли из кафе.

— Джизелла, сегодняшний вечер посвящается Адриане, — сказал Джачинти на улице, — но не окажешь ли ты честь поужинать с нами?

— Нет, нет, спасибо, — торопливо отозвалась Джизелла, — у меня свидание.

Распрощавшись с Джачинти и со мной, она ушла. Когда она удалилась, я сказала:

— Джизелла очень славная девушка.

Он скривил рот и ответил:

— Да, недурна, у нее прекрасная фигура.

— Неужели она вам несимпатична?

— Я считаю, — заявил он, шагая рядом со мной и сильно сжимая мою руку высоко, почти под мышкой, — что не обязательно быть симпатичным, а каждый должен хорошо знать свое дело... например: машинистке не обязательно быть симпатичной, она должна быстро и без ошибок печатать на машинке... а такая женщина, как Джизелла, должна уметь исполнять свои обязанности, то есть сделать приятными те час или два, которые я провожу в ее обществе, симпатичной она может и не быть... а Джизелла плохо знает свое дело.

— Почему?

— Потому что думает только о деньгах... и все время боится,

что ей мало заплатят или совсем не заплатят... я, конечно, не требую, чтобы она меня любила, но такова уж ее профессия, женщина должна вести себя так, будто действительно любит меня, и создавать полную иллюзию любви... я ведь за это ей плачу... а Джизелла слишком ясно дает понять, что все делает по расчету... она, черт возьми, не даст дух перевести, как тут же начинает торговаться.

Мы дошли до ресторана, шумного, битком набитого народом, который был под стать Джачинти; здесь собирались коммивояжеры, биржевые маклеры, коммерсанты, промышленники. Джачинти прошел вперед, отдал пальто и шляпу мальчику и спросил:

— Мой столик свободен?

— Да, синьор Джачинти.

Столик стоял возле окна. Джачинти сел и, потирая руки, спросил:

— Ты любишь вкусно поесть?

— Думаю, что да, — ответила я смущенно.

— Хорошо, это мне нравится... за столом надо есть... Джизелла, например, никогда не хотела есть... говорила, что боится располнеть... все это глупости: каждому делу свой час... за столом надо есть.

Он, видно, был сильно зол на Джизеллу.

— Это же правда, — нерешительно заметила я, — кто много ест, тот полнеет... а некоторые женщины не хотят полнеть.

— И ты относишься к категории таких женщин?

— Я нет... но говорят, что я и так слишком полная.

— Не обращай внимания, это все из зависти... ты как раз в норме, уж я-то разбираюсь в таких вопросах. — И он по-отечески погладил мою руку, будто хотел меня успокоить.

Подошел официант, и Джачинти сказал:

— Первым делом уберите эти цветы, они маячат перед глазами... а потом принесите, как всегда... понятно, а? Да поскорее.

И, обращаясь ко мне, добавил:

— Он знает меня и мой вкус... пусть действует сам... увидишь, жаловаться не придется.

И действительно жаловаться мне не пришлось. Все блюда, что нам подали, были вкусны, хотя и не очень изысканны, зато всего было много. Джачинти ел с аппетитом и увлечением, крепко сжимая нож и вилку в руках, он не глядел на меня и молчал, будто находился здесь один. Он был так поглощен едой, что забыл даже о своей пресловутой солидности, ел быстро, как будто боялся, что не успеет насытиться и останется го-

лодным. Он жадно хватался за все разом, запихивал в рот кусок мяса, левой рукой отламывал хлеб и откусывал его, правой наливал себе в бокал вина и начинал пить, еще не прожевав пищу. Все время он причмокивал, переводил глаза с одного предмета на другой и каждый раз встряхивал головой, словно кот, ухвативший слишком большой кусок. Я же, хотя и не страдала отсутствием аппетита, не хотела есть. Впервые я готовилась отдаться мужчине, которого не только не любила, но даже не знала, поэтому я внимательно рассматривала его, стараясь разобраться в своих чувствах и представить себе, как выпутаюсь из положения. Позднее я уже не рассматривала так тщательно внешность мужчин, с которыми имела дело, вероятно потому, что нужда, толкавшая меня на это, научила с первого же взгляда находить в каждом из них что-то хорошее и приятное, чтобы сделать хотя бы более или менее сносными наши интимные отношения. Но в тот вечер эта профессиональная уловка, а именно: с самого начала найти хоть что-нибудь приятное в человеке и тем самым скрасить вынужденную близость, была мне еще неизвестна, и я, можно сказать, инстинктивно и бессознательно искала выхода. Я уже сказала, что Джачинти был недурен собой, и, пока он молчал и не распространялся о чувствах, которые его волновали, он мог показаться даже красивым. Это уже кое-что значило, так как любовь главным образом вызывается физическим влечением; однако мне этого было мало, потому что я никогда не могла не только любить, но даже просто хорошо относиться к мужчине только из-за его приятной наружности. Обед кончился, и прожорливый Джачинти, удовлетворив свой необузданный аппетит и громко рыгнув несколько раз, снова принялся болтать; я заметила, что в нем не было ничего, что могло бы хоть чуть-чуть понравиться мне, я по крайней мере не могла обнаружить в нем ничего приятного. Он не только все время говорил о себе, о чем меня, впрочем, предупредила Джизелла, но вообще был очень несимпатичен, на редкость самодоволен, рассказывал длинные, нудные истории из своей жизни, которые не делали ему чести и как раз подтверждали мое первое, но слишком лестное о нем впечатление. Ничто, решительно ничто не нравилось мне в нем, а те черты характера, которые он считал своими достоинствами, особенно выхваляясь ими, казались мне непростительными недостатками. Позднее, правда довольно редко, я встречала подобных мужчин, они ничего из себя не представляли, и при всем желании в них нельзя было обнаружить то, что могло бы вызвать расположение к ним; я всегда удивлялась, как такие

люди живут на свете, и спрашивала себя, не моя ли тут вина, что я не умею с первого взгляда открывать в людях достоинства, которыми они, несомненно, обладают. Как бы то ни было, но со временем я привыкла к неприятным собеседникам, научилась притворно смеяться, шутить, в общем, стала вести себя так, как хотели того мои клиенты, и становилась такой, какой им хотелось меня видеть. Но в тот вечер эти мои наблюдения вызвали во мне немало грустных мыслей. И пока Джачинти болтал, ковыряя спичкой в зубах, я решила, что новое мое ремесло не такое уж легкое: нужно изображать любовный восторг, которого вовсе не испытываешь; взять, к примеру, Джачинти — он в действительности внушал мне совершенно противоположные чувства. И нет сокровищ, которые могли бы купить твою благосклонность; поэтому трудно, особенно в таких случаях, вести себя иначе, чем Джизелла: она заботилась лишь о деньгах и не скрывала этого. И еще я подумала, что сегодня вечером мне придется вести этого противного Джачинти в свою комнату, которую я готовила не для таких встреч; я решила, что мне не везет, видно, судьба захотела, чтобы я с самого начала не слишком обольщалась, и потому она послала мне именно Джачинти, а не наивного юнца, ищущего любовных приключений, или простого малого без излишних претензий, каких много на белом свете; одним словом, присутствие Джачинти в моей комнате знаменовало собой мое полное отречение от прежних надежд на честную и тихую жизнь.

Джачинти говорил беспрерывно, однако он был не настолько туп, чтобы не заметить мою рассеянность и печаль.

— Крошка, почему мы грустим? — неожиданно спросил он.

— Нет, нет, — покачав головой, поторопилась ответить я.

Я чуть было не поверила в его напускную искренность, мне захотелось вдруг поделиться с ним моими переживаниями и рассказать хоть немного о себе после того, как я столько времени выслушивала его.

— Так-то лучше, — проговорил он, — а то грустные девушки мне не нравятся... и потом, я тебя не для того пригласил, чтобы ты грустила... может быть, у тебя и есть на то причины, не стану спорить, но, пока ты находишься со мною, оставляй свою грусть дома... Я ничего не желаю знать о твоих делах, не желаю знать, кто ты, что с тобой стряслось и все такое прочее... эти вещи меня не интересуют... между нами существует договор, хоть и не в письменном виде... я обязуюсь платить тебе определенную сумму денег, а ты за это обязана скрасить мне вечер... все остальное не в счет.

Он проговорил все это серьезным тоном и даже чуть-чуть раздраженно, очевидно поняв, что я не проявила должного интереса к его россказням. Стараясь скрыть чувства, бушевавшие во мне, я непринужденно ответила:

— Вовсе я не грущу... но здесь очень дымно и шумно, даже голова немного кружится.

— Хочешь, уйдем? — озабоченно спросил он.

Я ответила утвердительно. Тотчас же он подозвал официанта, расплатился, и мы вышли. Когда мы очутились на улице, он спросил:

— Пойдем в какую-нибудь гостиницу?

— Нет, нет, — быстро ответила я. Меня пугала необходимость предъявлять документы, и, кроме того, я уже давно все решила. — Поедем ко мне.

Мы взяли такси, и я назвала свой адрес. Как только машина тронулась, он обнял меня и стал целовать в шею. И тут вдруг я поняла, что он изрядно выпил и, наверно, пьян. Он повторял все время слово «крошка», так называют детей, а в его устах это слово раздражало меня, казалось смешным, пошлым. Сперва я позволяла ему ласкать меня, а потом, показывая на спину шофера, сказала:

— Давай немного подождем, пока не приедем, хорошо?

Он ничего не ответил, а только тяжело откинулся на спинку сиденья, лицо его исказилось, как будто его внезапно поразил тяжелый недуг, потом сердито пробормотал:

— Я плачу шоферу за то, что он меня везет, а не за то, чтобы он следил, чем я занимаюсь в машине.

Он был глубоко убежден, что деньгами, а особенно его собственными, можно заткнуть рот кому угодно. Я ничего не ответила, и весь остаток пути мы сидели неподвижно, не прикасаясь друг к другу. Свет уличных фонарей, проникавший сквозь окна машины, на мгновение освещал наши лица и руки, потом снова наступала темнота, и я удивлялась, что рядом со мной сидит мужчина, о существовании которого несколько часов тому назад я даже и не подозревала, а вот теперь я везу этого человека к себе домой и должна буду отдаться ему, словно он мой возлюбленный. За этими мыслями я и не заметила, как мы приехали. Я очнулась и с удивлением огляделась, машина остановилась на знакомой улице у ворот нашего дома.

На темной лестнице я предупредила Джачинти:

— Прошу тебя, не шуми, я живу вдвоем с мамой.

Он ответил:

— Будь спокойна, крошка.

Поднявшись на площадку, я открыла дверь своим ключом. Джачинти стоял за моей спиной, я взяла его за руку и, не зажигая света, повела через переднюю в свою комнату, которая находилась сразу же налево. Я прошла вперед, зажгла лампу возле кровати и окинула как бы прощальным взглядом свою спальню. Попав в чистую комнату с новой мебелью, Джачинти, боявшийся, очевидно, увидеть нищету и грязь, облегченно вздохнул и, сняв пальто, бросил его на стул. Я попросила подождать меня и вышла.

Я направилась прямо в большую комнату, где мама еще шила, сидя у стола. Увидев меня, она тотчас же отложила работу и хотела подняться, видно собираясь, как обычно, приготовить мне ужин. Но я сказала:

— Не беспокойся, я уже поела... и, кроме того... у меня в комнате находится человек, ни в коем случае не входи туда.

— Какой человек? — с удивлением спросила она.

— Просто человек, — торопливо сказала я, — но не Джино... Это один синьор.

И, не ожидая новых вопросов, я вышла из комнаты.

Войдя к себе, я заперла дверь на ключ. Джачинти с красным от нетерпения лицом пошел мне навстречу и обнял меня. Он был намного ниже меня ростом и, чтобы дотянуться до моего лица губами, прислонил меня к спинке кровати. Он пытался поцеловать меня в губы, но мне удалось избежать его поцелуев: я то стыдливо отворачивалась, то отталкивала его как бы в порыве страсти. Джачинти предавался любви с той же жадностью, неразборчивостью, грубостью, с которой накидывался на еду, принимаясь то за одно, то за другое кушанье, как будто боялся, что не успеет вкусить от всех блюд, он был так же ослеплен моим телом, как нынче в ресторане видом пищи. Потом он захотел раздеть меня. Обнажив мое плечо и руку, он снова принялся целовать меня, как будто моя нагота заставила его переменить намерение. Я испугалась, что грубыми движениями он порвет мое платье, и сказала:

— Скорее раздевайся.

Он тотчас же отпустил меня и, усевшись на кровать, принялся раздеваться. Я последовала его примеру.

— А твоя мать все знает? — спросил он.

— Да.

— И что она говорит?

— Ничего.

— Она тебя порицает?

Я не сомневалась, что эти вопросы были для него лишь острой приправой к пикантному приключению. Впрочем, эта черта присуща почти всем мужчинам, и редкий из них не поддается искушению дополнить физическое удовольствие подобными расспросами то ли из любопытства, то ли из сочувствия.

— Она не порицает, но и не одобряет, — сухо ответила я, встав с постели и снимая через голову сорочку, — я вольна поступать так, как хочу.

Раздевшись, я аккуратно сложила свои вещи на стуле, а потом легла на постель, заложив одну руку под голову, а другую вытянула, прикрыв ладонью живот. Не знаю почему, я вспомнила, что в такой же позе лежала та самая языческая богиня с цветной репродукции, которую художник показал маме и на которую я, по его словам, была похожа; я подумала о том, как сильно изменилась моя жизнь с тех пор, и меня вдруг охватила острая тоска. Джачинти так и обомлел, увидев меня обнаженной, совершенная красота линий моего тела, как я уже сказала, не угадывалась под одеждой, он даже перестал раздеваться и уставился на меня, разинув от удивления рот.

— А ну, пошевеливайся, — сказала я ему, — мне холодно.

Он кончил раздеваться и набросился на меня. Его манеры были под стать его внешности, которую я описала достаточно подробно. Добавлю только, что он относился к тому роду мужчин, которые за свои деньги, даже еще не уплаченные, предъявляют слишком большие требования, будто боятся упустить что-то, боятся, что их надуют. Как он ни был увлечен, он отнюдь не забывал о деньгах и не желал остаться в убытке. Вот почему он старался всячески продлить наше свидание и получить сполна все, что, по его мнению, ему полагалось получить. Поэтому он долго подготавливал меня, как музыкант, настраивающий инструмент, и того же требовал от меня. Я же хоть и подчинилась его воле, однако сразу же ощутила скуку и начала трезво, равнодушно и даже с отвращением как будто издали наблюдать не только за ним, но и за собой. Мне так и не удалось почувствовать к нему симпатию, которую я инстинктивно пыталась вызвать в себе в начале нашей встречи; внезапно мной овладели стыд и раскаяние, и я зажмурила глаза.

Наконец он утомился и откинулся на постель рядом со мной. Он сказал довольным голосом:

— Ты должна признать, что я хоть и не юнец, зато как любовник выше всяких похвал.

— Да, верно, — равнодушно согласилась я.

— Все женщины твердят это, — продолжал он, — и знаешь,

как говорится: маленький да удаленький... некоторые мужчины вдвое выше меня, а толку от них никакого.

Мне стало холодно, я села и натянула на нас одеяло. Сочтя мой жест за выражение внимания, он сказал:

— Умница, а теперь я посплю.

Потом свернулся калачиком возле меня и в самом деле заснул.

Я лежала на спине, его седая голова находилась на уровне моей груди. Одеяло прикрывало нас обоих до пояса, и, разглядывая его волосатый торс с дряблыми складками, выдававшими зрелый возраст, я еще сильнее, чем раньше, почувствовала, что лежу с совершенно чужим человеком. Но он спал и поэтому больше не разговаривал, не смотрел и не двигался, словом, никак не проявлялся его малоприятный характер, и спящий он казался лучше, был таким же человеком, как все прочие; исчезли профессия, имя, достоинства и недостатки, рядом со мной находилось лишь ровно дышавшее человеческое тело. Это странно, но, видя, как он сладко спит, я почувствовала к нему почти расположение и потому старалась не шевелиться, чтобы не разбудить его. Я смотрела на убеленную сединами голову, приникшую к моей молодой груди, и почувствовала наконец к нему симпатию, которую так тщетно и долго пыталась в себе вызвать. Меня это обрадовало, и мне стало теплее. На миг мной овладел какой-то восторг, и глаза мои увлажнились. Должна сказать, что как тогда, так и сейчас сердце мое было преисполнено любви и, не зная на кого ее излить, я без колебаний устремляла свои чувства на недостойных людей, лишь бы они не пропали втуне.

Минут через двадцать он пробудился и спросил:

— Долго ли я спал?

— Нет, не долго.

— Чувствую себя великолепно, — сказал он, поднимаясь и потирая руки, — ах, как я себя хорошо чувствую... мне кажется, я помолодел лет на двадцать.

Он принялся одеваться, шумно выражая свою радость. Я тоже начала молча одеваться. Потом, одевшись, он спросил:

— Мне хотелось бы снова повидать тебя, крошка... как это устроить?

— Позвони Джизелле, — ответила я, — мы встречаемся с ней каждый день.

— И ты всегда свободна?

— Всегда.

— Да здравствует свобода!

Потом, открыв бумажник, он спросил:

— Сколько ты хочешь?

— Сколько дашь, — ответила я, а потом откровенно добавила: — Если дашь побольше, сделаешь доброе дело, мне деньги очень нужны.

— Если я тебе и дам много, — ответил он, — то вовсе не для того, чтобы делать доброе дело... никогда этим не занимаюсь... а я делаю это потому, что ты красивая девушка и мне было приятно провести с тобой вечер.

— Как знаешь, — пожав плечами, ответила я.

— Все имеет свою цену, и за все нужно платить сообразно этому правилу, — продолжал он, вытаскивая деньги из бумажника, — добрые дела — это чушь... ты обладаешь достоинствами, с которыми не сравнятся, скажем, достоинства Джизеллы... и справедливость требует, чтобы ты получила больше, чем Джизелла... добрые дела тут ни при чем... теперь разреши дать тебе один совет: никогда не говори: «сколько дашь»... Пусть так говорят разносчики... Когда я слышу «сколько дашь», я невольно даю меньше, чем нужно.

Он многозначительно подмигнул и протянул мне деньги.

Как меня и предупреждала Джизелла, он оказался щедрым. Сумма превзошла все мои ожидания. Когда я брала деньги, мной вновь овладело то острое чувство наслаждения и сообщничества, которое я испытала, когда взяла деньги у Астариты после нашей поездки в Витербо. В этом сказывается, подумала я, моя склонность к такой жизни, и я, должно быть, создана для подобной профессии, несмотря на то что сердце мое жаждало совсем иного.

— Спасибо, — сказала я и, не отдавая себе отчета в том, что делаю, преисполненная благодарности, порывисто поцеловала его в щеку.

— Спасибо тебе, — ответил он, собираясь уходить.

Я взяла его за руку и повела через темную прихожую к выходу. Двери своей комнаты я плотно закрыла, и мы, не дойдя еще до порога, очутились в кромешной тьме. И вот тогда я почти физически почувствовала, что мама притаилась где-то здесь, в углу темной прихожей, по которой я кралась вместе с Джачинти. Она, должно быть, спряталась за дверью или в углу между шкафом и стеной и теперь дожидается ухода Джачинти. Я вспомнила, что она поступила именно так, до поздней ночи ожидая моего возвращения после свидания с Джино на вилле его хозяев, и меня бросило в жар при мысли, что теперь, как и тогда, сразу после ухода Джачинти она накинется на меня, схватит за волосы, потащит на диван, а там начнет бить кулаками.

Я чувствовала, что мама рядом, в темноте, мне казалось, что я вижу, как сзади к моей голове тянется ее рука; вот сейчас она вцепится мне в волосы, по моей спине пробежала дрожь. Одной рукой я держалась за Джачинти, а в другой были зажаты деньги. Тогда я подумала, что, как только мама бросится на меня, я сразу же отдам ей деньги. Это будет немым намеком на то, что она сама все время толкала меня на такой путь ради денег, и, кроме того, я заставлю ее молчать, воспользовавшись алчностью, которая, как я знала, занимала в ее душе немалое место. Я отперла дверь.

— Итак, до свидания... я позвоню Джизелле, — сказал Джачинти.

Я смотрела, как он спускается по лестнице, широкоплечий, с седыми волосами «ежиком», и, не оборачиваясь, машет мне рукой, потом закрыла дверь. Тотчас же в темноте мама, как я и предполагала, бросилась на меня. Но она не вцепилась мне в волосы, чего я так боялась, а просто неловко обхватила меня, мне даже сперва показалось, что она хочет обнять меня. Помня о своем решении, я нащупала в темноте ее руку и сунула ей деньги. Но мама отшвырнула их, и они упали; на следующее утро, выходя из комнаты, я нашла их на полу. Вся эта сцена произошла молниеносно и в полном молчании.

Мы вошли в большую комнату, и я села за стол. Мама опустилась напротив, не спуская с меня глаз. Она выглядела расстроенной, и я почему-то смутилась. Потом она сказала!

— Знаешь, пока ты находилась там, мне вдруг стало страшно.

— Чего ты испугалась? — спросила я.

— Сама не знаю, — ответила она. — Я почувствовала себя такой одинокой... даже вся похолодела... а потом уже ничего не чувствовала... все вокруг закружилось... Знаешь, так бывает, когда выпьешь вина... все показалось мне таким странным... я думала: вот стол, стул, швейная машина... но я никак не могла убедить себя в том, что это действительно стол, стул, швейная машина... мне показалось даже, что я — не я... я сказала себе: я старуха, я шью на машине, у меня есть дочь, зовут ее Адриана, но я не могла убедить себя в этом... чтобы отвлечься, я начала вспоминать, какой я была в детстве, потом в твоем возрасте, вспомнила, как вышла замуж, как родилась ты... и меня охватил ужас, потому что жизнь промелькнула словно один день, я стала старой и не заметила как... а когда я умру, — закончила она, глядя на меня, — все будет так, будто я и не жила на свете.

— Зачем думать о таких вещах, — тихо сказала я, — ты вовсе не старая... Зачем ты говоришь о смерти?

Мама, видно, не слушала меня и продолжала говорить как в бреду, мне было больно слышать это, ее тон мне казался фальшивым.

— Говорю тебе, мне стало страшно, и я подумала: а если человек не захочет больше жить, то он все равно вынужден жить насильно?.. Я не говорю, что он должен наложить на себя руки, для этого нужна смелость, нет, а вот если человек просто не хочет больше жить, как иногда не хотят есть или двигаться... клянусь тебе памятью твоего отца... я хотела бы умереть.

Глаза ее были полны слез, а губы дрожали. Я тоже расплакалась, сама не знаю почему, и, поднявшись с места, подошла, села рядом на диван и обняла ее. Так мы долго сидели обнявшись и плакали. Я была и без того расстроена и устала, а мамины бессвязные и мрачные речи нагоняли на меня еще большую тоску. Но я первая взяла себя в руки, потому что, говоря по правде, плакала с мамой просто за компанию. Слезы сами по себе перестали литься из моих глаз.

— Хватит, хватит, — сказала я, похлопывая ее по плечу.

— А я тебе говорю, Адриана, что не хочу больше жить на свете, — повторила она со слезами.

Молча гладя маму по плечу, я дала ей наплакаться вволю. А сама тем временем думала, что все ее поведение красноречиво свидетельствует об угрызениях совести. Она ведь постоянно твердила мне, что я должна следовать примеру Джизеллы и продать себя как можно дороже. Но одно — говорить, а другое — делать, теперь она убедилась, что я привела в дом мужчину и заработанные деньги отдаю ей, все это было для нее, вероятно, тяжелым ударом. Теперь она собственными глазами увидела плоды своих наставлений и почувствовала весь ужас содеянного. Но вместе с тем она не желала признать свою ошибку и, быть может, даже испытывала горькое удовлетворение оттого, что теперь уже поздно ее исправлять. И вместо того, чтобы прямо сказать мне: «Ты поступила плохо... больше этого не делай», она предпочла говорить о вещах, которые в ту минуту совершенно меня не интересовали: о своей жизни и желании умереть. Мне часто случалось наблюдать, как некоторые люди, собираясь совершить предосудительный поступок, заранее стараются оправдать себя и заводят разговор о высоких материях, желая уверить самих себя в собственном бескорыстии и благородстве, делая вид, будто от них не зависит то, что они совершают, или же по примеру мамы предоставляют событиям идти своим че-

редом. И если многие действуют в таких случаях вполне сознательно, то бедняжка мама не отдавала себе в этом отчета, а поступала так, как ей подсказывало сердце и вынуждали обстоятельства. Однако в ее слова о том, что она хочет умереть, я поверила. Я вспомнила, что, когда я узнала об обмане Джино, мне тоже не хотелось больше жить. Но мое тело, несмотря на желание умереть, продолжало жить само по себе. Продолжали жить грудь, ноги, бедра, которые так нравились художникам, продолжала жить моя плоть и заставляла жаждать любви даже вопреки моей воле. И хотя я искренне хотела умереть, лечь в постель и больше не проснуться, мое тело, пока я спала, все еще продолжало жить, кровь струилась по жилам, желудок переваривал пищу, отрастали волосы под мышками, там, где я их выбривала, росли ногти, кожа покрывалась потом, силы восстанавливались: и утром сами собой размыкались веки, и глаза снова видели ненавистную действительность, короче говоря, я все еще была жива и должна была жить дальше. Видимо, подумала я, как бы подводя итог своим размышлениям, следует принимать жизнь такой, какая она есть.

Но я ничего не сказала маме, потому что понимала, что мысли мои были ничуть не веселее ее разговоров и они вряд ли бы успокоили ее. А когда я убедилась, что она перестала плакать, я отодвинулась от нее и сказала:

— Я очень проголодалась. — Это было действительно так, потому что в ресторане от волнения я почти не притронулась к еде.

— Я приготовила тебе ужин, — сказала мама, обрадовавшись, что ей представился случай оказать мне услугу и заняться обычным своим делом, — сейчас пойду и разогрею его.

Я села за стол на свое обычное место и стала ждать. Теперь все мысли улетучились из моей головы, и от всего, что произошло, остались лишь сладковатый запах любви на ладонях да соленые следы высохших слез на щеках. Я сидела неподвижно и разглядывала длинные тени, которые высвечивала лампа на голых стенах комнаты. Вошла мама и принесла тарелку с мясом и овощами.

— Суп я разогревать не стала, он не очень хорош... и потом его мало.

— Неважно, хватит и этого.

Мама налила мне полный до краев бокал вина и, как обычно, стала возле меня, готовая исполнить любое мое приказание, а я начала есть.

— Вкусный ли бифштекс? — немного погодя озабоченно спросила она.

— Вкусный.

— Я так упрашивала мясника, чтобы он дал мне молодое мясо.

По-видимому, она уже успокоилась, и все снова стало на свои обычные места. Я не спеша закончила ужин, потянулась, раскинув руки, и сладко зевнула. И вдруг мне стало хорошо, это простое движение доставило мне удовольствие, я почувствовала себя молодой, сильной и счастливой.

— Спать хочу ужасно, — заявила я.

— Обожди, я пойду приготовлю тебе постель, — услужливо отозвалась мама и собралась было идти.

— Нет... не надо... я сама, — остановила ее я.

Я встала из-за стола, а мама взяла пустую тарелку.

— Завтра утром не буди меня, — сказала я ей, — я проснусь сама.

Она кивнула мне, и я, поцеловав ее и пожелав доброй ночи, пошла в свою комнату. Постель была в беспорядке. Но я лишь взбила подушки и поправила простыню, потом разделась и шмыгнула под одеяло. Я полежала немного, глядя открытыми глазами в темноту и ни о чем не думая.

— Я шлюха, — произнесла я наконец вслух, желая удостовериться, как это слово подействует на меня.

Но оно, как я понимаю, не произвело на меня ни малейшего впечатления, я закрыла глаза и почти тотчас заснула.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Я встречалась теперь с Джачинти каждый вечер. Уже на следующее утро он позвонил Джизелле, а та, как только мы увиделись в полдень, передала мне его просьбу о свидании. Джачинти собирался уехать в Милан как раз накануне назначенной мною встречи с Джино, и поэтому я согласилась видеться с ним ежедневно. В противном случае я вообще отказалась бы от этих свиданий, ибо дала себе слово не заводить длительных связей. Уж если пришлось мне заниматься этим ремеслом, думала я, то лучше оставаться свободной и менять время от времени любовников; очевидно, я заблуждалась, тешила себя иллюзией, что таким образом я не буду содержанкой какого-то одного мужчины и, кроме того, смогу избежать опасности влюбиться или привязать его к себе, то есть потерять не только

свою независимость, но и возможность свободно распоряжаться своими чувствами. Впрочем, я все еще не расставалась с мыслью о тихой семейной жизни и думала, что если мне подвернется случай выйти замуж, то уж лучше я соединю свою судьбу не с любовником, который сначала берет женщину на содержание, а потом решается узаконить, но отнюдь не облагородить свою связь с ней, а с каким-нибудь молодым человеком, которого полюблю, который полюбит меня и с которым нас будут связывать равное положение, общие вкусы и одинаковые взгляды на жизнь. Одним словом, я хотела, чтобы избранное мною ремесло не осквернило моих прежних надежд. Я не желала идти на сделку с совестью, считая себя в равной степени способной быть как хорошей женой, так и хорошей куртизанкой, но при всем при том я не умела придерживаться в этих вещах золотой середины, как Джизелла. Кроме того, уже доказано, что из нескольких кошельков можно получить больше, чем из одного, пусть даже самого щедрого.

Каждый вечер Джачинти водил меня в тот же ресторан, а потом приезжал ко мне домой и оставался допоздна. Мама отныне отказалась даже говорить об этих посещениях; только поздно утром, входя в мою комнату с кофе на подносе, она спрашивала, хорошо ли я спала. Когда-то я выпивала этот кофе ранним утром, стоя после умывания на кухне возле плиты, еле шевеля застывшими пальцами, с горящим от ледяной воды лицом. Теперь мама приносила кофе в мою комнату, и я пила его лежа в постели, а она в это время открывала жалюзи и начинала прибирать. Я никогда ничего ей не рассказывала, но она сама поняла, что наша жизнь изменилась, и всем своим поведением доказывала, что прекрасно знает, о какого рода переменах идет речь. Она вела себя так, будто между нами существует безмолвный уговор, и казалось, своими заботами она смиренно просит позволения ухаживать за мною, как и прежде, независимо от изменений, происшедших в нашей жизни. Надо сказать, что новая привычка подавать мне кофе в постель, очевидно, в какой-то степени успокаивала ее; есть такие люди, и к их числу принадлежит мама, которые придают огромное значение всяким привычкам, даже таким пустяковым, как эта. С таким же старанием она придумывала и другие мелкие нововведения в нашей повседневной жизни, например, нагревала большой котел воды, чтобы я могла вымыться, как только встану, ставила в вазу цветы в моей комнате и тому подобное.

Каждый раз Джачинти платил мне одну и ту же сумму, и я, ничего не говоря маме, складывала деньги в ящик комода,

в коробочку, где она хранила свои сбережения. Себе я оставляла только мелочь. Думаю, она заметила ежедневное пополнение нашего «капитала», но мы никогда и словом не обмолвились об этом. Со временем я поняла, что о деньгах, даже заработанных честным трудом, люди говорить не любят не только с посторонними, но и со своими близкими. Вероятно, с деньгами связано что-то позорное или постыдное, что исключает их из числа обычных предметов и относит к вещам, о которых не принято говорить, а принято скрывать и держать в секрете, как будто в деньгах, каким бы путем они ни были добыты, есть что-то грязное. А возможно, истина заключается в том, что люди не любят показывать, какие сложные чувства вызывают у них деньги, и чувства эти почти всегда носят оттенок вины.

Как-то вечером Джачинти выразил желание остаться у меня ночевать, но я под предлогом, что боюсь соседей, которые могут увидеть его утром, когда он будет выходить от меня, выпроводила его. По правде говоря, с того первого вечера мы ни на минуту не сблизились, и не по моей вине. Каким он был в первый вечер, таким остался до самого отъезда. Должна признаться, что он мало что из себя представлял и как человек, и как любовник, только раз он сумел вызвать во мне нежность — я говорю о первом дне нашего знакомства, когда он спал, — но чувство это было слишком расплывчатым и, скорей всего, относилось не к нему. Мысль остаться с ним наедине всю ночь внушала мне просто ужас, я боялась умереть от скуки, ибо была уверена, что он не даст мне спать до полуночи и все время будет говорить о себе, изливать свою душу. Однако он не заметил ни моей досады, ни моей неприязни и уехал, убежденный, что за эти несколько дней он мне стал мил.

Наступил день нашего свидания с Джино. Столько событий произошло за эти десять дней, что мне казалось, будто целое столетие минуло с тех пор, как я встречалась с ним по утрам, честно зарабатывала деньги, надеялась обзавестись своим домом и считала себя невестой, которая вот-вот пойдет к венцу. В назначенное время он ждал меня на месте наших свиданий, и, садясь в машину, я заметила, что он очень бледен и взволнован. Любовнику, будь он даже человеком самым бессовестным, неприятно, когда его уличают в измене, а Джино, вероятно, в течение этих десяти дней, пока мы не виделись, чего только не передумал. Но я была совершенно спокойна, и, по правде говоря, мне не пришлось притворяться, потому что теперь я чувствовала себя абсолютно уверенно; пережив первое горькое разочарование, я относилась к Джино скорее снисходительно и скепти-

чески. Помимо всего прочего, Джино все еще нравился мне, и я это поняла, как только увидела его, а это уже кое-что значило.

Немного погодя, когда машина тронулась в сторону виллы, он спросил меня:

— Как видно, твой духовник изменил свое решение?

Он произнес эти слова чуть насмешливым и в то же время неуверенным тоном. Я ответила просто:

— Нет... Я сама изменила решение.

— А работу вы с матерью закончили?

— Пока да.

— Странно.

Он, видимо, не знал, что сказать, но было ясно: он старался задеть меня и проверить, правильны ли его подозрения.

— Что же здесь странного?

— Я сказал просто так.

— Ты, очевидно, думаешь, я обманула тебя, сославшись на работу?

— Ничего я не думаю.

Я решила отомстить ему по-своему, поиграть с ним немного, как кошка с мышью, но отнюдь не жестоко, как мне советовала Джизелла, потому что жестокость была не в моем характере. Я кокетливо спросила:

— Уж не ревнуешь ли ты?

— Я?.. Боже упаси!

— Нет, ты ревнуешь... и если бы ты был со мной откровенен, то признался бы в этом.

Он попался на эту удочку и сказал:

— Всякий на моем месте стал бы ревновать.

— Почему?

— Ну, кто этому поверит? Такая важная работа, что ты не смогла даже на пять минут вырваться, чтоб повидаться со мной... ну и дела!

— Все-таки это правда... я много работала, — спокойно ответила я.

Так оно и было на самом деле. Иначе как работой, да к тому же очень тяжелой, и нельзя было назвать вечера с Джачинти.

— Я заработала деньги, чтобы заплатить все взносы за мебель и купить приданое; по крайней мере теперь мы сможем пожениться, не влезая в долги, — прибавила я, жестоко издеваясь сама над собою.

Он ничего не ответил, очевидно, старался убедить себя в правдивости моих слов и прогнать подозрения. Тогда я, как бы-

вало прежде, обняла его за шею, хотя он продолжал вести машину, и, крепко поцеловав за ухом, прошептала:

— Почему ты ревнуешь? Ты ведь знаешь, что у меня, кроме тебя, никого на свете нет.

Мы подъехали к вилле. Джино оставил машину в саду, запер ворота и направился со мною к черному ходу. Наступили сумерки, и в соседних домах уже зажглись огни, свет, лившийся из окон, казался красным в голубой дымке зимнего вечера. В коридоре полуподвала было почти совсем темно, душно, там стоял застарелый запах сырости. Я остановилась и сказала:

— Сегодня я не хочу идти в твою комнату.

— Почему?

— Я хочу спать с тобой в комнате твоей хозяйки.

— Ты с ума сошла! — воскликнул он с возмущением.

Мы часто бывали в верхних комнатах виллы, но любовью занимались только внизу, в его комнате.

— Я так хочу, — заявила я, — а ты против?

— Еще бы!.. Можно нечаянно что-нибудь сломать... мало ли что случится... а если потом заметят, что я буду делать?

— Подумаешь, эка важность, — беспечно сказала я, — выгонят с работы, только и всего.

— И ты так просто об этом говоришь!

— А как мне прикажешь говорить? Если бы ты меня по-настоящему любил, то не стал бы раздумывать.

— Я тебя люблю, но это невозможно, нечего даже говорить об этом, я не хочу иметь неприятности.

— Но мы будем осторожны... они ничего не заметят.

— Нет... нет...

Я была совершенно спокойна и, продолжая играть задуманную роль, воскликнула:

— Я, твоя невеста, прошу тебя сделать мне одолжение, а ты мне отказываешь в этом, должно быть, боишься, что я лягу на то место, где спит твоя госпожа, положу свою голову на ее подушку, да уж не воображаешь ли ты, что она лучше меня?

— Нет, но...

— Да она мизинца моего не стоит, — продолжала я, — ну не хочешь, так и не надо... можешь любоваться простынями и подушками своей хозяйки... а я ухожу.

Как я уже говорила, в нем жило непомерное почтение к господам, он преклонялся перед ними, глупо гордился их богатством, будто оно отчасти принадлежало ему, это я и высказала ему со всей горячностью и решительно направилась к дверям.

Впервые увидев такую непреклонность с моей стороны, он совсем растерялся и кинулся вслед за мной.

— Да подожди... куда ты?.. Я сказал просто так... пойдем, пожалуйста, наверх, если тебе так уж хочется.

Я заставила его еще долго упрашивать себя, притворялась обиженной, а потом согласилась; крепко обнявшись и останавливаясь на каждой ступеньке, чтобы поцеловаться, мы поднялись на верхний этаж. Все было как и в первый раз, но только теперь моя душа зачерствела. В комнате хозяйки я первым делом подошла к постели и сбросила покрывало. Джино испугался.

— Неужели ты собираешься лечь под одеяло?

— А почему бы нет, — спокойно ответила я. — Я не хочу мерзнуть.

Он замолчал, всем своим видом выражая досаду, а я, приготовив постель, прошла в ванную, зажгла газовую колонку и приоткрыла кран, чтобы заранее наполнить ванну горячей водой. Джино последовал за мной с беспокойным и недовольным видом и снова запротестовал:

— Теперь ты уже и ванну хочешь принять?

— А они потом принимают ванну?

— Откуда я знаю, что они делают! — ответил он, пожав плечами. Но я видела, что все мои смелые выходки были не так уж неприятны ему, он только старался постепенно приноровиться к ним. Он был трусливым человеком и превыше всего боялся нарушить общепринятые правила. Но отклонения от правил привлекали его тем сильнее, чем реже он себе позволял их. — В конце концов, ты права, — заметил он спустя минуту со смущенной и натянутой улыбкой, пробуя рукой матрац, — здесь очень хорошо... лучше, чем в моей комнате.

— А я что говорила? — Мы присели на край кровати. — Джино, — сказала я, обнимая его за плечи, — подумай только, как будет чудесно, когда мы обзаведемся своим собственным домом... пусть он даже будет не такой, как этот... но ведь он будет наш собственный.

Не знаю, почему я так говорила. Вероятно, потому, что теперь уже я точно знала, что все это мне заказано, но испытывала какое-то удовольствие, бередя рану, которая еще могла причинить сильную боль. Он ответил:

— Да... да... — и поцеловал меня.

— Я знаю, чего я хочу, — сказала я и продолжала, не щадя себя, описывать то, что для меня было навсегда потеряно, — мне нужен вовсе не такой богатый дом... мне хватит двух комнат и кухни... но зато все там будет мое, а дом будет сиять, как

стеклышко... и я хочу жить в нем спокойно... По воскресеньям вместе ходить гулять... вместе обедать, вместе спать... подумай, Джино, как это будет прекрасно!

Он ничего не ответил. Признаться, я нисколько не расстраивалась, когда говорила все это. Мне даже казалось, что я играю какую-то роль, словно на сцене. Но от этого на душе становилось еще горше, ведь эта роль, такая чужая и далекая, не пробуждавшая ни единого отзвука в моей душе, еще десять дней тому назад была не ролью, а смыслом всей моей жизни. Пока я говорила, Джино, сгорая от нетерпения, начал раздевать меня, и я снова, как и тогда, когда садилась в машину, убедилась, что он все еще нравится мне, я подумала с грустью и досадой, что именно мое тело, всегда готовое испытать наслаждение, а вовсе не душа, которая теперь отдалилась от Джино, делает меня такой доброй и всепрощающей. Он ласкал и целовал меня, от этих ласк и поцелуев мой рассудок мутился и желание пересиливало сердечную обиду.

— Ты меня измучил, — наконец откровенно прошептала я и упала на постель.

Немного погодя я улеглась поудобнее, он последовал моему примеру, так мы и лежали на этой роскошной постели, укрывшись стеганым одеялом до самого подбородка. В изголовье постели белыми пышными складками спадал балдахин. Комната была вся белая, на окнах — легкие и длинные занавеси, красивые низкие диванчики стояли вдоль стен, кругом — блеск зеркал, хрустальные, мраморные и серебряные безделушки. Простыни тонкого полотна ласкали тело, а стоило мне пошевелиться, как подо мной мягко прогибался матрац, убаюкивая и успокаивая. Из ванной комнаты через открытую дверь доносилось ровное и тихое журчание воды. На душе у меня было легко, и я больше не сердилась на Джино. Наступила как раз подходящая минута сказать Джино обо всем, и я знала, что скажу это спокойно, без злобы.

— Итак, Джино, — ласково произнесла я после продолжительного молчания, — твою жену зовут Антоньетта Партини.

Он, вероятно, уже успел задремать, потому что сильно вздрогнул, как будто его внезапно хлопнули по плечу.

— Что ты такое сказала?

— А дочь твою зовут Марией... верно ведь?

Он хотел было возразить, но, посмотрев мне в глаза, понял, что все бесполезно. Мы лежали на одной подушке, повернувшись друг к другу лицом, и, когда я говорила, мои губы почти касались его губ.

— Бедный Джино, — продолжала я, — зачем ты столько времени обманывал меня?

Он вызывающим тоном ответил:

— Потому что я тебя люблю.

— Если ты меня по-настоящему любишь, то обязан был подумать, что когда я узнаю правду, то буду сильно страдать... а ты об этом подумал, Джино?

— Я тебя полюбил, — сказал он, — и потерял голову... и...

— Хватит, — оборвала я, — сперва мне было очень больно... я не думала, что ты способен на такой поступок, но теперь все прошло... не будем больше говорить об этом... а сейчас я пойду приму ванну.

Я откинула простыню, поднялась и пошла в ванную. Джино остался в постели.

Ванна была полна теплой голубоватой воды, и я с удовольствием глядела на нее, так же как на белый кафель и блестящие краны. Я встала в ванну, а потом потихоньку погрузилась в теплую воду. Вытянувшись во весь рост, я закрыла глаза. Из соседней комнаты не доносилось ни звука. Джино, как видно, переваривал мои слова и старался что-нибудь придумать, чтобы меня не потерять. Я улыбнулась про себя, представляя, как он утопает в широкой двухспальной постели, я так и видела его вытянутое лицо, на которое мое известие подействовало, как оплеуха. Но я улыбнулась отнюдь не злорадно, а просто как улыбаются чему-то смешному, что нас совершенно не касается. Я ведь не сердилась на него, а питала к нему какое-то расположение даже теперь, когда до конца узнала его. Потом я услышала его шаги, он, вероятно, одевался. Немного погодя он заглянул в дверь и посмотрел на меня жалкими, как у побитой собаки, глазами, все еще не решаясь войти.

— Итак, мы больше не увидимся, — наконец произнес он дрожащим голосом.

Я поняла, что он в самом деле любил меня, как умел, однако не настолько, чтобы отказаться от обмана и лжи. Я вспомнила Астариту, который тоже по-своему любил меня. Намыливая плечо, я ответила:

— Почему не увидимся? Если бы я не хотела видеть тебя, я не пришла бы сегодня... будем встречаться, но не так часто, как раньше.

Очевидно, мои слова вернули ему мужество. Он вошел в ванную и спросил:

— Хочешь, я тебе помогу?

Я невольно вспомнила маму, ведь она тоже отказалась от

своей материнской власти, а старается лишь угодить и услужить мне. Я сухо ответила:

— Пожалуйста... потри мне спину, а то мне самой неудобно,

Джино взял мыло и губку, я встала, и он намылил мне спину. Я смотрелась в зеркало, которое висело как раз напротив, и мне казалось, что я та самая синьора, которой принадлежат все эти красивые вещи. Должно быть, и она стоит вот так перед зеркалом, а горничная, такая же бедная девушка, как я, намыливает и купает ее, стараясь не поцарапать кожу. Как, наверно, приятно, подумала я, когда за тобой ухаживают, ты стоишь спокойно, лениво и смотришь, как кто-то услужливо и проворно вертится вокруг тебя. Мне снова в голову пришла та простая мысль, которая появилась у меня, когда я впервые попала на эту виллу: обнаженная, без своих вечных лохмотьев я выглядела ничуть не хуже хозяйки Джино. И все же мне выпала иная судьба. Я с раздражением сказала Джино:

— Ну хватит, хватит...

Я вышла из ванны. Он взял махровую простыню, накинул мне на плечи, и я закуталась в нее с головы до ног. Джино попытался обнять меня, вероятно желая проверить, не оттолкну ли я его, и я, вся закутанная в белую простыню, разрешила ему поцеловать меня в шею. Потом он молча начал вытирать меня и делал это с таким старанием и ловкостью, как будто только этим и занимался всю жизнь, а я, закрыв глаза, опять представила себя госпожой, а его — горничной. Он принял мою пассивность за уступку, и вдруг я почувствовала, что он ласкает меня. Тогда я оттолкнула его и, сбросив простыню, на цыпочках прошла в комнату. Джино остался в ванной, чтобы спустить воду.

Быстро одевшись, я стала ходить по комнате, разглядывая вещи. Я остановилась у туалетного столика, уставленного черепаховыми и золотыми безделушками. В одном углу среди щеток и флаконов я заметила золотую пудреницу. Я взяла ее в руки и стала разглядывать. Пудреница была тяжелая и массивная, четырехугольной формы, а на месте запора был вправлен большой рубин. На меня вдруг что-то нашло, нет, это был не соблазн, а какое-то откровение: отныне я способна на все, даже на воровство. Я раскрыла свою сумочку и опустила туда тяжелую пудреницу, которая сразу же скользнула на дно, где лежали мелочь и ключи от дома. При этом я испытывала чувственное удовольствие, которое мало чем отличалось от того, что я переживала, когда получала деньги от любовников. По правде сказать, я и сама не знала, зачем мне нужна эта дорогая пуд-

реница, которая так не подходила ни к моей одежде, ни к моему образу жизни. Никогда я не смогу воспользоваться ею, это я твердо знала. Но, украв пудреницу, я, очевидно, подчинилась той логике, которая отныне определяла все мои поступки. Кто сказал «а», тот должен сказать и «б», подумала я.

Джино вошел в комнату и с лакейской аккуратностью прибрал постель и поправил все, что, как казалось ему, стояло не на месте.

— Ну, пойдем скорее, — презрительно сказала я, видя, как он тревожно оглядывается вокруг, желая убедиться, все ли в порядке, — не бойся, хозяйка ничего не заметит... на сей раз тебя не выгонят.

Лицо Джино после этих слов передернулось, как от боли, и мне стало стыдно, что я произнесла такие злые и к тому же неискренние слова.

Мы молча спустились по лестнице и молча сели в машину, стоявшую в саду. Ночь уже наступила, и, как только машина тронулась и понеслась по извилистым улицам фешенебельного района, я, словно ожидая этого момента, тихо заплакала. Я сама не понимала причины своих слез, но на душе у меня было горько. Я не была создана для того, чтобы обманывать и вымещать свое зло на других, а весь этот день, как я ни старалась собой владеть, обман и злоба не раз проскальзывали в моих словах и действиях. И, плача, я впервые за все это время испытывала настоящий гнев против Джино, ведь это он своим предательством заставил меня пережить те чувства, которым я не любила поддаваться и которые так не соответствовали моему характеру. Всегда я была доброй и кроткой, а с этих пор, вероятно, никогда уже не буду такой; эта мысль приводила меня в отчаяние. Я хотела было спросить у Джино: «Зачем ты так поступил? Как я смогу все забыть и не думать об этом больше?» Но я молчала, слизывая слезы, и встряхивала иногда головой, чтобы они скатились из глаз, таким образом трясут ветви деревьев, когда хотят сбросить на землю самые спелые плоды. Я почти не заметила, как мы проехали через весь город. Машина остановилась, я вышла и, протянув руку Джино, сказала:

— Я тебе позвоню.

Он взглянул на меня с робкой надеждой, которая сразу же сменилась удивлением, так как он увидел мое мокрое от слез лицо. Но он не успел ничего сказать: через силу улыбнувшись и махнув ему рукой, я убежала.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Моя жизнь закрутилась; перед моими глазами мелькали одни и те же лица, и это было похоже на карусель в Лунапарке, которую я видела в детстве из окна своей комнаты и которая радовала мое сердце сверкающими огнями.

Карусель состоит всего лишь из нескольких фигур, и они, сменяя друг друга, все время возвращаются. Под звуки пронзительной, жалобной музыки и звона колокольчиков мимо вас проплывают сначала лебедь, потом кот, автомобиль, лошадка, королевский трон, пасхальное яичко, дракон, а потом снова лебедь, снова кот, снова автомобиль, лошадка, королевский трон, пасхальное яичко, дракон, и так до глубокой ночи. Вот и передо мною мелькали однообразные лица мужчин, бо́льшую часть из них я уже знала, а с некоторыми встречалась впервые, но все они мало чем отличались друг от друга. Из Милана вернулся Джачинти и привез мне в подарок шелковые чулки, мы виделись с ним несколько вечеров подряд. Потом Джачинти снова уехал, и я начала встречаться с Джино по два раза в неделю. Остальные вечера я проводила с мужчинами, одних встречала на улице, с другими меня знакомила Джизелла. Разные это были мужчины: и молодые, и средних лет, и старые; некоторые, симпатичные, вели себя пристойно, а другие, неприятные, смотрели на меня как на вещь, но, раз уж я решила менять любовников, это, в конце концов, не имело значения. Я знакомилась с мужчиной на улице или в кафе, иногда ужинала с ним где-нибудь, а потом приводила домой. Мы запирались в моей комнате, занимались тем делом, ради которого пришел сюда мой случайный гость, разговаривали о том о сем, потом он платил деньги и уходил, а я шла в большую комнату, где меня ждала мама. Если я была голодна, то ужинала и отправлялась спать. Изредка, если было еще не поздно, я снова выходила на улицу и возвращалась в город искать нового клиента. Но иногда по нескольку дней вообще сидела дома и ничего не делала. Я окончательно обленилась, с грустью, но и с каким-то упоением я предавалась вялому безделью, в этом, очевидно, сказалась не только моя жажда отдыха и покоя, но также извечная усталость и бедность мамы и всего нашего рода. Очень часто только вид пустой коробки, где мы хранили свои сбережения, мог заставить меня выйти из дома и прогуливаться по центральным улицам города в поисках клиента, но иногда лень одолевала меня, тогда я предпочитала оставаться дома и занимать

деньги у Джизеллы или же посылала маму в магазин, где отпускали товары в кредит.

И все-таки не могу сказать, что такая жизнь была мне неприятна. Очень скоро я поняла, что в моем отношении к Джино не было ничего странного и необычного, в конце концов, почти все мужчины чем-нибудь да нравились мне. Не знаю, все ли женщины моей профессии таковы или я обладаю какими-то особыми наклонностями; знаю только, что каждый раз я испытываю нетерпеливое любопытство, жду чего-то необычайного, и только изредка меня постигает разочарование. В молодых мужчинах мне нравились высокий рост, худоба, свежесть, их неопытность и робость, их ласковые глаза, мягкие волосы, яркие губы, мужчины зрелого возраста мне нравились своими мускулистыми руками, широкой, крепкой грудью; их плечи, мышцы живота и ноги несли на себе печать силы и мощи, которая приходит с годами; наконец, старые мужчины тоже нравились мне, потому что они в отличие от нас, женщин, не так быстро покоряются времени и не только сохраняют свою красоту, но приобретают с годами какое-то своеобразное обаяние. Частые встречи и новые знакомства научили меня с первого взгляда определять достоинства и недостатки людей с такой точностью и проницательностью, какие даются только опытом. И кроме того, человеческое тело было для меня неиссякаемым источником таинственного и ненасытного наслаждения, и не раз я ловила себя на том, что, прикасаясь кончиками пальцев к телу одного из своих ночных гостей, я словно хочу заглянуть куда-то вглубь, по ту сторону наших обыденных отношений, понять сущность мужской силы и объяснить себе, почему она меня так притягивает. Но я старалась всячески скрывать эту тягу, потому что мужчины со своим вечным тщеславием могли бы ошибиться и подумать, что я влюблена, а на самом деле никакой любви не было, даже любви в их понимании, а это, скорее, напоминало то благоговение и трепет, которые охватывали меня в храме, когда я исполняла религиозные обряды.

Денег я зарабатывала не так уж много, куда меньше, чем я предполагала. А кроме того, я не умела быть такой жадной и расчетливой, как Джизелла. Я, конечно, считала, что мне должны платить, потому что выбрала себе эту профессию не ради удовольствия, но в силу своего характера я поступила так скорее из-за избытка жизненной силы, чем из корысти, я вспоминала о деньгах только в тот момент, когда надо было рассчитываться, то есть слишком поздно. Меня не оставляло какое-то смутное ощущение, что я предлагаю мужчинам товар, который

мне самой ничего не стоит и за который обычно не платят, и я смотрела на эти деньги скорее как на подарок, чем как на заработок. Мне казалось, что за любовь или совсем не следует платить, или уж ни за какие деньги ее не купишь. Я колебалась между такой непритязательностью и такой требовательностью и не могла назвать настоящую цену. Поэтому, когда мне платили много, я выражала чрезмерную благодарность, а когда платили мало, я не чувствовала себя обиженной и не протестовала. Только позднее, наученная горьким опытом, я решилась подражать Джизелле и предварительно договариваться о цене. Но вначале я стыдилась и произносила цифру шепотом, так что многие не могли расслышать и мне приходилось повторять.

И еще одно обстоятельство способствовало тому, что мне не хватало денег. Дело в том, что теперь я меньше, чем раньше, считалась с расходами, наоборот, сшила себе несколько платьев, покупала духи, предметы туалета и прочие вещи, необходимые для женщин моей профессии, и денег, которые я получала от клиентов, никогда не хватало, совсем как в то время, когда я позировала и помогала маме шить сорочки. Таким образом, я не стала ничуть богаче, несмотря на то, что пожертвовала своей честью. Так же как и раньше, а может быть, даже чаще выдавались дни, когда у нас в доме не было ни гроша. Так же как и раньше, а может быть, даже сильнее меня грызла тревога за свое будущее. Но по натуре я всегда была беспечной и пассивной, поэтому тревога никогда не превращалась у меня в навязчивую идею, как это бывает у людей менее уравновешенных и менее спокойных. Но все же тревога эта жила где-то в самой глубине моего сознания и точила меня, подобуо шашелю, который точит старую мебель; я постоянно чувствовала себя обделенной во всем потому, что, с одной стороны, не могла успокоиться и забыть свое положение, а с другой — избрав себе такое занятие, не могла и улучшить свою жизнь.

Кто действительно не испытывал беспокойства или по крайней мере искусно скрывал его, так это мама. Я с самого начала предупредила ее, что теперь ей не придется портить глаза и сидеть с утра до ночи за шитьем, и она, словно только этого и ждала всю жизнь, сразу же бросила работу и ограничилась небольшим количеством заказов, да и то шила нехотя, скорее от скуки, чем ради заработка. Казалось, долгие годы напряженного труда — а началось это тогда, когда еще девочкой она поступила в услужение в семью одного чиновника, — канули внезапно и бесследно в вечность, так рушатся стены старых домов и на их месте остается лишь куча щебня. Для такого человека,

как мама, слово «деньги» означало прежде всего досыта есть и вволю отдыхать. Теперь она ела больше прежнего и позволяла себе вольности, которые, по ее мнению, отличают богатых от бедных: поздно вставала, отдыхала после завтрака, иной раз ходила прогуляться. Должна сказать, что ничего хорошего из этого не вышло. Вероятно, тот, кто привык всю жизнь трудиться, не должен бросать работу: праздность и благополучие портят человека даже тогда, когда они вполне заслуженны. Вскоре после того, как наше положение изменилось к лучшему, мама поправилась, или, вернее сказать, ее худое, изможденное тело как-то сразу и нездорово распухло, и это мне показалось дурным предзнаменованием, хотя я сама не знала почему. Ее костлявые бедра раздались, тощие плечи налились, всегда впалые и дряблые щеки округлились и покрылись румянцем. Но все бы ничего, если бы в этой перемене, происшедшей с мамой, не было одной неприятной детали. Я имею в виду мамины глаза. У нее всегда были большие, широко открытые глаза с живым и участливым выражением. Теперь они заплыли и сверкали каким-то странным, подозрительным блеском. Она поправилась, но от этого не похорошела и не помолодела. Мне казалось, наша новая жизнь наложила свой след не на меня, а на маму, на ее лицо и фигуру; и я не могла на нее смотреть без угрызений совести, смешанных с жалостью и отвращением. И больше всего меня выводила из себя мамина счастливая и блаженная успокоенность. Как человек, которому пришлось в жизни много трудиться и голодать, мама все еще не могла поверить, что все ее невзгоды кончились.

Я, конечно, скрывала от нее свои чувства: во-первых, не хотела ее обижать, а во-вторых, понимала, что не имею права упрекать ее, потому что сама не без греха. Но иногда мое раздражение прорывалось, и в такие минуты мне казалось, что теперь я уже меньше люблю ее, толстую, опухшую, тяжело переваливающуюся с боку на бок, чем в то время, когда она, худая и растрепанная, кричала, суетилась и каждый день жаловалась на судьбу. Я часто задавала себе вопрос: «А если бы я, предположим, удачно вышла замуж, растолстела бы мама так же или нет?» Теперь я, наверно, ответила бы на этот вопрос утвердительно, а тогда ее тучность казалась мне низменной; объясняю это тем, что невольно я смотрела на нее как на соучастницу, которой не дают покоя муки совести.

Мне недолго пришлось скрывать от Джино мое новое положение. Все обнаружилось даже слишком скоро, спустя десять дней после нашего последнего свидания на вилле. Однажды ут-

ром мама вошла ко мне, разбудила и сказала заговорщическим и взволнованным голосом:

— Знаешь, кто пришел и хочет с тобой поговорить? Джино.

— Впусти его, — спокойно ответила я.

Мама была несколько разочарована этим сдержанным ответом, открыла окно и вышла. Немного погодя появился Джино, и я тотчас же заметила, что он взволнован и раздражен. Он даже не поздоровался со мною, молча обошел кровать и встал передо мною. Я лежала на постели совсем еще сонная.

— Послушай-ка, в тот раз ты случайно не взяла по ошибке одну вещь с туалета хозяйки? — спросил Джино.

«Началось», — подумала я, но не почувствовала ни страха, ни раскаяния. Наоборот, меня поразил жалкий и трусливый вид Джино.

— А что? — спросила я.

— Пропала очень дорогая вещь... пудреница... золотая с рубином... синьора перевернула все вверх дном... так как вилла, можно сказать, была оставлена на меня, я понимаю, что они подозревают меня, хотя и не говорят об этом вслух... К счастью, все обнаружилось только вчера, уже спустя неделю после их приезда, так что, вероятно, украла одна из горничных... иначе бы меня уже давно выгнали, заявили бы в полицию, арестовали, да мало ли что могли сделать.

Испугавшись, что по моей вине пострадает какой-нибудь невинный человек, я спросила:

— А что сделали с горничными?

— Ничего, — нервно ответил он, — просто пришел полицейский комиссар и допросил нас, второй день все мы ни живы ни мертвы.

Я с минуту колебалась, потом сказала:

— Пудреницу взяла я.

Он широко раскрыл глаза, и лицо его перекосилось.

— Ты взяла... и ты так спокойно говоришь об этом?

— А как прикажешь об этом говорить?

— Но ведь это же воровство.

— Ну и что?

Он посмотрел на меня и вдруг рассвирепел: возможно, он испугался последствий моего поступка, а быть может, смутно догадывался о том, что я возлагаю на него бо́льшую часть ответственности за эту кражу.

— Скажи... что с тобой стряслось?.. Ах, вот почему тебе понадобилось войти в комнату сеньоры... теперь я все понимаю... но, дорогая моя, я тут ни при чем... если ты хочешь воровать,

воруй где угодно, меня это не касается, только не в том доме, где я служу... Воровка!.. Хорош бы я был, если бы женился на тебе... Женился бы на воровке.

Я дала ему выговориться вволю и внимательно смотрела на него. Теперь я удивлялась, как могла так долго заблуждаться, считая его идеальным человеком. Какой уж там идеальный... Наконец, когда мне показалось, что он исчерпал весь запас своих упреков, я сказала:

— Почему ты сердишься, Джино?.. Ведь никто тебя не обвиняет в воровстве... поговорят еще несколько дней, а потом забудут... ведь у твоей хозяйки таких пудрениц сколько угодно...

— Но почему ты украла? — настаивал Джино.

Я понимала, что он догадывается о том, что побудило меня украсть пудреницу, но хочет услышать мое объяснение. Я ответила:

— Да просто так.

— «Просто так» — это не ответ.

— Тогда, если ты так уж хочешь знать, — спокойно сказала я, — украла я не потому, что она мне понравилась или мне так уж приспичило ее иметь, а потому, что отныне я могу и воровать.

— Что это значит?.. — начал он.

Но я не дала ему договорить:

— Теперь вечерами я выхожу на улицу, ищу клиента, привожу его сюда, а он платит мне деньги... а коли я делаю это, то я могу и украсть, разве нет?

Он понял и ответил так, как и следовало от него ожидать:

— И этим ты тоже занимаешься... ну что ж, прекрасно. Здорово бы я влип, если б на тебе женился.

— Раньше я этим не занималась, — возразила я, — но с тех пор, как узнала, что ты женат и имеешь ребенка, я стала такой.

Видно, он ждал этих слов с самого начала разговора и с готовностью возразил:

— Нет, дорогая моя, нечего сваливать вину на меня... кто не захочет, тот не станет шлюхой или воровкой.

— Значит, я была такой, только сама и не подозревала об этом, — ответила я, — а ты мне помог решиться на такое дело.

По моему спокойному виду он понял, что спорить бесполезно. Тогда он переменил тактику.

— Ладно... кто ты и чем занимаешься, это меня не касается... но пудреницу ты обязана мне вернуть... иначе рано или поздно я потеряю работу... Ты должна отдать мне пуд-

реницу, а я сделаю вид, что нашел ее, мало ли где, хотя бы в саду.

Я ответила:

— Что же ты сразу не сказал? Если она тебе нужна, чтобы не потерять место, тогда возьми ее... она там, в верхнем ящике шкафа.

Он облегченно вздохнул и торопливо подошел к шкафу, выдвинул ящик, взял пудреницу и положил ее в карман. Потом посмотрел на меня, но уже совсем по-другому, как-то смущенно, видимо желая примирения. Но у меня не хватило духа встретить его взгляд. Я спросила:

— Твоя машина внизу?

— Да.

— Уже поздно, и тебе не следует оставаться у нас... поговорим обо всем в другой раз, когда встретимся.

— Ты на меня сердишься?

— Нет, не сержусь.

— Нет, сердишься.

— Говорю тебе, нет.

Он вздохнул, склонился над кроватью, и я позволила ему поцеловать себя.

— Ты позвонишь мне? — спросил он уже с порога.

— Конечно.

Вот каким образом Джино узнал о моей новой жизни. Но в тот день, когда мы снова увиделись, мы уже не говорили ни о пудренице, ни о моем занятии, как будто это были самые обыкновенные и неинтересные вещи, все значение которых заключалось только в их новизне. Одним словом, Джино вел себя почти так же, как мама, но только он ни на минуту не выказал изумления, а ведь я помню, какой ужас охватил маму в тот первый вечер, когда я привела с собою Джачинти, и, несмотря на ее теперешний довольный вид и дородность, я до сих пор угадывала в ней какую-то тревогу. В характере Джино была заложена хитрость, свойственная многим ограниченным, недалеким людям. Думаю, что, узнав о коренных изменениях, происшедших в моей жизни по его вине, он сказал сам себе, пожав плечами: «Отлично, таким образом, я убью сразу двух зайцев... она перестанет меня упрекать, и я останусь ее любовником».

Есть мужчины, которые изо всех сил цепляются за то, что им принадлежит, будь то деньги или женщина, не говоря уже о самой жизни, — за все это они готовы заплатить даже ценой собственного достоинства, и Джино был как раз из их числа.

Я продолжала встречаться с ним, потому что он все еще нравился мне больше всех остальных и — хотя я и считала, что между нами все кончено, — я не хотела, чтобы разрыв был слишком резким и оставил неприятный осадок. Я не любила внезапных разрывов и грустных расставаний. Я считаю, что есть чувства, которые сами по себе зарождаются и сами отмирают от скуки, равнодушия или по привычке, которая тоже является своего рода укоренившейся скукой; и я рада, что эти чувства отмирают естественно, без всякого моего или постороннего вмешательства, уступая постепенно свое место другим, не внося в жизнь явных и резких перемен; а кто хочет разом избавиться от этого бремени, рискует сохранить в целости и невредимости те самые привычки, которые он надеялся вырвать с корнем. Я хотела, чтобы ласки Джино стали мне так же безразличны, как его слова, и понимала, что надо ждать, когда это придет само собой, иначе он сможет снова в любой момент вторгнуться в мою жизнь и вынудить меня вновь завязать с ним прежние отношения.

Еще один человек вернулся в мою жизнь, я имею в виду Астариту. С ним все обстояло много проще, чем с Джино. Джизелла тайком виделась с ним, и думаю, что он водил с ней дружбу только оттого, что хотел разузнать кое-что обо мне. Как бы то ни было, Джизелла ждала удобного момента, чтобы поговорить со мною об Астарите, и, когда она решила, что прошло уже достаточно времени и я уже успокоилась, она позвала меня и, начав издалека, наконец выложила, что видела Астариту и что тот спрашивал обо мне.

— Ничего определенного он мне не сказал, — продолжала она, — но я поняла: он по-прежнему влюблен в тебя... по правде говоря, мне стало его даже жаль... он выглядит таким несчастным... Повторяю тебе, он ничего мне не говорил... но я все равно догадалась, что ему очень хотелось бы тебя увидеть... теперь, после всего случившегося...

Но я оборвала ее.

— Послушай, бесполезно продолжать разговор в такой манере...

— В какой манере?

— Да со всеми хитростями... скажи лучше, что он послал тебя ко мне, он хочет увидеть меня, а ты взялась передать ему мой ответ.

— Предположим, что это так, — смущенно согласилась она, — как тогда быть?

— Тогда, — ответила я спокойно, — можешь сказать ему, что

я не прочь с ним встречаться... как встречаюсь с другими, разумеется, без всяких обязательств, а так, время от времени.

Джизеллу чрезвычайно поразило мое спокойствие, она думала, что я ненавижу Астариту и никогда не соглашусь вновь встретиться с ним. Она никак не могла взять в толк, что отныне для меня не существовало уже ни ненависти, ни любви, и она подумала, что я, подобно ей самой, преследую какую-то цель.

— Ты поступаешь правильно, — многозначительно проговорила она после минутного раздумья, — и я на твоем месте поступила бы так же... в иных случаях нужно быть выше всяких антипатий... Астарита тебя по-настоящему любит, он мог бы даже добиться развода и жениться на тебе... какая ты, однако, хитрая... а я-то считала тебя простушкой...

Джизелла так и не поняла меня, и я по опыту знала, что стараться открыть ей глаза бесполезно. Поэтому я с притворной развязностью подтвердила:

— Так оно и есть... — и этим ответом вызвала в ней зависть и восхищение своей особой.

Она передала Астарите мое согласие, и мы встретились с ним в том самом кафе, где я впервые увидела Джачинти. Как и говорила Джизелла, он до сих пор был безумно в меня влюблен. И в самом деле, увидев меня, он побледнел, куда девалась вся его смелость, он даже не мог рта раскрыть. Это чувство, вероятно, было сильнее его; и я согласна с некоторыми женщинами из народа, вроде мамы, которые уверяют, что любовница может приворожить мужчину. Так я невольно и бессознательно околдовала его, и он, понимая это, не мог освободиться от моих чар, как ни пытался. Раз и навсегда я сделала его своим покорным, бессловесным рабом; раз и навсегда я обезоружила, парализовала и подчинила своей воле. Он рассказывал мне впоследствии, что наедине с собой он репетировал холодное презрение, чтобы потом разыграть эту роль передо мною, он даже придумывал слова, которые мне скажет, но, стоило ему только меня увидеть, кровь отливала от его лица, тиски сжимали грудь, все мысли испарялись, а язык отказывался повиноваться. Будучи не в силах выдержать даже мой взгляд, он терял голову, и его охватывало непреодолимое желание броситься передо мной на колени и осыпать поцелуями мои ноги.

Астарита и впрямь был совсем не похож на других мужчин: в нем чувствовалась какая-то одержимость. После того как мы встретились и поужинали в ресторане, причем оба молчали, мы отправились ко мне домой, и он попросил рассказать ему по-

дробно, ничего не пропуская, о моей жизни, начиная с нашей поездки в Витербо и кончая разрывом с Джино.

— Но почему это так тебя интересует? — удивилась я.

— Так, — ответил он, — просто так... ну что тебе, жалко, что ли?.. Не думай обо мне, рассказывай.

— Пожалуйста, если тебе так хочется, — ответила я, пожимая плечами.

И я подробно, как он и просил, рассказала обо всем, что произошло со мною после поездки: как я объяснилась с Джино, как следовала советам Джизеллы, как встретилась с Джачинти. Я умолчала только о пудренице, сама не знаю почему, вероятно просто чтобы не впутывать его — ведь он служил в полиции. Он задавал мне вопросы, особенно подробно расспрашивал о моей встрече с Джачинти. Казалось, что его не удовлетворяют простые ответы, ему хотелось как бы видеть все и осязать, одним словом, участвовать во всем самому. Он без конца прерывал меня вопросами: «А ты что сделала?» или «А он что?..» Когда я замолчала, он обнял меня и прошептал:

— Это я во всем виноват.

— Да нет, — ответила я с досадой, — никто тут не виноват.

— Нет, это я виноват... это я тебя погубил... если бы я не повел себя так в Витербо, все было бы по-другому.

— На сей раз ты ошибаешься, — живо ответила я, — если уж кто виноват, так это Джино... ты тут ни при чем... ты, дорогой мой, взял меня в Витербо силой, а то, что добыто силой, не считается... Если бы Джино не обманул меня, я вышла бы за него замуж, а после обо всем ему рассказала, и все было бы так, как будто мы с тобой и не встречались.

— Нет, я виноват... на первый взгляд кажется, будто это вина Джино... Но в сущности, виноват я.

Он, казалось, ухватился за эту идею, но я понимала: он вовсе не испытывал угрызений совести, наоборот, ему даже приятно было думать, что это он совратил и погубил меня. Больше того, эта мысль не только нравилась ему, она его даже как-то возбуждала; должно быть, она-то и питала его чувства ко мне. Я поняла это впоследствии — не случайно во время наших свиданий он то и дело просил меня подробно рассказывать обо всем, что происходит у меня с моими любовниками. Тут лицо его как-то странно вытягивалось, взгляд становился взволнованным и внимательным, что приводило меня в смущение и наполняло стыдом. И сразу же после этого он набрасывался на меня, шепча грубые, непристойные, оскорбительные слова, которые я не решусь повторять здесь и которые показались бы

обидными даже самой развратной женщине. Я никогда не могла понять, как это странное поведение сочеталось с его обожанием, чуть ли не преклонением передо мною, на мой взгляд, нельзя любить женщину и не уважать ее, но в нем любовь уживалась с жестокостью, каждое из этих чувств придавало другому силу и страсть. Иногда я думала, что то непонятное удовольствие, которое он испытывал при мысли, что по его вине я стала падшей женщиной, объясняется его службой в политической полиции, где главное — нащупать у преступника слабое место и, сыграв на этом, запугать его и навсегда обезвредить. Он сам говорил мне, не помню уж, по какому поводу, что каждый раз, когда ему удавалось добиться признания преступником своей вины, он испытывал особое почти физическое наслаждение, подобное тому, какое дает обладание женщиной.

— Преступник похож на женщину, — объяснял мне он, — пока он сопротивляется, он держится гордо... но, стоит ему раз уступить, он превращается в тряпку, и ты можешь делать с ним все что угодно.

Но скорее всего, жестокость и садизм были врожденными чертами его характера, и именно поэтому-то он и выбрал себе профессию полицейского, а не наоборот.

Астарита не был счастлив. Мне казалось, что несчастье его велико и непоправимо, потому что оно было следствием не каких-то внешних причин, а его собственных странностей или извращенности, которые мне трудно было понять. Когда он не заставлял меня рассказывать о моих делах, то обычно опускался на пол у моих ног, зарывался головой в мои колени и иногда на целый час замирал в такой позе. Я же должна была время от времени гладить его по голове, как матери ласкают своих детей. И каждый раз он стонал, а может, даже плакал. Я никогда не любила Астариту, но в эти минуты он внушал мне жалость, ибо я понимала, что он страдает и не существует средств, способных облегчить его муки.

О своей семье он говорил с горечью: о жене, которую ненавидел, о дочерях, которых не любил, о родителях, искалечивших его детство и вынудивших его, еще неопытного юношу, жениться без любви. О своей профессии он почти никогда не говорил. Только раз он сказал с каким-то странным выражением на лице:

— В каждом доме есть полезные, хоть и не всегда чистые, вещи... я как раз похож на такую вот вещь... я — помойное ведро, куда бросают мусор.

Но в общем у меня создалось впечатление, что он считает

свою работу честной. В нем было сильно развито чувство долга, и, увидев его в министерстве и разговаривая с ним, я поняла, что он образцовый чиновник — прилежный, скрытный, проницательный, неподкупный и строгий. Однако, числясь в политической полиции, он, по его словам, ровно ничего не смыслил в политике.

— Я просто колесико в большом механизме, — как-то раз сказал он, — мне приказывают, а я исполняю.

Астарита готов был встречаться со мною хоть каждый вечер, но я, как уже говорила, не хотела связывать себя с каким-нибудь одним мужчиной, и, кроме того, он надоедал мне мрачным характером и своими странными выходками, я чувствовала себя с ним скованно, и, хотя он внушал мне жалость, я всякий раз облегченно вздыхала, когда он уходил. Поэтому-то я старалась видеться с ним как можно реже, не больше одного дня в неделю. Безусловно, эти редкие встречи способствовали тому, что его чувство ко мне оставалось страстным и пылким, а если бы я согласилась жить у него, что он мне не раз предлагал, то постепенно он привык бы к моему присутствию и стал бы со временем видеть меня такой, какой я была в действительности: обыкновенной бедной девушкой. Он дал мне номер телефона, который стоял у него на столе в министерстве. Это был секретный номер, его знали лишь начальник полиции, глава правительства, министр и еще несколько важных лиц. Когда я звонила, он тотчас брал трубку, но, узнав меня, начинал заикаться и что-то мямлить, голос его, еще минуту назад ясный и спокойный, менялся до неузнаваемости. Он и впрямь подчинялся и покорялся мне, словно раб. Помню, как-то раз я машинально погладила его по лицу. Он схватил мою руку и с благодарностью поцеловал. После он нередко просил повторить этот жест. Но разве можно ласкать по заказу?

Как я уже говорила, у меня часто не было никакого желания идти на улицу искать мужчину, и я оставалась дома. С мамой мне сидеть не хотелось: несмотря на существующее между нами безмолвное соглашение не говорить о моей профессии, разговор вечно вертелся вокруг этой темы, мы изъяснялись намеками, и обе чувствовали себя неловко, раз уж на то пошло, я предпочла бы говорить обо всем откровенно, без обиняков. И я обычно запиралась у себя, просила маму мне не мешать, а сама ложилась в постель. Мои окна выходили во двор, и сквозь закрытое окно не проникало ни звука. Я дремала, потом вставала, бродила по комнате, занималась какими-нибудь пустяками, например, перекладывала вещи или стирала пыль с мебели. Эти занятия давали толчок моим мыслям, и вокруг меня постепенно

устанавливалась атмосфера, отгораживающая меня от всего мира. Я размышляла, углубляясь в самые дебри души, и в конце концов приходила к выводу, что лучше ни о чем не думать, достаточно того, что я вообще живу на свете после стольких разочарований и горьких уроков судьбы.

В эти часы одиночества неизменно наступал момент, когда меня охватывало смятение, и мне начинало вдруг казаться, что я с холодной проницательностью, будто со стороны вижу себя и свою жизнь. Все мои поступки и мысли как бы раздваивались, теряли свой истинный смысл и приобретали какой-то нелепый и непостижимый вид. Я говорила себе: «Я привожу сюда мужчину, который раньше не знал меня, не ждал со мною встречи в этот вечер... мы вступаем в схватку, как два врага, на этой постели... потом он дает мне цветную с печатными знаками бумажку... на следующий день я меняю эту бумажку на еду, одежду и другие вещи». Но эти беспорядочные размышления были только началом, за ними приходило еще большее смятение. Таким образом я пыталась освободиться от мучительного для меня предубеждения, касающегося моей профессии, пыталась внушить себе, что моя профессия, так же как и другие, является совокупностью лишенных смысла поступков. И сразу же после этого отдаленный шум города или же скрип мебели в комнате заставляли меня удивленно оглядываться вокруг, недоумевая, как я сюда попала. Я твердила себе: «Я нахожусь здесь, а могла бы находиться в другом месте... могла бы родиться на тысячу лет раньше или на тысячу позже. Могла бы быть старой негритянкой или белокурым ребенком...» Мне казалось, что я вышла из какой-то бездонной тьмы и скоро снова уйду в такой же безграничный мрак и это мое краткое пребывание на свете ознаменуется лишь нелепыми и случайными поступками. И тогда я начинала понимать, что мое угнетенное состояние проистекало не от того, что я делала, а объяснялось более серьезной причиной, самой жизнью, которую нельзя назвать ни плохой ни хорошей, а лишь печальной и бессмысленной.

У меня по коже пробегали мурашки, я дрожала и чувствовала, как волосы на голове становятся дыбом, мне чудилось, что стены дома, город и весь мир исчезают, а я повисаю в каком-то пустом, черном, безбрежном пространстве, повисаю вот такая, как есть: в этой самой одежде, с этими мыслями, с этим именем и этой профессией. Девушка по имени Адриана повисла в пустоте. Пустота эта казалась чем-то торжественным, страшным и непонятным, и самое печальное зрелище в этой пустоте являю

я сама, попавшая сюда в том же виде, в каком по вечерам прихожу в кафе, где меня поджидает Джизелла. Меня не успокаивала мысль, что и другие люди тоже живут и действуют без пользы и без смысла, погруженные в эту пустоту, внутри этой пустоты, объятые со всех сторон этой пустотой. Поражало меня другое, то, что они либо не замечают этого, либо, как часто случается, когда люди совершают одновременно одно и то же страшное открытие, не делятся друг с другом, стараются умолчать об этом.

В такие минуты мне хотелось упасть на колени и молиться; возможно, это объяснялось скорее привычкой, оставшейся с детства, чем ясным, вполне определенным и осознанным желанием. Я не читала обычных молитв, которые в моем смятенном душевном состоянии казались слишком длинными. Я с неистовой силой бросалась на колени, так, что иногда у меня по несколь¬ку дней ныли ноги, и громко, с отчаянием взывала: «Господи Иисусе, сжалься надо мной!» Эти слова не были настоящей молитвой, а скорее магическим заклинанием, которым я надеялась рассеять свое смятение и вновь обрести ощущение реальности. После этого страстного вопля, в который я вкладывала всю силу своего существа, я долго еще лежала оглушенная, уткнув лицо в ладони. Наконец, приходя в себя, я замечала, что ни о чем больше не думаю, опустошена, что я — все та же Адриана в той же комнате; я ощупывала свое тело, почти не веря, что оно реально, и, поднявшись с колен, шла к постели. Я ощущала во всем теле такую усталость и боль, как будто бы на меня только что обрушился град камней. И я мгновенно засыпала.

Это состояние души, однако, не отражалось на моей обычной жизни. Я продолжала оставаться прежней Адрианой, с прежним характером, я все так же приводила в дом мужчин, встречалась с Джизеллой и болтала о пустяках с мамой и другими людьми. И мне иногда казалось странным, насколько та Адриана, которая остается наедине с собою, не похожа на Адриану, окруженную людьми. Но я вовсе не считала, что лишь мне одной приходится испытывать подобное отчаяние и такие жестокие муки. Должно быть, все люди переживают то же самое, хотя бы раз на дню, когда человек чувствует, что его жизнь зашла в страшный, непонятный, нелепый тупик. Однако это сознание не накладывает на них видимого отпечатка. Они так же, как и я, выходят из дома, отправляются по делам и искренне играют свою неискреннюю роль. Эта мысль лишь подтверждала мое убеждение, что все люди без исключения достойны жалости уже за одно то, что живут на свете.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Теперь мы с Джизеллой были не только подругами, но и сообщницами. Правда, мы часто спорили с ней, какие места нам следует посещать. Джизелла стояла за рестораны и роскошные кабаре, а я предпочитала самые скромные кафе или просто улицу; но мы и тут сумели прийти к согласию: по очереди ходили вместе в наши излюбленные места. Как-то раз вечером, когда мы с Джизеллой, поужинав в ресторане и никого не залучив, возвращались домой, я вдруг заметила, что за нами все время следует какая-то машина. Я сказала об этом Джизелле и предложила согласиться, если нас пригласят сесть в машину. Но Джизелла в этот вечер была в самом дурном расположении духа — ей пришлось самой платить за ужин, а она уже некоторое время находилась в стесненных обстоятельствах. Она грубо отрезала:

— Садись, если хочешь... а я пойду домой спать.

Тем временем машина приблизилась к тротуару и медленно ехала рядом с нами. Джизелла шла у стены, а я — ближе к машине. Я мельком заглянула в окошко и увидела, что в машине сидят двое мужчин. Я шепотом спросила у Джизеллы:

— Что нам делать? Если ты не хочешь, я тоже не пойду.

Хотя Джизелла все еще дулась, она в свою очередь тоже искоса посмотрела на машину и с минуту раздумывала. Потом заявила:

— Не сяду я в машину. Поезжай... чего боишься?

— Нет, без тебя я не поеду.

Она покачала головой, снова заглянула в машину, которая все еще медленно ехала за нами, а потом внезапно передумала и ответила:

— Ну, ладно... Только делай вид, что ничего не замечаешь, и давай отойдем немного подальше... Здесь, прямо на Корсо, я не хочу садиться.

Мы прошли еще метров пятьдесят, машина все время следовала за нами, потом Джизелла свернула за угол, и мы вышли на темную, тесную улицу с узким тротуаром, примыкающим к старой стене, залепленной афишами. Мы слышали, как машина тоже свернула, и ее фары бросили на нас сноп белого света. Нам показалось, что свет этот раздевает нас донага, пригвождает к мокрой стене, покрытой вылинявшими рваными афишами, и мы замерли. Джизелла раздраженно сказала вполголоса:

— Это еще что за манеры?.. Что они, не разглядели нас на Корсо?.. Вот возьму и уйду домой...

— Нет, нет, — торопливо сказала я умоляющим голосом.

Не знаю почему, но мне очень хотелось познакомиться с двумя мужчинами, сидящими в машине, и я добавила:

— Тебе-то что от этого?... Ведь все они так поступают.

Джизелла пожала плечами, в это время фары погасли, и машина остановилась возле тротуара прямо возле нас. Мужчина, сидевший за рулем, высунул в окошко белокурую голову и произнес звонким голосом:

— Добрый вечер!

— Добрый вечер, — сдержанно ответила Джизелла.

— Куда это вы направляетесь одни-одинешеньки? — продолжал он. — Не позволите ли составить вам компанию?

Хотя это было произнесено насмешливым тоном явно остроумного человека, это были все-таки обычные фразы, которые я слышала сотни раз. Все так же сдержанно Джизелла сказала:

— Все зависит от того...

Она всегда так отвечала на подобные предложения.

— От чего же это зависит? — спросил мужчина.

— От того, сколько вы нам заплатите, — сказала Джизелла, приблизившись и положив руку на стекло машины.

— А сколько вы хотите?

Джизелла назвала цифру.

— Очень дорого, — протянул мужчина, — в самом деле дорого.

Но видимо, он уже готов был согласиться. Его спутник, лица которого я не видела, что-то шепнул ему на ухо, но блондин пожал плечами, а потом обратился к нам:

— Ну, ладно... садитесь.

Второй мужчина открыл дверцу машины, вышел и пересел назад, потом распахнул заднюю дверцу с моей стороны и жестом пригласил меня сесть. Джизелла села рядом с блондином. Тот повернулся к ней и спросил:

— Итак, куда же мы едем?

— Домой к Адриане, — ответила Джизелла и дала мой адрес.

— Прекрасно, — сказал блондин, — поедем к Адриане.

Обычно, когда я находилась в машине или в каком-нибудь другом месте с мужчиной, которого еще не знала, я сидела неподвижно и молча ожидала, когда он заговорит или начнет действовать. Я по опыту знала, что мужчины сгорают от нетерпения и подбадривать их нет никакой нужды. И в этот вечер я тоже сидела молча и неподвижно, а машина тем временем неслась по улицам города. Лица своего соседа, которому, судя по тому, как мы расселись в машине, надлежало сегодня ночью стать моим клиентом, я не разглядела. Я видела лишь белые, худые руки с длинными пальцами, лежащие на коленях. Он тоже не разговаривал, не двигался и сидел, откинув голову назад. Я подумала, что он робок, и внезапно почувствовала к нему симпатию: ведь я сама была такой же, застенчивость всегда трогала меня, потому что напоминала мне времена, когда я не была еще знакома с Джино. А Джизелла болтала. Ей нравилось, пока это было возможно, разговаривать непринужденно и вежливо, именно так, как разговаривает синьора в обществе уважающих ее мужчин. Потом я услышала, как она спросила:

— Это ваша машина?

— Да, — ответил ее сосед, — я пока еще не заложил ее... А тебе она нравится?

— Очень удобная, — ответила Джизелла довольным тоном,— однако я предпочитаю «ланчу»... она быстроходнее, и амортизаторы у нее лучше... у моего жениха как раз «ланча».

Она не лгала. У Риккардо была именно такая машина. Только он никогда не был женихом Джизеллы, а к тому же она с ним уже давно не встречалась. Блондин засмеялся:

— У твоего жениха небось двухколесная «ланча».

Джизелла была обидчива и легко сердилась из-за всякого пустяка. Она с негодованием спросила:

— За кого вы нас принимаете, а?

— Не знаю... вы сами скажите, кто вы такие, — ответил блондин, — мне не хочется попасть впросак.

У Джизеллы была еще одна мания: в глазах случайных

знакомых ей хотелось казаться не той, кем она была на самом деле, она представлялась балериной, машинисткой или богатой синьорой. Джизелла не понимала, что все ее уловки никак не вяжутся с тем, что она так легко позволила зазвать себя в машину и сразу же поставила вопрос о деньгах.

— Мы балерины из труппы Каччини, — важно сказала она, — и мы не привыкли принимать приглашение первых встречных... Поскольку труппа целиком еще не набрана, мы отправились сегодня вечером погулять... я ни за что не хотела принимать ваше приглашение... но моя подруга уговорила меня, вы ей показались порядочными людьми... если только мой жених узнает, мне несдобровать...

Блондин снова засмеялся.

— Мы, конечно, люди порядочные... А вот вы бульварные девки... Что же тут худого?

Тут мой сосед впервые заговорил.

— Прекрати, Джанкарло, — произнес он спокойным голосом.

Я промолчала, хотя мне не понравились эти слова, да еще произнесенные таким презрительным тоном; но в конце концов, это была правда. Джизелла взорвалась:

— Во-первых, это не так... а во-вторых, вы — грубиян!

Блондин ничего не ответил, но сразу же затормозил возле тротуара. Мы находились на какой-то пустынной, плохо освещенной, узенькой улице, стиснутой двумя рядами домов. Блондин повернулся к Джизелле:

— А ну поговори еще... вот возьму и выкину тебя из машины.

— Попробуйте только! — завопила Джизелла, откидываясь на сиденье. Она была скандалисткой и никого не боялась.

Тогда мой сосед наклонился вперед к сиденью шофера, и я разглядела его лицо. Это был брюнет, его растрепанные волосы падали на высокий лоб, у него были большие, темные и блестящие, чуть-чуть навыкате, глаза, тонкий нос, хорошо очерченный рот и некрасивый срезанный подбородок. Он был очень худ, и на шее у него сильно выпирал кадык.

— Прекратишь ты наконец?.. — спросил он у блондина громко, но без раздражения, мне показалось, что он не проявляет настоящего участия, как человек, который вмешивается в безразличное и чуждое ему дело. Голос у него был не сильный и не грубый и, должно быть, легко переходил в фальцет.

— Но ты-то тут при чем? — спросил блондин, оборачиваясь назад.

Однако эти слова он произнес уже совсем другим тоном, как будто сам раскаялся в своей грубости и был рад вмешательству друга. А мой сосед продолжал:

— Что это за манеры?.. Мы сами их пригласили, черт побери, они доверились нам и сели в машину, а теперь говорим им гадости. — Он повернулся к Джизелле и добавил с галантным видом: — Не обращайте внимания, синьорина... он, наверно, выпил лишнего... даю слово, что он не желал вас обидеть...

Блондин хотел было возразить, но друг положил ему руку на плечо и произнес не допускающим возражений тоном:

— А я тебе говорю, что ты просто выпил лишнего и вовсе не хотел ее обидеть... а теперь поехали.

— Я села к вам не для того, чтобы со мной так нахально разговаривали, — начала Джизелла не совсем уверенным тоном.

Она тоже, казалось, была благодарна брюнету за его вмешательство. А тот подхватил:

— Разумеется... кому приятно, чтобы с ним обращались грубо... само собой разумеется.

Блондин уставился на них с глупым видом. Лицо у него было пунцовое и все в каких-то неровных припухлостях, будто его избили, а глаза были голубые и круглые, большой красный рот свидетельствовал о чревоугодии и необузданности. Он посмотрел на друга, который добродушно похлопывал по плечу Джизеллу, потом повернулся к ней и внезапно расхохотался.

— Честное слово, ничего не понимаю, — воскликнул он, — и что это мы расходились?.. Почему вдруг затеяли ссору?.. Я даже не помню, как все началось... вместо того чтобы веселиться, мы ссоримся... честное слово, с ума сойти можно... — Он смеялся от всего сердца и, обращаясь к Джизелле, сказал: — Ну-ну, красотка... не гляди на меня так сердито... в конце концов, мы же созданы друг для друга.

Джизелла попыталась улыбнуться и ответила:

— И мне тоже так показалось...

Блондин, продолжая хохотать во все горло, воскликнул:

— На всем белом свете не сыщешь человека лучше меня, верно, Джакомо?.. Я очень покладистый парень... нужно только подобрать ко мне ключик... вот и все... а теперь поцелуй-ка меня разок!

И, повернувшись, он обнял Джизеллу за талию. Она немного отстранилась и сказала:

— Обожди.

Потом достала из сумочки носовой платок, провела им по

губам, стерла помаду и только тогда с покаянным видом чмок¬нула его в губы. Блондин, пока она его целовала, дурачился и притворялся, показывая жестами, будто конфузится и задыхается. Они кончили целоваться, и блондин начал судорожными движениями заводить машину.

— В добрый час... клянусь, что отныне никому не дам ни малейшего повода пожаловаться на меня... я буду очень серьезен, очень чуток, очень вежлив... разрешаю вам даже дать мне подзатыльник, если я в чем-нибудь провинюсь.

Машина тронулась.

Весь остаток пути он продолжал разглагольствовать, громко смеялся и иногда с риском для наших жизней отпускал руль и отчаянно жестикулировал. А его товарищ после своего короткого вмешательства снова погрузился в молчание и отодвинулся в тень. Я почувствовала к нему огромную симпатию и сильное влечение; и теперь, много времени спустя, вспоминая об этом, я понимаю, что тогда-то я и влюбилась в него, вернее, сразу же начала приписывать ему все те черты, которые мне нравились и которых я до сих пор не встречала в людях. Ведь любовь должна проявляться во всем, а не просто в удовлетворении чувственности, и я все время искала человека идеального, каким одно время мне представлялся Джино. Вероятно, впервые не только за последнее время, но и впервые в жизни я встретила такого человека, то есть человека с такими манерами и таким голосом. Художник, к которому я впервые пришла позировать, был, правда, чем-то похож на него, только он был более сдержан и более самоуверен, но, если бы он дал мне по¬вод, я бы в него непременно влюбилась. Голос и манеры этого молодого человека пробуждали в моей душе, хотя и не в такой степени, те же самые чувства, какие я испытывала во время первого посещения виллы хозяев Джино. Как тогда на вилле мне понравились порядок, богатство, чистота в я решила, что жить не стоит, если у тебя нет всего этого, так теперь голос, благородное и разумное поведение моего спутника, в какой-то мере характеризовавшие его, внушили мне страстную и прочную симпатию. В то же самое время я испытывала сильное влечение к нему, мне не терпелось почувствовать ласку этих рук и поцелуи этих губ; и я сама не заметила, как мои прежние надежды и эти нынешние желания слились в единое целое, а это-то и является настоящей любовью, безошибочной приметой ее зарождения. Но я боялась, что он не заметит моей любви и я потеряю его. Поэтому я потянулась к его руке и попыталась вложить в нее свою. Но его рука под моими пальцами, которые

пытались сплестись с его пальцами, оставалась неподвижной, Я смутилась и поняла, что хоть мне не хочется этого делать, но надо заставить себя убрать руку. И тут машина, круто свернув за угол, толкнула нас друг к другу, и я, сделав вид, что потеряла равновесие, упала лицом прямо на его колени. Он вздрогнул, но не двинулся с места. С наслаждением ощущая скорость машины, я закрыла глаза и по-собачьи зарылась головой в его ладони, поцеловала их и попыталась нежно погладить ими свое лицо. Я хотела, чтобы его ласка была искренней и непосредственной. Я понимала, что теряю голову, и удивлялась, что несколько вежливых слов привели меня в столь сильное волнение. Но он не подарил мне ласку, которую я так смиренно просила у него, и отдернул руки. Вскоре машина остановилась.

Блондин выпрыгнул на тротуар и с шутливой галантностью помог вылезти Джизелле. Мы тоже вышли, я открыла дверь, и мы вошли в подъезд. На лестнице Джизелла и ее кавалер опередили нас. Блондин был невысок ростом и коренаст; хотя он не был толстым, костюм, казалось, вот-вот лопнет на нем по всем швам. Джизелла была выше него. На середине лестницы он отстал от Джизеллы на один шаг, схватил подол ее платья, потянул его кверху и открыл ее белые ляжки, стянутые подвязками, и кусочек ее маленьких худеньких ягодиц.

— Занавес поднимается,— закричал он со смехом.

Джизелла только хлопнула его по руке и одернула платье. Я подумала, что эта грубая выходка, должно быть, неприятна моему кавалеру, и сказала, желая дать ему понять, что мне это тоже не по душе:

— У вас очень веселый друг.

— Да, — ответил он кратко.

— Видно, у него хорошо идут дела.

Мы на цыпочках вошли в дом, и я провела гостей прямо в свою комнату. Закрыв двери, мы все четверо с минуту оставались на ногах, а так как комната была небольшая, то нам стало тесно. Блондин оказался решительнее всех, уселся на постель и начал как ни в чем не бывало раздеваться. При этом он беспрестанно смеялся и без умолку болтал. Говорил он о гостиницах, о частных квартирах, рассказал об одном недавно приключившемся с ним случае.

— Она мне говорит: я женщина порядочная... не хочу, говорит, идти в гостиницу... тогда я ей заявляю: гостиницы битком набиты порядочными женщинами... а она отвечает: не хочу показывать свои документы... А я ей говорю: я тебя выдам за

свою жену, какая разница, одной больше, одной меньше... хватит, пойдем в гостиницу. Провожу ее в гостиницу как свою жену, поднимаемся в номер... но, когда дело доходит до главного, она начинает выкидывать разные фокусы... будто она раскаялась, ничего не хочет, что она действительно порядочная женщина... Тогда я, потеряв терпение, пытаюсь действовать силой... ничего я ей худого не сделал, но она открывает окно и грозит выброситься на улицу... Ладно, говорю я, виноват, что привел тебя сюда... Она садится на постель и начинает хныкать... потом рассказывает длинную, грустную и жалобную историю, прямо-таки всю душу мне перевернула... а в чем там дело, сейчас не припомню... знаю лишь одно, что в конце концов я растрогался до того, что чуть не упал перед ней на колени и чуть не стал просить прощения за то, что принял ее за девку. Решено, — сказал я ей, — развлекаться не будем, а потихоньку ляжем в постель и заснем... сказано — сделано, я сразу захрапел... но среди ночи проснулся, осмотрелся кругом: нет ее, исчезла... тогда взглянул я на свою одежду и вижу, все разбросано в беспорядке... Я ищу и не нахожу своего бумажника... вот вам и порядочная женщина.

Он разразился таким неудержимым и заразительным хохотом, что мы с Джизеллой тоже засмеялись. Затем он снял костюм, сорочку, носки, ботинки и остался в нижнем шерстяном белье светло-бежевого цвета, обтягивающем его фигуру от шеи до щиколоток, отчего стал похож на циркового акробата или балетного танцовщика. Такое белье обычно носят пожилые мужчины, и оно еще больше подчеркивало комичность его фигуры, в эту минуту я забыла о его грубости и даже почувствовала к нему расположение — мне всегда нравились веселые люди, потому что сама я скорее склонна к веселью, чем к грусти. Он начал, расшалившись, кружиться по комнате, выписывать разные кренделя, он был маленького роста, без умолку болтал, важно и гордо выпятив грудь, будто на нем было не исподнее белье, а парадная форма. Затем из угла, где стоял комод, он внезапно вскочил прямо на кровать, обрушился на Джизеллу, опрокинул ее навзничь, а та от неожиданности пронзительно вскрикнула. Потом он, пораженный какой-то внезапной мыслью, смешно стоя на четвереньках возле Джизеллы, поднял свое раскрасневшееся и искаженное лицо, обернулся на нас, как делают кошки перед тем, как схватить добычу, и спросил:

— А вы чего ждете?

Я посмотрела на своего кавалера и спросила:

— Мне тоже раздеваться?

Он все еще стоял в пальто с поднятым воротником и, вздрогнув всем телом, ответил:

— Нет, нет... после них.

— Хочешь, уйдем отсюда?

— Да.

— Прокатитесь на машине! — крикнул нам блондин, не отходя от Джизеллы.— Ключи остались внизу.

Но его друг сделал вид, что не слышит этих слов, и вышел из комнаты.

Мы остановились в прихожей, я попросила юношу подождать меня, а сама зашла в большую комнату. Мама сидела за столом и раскладывала пасьянс. Увидев меня, она встала и молча вышла на кухню. Тогда я выглянула в прихожую и попросила юношу войти.

Я закрыла дверь и села на диван, стоящий в углу возле окна. Мне хотелось, чтобы он сел рядом и начал ласкать меня: с другими у меня было всегда так. Но он даже не взглянул в сторону дивана и начал ходить по комнате вокруг стола, держа руки в карманах. Я подумала, что ему надоело ждать, и поэтому сказала:

— К сожалению, у меня только одна комната.

Он остановился и спросил несколько вызывающим, но попрежнему вежливым тоном:

— Я разве сказал, что мне нужна комната?

— Нет, но я думала...

Он сделал еще несколько шагов, и тогда я не выдержала и, показав на диван, спросила:

— Почему ты не сядешь рядом со мной?

Он посмотрел на меня, а потом, как бы решившись, подошел, сел возле меня и спросил:

— Как тебя зовут?

— Адриана.

— А меня Джакомо,— сказал он и взял меня за руки.

Все это было так необычно, в я снова подумала, что он, вероятно, робеет. Я позволила ему взять мою руку и улыбнулась, чтобы его ободрить. А он спросил:

— Значит, после них мы займемся любовью?

— Да.

— А если я не хочу?

— Тогда мы не будем ничем заниматься, — весело ответила я, думая, что он шутит.

— Да, — воскликнул он с горячностью, — я не хочу, ни в коем случае не хочу этого!

— Ладно, — согласилась я.

Но в действительности для меня его слова были неожиданностью, я еще ничего не понимала.

— Ты не обиделась? Женщинам не нравится, когда ими пренебрегают.

Наконец-то я поняла, в чем дело, и, не в силах что-либо сказать, отрицательно покачала головой. Значит, он не хотел меня. Внезапно мною овладело отчаяние, и я чуть было не разрыдалась.

— Нет, я не обиделась, — прошептала я, — раз ты не хочешь... подожди своего друга, а потом уйдешь.

— Не знаю, как быть, — продолжал он, — из-за меня ты зря потеряешь вечер... а могла бы что-то заработать.

Я подумала, что, очевидно, у него нет денег и, все еще надеясь, предложила ему:

— Если у тебя сейчас нет денег, неважно... заплатишь в другой раз.

— Ты добрая девушка, — сказал он, — нет, деньги у меня есть... давай сделаем вот как... я тебе заплачу... и ты не потеряешь зря вечер.

Он сунул руку в карман куртки, достал пачку денег, которые, надо полагать, были приготовлены заранее, и положил их на стол простым и вместе с тем необыкновенно изящным и небрежным жестом.

— Нет, нет, — запротестовала я, — при чем тут деньги... об этом даже говорить не стоит.

Но я возражала не очень решительно, потому что, по правде говоря, мне не так уж неприятно было получить от него эти деньги: они как-то нас могут связать, я останусь перед ним в долгу и буду надеяться, что мне удастся расквитаться. Он принял этот мой нерешительный отказ за согласие взять деньги, как оно и было на самом деле, и оставил их на столе. Затем он опять сел на диван, а я, чувствуя, что поступаю глупо и нелепо, потянулась и взяла его за руку. С минуту мы молча глядели друг на друга, потом он неожиданно сильно заломил назад мой мизинец своими длинными худыми пальцами.

— Ой, — немного раздраженно воскликнула я, — что это на тебя нашло?

— Извини меня, — сказал он, и лицо его выразило такое смущение, что я раскаялась в своей резкости и добавила:

— Мне было больно, понимаешь?

— Извини меня, — повторил он.

Охваченный каким-то внезапным волнением, он снова

вскочил и начал ходить по комнате. Потом остановился и сказал:

— Не хочешь ли пройтись? Такая тощища ждать их тут.

— А куда мы пойдем?

— Не знаю... давай прокатимся на машине?

Я вспомнила о своих поездках с Джино и торопливо ответила:

— Нет, только не на машине.

— Тогда пойдем куда-нибудь... Здесь есть кафе?

— Здесь нету... но сразу же за городскими воротами, кажется, есть.

— Тогда пойдем в кафе.

Я встала, и мы вышли из комнаты. Когда мы спускались по лестнице, я как бы в шутку сказала:

— Имей в виду: деньги, которые ты мне оставил, дают тебе право прийти ко мне, когда тебе захочется... договорились?

— Договорились.

Стояла зимняя, мягкая, сырая и темная ночь. Весь день шел дождь, и на мостовой остались широкие черные лужи, в которых отражался тусклый свет редких фонарей. Над городской стеной раскинулось спокойное безлунное и беззвездное небо, подернутое, как вуалью, туманом. Время от времени невидимые трамваи, проходившие там, за стеною, разбрызгивали вокруг проводов снопы искр, которые на мгновение освещали небо, полуразвалившиеся башни и склоны рва, поросшие травой. Когда мы очутились на улице, я вспомнила, что уже несколько месяцев не проходила мимо Луна-парка. Обычно я поворачивала направо и шла к площади, где меня ждал Джино. Я не ходила в сторону Луна-парка с тех пор, как гуляла там с мамой; мы поднимались с ней по широкой аллее вдоль стены, любовались иллюминацией и слушали музыку, но, так как у нас не было денег, мы никогда не заходили в парк. По другую сторону широкой аллеи стоял маленький особняк с башенкой, сквозь открытые окна которого я увидела тогда семью, сидевшую за столом; это и был тот самый особняк, который впервые пробудил во мне мечты о замужестве, о собственном доме и о спокойной жизни. Мне захотелось рассказать своему спутнику о тех временах, о своих тогдашних надеждах, и, признаюсь, руководило мною не только сентиментальное чувство, но и расчет. Мне не хотелось, чтобы он судил обо мне по первому впечатлению, пусть он увидит меня в другом, более выгодном свете, такой, какой я была на самом деле. Чтобы принять уважаемых гостей,

хозяева обычно надевают свои праздничные платья и открывают двери самых лучших комнат; в настоящее время таким праздничным нарядом и такой гостиной было мое прошлое, мои прежние мечты и стремления, и я рассчитывала, что эти мои воспоминания, пусть даже самые скудные и простые, заставят его переменить мнение обо мне и сблизят нас

— На эту улицу сейчас почти никто не ходит, — пояснила я,— правда, летом жители нашего квартала гуляют здесь... Я тоже ходила сюда гулять... давно уже... надо было встретиться именно с тобой, чтобы вернуться сюда.

Он держал меня под руку, помогая идти по мокрому тротуару.

— А с кем ты здесь гуляла? — спросил он.

— С мамой.

Он засмеялся каким-то неприятным смехом, что меня крайне поразило.

— Мама, — повторил он, отчеканивая слоги, — мама... у всех есть мама... мама... Что скажет мама? Что сделает мама?.. Мама, мама...

Я подумала, что он, видно, за что-то сердится на свою мать, и спросила:

— Твоя мать чем-нибудь обидела тебя?

— Ничем она меня не обидела, — ответил он, — матери никогда никого не обижают... у кого из нас не было матери?.. А ты любишь свою маму?

— Конечно, а почему ты спрашиваешь?

— Просто так, — сказал он, — не обращай на меня внимания... итак, ты гуляла здесь с мамой...

Голос его звучал не слишком ободряюще и не очень решительно, по я все-таки, отчасти из корысти, а отчасти из расположения к нему, решила продолжать разговор по душам.

— Да, мы гуляли здесь с мамой, главным образом летом, потому что летом в нашем доме буквально нечем дышать... да... посмотри, видишь вон ту виллу?

Он остановился и посмотрел в ту сторону. Окна виллы были, к сожалению, закрыты, казалось, что в ней никто теперь не живет. Маленькая вилла, зажатая с двух сторон длинными и низкими домами железнодорожных служащих, показалась мне довольно плохонькой и мрачной, она стала как будто даже меньше, чем раньше.

— Ну, что же было в этом домике?

Теперь я почти стыдилась того, что собиралась рассказать. Однако, сделав над собой усилие, я продолжала:

— Каждый вечер я проходила мимо этого домика, окна всегда были раскрыты, потому что было лето, я уже тебе говорила... и всегда в одно и то же время я видела семью, сидящую за столом...

Я остановилась и внезапно смутившись, замолчала.

— Ну, а дальше?

— Тебе, должно быть, неинтересно, — сказала я, и мне самой показалось, что из-за этого смущения слова мои звучат одновременно и искренне и фальшиво.

— Почему же, меня все интересует.

Я торопливо докончила:

— Ну так вот, я вбила себе в голову, что когда-нибудь у меня самой будет такой домик и я буду жить так же, как живут эти люди.

— А-а, понимаю, — сказал он, — такой домик... немного же тебе надо было.

— По сравнению с нашим домом, — возразила я, — этот особняк вовсе не плох... а кроме того, в таком возрасте всегда бог знает что выдумываешь.

Он потянул меня за руку прямо к особняку.

— Пойдем посмотрим, живет ли там эта семья.

— Да что с тобой? — сказала я упираясь. — Конечно, живет.

— Прекрасно, пойдем посмотрим.

Мы остановились у домика. В густом маленьком саду было совсем темно, в окнах дома и в башенке не горел свет. Мой спутник подошел к ворогам и сказал:

— Вот и ящик для писем... позвоним и увидим, есть ли там кто-нибудь... Однако похоже, что в твоем домике никто не живет.

— Да нет, — ответила я смеясь, — почему же... что это на тебя нашло?

— Попробуем. — Он поднял руку и нажал кнопку звонка.

Я хотела убежать, испугавшись, что кто-нибудь выйдет из дома.

— Давай уйдем, — просила я, — сейчас они выйдут, хороши же мы будем!

— Что скажет мама?.. — твердил он, как припев, а я в это время тянула его за рукав прочь от дома. — Что сделает мама?

— Ты все-таки сердишься на свою маму, — сказала я, прибавляя шаг.

И вот мы очутились возле Луна-парка. Я вспомнила, что, когда была здесь в последний раз, кругом толпилось множест-

во народу, сияли гирлянды разноцветных лампочек, стояли киоски с фонариками, беседки, украшенные цветами, звучала музыка, повсюду царило оживление. Я была немного разочарована, не увидев всего этого. Ограда Луна-парка, казалось, скрывала не место для развлечения, а темный и заброшенный склад строительных материалов. Над зубцами ограды возвышались дуги восьми «чертовых» колес с подвешенными вагончиками, похожими на пузатых жуков, которые, казалось, взлетев в воздух, внезапно застыли. Остроконечные крыши темных беседок съежились, нахохлились и заснули. Можно было подумать, что тут все умерло — так оно и было на самом деле, ведь стояла зима. Площадка перед Луна-парком была мокрая и пустая, один-единственный фонарь слабо освещал ее.

— Летом Луна-парк открыт, — сказала я, — здесь бывает много народу... но зимой он не работает. Куда ты хотел пойти?

— А в то кафе можно?

— По правде говоря, это простая остерия.

— Тогда пойдем в остерию.

Мы прошли через ворота и как раз напротив в нижнем этаже одного из домишек увидели стеклянную дверь, сквозь которую на улицу проникал свет. Как только мы оказались внутри, я сразу же вспомнила, что в этой самой остерии я когда-то ужинала с Джино и мамой и Джино тогда еще поставил на место одного пьяного нахала. За мраморными столиками сидели всего три-четыре человека, они ели, вынимая свои бутерброды из газет, и запивали хозяйским вином. Здесь было холоднее, чем на улице, в воздухе стоял запах сырости, вина и опилок, должно быть, кухонная печь уже погасла. Мы сели за столик в углу, и он заказал литр вина.

— А кто его будет пить? — спросила я.

— Ты разве не пьешь?

— Пью, но очень мало.

Он налил себе полный стакан вина и выпил его залпом, но, видимо, без всякого удовольствия, через силу. Я с самого начала заметила, а этот поступок еще раз подтвердил мои наблюдения, что он все время действует, словно повинуясь какой-то внешней стихии, словно играет какую-то роль, а сам остается безучастным. Мы помолчали, он смотрел на меня своим ясным, пристальным взглядом, а я огляделась по сторонам. Мне вспомнился тот далекий вечер, когда мы ужинали в этой остерии с мамой и Джино, и я не могла разобраться, что я сейчас испытываю — сожаление или грусть. Правда, тогда я была очень счастлива, но слишком наивна. И я подумала, что, должно

быть, точно такое состояние охватывает тебя, когда открываешь сундук, который долго оставался запертым, и вместо красивых вещей обнаруживаешь там только пыль да кучу изъеденного молью хлама. Все безвозвратно прошло: не только моя любовь к Джино, но ушла и моя юность с ее несбывшимися мечтами. И насколько это было уже далеко и чуждо мне, доказывал тот факт, что я сознательно и небескорыстно обращалась к своему прошлому, чтобы разжалобить моего спутника. Я снова заговорила:

— Сперва твой друг мне не понравился... но теперь он кажется мне симпатичным... он очень веселый.

Он резко возразил:

— Между прочим, он вовсе мне не друг... а потом, он не такой уж симпатичный.

Меня поразил его жесткий тон, и я нерешительно спросила:

— Ты так думаешь?

Он снова выпил и продолжал:

— Такие остроумные люди — настоящее бедствие... за всем этим остроумием обычно скрывается внутренняя пустота... посмотрела бы ты, каков он у себя в конторе... там он не шутит.

— А что у него за контора?

— Не знаю, кажется, нотариальная.

— Зарабатывает он много?

— Ужасно много.

— Счастливчик.

Он налил мне вина, а я спросила:

— А почему ты водишься с ним, если он тебе неприятен?

— Он мой друг детства, мы вместе учились в школе, а друзья детства всегда такие, — ответил он, усмехнувшись.

Он выпил еще вина и добавил:

— Однако в каком-то смысле он лучше меня.

— Чем же?

— Когда он что-либо делает, то делает это всерьез... а я же сперва хочу что-то сделать, а потом, — его голос внезапно поднялся до фальцета, так что я даже вздрогнула, — когда наступает момент, не делаю... например, сегодня вечером... Он мне позвонил и спросил, не хочу ли я, как говорится, сходить к женщинам... я согласился, и, когда мы вас встретили, я действительно хотел тебя... но, как только мы очутились у тебя дома, мое желание пропало...

— Желание пропало, — повторила я, глядя на него.

— Да... ты перестала быть для меня женщиной... а превра-

тилась в какой-то предмет, в какую-то вещь... ты помнишь, как я вывернул тебе палец и сделал тебе больно?

— Да.

— Словом... я сделал это для того, чтобы проверить: действительно ли ты живое существо... Так проверял, причиняя тебе боль.

— Да, я живое существо, — улыбнулась я, — и ты мне сделал очень больно.

Теперь я испытывала облегчение: значит, он отверг меня не потому, что я ему не нравилась. В конце концов, в людях нет ничего странного или необъяснимого. Стоит только постараться понять их, и видишь, что их поведение, каким бы странным оно ни казалось, всегда объясняется какой-либо вполне определенной причиной.

— Значит, я тебе не понравилась?

Он отрицательно покачал головой:

— Дело не в этом... ты или другая, все равно получилось бы то же самое.

После минутного колебания я спросила:

— Скажи-ка... а ты случайно не импотент?

— Да что ты!

Тут меня охватило острое желание близости с ним, мне хотелось переступить тот рубеж, что разделяет нас, хотелось любить его и быть любимой. Я хоть и сказала ему, что его отказ меня не обидел, однако все-таки оскорбилась, мое самолюбив было уязвлено. Я знала, что я красива и привлекательна, и мне казалось, что у него не было никаких особых причин отказываться от меня. Я предложила:

— Послушай... посидим здесь, а потом пойдем ко мне и будем любить друг друга.

— Нет, это невозможно.

— Выходит, я тебе сразу же не понравилась, когда ты увидел меня на улице.

— Нет... но постарайся понять меня...

Я знала, что есть вещи, перед которыми не может устоять ни один мужчина. Поэтому повторила с наигранной горечью и спокойствием:

— Выходит, я тебе не нравлюсь. — Я протянула руку и провела ладонью по его лицу.

Руки у меня красивые, теплые, с длинными пальцами, и если правду говорят, что по рукам можно судить о характере человека, то, значит, во мне нет ничего грубого в отличие от Джизеллы, у которой руки красные, шершавые и некрасивой фор-

мы. Я медленно гладила ладонью его щеку, висок, лоб, а сама не спускала с него настойчивого, ласкового и страстного взгляда. Я вспомнила, что Астарита во время нашей встречи в министерстве точно так же гладил меня, и я еще раз убедилась в том, что полюбила Джакомо, ведь в любви Астариты ко мне я не сомневалась, а этот жест был жестом влюбленного человека. Сначала юноша оставался холоден и равнодушен к моей ласке, но потом его подбородок начал дрожать, что было у него, как я впоследствии узнала, признаком волнения, лицо его исказилось и приняло почти детское выражение, мне стало его жалко, и я радовалась, что испытываю к нему жалость, она как-то приближала меня к нему.

— Что ты делаешь? — прошептал он застенчиво, как мальчишка, — мы ведь тут не одни.

— А мне наплевать, — спокойно ответила я.

Щеки мои горели, несмотря на холод в остерии, и я только теперь заметила, что изо рта у нас вырываются маленькие облачка пара.

— Дай мне руку, — сказала я.

Он нехотя разрешил мне взять его за руку, и я поднесла ее к своему лицу.

— Чувствуешь, как горят мои щеки?

Он ничего не ответил, только смотрел на меня, подбородок его дрожал. Кто-то вошел в остерию, сильно хлопнув застекленной дверью, и я отняла руку. Он облегченно вздохнул и налил себе еще вина. Но как только новый посетитель удалился, я опять протянула руку и засунула ее между бортами пиджака, расстегнула сорочку и прижала ладонь к его груди возле сердца.

— Хочу погреть руку и хочу послушать, как бьется твое сердце, — сказала я.

Сперва я прижала руку к его груди тыльной стороной, потом повернула ладонью.

— У тебя холодная рука, — сказал он, глядя на меня.

— Сейчас согреется, — ответила я улыбаясь.

Я медленно провела ладонью по его худой груди. Я испытывала огромную радость, потому что чувствовала, как он близок мне, меня переполняла любовь к нему, такая сильная любовь, какая может обойтись и без взаимности. Не спуская с него глаз, я сказала с шутливой угрозой:

— Мне кажется, еще немного, и я начну тебя целовать.

— Нет, нет, — ответил он, стараясь держаться шутливого тона, но, очевидно, испугавшись, — возьми себя в руки.

— Тогда уйдем отсюда.

— Уйдем, если хочешь.

Он расплатился за вино, которое не допил, и мы вышли из остерии. Теперь он тоже был взволнован, но не любовью, как я,— его, видимо, охватило какое-то непонятное возбуждение, вызванное событиями сегодняшнего вечера. Позднее, когда я лучше узнала его, я поняла, что подобное возбуждение охватывало его всякий раз, когда ему удавалось обнаружить в себе какую-то новую черту характера либо найти ей подтверждение. Объяснялось это тем, что он был эгоистом, то есть слишком любил себя или, вернее сказать, слишком был поглощен собой.

— Часто случается так, — говорил он будто про себя, а я почти бегом тащила его к дому,— на меня находит страстное желание сделать что-нибудь, меня охватывает восторг, все мне кажется прекрасным, я уверен, что непременно завершу задуманное, а наступит решительный момент, и все рушится, и я, если можно так выразиться, перестаю существовать... или, точнее говоря, существую лишь во всех моих дурных проявлениях... я становлюсь холодным, никчемным, жестоким... как тогда, когда я выворачивал тебе палец.

Он произнес этот монолог для себя самого, вероятно, не без некоторого горького удовольствия. Но я не слушала его, потому что меня переполняла радость, и я, словно на крыльях, перелетала через лужи. Я весело ответила:

— Но ты уже говорил это... а вот я тебе еще не сказала, что я испытываю... мне так хочется крепко обнять тебя, согреть своим телом, ощутить тебя рядом с собой и заставить делать то, чего ты не хочешь делать... я не успокоюсь до тех пор, пока не добьюсь своего.

Он ничего не ответил, видно, слова мои не достигли его слуха, так он был погружен в свои мысли. Внезапно я обхватила его рукой и сказала:

— Обними меня за талию, хочешь?

Он, казалось, ничего не слышал, тогда я взяла его руку, с трудом продела ее под свою, как надевают рукав пальто, и она вяло обвилась вокруг моей талии. Нам было трудно идти, так как мы оба были в тяжелой зимней одежде и руки наши едва дотягивались до середины спины.

Когда мы дошли до маленького особняка с башенкой, я остановилась и потребовала:

— Поцелуй меня.

— После.

— Нет, сейчас.

Он повернулся ко мне, и я крепко поцеловала его, обняв за шею обеими руками. Губы его были плотно сжаты, но я раздвинула языком сперва их, а потом зубы, которые неохотно поддались. Я не была уверена, что он ответил на мой поцелуй, но повторяю, мне это было безразлично. После того как мы поцеловались, я увидела вокруг его рта большое неправильной формы пятно от губной помады, которое делало странным и чуточку смешным это серьезное лицо. Я разразилась счастливым смехом. Он прошептал:

— Почему ты смеешься?

Я решила не объяснять ему ничего, мне было приятно смотреть, как он, такой серьезный, шагает рядом, ничего не подозревая, со смешным пятном на лице. Я ответила:

— Просто так... мне весело... не обращай на меня внимания. — И в порыве счастья снова быстро поцеловала его в губы.

Когда мы дошли до наших ворот, то увидели, что машины там нет.

— Джанкарло уже укатил, — заметил он раздраженно, — теперь придется топать домой пешком, а путь не ближний.

Я нисколько не обиделась на эти его не очень-то вежливые слова, ибо отныне уже ничто не могло меня обидеть. Его недостатки я видела совсем в особом свете, и они казались мне приятными, так происходит, когда влюбляешься. Пожав плечами, я воскликнула:

— Есть ведь и ночные трамваи... а кроме того, если хочешь, можешь остаться ночевать у меня.

— Нет, только не это, — торопливо отозвался он.

Мы вошли в дом и поднялись по лестнице. Когда мы очутились в коридоре, я подтолкнула его к своей комнате, а сама заглянула на минутку в мастерскую. Там было темно, только сквозь окно проникал свет уличного фонаря и освещал швейную машину и стул. Мама, должно быть, уже легла спать, и неизвестно, виделась ли она и разговаривала ли с Джанкарло и Джизеллой. Я закрыла дверь и прошла к себе. Он беспокойно шагал по комнате от кровати к комоду.

— Послушай, — начал он, — будет лучше, если я уйду.

Сделав вид, что не слышу его слов, я сняла пальто и повесила в шкаф. Я чувствовала себя такой счастливой, что не удержалась и спросила с законной гордостью хозяйки:

— Как тебе нравится моя комната? Правда уютная?

Он огляделся вокруг и скорчил гримасу, смысла которой я не поняла. Я взяла его за руку, усадила перед собой на кровать и сказала:

— Теперь предоставь все мне.

Он посмотрел на меня: воротник его пальто был по-прежнему поднят, руки — в карманах. Я осторожно и ловко стянула с него пальто, потом сняла пиджак и повесила все вместе на вешалку. Не спеша я развязала галстук, сняла с него сорочку и разложила вещи на стуле. Потом я опустилась на корточки и, зажав его ступню между колен, как это делают заправские сапожники, стащила с него ботинки, носки и поцеловала его ноги. Поначалу все это я проделывала не торопясь, по порядку, но постепенно, по мере того, как я снимала с него одежду, во мне поднималась неистовая, самоуничижительная страсть. Пожалуй, подобное чувство охватывало меня в церкви, но впервые я испытывала такое к мужчине, и я была счастлива, ибо понимала: пришла настоящая любовь, далекая от похоти и порока. Раздев его, я опустилась на колени у его ног и, закрыв глаза, крепко прижалась к нему щекой и волосами. Он полностью подчинился моей воле, и лицо его стало растерянным, мне это было приятно. Потом я вскочила, зашла за спинку кровати, быстро разделась, сбрасывая одежду прямо на пол и топча ее ногами. Он сидел на краю постели, озябший, опустив голову. Я подошла к нему сзади и, повинуясь какой-то радостной и жестокой силе, схватила его за плечи и опрокинула головой на подушки. Тело у него было длинное, худое и белое; тела так же, как и лица, имеют свое собственное выражение, его тело выражало целомудрие и юность. Я легла возле него, и мое тело рядом с ним, таким хрупким и холодным, казалось слишком горячим, смуглым, крупным и сильным. Я плотно прижалась животом к его костлявым бедрам, закинула руки ему на грудь, приникла щекой к его голове, прижалась губами к его уху. Мне казалось, что я не столько жажду любви, сколько хочу прикрыть его своим телом, как теплым покровом, и передать ему весь свой жар. Он лежал на спине, но голова, покоящаяся на подушке, была несколько приподнята, глаза открыты, будто он хотел видеть все, что я буду делать. От этого внимательного взгляда у меня по спине пробегали мурашки, я испытывала какую-то неловкость и смущение, однако, побуждаемая своим желанием, я постепенно перестала обращать на это внимание. Внезапно я спросила его шепотом:

— Теперь тебе не лучше?

— Лучше, — ответил он безразличным и глухим голосом.

— Погоди, — сказала я.

И когда я с еще большей страстью пыталась обнять его, я опять встретилась с его пристальным холодным взглядом, кото-

рый был для меня, как ушат ледяной воды. И в эту минуту меня охватил стыд и смущение. Мой пыл угас, я медленно разжала объятия и упала навзничь рядом с ним. Я пережила величайший любовный подъем, вложила в него весь порыв самой чистой и глубокой страсти; от внезапного сознания всей тщетности моих усилий я заплакала, прикрыв глаза руками, чтобы скрыть от него свои слезы. Очевидно, я ошиблась, я не могла любить его и ждать от него любви, я понимала, что теперь он меня видел такой, какая я есть, и судит обо мне без всяких иллюзий. Только сейчас я осознала, что живу словно бы в тумане, которым нарочно окружила себя, лишь бы не заглядывать себе в душу. А он этими взглядами рассеял туман и как бы поставил передо мною зеркало, в котором я могла увидеть себя. И я увидела себя такой, какой была на самом деле или, вернее, какой, очевидно, казалась ему, потому что сама о себе я ничего не знала и ни о чем не задумывалась, более того, старалась, как я уже говорила, уверить себя в том, что я существую. Наконец я проговорила:

— Уходи.

— Почему? — спросил он, приподымаясь на локте и беспокойно глядя на меня. — Что случилось?

— Тебе лучше уйти, — спокойно сказала я, прикрывая рукой глаза, — не думай, что я на тебя сержусь... но я вижу, что ты ровно ничего не испытываешь ко мне, поэтому... — Я не договорила и покачала головой.

Он ничего не ответил, но я услышала, как он поднялся и начал одеваться. Тут меня пронзила такая резкая боль, как будто в меня со всей силы воткнули острый тонкий клинок, а потом еще и повернули его. Я страдала, слыша, как он одевается, страдала от мысли, что через минуту он уйдет навсегда и я никогда его не увижу, страдала от того, что все это причиняет мне такое горе.

Одевался он медленно, вероятно ожидая, что я его окликну. Помню, что я еще надеялась задержать его, вызвав в нем желание. Я лежала на спине, прикрывшись простыней. Кокетливым жестом, все отчаяние и тщетность которого я сама сознавала, я пошевелила ногой, и простыня соскользнула на пол. Никогда еще я не представала ни перед чьим взором в такой позе: нагая, раскинув ноги и прикрыв лицо руками; в какой-то миг я почти физически ощутила на своих плечах прикосновение его рук и почувствовала на своих губах его дыхание. Но тотчас же я услышала, как захлопнулась дверь.

Я так и осталась лежать неподвижно. Незаметно отчаяние

сменилось забытьем, и я заснула. Поздно ночью я проснулась и только тут поняла, что я одна. Во время этого короткого сна, несмотря на горечь разлуки, у меня оставалось ощущение, что он где-то здесь. Не помню, как я заснула снова.

ГЛАВА ВТОРАЯ

На другой день я, к своему удивлению, почувствовала себя слабой, грустной и вялой, словно проболела целый месяц. А ведь характер у меня жизнерадостный, и жизнерадостность эта идет от избытка здоровья и бодрости; я всегда с такой легкостью переносила всякие беды и неудачи, что иной раз просто даже досадовала на себя за то, что веселюсь в самых, казалось бы, неподходящих ситуациях. Каждый день, как только я поднималась с постели, мне первым делом хотелось запеть или пошутить с мамой. Но в то утро моя обычная жизнерадостность покинула меня, я чувствовала себя несчастной, на душе у меня было тяжко, пробило уже двенадцать часов, а мой здоровый аппетит не давал о себе знать. Мама заметила мое необычное настроение, но я ей сказала, что просто плохо спала.

Так оно и было в самом деле; только истинной причиной этому я считала ту глубокую душевную травму, которую нанес мне Джакомо, когда отверг меня. Я говорила, что уже с некоторых пор стала спокойно смотреть на свое ремесло: в душе я считала, что нет никаких оснований бросать его. Но я еще надеялась полюбить кого-нибудь и быть любимой, а вот Джакомо оттолкнул меня, и вопреки всем его путаным объяснениям мне казалось, что всему виной моя профессия, которая стала мне поэтому сразу ненавистной и невыносимо мерзкой.

Самолюбие — это загадочный зверь, который спокойно спит даже под градом самых страшных ударов и вдруг просыпается, раненный насмерть пустяковой царапиной. Больше всего меня мучили, наполняли горечью и стыдом слова, которые я произнесла, вешая свое пальто в шкаф. Я спросила у него: «Как тебе нравится моя комната? Правда уютная?»

Я вспомнила, что он ничего не ответил, а только огляделся вокруг, тогда я не поняла, что выражало его лицо. Теперь я знала, это была гримаса отвращения. Он, конечно, подумал: «Комната обыкновенной уличной девки». И, вспоминая это, я сгорала со стыда, особенно потому, что произнесла свою фразу тоном неприкрытого самодовольства. А ведь я могла бы и сообразить, что ему, человеку благовоспитанному и впечатлительному, моя комната показалась просто грязным вертепом, вдвой-

не отвратительной из-за этой жалкой обстановки, которая служила известным целям.

Дорого я бы дала, чтобы эти нелепые слова никогда не срывались с моих губ, но ничего не поделаешь, я уже произнесла их. Я будто попала в заколдованный круг, из которого уже никак не могла вырваться. Более того, в этой фразе была я вся, такая, какой стала по собственной воле и какой останусь на всю жизнь. Забыть эти слова или постараться убедить себя, что я их не произносила, все равно что забыть самое себя, убедить себя, что я не существую.

Эти мысли отравляли меня, подобно медленно действующему яду, постепенно проникавшему в мою здоровую кровь. Обычно по утрам, как бы долго я ни нежилась в постели, мне рано или поздно надоедало валяться, мое тело вопреки моей воле скидывало с себя покровы, и я вскакивала с кровати. Но в тот день все было иначе: прошло утро, настал час завтрака, а я, как ни заставляла себя подняться, не могла двинуться с места. Мне казалось, что мое безжизненное тело связано, оцепенело, стало слабым и немощным, а вместе с тем я чувствовала себя больной и разбитой, будто эта неподвижность давалась мне с огромным и отчаянным трудом. Мне казалось, что я похожа на старую заброшенную полусгнившую лодку, какие иногда встречаются в заболоченных бухтах. Брюхо такой лодки полно черной застоявшейся воды, и стоит человеку забраться в нее, как истлевшее днище тотчас же провалится, и лодка, спокойно стоявшая здесь годами, мгновенно пойдет ко дну. Не знаю, сколько времени пролежала я так, глядя в пустоту, с головой завернувшись в одеяло. Я слышала, как колокола прозвонили полдень, потом пробило час, два, три, четыре. Я заперлась на ключ: время от времени озабоченная мама подходила и стучалась. Я отвечала, что скоро встану, просила ее оставить меня в покое.

Когда солнце начало садиться, я собралась с духом и, сделав над собой, как мне показалось, поистине нечеловеческое усилие, сбросила одеяло и поднялась с постели.

Все мое тело было словно налито ленью и отвращением. Я умылась, оделась, я не ходила, а еле-еле двигалась по комнате. Я ни о чем не думала, но понимала не рассудком, а всем своим существом, что, по крайней мере нынче, не смогу принимать обычных своих гостей. Я оделась, вышла к маме и сказала, что сегодняшний вечер мы проведем вместе. Пойдем прогуляемся по улицам, а потом где-нибудь в кафе выпьем аперитив.

Радость мамы, не привыкшей к таким прогулкам, почему-то

раздражала меня; и я снова подумала, что мамины щеки стали пухлыми и отвисшими, а в заплывших глазах светилась какая-то неуверенность и фальшь. Но я подавила в себе искушение сказать ей грубость, которая сразу рассеяла бы ее веселое настроение. Ожидая, пока мама оденется, я уселась за стол в полутемной мастерской. Молочный свет уличного фонаря, проникая сквозь незанавешенные окна, освещал швейную машину и вползал на степу. Я оглядела стол и увидела яркие игральные карты: мама проводила за пасьянсом долгие скучные вечера. И внезапно меня охватило странное чувство: я представила себя на месте мамы, почувствовала душой и телом, как она ждет свою дочь Адриану, пока та занята с очередным любовником. Вероятно, ощущение это возникло оттого, что я сидела на мамином стуле, за ее столом, смотрела на разбросанные карты. Иногда определенные места способствуют таким перевоплощениям. Так, например, человек, придя в тюрьму, испытывает тот же ужас, то же отчаяние, то же чувство одиночества, которые пережил заключенный, томившийся здесь когда-то. Но наша мастерская отнюдь не была тюрьмой, и мама вовсе не испытывала тех страшных мук, которые я так бездумно ей приписывала. Она лишь продолжала жить, как и раньше жила. Но вероятно, оттого, что несколько минут назад я почувствовала к ней неприязнь, я прониклась вдруг ее пониманием жизни, и этого оказалось достаточно, чтобы перевоплотиться. Обычно добрые души, желая оправдать предосудительные поступки, говорят в таких случаях: «А ты сам побывал бы в его шкуре». Ну, так вот и я на какой-то миг почувствовала себя на месте мамы настолько явственно, что вообразила, будто я и есть мама.

Я превратилась в маму, но полностью отдавала себе в этом отчет, чего, конечно, не происходило с ней. Иначе она как-нибудь проявила бы свой протест. Внезапно я почувствовала себя постаревшей, сморщенной, усталой и поняла, чт*о* значит старость, которая не только меняет внешность человека, но превращает его в слабое и никчемное существо. Как выглядела мама? Иногда я видела, как она раздевается. Я не обращала внимания на ее дряблую, потемневшую грудь, на ее желтый. трясущийся живот. Эту грудь, которая вскормила меня, этот живот, в котором зародилась моя жизнь, — теперь все это я ощутила физически, и мне казалось, что я испытываю ту же боль и раскаяние, которые должна испытывать мама при виде своего изменившегося тела. Красота и молодость делают жизнь сносной, даже легкой. Но когда они уходят... Я вздрогнула от ужаса и, очнувшись от этого кошмара, порадовалась, что я

Адриана, красивая и молодая, а не мама, которая постарела и подурнела и уже никогда не будет такой, как я.

И в это же самое время постепенно, подобно тому, как вновь начинает работать заглохший мотор, в моем сознании стали роиться мысли, которые, должно быть, осаждали маму, пока она сидела здесь в одиночестве, дожидаясь меня. Конечно, нетрудно догадаться, о чем может думать в подобной обстановке такая женщина, как мама; у большинства людей эти мысли могут вызвать только осуждение и презрение, ведь обычно человек не столько старается поставить себя на место другого, сколько ищет повод для упреков. Но я любила маму и именно поэтому, представляя себя на ее месте, я знала, что в такие минуты она вовсе не тревожилась обо мне, не боялась за меня и не испытывала стыда, одним словом, мысли ее никак не были связаны с тем, чем в это время я занималась. Я знала, что мысли ее крутятся вокруг всяких пустяков, которые обычно приходят в голову старым, бедным и темным женщинам, они за всю свою жизнь ни разу не смогли сосредоточиться хотя бы в течение двух дней на одном и том же, не столкнувшись с опровержением своих мыслей. Глубоким мыслям и сильным чувствам, даже самым неприятным и отрицательным, необходимо время и забота, подобно нежным растениям, которым нужен длительный срок, чтобы прижиться и пустить корни. А в мамином уме и сердце созревали лишь незначительные мысли: досада да повседневные заботы, похожие на сорную траву. Так, я в своей комнате продавалась за деньги, а мама в мастерской, раскладывая пасьянс, продолжала думать о привычных мелочах, если так можно назвать то, чем жила она много лет, начиная с детства и кончая сегодняшним днем: о ценах на продукты, о сплетнях соседей, о домашних делах, о болезнях, которые, не дай бог, привяжутся к нам, о работе, что ей предстоит сделать, и о других подобных пустяках. И быть может, время от времени она прислушивалась к колокольному звону, доносящемуся из соседней церкви, и думала: «Что-то Адриана задерживается дольше обычного». Или, слыша, как я открываю дверь в прихожую и разговариваю, она шептала: «Вот Адриана уже освободилась». А о чем еще могла она думать? Теперь, проникнув в ход маминых мыслей, я слилась с ней душой и телом, и именно оттого, что я знала ее всю без прикрас, мне начало казаться, что я снова люблю ее, и даже больше, чем прежде.

Скрип двери оторвал меня от моих размышлений. Мама зажгла свет и спросила:

— Что же ты сидишь в темноте?

А я, ослепленная светом, встала и молча посмотрела на нее. Она оделась во все новое, я сразу заметила это. Она была без шляпы, потому что никогда не носила их. На ней было платье из черной материи с выработкой, в руке она держала черную кожаную сумку с позолоченным металлическим замком, на плечи накинула меховую горжетку. Мама смочила свои седые волосы, тщательно зачесала их и собрала на макушке в тугой, маленький пучок, весь утыканный шпильками. Она даже слегка подрумянила свои когда-то худые, ввалившиеся, а теперь округлые щеки. Я невольно улыбнулась ее нарядному и торжественному виду и, подойдя к ней, сказала, как всегда, ласково!

— Пойдем.

Я знала, что мама любит медленно прогуливаться в час пик по центральным улицам, где находятся лучшие магазины. Поэтому мы сели в трамвай и сошли в самом начале улицы Национале. Когда я была маленькой, мама часто гуляла со мною по этой улице. Мы начинали свой путь от площади Эзедры, медленно шли по правой стороне улицы, внимательно разглядывая одну за другой витрины магазинов, и так доходили до площади Венеции. Тут мы переходили на противоположный тротуар, и мама, ведя меня за руку, все так же внимательно разглядывала товары в магазинах и возвращалась на площадь Эзедры. Потом, так ничего и не купив и не осмелившись даже переступить порог одного из многочисленных кафе, она приводила меня домой, усталую и сонную. Помню, что эти прогулки не нравились мне, потому что я не в пример маме, которая, видимо, довольствовалась платоническим созерцанием, мечтала войти в магазины, купить и принести домой что-нибудь из этих красивых вещей, выставленных в ярком свете за сверкающим стеклом. Но я очень рано поняла, что мы бедны, и поэтому не выказывала своих чувств. Только раз, не помню уже, по какому поводу, я устроила самый настоящий скандал. Чуть ли не полдороги мама тянула меня за руку, а я упиралась что было сил, кричала и плакала. Наконец мама потеряла терпение, и вместо желанного подарка я получила пару звонких оплеух и от боли тут же забыла о своем неутешном горе.

И вот я снова возле площади Эзедры под руку с мамой, будто все то, что я рассказала, произошло всего лишь вчера. Вот плиты тротуара, их топчут ноги в маленьких туфельках, огромных башмаках, штиблетах, на каблуках и без каблуков, сапоги и сандалии: посмотреть вниз, так просто в глазах зарябит. Вот прохожие: эти движутся в одну сторону, те — в другую, идут парами, гурьбой или поодиночке, женщины, мужчины, дети,

один медленно прохаживаются, другие спешат, и все похожи друг на друга, наверно, именно потому, что хотят выделиться, — те же костюмы, те же шляпы, те же лица, глаза, губы. Вот и магазины: меховые, обувные, писчебумажные, ювелирные, часовые, книжные, цветочные, вот магазины тканей, игрушек, хозяйственных товаров, магазины модной одежды, магазины чулок и перчаток, кафе, кинотеатры, банки. Вот освещенные окна зданий, и видно, как люди внутри снуют взад и вперед по комнатам или усердно трудятся, сидя за столами. Вот светящиеся рекламы, всегда одни и те же. На каждом углу стоят продавцы газет, торговки жареными каштанами, толпятся безработные, которые предлагают прохожим карту Армении или резиновые колечки для зонтиков. Тут и нищие: в самом начале улицы, прислонившись к стене, стоит слепой, на нем черные очки, в руках шапка, немного подальше сидит женщина, почти старуха, она прижимает к своей дряблой груди младенца, а еще дальше примостился убогий, вместо руки у него культя, желтая и блестящая, как коленка. Очутившись вновь на этой улице, среди столь знакомых предметов, я вдруг загрустила, оттого что все здесь раз и навсегда застыло, все неизменно, и я невольно содрогнулась, словно меня раздели донага: по моему телу пробежал леденящий ужас. Из кафе доносились звуки радио, громко пел страстный женский голос. В тот год шла война в Эфиопии, и женщина пела «Черное личико».

Мама не замечала моего настроения, впрочем, я его тщательно скрывала. Как я уже не раз говорила, с виду я добродушна, кротка, спокойна, и поэтому трудно догадаться, что в самом деле у меня на уме. Но я все же растрогалась (женщина запела какую-то душещипательную песенку), губы мои задрожали, и я спросила маму:

— Помнишь, как ты водила меня на эту улицу смотреть витрины магазинов?

— Да, — ответила она, — но тогда все было дешевле... Например, вот эту сумку ты могла бы купить всего за тридцать лир. — Мы отошли от галантерейного магазина и приблизились к ювелирному. Мама остановилась посмотреть драгоценности и восторженно проговорила: — Гляди, какое кольцо... Бог знает, сколько оно стоит... а вон золотой браслет... я не очень люблю кольца и браслеты... а вот ожерелья просто обожаю... У меня было когда-то коралловое ожерелье... но потом пришлось его продать.

— А когда это было?

— О, много лет назад.

Не знаю почему, но я вдруг подумала, что, несмотря на свой заработок, я до сих пор не могу купить себе даже самое простенькое колечко. И я сказала:

— Знаешь, мама... я решила, что теперь не буду никого приводить домой... кончено.

Впервые я так ясно говорила маме о своем занятии. Она посмотрела на меня с таким выражением лица, которое я в ту минуту не поняла, и ответила:

— Я ведь тебе говорила не раз... делай так, как тебе нравится... если ты счастлива, то и я счастлива.

Однако она не была похожа на счастливого человека. Я продолжала:

— Снова начну прежнюю жизнь... А тебе придется опять кроить и шить сорочки.

— Шила же я столько лет... — ответила она.

— У нас не будет больше таких денег, как сейчас, — жестко сказала я, — в последнее время мы с тобой немного избаловались... А я подумаю, чем мне заняться.

— Чем же ты займешься? — с надеждой спросила мама.

— Не знаю, — ответила я, — либо снова стану натурщицей, либо буду тебе помогать в работе.

— Ну какая от тебя помощь? — уныло проговорила она.

— А может быть, — продолжала я, — пойду в прислуги... что же делать?

Мамино лицо стало вдруг горестным и печальным, даже осунулось, и с него слетело беззаботное выражение, как слетают с деревьев засохшие листья от первых осенних холодов. Однако она уверенным тоном произнесла:

— Поступай как знаешь... я же тебе сказала, лишь бы ты была счастлива.

Я понимала, что в ней борются два противоположных чувства: любовь ко мне и тяга к спокойной жизни. Мне стало ее жаль, хотя я предпочитала, чтобы она выбрала что-то одно: либо любовь, либо расчет. Но такое случается редко, и мы живем тем, что сводим на нет наши добродетели своими же собственными пороками.

— Моя прежняя жизнь мне не нравилась, не нравится и нынешняя... я понимаю только одно, что таким способом ничего путного не добьюсь, — сказала я.

После этих слов мы замолчали. Мамино лицо поблекло и приобрело землистый оттенок, даже казалось, что сквозь румянец снова проступает прежняя худоба. Она смотрела на витрины все так же внимательно, все так же подолгу останавлива-

лась возле них, но прежняя ее радость и любопытство погасли, все это она продолжала делать механически, думая о чем-то своем. Возможно, она глядела на эти витрины, но ничего не замечала или, вернее, уже не замечала разложенных там товаров, а видела перед собой швейную машину с неустанно раскачивающимся ножным приводом, иголку, бешено снующую вверх-вниз, наполовину сшитые, разбросанные по столу сорочки, черную тряпку, в которую заворачивают готовые вещи и разносят клиентам по городу. Что до меня, то видения эти не заслоняли от моего взора витрин магазинов. Я все прекрасно видела и рассуждала вполне трезво. Я различала за стеклом предметы с ценниками и твердила про себя, что если даже я не хочу — как оно и было на самом деле — заниматься своим ремеслом, то все равно ничего другого я делать не умею. Большую часть этих выставленных в витринах предметов я теперь, пожалуй, могла бы купить, но если я снова стану натурщицей или займусь чем-нибудь еще, то мне придется раз и навсегда отказаться от всего этого, и тогда для меня и мамы снова начнется прежняя трудная, нищенская жизнь, полная лишений, ненужных жертв и бессмысленной экономии. Сейчас я еще могла надеяться, что найдется человек, который захочет подарить мне дорогую безделушку. Но если я вернусь к старой жизни, драгоценности станут для меня столь же недоступны и недосягаемы, как звезды на небе. Меня охватило отвращение к моему прежнему существованию, и оно показалось мне глупым, тяжелым и безнадежным, и вместе с тем я ощутила всю нелепость случая, под влиянием которого я собиралась переменить жизнь. И только из-за того, что какой-то студент, которым я увлеклась, не захотел меня знать. Только из-за того, что я вбила себе в голову, будто он презирает меня. Ведь именно поэтому я и захотела стать другой. Все это гордость, думала я, но из этой глупой гордости я не имею права вновь ставить себя, а особенно маму в прежние жалкие условия. Внезапно я представила себе Джакомо, его жизнь, которая ненадолго приблизилась и сплелась с моею жизнью, а потом пошла своим путем, а я продолжала идти той дорогой, на которую вступила раньше. «Если я встречу человека, пусть даже бедного, который полюбит меня и женится на мне, тогда другое дело, — думала я, — но стоит ли из-за простого каприза ломать себе жизнь». И от этой мысли на душе у меня стало легко и спокойно. Впоследствии я всякий раз испытывала чувство облегчения и покоя, не только преодолевая трудности, которые ставила передо мною судьба, но и идя им навстречу. Какая я была, такой и должна оставаться, и не

иначе. Я могла быть, пусть это кажется странным, либо хорошей женой, либо продажной женщиной, но только не нищей, которая выбивается из сил и терпит нужду с одной-единственной целью — не поступиться собственной гордыней. И, примирившись наконец сама с собой, я улыбнулась.

Мы очутились возле магазина шерстяных и шелковых дамских изделий, и мама сказала:

— Посмотри, какой красивый платок, вот бы мне такой.

Спокойная и повеселевшая, я подняла глаза и увидела платок, который так понравился маме. Он и впрямь был хорош: с рисунком из черно-белых птиц и веточек. Двери магазина были распахнуты, и с улицы виднелся прилавок, на нем стоял ящик с отделениями, где лежало множество разбросанных в беспорядке платков. Я спросила у мамы:

— Тебе нравится этот платок?

— Да, а что?

— Сейчас ты его получишь... но сперва дай мне твою сумку, а мою возьми себе.

Она ничего не понимала и смотрела на меня, раскрыв от изумления рот. Не говоря ни слова, я взяла ее большую кожаную черную сумку, а ей сунула в руки свою, которая была намного меньше. Раскрыв замок сумки и придерживая его пальцами, я медленно вошла в магазин, делая вид, что собираюсь что-либо купить. Мама, ничего не понимая, но и не осмеливаясь приставать ко мне с вопросами, вошла за мною следом.

— Нам бы хотелось выбрать платок, — сказала я продавщице, подходя к ящику с отделениями.

— Вот шелковые платки... это кашемировые... это шерстяные... а это хлопчатобумажные, — сказала продавщица, раскладывая передо мною товар.

Я встала рядом с прилавком, держа сумку чуть ниже талии, и одной рукой принялась перебирать платки, разворачивала их, разглядывала на свет, сравнивала рисунок и цвета. Таких платков с белыми и черными узорами была по меньшей мере целая дюжина. Я с умыслом подтянула один платок к краю ящика, и конец его свесился с прилавка. Потом я обратилась к продавщице:

— Откровенно говоря, мне хотелось бы что-нибудь поярче.

— У нас есть товар высшего качества, — отозвалась продавщица, — но он дороже.

— Покажите мне, пожалуйста.

Продавщица отвернулась и стала вытаскивать из шкафа коробку. Я быстро отодвинулась от прилавка и открыла сумку.

Потянуть платок за кончик и вновь прижаться всем телом к прилавку было секундным делом.

Продавщица тем временем вытащила картонку из шкафа, поставила ее на прилавок и показала мне платки еще большего размера и еще более красивые. Я долго и спокойно разглядывала их, делая замечания по поводу цвета и рисунка, затем показывала их маме, а мама, которая все видела и была ни жива ни мертва, только молча кивала головой.

— Сколько стоит? — наконец спросила я.

Продавщица назвала цену. Я с сожалением в голосе ответила:

— Вы правы, они слишком дороги, по крайней мере для меня... во всяком случае, большое вам спасибо.

Мы вышли из магазина, и я быстро направилась в ближайшую церковь, я боялась, что продавщица может заметить пропажу и побежит за нами. Мама взяла меня под руку и растерянно и опасливо озиралась по сторонам, так смотрит пьяный человек, который не совсем уверен в том, что вокруг него все трезвые, поскольку рядом все качаются и толкаются. Я едва сдерживалась, чтобы не расхохотаться: уж очень у мамы был забавный вид. Я сама не знала, зачем украла платок, в конце концов, это не имело значения, так как я уже один раз воровала — в доме хозяев Джино я взяла пудреницу, — а в таком деле важен первый шаг. Теперь я испытала то же самое чувственное удовольствие, как и в прошлый раз. Мне показалось, что я могу понять тех людей, которые воруют. Через несколько минут мы очутились возле церкви, и я спросила маму:

— Хочешь, зайдем на минутку в церковь?

Она покорно ответила:

— Как знаешь.

Мы вошли в маленькую белую церковь, она была круглой формы, и колонны, идущие вдоль стен, делали ее похожей на танцевальный зал. Здесь стояли два ряда скамей, и на их отполированные сиденья из окошек купола струился бледный свет. Я подняла глаза и увидела, что купол весь расписан фресками, там парили ангелы с распростертыми крыльями. И я сразу почувствовала себя уверенно, ведь эти прекрасные и всемогущие ангелы непременно защитят меня, и продавщица заметит пропажу только вечером. Торжественная тишина, запах ладана, полумрак, царившие в церкви, подействовали на меня умиротворяюще после уличной суматохи и слишком яркого света. Когда я торопливо входила в церковь, то почти насильно втолкнула туда маму, сама-то я быстро успокоилась, и страх мой про-

шел. Мама что-то искала в моей сумке, которую до сих пор держала в руках. Я протянула маме ее сумку и шепнула:

— Надень платок.

Она раскрыла сумку и повязала голову украденным платком. Мы окунули пальцы в чашу со святой водой и заняли место в первом ряду перед главным алтарем.

Я опустилась на колени, а мама продолжала сидеть, сложив руки на животе, лицо ее было затенено большим платком. Я понимала, что она взволнована, и невольно сравнивала свое спокойствие со смятением, охватившим ее. На меня нашло безмятежное и кроткое состояние духа, и, хотя я понимала, что совершила поступок, осуждаемый религией, я не чувствовала угрызений совести и теперь была ближе к богу, чем тогда, когда не совершала ничего предосудительного и работала день и ночь, едва сводя концы с концами. Я вспомнила, как содрогнулась, увидев эту многолюдную улицу, и утешилась при мысли, что бог, который видит меня насквозь, не найдет в моей душе ничего плохого — меня оправдывало уже то, что я живу на свете, впрочем, это снимало вину вообще со всех людей. Я знала, что бог там, на небе, не для того, чтобы судить и наказывать меня, а для того, чтобы оправдать мое существование, которое не может быть дурным, поскольку целиком зависит от его воли. И, машинально твердя слова молитвы, я смотрела на алтарь, где за язычками пламени свечей смутно виднелась темная икона. На иконе, как мне показалось, была изображена Мадонна, и я понимала, что Мадонна не станет вникать в такой пустяк, как мое поведение в том или ином случае, важнее другое: могу я надеяться, что она благословит меня на жизнь, или нет. И вдруг мне показалось, что темная икона, отгороженная от нас огненным заслоном горящих свечей, посылает мне благословение, я поняла это, почувствовав необычайное тепло, внезапно охватившее все мое существо. Итак, я получила это благословение, хотя ничего не понимала в жизни, не знала, зачем живут люди.

Мама сидела поодаль печальная и задумчивая, новый платок она низко надвинула на лоб, и я, оглядываясь назад, не могла сдержать ласковой улыбки.

— Помолись... тебе будет легче, — прошептала я.

Мама вздрогнула и после минутного колебания как бы через силу опустилась на колени, скрестив руки на груди. Я знала, что она перестала верить в бога, религия в ее глазах была своего рода ложным утешением и служила единственной цели: заставить ее быть кроткой и забыть все тяготы жизни. И тем не

менее она механически зашевелила губами, и при виде ее недоверчивого и мрачного лица я снова улыбнулась. Мне так хотелось утешить ее, сказать, что я передумала, пусть она не боится, ей не придется снова браться за прежнюю работу. В мамином дурном настроении было что-то детское, она была похожа на ребенка, которому отказывают в обещанных лакомствах, и именно эта черта определяла ее отношение ко мне. Не будь этой черты, можно было бы подумать, что мама собирается использовать мое ремесло в своих корыстных целях, но я знала, что это не так.

Кончив молитву, мама перекрестилась, но так нехотя я вяло, будто хотела показать, что делает все это только ради меня; я встала и знаком предложила ей выйти. На пороге церкви она сняла платок, аккуратно сложила его и убрала в сумку. Мы вернулись на улицу Национале, и я направилась к кондитерской.

— Давай выпьем немного вермута, — предложила я.

Мама тотчас же возразила:

— Нет, нет... зачем... это вовсе не обязательно.

Но слова эти она произносила одновременно довольным и робким голосом. Она всегда вела себя так: сказывалась старая привычка — боязнь тратить лишние деньги.

— Подумаешь, важность! Рюмка вермута! — сказала я.

Мама молча вошла за мной в кондитерскую.

Это было старое кафе со стойкой и с панелями из красного полированного дерева, широкие витрины были заставлены красивыми коробками со сладостями. Мы сели в углу, и я заказала две порции вермута. Мама оробела при виде официанта и сидела неподвижно, смущенно опустив глаза. Когда официант принес вермут, мама взяла рюмку, пригубила вино, поставила рюмку снова на стол и серьезно сказала, глядя на меня:

— Как вкусно.

— Это же вермут, — пояснила я.

Официант принес стеклянную вазу с пирожными. Я пододвинула ее маме и сказала:

— Возьми пирожное.

— Нет, нет, ради бога...

— Да возьми же.

— Я испорчу себе аппетит.

— Ну одним-то пирожным не испортишь. — Я заглянула в вазу, выбрала слойку с кремом и протянула маме: — Съешь вот это... оно не повредит.

Мама взяла пирожное и, осторожно откусывая маленькие кусочки, то и дело с сожалением поглядывала на него.

— До чего же вкусно, — наконец сказала она.

— Возьми еще одно, — предложила я.

На этот раз мама не заставила себя просить и взяла второе пирожное. Выпив вермут, мы сидели молча и смотрели на оживленно снующих посетителей кондитерской. Я понимала, как приятно маме сидеть здесь, в этом уголке, после рюмки вермута и двух пирожных, она с любопытством следила за посетителями, и у нее даже слов не находилось. Вероятно, она впервые попала в такое кафе и от новизны впечатлений не могла ни о чем думать.

В кондитерскую вошла молодая дама, ведя за руку девочку, одетую в коротенькое пальтишко с белым пушистым меховым воротничком, в белых чулках и перчатках. Мать выбрала на витрине стойки пирожное и подала девочке. Я сказала маме:

— Когда я была маленькой, ты меня ни разу не водила в кондитерскую.

— Да разве я могла? — ответила она.

— Зато теперь я привела тебя сюда, — спокойно заключила я.

Мама помолчала, а потом печально произнесла:

— Вот ты упрекаешь меня, что я пришла сюда... А я ведь не хотела идти.

Я накрыла ее руку своей ладонью и сказала:

— Вовсе я тебя не упрекаю... Я очень рада, что привела тебя сюда... а бабушка никогда не водила тебя в кондитерскую?

Она покачала головой и ответила:

— До восемнадцати лет я не ходила дальше нашего квартала.

— Теперь ты сама видишь, — сказала я, — что в каждой семье обязательно должен быть человек, который рано или поздно выбирает себе иное занятие, чем все... ни ты, ни твоя мать, ни, наверно, твоя бабушка не занимались таким делом... так вот, я буду им заниматься... не может же вечно продолжаться так, как было.

Она ничего не ответила, и мы еще посидели с четверть часа, молча разглядывая публику. Потом я открыла сумку, вынула портсигар и закурила. Часто такие женщины, как я, курят в общественных местах, желая привлечь к себе внимание мужчин. Но я в ту минуту не собиралась ловить клиента, я даже решила сегодня хорошенько отдохнуть. Мне просто захотелось

курить, вот и все. Я губами зажала сигарету, втянула в себя дым, а потом выпустила его изо рта и из ноздрей, придерживая сигарету двумя пальцами и разглядывая посетителей.

Но вопреки моему желанию в этом жесте было, вероятно, что-то вызывающее, ибо я тотчас же заметила, как один мужчина, стоявший возле стойки с чашкой кофе в руке, вдруг словно окаменел, чашка повисла в воздухе, а сам он пристально посмотрел на меня. Это был невысокий мужчина лет сорока, с низким, заросшим кудрявыми волосами лбом, с глазами навыкате и тяжелой челюстью. Затылок его был так массивен, что казалось, будто у него вовсе нет шеи. Подобно быку, который, низко опустив голову, неподвижно застывает на месте при виде мулеты, прежде чем броситься на нее, он замер с чашкой в руке, глядя на меня. Он был хорошо одет, хотя выглядел не слишком элегантно в своем узком пальто, которое подчеркивало ширину его плеч. Я опустила глаза, решая про себя, стоит или не стоит связываться с этим человеком. Я сразу догадалась, что он из тех мужчин, у которых от одного нежного взгляда вздуваются на шее вены и лицо багровеет, но я еще не знала, нравится мне он или нет. Подобно тому как скрытые жизненные силы выталкивают наружу сквозь твердую корку земли нежные ростки, так и мною овладело желание обольстить его, и желание это было столь велико, что я тут же скинула личину благопристойности. Все это произошло лишь час спустя после моего решения бросить свое ремесло. Видимо, ничего не поделаешь, это сильнее меня, подумала я, и подумала об этом весело, потому что с той минуты, как я вышла из церкви, я смирилась со своей судьбой, и смирение это обошлось дороже любого благородного отказа. Итак, после минутного раздумья я бросила взгляд на мужчину. Он все еще стоял на прежнем месте, в его большой волосатой руке была зажата чашечка, бычьи глаза впились в меня. Тогда я взяла его, как говорится, на прицел, призвав на помощь всю свою хитрость, я улыбнулась и посмотрела на него долгим, обволакивающим взглядом. Он выдержал мой взгляд, но, как я и предполагала, весь побагровел. Быстро допив кофе, он поставил чашечку на стойку, с солидным и важным видом направился к кассе и расплатился. На пороге он оглянулся и повелительно кивнул мне. Я взглядом ответила ему, что согласна. Когда он вышел, я сказала маме:

— Я тебя оставляю... ты посиди здесь еще немного, я все равно не могу пойти вместе с тобой.

Мама так увлеклась разглядыванием публики, что от неожиданности даже вздрогнула:

— Куда это ты идешь... зачем?

— Меня ждут на улице, — сказала я вставая, — вот деньги... заплати и иди домой... я приду раньше тебя... но не одна.

Мама смущенно посмотрела на меня, и мне показалось, что ее мучит совесть, но она промолчала. Я кивнула ей и вышла. Мужчина поджидал меня. Едва я успела выйти, как он сразу крепко схватил меня под руку.

— Куда мы пойдем?

— Пойдем ко мне домой.

Так после нескольких часов душевных мучений я отказалась от борьбы с тем, что считала своей судьбой, и с новой силой уцепилась за нее, как вцепляются во врага, которого невозможно одолеть; и мне сразу стало легче. Вероятно, кое-кто скажет, что куда легче принять презренную, но прибыльную участь, нежели отказаться от нее. Но я не раз спрашивала себя, почему печаль и злоба гнездятся в душах людей, которые хотят жить праведно, исповедуя возвышенные идеалы, и почему, наоборот, люди, которые смотрят на свою жизнь как на ничтожное, мрачное и бесцельное существование, бывают обычно веселыми и беззаботными. Впрочем, каждый человек подчиняется не правилам, а своей натуре, которая и предрешает его истинную судьбу. А моя натура требовала, чтобы я любой ценой сохраняла свою жизнерадостность, кротость и спокойствие, и я подчинилась.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Я решила, что Джакомо для меня навсегда потерян, и поклялась больше не думать о нем. Я чувствовала, что люблю его и, если он вернется, я буду счастлива и полюблю еще сильнее. Но я знала также, что никогда больше не позволю ему унизить меня. Если он вернется, я отгорожусь от него своей жизнью, словно неприступной и несокрушимой крепостной стеной, которая защищает меня до тех пор, пока я не выхожу за ее пределы. Я скажу ему: «Я всего-навсего уличная девка, если я тебе нравлюсь, прими меня такой, какая я есть». Ведь моя сила не в том, чтобы выдавать себя за другого человека, а в том, что я честно признаю себя такой, какая я есть на самом деле. Моей силой была наша бедность, мое ремесло, мама, наш дом, моя скромная одежда, мое простое происхождение, мои несчастья и прежде всего то чувство, которое заставляло меня мириться со всем этим и которое было глубоко запрятано в моей душе, как

драгоценный клад под землею. Но я была уверена, что никогда больше не увижу Джакомо, и поэтому любила его как-то по-новому: спокойно, грустно и нежно. Так любят тех, кто умер в кто уже не вернется.

В это время я окончательно порвала с Джино. Как я уже говорила, я не сторонница резких разрывов и предпочитаю, чтобы все жило своей естественной жизнью и умирало своей естественной смертью. Мои отношения с Джино — яркий пример этого правила. Наши отношения прекратились, ибо они умерли — и в этом не были виноваты ни я, ни даже Джино, — прекратились сами собой и не оставили в моей душе ни сожаления, ни угрызений совести.

До сих пор я изредка продолжала встречаться с Джино, раза два-три в месяц. И хотя я потеряла к нему всякое уважение, он мне все еще нравился. Однажды он по телефону назначил мне свидание в молочной, и я согласилась прийти.

Молочная находилась в нашем квартале. Джино поджидал меня во внутреннем помещении без окон и со стенами, отделанными кафельными плитками. Когда я вошла, то увидела, что он не один. Какой-то человек сидел спиной ко мне. Я успела заметить, что на нем зеленый плащ, а волосы у него светлые, «ежиком». Я подошла, Джино поднялся с места, но спутник его продолжал сидеть. Джино сказал:

— Познакомься, это мой друг Сонцоньо.

Тогда Сонцоньо тоже встал, и я, окинув его быстрым взглядом, протянула ему руку. Он сильно сдавил ее словно клещами, и я невольно вскрикнула от боли. Он сразу же выпустил руку, я села и с улыбкой сказала:

— А ведь это очень больно... вы всегда так делаете?

Он ничего не сказал, даже не ответил на мою улыбку. Лицо у него было белое как бумага, лоб большой и выпуклый, глаза светло-голубые, маленькие, нос курносый и рот с тонкими губами. Светлые волосы, жесткие и выгоревшие, были коротко пострижены, виски впалые. Но черты его лица были крупные, челюсти широкие и тяжелые. Казалось, он все время стискивает зубы, будто пережевывает что-то, и на щеках у него беспрестанно ходили и перекатывались желваки. Джино, который, как я заметила, смотрел на своего друга с уважением, даже с восторгом, весело расхохотался:

— Это еще пустяки... если бы ты знала, какой он сильный... у него запрещенный кулак.

Мне показалось, что Сонцоньо взглянул на Джино недружелюбно. Потом сказал глухим голосом:

— Неправда, что у меня запрещенный кулак... но я мог бы его иметь...

— А что значит «запрещенный кулак»? — спросила я.

Сонцоньо отрывисто ответил:

— Когда человек может убить одним ударом кулака... Тогда запрещено пускать в ход кулаки... это все равно что применять огнестрельное оружие.

— Ты только посмотри, какой он сильный, — настаивал Джино, видно желая польстить Сонцоньо. — Дай ей потрогать бицепсы.

Я была в нерешительности, но Джино настаивал, а его друг, кажется, ждал от меня этого жеста. Я робко протянула руку, собираясь пощупать его бицепсы. Он согнул руку в локте, напрягая мускулы. Проделал он это с серьезным и даже мрачным видом. И тут неожиданно, потому что внешне он казался скорее щуплым, я почувствовала, как под моими пальцами вдруг словно вырос узел из стального троса. И я отняла руку с возгласом не то удивления, не то отвращения. Польщенный Сонцоньо посмотрел на меня, губы его тронула легкая улыбка. Джино пояснил:

— Он мой старинный друг... не правда ли, Примо, мы с тобой знакомы целую вечность? Мы почти как братья. — Хлопнув Сонцоньо по плечу, он добавил: — Старина Примо!

Но тот дернул плечом, будто хотел скинуть руку Джино, и ответил:

— Никакие мы не друзья и не братья... просто вместе работали в одном гараже, вот и все.

Джино ничуть не смутился:

— Да, я знаю, что ты не хочешь ни с кем дружить... всегда ты один, сам по себе... тебе не нужны ни мужчины, ни женщины.

Сонцоньо посмотрел на Джино в упор своим тяжелым, пронизывающим взглядом. Джино невольно отвел глаза.

— Кто тебе сказал такую чепуху? — спросил Сонцоньо. — Я дружу, с кем хочу, и с женщинами и с мужчинами.

— Да я просто так. — Джино, казалось, потерял весь свой апломб. — Я ведь никогда тебя ни с кем не встречал.

— Ты вообще обо мне ничего не знаешь.

— Вот это да! Мы же виделись ежедневно с утра до ночи.

— Виделись ежедневно... ну и что же?

— Ты всегда ходил один, вот я и подумал, что ты ни с кем не дружишь, — настаивал смущенный Джино, — когда у мужчины есть женщина или друг, это всем известно.

— Хватит валять дурака, — отрезал Сонцоньо.

— Теперь ты еще обзываешь меня дураком, — покраснев, с досадой сказал Джино, притворяясь обиженным. Но было ясно, что он просто струсил.

Сонцоньо повторил:

— Да, не валяй дурака, а то я тебе морду набью.

Я сразу поняла, что это не простая угроза и он собирается ее исполнить. Я сказала, тронув его за плечо:

— Если вы надумали драться, очень прошу вас, делайте это без меня... Терпеть не могу драк.

— Я тебя представляю своей знакомой синьорине, — грустно произнес Джино, — а ты ее пугаешь глупыми выходками, она, чего доброго, подумает, что мы враги.

Сонцоньо повернулся ко мне, и впервые за все время на лице его появилась настоящая улыбка. При этом обнажились не только его мелкие, некрасивые зубы, но и десны, он щурил глаза, на лбу собрались морщины.

— Синьорина ведь не испугалась, верно? — сказал он.

Я сухо ответила:

— Я вовсе не испугалась... но, повторяю, терпеть не могу драк.

Последовало долгое молчание. Сонцоньо сидел неподвижно, засунув руки в карманы плаща, уставившись в одну точку, желваки на его скулах вздувались. Джино курил, опустив голову, и дым заволакивал его лицо и уши, которые до сих пор горели. Потом Сонцоньо поднялся и сказал:

— Ну ладно, я пошел.

Джино быстро вскочил и, протянув ему руку, спросил:

— Ты ведь не обиделся, Примо, а?

— Ясное дело, не обиделся, — процедил тот сквозь зубы.

Он пожал мне руку на сей раз не больно и ушел. Он был худощав и невысок ростом, и я никак не могла понять, откуда же берется в нем такая сила.

Как только он вышел, я шутливо сказала Джино:

— Значит, вы друзья и даже братья... однако он тебе тут такого наговорил!

Джино, оправившись от смущения, покачал головой:

— Так уж он устроен... но он неплохой парень... и потом мне выгодно поддерживать с ним добрые отношения... он мне оказал одну услугу.

— Какую?

Я заметила, что Джино весь дрожит и ему не терпится рас-

сказать мне что-то. Его лицо вдруг расплылось в радостной и взволнованной улыбке.

— Помнишь пудреницу моей хозяйки?

— Да... и что же?

Глаза Джино весело заблестели, и он прошептал:

— Так вот, я передумал и не вернул ее хозяйке.

— Не вернул?

— Нет... в общем, я подумал, что при богатстве синьоры одной пудреницей больше, одной меньше — не имеет значения... Тем более что дело уже сделано, — добавил он многозначительно, — и в конце концов, украл ведь не я.

— Украла я, — сказала я спокойно.

Он сделал вид, что не слышит, и продолжал:

— Однако после этого возникла трудность: как продать пудреницу... Уж очень заметная, бросающаяся в глаза вещица, я никак не мог решиться и некоторое время продержал ее у себя... потом встретил Сонцоньо, рассказал ему обо всем...

— И обо мне тоже рассказал? — перебила я.

— Нет, о тебе не рассказывал... сказал ему, что мне дала ее одна подруга, а имя не называл... и он... он, представь себе, в три дня, уж не знаю как, продал пудреницу и принес мне деньги... разумеется, взяв себе, как мы условились, свою долю.

Джино, все еще дрожа от возбуждения и оглядевшись вокруг, вытащил из кармана пачку денег.

В эту минуту, сама не знаю почему, я вдруг почувствовала к нему острую неприязнь. Не то чтобы я не одобряла его поступка, на это я просто не имела права, но меня раздражал его радостный тон, и, кроме того, я догадывалась, что он не все мне сказал и умолчал, конечно, о самом главном. Я сдержанно проговорила:

— Ну что ж, молодец.

— Держи, — сказал он, разворачивая пачку денег, — это тебе... тут уже отсчитано.

— Нет, нет, — быстро возразила я, — мне абсолютно ничего не надо.

— Да почему?

— Мне ничего не надо.

— Ты хочешь меня обидеть, — сказал он.

Тень подозрения и беспокойства пробежала по его лицу, и я испугалась, что в самом деле обидела его. Взяв его за руку, я через силу выдавила из себя:

— Если бы ты не предложил мне этих денег, то я была бы не то что обижена, но удивлена... теперь все в порядке, я не

хочу денег, потому что для меня это дело конченное, вот и все... я просто рада за тебя.

Он испытующе, с сомнением посмотрел на меня, словно хотел разгадать истинный смысл моих слов, которых он так и не понял. И впоследствии, вспоминая Джино, я думала: он не мог понять меня, потому что жил совсем в ином, отличавшемся от моего мире мыслей и чувств. Не знаю, был ли этот мир хуже или лучше моего, знаю только, что некоторые слова он понимал совсем иначе, чем я, что бо́льшая часть его поступков казалась мне достойной порицания, тогда как он считал их дозволенными и даже необходимыми. Особое значение он придавал уму, главным признаком которого считал хитрость. И, разделяя людей на хитрых и нехитрых, он старался любой ценой и при всех обстоятельствах попасть в категорию первых. Но я не хитра и, быть может, даже не умна: я никогда не понимала, как можно оправдывать дурной поступок — я уже не говорю, восторгаться им — лишь потому, что его удалось совершить незаметно.

Сомнения, одолевавшие его, видимо, вдруг разрешились, и он воскликнул:

— Теперь понимаю, ты не хочешь этих денег, потому что боишься... боишься, что пропажа обнаружится... не бойся... все устроилось как нельзя лучше.

Я ничуть не боялась, но не стала противоречить ему, так как последние слова показались мне странными. Я только спросила:

— Как ты сказал? Что значит «все устроилось как нельзя лучше»?

Он ответил:

— Да, все устроилось как нельзя лучше. Помнишь, я тебе говорил, что подозрение пало на одну служанку?

— Помню.

— Так вот... я ненавидел эту служанку, она все время сплетничала обо мне... через несколько дней после пропажи я понял, что дела мои плохи... полицейский комиссар приходил два раза, и мне показалось, что за мною следят. Заметь, ни одного обыска они пока не произвели. Тогда меня осенила великолепная идея: украсть еще что-нибудь, тогда сделают обыск, а я сумею устроить так, что вина за старую и новую кражу падет на эту женщину. — Я молчала, и он, взглянув на меня большими сверкающими глазами, словно желая удостовериться в моем восхищении его хитростью, продолжал:

— У хозяйки в ящике секретера лежало несколько долларов... я взял их и спрятал в комнате служанки в старый чемо-

дан. Тут уж, конечно, сделали обыск, нашли доллары и служанку арестовали. Она клялась, что не виновата. Но кто ей поверит? Доллары-то нашли в ее комнате.

— И где эта женщина?

— В тюрьме и никак не желает сознаваться... а знаешь, что сказал хозяйке комиссар полиции? Будьте, говорит, покойны, синьора, в конце концов она признается. Понятно, а? Знаешь, что значит «в конце концов»? Ее будут бить.

Я растерянно посмотрела на возбужденного и гордого Джино и почувствовала, как все внутри у меня похолодело. Я спросила:

— А как ее зовут?

— Луиза Феллини... она уже немолодая женщина, а до чего заносчивая, послушать ее, так выходит, что и в служанки-то она попала случайно и что честнее ее нет никого на свете. — Он рассмеялся, довольный таким исходом дела.

Я собрала все свои силы и, как человек, который делает глубокий вдох, проговорила:

— Знаешь, а ты просто подлец.

— Что? Почему? — удивленно спросил он.

Теперь, назвав его подлецом, я почувствовала себя свободнее и смелее. Я вся дрожала от гнева:

— И ты еще хотел, чтобы я взяла эти деньги... я сразу почувствовала, что не должна брать их.

— Да ничего не случится, — сказал он, стараясь приободриться, — она не сознается... и ее отпустят.

— Но ведь ты сам сказал, что ее держат в тюрьме и бьют.

— Я сказал просто так.

— Неважно... ты посадил в тюрьму невинного человека, а потом еще имел нахальство прийти и рассказать все мне... ты самый настоящий подлец!

Он вдруг побледнел и злобно схватил меня за руку.

— Не смей называть меня подлецом!

— Почему это? Я считаю тебя подлецом и говорю тебе это прямо в глаза.

Он совсем потерял голову и повел себя самым странным образом: вывернул мне руку так, будто хотел сломать ее, потом вдруг нагнулся и сильно укусил меня. Выдернув руку, я вскочила с места.

— Да ты окончательно спятил! — сказала я. — Что это на тебя нашло?.. Кусаться вздумал?.. Подлец ты есть, подлецом и останешься.

Он ничего не ответил, а схватился руками за голову, как будто собирался рвать на себе волосы.

Я позвала официанта, расплатилась за себя, за Джино и за Сонцоньо. Потом сказала:

— Я ухожу... и запомни, между нами все кончено... не старайся увидеть меня, не ищи и не смей приходить... Я тебя знать не желаю.

Он опять промолчал, даже не поднял головы, и я вышла.

Молочная находилась в самом начале улицы, недалеко от нашего дома. Я медленно пошла по тротуару, противоположному городской стене. Спустилась ночь, небо заволокло тучами, и дождь, мелкий, как водяная пыль, висел в теплом неподвижном воздухе. Городская стена была, как обычно, погружена во тьму, только редкие фонари слабо освещали ее. Но едва я вышла из молочной, я заметила, что какая-то темная фигура отделилась от фонаря и медленно двинулась вдоль стены в том же направлении. Я узнала Сонцоньо по его плащу, стянутому в талии, и по светлой стриженой голове. Сейчас на фоне городской стены он казался совсем маленьким, время от времени он совсем исчезал в темноте, потом снова появлялся в свете уличного фонаря. И тут, пожалуй, я впервые почувствовала отвращение к мужчинам, ко всем мужчинам на свете, которые бегают за мной, как бегают кобели за сукой. Я все еще дрожала от гнева и, думая об этой женщине, которую Джино засадил в тюрьму, терзалась угрызениями совести, потому что ведь, в конце концов, пудреницу украла я. Но сильнее угрызений совести было, пожалуй, чувство возмущения и гнева. Однако, возмущаясь несправедливостью и испытывая отвращение к Джино, я не хотела его ненавидеть и жалела о том, что узнала о свершившейся несправедливости. По правде говоря, я не создана для ненависти, я испытывала ужасную боль и была сама не своя. Я пошла быстрее, надеясь дойти до дома, прежде чем Сонцоньо догонит меня, что он, вероятно, намеревался сделать. Позади себя я услышала запыхавшийся голос Джино, он звал меня:

— Адриана... Адриана...

Я сделала вид, что не слышу, и прибавила шагу. Он схватил меня за руку.

— Адриана... мы ведь столько были вместе... не можем же мы так расстаться.

Я вырвалась и пошла дальше. На противоположной стороне улицы в круг света вынырнула из темноты невысокая фигура Сонцоньо. Джино бежал за мною и твердил:

— Но я люблю тебя, Адриана!

Он внушал мне одновременно и жалость и ненависть, и эта

моя раздвоенность сердила меня больше, чем его слова. Поэтому я старалась думать о чем-нибудь другом. Вдруг, сама не знаю как, на меня словно нашло озарение. Я вспомнила об Астарите, он не раз предлагал мне свою помощь, и я подумала, что он почти наверняка сможет освободить бедняжку из тюрьмы. Эта мысль подбодрила меня, с моей души будто свалился тяжелый камень, и мне даже показалось, что теперь я испытываю к Джино только жалость и вовсе не питаю к нему ненависти. Я остановилась и спокойно спросила:

— Джино, почему ты не уходишь?

— Я ведь тебя люблю.

— Я тоже тебя любила... но теперь все кончено... уйди, так будет лучше для нас обоих.

Мы стояли в темной части улицы, где не было ни фонарей, ни освещенных витрин. Он обнял меня за талию и попытался поцеловать. Я могла прекрасно справиться с ним сама, потому что я сильная, и ни один мужчина не может поцеловать женщину, если она того не захочет. Однако, повинуясь какому-то злому чувству, я окликнула Сонцоньо, который неподвижно, заложив руки в карманы плаща, стоял на противоположной стороне улицы, у стены, и глядел на нас. Думаю, что позвала я его потому, что, найдя средство исправить дурной поступок Джино, я, побуждаемая любопытством, решила снова прибегнуть к кокетству. Я крикнула:

— Сонцоньо! Сонцоньо!

Он тотчас же пересек улицу.

Смущенный Джино отпустил меня.

— Скажите ему, — произнесла я спокойным голосом, как только Сонцоньо приблизился к нам, — чтобы он оставил меня в покое... я его больше не люблю... мне он не верит, может быть, послушается вас, своего друга.

Сонцоньо сказал:

— Ты слышишь, что говорит синьорина?

— Но я... — начал было Джино.

Я решила, что, если они и повздорят немного, не беда. Джино все равно смирится и уйдет. Но вдруг Сонцоньо сделал какое-то неуловимое движение, Джино молча с секунду смотрел на него удивленно, а потом рухнул на землю и скатился с тротуара в канаву. Вернее, я видела только, как падал Джино, а уже потом поняла, чт*о* сделал Сонцоньо. Движение было так молниеносно и так беззвучно, что я даже подумала, уж не померещилось ли мне все это. Я тряхнула головой и снова посмотрела: Сонцоньо стоял передо мною, широко расставив ноги,

и разглядывал свой сжатый кулак; Джино ничком лежал на земле, он уже пришел в себя и, упираясь локтями в землю, чуть-чуть высунул из канавы голову. Но он как будто и не собирался вставать на ноги, казалось, что он внимательно рассматривает какую-то белую бумажку, валявшуюся в жидкой грязи канавы. Потом Сонцоньо сказал мне:

— Пошли.

И я как завороженная пошла с ним в сторону своего дома.

Сонцоньо шел, держа меня под руку, и молчал. Он был ниже меня ростом, я чувствовала, что его пальцы сжимают мой локоть стальным обручем. Немного погодя я сказала:

— Зачем вы ударили Джино? Это нехорошо... он и без того бы ушел домой.

— Зато теперь он не будет вам больше надоедать, — ответил он.

Я спросила:

— Как это вы делаете?.. Я даже ахнуть не успела... смотрю, а Джино уже падает.

Он кратко ответил:

— Все дело в навыке.

Он произносил слова так, будто сперва долго пережевывал их во рту или пробовал их прочность на зуб, челюсти его были плотно сжаты, и мне представлялось, что его верхние клыки входят в промежутки между нижними зубами, как у хищника. Мне очень захотелось потрогать его за плечо и ощутить под пальцами твердые и крепкие мускулы. Он вызывал во мне скорее любопытство, чем влечение, но главным образом страх. Страх тоже может быть приятным, а в некоторых случаях даже волнует, пока не поймешь, что именно тебя страшит.

Я сказала:

— Ну и руки у вас! Просто не верится.

— Да ведь я давал вам потрогать бицепсы, — ответил он с мрачным самодовольством, которое не сулило ничего доброго.

— Но я не потрогала как следует... там был Джино... можно, я еще раз попробую.

Он остановился и согнул руку, бросив на меня косой, серьезный и даже, пожалуй, наивный взгляд. Но эта наивность не была детской. Я протянула руку и медленно ощупала мускулы, начиная от плеча. Было странно ощущать под пальцами эти живые твердые мышцы. Я сказала тоненьким голоском:

— Вы действительно ужасно сильный человек.

— Да, я сильный, — подтвердил он с угрюмой уверенностью.

И мы пошли дальше.

Теперь я уже раскаивалась, что окликнула его. Он мне не нравился, и, кроме того, его угрюмый вид и манеры внушали мне ужас. Так молча мы дошли до нашего дома. Я вытащила из сумки ключ.

— Ну, благодарю вас за то, что вы проводили меня. — И протянула ему руку.

Он приблизился ко мне.

— Я зайду к вам.

Я хотела было отказать ему. Но он так пристально и настойчиво посмотрел мне прямо в глаза, что я смутилась.

— Как хочешь, — покорно сказала я и только тогда заметила, что говорю ему «ты».

— Не бойся, — произнес он, по-своему истолковывая мое смущение, — у меня деньги есть... я заплачу тебе вдвое больше, чем другие.

— Деньги тут ни при чем, — ответила я. Лицо его странно изменилось, будто какое-то ужасное подозрение овладело им, заметив это, я открыла дверь и поспешно добавила: — Я просто немного устала.

Он последовал за мною.

Очутившись в моей комнате, он начал раздеваться, аккуратными и точными движениями складывая одежду. Он осторожно снял с шеи шарф, свернул его и положил в карман плаща. Пиджак он повесил на спинку стула, а брюки сложил так, чтобы не помялись заглаженные стрелки. Ботинки он поставил под стул, а носки вложил внутрь. Одет он был во все новое, но без особого шика, хотя вещи на нем были прочные и добротные. Все это он проделывал молча, не слишком медленно и не слишком быстро, спокойно и педантично, не обращая на меня никакого внимания. А я тем временем разделась и легла. Если даже его и обуревало желание, то он не показывал этого. Разве что желваки на щеках, непрерывно ходившие под кожей, выдавали его волнение; впрочем, раньше, когда Сонцоньо и не думал обо мне, желваки все равно вздувались у него на скулах. Я очень люблю чистоту и порядок, они, по моему мнению, свидетельствуют о соответствующих душевных качествах человека. Но аккуратность и педантичность Сонцоньо в этот вечер пробудили во мне совсем иное чувство, нечто среднее между отвращением и ужасом. Вот так же тщательно, невольно подумала я, готовится к сложной операции хирург или точит нож простой мясник, который собирается зарезать несчастного ягненка. И, лежа на постели, я чувствовала себя беззащитной и

слабой, словно труп, который вот-вот начнут препарировать. Молчание и спокойствие Сонцоньо смущали меня, я не понимала, что он намерен со мною делать, после того как кончит раздеваться. Когда же он подошел к постели и крепко схватил меня за плечи обеими руками, будто хотел заставить лежать смирно, я невольно содрогнулась от ужаса. Он заметил это и процедил сквозь зубы:

— Что с тобой?

— Ничего... просто у тебя холодные руки, — ответила я.

— Я тебе не нравлюсь, а? — спросил он, все еще стоя возле кровати и держа меня за плечи, — ты предпочитаешь мужчин, которые платят тебе, а?

При этих словах он вперил в меня свой поистине невыносимый взгляд.

— Почему? Ты такой же мужчина, как все... И потом ты ведь сам сказал, что заплатишь мне вдвое больше, — ответила я.

— Я понимаю, — сказал он, — такие, как ты, любят богатых и благородных мужчин... а я вроде бы под стать тебе... вам, уличным девкам, нравятся только синьоры.

В его тоне сквозила мрачная настойчивость человека, любящего затевать ссоры, и я вспомнила, как он оскорбил Джино, придравшись к какому-то пустяку. Тогда я подумала, что у него есть «зуб» против Джино. Но теперь понимала, что эти приступы вспыльчивости могут повториться в любую минуту, и тогда попробуй угадай, как вести себя с ним. Немного раздосадованная, я ответила:

— Почему ты меня обижаешь? Я тебе уже сказала, что для меня все мужчины одинаковы.

— Как бы не так, ты бы тогда не состроила такой постной мины... Я тебе не нравлюсь, а?

— Но я тебе уже сказала...

— Я тебе не нравлюсь, — повторил он, — очень жаль, но ничего не поделаешь, тебе придется быть со мной поласковей.

— Оставь меня в покое! — с внезапным раздражением закричала я.

— Когда я был тебе нужен и помогал отделаться от твоего любовника, ты небось не возражала, — продолжал он, — но потом захотела прогнать меня... а я все-таки пришел... ага, я тебе не нравлюсь!

Я окончательно перепугалась. Его беспощадные слова, спокойный и безжалостный тон, пристальный взгляд его голубых вдруг налившихся кровью глаз — все говорило о том, что он задумал что-то страшное. И слишком поздно я поняла, что оста-

новить его так же невозможно, как задержать огромный камень, катящийся вниз по склону горы. Я постаралась оторвать его руки от своих плеч. А он продолжал:

— А-а, я тебе не нравлюсь... Когда я до тебя дотрагиваюсь, на твоем лице написано отвращение... но сейчас, милочка, оно у тебя изменится.

Он поднял руку и замахнулся, намереваясь дать мне пощечину. Я ожидала этого и попыталась прикрыться ладонью. Но ему удалось сильно ударить меня сперва по одной щеке, а потом, когда я отвернулась, и по другой. Впервые в жизни меня бил мужчина, и несмотря на то, что щеки мои горели от ударов, я испытывала не боль, а скорее удивление. Отняв руки от лица, я сказала:

— Несчастный ты человек, вот что я тебе скажу!

Казалось, мои слова поразили его в самое сердце. Он сел на край кровати и, ухватившись обеими руками за матрац, стал раскачиваться взад и вперед. Потом, не глядя на меня, произнес:

— Все мы несчастные.

А я ответила:

— Какой храбрец выискался, женщину ударил.

Внезапно мои глаза наполнились слезами, и я замолчала. Но плакала я не столько из-за пощечин, сколько от нервного потрясения: за сегодняшний вечер произошло множество неприятных и отвратительных событий. Я вспомнила Джино, растянувшегося в грязи, вспомнила, что, даже не взглянув на него, я спокойно ушла с Сонцоньо, испытывая только одно желание: потрогать его необыкновенные бицепсы. И вдруг мной овладели угрызения совести, жалость к Джино, недовольство собою, я поняла, что наказана за свою бесчувственность и глупость той самой рукой, которая покарала Джино. Тогда я одобрила насилие, а теперь оно обернулось против меня. Сквозь слезы я посмотрела на Сонцоньо. Слегка ссутулившись, он сидел на краю постели, кожа у него была белая и гладкая. Глядя на его руки, висевшие как плети, нельзя было догадаться, какая сила таится в них. Мне захотелось уничтожить ту пропасть, что разделяла нас, и я сказала:

— Позволь спросить, почему ты избил меня?

— Уж очень у тебя была постная мина.— Желваки на его щеках задвигались, очевидно, он размышлял.

Я понимала, что если хочу узнать его поближе, то должна прежде всего высказать все, что о нем думаю, ничего не скрывая.

— Ты решил, что не нравишься мне. Но ты ошибся, — ответила я.

— Возможно.

— Ты ошибся... на самом же деле, неизвестно почему, ты внушаешь мне страх, вот отчего у меня такое лицо.

Он резко обернулся и подозрительно посмотрел на меня. Но тотчас же успокоился, и в голосе его послышались нотки самодовольства.

— Я тебя напугал?

— Да.

— И теперь ты все еще меня боишься?

— Нет, теперь хоть убей... мне все равно.

Я говорила правду. В эту минуту я почти желала, чтобы он убил меня, потому что мне вдруг захотелось умереть. Но он сердито сказал:

— Никто не собирается тебя убивать. И почему ты так меня испугалась?

— Откуда я знаю... я просто боялась тебя... такие вещи невозможно объяснить.

— А Джино ты боялась?

— С какой стати я стану его бояться?

— Почему же ты тогда боишься меня? — От его самодовольства не осталось и следа. Голос его вновь зазвучал мрачно и гневно.

— Я тебя испугалась, потому что ты, по-моему, способен на все, — сказала я, желая его успокоить.

Он ничего не ответил и какое-то время сидел задумавшись. Потом, обернувшись ко мне, спросил с угрозой в голосе:

— Значит, теперь я должен одеться и уйти?

Я посмотрела на него, он снова готов был разъяриться. И я поняла, что если откажу ему, то навлеку на себя новое, быть может еще более страшное, насилие, поэтому я решила задержать его. Но я вспомнила его острый взгляд, и меня охватило отвращение при мысли, что его глаза снова вопьются в меня. Я тихо сказала:

— Нет... если хочешь, можешь остаться... но сперва погаси свет.

Белокожий, невысокого роста, он был хорошо сложен, даже короткая шея не портила общего впечатления. Он встал и направился на цыпочках к выключателю возле двери. Но я сразу же поняла, что совершила большую глупость, попросив его погасить свет, ибо, как только комната погрузилась во мрак, мной снова овладел тот непреодолимый ужас, от которого, как мне

казалось, я уже успела избавиться. Я чувствовала себя так, будто в комнате находился не человек, а леопард или какой-то другой хищный зверь, и неизвестно, что он станет делать — либо забьется в угол, либо набросится на меня и разорвет на куски. Между тем Сонцоньо долго шарил в темноте, раздвигая стулья и стараясь добраться до кровати, и, вероятно, от страха мне казалось, что время тянется ужасно медленно, казалось, что прошло несколько минут, пока он подошел ко мне, и, когда я ощутила прикосновение его рук, меня снова бросило в дрожь. Я надеялась, что он ничего не заметит, но у него, как у животных, было очень острое чутье, и он сразу же спросил:

— Ты все еще боишься?

Надо полагать, что возле меня в этой кромешной мгле стоял мой ангел-хранитель. По голосу Сонцоньо я догадалась, что он занес надо мной кулак и в зависимости от моего ответа собирается ударить меня или отвести руку. Я поняла: он знает, что внушает страх, а ему хочется, чтобы его не боялись, а любили, как любят других мужчин. Но для достижения этой цели он не умел найти другого способа, кроме способа внушать новый и еще более сильный страх. Я протянула руку вперед, делая вид, что хочу обнять его за шею, и, дотронувшись до его правого плеча, я убедилась, как и предполагала, в том, что он занес руку вверх, готовясь со всего размаха ударить меня по лицу. Я поборола себя и сказала, стараясь придать своему голосу обычную мягкость и спокойную интонацию:

— Нет... я просто озябла, давай укроемся одеялом.

— Так-то оно лучше, — отозвался он.

И это слово «лучше», в котором еще слышались угрожающие нотки, подтвердило, что я боялась не зря. И пока он в пол-ой темноте под одеялом обнимал меня, я переждала минуту острой тоски, одну из самых тяжелых в своей жизни. Страх сковывал мое тело, и я невольно вздрагивала и отстранялась от прикосновения его гладкого, скользкого, как у змеи, тела; но одновременно я успокаивала себя; глупо было в такой момент бояться его, я изо всех сил стремилась побороть это чувство и старалась вести себя с ним, как с человеком, которому отдаются по любви. Страх охватил не столько мое тело, которым я еще кое-как могла владеть, несмотря на все мое отвращение, но он, этот страх, проник в самую глубь, в мое лоно, которое, казалось, сомкнулось и с чувством ужаса отвергало его. Но наконец он овладел мной, и я испытала столь острое наслаждение, что не могла сдержать протяжного и жалобного крика, прозвучавшего

в темноте так, будто с этим криком из меня вышла вся жизнь и осталось лишь бездыханное тело.

Потом мы молча лежали в темноте. Я вскоре задремала. Мне мерещилось, что на меня навалилась какая-то тяжесть, будто Сонцоньо, обхватив руками голые колени и уткнувшись в них лицом, взгромоздился на мою грудь, давил мне на горло всем костяком. Он сидел, упираясь ногами в мой живот, я чувствовала, как он постепенно становился все тяжелее и тяжелее, я металась во сне, стараясь сбросить с себя это бремя. Я задыхалась и пробовала закричать. Мой крик застрял в груди надолго, казалось, навечно, потом мне все же удалось выдавить его из себя, и с громким стоном я проснулась.

Лампа на тумбочке горела. Сонцоньо, подперев голову ладонью, смотрел на меня.

— Долго я спала? — спросила я.

— С полчаса, — процедил он сквозь зубы.

Я бросила на него быстрый взгляд, в котором, наверно, еще был испуг от приснившегося кошмара, так как он странным тоном спросил, намереваясь, вероятно, продолжить наш разговор:

— Ну, ты все еще боишься?

— Не знаю.

— Если бы ты знала, кто я, — сказал он, — то ты испугалась бы еще сильнее.

Все мужчины, удовлетворив желание, начинают говорить о себе, охотно изливают душу. Сонцоньо, как видно, не представлял исключения из этого правила. Его голос теперь звучал совсем по-иному, мягко, почти нежно, но с оттенком тщеславия и самодовольства. Я снова страшно испугалась, и сердце начало бешено колотиться в груди, словно хотело выскочить.

— Почему? Кто же ты? — спросила я.

Он посмотрел на меня молча, очевидно предвкушая эффект от своих дальнейших слов.

— Я тот самый человек с улицы Палестро, — наконец произнес он медленно, — вот кто я.

Он не счел нужным объяснять, что именно произошло на улице Палестро, и на сей раз оказался прав в своем тщеславии. На этой улице в одном из домов на днях было совершено страшное преступление, о нем писали все газеты, и о нем болтали многие люди, охотники до такого рода сенсаций. Мама, которая бо́льшую часть дня проводила за чтением газет, разбирая по складам сообщения скандальной хроники, первая сказала мне об этом происшествии. В своей квартире был убит молодой ювелир, он проживал там один. Предполагали, что страшным ору-

дием, использованным убийцей, которым, как теперь мне стало известно, оказался Сонцоньо, послужило тяжелое бронзовое пресс-папье. Полиция не обнаружила ни одной улики. Ювелир, по слухам, скупал краденые вещи, и предполагали, что во время одной такой незаконной сделки, и это впоследствии подтвердилось, он был убит.

Я часто замечала, что, услышав какую-нибудь удивительную или страшную новость, люди не могут сосредоточиться на мысли о ней, а их внимание привлекает какой-нибудь первый попавшийся на глаза предмет, но и на этот предмет смотрят так, будто хотят проникнуть сквозь его внешнюю оболочку и увидеть нечто сокровенное, заключенное внутри него. Так случилось со мной и в тот вечер, когда Сонцоньо сделал свое признание. Я лежала с широко открытыми глазами, но все мысли у меня из головы разом улетучились, это было похоже на то, как мгновенно опорожняется сосуд с жидкостью или мелким песком, когда у него неожиданно отваливается дно. И хотя я чувствовала себя опустошенной, я сознавала, что мое внимание распыляется на разные мелочи, а я пыталась заставить себя думать о главном, заполнить эту пустоту, но, к моему величайшему огорчению, мне не удавалось это сделать. Взгляд мой остановился на руке Сонцоньо, который лежал возле меня, опираясь локтем на подушку. Рука у него была белая, гладкая, полная, ничто не говорило о его необыкновенных мускулах. Запястье тоже было белое и округлое, перехваченное кожаным ремешком, похожим на ремешок от часов. Но часов у Сонцоньо не было. Этот черный и засаленный ремешок, прикрывавший узкую полоску белого обнаженного тела, казалось, придавал что-то необычайное всему облику Сонцоньо. Я вглядывалась в этот кожаный черный браслет, он был похож на кольцо от кандалов каторжника. И было в этом простом черном ремешке что-то страшное и вместе с тем притягательное, как будто незатейливое украшение неожиданно открыло мне неукротимый характер жестокости Сонцоньо. Я отвлеклась от главного всего на один миг. Потом внезапно в моем сознании возник целый рой беспокойных мыслей, и они закружились в голове, как птицы в тесной клетке. Я вспомнила, что с самой первой минуты Сонцоньо внушал мне ужас, вспомнила, что была с ним близка, что, когда уже уступила ему, поняла не умом, а всем своим трепетавшим от ужаса телом то страшное, что он скрывал, и потому-то у меня вырвался крик.

Наконец я задала ему первый пришедший мне в голову вопрос:

— Зачем ты это сделал?

Он ответил, почти не шевеля губами:

— У меня имелась одна ценная вещица, и мне надо было ее продать... Я знал, что этот торговец ужасный плут, но мне не к кому было обратиться... он мне предложил смехотворно низкую цену... Я давно ненавидел этого человека, он меня не раз надувал... Я заявил, что забираю вещь назад, и обозвал его мошенником... тогда он сказал мне такое, от чего я сразу вышел из себя.

— Что же он сказал? — спросила я.

Я заметила, к своему удивлению, что по мере того, как Сонцоньо рассказывал эту историю, мой страх постепенно исчезал, а мою душу охватывала волна сочувствия. И, допытываясь, что сказал ювелир, я с надеждой ждала таких слов, которые бы мог-- смягчить, а может быть, и оправдать преступление Сонцоньо. Он отрывисто произнес:

— Торговец заявил, что если я не уйду, то он донесет на меня... одним словом, я решил: с меня хватит... и когда он отвернулся... — Сонцоньо не закончил фразу и пристально посмотрел на меня.

— А какой он был из себя? — спросила я и сразу же поняла бессмысленность своего вопроса. Но он охотно ответил:

— Лысый, маленького роста... а мордочка хитрая, как у лисы.

В словах Сонцоньо звучала такая глубокая неприязнь к торговцу, что я представила себе лисью мордочку перекупщика краденого и даже возненавидела его, представила, как он с притворным безразличием взвешивает в руке вещицу, которую предложил ему Сонцоньо. Теперь я ничего не боялась, более того, Сонцоньо как бы сумел заразить меня своей ненавистью к убитому, и я не могла даже осуждать его за содеянное. Мне казалось, что я прекрасно понимаю, как все произошло, я даже подумала, что сама могла бы совершить подобное преступление. Как понятны мне были его слова: «Он мне сказал такое, от чего я сразу вышел из себя»! Его уже вывели из себя один раз Джино, другой раз я, и чисто случайно мы с Джино остались живы. Я так хорошо его понимала, до такой степени прониклась его переживаниями, что теперь уже не только не боялась его, а даже испытывала к нему какую-то странную симпатию. Этого чувства он не сумел внушить мне, пока я не узнала о преступлении и пока он в моих глазах оставался самым обыкновенным мужчиной, каких у меня было множество.

— А ты не раскаиваешься? Тебя не мучает совесть? — спросила я.

— Что теперь говорить: дело сделано, — ответил он.

Я внимательно посмотрела на него и невольно, к своему собственному удивлению, одобрительно кивнула головой. И тут я вспомнила, что Джино тоже, если выражаться языком Сонцоньо, был мошенником, и тем не менее Джино любил меня и я любила его. Я подумала, что таким образом завтра я, пожалуй, соглашусь с тем, чтобы Сонцоньо убил Джино, ведь этот ювелир был не лучше и не хуже Джино, единственная разница заключалась в том, что торговца я не знала и оправдывала убийство лишь потому, что услышала от Сонцоньо, что у него была лисья мордочка. Меня объяли сомнения и ужас. Но меня ужасал не Сонцоньо, в характере которого надо было разобраться, прежде чем судить его, а я сама, ведь я считала себя совершенно иной, и, несмотря на это, заразилась его ненавистью и кровожадностью. Я взволновалась, вскочила и уселась на постели:

— Боже, о боже! Зачем ты сделал это?.. И почему ты рассказал мне все?

— Ты меня боялась, хотя ничего не знала, — ответил он просто, — мне показалось это странным, и я рассказал все тебе... к счастью, — добавил он, улыбаясь собственным словам, — к счастью, не все люди такие, как ты... иначе меня давно бы уже нашли.

— Уйди и оставь меня одну... уйди, — сказала я.

— Что это с тобой опять? — спросил он, и я услышала в его голосе прежние угрожающие нотки. Но это был не только гнев, а и боль одинокого человека, которого отвергаю даже я, хотя всего несколько минут назад отдавалась ему. И я торопливо добавила:

— Не думай, что я тебя боюсь... я ничуть тебя не боюсь... но я хочу свыкнуться с этой мыслью... должна подумать обо всем... ты потом вернешься, и я буду совсем другая.

— Что ты собралась обдумывать?.. Уж не хочешь ли ты донести на меня? — спросил он.

И я снова испытала то самое чувство, которое у меня вызвал рассказ Джино о том, как он подстроил арест служанки, я чувствовала себя человеком из другого мира. Мне стоило невероятных усилий взять себя в руки, и я ответила:

— Но ведь я говорю тебе, что ты можешь вернуться... Знаешь, что тебе сказала бы любая другая женщина? Не хочу, мол, тебя больше знать, не хочу тебя видеть... вот что сказала бы тебе любая другая женщина.

— Однако ты настаиваешь, чтобы я ушел.

— Не все ли равно, когда ты уйдешь: минутой раньше, минутой позже... А если ты хочешь остаться, пожалуйста, оставайся... хочешь ночевать здесь? Тогда ночуй у меня, а утром уйдешь... хочешь?

Правда, я произносила эти слова не очень настойчиво, тихо и смущенно, и, должно быть, в моих глазах отражалась растерянность. Но все-таки я продолжала уговаривать его и была рада этому. Мне показалось, что он посмотрел на меня с благодарностью, хотя я могла ошибиться. Потом он покачал головой и ответил:

— Нет, это я просто так сказал... Мне действительно пора уходить.

Он встал и подошел к стулу, где лежала его одежда.

— Как угодно, — сказала я, — но, если хочешь остаться, пожалуйста, оставайся... и, если, — добавила я, сделав над собой усилие, — тебе нужно будет где-нибудь переночевать, приходи сюда.

Он молча одевался. Я тоже поднялась и накинула халат. Я двигалась словно в полусне, мне чудилось, будто комната полна голосов, нашептывающих мне на ухо страшные и безумные речи. Вероятно, в этом состоянии безумия я и совершила необъяснимый поступок. Когда я медленно, в каком-то исступлении бродила по комнате, я заметила, что Сонцоньо нагнулся, чтобы завязать шнурки на ботинках. Тогда я опустилась перед ним на колени.

— Дай завяжу, — сказала я.

Он, видимо, был удивлен, но не стал возражать. Я взяла его правую ногу и, поставив себе на колени, завязала шнурок двойным узлом. То же самое проделала я и с левой ногой. Он не поблагодарил меня, не сказал ни слова, вероятно, мы оба не понимали причины моего поступка. Он надел пиджак, вынул из кармана бумажник и протянул мне деньги.

— Нет, нет, — порывисто сказала я, — не давай мне ничего... не надо.

— Почему?.. Разве мои деньги хуже денег других? — спросил он изменившимся от гнева голосом.

Мне показалось странным, что он не понял моего отвращения к деньгам, взятым, быть может, из кармана еще не остывшего трупа. А возможно, он понимал, но хотел сделать меня своей сообщницей и одновременно проверить мое истинное отношение к нему. Я возразила:

— Не надо... ведь я даже не думала о деньгах, когда позвала тебя... кончим этот разговор.

Он успокоился и сказал:

— Ну, ладно... возьми вот это на память.

Он вынул из кармана какой-то предмет и положил его на мраморную доску тумбочки. Взглянув на подарок издали, я сразу узнала золотую пудреницу, которую несколько месяцев назад украла у хозяйки Джино. Я пробормотала:

— Что это такое?

— Это мне дал Джино, та самая вещица, которую я собирался продать... торговец хотел заполучить ее совсем даром... но я полагаю, она кое-чего стоит... ведь она золотая.

Справившись с волнением, я сказала:

— Спасибо.

— Не стоит, — ответил он. Затем надел плащ и затянул на талии пояс. — Ну, до свидания, — бросил он, оглянувшись с порога.

Спустя минуту я услышала, как хлопнула входная дверь.

Оставшись одна, я подошла к тумбочке и взяла в руку пудреницу. Я была растеряна, но, пожалуй, еще больше поражена. Пудреница блестела на моей ладони, а круглый красный рубин, вправленный в запор, вдруг стал расти, и мне почудилось, что он заслонил все золото. На моей ладони лежало круглое и сверкающее кровавое пятно и давило на нее всей своей тяжестью. Я встряхнула головой, красное пятно исчезло, и я снова увидела обыкновенную золотую пудреницу с рубином. Я опять положила ее на тумбочку, легла на кровать, закутавшись в халат, погасила лампу и начала размышлять.

Если бы кто-нибудь рассказал мне эту историю с пудреницей, думала я, то я посмеялась бы, как обычно смеются люди, услышав рассказ о чем-то необыкновенном и невероятном. Она относилась к таким историям, о которых говорят: «Смотри, как здорово закручено!» — а такие женщины, как мама, пожалуй, могли бы даже «поиграть» в этот случай, как в лотерею: такой-то номер выпадет на убитого, такой-то — на золотую вещицу, такой-то — на вора. Но на сей раз все произошло со мной лично, и я не без удивления поняла, что, когда ты сам замешан и участвуешь в какой-нибудь истории, тут уже не до шуток. Со мной приключилось то, что случается с человеком, который бросил в землю семена, потом забыл о них, а спустя какое-то время увидел пышное растение, покрытое листьями и бутонами, готовыми вот-вот раскрыться. Вопрос только в том, с чего все началось: что было семенами, что — растением и что — бутонами. Я мысленно отступала все дальше и дальше в прошлое и никак не находила истоков. Я отдалась Джино,

потому что надеялась выйти за него замуж, но он обманул меня, и я, чтобы досадить ему, украла пудреницу. Потом я призналась в своем преступлении, он очень испугался, и я, чтобы его не уволили, отдала ему украденную вещь и просила вернуть хозяйке. Но Джино не вернул пудреницу, оставив ее себе, и из боязни попасться засадил в тюрьму ни в чем не повинную служанку, а ту в тюрьме били. Джино меж тем отдал пудреницу Сонцоньо, чтобы он ее продал; Сонцоньо пошел к ювелиру, а тот обидел Сонцоньо, и он в припадке ярости убил его, так ювелир погиб, а Сонцоньо стал убийцей. Я понимала, что не могу брать на себя вину за происшедшее, иначе получилось бы, что мое желание выйти замуж и обзавестись семьей стало первопричиной стольких злоключений; но, несмотря на это, я никак не могла заглушить угрызения совести и смятение. Наконец в результате долгих размышлений я пришла к выводу, что виной всему мои ноги, грудь, бедра, моя красота, в общем, то, чем так гордилась мама и что не носило на себе печати преступности, как все, что создано природой. Но подумала я так от отчаяния и растерянности, ухватившись за эту мысль, как хватаются за любой вздор, лишь бы разрешить какой-то еще во сто крат более сложный и абсурдный вопрос. В конце концов, я знала, что никто не виноват и все произошло так, как и должно было произойти, хотя все это было ужасно; и если уж требовалось найти виноватых, то все люди в равной мере и виновны и невиновны.

В мою душу медленно просачивался мрак, как просачивается вода, которая во время наводнения сначала затопляет нижние этажи дома, а потом поднимается все выше и выше. Первым, конечно, затонуло мое благоразумие. Однако мое воображение, зачарованное рассказом Сонцоньо, все еще продолжало работать. Я смотрела на это преступление без осуждения и без ужаса, в моих глазах оно казалось непостижимым и от этого по-своему увлекательным. Мне чудился Сонцоньо, идущий по улице Палестро, заложив руки в карманы плаща; вот он входит в дом и ожидает ювелира в маленькой гостиной. Я видела, как в комнату входит ювелир, здоровается с Сонцоньо за руку. Ювелир стоит возле своего письменного стола, Сонцоньо протягивает ему пудреницу, тот разглядывает ее и с притворным пренебрежением качает головою. Потом поднимает свою лисью мордочку и называет до смешного низкую цену. Сонцоньо пристально смотрит на него полными гнева глазами и грубо вырывает пудреницу из его рук. Потом обрушивает на торговца обвинения в мошенничестве. Тот грозит донести на Сонцоньо и

требует, чтобы он немедленно ушел. А затем с видом человека, окончившего разговор, он отворачивается, а может быть, нагибается. Сонцоньо хватает бронзовое пресс-папье и наносит ему первый удар по голове. Тот пытается убежать, и тогда Сонцоньо настигает его и снова еще несколько раз ударяет его. Убедившись, что ювелир мертв, Сонцоньо отшвыривает труп, открывает все ящики, забирает деньги и бежит. Но прежде чем уйти, он, как я читала в газетах, снова охваченный злобой, бьет мертвеца, лежащего на полу, каблуком ботинка прямо в лицо.

Я подробно перебирала все детали преступления. Почти с удовольствием я следила за действиями Сонцоньо: вот его рука протягивает пудреницу, вот она хватает пресс-папье и наносит удар ювелиру, а вот его нога в порыве гнева уродует лицо мертвеца. Рисуя в воображении все эти картины, я не испытывала ужаса, я не осуждала, но и не одобряла содеянного. Меня охватило то самое чувство особого наслаждения, которое переживают дети, слушая сказки: они сидят в тепле, прижавшись к матери, и с восторгом следят за приключениями сказочных героев. Однако моя сказка была мрачной и кровавой, героем ее был Сонцоньо, а к чувству восхищения невольно примешивались изумление и грусть. И, как бы желая проникнуть в тайный смысл этой сказки, я вновь с тем же смутным удовольствием начинала перебирать все подробности преступления и вновь сталкивалась с неразрешимой загадкой. Потом я неожиданно заснула, словно провалилась в пропасть, как человек, который, прыгая через нее, не рассчитал прыжка и внезапно рухнул в пустоту.

Должно быть, я проспала часа два, а потом проснулась. Вернее, начало просыпаться мое тело, а рассудок, охваченный каким-то оцепенением, все еще дремал. Как слепая, я вытянула вперед руки, не узнавая места, где нахожусь. Я заснула на постели, а теперь стояла в каком-то тесном углу, зажатая внутри гладких, вертикальных, наглухо запертых стен. И в ту же минуту я подумала о тюремной камере, я вспомнила о служанке, которую Джино засадил в тюрьму. Я оказалась на ее месте, моя душа болела от несправедливости, жертвой которой стала она. И от этой боли я почти физически ощущала себя той самой служанкой, мне казалось, что боль преобразила меня, наделила меня ее лицом, заключила меня в ее телесную оболочку, вынудила совершать ее поступки. Закрыв лицо руками, я оплакивала себя, думая о несправедливости моего заточения, и знала, что мне ни за что не выбраться из тюрьмы. Но в то же время я чувствовала себя прежней Адрианой, по отношению к которой

никто не был несправедлив и которую никто не заключал в тюрьму; и я понимала, что достаточно мне сделать один жест, чтобы освободиться и перестать быть служанкой. Но что именно я должна сделать, я не знала, хотя несказанно мучилась, желая выйти из этого заточения жалости и тоски. Потом внезапно имя Астариты вспыхнуло в моем мозгу, так после сильного удара в глаз человека вдруг, словно молния, ослепляет острая боль.

«Пойду к Астарите и попрошу освободить ее», — подумала я, потом протянула руки и тотчас же почувствовала, что стены тюремной камеры раздвинулись, образовался узкий проход и я могу выйти. Я проделала несколько шагов в темноте, нащупала выключатель и судорожно его повернула. Комнату залил яркий свет. Тяжело дыша, я стояла голая возле двери, тело и лицо были покрыты холодным потом. То, что я приняла за тюремную камеру, оказалось всего-навсего пространством между шкафом, стеною и комодом, которые, отгораживая часть спальни, образовывали узкий закуток. В полусне я встала, прошла вперед и забилась в этот угол.

Я снова погасила свет и, осторожно ступая, пошла к постели. Прежде чем заснуть, я подумала, что воскресить ювелира я, конечно, не смогу, но могу спасти или по крайней мере попытаться спасти служанку и сейчас нет ничего важнее этого. Теперь, когда я поняла, что я не такая уж добрая, какой считала себя, я обязана была сделать это во что бы то ни стало. Во всяком случае, моя доброта прекрасно уживалась с наслаждением, которое я испытывала от кровопролития, с восхищением перед насилием и даже с тем непонятным удовольствием, с которым я слушала рассказ о совершенном преступлении.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

На следующее утро я тщательно оделась, положила пудреницу в сумку и вышла из дома с намерением позвонить Астарите по телефону. Как ни странно, но я чувствовала себя очень легко, тоска, которую накануне вечером навеяла на меня исповедь Сонцоньо, окончательно исчезла. Позднее мне не раз приходилось убеждаться в том, что тщеславие — самый страшный враг человеколюбия и доброты. Именно тщеславие, а не ужас и страх испытывала я при мысли, что я — единственный человек во всем городе, которому известно, как произошло убийство и кто его совершил. Я говорила себе: «Я знаю, кто убил

ювелира», и мне казалось, что я смотрю на людей и на вещи совсем иными глазами, чем вчера. Я подумала даже, что во мне, очевидно, тоже произошли перемены, я боялась, что на моем лице можно прочесть тайну Сонцоньо. Одновременно я испытывала сладкое, непреодолимое желание поведать кому-нибудь все, что я знала. Эта тайна переполняла мою душу, готовая вылиться наружу, как вода из тесного сосуда, и мне хотелось перелить ее в чью-то чужую душу. Думаю, что именно такое состояние толкает преступников на исповедь, они рассказывают о своих преступлениях любовницам или женам, а те в свою очередь делятся секретом с близкими друзьями, те — со своими, и так далее, пока слух не дойдет до полиции, и тогда всему конец. А кроме того, сознаваясь в своих грехах, преступники пытаются таким образом взвалить часть невыносимой тяжести на других людей. Словно вина — это ноша, которую можно делить и делить на части и взваливать на плечи разных людей, пока она не станет совсем легкой и незначительной. А в действительности все происходит иначе: бремя неделимой ноши отнюдь не уменьшается от того, что его взваливают на чужие плечи, а, наоборот, становится все тяжелее, чем большее число людей принимают его на себя.

Шагая по улице в поисках телефона-автомата, я купила несколько газет, в которых впервые прочла сообщение об убийстве на улице Палестро. Но с того времени прошло уже несколько дней, и в газетах я обнаружила всего пять-шесть строк под заголовком: «Ничего нового об убийстве ювелира». Я поняла, что если Сонцоньо не наделает глупостей, то он может спать спокойно: преступление не раскроется. Полиции, которая ведет расследование, не так-то легко найти убийцу, поскольку ювелир сам занимался темными и незаконными сделками. Ювелир, как сообщали газеты, вел по большей части тайные дела с людьми всех слоев и всех сословий; убийца мог оказаться совсем незнакомым ему человеком и совершить преступление неумышленно. Это предположение было ближе всего к истине. И именно оно давало всем понять, что полиция вынуждена отказаться от поисков виновного.

Я зашла в кафе, где был телефон-автомат, и набрала номер Астариты. Прошло по меньшей мере месяца полтора, как я звонила ему в последний раз, и, должно быть, я застала его врасплох, потому что сперва он не узнал моего голоса и начал говорить тем непринужденным тоном, каким обычно разговаривал у себя в кабинете. В первую минуту у меня даже мелькнула мысль, что он вообще не хочет больше знать меня, и, от-

кровенно говоря, сердце мое ёкнуло при мысли о служанке, сидевшей в тюрьме, и о роковом для меня стечении обстоятельств: именно теперь, когда я так нуждалась в Астарите, который мог вмешаться и спасти эту бедную женщину, он разлюбил меня. Однако я обрадовалась, что всерьез беспокоюсь о судьбе служанки, ведь это свидетельствовало о том, что я не утратила свою доброту, и доказывало, что я, несмотря на мою связь с убийцей Сонцоньо, в общем-то, осталась прежней Адрианой, кроткой и отзывчивой, как всегда.

Я робко назвала Астарите свое имя, и тотчас же, к великой моей радости, услышала, как изменился его голос, как он стал запинаться и что-то мямлить. Признаюсь, что я почувствовала к нему дружеское расположение, ведь такая любовь всегда льстит женщине, а сейчас она внесла в мою душу успокоение и наполнила чувством благодарности. Я говорила с ним непривычно ласково, назначила ему свидание, он пообещал непременно прийти, и я вышла из кафе.

Всю прошедшую кошмарную для меня ночь беспрерывно лил дождь. Сквозь сон я слышала, как назойливый шум дождя сливался со свистом ветра, отгораживая наш дом завесой непогоды, отчего еще безнадежнее становилось мое одиночество, еще сильнее сгущался вокруг меня мрак. Но к утру дождь прекратился, а ветер, собрав последние силы, разогнал тучи, и сразу же проглянуло прозрачное небо, свежим стал воздух, застывший в неподвижности. Поговорив по телефону с Астаритой, я пошла прогуляться по платановой аллее, любуясь первыми лучами солнца. После дурно проведенной, беспокойной ночи у меня осталось легкое головокружение, но от свежего воздуха оно скоро прошло. Я от души наслаждалась прекрасным утром, и все предметы, на которых задерживался мой взгляд, казались мне особенно привлекательными, очаровывали меня и радовали. Я любовалась влажными бороздками, которые окаймляли уже подсохшие каменные плиты мостовой; любовалась стволами платанов, их корой из белых, зеленых, желтых, коричневых чешуек, блестевших издали, как золото; любовалась фасадами домов, еще хранившими следы ночного омовения — большие мокрые пятна; я с удовольствием поглядывала на утренних прохожих, на мужчин, спешивших на работу, женщин с хозяйственными сумками, детишек с книгами и ранцами, их вели в школу родители или старшие братья. Я остановилась и подала милостыню старому нищему, и, пока я шарила в сумочке, ища мелочь, глаза мои с жалостью разглядывали его потертую военную шинель, заплаты на локтях и

на вороте. Заплаты были серые, коричневые, желтые, ярко-зеленые, и я загляделась на них и на крупные черные стежки, которыми были крепко пришиты заплаты; я вдруг подумала о той работе, которую этот нищий проделал в один из таких вот утренних часов: он вырезал ножницами порванный кусок, выкраивал заплату из какой-нибудь старой тряпки, прикладывал ее к дыре и старательно пришивал. Мне было приятно смотреть на эти заплаты, как приятен голодному вид только что испеченного хлеба, и, уходя, я оглянулась еще раз и посмотрела на нищего. В эту минуту я подумала: как было бы прекрасно, если бы вся жизнь стала похожа на это утро, такое ясное, чистое и радостное, если бы наша жизнь была отмыта от темных пятен и мы могли бы с любовью глядеть вокруг, пусть даже нашему взору открывались бы самые обыденные картины. От этих дум ко мне вернулось желание, так долго и молчаливо дремавшее в моей душе, желание спокойной семейной жизни с мужем в новом, светлом и чистом доме. Я поняла, что не люблю свое ремесло, хотя благодаря своей противоречивой натуре выбрала именно это занятие. Я подумала, что мое ремесло никак не назовешь чистым: вокруг меня, на моем теле, на моих пальцах, на моей постели как будто оставались следы пота, мужского семени, порочной страсти, липкой испарины, которые, сколько бы я ни мылась и как бы тщательно ни убирала комнату, казалось, всегда присутствуют здесь. И еще я подумала, что мои ежедневные раздевания и одевания на глазах разных клиентов мешают мне воспринимать свое тело с тем чувством радости и интимности, которое испытывала я еще девушкой, когда купалась или разглядывала себя в зеркале. До чего же приятно смотреть на свое тело как на нечто вечно новое, незнакомое, которое само по себе развивается, наливается силой и красотой; а я, стараясь каждый раз поразить этой новизной своих любовников, навсегда лишила себя этого удовольствия.

Под влиянием таких мыслей преступление Сонцоньо, коварство Джино, несчастье, случившееся со служанкой, и сеть интриг, опутавших меня, вновь показались мне прямыми последствиями моей неправедной жизни; последствия эти были лишены особого смысла, отнюдь не возлагали на меня вины, но с ними можно было покончить лишь в том случае, если бы я сумела осуществить все мои прежние мечты о семейной жизни. Мне ужасно захотелось быть праведной во всех отношениях: жить в мире с моралью, которая не позволяет заниматься моим ремеслом; жить в мире с природой, которая требует, чтобы

женщина моего возраста имела детей; жить в мире с эстетическим вкусом, который требует, чтобы люди окружали себя красивыми вещами, одевались в новые изящные платья, жили в светлых, чистых и уютных домах. Но одно исключало другое, и если я хотела жить в мире с моралью, то не могла бы жить в мире с природой, а эстетический вкус одновременно противоречил и морали и природе. И при этой мысли я испытала привычную досаду, преследовавшую меня всю жизнь, я имею в виду вечное сознание своей нищеты, которую можно побороть, лишь только принеся в жертву самые светлые чаяния. Но кроме того, я поняла, что еще не окончательно примирилась со своею судьбой, и это вселило в меня новую веру в будущее; я подумала, что, как только мне представится случай переменить жизнь, он не будет для меня неожиданностью и я вполне сознательно воспользуюсь им без колебаний.

Я назначила свидание с Астаритой на полдень, в это время он как раз уходил со службы. В моем распоряжении было еще несколько часов, и я, не зная, чем заняться, решила навестить Джизеллу. Я уже давно не виделась с нею и подозревала, что в ее жизни кто-то занял место Риккардо, игравшего роль не то жениха, не то любовника. Джизелла, как и я, надеялась рано или поздно упорядочить свою жизнь, думаю, что это общая мечта всех женщин моей профессии. Меня вела к этому природная склонность, а Джизелла, которая придавала непомерно большое значение мнению людей, главным образом заботилась о соблюдении внешних приличий. Она стыдилась, что другим известно, кто она такая — в этом все дело, — хотя в отличие от меня привела ее к этому ремеслу более сильная, чем моя, склонность к такой жизни. Я же, наоборот, не испытывала никакого стыда, а лишь иногда, в редкие моменты чувствовала себя униженной и оскорбленной.

Дойдя до дома Джизеллы, я стала подниматься по лестнице. Но меня остановил голос привратницы:

— Вы к синьорине Джизелле? Она здесь больше не живет.

— А куда она переехала?

— На улицу Касабланка, номер семь.

Улица Касабланка размещалась в новом районе.

— Приехал какой-то блондин на машине, они взяли вещи и уехали.

Я тотчас же подумала, что пришла сюда именно за тем, пришла услышать эти слова: Джизелла уехала с каким-то синьором. Не знаю почему, но я вдруг почувствовала сильную усталость, ноги подкосились, и я схватилась за дверной косяк,

чтобы не упасть. Но я постаралась взять себя в руки и, подумав, решила разыскать Джизеллу по новому адресу. Я села в такси и попросила шофера отвезти меня на улицу Касабланка.

Машина увозила нас все дальше от центра города, от его узких улочек, где, тесно прижавшись друг к другу, стоят старинные дома. Улицы постепенно расширялись, разветвлялись, стекались воедино, образуя площади, затем опять расширялись, дома здесь были сплошь новые, и между ними проглядывали зеленые полоски бывших полей. Я понимала, что моя поездка к Джизелле носит невеселый, даже тягостный характер, и от этого мне делалось все грустнее и грустнее. И вдруг я вспомнила, как старалась Джизелла совратить меня с пути истинного и сделать такой, какой была сама; я невольно так же естественно, как кровоточит незажившая рана, начала плакать.

Когда я вышла из такси в самом конце улицы, глаза мои блестели и щеки еще были мокры от слез.

— Не надо плакать, синьорина,— сказал шофер.

Я только покачала головою и пошла к дому Джизеллы.

Передо мной выросло ослепительно белое современное знание, построенное совсем недавно, о чем свидетельствовали бочки, бревна и лопаты, сваленные в кучу в маленьком с жидкой растительностью садике, и пятна известки на решетчатых воротах. Я вошла в белый и пустой вестибюль, лестница тоже оказалась белой, а сквозь матовые стекла проникал мягкий свет. Привратник, молодой рыжий парень в рабочем комбинезоне, ничуть не похожий на обычных старых и грязных привратников, распахнул дверцы лифта, я вошла, нажала кнопку и начала подниматься вверх. В лифте приятно пахло свежим деревом и лаком. Даже в шуме лифта слышалось что-то новое, как в моторе, который работает недавно. Я поднималась на последний этаж, и по мере того, как лифт шел вверх, становилось все светлее и светлее, будто в доме вообще не было крыши, а лифт летел прямо в небо. Потом он остановился, я вышла в очутилась на ослепительно белой площадке, залитой ярким солнцем. Прямо передо мной была светлого дерева дверь с блестящей медной ручкой. Я позвонила, дверь открыла худенькая миловидная служанка, брюнетка в кружевной наколке и вышитом переднике.

— К синьорине Де Сантис, — произнесла я, — скажите ей, что пришла Адриана.

Служанка оставила меня одну, а сама направилась в конец коридора к двери с матовыми стеклами, такими же, как в окнах на лестнице. Этот коридор тоже был весь белый и пустой,

как и вестибюль; я решила, что в квартире комнаты четыре, не больше. От калорифера шло приятное тепло, поэтому еще сильнее чувствовался резкий запах свежей штукатурки и масляной краски. Наконец стеклянная дверь в конце коридора распахнулась и служанка сказала, что я могу войти. Сперва, как только я вошла в комнату, я ничего не могла разглядеть, так как сквозь широкое окно, которое, казалось, занимало всю противоположную стену, врывался поток ослепительно ярких лучей зимнего солнца. Квартира находилась на самом верхнем этаже, и в окно глядело сверкающее голубое небо. На мгновение я словно забыла о цели своего визита и испытала такое удовольствие, что даже зажмурилась от этого золотистого, как старое вино, солнечного света. Но голос Джизеллы вывел меня из оцепенения. Она сидела возле окна у столика, уставленного флакончиками, а маленькая седая женщина делала ей маникюр. Джизелла с обычной своей наигранной непринужденностью воскликнула:

— Ах, это ты, Адриана... садись... обожди минуточку.

Я села возле двери и огляделась вокруг. Комната со стеклянной стеной была длинная и узкая. По правде говоря, мебели в ней было немного: только стол, буфет и несколько стульев светлого дерева, но зато все новое, а главное, все залито солнцем. Солнце придавало окружающему какое-то великолепие, и я невольно подумала, что только в богатых домах бывает такое солнце. Испытывая почти чувственное наслаждение и ни о чем не думая, я прикрыла глаза. Вдруг что-то тяжелое и мягкое вспрыгнуло ко мне на колени, я раскрыла глаза и увидела огромного кота неизвестной мне породы, с длинной и мягкой шелковистой шерсткой, серого, даже, пожалуй, голубоватого цвета, с крупной мордочкой, сердитое и важное выражение которой мне не понравилось. Кот принялся тереться о мое плечо, задрал кверху пушистый, как плюмаж, хвост и хрипло мяукнул. Наконец он свернулся у меня на коленях и замурлыкал.

— Какой красавец, — сказала я, — что это за порода?

— Это персидский кот, — гордо ответила Джизелла, — они очень дорогие... цена на них доходит до тысячи лир.

— Никогда еще не видела такого, — сказала я, гладя кота по спинке.

— Знаете, у кого точно такой кот? — вмешалась маникюрша. — У синьоры Радаэлли... и видели бы вы, как она за ним ухаживает... прямо как за ребенком. На днях она даже опрыскала его духами из пульверизатора... а педикюр будете делать?

— Нет, Марта, на сегодня хватит, — сказала Джизелла.

Маникюрша собрала свои инструменты и пузырьки в чемоданчик, попрощалась с нами и вышла из комнаты.

Мы остались одни и посмотрели друг на друга. Джизелла показалась мне тоже какой-то новой, как и весь дом. На ней был красивый красный свитер ангорской шерсти и бежевого цвета юбка, этих вещей я раньше у нее не видела. Она немного располнела, особенно в груди и бедрах. Веки у нее чуть-чуть припухли, и это придавало ей несколько угрюмый вид. Она была похожа на человека, который хорошо ест, много спит и ни о чем не думает. Она некоторое время разглядывала свои ногти, а потом в упор спросила:

— Ну, что скажешь? Как тебе нравится мой дом?

Я никогда не была завистливой. Но на сей раз впервые в жизни позавидовала и удивилась, как это некоторые люди могут всю жизнь таить в душе подобное чувство, которое казалось мне не только неприятным, но и унизительным. Мое лицо начало подергиваться, словно от нервного тика, оно сразу будто осунулось, и я не могла даже улыбнуться и сказать Джизелле обыкновенные вежливые слова. А сама Джизелла внушала мне непреодолимое отвращение. Мне хотелось сказать ей что-нибудь обидное, унизить ее, уколоть, в общем, хоть как-то омрачить ее радость.

«Что это со мною? — подумала я растерянно, машинально продолжая гладить кота. — Неужели это я?»

К счастью, это состояние продолжалось недолго. Из глубины души уже поднялось и бросилось на борьбу с завистью мое обычное добродушие. «Джизелла — моя подруга, — думала я, — ее судьба не может оставить меня равнодушной, я должна за нее радоваться». Я представляла себе, как Джизелла впервые вошла в этот новый дом и захлопала от радости в ладоши, и в ту же самую минуту холодное и сковывающее чувство зависти покинуло меня, я вновь ощутила тепло ласкового солнца, будто оно проникло в самую глубину моей души.

Я сказала:

— И ты еще спрашиваешь! Чудесный дом, просто душа радуется... но как все это произошло?

Очевидно, я произнесла эти слова искренне и даже улыбнулась, скорее себе, чем Джизелле, в награду за то, что преодолела свою зависть. Джизелла ответила важным, доверительным тоном:

— Помнишь Джанкарло, этого блондина, с которым я сразу же сцепилась? Ну, так он вернулся ко мне... он оказался куда

лучше, чем можно было предположить с первого взгляда... потом мы встречались... много раз... несколько дней тому назад он сказал: пойдем, я хочу сделать тебе сюрприз... я, признаться, решила, что он хочет купить мне какой-нибудь подарок, сумочку там или духи... но он посадил меня в машину, привез сюда, ввел в этот дом — он еще не был заселен... Я подумала, это его квартира... а он спросил меня, нравится ли мне тут. Я ответила «да», но, разумеется, ни о чем даже не подозревала... а он мне говорит: эту квартиру я купил для тебя... можешь себе представить, что со мною было!

Она рассмеялась и с гордостью огляделась вокруг. Я порывисто встала, подошла к ней и обняла:

— Я так рада... очень рада... По-настоящему рада за тебя.

Эти слова и жест окончательно рассеяли мою неприязнь. Я приблизилась к окну и выглянула наружу. Дом стоял на возвышении, внизу без конца и края тянулись ровные поля, пересеченные извилистой рекой, там и тут раскинулись рощи, риги, невысокие холмы. Только с одной стороны стояло несколько белых зданий, последний кусок городской окраины. Там на горизонте, где светлое небо сходилось с землей, четко вырисовывались голубые горы. Обернувшись к Джизелле, я сказала:

— Какой отсюда прекрасный вид!

— Тебе правда нравится? — спросила она, потом подошла к буфету, вынула два маленьких бокала, пузатую бутылку и поставила на стол. — Выпьешь немного ликера? — спросила она небрежно.

Чувствовалось, что роль хозяйки дома доставляла ей огромное удовольствие.

Мы сели за стол и молча начали тянуть ликер. Я понимала, что Джизелла смущена, и мне захотелось помочь ей выйти из затруднительного положения. Я ласково сказала:

— Однако ты не очень хорошо поступила со мною... почему ты мне ничего не рассказала?

— У меня времени не хватило, — торопливо ответила она, — потом, знаешь, в связи с переездом я была очень занята покупками, пришлось покупать самые необходимые вещи, мебель, белье, посуду... у меня не было ни одной свободной минутки... обставлять квартиру — это ведь не шутка.

Разговаривая, она жеманно поджимала губы, подражая синьорам из хорошего общества.

— Я тебя отлично понимаю, теперь, когда ты получила все это и устроилась хорошо, тебе неприятно встречаться со мною... ты меня стыдишься, — сказала я без всякого ехидства и оби-

ды, будто речь шла о вещах, которые меня совершенно не касались.

— Ничуть я тебя не стыжусь, — ответила она с раздражением, и мне показалось, ее обидели не столько мои слова, сколько мой спокойный тон, — если ты так думаешь, значит, ты просто дурочка... Конечно, теперь мы не сможем встречаться, как раньше... я хочу сказать, не сможем ходить вместе и все такое прочее... если он узнает, мне придется худо.

— Будь спокойна, — все так же ласково сказала я, — больше ты меня не увидишь. Сегодня я пришла лишь для того, чтобы узнать, что с тобою случилось.

Она сделала вид, что не расслышала мои слова, и тем самым я укрепилась в своих предположениях. С минуту мы обе молчали. Потом она спросила меня с деланным участием:

— Ну, а как ты?

И тотчас же я почему-то подумала о Джакомо и сама удивилась своим мыслям. Прерывающимся голосом я ответила:

— Я? Ничего... как всегда.

— Как Астарита?

— Виделась с ним несколько раз.

— А Джино?

— С ним все кончено.

При мысли о Джакомо сердце мое сжалось. Но Джизелла по-своему поняла мое смущение, она, видимо, объясняла это тем, что я огорчена ее удачей и ее пренебрежительным отношением ко мне. После недолгого размышления она сказала преувеличенно озабоченным тоном:

— И все же я уверена, что, если бы ты только пожелала, Астарита устроил бы тебе такой же дом.

— Но я не собираюсь иметь дело ни с Астаритой, ни с кем-либо другим, — спокойно ответила я.

Джизелла недоверчиво взглянула на меня.

— Почему? Ты не хочешь иметь такую же квартиру?

— Квартира прекрасная, — ответила я, — но я решила быть свободной.

— Я и свободна, — сердито бросила она, — свободнее тебя... целый день что хочу, то и делаю.

— Я имею в виду не такую свободу.

— А какую же?

Я поняла, что обидела ее уже тем, что мало восхищалась домом, предметом ее гордости. Но объяснять ей, что дело не в доме, что в действительности я не желаю связывать свою жизнь с нелюбимым человеком, значило бы снова обидеть ее, и даже

сильнее прежнего. Я предпочла переменить разговор и поспешно сказала:

— Покажи-ка мне лучше квартиру... сколько у тебя комнат?

— А тебе-то на что? — огрызнулась она. — Ты сама же говорила, что не хочешь иметь такую квартиру.

— Я вовсе этого не говорила, — спокойно возразила я, — у тебя прекрасный дом, дай бог, чтобы у меня был такой.

Она молча сидела, опустив голову.

— Значит, ты не будешь показывать мне свой дом? — вяло проговорила я спустя минуту.

Джизелла подняла глаза, и я с удивлением увидела, что они полны слез.

— Какая же ты подруга? Видно, только прикидывалась, — внезапно воскликнула она, — ты... ты... готова лопнуть от зависти... и теперь хочешь опорочить мой дом, чтобы сделать мне больно!

Она захлебывалась рыданиями, все лицо ее было мокро от слез. Плакала она от досады, на сей раз мучилась завистью она сама, и эта бессмысленная зависть Джизеллы невольно оскорбляла мою безнадежную любовь к Джакомо и наш разрыв, который я так переживала; но именно потому, что я хорошо понимала Джизеллу, я пожалела ее. Я встала, подошла к ней, положила руку ей на плечо.

— Зачем ты так говоришь... я вовсе не завидую... мне просто хотелось другой жизни... вот и все... но я рада, что тебе хорошо, а теперь, — добавила я, обнимая ее, — покажи мне остальные комнаты.

Джизелла высморкалась и, уже успокаиваясь, сказала:

— Их всего четыре... они почти пустые.

— Пойдем посмотрим.

Она встала, пошла впереди меня по коридору и, открывая поочередно все двери, показала мне спальню, где стояли лишь кровать и кресло, показала пустую комнату, где собиралась поставить еще одну кровать — «для гостей», показала комнатку служанки, просто маленькую каморку. Все это она проделывала в каком-то раздражении, распахивала двери и кратко объясняла назначение каждой комнаты. Но ее досада уступила место гордости, когда дело дошло до ванной комнаты и кухни, облицованных кафелем, с новой электрической плитой и сверкающими кранами. Она объяснила мне, как пользоваться плитой, нахваливала ее преимущества перед газовой, уверяла, что она гораздо чище и удобнее; и хотя в душе мне все это было без-

различно, я притворилась заинтересованной, выражая свое восхищение и удивление громкими возгласами. Джизелла, видимо, осталась довольна моим поведением и, когда мы закончили осмотр, предложила:

— А теперь вернемся... и выпьем еще по рюмочке.

— Нет, нет, — ответила я, — мне пора уходить.

— Куда ты так спешишь? Посиди еще немного.

— Не могу.

Мы стояли в коридоре. С минуту она колебалась, потом сказала:

— Ты обязательно приходи ко мне... знаешь, что мы с тобой устроим? Он часто уезжает из Рима, я тебя извещу, а ты приведешь двух своих дружков и мы славно повеселимся...

— А вдруг он узнает?

— Откуда он узнает?

Я ответила:

— Ладно... договорились.

Теперь я в свою очередь заколебалась, а потом осмелела и задала ей вопрос:

— Кстати, скажи... он тебе ничего не говорил о своем друге, с которым был в тот вечер?

— О том студенте? Почему ты спрашиваешь? Он тебя интересует?

— Нет, я просто так.

— Мы его видели вчера вечером.

Я не смогла скрыть волнения и сказала прерывающимся голосом:

— Послушай... если ты его увидишь... скажи, чтобы он зашел ко мне... Но это так, между прочим.

— Ладно, скажу, — ответила Джизелла и подозрительно взглянула на меня. А я смешалась под ее взглядом, ибо мне казалось, что на моем лице слишком явно написана любовь к Джакомо. По ее тону я поняла, что она и не подумает выполнить мою просьбу. В порыве отчаяния я открыла дверь, попрощалась с Джизеллой и быстро, не оглядываясь стала спускаться по лестнице. На втором этаже я вдруг остановилась, прислонилась к стенке и посмотрела вверх.

«Зачем я ей сказала? — подумала я. — Что со мною случилось?»

И, опустив голову, я пошла вниз.

Я назначила свидание Астарите у себя. Когда я добралась до дома, то была совершенно без сил, я уже отвыкла выходить по утрам, яркий солнечный свет и уличная суматоха утомили

меня. Меня не огорчила встреча с Джизеллой, я уже выплакала все слезы, когда ехала к ней в такси. Дверь мне открыла мама и сказала, что Астарита ожидает меня уже около часа. Я вошла прямо в свою комнату и села на кровать, не обращая внимания на него; он стоял возле окна и смотрел во двор. С минуту я сидела неподвижно, прижав руку к груди и тяжело дыша: я слишком быстро поднялась по лестнице. Я сидела спиной к Астарите и рассеянно смотрела на дверь. Астарита поздоровался, но я не ответила. Он подошел, присел возле меня и обнял за талию, пристально глядя мне в глаза.

Из-за всех своих забот я совсем забыла, как он необуздан и пылок. Меня охватила острая неприязнь.

— А ты всегда этого хочешь? — начала я сдавленным голосом, отстраняясь от него.

Он ничего не ответил, но взял мою руку и, глядя на меня исподлобья, поднес ее к губам. Мне показалось, что я схожу с ума, и я вырвала руку.

— Ты всегда этого хочешь? — повторила я. — И даже утром?.. И после того, как все утро работал? И натощак? И перед обедом?.. Знаешь, ты просто какой-то необыкновенный.

Губы его задрожали, глаза расширились.

— Но я люблю тебя.

— Однако есть время для любви и есть время для всего прочего... я назначаю тебе встречу на час дня, надеясь, что ты поймешь, что речь идет не о любовном свидании, а ты... ты прямо ненормальный какой-то... и тебе не стыдно?

Он молча смотрел на меня. Мне вдруг показалось, что я слишком хорошо понимаю его состояние. Он был влюблен и ждал этого свидания бог знает сколько времени. Все эти дни, пока я выкарабкивалась из своих бед, он только и думал обо мне, о моих ногах, бедрах, о моей груди, о моих губах.

— Итак, — сказала я немного мягче, — если я сейчас разденусь...

Он кивнул головой в знак согласия. Я рассмеялась, правда, беззлобно, но презрительно.

— А тебе не приходит в голову, что мне может быть грустно или просто не до этого... что я голодна или устала... или же меня беспокоят какие-то свои заботы... эти мысли тебе не приходят в голову, а?

Он смотрел на меня, потом вдруг кинулся ко мне, сильно прижался, зарывшись лицом в мое плечо. Он не целовал меня, а только прижимал голову к моему телу, как будто хотел вобрать в себя все его тепло. Он тяжело дышал, и время от вре-

мени судорожные вздохи вырывались из его груди. Я перестала сердиться на него, его поведение будило во мне обычную растерянность, жалость и грусть. Когда я решила, что он уж слишком долго вздыхает, я оттолкнула его и сказала:

— Я позвала тебя по делу.

Он взглянул на меня, потом взял мою руку и начал ее гладить. Он был упрям, и для него действительно не существовало ничего, кроме его желания.

— Ты ведь связан с полицией, верно?

— Да.

— Так вот, прикажи арестовать меня, посади меня в тюрьму. — Эти слова я произнесла твердо, в эту минуту я в самом деле хотела, чтобы он так поступил.

— Почему? Что случилось?

— Случилось то, что я воровка, — решительно ответила я, — вышло так, что я украла, а вместо меня арестовали невинную... Поэтому прикажи арестовать меня... я охотно пойду в тюрьму... вот чего я хочу.

Он не удивился, но лицо его выразило досаду. Недовольно поморщившись, он сказал:

— Успокойся... и объясни, что произошло...

— Я же тебе говорю, что я воровка.

И я коротко рассказала ему о краже и о том, как вместо меня была арестована служанка. Я рассказала об обмане Джино, но не назвала его имени, сказала просто, что это «слуга». Мне не терпелось рассказать ему и о Сонцоньо, о его преступлении, но я сдержалась. Закончила я словами:

— Теперь выбирай... либо ты освободишь эту женщину из тюрьмы... либо я сегодня же явлюсь в полицейский комиссариат с повинной.

— Успокойся, — повторил он, поднимая руку, — что за спешка?.. Она в тюрьме, но ее еще пока не осудили... подождем.

— Нет... я не могу ждать... она в тюрьме, и ее, наверно, бьют... не могу я ждать... ты должен сейчас же все решить.

Он понял по моему тону, что я говорю вполне серьезно, с недовольным видом поднялся и сделал несколько шагов по комнате. Потом, словно разговаривая сам с собою, он произнес:

— Между прочим, тут еще это дело с долларами.

— Но она ведь не призналась... ведь доллары нашлись... можно сказать, что кто-то подстроил все из мести.

— А пудреница у тебя?

— Вот она,— сказала я, вынув ее из сумочки и протягивая ему.

Но он отказался:

— Нет, нет... отдашь ее не мне. — Он с минуту, видимо, раздумывал, а потом добавил: — Я могу освободить эту женщину из тюрьмы. Но полиция должна иметь доказательства, что она невиновна... как раз пудреница и может послужить таким доказательством.

— На, возьми пудреницу и верни ее хозяйке.

Он расхохотался неприятным смехом.

— Сразу видно, что ты ничего не понимаешь в таких делах... если я возьму пудреницу, я обязан арестовать тебя... иначе спросят, как это удалось Астарите получить краденую вещь, от кого, каким образом и так далее и тому подобное... нет и нет... вот что нужно сделать: доставить пудреницу в полицию, но не раскрывать своего имени.

— Можно послать ее по почте.

— По почте нельзя.

Он сделал несколько шагов по комнате, потом сел рядом со мною и сказал:

— Вот что ты должна сделать... знакома ты с каким-нибудь духовным лицом?

Я вспомнила о монахе-французе, которому исповедовалась после поездки в Витербо, и ответила:

— Да, у меня есть духовник.

— Ты до сих пор исповедуешься?

— Раньше исповедовалась.

— Итак, пойдешь к своему духовнику и расскажешь ему все, что рассказала мне... попроси его взять пудреницу и от твоего имени отнести в полицию... ни один духовник не откажется сделать это... он не обязан сообщать никаких данных, поскольку связан тайной исповеди... через день-другой я позвоню и все устрою... в общем, твою служанку освободят.

Я страшно обрадовалась и, не удержавшись, обняла его и поцеловала. Он продолжал говорить, но голос его уже снова дрожал от желания:

— Но не смей так больше поступать... если тебе нужны деньги, спроси у меня, и я...

— А когда пойти исповедаться, сегодня?

— Да, конечно.

Я долго сидела неподвижно, зажав пудреницу в руке и глядя в одну точку. На душе у меня стало легко, как будто я сама была на месте той служанки, и я подумала о том, какую огромную радость испытает служанка, когда ее выпустят на свободу, мне даже казалось, что это уже свершилось. Я не чувство-

вала больше печали, усталости и разочарования. Астарита тем временем гладил мою руку, пытаясь просунуть ладонь под рукав. Я обернулась к нему и, ласково глядя на него, спросила:

— Так уж тебе не терпится? — Он кивнул, не в силах произнести ни слова. — Ты не устал? — с притворной ласковостью, даже не стараясь скрыть издевки, спросила я, — не думаешь ли, что уже поздно... и не лучше бы было отложить до другого раза? — Он отрицательно покачал головой. — Итак, ты очень сильно любишь меня? — спросила я.

— Ты же сама знаешь, как я люблю тебя, — ответил он тихим голосом, пытаясь обнять меня.

Я вырвалась и сказала:

— Подожди.

Поняв, что я уступила, он тут же успокоился. Я встала, медленно направилась к двери и заперла ее на ключ. Потом подошла к окну, открыла его, прикрыла жалюзи и снова закрыла рамы. Он следил за мною взглядом, а я лениво и плавно двигалась по комнате, все время чувствуя на себе его взгляд и понимая, как должна была обрадовать его моя неожиданная уступка. Прикрыв окно и тихо напевая, с веселым и непринужденным видом я сняла пальто и убрала его в шкаф. Затем, не переставая петь свою тихую песню, я взглянула на себя в зеркало. Никогда еще я не казалась себе такой красивой, глаза блестели, ноздри трепетали, полуоткрытый рот обнажал белые ровные зубы. Я поняла, что все это потому, что я была довольна собой и чувствовала себя доброй; я запела громче, а сама тем временем расстегивала платье, начиная с нижних крючков. Напевала я очень глупую модную в то время песенку: «Люблю я эту песню, весь день ее пою: ля-ля, ля-ля, лю-лю, лю-лю...» — и этот нелепый припев казался мне похожим на нашу жизнь, которая тоже — в этом нет никакого сомнения — нелепа, но в какие-то минуты кажется нам приятной и волшебной. И вдруг, когда я уже расстегнула все крючки, кто-то постучал в дверь,

— Нельзя, — спокойно произнесла я, — погоди немного.

— Очень срочное дело, — ответил мамин голос.

У меня возникло смутное подозрение, я подошла к двери и, приоткрыв ее, выглянула наружу.

Мама сделала мне знак, чтобы я вышла и закрыла за собой дверь. В темной прихожей она шепнула мне:

— Там пришел один человек, он хочет во что бы то ни стало тебя видеть.

— А кто это?

— Не знаю, молоденький брюнет.

Я осторожно приоткрыла дверь мастерской и заглянула туда. Прислонившись к столу, ко мне спиной стоял мужчина. Я тотчас же узнала Джакомо и быстро прикрыла дверь. Маме я шепнула:

— Скажи ему, что я сейчас приду... и не выпускай его из комнаты.

Мама ответила, что так и сделает, а я вернулась в спальню. Астарита все еще сидел на кровати.

— Скорее собирайся, — сказала я, — скорее... тебе, к сожалению, придется уйти.

Он заволновался и что-то пробормотал, очевидно протестуя против моего решения. Но я прервала его:

— Моя тетка шла по улице, и ей стало плохо... мы с мамой должны немедленно поехать в больницу... уходи скорей.

Ложь была слишком явной, но в ту минуту я не могла придумать ничего лучшего. Он ошалело смотрел на меня, почти не веря в свою неудачу. Я заметила, что он уже успел снять ботинки и стоял на полу в полосатых носках.

— Почему ты на меня так смотришь? Уходи, — настаивала я раздраженно.

— Хорошо... Ухожу... — сказал он и нагнулся за ботинками. Я стояла возле него, уже приготовив пальто. Но я понимала, что надо пообещать ему встретиться снова, если я хочу, чтобы он помог освободить служанку. И я сказала, помогая ему надевать пальто:

— Послушай... я совсем потеряла голову... приходи завтра вечером... после ужина... мы спокойно проведем время... сегодня все равно пришлось бы сразу тебя выпроводить... Так что все к лучшему.

Он молчал, и я довела его до двери, держа за руку, как будто он был здесь впервые, я просто боялась, что он войдет в мастерскую и увидит Джакомо. На пороге я сказала:

— Знаешь, я сегодня же схожу к духовнику.

Он кивнул головой, выражая свое согласие. На его застывшем лице было написано разочарование. Я не стала ждать его прощальных слов и, сгорая от нетерпения, захлопнула дверь перед самым его носом.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Подойдя к мастерской и уже взявшись за ручку двери, я внезапно остановилась, предчувствуя, что между мною и Джакомо непременно возникнут такие же ужасные отношения,

какие существовали между мною и Астаритой. То чувство покорности, трепета и слепой страсти, которое Астарита питает ко мне, я сама испытываю к Джакомо; и хотя я отдавала себе отчет в том, что если я хочу заставить его полюбить меня, то должна вести себя совсем иначе, тем не менее, находясь рядом с Джакомо, я никак не могла отделаться от чувства зависимости, стеснения, беспокойства. Чем объяснялось такое унизительное состояние, сама не знаю; знай я это, я бы постаралась преодолеть его. Однако чутьем я понимала, что мы разные люди, я была тверже Астариты, но слабее Джакомо. И как что-то мешало мне любить Астариту, так и Джакомо что-то мешало полюбить меня. И как любовь Астариты ко мне, так и моя любовь к Джакомо началась несчастливо и закончится еще несчастливей. Сердце бешено колотилось в моей груди, мне не хватало воздуха, и я, еще не видя Джакомо и не говоря с ним, уже боялась сделать опрометчивый шаг, обнаружить перед ним свое беспокойство и свое желание понравиться ему и тем самым снова и безвозвратно потерять его. По-моему, самое страшное проклятие любви заключается в том, что она никогда не бывает взаимной: когда любишь, то не любят тебя, а когда любят тебя, то не любишь ты. Почти никогда сила любви и страсти двух влюбленных не бывает равной, хотя к этому идеалу стремятся все люди, каждый своим путем. Я знала это, и именно потому, что я любила Джакомо, он не любил меня. И я знала также, хоть и не желала себе в том признаться, что, как бы я ни старалась, что бы ни делала, никогда мне не удастся заставить его полюбить меня. Все эти мысли промелькнули в моей голове, пока я в нерешительности и волнении стояла у двери мастерской. Я чувствовала себя выбитой из колеи, готова была совершить самые ужасные, самые глупые поступки, и это в высшей степени сердило меня. Наконец я решилась и вошла.

Он все еще стоял в той самой позе, в которой я увидела его в щель: спиной к двери, прислонившись к столу. Но, услышав мои шаги, он обернулся и, окинув меня долгим внимательным я критическим взглядом, произнес:

— Я шел мимо и решил зайти... Может быть, не следовало этого делать?

Слова он произносил медленно, будто, прежде чем выговорить фразу, хотел хорошенько приглядеться ко мне. Я с тревогой ждала конца осмотра, боясь, что покажусь ему сейчас совсем другой, менее привлекательной, чем тот образ, что жил в его памяти и привел его ко мне после столь долгой разлуки. Но я осмелела, вспомнив, что несколько минут тому назад, смот-

рясь в зеркало, я показалась себе очень красивой. Я проговорила прерывающимся от волнения голосом:

— Ничего подобного... ты поступил очень хорошо... я как раз собиралась идти обедать... давай пообедаем вместе.

— А ты узнаешь меня? — спросил он чуть насмешливо. — Знаешь, кто я?

— И ты еще спрашиваешь, — глупо вырвалось у меня, и, прежде чем успела подумать и сдержать свой порыв, я, глядя на него с любовью, схватила его руку и поднесла ее к губам. Он смутился, а я обрадовалась. Я спросила тревожным и ласковым голосом: — Почему ты пропал, как в воду канул? И как тебе не совестно!

Покачав головою, он ответил:

— Я был очень занят.

Я совсем обезумела. Поцеловав его руку, я прижала ее к своей груди и сказала:

— Слышишь, как бьется мое сердце?

А сама в это время кляла себя в душе, понимая, что не должна так вести себя и говорить подобные слова. Лицо его досадливо сморщилось, и тогда я, испугавшись, быстро произнесла:

— Пойду надену пальто, я сейчас же вернусь... подожди меня.

Я была так взволнована и так боялась потерять его, что в прихожей поспешно заперла входную дверь, а ключ вытащила, так что, если бы он даже захотел уйти, пока я одевалась, ему бы это все равно не удалось. Потом я вошла в свою комнату, приблизилась к зеркалу и кончиком носового платка стерла краску под глазами и губную помаду. Затем снова подкрасила губы, но только чуть-чуть. Я вышла в прихожую за своим пальто, с минуту я постояла в растерянности и только потом вспомнила, что повесила его в шкаф. Я снова вернулась в комнату, сняла пальто с вешалки и надела его. Снова взглянув на себя в зеркало, я решила, что у меня слишком вызывающая прическа. Я быстро причесалась и уложила волосы так, как я носила их тогда, когда была еще невестой Джино. Пока я причесывалась, я клятвенно обещала себе, что с этой минуты буду подавлять восторженные порывы и строго следить за всеми своими поступками и словами. Наконец я была готова. Я вышла в прихожую, заглянула в мастерскую и позвала Джакомо.

Мы собрались уходить, но я заперла входную дверь на ключ, а потом от волнения забыла ее отпереть и таким образом сама себя выдала.

— Боялась, что я сбегу, — прошептал он, пока я в смущении искала ключ в сумочке. Он взял ключ у меня из рук и сам открыл дверь, покачивая головою и глядя на меня с выражением дружеской укоризны. Мое сердце забилось от радости, я сбежала за ним по лестнице, взяла его под руку и с тревогой спросила:

— Ты на меня не сердишься?

Он ничего не ответил.

На улице, залитой ярким солнечным светом, мы под руку пошли мимо домов и лавок. Идти рядом с ним казалось мне таким счастьем, что я совсем забыла о своих клятвах; и когда мы проходили мимо домика с башней, я сжала его пальцы, как бы повинуясь чьей-то чужой воле. Кроме того, я заметила, что все время забегаю вперед, чтобы заглянуть ему в лицо.

— Знаешь, я очень рада тебя видеть, — сказала я.

Скорчив свою обычную смущенную гримасу, он ответил:

— Я тоже рад. — Но в голосе его никакой радости не ощущалось.

Я до крови закусила губы и отдернула свою руку. Он, казалось, даже не заметил моего жеста и с рассеянным видом продолжал глядеть по сторонам. Но возле городских ворот он в нерешительности остановился и отрывисто бросил:

— Послушай, я должен тебе кое-что сказать.

— Говори.

— Я, по правде говоря, не думал заходить к тебе... и надо же случиться, что я как раз остался без гроша... поэтому давай-ка лучше распрощаемся. — И с этими словами он протянул мне руку.

Сначала меня охватил ужас. В растерянности я подумала: «Он сейчас уйдет от меня», и от страха потерять его я решила: единственное, что я могу сделать, — это повиснуть у него на шее и со слезами заклинать остаться. Но через минуту мои планы изменились: я решила воспользоваться тем самым предлогом, за который ухватился он, чтобы уйти от меня. Я подумала, что расплачусь за обоих сама. Мне даже понравилась эта мысль: платить за него, как другие платили за меня. Я уже не раз говорила о том чувственном трепете, который я испытывала, получая деньги. Теперь я обнаружила, что тратить их не меньшее удовольствие. И когда сталкиваются любовь и деньги — неважно, получаешь ты их или отдаешь, — то вопрос упирается не только в чистую выгоду.

— Да ты не беспокойся... я заплачу... смотри... у меня есть деньги! — горячо воскликнула я, открывая сумку и пока-

вывая ему ассигнации, которые положила туда накануне вечером.

— Но так не годится, — разочарованно сказал он.

— Да какое это имеет значение, ты вернулся, и я просто хочу отпраздновать твое возвращение.

— Нет... нет... лучше не надо. — Он хотел попрощаться со мною и уже собрался уходить.

На сей раз я взяла его за руку.

— Пойдем-ка и не будем больше говорить об этом. — Я решительно направилась к остерии.

Мы сели за тот самый столик, за которым сидели в прошлый раз, и все было как прежде, только теперь лучи зимнего солнца проникали сквозь стеклянную дверь и освещали столики и стены. Хозяин принес нам меню, и я заказала обед уверенным и покровительственным тоном, именно так вели себя мои кавалеры со мною. Джакомо тем временем сидел молча, опустив глаза. Я забыла заказать вино, так как сама его не пила, а потом, вспомнив, что в прошлый раз он пил, я снова позвала хозяина и приказала подать литр вина.

Как только хозяин удалился, я открыла сумку, вытащила бумажку в сто лир, сложила ее вчетверо и, оглядевшись по сторонам, протянула под столом своему спутнику.

Он вопросительно посмотрел на меня.

— Это деньги, — шепнула я, — после обеда расплатись.

— А-а, деньги, — произнес он медленно, взял купюру, развернул ее на столе, оглядел, потом снова свернул, открыл мою сумку и положил туда деньги. Все это он проделал с иронической серьезностью.

— Ты хочешь, чтобы я сама заплатила? — спросила я смущенно.

— Нет, платить буду я, — спокойно ответил он.

— Но зачем же ты тогда сказал, что у тебя нет денег?

Он помолчал, а потом с обидной откровенностью ответил:

— Я не случайно зашел тебя навестить... дело в том, что я уже около месяца собираюсь прийти к тебе... но, когда я встретился с тобою, мне опять захотелось уйти... вот я и решил сказать, что у меня нет денег... я надеялся, что ты пошлешь меня к черту, — он улыбнулся и провел рукой по подбородку, — но, очевидно, я ошибся.

Так он проделал со мною нечто вроде эксперимента. Я для него ничего не значила, или, вернее сказать, влечение ко мне боролось в нем с довольно сильным отвращением. Впоследствии я узнала, что эта его способность притворяться с целью испы-

тать меня является одной из главных черт его характера. Но в ту минуту я растерялась, не зная, радоваться мне или огорчаться его обману и его поражению. Я машинально спросила:

— А почему ты хотел уйти?

— Потому что я понял, что не питаю к тебе никакого чувства... вернее сказать, испытываю только влечение, которое испытывал мой друг к твоей приятельнице.

— Ты знаешь, — спросила я, — что они сошлись?

— Да, — презрительным тоном ответил он, — вот уж действительно два сапога пара.

— Ты не питаешь ко мне никакого чувства, — сказала я, — и не хотел приходить... а все-таки пришел.

И хотя мои надежды на любовь не оправдались, что я, в сущности, предвидела заранее, я все-таки не без удовольствия уличила его в непоследовательности.

— Да, — ответил он, — потому что таких, как я, обычно называют слабохарактерными.

— Ты пришел, и этого мне довольно, — сказала я твердо.

Я положила руку на колени Джакомо, а сама внимательно смотрела на него и видела, что мое прикосновение волновало его, даже подбородок дрожал. Я почувствовала радость, но в то же время понимала, что, хотя его сильно влечет ко мне, он недаром, по его собственным словам, целый месяц раздумывал, в нем все-таки жило еще что-то враждебное мне, против чего я должна направить все свои усилия, побороть и уничтожить эту неприязнь. Я вспомнила, каким колючим взглядом он окинул мою голую спину в тот раз, когда мы впервые остались одни. Очевидно, тогда я совершила ошибку, поддавшись его замораживающему взгляду: стоило мне приложить еще немного усилий, и я погасила бы отчужденность этого взгляда так же, как сейчас смогла погасить и согнать с его лица гордое выражение.

Придвинувшись к столу, как будто собиралась говорить с ним вполголоса, я нежно гладила его колени, а сама тем временем, радостная и довольная, следила за его лицом. Он вопросительно и недовольно смотрел на меня своими огромными, черными, блестящими глазами с длинными, как у женщины, ресницами. Наконец он произнес:

— Если тебя устраивает то чувство, которое ты во мне вызываешь, ну что ж, дело твое...

Я сразу отпрянула назад. И в это время хозяин поставил на стол приборы и еду. Мы принялись молча и вяло есть. Потом он заметил:

— На твоем месте я попытался бы уговорить меня выпить вина.

— Зачем?

— Когда я пьян, то охотнее выполняю чужие желания.

Его фраза: «Если тебя устраивает то чувство, которое ты во мне вызываешь, ну что ж, дело твое», обидела меня, а последнее признание убедило меня, что все мои усилия напрасны. В отчаянии я воскликнула:

— Я хочу, чтобы ты делал только то, что ты считаешь нужным... если хочешь уйти, пожалуйста, уходи... вон дверь!

— Для того чтобы уйти, — ответил он шутливо, — я должен быть уверен, что я действительно хочу этого.

— Может, уйду я?

Мы смотрели друг на друга. От горя я говорила решительным тоном, что, кажется, взволновало его не меньше моих недавних ласк. Он с трудом выговорил:

— Нет, останься.

Мы снова принялись есть. Потом он налил себе большой бокал вина и залпом выпил его.

— Видишь, — сказал он, — я пью.

— Вижу.

— Скоро я опьянею и тогда, пожалуй, буду объясняться тебе в любви.

Его слова больно ранили мое сердце. Казалось, больнее и быть не может. Я взмолилась:

— Перестань, перестань мучить меня!

— Я тебя мучаю?

— Да, ты смеешься надо мной... сейчас я прошу тебя только об одном: не обращай на меня внимания... Я питаю к тебе слабость... но это пройдет, а пока оставь меня в покое.

Он молча выпил второй бокал вина. Я испугалась, что обидела его, и спросила:

— Что с тобой? Ты на меня сердишься?

— Я? Наоборот.

— Если тебе нравится смеяться надо мной, пожалуйста, смейся... я просто так сказала.

— Я вовсе не смеюсь над тобой.

— И если тебе приятно говорить мне гадости, — настаивала я, чувствуя, что желаю одного: без всяких уловок и хитростей малодушно покориться ему,— говори, не стесняйся. Я все равно буду любить тебя, даже сильнее, чем прежде... если бы ты избил меня, я стала бы целовать руку, которую ты поднял на меня.

Он внимательно и как-то странно взглянул на меня, очевидно, мое чувство смутило его. Потом он сказал:

— Хочешь, уйдем отсюда?

— Куда?

— К тебе домой...

Я была в таком отчаянии, что почти забыла причину, вызвавшую это отчаяние; и его неожиданное приглашение, последовавшее в самом начале обеда, скорее меня удивило, чем огорчило. Рассудком я понимала, что вовсе не любовь, а смятение, рожденное моими словами, заставляет его поскорее покончить с обедом.

— Тебе не терпится поскорее избавиться от меня, не так ли?

— Как ты догадалась? — спросил он.

Но эти слова, чересчур жестокие, чтобы быть правдой, неизвестно почему ободрили меня. Я ответила, опустив глаза:

— Есть вещи, которые говорят сами за себя... давай только кончим обед... а тогда пойдем.

— Как хочешь... но я опьянею.

— Можешь пьянеть... мне же лучше.

— А вдруг мне станет плохо... и тогда вместо любовника у тебя на руках окажется больной, за которым еще придется ухаживать.

Прикрыв ладонью его бокал, я имела неосторожность обнаружить свой страх.

— Тогда не пей.

Он рассмеялся и сказал:

— Вот ты и попалась.

— Почему попалась?

— Не бойся... От такого пустяка мне не будет плохо.

— Я ведь о тебе же беспокоюсь, — смиренно произнесла я.

— Обо мне беспокоишься... ах-ах-ах!

Он по-прежнему подшучивал надо много. Но в насмешках его было столько обаяния, что они меня мало задевали.

Он спросил:

— А ты почему не пьешь, скажи-ка?

— Не люблю вина... а потом после одной рюмки я пьянею.

— Ну так что же? Будем оба пьяные.

— Но пьяная женщина выглядит просто отвратительно... я не хочу, чтобы ты видел меня пьяной.

— Почему?.. Что же здесь отвратительного?

— Не знаю... Противно смотреть, как женщина качается, говорит глупости, делает неуклюжие движения... даже жалко

становится... я и так жалка, я это знаю, и знаю, что ты тоже считаешь меня жалкой... А если я выпью и ты меня увидишь пьяной, то потом никогда больше не сможешь смотреть на меня без отвращения.

— А если бы я приказал тебе пить?

— Тебе, вероятно, хочется унизить меня, — сказала я грустно, — единственным моим достоинством является то, что меня нельзя назвать неуклюжей... ты действительно хочешь, чтобы я лишилась и этого достоинства?

— Да, я хочу, — порывисто сказал он.

— Не знаю, какое тебе от этого удовольствие, но если ты так хочешь, налей мне вина. — И я протянула свой бокал.

Он посмотрел на бокал, потом на меня и вновь разразился смехом.

— Я пошутил, — сказал он.

— Все-то ты шутишь.

— Итак, ты утверждаешь, что тебя нельзя назвать неуклюжей? — начал он снова после минутного молчания, внимательно глядя на меня.

— Во всяком случае, так говорят.

— Значит, по-твоему, и я так думаю?

— Откуда я знаю, что ты думаешь?

— Давай выясним... что, по твоему мнению, я о тебе думаю и какие чувства к тебе питаю?

— Не знаю, — тихо сказала я, объятая страхом, — конечно, ты не любишь меня так, как я тебя люблю... пожалуй, я нравлюсь тебе, как может мужчине нравиться женщина, которая недурна собой.

— Ах, так ты воображаешь, что недурна собой?

— Да, — с гордостью подтвердила я, — я даже знаю, что красива... но что мне пользы от этой красоты?

— Из красоты не следует извлекать пользу.

Мы кончили обедать и осушили по два бокала вина.

— Вот видишь, — сказал он, — я выпил и не пьян. — Но блеск его глаз и беспокойные движения рук противоречили этим словам. Я посмотрела на него, вероятно, с надеждой. Он продолжал:

— Ты хочешь идти домой, а?.. Венера, связанная со своей жертвой...

— Что, что?

— Ничего, одна строка, к слову пришлась... эй, хозяин!

Он всегда вел себя чуть-чуть вызывающе, но умел все обратить в шутку. И теперь он весело спросил у хозяина, сколько с

нас причитается, сунул ему в нос деньги, не поскупившись на чаевые.

— Это вам.

Потом выпил остатки вина и последовал за мною.

Мне хотелось как можно скорее дойти до дома. Я знала, что он вернулся ко мне неохотно, знала, что он презирал и ненавидел себя за то чувство, которое против воли погнало его ко мне. Но я надеялась на свою красоту, на свою любовь к нему, и мне не терпелось поскорее сразиться этим оружием с его враждебностью. Я чувствовала, что мною вновь овладела задорная решимость, я верила, что моя любовь победит его отвращение, порыв моей страсти сломит его упорство и он тоже полюбит меня.

Я шла рядом с ним по опустевшей в это послеполуденное время улице.

— Обещай мне, — начала я, — что когда мы придем домой, ты не попытаешься сбежать.

— Обещаю.

— И ты должен пообещать мне еще одну вещь.

— Что именно?

Я колебалась несколько секунд, а потом сказала:

— В прошлый раз все было бы хорошо, если бы ты не смотрел на меня в ту минуту таким взглядом, что мне стало стыдно... обещай мне, что никогда не станешь так на меня смотреть.

— Как «так»?

— Не знаю... таким неприятным взглядом.

— Я не умею смотреть по заказу, — ответил он спустя минуту, — но, если хочешь, я вовсе не буду на тебя смотреть... закрою глаза... ладно?

— Нет, не надо, — твердо возразила я.

— Тогда как же я должен смотреть на тебя?

— Как я на тебя, — ответила я, взяла его за подбородок и, продолжая идти рядом, показала, как надо смотреть: — Вот так... с нежностью.

— Ха-ха... с нежностью!

Когда мы поднимались по темной и грязной лестнице нашего дома, я невольно вспомнила светлый, чистый, белый дом Джизеллы. Я сказала как бы про себя:

— Если бы я жила не в этом домишке и если бы не была такой жалкой, как сейчас, я нравилась бы тебе, конечно, больше.

Он вдруг остановился, обхватил меня за талию обеими руками и искренне сказал:

— Напрасно ты так думаешь... уверяю тебя, это неправда.

Мне показалось, что в его глазах промелькнуло что-то похожее на симпатию. Он нагнулся и стал искать губами мой рот. От него сильно пахло вином. Я не терплю запаха винного перегара, но в ту минуту этот запах показался мне таким невинным, приятным и даже трогательным, как будто он исходил из уст неопытного мальчика. Кроме того, я поняла, что мои слова помогли мне невольно нащупать его слабое место. В ту минуту мне показалось, что я зажгла в его душе искорку любви. Впоследствии я поняла, что, обнимая меня, он не столько повиновался страстному порыву, сколько из самолюбия вынужден был терпеть этот своего рода духовный шантаж. Потом я часто нарочно прибегала к этому способу, обвиняя его в том, что он презирает меня за мою бедность и за мое ремесло, и всегда таким образом я добивалась своего; и чем дальше, тем все яснее понимала, что Джакомо человек разочарованный во всем и крайне нерешительный.

Но в тот день я еще не знала его так хорошо, как узнала позднее. И этот поцелуй обрадовал меня, как будто я одержала решительную победу. Я ограничилась тем, что слегка коснулась его губ как бы в благодарность за его поцелуй и, взяв его за руку, сказала:

— Ну, бежим скорее наверх!

Я весело и порывисто тянула его вверх по лестнице. Он молча позволил тащить себя.

Почти бегом я влетела в свою комнату, волоча его, как куклу, за руку с такой силой, что он ударялся о стены коридора. Едва мы очутились в комнате, я сразу же подтолкнула его в угол, прямо на кровать. И тут только я впервые заметила, что он был не только пьян, как и предсказывал, а пьян так сильно, что ему вот-вот станет плохо. Он сильно побледнел, с рассеянным видом тер свой лоб, а взгляд его был мутный и сонный. Все это я поняла в одну секунду, и меня сразу охватил страх, что ему и в самом деле станет худо и таким образом наша вторая встреча кончится ничем. Двигаясь по комнате и снимая с себя одежду, я в душе горько раскаивалась, что позволила ему пить. Но любопытно то, что мне даже не приходило в голову отказаться от его столь желанной для меня любви. Наоборот, я надеялась только на одно: что ему не так уж плохо, он не останется холоден к моим ласкам и что если ему будет дурно, то только после того, как мое желание осуществится. Я любила его по-настоящему, но так боялась потерять, что любовь моя становилась эгоистичной.

Итак, я притворилась, что не замечаю его опьянения, и, раздевшись, села возле него на кровать. А он как вошел, так и оставался одетым. Я стала снимать с него пальто, а сама разговорами отвлекала его, чтобы он не вздумал, чего доброго, уйти.

— Ты мне еще не сказал, сколько тебе лет, — начала я, стягивая с него пальто, а он послушно поднимал руки.

Спустя минуту он ответил:

— Мне девятнадцать лет.

— Значит, ты младше меня на два года.

— А тебе двадцать один?

— Да, и скоро исполнится двадцать два.

Мне никак не удавалось развязать его галстук. Медленно, неловким движением он отвел мою руку и сам развязал узел. Потом руки его опустились, и я сняла с него галстук.

— Какой у тебя старый галстук, — сказала я, — я тебе куплю другой... какой цвет ты любишь?

Он засмеялся, и я снова с радостью услышала его приятный и милый смех.

— Похоже, что ты хочешь взять меня на содержание, — сказал он, — то собиралась заплатить за обед... теперь собираешься подарить мне галстук.

— Глупыш, — ласково сказала я, — тебе-то что? Мне приятно подарить тебе галстук... а тебе от этого вреда не будет.

Я сняла с него пиджак и жилет, он сидел на краю постели в сорочке.

— А можно мне дать девятнадцать лет? — спросил он.

Ему нравилось говорить о себе, это я сразу поняла.

— И да и нет, — ответила я нерешительно. Я знала, что мои слова ему приятны, — особенно выдают тебя волосы, — добавила я, гладя его по голове, — у зрелых мужчин волосы не такие густые... но по лицу тебе можно дать больше.

— А сколько бы ты дала мне?

— Лет двадцать пять.

Он замолчал и закрыл глаза, как бы погрузившись в забытье. Я вновь испугалась, что ему плохо, и начала торопливо снимать с него сорочку, а сама тем временем говорила:

— Расскажи мне еще что-нибудь о себе... ты студент?

— Да.

— А что ты изучаешь?

— Право.

— Ты живешь с родителями?

— Нет... моя семья живет в провинции, в С.

— А ты где? В пансионе?

— Нет, в меблированных комнатах. — Он отвечал механически, с закрытыми глазами. — На улице Кола ди Риенцо, двадцать, комната восемь, у вдовы Медолаги... Амалии Медолаги.

Теперь он был обнажен до пояса. Я не могла сдержать желания погладить рукою его грудь и шею.

— Почему ты сидишь так? Тебе холодно? — спросила я.

Он поднял голову и посмотрел на меня. Потом рассмеялся и хриплым голосом сказал:

— Ты думаешь, что я ничего не замечаю?

— О чем это ты?

— О том, что ты преспокойно раздеваешь меня... Я пьян, но не так сильно, как ты думаешь.

— Ну и что же тут плохого? — ответила я смущенно. — Я тебе просто помогаю, раз ты сам не раздеваешься.

Он, казалось, не слышал моих слов.

— Я пьян, — продолжал он, покачивая головой, — но прекрасно знаю, что делаю и зачем я здесь... я не нуждаюсь в помощи, смотри.

И внезапно резким движением худых рук, придававших ему сходство с марионеткой, он расстегнул пояс и стал снимать брюки и все остальное.

— Я знаю также, чего ты ждешь от меня, — прибавил он, обняв меня.

Он сжимал меня своими сильными и нервными руками, на его лице появилось какое-то лукавое выражение. Позднее я не раз улавливала это выражение даже в те минуты, когда он, казалось, должен был бы отрешиться от всего на свете. Это доказывало, что он неизменно сохраняет ясность рассудка, что бы он ни делал, и это, в чем я, к несчастью, убедилась впоследствии, мешало ему по-настоящему любить меня.

— Ты ждешь вот этого, не так ли? — спрашивал он, все сильнее сжимая меня в объятьях. — И вот этого, вот этого...

И каждый раз после слова «этого» он принимался тискать меня, целовать, кусать, щипать там, где я этого меньше всего ожидала. Я со смехом вырывалась, стараясь защититься, и была до того счастлива видеть его таким, что не замечала, насколько искусственным и наигранным выглядело его поведение. Он причинял мне боль, как будто мое тело было для него предметом ненависти, а не любви. И в его глазах, казалось, горело не желание, а скорее злоба. Потом его страстный порыв угас так же внезапно, как и вспыхнул. Вероятно, опьянение снова одолело его, и он, закрыв глаза, растянулся на постели во всю свою

длину, а я лежала возле него с таким странным ощущением, будто он и не двигался, не говорил со мною, не дотрагивался до меня и не обнимал, будто ничего не было и все только должно произойти.

Потом я долго неподвижно стояла возле него на коленях, волосы спускались мне на глаза, я смотрела на него и время от времени робко касалась кончиками пальцев его длинного худого тела, прекрасного и целомудренного. У него была белая кожа, и сквозь нее просвечивали кости. Плечи у него были широкие и худые, бедра узкие, ноги длинные, грудь покрыта волосами. Он лежал на спине, от этого живот ввалился и лобковая кость резче обозначилась под туго натянутой кожей. В любви я терпеть не могу насилия, и поэтому действительно мне показалось, что между нами ничего не было и все еще впереди. Потому я стала ждать, пока тишина и покой вернутся к нам после этого неестественного возбуждения, и когда я обрела свое обычное спокойное и ясное состояние духа, то осторожно, подобно тому, как в жаркие дни медленно входят в ласковое, тихое море, опустилась возле него, продела свои ноги между его ног, обняла его за шею и прижалась всем телом. На сей раз он не пошевелился, не проронил ни слова. Я называла его самыми нежными именами, дышала ему прямо в лицо, окутывала теплым и плотным покровом своих ласк, а он лежал на спине неподвижно, как мертвый. После я поняла, что эта безучастность и пассивность являлись у него высшим доказательством любви, на какую он был способен.

Поздно ночью я приподнялась на локти и стала смотреть на него с таким пристальным вниманием, что даже сейчас, спустя много времени, в моей памяти отчетливо встает эта грустная картина. Он спал, зарывшись головой в подушку, то обычно гордое выражение лица, которое он, видимо, старался любой ценой сохранить при всех обстоятельствах, теперь исчезло: сон придал искренность его чертам, осталась только молодость, свежесть и наивность, скорее приметы возраста, нежели свидетельство душевных качеств. Но я вспоминала, каким видела его совсем недавно: насмешливым, враждебным, равнодушным, ласковым, полным желания, и меня грызла тоска, тревога и неудовлетворенность, ибо эта насмешливость, эта враждебность, это равнодушие и это желание, все это — он сам, и это отличает его от меня и прочих людей и исходит из глубины души, которая до сих пор оставалась для меня далекой и непонятной. Я не требовала, чтобы он объяснял мне свои поступки, изучая и разбирая их, как части какого-то механизма, мне просто хотелось

понять истинные мотивы этих поступков, которые я наблюдала в момент нашей любви, увы, мне это не удавалось. В той небольшой части его души, которая ускользала от меня, был он весь, а та, бо́льшая часть, видная мне, не имела для меня никакого значения, да и была мне ни к чему. Мне были ближе и понятнее Джино, Астарита и даже Сонцоньо. Я смотрела на Джакомо, и мне было больно, что моя душа не смогла соединиться с его душою так, как только недавно соединялись наши тела. Моя душа овдовела и горько оплакивала упущенную возможность. Может, был момент, когда душа его раскрылась, и тогда хватило бы одного жеста или слова, чтобы можно было войти в нее и остаться там навсегда. Но я не сумела уловить этот момент, а теперь было слишком поздно, он уже спал и снова отдалился от меня.

В то время как я смотрела на него, он открыл глаза и, не меняя позы, спросил:

— Ты тоже спала?

Мне показалось, что голос его изменился, стал доверчивее и задушевнее. И у меня вдруг появилась надежда, что во время его сна между нами каким-то таинственным образом выросла близость.

— Нет... я смотрела на тебя.

Он помолчал немного, потом продолжал:

— Я хочу попросить тебя об одном одолжении... но могу ли я положиться на тебя?

— Что за вопрос!

— Ты должна оказать мне услугу: подержи у себя дома несколько дней сверток, который я тебе дам... потом я приду и возьму его и, возможно, принесу еще один.

В другое время я проявила бы интерес к этим сверткам. Но в ту минуту меня больше всего занимали наши отношения и он сам. Я подумала, что это может послужить прекрасным поводом для нашей встречи, что я должна угодить ему, а если я буду задавать вопросы, он раскается и возьмет свои слова обратно. Я ответила беспечно:

— Только и всего?

Он опять долго молчал, как бы раздумывая, потом спросил:

— Ну, так согласна?

— Я тебе уже ответила, да.

— А тебя не интересует, что находится в этих свертках?

— Если не хочешь говорить, — ответила я, стараясь казаться безразличной, — значит, у тебя есть на то свои причины... и я тебя не спрашиваю.

— Но почем ты знаешь... может быть, это опасно?

— Ну и пусть.

— А вдруг там краденые вещи, — продолжал он, перевернувшись на спину, и в его глазах загорелся ребяческий задорный огонек, — а вдруг я вор?

Я вспомнила Сонцоньо, который был не только вор, но и убийца, вспомнила, как сама украла пудреницу и платок, и мне показалось странным это совпадение: он хотел выдать себя за вора передо мной, которая сама воровала и водила знакомство с ворами. Я ласково погладила его и сказала:

— Нет, ты, конечно, не вор.

Он нахмурился, он всегда был болезненно самолюбив и странно обижался на самые неожиданные вещи.

— Почему? Я мог бы быть вором.

— У тебя не такое лицо... конечно, всякое бывает, но именно ты не производишь впечатления вора.

— Почему? Какое же у меня лицо?

— У тебя лицо такого человека, какой ты есть на самом деле... Лицо юноши из хорошей семьи, студента.

— Это я сказал тебе, что я студент... но я мог быть и кем-то другим... И в действительности так оно и есть.

Я не стала с ним спорить. Ведь у меня самой, подумала я, не написано на лице, что я воровка, и мне вдруг страшно захотелось сказать ему, что мне приходилось воровать. Это искушение объяснялось главным образом его странными словами. Я всегда считала, что воровство достойно порицания, и вот нашелся человек, который, казалось, не только не осуждал подобные вещи, но даже находил в них что-то положительное, и это было для меня неразрешимой загадкой. Поколебавшись немного, я сказала:

— Ты прав... Я не считаю тебя вором, так как уверена в том, что ты не вор, а что касается лица, оно тут ни при чем, ты мог бы быть вором... не всегда по лицу можно узнать, что из себя представляет человек... например, я: разве я похожа на воровку?

— Нет, — ответил он, не глядя на меня.

— А вот я как раз воровка, — спокойно сказала я.

— Ты?

— Да, я.

— Что же ты украла?

Моя сумка лежала на тумбочке, я взяла ее, вынула пудреницу и показала ему.

— Вот это я взяла в одном доме, где была как-то раз, а однажды в магазине я украла шелковый платок и отдала его маме.

Не нужно думать, что я сделала эти признания из бахвальства. В действительности меня толкало желание приобрести в его лице близкого человека и сообщника; когда нет ничего лучшего, то даже признание в преступлении может сблизить людей и вызвать любовь. Я заметила, как лицо его внезапно стало серьезным и он внимательно посмотрел на меня. И тут я вдруг испугалась, что он осудит меня и, пожалуй, решит больше не встречаться со мною. Я поспешно добавила:

— Но ты не думай, что я горжусь этим... я уже решила вернуть пудреницу... сегодня же верну ее... правда, платок я не могу отдать обратно... но я раскаялась и дала себе слово больше не воровать.

В его глазах зажегся обычный лукавый огонек. Он посмотрел на меня и внезапно разразился смехом. Потом схватил меня за плечи, повалил на постель и начал щекотать меня и награждать шлепками, приговаривая с ласковой насмешкой:

— Воровка... ты воровка... ты воровка... воровка... воришка... воришка.

Я не знала, обижаться мне или радоваться. Но его состояние возбуждения в какой-то мере волновало меня и было мне приятно. Все-таки лучше, чем его обычное холодное безразличие. И я хохотала, извиваясь всем телом, потому что боюсь щекотки, а он настойчиво продолжал щекотать меня под мышками. Но при этом я прекрасно видела, что его лицо, склонившееся надо мною, искажено злобой, по-прежнему замкнуто и отчужденно. Потом он резко откинулся назад, на спину и сказал:

— А я вот не вор... совсем не вор... и в этих свертках не краденые вещи.

Ему, видимо, не терпелось сказать, что спрятано в свертках, и я поняла: в нем говорит тщеславие. В конце концов, это чувство мало чем отличалось от того, которое толкнуло Сонцоньо признаться мне в своем преступлении. Несмотря на то что все мужчины разные, у них есть много общего, и в глазах женщины, которую они любят или с которой просто близки, они всегда стараются показать себя в выгодном свете, будто совершили или готовы совершить бог весть какие важные и рискованные дела. Я сказала ласково:

— Ты, видно, умираешь от желания рассказать мне, что в этих свертках.

Он обиделся:

— Глупая... вовсе нет... но я обязан предупредить тебя, что в них, а ты уж решай сама, возьмешь ты их или нет... Так вот: в этих свертках материалы для пропаганды.

— Что это значит?

— Я принадлежу к группе людей, — тихо начал он, — которые, как бы это тебе объяснить... не любят нынешнее правительство... даже ненавидят его и хотят как можно скорее покончить с ним... в этих свертках находятся листовки, напечатанные тайно, в них мы объясняем людям, чем плохо это правительство и каким образом можно его свергнуть.

Я никогда не интересовалась политикой. У меня, как, наверное, у многих людей, никогда не возникал вопрос, хорошо или плохо нынешнее правительство. Но я вспомнила Астариту и его частые непонятные разговоры о политике. Я с тревогой воскликнула:

— Но ведь это запрещено... ведь это опасно!

Он посмотрел на меня с нескрываемым удовлетворением. Наконец-то я сказала ему те слова, которые ему приятно было услышать и которые льстили его самолюбию. Он напустил на себя излишне серьезный вид и подтвердил многозначительным тоном:

— Верно, это очень опасно... Теперь решай сама, сделаешь ли ты это для меня или нет.

— Но я имела в виду, что это опасно для тебя, а не для меня, — живо возразила я, — если опасно для меня, я согласна.

— Смотри, — предупредил он, — это и в самом деле опасно... если их у тебя найдут, попадешь в тюрьму.

Я взглянула на него, и внезапно меня охватило сильное, непреодолимое волнение. Не знаю, было ли это волнение вызвано его словами или какой-то иной, неясной мне причиной. Глаза мои наполнились слезами, и я прошептала:

— Но неужели ты не понимаешь, что для меня это не имеет ровно никакого значения? Я пошла бы и в тюрьму... что тут такого? — Я тряхнула головой, и слезы побежали по моим щекам. Он удивленно спросил:

— Почему ты плачешь?

— Прости меня, — сказала я, — это ужасно глупо... сама даже не знаю почему... может быть, потому, что хочу, чтобы ты понял, как я люблю тебя и что готова для тебя на все.

Я еще не понимала тогда, что не следует говорить ему о своей любви. На лице Джакомо появилось то смущенное выражение и та отчужденность, которые я не раз наблюдала впоследствии. Он отвел взгляд и быстро пробормотал:

— Ну, ладно, договорились... через два дня я принесу сверток... а сейчас мне пора идти, уже поздно. — С этими словами он вскочил с постели и начал торопливо одеваться.

Я так и осталась сидеть на постели все еще во власти пережитого волнения, с мокрыми глазами, немного стыдясь не то своей наготы, не то своих слез.

Он быстро оделся, подняв с полу разбросанные вещи. Потом подошел к вешалке, снял пальто, надел его и подошел ко мне. Взглянув на меня с милой детской улыбкой, которая мне так нравилась, он сказал:

— Потрогай-ка вот тут.

Я увидела, что он показывает на карман пальто. Он наклонился так, чтобы я могла дотянуться до него рукой. Под тканью кармана я нащупала какой-то твердый предмет.

— Что это такое? — удивленно спросила я.

Он улыбнулся с довольным видом, опустил руку в карман и, пристально глядя на меня, медленно вытащил большой черный пистолет.

— Пистолет! — воскликнула я. — Но зачем он тебе?

— Как знать, — ответил он, — всегда может пригодиться.

Я растерялась, не зная, что думать, да он и не дал мне времени на размышление. Он положил оружие обратно в карман, нагнувшись, коснулся губами моих губ и сказал:

— Договорились, да?.. Я приду через два дня.

И не успела я опомниться, как его уже не было.

После я часто вспоминала это наше первое любовное свидание и горько упрекала себя за то, что не сумела понять, какой опасности подвергался он, занимаясь политикой. Правда, я никогда не имела над ним власти, но, если бы я знала все то, что открылось мне позднее, я по крайней мере помогла бы ему советом, а если бы и это не подействовало, то просто была бы рядом, чтобы поддержать его сочувствием и твердостью духа. Виновата, конечно, была я, или, вернее сказать, мое невежество, но ведь оно было результатом моего положения. Как я уже говорила, я никогда не интересовалась политикой, ничего в ней не смыслила и думала, что политика не имеет никакого отношения к моей жизни, будто все события разворачивались не вокруг меня, а где-то на другой планете. Когда я читала газету, то пропускала первую страницу, на которой печатались политические новости, ничуть меня не интересовавшие, а просматривала хронику, где сообщалось о происшествиях и преступлениях, которые по крайней мере давали хоть какую-то пищу моему уму и воображению. По правде говоря, моя жизнь

напоминала существование тех светящихся рыб, которые, по словам ученых, живут на самом дне моря, почти в полном мраке и ничего не знают о том, что творится наверху, где сияет солнечный свет. Политика, как, впрочем, и многое другое, чему люди придают немалое значение, доходила до меня словно из далекого и незнакомого мира и казалась еще более смутной и неясной, чем солнечный свет мог показаться простейшим животным, обитающим в подводных глубинах.

Впрочем, виноваты были не только я и мое невежество, но и сам Джакомо с его легкомыслием и тщеславием. Если бы я почувствовала, что в нем, помимо тщеславия, жило что-то другое, как это и было на самом деле, то я, вероятно, действовала бы иначе и постаралась, правда, не ручаюсь, насколько успешно, понять и вникнуть в то, чего я не знала в силу своего невежества. И тут уместно отметить еще одно обстоятельство, которое определило в какой-то мере мою беспечность: у меня создалось впечатление, что Джакомо постоянно разыгрывал скорее полукомическую роль, чем действовал всерьез. Казалось, он из кусков лепил своего идеального героя, в которого, однако, сам до конца не верил, и еще мне представлялось, что он все время почти механически старается подогнать свои поступки под образ этого героя. Эта бесконечная комедия производила впечатление игры, правилами которой он владел превосходно; но, как бывает в игре, он брался за дело слишком серьезно и одновременно внушал себе без всяких на то оснований уверенность, что для него все еще поправимо, что в самый последний момент, даже в случае поражения, его противник простит ему проигранную партию и дружески пожмет руку. А может быть, он действительно забавлялся, как забавляются чем попало дети благодаря присущему им неукротимому инстинкту; но противник его, как оказалось впоследствии, играл всерьез. Итак, когда партия была окончена, Джакомо внезапно остался безоружным и был выведен из игры, схваченный мертвой хваткой.

О всех этих и о других вещах, к сожалению еще более печальных и не менее сложных, я много думала впоследствии, стараясь разобраться в том, что же произошло. Но в тот день мне, конечно, и в голову не могло прийти, что эта история со свертками в какой-то мере повлияет на наши отношения. Я радовалась, что он вернулся, радовалась, что смогу оказать ему услугу и что мне наверняка представится случай увидеть его снова, а дальше этого мои мысли не шли. Помню, что смутно и мимоходом я подумала о его странной просьбе, а потом, трях-

нув головой, сказала: «Все это ребячество» и стала думать о другом. Впрочем, я была так счастлива, что если бы даже захотела, то не смогла бы сосредоточиться на серьезных вещах.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Все, казалось, устроилось как нельзя лучше: Джакомо вернулся, я нашла способ освободить безвинно пострадавшую горничную и сама при этом избежала тюрьмы. В тот день, когда Джакомо ушел от меня, я по меньшей мере часа два безмятежно упивалась своим счастьем; я испытывала наслаждение, знакомое человеку, которому впервые попала в руки драгоценность или какая-нибудь изящная вещица,— он ошеломлен и растерян, не верит своему счастью и все-таки испытывает огромную радость. Вечерний благовест вывел меня из этой сладостной задумчивости. Я вспомнила, что Астарита посоветовал мне как можно скорее помочь арестованной женщине. Я быстро оделась и вышла из дома.

Как приятно зимним вечером, пришедшим на смену короткому дню, когда ты долго оставался наедине со своими мыслями, выйти прогуляться по центральным городским улицам, где движение более оживленное, где много прохожих, а витрины магазинов ярко освещены. На свежем, чистом воздухе, в суматохе и блеске городской жизни голова становится ясной, душа очищается и наполняется радостным, пьянящим возбуждением, все трудности сразу словно исчезают, и ты спокойно бродишь в толпе людей, беспечно созерцая то одну, то другую мимолетную сценку, которую представляет улица твоему праздному вниманию. Тогда действительно начинает казаться, что все «долги наша», как говорится в молитве, прощены нам, и прощены не за наши заслуги или по какому-нибудь другому счету, а единственно в силу общего таинственного закона всепрощения. Само собой разумеется, что для этого нужно пребывать в счастливом состоянии духа или по крайней мере быть довольным жизнью, иначе шум большого города навеет тоскливые мысли о тщетности суеты и абсурдности этой жизни. Но в тот день, как уже было сказано, я радовалась всему и особенно остро ощутила это, добравшись до центра города, где и начала прогуливаться по тротуару среди прохожих.

Я знала, что мне надо пойти в церковь и исповедаться. И должно быть, именно потому, что мне дали такой совет и я охотно готовилась последовать ему, я не спешила, даже не ду-

мала больше об этом деле. Я медленно шла по улицам, время от времени останавливалась и рассматривала вещи, выставленные в витринах магазинов. Если бы я встретила знакомых, то они, конечно, решили бы, что я пытаюсь «подцепить» мужчину. Но на самом деле я никогда не была столь далека от подобной мысли. Я, пожалуй, согласилась бы пойти с каким-нибудь мужчиной, который понравился бы мне, но вовсе не из-за денег, а поддавшись озорному порыву, избытку жизненных сил. Но те мужчины, которые подходили ко мне, когда я стояла у витрин, и говорили мне привычные слова и делали привычные предложения составить компанию, не нравились мне. Поэтому я не отвечала им, даже не смотрела в их сторону и продолжала как ни в чем не бывало шествовать дальше важным, неторопливым шагом.

И неожиданно, все еще пребывая в задумчивом и счастливом настроении, я увидела церковь, где исповедовалась в последний раз, сразу после поездки в Витербо. Фасад церкви в стиле барокко с высоким фронтоном, увенчанным двумя ангелами, дующими в трубы, был зажат между сверкающими рекламами кинотеатра и ярко освещенной витриной чулочного магазина, погружен в темноту и задвинут, как кулиса, в глубь улицы. По нему скользили фиолетовые блики световой рекламы, и он показался мне похожим на темное, морщинистое лицо старушки, которая, накинув на голову старую шаль, доверительно кивает именно мне, а не прохожим, идущим мимо. Я вспомнила о красивом священнике-французе, падре Элиа, который успел внушить мне чувство симпатии, и мне показалось, что этот хоть и молодой, но опытный, умный и мало похожий на священника человек поможет мне вернуть пудреницу. Кроме того, падре Элиа уже немного знал меня, и мне будет легче покаяться ему во всех ужасных и позорных грехах, которые отягощали мою душу.

Я поднялась по лестнице, отодвинула полог, прикрывавший вход, и вошла в церковь, накрыв голову носовым платком. Когда я опускала пальцы в святую воду, меня поразило изображение, высеченное на чаше: обнаженная женщина с развевающимися по ветру волосами и воздетыми к небу руками бежала от мерзкого дракона с птичьим клювом, который, поднявшись на задние лапы, несся за ней вдогонку. Мне подумалось, что я похожа на эту женщину, я тоже убегаю от дракона, тоже бегу по кругу, но иногда кажется, что я, как и эта женщина, уже не убегаю, а сама преследую в страстном и радостном порыве своего мерзкого мучителя. Я отвернулась от чаши, перекрестилась

и осмотрела церковь. Здесь ничего не изменилось, по-прежнему царил беспорядок, было темно и мрачно, как и в прошлый раз. Церковь все так же была погружена в сумрак, за исключением главного алтаря, где вокруг распятия горело множество свечей, и от их сияния тускло поблескивали медные канделябры и серебряные чаши. Придел Мадонны, у ног которой я в прошлый раз с такой глубокой и тщетной страстностью молилась, тоже был освещен; два ризничных сторожа, взгромоздившись на лестницы, прилаживали к архитраву какие-то красные с золотой бахромой украшения. Исповедальня падре Элиа была занята, я прошла и опустилась на колени перед главным алтарем возле беспорядочно сдвинутых стульев с плетеными сиденьями. Я не испытывала ни малейшего беспокойства, но мне не терпелось поскорее покончить со всем. Однако нетерпение мое было веселым, безудержным, легким, с примесью гордости, которая приходит вместе с решением осуществить долго вынашиваемое доброе дело; и я не раз замечала, что подобное нетерпение, идущее от самого сердца и отметающее всякое вмешательство рассудка, тем самым зачастую ставит под удар само доброе дело и иногда может принести куда больший вред, чем любое заранее обдуманное намерение.

Как только я увидела, что человек, который исповедовался, поднялся и вышел, я направилась к кабине, опустилась на колени и, не ожидая, пока священник заговорит со мной, начала:

— Падре Элиа, я пришла не просто исповедоваться... я пришла рассказать вам об одном очень запутанном деле и попросить вас о милости, в которой, я уверена, вы мне не откажете.

По ту сторону решетки тихий голос сказал, что готов выслушать меня. Я была уверена, что за стенкой находится падре Элиа, даже ясно представляла себе его прекрасное спокойное лицо, склоненное к темному, с отверстиями щитку. И тут впервые с тех пор, как я вошла в церковь, меня охватил радостный и благочестивый восторг. Моя нагая и запятнанная душа как бы внезапно отделилась от тела и опустилась на ступени перед решеткой. Я действительно на какое-то мгновение уверилась, что я — душа без тела, свободная, прозрачная, как воздух: так, говорят, бывает после смерти человека. И падре Элиа, как мне казалось, освободил свою, в отличие от моей светлую, душу от телесной оболочки, предстал передо мною утешителем, разрушив решетку, стены, мрак исповедальни. Вероятно, такое чувство полагалось бы испытывать всякий раз, когда идешь на исповедь. Но никогда прежде я не переживала этого столь остро.

Я начала говорить и, закрыв глаза, прислонившись лбом к решетке, рассказала все без утайки. Рассказала о своем занятии, о Джино, об Астарите, о Сонцоньо, о краже и об убийстве. Я назвала себя, назвала имена Джино, Астариты и Сонцоньо. Указала место кражи, место преступления и свой адрес. Описала также внешность этих людей. Не знаю, что побудило меня к этому. Но своим рвением я напомнила хозяйку, которая после долгого перерыва наконец решилась навести порядок в доме и не может успокоиться до тех пор, пока не выметет все до последней пылинки и не выгребет остатки мусора из самых темных углов. И в самом деле, по мере того как я подробно рассказывала обо всем случившемся, мне начало казаться, что я освобождаю душу и разум и чувствую себя легче, чище.

Я говорила рассудительным и спокойным голосом. Духовник слушал, не произнося ни слова и не прерывая меня. Когда я кончила, на минуту воцарилось молчание. Потом я услышала, как ужасный, тихий, елейный, скрипучий голос произнес следующие слова:

— Ты поведала мне страшные и удивительные вещи, дочь моя. Рассудок отказывается верить этому... но ты поступила правильно, что пришла исповедаться... теперь я сделаю для тебя все, что в моих силах.

Довольно много времени прошло с тех пор, как я в первый и единственный раз исповедовалась в этой церкви. И я, возбужденная и гордая тем, что собираюсь совершить доброе дело, совсем забыла об одной характерной и приятной для меня черте: о французском акценте падре Элиа. А тот, кто исповедовал меня, говорил без малейшего акцента, на чистейшем итальянском языке, в том особом витиеватом стиле, который так присущ священнослужителям. Я осознала свою ошибку к вся оцепенела, так бывает, когда стремительно и доверчиво протягиваешь руку за прекрасным цветком, а пальцы твои наталкиваются на холодную и скользкую змею. К неприятному чувству неожиданности, что передо мной другой человек, прибавилось еще ужасное впечатление, которое производил на меня этот чужой и вкрадчивый голос. Я все же нашла в себе силы и прошептала:

— А вы действительно падре Элиа?

— Собственной персоной, — подтвердил незнакомый священник, — а почему ты спрашиваешь? Разве ты бывала здесь раньше?

— Всего один раз.

Священник помолчал немного, а потом продолжал:

— Все, что ты мне рассказала, следовало бы рассмотреть

подробно, вопрос за вопросом... речь идет не об одном грехе, а о бесконечной цепи грехов, одни касаются тебя лично, другие — самых разных людей... Но поговорим о тебе, понимаешь ли ты, что совершила великое множество тяжких грехов?

— Да, понимаю, — прошептала я.

— И ты раскаялась?

— Думаю, что да.

— Если твое раскаяние чистосердечно, — продолжал он доверительным и покровительственным тоном, выдававшим любителя поговорить, — ты можешь, конечно, надеяться на отпущение грехов... Но, увы, дело касается не только тебя... тут замешаны и другие лица, с их грехами и преступлениями... тебе стало известно о величайшем злодеянии... ведь был убит человек, и убит столь жестоким образом... не испытываешь ли ты побуждения во всеуслышание объявить имя виновного, чтобы он понес заслуженную кару.

Таким образом он внушал мне мысль донести на Сонцоньо. Как священник, он был по-своему прав. Но это предложение, произнесенное таким голосом и в такую минуту, лишь усугубило мое недоверие и мой страх.

— Если я скажу, кто он, — прошептала я, — то и мне не миновать тюрьмы.

— Люди, как и всевышний, — ответил он сразу же, — оценят твою жертву и твое раскаяние... закон не только карает, но и милует... и, пройдя через муки, которые ничто в сравнении с агонией невинной жертвы, ты восстановишь столь жестоко попранную справедливость... слышишь ли ты голос жертвы, тщетно молящий убийцу о пощаде?

Он продолжал наставлять меня, подбирая с явным удовольствием соответствующие выражения из лексикона, присущего его сану. Но меня охватило одно-единственное желание, превратившееся почти в навязчивую идею: поскорее уйти. И я торопливо сказала:

— Мне еще надо подумать... я приду завтра и сообщу вам о своем решении. Завтра я вас застану?

— Конечно, я буду здесь целый день.

— Хорошо, — смущенно заключила я, — а пока я прошу вас передать в полицию этот предмет.

Я замолчала. После короткой молитвы он снова спросил меня, действительно ли я раскаялась и твердо ли решила переменить образ жизни, и, получив утвердительный ответ, отпустил мне грехи. Я перекрестилась и вышла из исповедальни; в это же самое время он отворил дверцу и очутился передо

мною. Те опасения, которые внушил мне его голос, сразу же подтвердились, как только я увидела его. Он был невысок, и его слишком большая голова клонилась набок, будто у него был прострел. Я не стала долго разглядывать его, так не терпелось мне поскорее уйти и так велик был ужас, который он внушил мне. Я лишь мельком увидела его смугло-желтое лицо с большим белым лбом, глубоко посаженные глаза, широкий курносый нос и огромный бесформенный рот с извилистой линией синеватых губ. Он, видимо, не был стар, а просто не имел возраста. Сложив руки на груди и покачивая головой, он произнес печальным голосом:

— Почему ты не пришла раньше, дочь моя? Почему? Сколько ужасных грехов ты избежала бы.

Я чуть было не ответила то, что думала: видно, бог не хотел, чтобы я сюда приходила, но удержалась и, вытащив из сумки пудреницу, сунула ее ему в руку и горячо проговорила:

— Прошу вас сделать это побыстрее. Не могу вам передать, как мне мучительно думать, что бедняжку держат в тюрьме из-за меня.

— Сегодня же передам, — ответил он, прижимая пудреницу к груди и покачивая головою с благочестивым и скорбным видом.

Я тихо поблагодарила его и, кивнув на прощание, быстро пошла к выходу. Он так и остался стоять возле исповедальни, скрестив руки на груди и покачивая головою.

Очутившись на улице, я попыталась хладнокровно все обдумать. Теперь, отбросив первые неясные страхи, я понимала: следует опасаться священника, он может нарушить тайну исповеди; и я старалась выяснить, на чем основаны мои опасения. Я знала, как знают все, что исповедь — таинство, и поэтому она священна. Каким бы подлым ни был духовник, он почти никогда не нарушит этого закона. Однако, с другой стороны, его совет донести на Сонцоньо навел меня на мысль, что, если я этого не сделаю, он может сам сообщить в полицию имя человека, совершившего преступление на улице Палестро. Но больше всего меня пугали его голос и внешность. Обычно я руководствуюсь больше чувством, нежели рассудком, и, подобно животным, инстинктивно чую опасность. Все доводы рассудка, за которые я цеплялась, чтобы успокоиться, не стоили ничего по сравнению с этим подсознательным предчувствием.

«Правда, тайна исповеди нерушима, — рассуждала я, — но все равно только чудо может помешать этому священнику донести на Сонцоньо, на меня и на всех остальных».

И еще одно обстоятельство усиливало предчувствие смутной надвигающейся беды: то, что на месте моего первого духовника оказался другой человек. Очевидно, французский монах был не падре Элиа, хотя он и принимал меня в исповедальне, обозначенной этим именем; но кто же тогда он? Я пожалела, что не спросила о нем у настоящего падре Элиа. И одновременно я боялась, что вдруг бы этот уродливый священник ответил, что он ничего не знает о том красавце, и тогда образ молодого монаха, живший в моей памяти, станет еще более призрачным, В самом деле в нем было нечто таинственное: и то, что он отличался от всех прочих священников, и то, как он внезапно появился, а потом исчез из моей жизни. Я начала уже сомневаться, видела ли я вообще его когда-нибудь, вернее сказать, видела ли наяву или все это мне почудилось. Теперь я вспомнила, что он несомненно похож на Христа, каким его обычно изображают на фресках. И если это было так, если Христос действительно явился мне в тяжелую минуту и выслушал мою исповедь, а теперь вместо него меня исповедовал уродливый священник, то нет ли в этом дурного предзнаменования? Выходит, в самую тяжелую минуту бог покинул меня. Подобное разочарование, наверно, испытывает человек, который, открывая сейф с золотом, обнаруживает там вместо до зарезу нужных ему денег пыль, паутину и мышиный помет.

Я вернулась домой все с тем же предчувствием беды, которая должна последовать за моей исповедью, и тотчас, не ужиная, легла спать в твердом убеждении, что провожу дома последнюю ночь перед арестом.

Но я уже не испытывала ни страха, ни потребности избежать своей участи. Когда прошел первый испуг — как почти все женщины, я слабонервна, — то на душу мою снизошло если не успокоение, то желание покориться своей судьбе. Это была самая высшая степень отчаяния, и я почти упивалась этим состоянием. Мне казалось, что я ощущаю себя мишенью, избранной несчастьем; и я с какой-то радостью думала: нет ничего страшнее смерти для меня, но теперь я и ее не боюсь.

Однако на следующий день я напрасно ждала появления полиции. Прошел один день, другой, и не произошло ничего, что подтвердило бы мои страхи. Все это время я не выходила из дома, даже из своей комнаты. Наконец мне надоело думать о том, что может произойти из-за моей неосторожности. Я снова начала мечтать о Джакомо, мне захотелось повидаться с ним хотя бы еще раз, прежде чем донос священника — а в том, что он пойдет в полицию, я все еще не сомневалась — принесет свои

плоды. К вечеру третьего дня я почти механически поднялась с постели, тщательно оделась и вышла на улицу.

Я знала адрес Джакомо и через двадцать минут оказалась возле его дома. Но как только я подошла к подъезду, я вспомнила, что не предупредила Джакомо о своем приходе, и меня охватила робость. Я боялась, что он неласково встретит меня, а то и вовсе прогонит прочь. Я замедлила шаги, сердце мое сжалось от боли, и я, стоя у витрины какого-то магазина, спросила себя, а не лучше ли вернуться домой и ждать, пока он сам придет. Я отлично понимала, что именно в первые дни наших отношений следует вести себя осторожно и предусмотрительно и ни в коем случае не показывать, что влюблена и жить без него не могу. С другой стороны, горько возвращаться домой ни с чем еще и потому, что после исповеди на душе у меня было тревожно, и, чтоб успокоиться, мне надо было повидаться с Джакомо. Мой взгляд упал на витрину магазина, возле которого я остановилась. Это был магазин мужских галстуков и сорочек; и я вдруг вспомнила, что обещала купить ему новый галстук. Влюбленный человек никогда не рассуждает, и я решила, что подарок явится прекрасным поводом для моего прихода, не понимая, что именно он-то и свидетельствует об унизительности и безнадежности моего чувства к Джакомо. Я вошла в магазин и, перебрав с десяток галстуков, остановила свой выбор на самом красивом и самом дорогом сером галстуке в красную полоску. Продавец с профессиональной назойливой любезностью, с какой обычно торговцы пытаются всучить свой товар, осведомился, кому предназначается галстук, блондину или брюнету.

— Брюнету, — ответила я тихо и почувствовала, что произнесла это слово мягким, взволнованным голосом. Я даже покраснела при мысли, что выдала продавцу свои чувства.

Вдова Медолаги жила на четвертом этаже старого и мрачного дома, выходившего окнами на набережную Тибра. Я прошла восемь лестничных пролетов и позвонила, так и не успев отдышаться. Дверь почти тотчас же открылась, и на пороге появился Джакомо.

— А-а, это ты? — удивленно произнес он.

Вероятно, он кого-то ждал.

— Можно к тебе?

— Да... заходи.

Через темную прихожую он провел меня в гостиную. Здесь тоже было сумрачно: свет проникал сюда сквозь толстые круглые красные стекла, какие бывают в церкви. В комнате стояла

мебель черного цвета, инкрустированная перламутром. Посредине находился овальный стол со старинным графином и рюмками для ликера из голубого хрусталя. На полу лежало несколько ковров и даже шкура белого медведя, правда весьма потертая. Все вещи казались старыми, но кругом была чистота и порядок, а глубокая тишина, казалось, с незапамятных времен царит в этом доме. Я прошла в другой конец гостиной и, сев на диван, спросила:

— Ты кого-то ждал?

— Нет... а зачем ты пришла?

Откровенно говоря, слова эти прозвучали не очень-то любезно. Но Джакомо, видимо, только удивил, но не рассердил мой приход.

— Я пришла с тобой попрощаться, — улыбнулась я, — потому что думаю, мы видимся в последний раз.

— Почему?

— Не сегодня-завтра меня заберут и отправят в тюрьму, я в этом уверена.

— В тюрьму... что за чертовщину ты несешь?

Он изменился в лице, и по его тону я поняла, что он испугался, может быть, даже подумал, что я донесла на него или каким-то образом выдала его, проболтавшись о его политической деятельности. Я снова улыбнулась:

— Не бойся... тебя это ни в коей мере не касается.

— Да нет, — быстро перебил он, — я просто не понял... как так в тюрьму? За что?

— Закрой дверь и садись сюда, — сказала я, показывая на диван.

Он закрыл дверь и сел рядом со мной. Тогда я очень спокойно рассказала ему всю историю с пудреницей, включая и исповедь. Он слушал, наклонив голову, не глядя на меня, и кусал ногти, что служило у него признаком внимания. В заключение я сказала:

— Я уверена, что этот священник непременно сыграет со мной какую-нибудь скверную шутку... а ты как думаешь?

Он покачал головой и, глядя не на меня, а на оконные стекла, сказал:

— Не может этого быть... я уверен как раз в обратном... пусть этот священник самый отвратительный урод, это еще ничего не значит...

— Видел бы ты его!.. — живо перебила я.

— Если хочешь знать, ужасен не он сам, а его ремесло... но всякое может случиться, — добавил он торопливо и улыбнулся.

— Итак, ты утверждаешь, что мне нечего бояться?

— Да... тем более что теперь уже ничего не поделаешь... это от тебя не зависит.

— Тебе хорошо говорить... люди боятся, потому что им страшно... это сильнее нас.

Внезапно он по-дружески обнял меня, встряхнул меня несколько раз за плечи и сказал улыбаясь:

— А ты ведь не боишься... не правда ли?

— Я же тебе говорю, что боюсь.

— Нет, ты не боишься, ты смелая.

— Уверяю тебя, я ужасно боялась, до того боялась, что легла в постель и два дня не вставала.

— Да... а потом пришла ко мне и все подробно и спокойно рассказала... нет, ты еще не знаешь, что такое страх.

— А что же я должна была делать? — спросила я с невольной улыбкой. — Не кричать же мне от страха.

— Нет, ты не боишься. — С минуту мы помолчали. Потом он спросил меня с какой-то особой интонацией, удивившей меня: — А этот твой друг, назовем его так, этот Сонцоньо, что он собой представляет?

— Такой, каких сотни, — неопределенно ответила я.

В эту минуту я не нашла более точного определения.

— А каков он из себя... опиши его.

— Уж не собираешься ли ты сам на него донести? — спросила я весело. — Запомни, что тогда и я угожу в тюрьму. — И потом прибавила: — Он блондин... небольшого роста... широкоплечий, лицо бледное, глаза голубые... в общем, ничего особенного... единственно, чем он выделяется, так это своей силой.

— Как так силой?

— С виду даже и не подумаешь... бицепсы у него прямо стальные.

Видя, что он слушает с интересом, я рассказала ему о ссоре Джино и Сонцоньо. Он не прерывал меня и, только когда я замолкла, спросил:

— А как ты думаешь, преднамеренным ли было преступление Сонцоньо... я хочу сказать, готовился ли он заранее, а потом хладнокровно исполнил задуманное?

— Какое там! — ответила я. — Никогда он ничего не замышляет заранее: за минуту до того, как он свалил Джино на землю ударом кулака, он, вероятно, и не собирался его бить... так же и с ювелиром.

— Тогда зачем же он убил?

— Так... это сильнее его... он как тигр... то он спокоен, а через минуту наносит удар лапой, и неизвестно почему.

Я рассказала всю историю моих отношений с Сонцоньо, о том, как он меня бил, и добавила, что в темноте он, конечно, мог бы убить меня; потом в заключение сказала:

— Он ни о чем таком и не думает... им вдруг овладевает какой-то неистовый порыв, и это сильнее его воли... тогда лучше держаться от него подальше... я уверена, что он пошел к ювелиру затем, чтобы продать пудреницу... а тот его оскорбил, и Сонцоньо убил его.

— Словом, это одна из разновидностей садизма.

— Называй как хочешь... возможно и так,— прибавила я, пытаясь разобраться в чувстве, которое внушает мне самой неистовство Сонцоньо-убийцы,— ведь нечто похожее толкает меня к тебе... Почему я тебя люблю? Одному богу известно... Почему на Сонцоньо иногда накатывает желание убить? Тоже одному богу известно... Мне кажется, что подобные вещи вообще необъяснимы.

Джакомо задумался. Потом он поднял голову и спросил:

— А как ты думаешь, что толкает меня к тебе? По-твоему, я способен любить тебя?

Я боялась услышать от него, что он меня не любит. И, зажав ему рот рукой, я взмолилась:

— Ради бога... не говори ничего о чувствах, которые ты ко мне питаешь.

— Почему?

— Потому что для меня это не имеет значения... я не знаю, как ты относишься ко мне, и знать не желаю... мне достаточно самой любить тебя.

Он покачал головой и сказал:

— Это ты по ошибке любишь меня... на самом деле тебе следовало бы любить такого человека, как Сонцоньо.

Я удивилась:

— Да ты что?! Любить преступника?

— Пусть он даже преступник... зато он способен на те порывы, о которых ты говорила... Я уверен, что, раз Сонцоньо испытывает желание убивать, ему доступно и чувство любви... самой простой любви без всяких выкрутасов... я же...

Я оборвала его:

— Не смей даже сравнивать себя с Сонцоньо... ты это ты, а он преступник, злодей... и потом ты неправ, ему недоступна любовь... такой человек не может любить... ему лишь нужно

удовлетворить свою чувственность... со много или с любой другой женщиной — все равно!

Кажется, он не согласился с моими доводами, но ничего не возразил. Воспользовавшись молчанием, я засунула пальцы под рукав его сорочки, стараясь дотянуться до локтя.

— Мино, — шепнула я.

Он вздрогнул:

— Почему ты называешь меня Мино?

— Это ведь уменьшительное от Джакомо... разве мне нельзя тебя так называть?

— Нет, нет... можешь... просто так меня зовут дома... вот и все.

— Тебя так зовет твоя мать? — спросила я и, оставив его руку, просунула пальцы под галстук и коснулась сквозь разрез рубашки его груди.

— Да, так меня зовет мама, — подтвердил он с каким-то раздражением. И спустя минуту он прибавил странным тоном, в котором звучали одновременно и гнев и насмешка: — Впрочем, не только это роднит тебя с моей мамой... у вас почти на все одинаковые взгляды.

— Например? — спросила я.

Я была так возбуждена, что почти не слушала его. Расстегнув сорочку, я гладила его худое и милое мальчишеское плечо.

— Например, — ответил он, — когда я тебе рассказал, что занимаюсь политикой, ты сразу всполошилась и испуганно закричала: «Но это запрещено... это опасно...» — словом, сказала то же самое и тем самым голосом, как сказала бы мама.

Мне льстила мысль, что я похожа на его мать, во-первых, потому, что это была его мама, а еще потому, что она была настоящая синьора.

— Вот дурачок, — сказала я мягко, — что же тут плохого? Это значит, что твоя мать любит тебя так же, как и я... ведь заниматься политикой и вправду опасно... Я знала одного юношу, его арестовали, и вот уже два года он сидит в тюрьме... а потом, что толку? Ведь они намного сильнее, и, если ты будешь рыпаться, они упекут тебя в тюрьму... мне кажется, что можно прекрасно прожить на свете и без политики.

— Мама, вылитая мама! — восторженно и насмешливо воскликнул он. — Именно так говорит моя мама!

— Не знаю, что говорит твоя мама, — возразила я, — но, что бы она ни говорила, она желает тебе добра... брось политику... ведь ты по профессии не политический деятель... ты студент... а студентам полагается учиться.

— Учиться, получить диплом и добиться положения, — прошептал он, как бы говоря сам с собой.

Я ничего не ответила, а, приблизив к нему свое лицо, подставила губы. Мы поцеловались, но мне тут же показалось, что он раскаивается в том, что поцеловал меня: он смотрел на меня смущенно и неприязненно. Я испугалась, что он обиделся на меня из-за того, что я прервала наш разговор о политике поцелуем, и торопливо прибавила:

— Впрочем, поступай как знаешь... я в твои дела не вмешиваюсь... и поскольку я уж все равно пришла к тебе, дай мне тот сверток... я его спрячу, как мы договорились.

— Нет, нет, — быстро возразил он, — боже сохрани, не надо... Ты водишь дружбу с Астаритой, а он может у тебя увидеть его.

— Ну и что? Разве Астарита так опасен?

— Это один из самых страшных людей, — ответил он серьезно.

Мне почему-то захотелось подшутить над ним, задеть его самолюбие, впрочем не злобно, а дружелюбно.

— В конце концов, — заметила я с невинным видом, — ты никогда и не собирался доверить мне этот сверток.

— Зачем же я тебе о нем говорил?

— Просто так, извини меня и не обижайся... думаю, ты решил просто похвастаться передо мною... показать, каким серьезным, запретным и опасным делом ты занимаешься.

Он рассердился, и я поняла, что попала не в бровь, а в глаз.

— Вот глупости, — воскликнул он, — ты просто дурочка! — Но потом, внезапно успокоившись, он неуверенно спросил: — Но почему... почему ты так подумала?

— Не знаю, — ответила я улыбаясь, — весь твой вид... вероятно, ты не отдаешь себе в этом отчета... но ты не производишь впечатления человека, способного всерьез заниматься таким делом.

— Но в действительности это очень серьезно, — сказал он таким тоном, будто издевался сам над собою.

Он встал и, вытянув вперед руки, продекламировал с пафосом звонким голосом:

— «Дайте меч мне, дайте меч, я один пойду сражаться, я один паду в бою». — Он жестикулировал худыми руками, топал ногами, у него был очень комичный вид, он опять чем-то напомнил марионетку.

Я спросила:

— Что это такое?

— Ничего, — ответил он, — просто стихи.

Его возбуждение вдруг как-то странно сменилось мрачным и задумчивым настроением. Он снова опустился на диван и искренним тоном произнес:

— А я как раз наоборот... заметь это... все делаю серьезно... даже думаю, что меня в самом деле арестуют... и тогда я докажу всем, всерьез или не всерьез я занимаюсь политикой.

Я ничего не ответила, только ласково погладила его по щеке, потом сжала его лицо ладонями и сказала:

— Какие у тебя красивые глаза.

И правда, глаза у него были хороши — кроткие и большие, внимательные и наивные. Он снова взволновался, подбородок его задрожал.

— А почему бы нам не пойти в твою комнату? — прошептала я.

— Не смей и думать об этом... моя комната рядом с комнатой вдовы... а она целыми днями сидит у себя, держит дверь открытой и не спускает глаз с коридора...

— Тогда пойдем ко мне.

— Уже поздно... ты живешь далеко... а ко мне скоро должны прийти друзья.

— Тогда давай здесь...

— Ты с ума сошла!

— Уж лучше признайся, что просто боишься, — настаивала я. — Не боишься заниматься политической пропагандой... по крайней мере ты сам так говоришь... но боишься, что тебя застанут в этой гостиной с женщиной, которая тебя любит... да что, в конце концов, произойдет?.. Самое страшное, вдова выгонит тебя... и тебе придется искать другую комнату...

Я знала, что, задев его гордость, можно добиться от него чего угодно. И в самом деле я убедила его. Он, должно быть, испытывал такое же сильное желание, как и я.

— Ты с ума сошла, — повторил он, — запомни, что быть выгнанным еще неприятнее, чем быть арестованным... а кроме того, где мы устроимся?

— На полу, — горячим шепотом сказала я, — иди сюда... я покажу тебе, как это делается.

Он, кажется, был так возбужден, что не мог даже разговаривать. Я поднялась с дивана и не спеша растянулась на полу. Пол был покрыт коврами, а посреди комнаты стоял стол с сервизом для ликера. Я лежала на ковре, а голова моя и грудь находились под столом, я потянула упирающегося Мино за руку и заставила лечь со мной. Я закрыла глаза, и запах пыли в ворсе ковра показался мне приятным и опьяняющим, будто я ле-

жала на весеннем лугу и вокруг меня распространялся не запах грязной шерсти, а аромат цветов и трав. Под тяжестью тела Мино я ощущала твердый пол; я была рада, что он этого не чувствует и что мое тело служит ему ложем. Потом я почувствовала, как он целует меня в шею и в щеку, и это доставило мне огромную радость, потому что раньше он этого не делал. Я открыла глаза, лицо мое было повернуто вбок. Щеку мне колол ворс ковра, я видела кусок паркета, натертого воском, и дальше, в глубине, нижнюю часть двустворчатой двери. Я глубоко вздохнула и снова закрыла глаза.

Первым поднялся Мино, а я еще долго оставалась лежать в прежней позе: на спине, прикрыв лицо локтем, с задранным вверх платьем и раскинутыми ногами. Я была счастлива, я как бы растворялась в своем счастье, и могла бы еще долго лежать так, ощущая спиной жесткий паркет, вдыхая запах пыли. Кажется, на минуту я погрузилась в легкий, короткий сон, и мне приснилось, что я и в самом деле лежу на зеленом лугу, а над моей головой вместо крышки стола — небо, залитое солнечным светом. Мино, должно быть, решил, что мне стало плохо, так как вдруг я почувствовала, что он трясет меня за плечи и говорит тихим голосом:

— Да что с тобою? Что ты? Вставай скорее!

Я с трудом отняла руку от лица, медленно выбралась из-под стола и встала. Я чувствовала себя счастливой и улыбалась. Мино, ссутулившись, стоял, прислонившись к буфету, он тяжело дышал и смотрел на меня враждебным и растерянным взглядом.

— Не хочу больше тебя видеть, — наконец проговорил он.

Его сгорбившаяся фигура как-то странно и непроизвольно дернулась, будто он был игрушкой, внутри которой внезапно лопнула пружина.

Я с улыбкой ответила:

— Почему?.. Мы же любим друг друга... мы будем встречаться. — И, приблизившись к нему, я ласково погладила его по щеке.

Но он, пряча от меня свое бледное и искаженное лицо, повторил:

— Не хочу больше тебя видеть.

Я понимала, что его враждебность вызвана главным образом сожалением, что он уступил мне. Он никак не мог примириться с чувством, которое я вызывала в нем, оно всегда сопровождалось сопротивлением и раскаянием. Мино вел себя, как человек, решившийся на поступок, которого он не хочет и не должен совершать. Но я была уверена, что его раздражение скоро прой-

дет и страсть, которую он подавляет в себе и ненавидит, в конце концов пересилит его странное стремление к воздержанию. Поэтому я не придала особого значения его словам и, вспомнив о галстуке, который купила, подошла к столику, где бросила свою сумку и перчатки.

— Ну, не сердись... я сюда больше не приду... ты доволен? — сказала я.

Он ничего не ответил. В это время дверь отворилась и старая служанка ввела в комнату двух мужчин. Один из них произнес громогласным басом:

— Привет, Джакомо!

Я догадалась, что это, должно быть, его политические единомышленники, и принялась с любопытством разглядывать их. Тот, который поздоровался, казался настоящим великаном: ростом выше Мино, широкоплечий, он напоминал профессионального боксера. У него были растрепанные светлые волосы, голубые глаза, приплюснутый нос и красный некрасивый рот. Но лицо его было открытым и симпатичным, какая-то наивная застенчивость сквозила в нем, и это мне понравилось. Хотя стояла зима, он пришел без пальто, в одном пиджаке и белом свитере с высоким воротом, что увеличивало его сходство со спортсменом. Меня поразили его руки — красные и огромные, они высовывались из рукавов пиджака, поверх которых были вывернуты обшлага свитера. Он был очень молод, пожалуй, одного возраста с Джакомо. Второй человек выглядел лет на сорок и в отличие от молодого, которого можно было принять за рабочего или крестьянина, выглядел и одет был, как интеллигент. Он был очень смуглый, невысокого роста, а рядом со своим товарищем казался просто коротышкой, пол-лица занимали большие, в черепаховой оправе очки. Из-под очков торчал маленький курносый носик, а рот был огромный, до ушей. Худые щеки, покрытые черной щетиной, потертый воротник сорочки, поношенная и грязная одежда, болтавшаяся на его жалком теле словно на вешалке, — все это производило впечатление самодовольной, вызывающей нищеты и неаккуратности. По правде говоря, меня удивил внешний облик этих двух людей, потому что сам Мино всегда одевался с небрежной элегантностью, да и вообще в нем чувствовалась принадлежность к совсем иному кругу. Если бы я не видела, как вошедшие поздоровались с Мино и как тот ответил на их приветствие, я никогда бы и не подумала, что они друзья. Но инстинктивно мне сразу же понравился великан, а маленького я невзлюбила. Смущенно улыбаясь, великан спросил:

— Может быть, мы пришли слишком рано?

— Нет, нет, — ответил Мино, качая головой. Он был растерян и старался овладеть собой. — Вы пришли точно в назначенное время.

— Точность — вежливость королей, — вставил маленький, потирая руки.

И вдруг неожиданно для всех он громко засмеялся, будто сказал что-то весьма остроумное. Потом так же внезапно стал серьезным, чересчур серьезным, даже не верилось, что только сию минуту он так весело хохотал.

— Адриана, — через силу сказал Мино, — познакомься, это мои друзья... Туллио, — добавил он, указывая на маленького, — а это Томмазо.

Он не назвал их фамилий, и я подумала, что имена тоже, должно быть, не настоящие. Я поздоровалась с ними за руку и улыбнулась. Великан больно стиснул мне пальцы, потом маленький пожал мою руку своей потной ладонью.

— Весьма счастлив, — проговорил маленький с явно преувеличенным восторгом.

— Очень приятно, — сказал большой.

И я снова с удовольствием отметила, как просто и приветливо он проговорил эти слова. В его произношении слышался легкий оттенок диалекта.

С минуту мы молча смотрели друг на друга.

— Если хочешь, Джакомо, — снова заговорил большой, — мы можем уйти... если ты сегодня занят, мы придем завтра.

Мино вздрогнул, посмотрел на него, и я поняла, что сейчас он скажет, чтобы они остались, а меня выпроводит. Я уже достаточно хорошо изучила его характер и понимала, что именно так он и поступит. Я вспомнила, что всего несколько минут тому назад отдавалась ему, еще до сих пор ощущала поцелуи и прикосновение его рук, сжимавших меня в объятиях. И не душа моя, всегда готовая уступить и смириться, а мое тело вдруг восстало, будто с ним обращались не так, как того заслуживала его щедрость и красота. Я шагнула вперед и громко произнесла:

— Да, будет лучше, если вы сейчас уйдете, приходите завтра... я еще должна кое-что сказать Мино.

— Но мне надо поговорить с ними, — с досадой и удивлением возразил Мино.

— Поговоришь с ними завтра.

— Ну, — добродушно проговорил Томмазо, — решайте же... хотите, чтобы мы остались, так и скажите... не хотите, мы уйдем.

— Нечего и спрашивать, — заключил Туллио и опять оглушительно рассмеялся.

Мино все еще колебался. И снова вопреки рассудку в моем теле родился агрессивный протест.

— Послушайте, — сказала я, повысив голос, — всего несколько минут назад я отдавалась Джакомо здесь на полу, вот на этом ковре, как бы вы поступили на его месте? Выгнали бы меня теперь вон?

Мне показалось, что Мино покраснел. Он с досадой отвернулся и смущенно отошел к окну. Томмазо бросил на меня быстрый взгляд и серьезно сказал:

— Понятно... мы уходим... встретимся завтра в это же время, Джакомо.

Но мои слова, видимо, поразили маленького Туллио. Разинув рот, он смотрел на меня широко раскрытыми глазами сквозь толстые стекла очков. Я уверена, что никогда ему не приходилось слышать, чтобы женщина говорила вот так откровенно, и, очевидно, в эту минуту тысяча самых грязных мыслей закружилась в его голове. Но большой окликнул его с порога:

— Пойдем, Туллио.

И тот, не отрывая от меня удивленного и похотливого взгляда, попятился к двери и вышел.

Я дождалась, пока они ушли, потом приблизилась к Мино, который стоял возле окна спиной ко мне, и обвила одной рукой его шею.

— Держу пари, что теперь ты меня окончательно возненавидел.

Он медленно обернулся и посмотрел на меня глазами, полными гнева, но, увидев мое лицо, на котором, вероятно, ясно можно было прочесть нежность, любовь и простодушие, он смягчился и сказал спокойным и грустным голосом:

— Ну что, довольна? Добилась своего.

— Да, я довольна, — сказала я, крепко обнимая его.

Он позволил себя обнять, а потом спросил:

— О чем это ты хотела со мной поговорить?

— Ни о чем, — ответила я, — просто хотела провести этот вечер с тобой.

— А я, — сказал он, — скоро должен идти ужинать... я ужинаю здесь... у вдовы Медолаги.

— Тогда пригласи и меня поужинать.

Он посмотрел на меня и улыбнулся моей дерзости.

— Ладно, — смирился он, — сейчас пойду предупрежу хозяйку... а как тебя представить?

— Как хочешь... скажи, что я твоя родственница.

— Нет... я тебя представлю как свою невесту... согласна?

Я боялась показать ему, как приятно мне это предложение, и ответила с напускной небрежностью:

— Мне все равно... лишь бы быть вместе... а там называй как хочешь: невестой или еще как-нибудь.

— Обожди, я сейчас вернусь.

Он вышел, а я отошла в угол гостиной и, приподняв платье, быстро поправила комбинацию, которую не успела привести в порядок из-за внезапного прихода друзей Мино. В зеркале, которое висело напротив меня на стене, я увидела свою длинную, красивую ногу, обтянутую шелковым чулком, и поняла, что выгляжу странно среди этой старой мебели, в этой душной и тихой комнате. Мне вспомнилось время, когда мы с Джино предавались любви на вилле его хозяйки и когда я украла пудреницу; и я невольно сравнивала те дни, кажущиеся теперь такими далекими, с сегодняшним днем. Тогда меня томило чувство пустоты и горечи, мной владело желание отомстить, может быть, не самому Джино, а всему свету, который в лице Джино так жестоко обидел меня. Теперь же я чувствовала себя счастливой, свободной и легкомысленной. И я снова убедилась, что по-настоящему люблю Мино, и меня мало беспокоило, что он не любит меня.

Я оправила платье, подошла к зеркалу и причесалась. Дверь отворилась, и вошел Мино.

Я надеялась, что он приблизится и обнимет меня, пока я верчусь перед зеркалом. Но он прошел мимо, сел на диван.

— Все в порядке, — сказал он, закуривая сигарету, — поставили еще один прибор... через несколько минут будем ужинать.

Я отошла от зеркала, села с ним рядом, взяла под руку и прижалась к нему.

— А эти двое, — спросила я, — тоже занимаются политикой?

— Да.

— Они, должно быть, не очень-то богаты.

— Почему ты так думаешь?

— Заметно по их внешнему виду.

— Томмазо — сын нашего управляющего, — сказал он, — а второй — школьный учитель.

— Он мне не понравился.

— Кто?

— Школьный учитель... Он какой-то грязный, а потом он таким сальным взглядом посмотрел на меня, когда я сказала, что я тут отдавалась тебе.

— Зато ты, видно, ему понравилась.

Мы долго сидели молча. Потом я сказала:

— Ты стыдишься представить меня как невесту... если хочешь, я уйду.

Я знала, что единственный способ вырвать у него ласковое слово — это притвориться, будто я думаю, что он стыдится меня. И в самом деле он тотчас же обнял меня за талию и сказал:

— Ведь я тебе сам это предложил... и почему я должен стыдиться тебя?

— Не знаю... но вижу, у тебя плохое настроение.

— Нет, у меня вовсе не плохое настроение, я просто подавлен, — наставительно произнес он, — и это все от занятий любовью... дай мне время прийти в себя.

Я заметила, что он все еще бледен и курит без особого удовольствия.

— Ты прав, — сказала я, — прости меня... но ты всегда так холоден, так безразличен, что я просто теряю рассудок... если бы ты вел себя иначе, то я не настаивала бы на том, чтобы остаться.

Бросив сигарету, он произнес:

— Это неверно, что я холоден и безразличен.

— И тем не менее...

— Ты мне очень нравишься, — продолжал он, пристально глядя на меня, — ведь я же не смог устоять перед тобой, хотя и пытался.

Мне было приятно слышать эти слова, и я молча потупила глаза. А он добавил:

— Однако ты все-таки права... Любовью это не назовешь.

Сердце мое сжалось, и я чуть слышно прошептала:

— А что же, по-твоему, любовь?

Он ответил:

— Если бы я тебя любил, то не стал бы несколько минут назад прогонять тебя... и потом не стал бы сердиться на тебя за то, что ты хочешь остаться.

— А ты рассердился?

— Да... я болтал бы с тобою, был бы весел, беспечен, обаятелен, остроумен... ласкал бы тебя, говорил бы тебе нежности, целовал бы тебя... строил бы планы на будущее... вот это, наверное, и есть любовь.

— Да, — тихо отозвалась я, — во всяком случае, это все признаки любви.

Он долго молчал, а потом сказал без всякой бравады, с какой-то покорностью:

— И во всем остальном я точно такой же... ничего не люблю и ни во что не вкладываю всю душу... рассудком я сознаю, как надо поступать, но порой, даже делая что-то, остаюсь холодным и безучастным... Так уж я устроен, и, наверно, мне не удастся себя переделать.

Я собрала все свои силы и ответила:

— Мне ты и такой нравишься... не беспокойся.

Я нежно обняла его. Но дверь отворилась, и старая служанка, заглянув в комнату, позвала нас к столу.

По коридору мы прошли в столовую. Я до мелочей запомнила и эту комнату и людей, так как мое восприятие в тот момент было столь обострено, что все отпечаталось в моей памяти, словно на фотопластинке. Мне казалось, я не действую, а грустно взираю со стороны на свои действия широко раскрытыми глазами. Возможно, в этом и состоит влияние, оказываемое реальной действительностью, которая вызывает в нас чувство протеста, которая заставляет нас страдать и которую мы так хотели бы изменить.

Вдова Медолаги почему-то показалась мне очень похожей на черную инкрустированную перламутром мебель, стоявшую в ее собственной гостиной. Это была пожилая женщина внушительного вида, с обширным бюстом и массивными бедрами. Она была одета во все черное, ее широкое поблекшее лицо с темными кругами под глазами было подернуто как бы перламутровой бледностью и окаймлено черными, очевидно крашеными, волосами. Она стояла у стола и с угрюмым видом разливала суп. Лампа с противовесом была спущена вниз, к столу, освещая грудь вдовы Медолаги, похожую на огромный блестящий черный тюк; лицо же ее оставалось в тени. Поэтому глаза с темными кругами на белом лице производили впечатление карнавальной шелковой полумаски. Стол был небольшой, и с каждой стороны стояло по прибору. Дочь вдовы уже сидела на своем месте, и, когда мы вошли, она даже не встала.

— Синьорина сядет здесь, — заявила вдова Медолаги, — как зовут синьорину?

— Адриана.

— Смотрите-ка, так же, как и мою дочь, — небрежно заметила синьора, — итак, у нас две Адрианы.

Разговаривала она сдержанно, не глядя на нас, и было ясно, что мое присутствие пришлось ей не по вкусу. Я уже говорила, что я почти совсем не пользовалась косметикой, не красила волосы перекисью, одним словом, по моей внешности никак нельзя было догадаться о моей профессии. Но то, что я

бедная девушка из народа, это, конечно, было заметно, да я и не собиралась этого скрывать.

«Кого это он приводит в мой дом? — должно быть, думала синьора Медолаги. — Притащил какую-то плебейку».

Я села и посмотрела на девушку, которую звали так же, как меня. Она была ровно вполовину меньше меня ростом, и соответственно меньше были ее голова, грудь, бедра и все остальное. Худенькая, с жидкими волосами, с маленьким овальным личиком, она смотрела на меня большими испуганными глазами. Я заметила, что под моим внимательным взглядом она потупила глаза и опустила голову. Я решила, что она стесняется, и, желая нарушить ледяное молчание, заговорила:

— Вы знаете, мне всегда кажется странным, что кого-то зовут так же, как и меня, и что я совсем не похожа на этого человека.

Сказала я это просто так, чтобы завязать разговор, и признаюсь, начала его не очень-то умно. К величайшему удивлению, я не получила ответа. Девушка вскинула на меня свои большие глаза, вновь склонилась над тарелкой и продолжала молча есть. Тогда внезапно и ярко в моем мозгу вспыхнула истина: девушка вовсе не смутилась, она испугалась. Испугалась меня. Ее испугала моя красота, которая вдруг вторглась в их затхлый, пыльный дом, подобно розе, расцветшей среди паутины, ее испугало мое присутствие в этой комнате, словно я занимала слишком много места, хотя сидела тихо и спокойно, но более всего ее испугало мое простое происхождение. Конечно, богатые не любят бедных, но не боятся их, а с высокомерным и самодовольным видом держатся от них подальше; но если бедняк благодаря воспитанию или происхождению обладает повадками богатого, то он боится и сторонится настоящих бедняков, как человек, который боится заразиться какой-либо болезнью от тех, кто уже поражен ею. Медолаги не были богатыми людьми, иначе они не стали бы сдавать комнаты; они были бедны, но не признавались в этом, и присутствие бедной девушки, которая не скрывала своего положения, казалось им и опасным и оскорбительным. Кто знает, какие мысли мелькали в голове дочери синьоры Медолаги? Возможно, она думала: ишь ты, разговорилась тут, хочет, видно, подружиться со мною, теперь от нее не отделаешься. Я сразу поняла это и решила не открывать рта до конца ужина.

Но мать держалась непринужденнее, скорее всего, просто из любопытства решила поддерживать беседу.

— Я и не знала, что у вас есть невеста, — сказала она, обращаясь к Мино, — давно это случилось?

Она жеманно поджимала губы и разговаривала, выглядывая из-за своего огромного бюста, как из окопа.

— Месяц тому назад, — сказал Мино.

И правда, мы познакомились месяц назад.

— Синьорина из Рима?

— Не то слово! Семь поколений жили здесь.

— А когда вы поженитесь?

— Скоро... как только освободится дом, где мы собираемся жить.

— Ах... вы уже присмотрели дом?

— Да, небольшая вилла с садом... и с башенкой... очень уютная.

Мино насмешливым тоном описывал ту маленькую виллу, которую я ему показала на аллее возле нашего дома. Я сказала:

— Если мы будем ждать, пока освободится тот дом... то, боюсь, мы никогда не поженимся.

— Пустяки, — весело отозвался Мино. Он, кажется, окончательно пришел в себя, и даже лицо его чуть-чуть порозовело. — Ты ведь знаешь, что дом освободят в назначенный срок.

Я не люблю разыгрывать комедий, поэтому промолчала. Служанка переменила тарелки.

— Виллы, синьор Диодати, — начала вдова Медолаги, — имеют свои преимущества, но и свои неудобства... они требуют массу прислуги.

— Зачем нам прислуга? — сказал Мино. — В этом нет нужды... Адриана намерена сама выполнять работу кухарки, горничной, экономки... не правда ли, Адриана?

Синьора Медолаги смерила меня взглядом и произнесла:

— По правде сказать, синьоре некогда думать о кухне, об уборке комнат и постелей... У нее полно других забот... но если, конечно, синьорина Адриана привыкла... то тогда...

Она оборвала фразу и обратила свой взор на тарелку, которую ей протягивала служанка.

— Мы не знали, что вы придете... и смогли добавить к столу только несколько яиц.

Я сердилась на Мино, сердилась на эту женщину и чуть было не сказала: «Да, я привыкла... привыкла выходить на панель». А Мино был весел и возбужден, он непринужденно на-

лил себе вина, потом мне (синьора Медолаги не спускала с бутылки беспокойного взгляда) и продолжал:

— Но Адриана ведь не синьора... и никогда ею не будет. Адриана всегда сама стелила постели и убирала комнаты... Адриана — девушка из народа.

Синьора Медолаги принялась разглядывать меня, будто только сейчас увидела впервые, потом заметила с оскорбительной вежливостью:

— Но я как раз и сказала: если синьорина привыкла...

Дочь снова уткнулась в свою тарелку.

— Да, привыкла, — продолжал Мино, — и я, конечно, не буду настаивать на том, чтобы она меняла столь полезные привычки... Адриана дочь белошвейки и сама белошвейка... не так ли, Адриана? — Он потянулся через стол, взял мою руку и повернул ее ладонью вверх. — Правда, она делает маникюр, но рука у нее рабочая: большая, сильная, простая... а волосы хоть и вьются, но все-таки непокорные и жесткие. — Он оставил мою руку и грубо потрепал меня по волосам, как гладят животных. — Одним словом, Адриана — достойная представительница нашего доброго, здорового и крепкого народа.

В его голосе звучал вызов, но никто его не принял. Дочь вдовы Медолаги смотрела на меня так, будто я была прозрачная, а она разглядывала предмет, находящийся позади меня. Мать приказала служанке сменить тарелки, а потом, повернувшись к Мино, вдруг спросила:

— А вы, синьор Диодати, уже видели новую комедию?

Я чуть было не расхохоталась — так неловко хозяйка попыталась переменить тему разговора. Однако Мино ничуть не смутился:

— Не говорите мне об этой комедии... такая пошлость.

— А мы собирались завтра в театр... говорят, что актеры играют великолепно.

Мино возразил, что актеры играют не так уж блестяще, как утверждают газеты; синьора удивилась, как это газеты могут искажать истину; Мино спокойно ответил, что в газетах все, начиная от первой и кончая последней строчкой, — сплошная ложь, и весь разговор продолжался в том же духе. Как только собеседники исчерпывали очередную тему, синьора Медолаги тотчас же судорожно хваталась за другую. Мино, который, казалось, от души забавлялся, охотно принимал участие в игре и с готовностью отвечал на все вопросы. Сначала разговор шел об актерах, потом о ночной жизни Рима, о кафе, о кино, о театрах, о ресторанах и тому подобных местах. Мино и синьора Медола-

ги были похожи на двух игроков в тамбурелло *, которые перекидываются мячом и внимательно следят за тем, чтобы он не упал на землю. Но Мино проделывал все это с присущим ему чувством юмора, а синьорой Медолаги руководил страх и презрение ко мне и ко всему, что так или иначе было связано со мной. Этим поверхностным и чисто условным разговором она, казалось, хотела дать понять следующее: «Заявляю вам, что позорно жениться на девушке из народа и еще позорнее приводить ее в дом вдовы государственного служащего Медолаги». Дочь сидела ни жива ни мертва: она ужасалась и явно желала, чтобы ужин поскорее закончился и я ушла. Сперва меня забавляла эта словесная дуэль, но потом я устала и отдалась целиком той грусти, которая владела моей душой. Я понимала, что Мино не любит меня, и это сознание наполняло меня еще большей горечью. Кроме того, Мино бессовестно воспользовался моими сокровенными мечтами, чтобы разыграть комедию нашей помолвки, и я никак не могла взять в толк, хочет ли он посмеяться надо мной, или над собой, или же над этими двумя женщинами. А скорее всего, он издевался над всеми сразу, и в первую очередь над самим собой. Казалось, что он так же, как и я, лелеял мечту о нормальной, порядочной жизни и по каким-то причинам, правда несхожим с моими, мечте этой никогда не суждено осуществиться. С другой стороны, я понимала, что, расхваливая в моем лице девушек из народа, он отнюдь не льстил ни мне, ни народу; таким способом он хотел позлить свою хозяйку, вот и все. И я вынуждена была признать, что он не лгал, утверждая, что не способен полюбить всем сердцем. Тут я впервые поняла, что любовь — это главное, все зависит от нее. Только к иным людям любовь приходит, а к иным нет. И если уж она пришла, то ты распространяешь свою любовь не только на любимого человека, но на всех людей и на весь свет, как было со мной, а если любви нет, то не любят никого и ничего, как было с Мино. А недостаток любви рано или поздно превращает человека в бесполезное и слабое существо.

Со стола убрали посуду, и на скатерти, усеянной крошками и освещенной светом круглой лампы, появились четыре чашечки с кофе, терракотовая пепельница в виде тюльпана, а рядом легла большая белая рука с темными пятнышками, унизанная дешевыми кольцами, — рука синьоры Медолаги, сжимающая сигарету. Внезапно я поняла, что не могу больше находиться здесь, и встала.

---

* Игра в мяч ракетками, на которые натянута кожа.

— К сожалению, Мино, — сказала я, нарочно утрируя римский акцент, — я должна идти... у меня уйма дел.

Он положил свою сигарету в пепельницу и тоже поднялся. Звонким голосом, как и подобает «плебейке», я пожелала им «доброго вечера», слегка кивнув головой, на что синьора Медолаги ответила церемонным поклоном, а дочь вообще промолчала. Я вышла в коридор и сказала Мино:

— Боюсь, что синьора Медолаги после сегодняшнего вечера предложит тебе поискать другую комнату.

Он пожал плечами.

— Не думаю... комнаты дорогие, и плачу я аккуратно.

— Я ухожу, — сказала я, — этот ужин испортил мне настроение.

— Почему же?

— Потому что я убедилась в том, что ты действительно не способен любить.

Эти слова я произнесла с грустью, не поднимая глаз. Потом взглянула на него и увидела, что он побледнел. А может быть, это просто показалось мне в полутьме коридора. Внезапно мной овладело раскаяние.

— Ты обиделся? — спросила я.

— Нет, — с трудом выдавил он, — в конце концов, это правда...

Сердце мое наполнилось любовью, и я порывисто обняла его.

— Нет, неправда... я просто так сказала, от злости... и потом я все равно очень тебя люблю... посмотри-ка... я принесла тебе галстук.

Открыв сумку, я вытащила галстук и протянула ему. Он посмотрел на него и спросил:

— Украла?

Он пошутил, но эта шутка, как я поняла позднее, свидетельствовала о его расположении ко мне, пожалуй, больше, чем самые горячие слова благодарности. Однако тогда меня будто что-то укололо в самое сердце. Глаза мои наполнились слезами, и я прошептала:

— Нет, купила... в магазине, здесь, внизу.

Он заметил мое волнение и обнял меня:

— Глупышка... я же пошутил... впрочем, если бы ты украла его, я все равно был бы рад... и может быть, еще больше.

Я немного успокоилась и сказала:

— Подожди, я тебе сама его повяжу.

Он задрал подбородок, я развязала старый галстук, подняла воротничок и продела под него новый.

— А этот ужасный потертый галстук, — продолжала я, — я Возьму с собой, его просто нельзя больше носить.

На самом же деле я хотела взять галстук себе на память,

— Итак, скоро увидимся, — сказал он.

— Когда?

— Завтра, после ужина.

— Хорошо.

Я схватила его руку в хотела ее поцеловать. Он отдернул руку, однако я успела прикоснуться к ней губами. Не оборачиваясь, я быстро стала спускаться по лестнице

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

После этого дня моя жизнь потекла по-прежнему своим чередом. Я по-настоящему любила Мино, и меня не раз охватывало желание бросить свое занятие, которое так не вязалось с истинной любовью. Но наше материальное положение не изменилось, у меня было все так же мало денег, и не было возможности заработать их каким-либо другим путем. А брать деньги у Мино я не хотела. Впрочем, у него и самого каждая лира была на счету, родители посылали ему ровно столько, сколько требовалось на жизнь в городе. Поэтому я все время испытывала непреодолимое желание самой расплачиваться в кафе, в ресторанах, словом, везде, где мы бывали с ним вместе. Мино неизменно отказывался от моих предложений, и каждый раз я испытывала горечь и разочарование. Когда у него не было денег, он водил меня в городские парки, мы сидели на скамейке, разговаривали и разглядывали прохожих, совсем как настоящие бедняки. Однажды я сказала ему:

— Если у тебя нет денег, все равно пойдем в кафе... заплачу я... ну, что тебе стоит?

— Это невозможно.

— Но почему же? Я хочу зайти в кафе и что-нибудь выпить.

— Тогда иди одна.

По правде сказать, мне не так хотелось пойти в кафе, как хотелось самой заплатить за него. Мое желание было сильным, страстным и упорным; еще с большим удовольствием я отдавала бы ему все деньги, которые я зарабатывала от близости со случайными мужчинами. Мне казалось, что только так я смогу доказать ему свою любовь; а кроме того, я надеялась таким образом привязать его к себе более крепкими узами, чем любовь. Как-то раз я призналась:

— Я с радостью дала бы тебе денег... и уверена, что это тебе доставило бы хоть небольшое удовольствие.

Он засмеялся, а потом ответил:

— Наши отношения, по крайней мере с моей стороны, основаны отнюдь не на удовольствии.

— А на чем же тогда они основаны?

Он заколебался, а потом ответил:

— На твоем желании любить меня и на моей неспособности сопротивляться этому желанию... но это отнюдь не значит, что моя неспособность сопротивляться беспредельна.

— Что ты хочешь этим сказать?

— Очень простую вещь, — спокойно пояснил он, — я тебе не раз говорил... мы вместе, потому что ты этого захотела... а я, наоборот, этого не хотел, да и теперь, по крайней мере теоретически, не хочу...

— Хватит, хватит, — оборвала я, — не будем говорить о нашей любви... зря я затеяла этот разговор.

Думая о его характере, я часто приходила к печальному выводу, что он меня совсем не любит и что я для него лишь объект для какого-то непонятного эксперимента. В действительности он всецело был поглощен только собой, но, как ни узок был круг его интересов, характер Мино оказался очень сложным. Происходил он, как я поняла, из вполне обеспеченной семьи, которая жила в провинции, и был очень деликатный, умный, образованный, воспитанный, серьезный юноша. Его семья, насколько я сумела понять из его скупых рассказов, ибо он не любил говорить об этом, была как раз такой семьей, в которой я, мечтавшая о тихой, нормальной жизни, хотела бы родиться. Это была довольно типичная семья: отец — врач и землевладелец, мать — еще не старая женщина, заботящаяся только о детях и муже, три младшие сестры и старший брат. Правда, отец — местный делец и заправила, мать — страшная ханжа, сестры — довольно пустые девицы, а старший брат — просто-напросто гуляка, вроде Джанкарло; но в общем-то все эти недостатки были пустяковыми, и мне, родившейся совсем в других условиях и среди иных людей, они даже не казались недостатками. Несмотря ни на что, семья жила дружно, родители, сестры и брат любили Мино.

Я считала его счастливчиком, ведь он родился в такой семье. Он же, наоборот, питал к своей семье необъяснимое отвращение, антипатию и неприязнь, которых я никак не могла понять. И подобное же отвращение, антипатию и неприязнь он, казалось, испытывал к самому себе, к своей жизни, к своим

поступкам. Думаю, что эта ненависть к себе самому была лишь отражением ненависти к своей семье. Другими словами, он ненавидел в себе то, что связывало его с семьей, и то влияние, которое она, несмотря на эту ненависть, на него оказывала. Он, как я уже говорила, был хорошо воспитан, образован, умен, тонок, серьезен. Но он презирал все эти качества лишь за то, что обязан был ими семье и той среде, в которой родился и вырос.

— Но каким же, — спросила я однажды, — ты хотел бы быть? Ведь это прекрасные качества... ты должен благодарить небо, что обладаешь ими.

— Гм! На что мне все это? — отозвался он нехотя. — Я бы лично предпочел быть таким, как Сонцоньо.

Уж не знаю почему, история Сонцоньо произвела на него очень сильное впечатление.

— Ужас какой! — воскликнула я. — Да он же ведь злодей, неужели ты хочешь быть похожим на это чудовище!

— Разумеется, я не хочу быть похожим на него во всем, — спокойно объяснил он,— я назвал Сонцоньо лишь для того, чтобы ты поняла мою мысль... как бы то ни было, Сонцоньо создан для жизни в этом мире, а я не гожусь.

— А тебе интересно узнать, — спросила я, — какой бы я хотела быть?

— Ну, скажи.

— Я бы хотела быть,— медленно начала я, смакуя каждое слово, ибо в каждом из них была заключена моя сокровенная мечта,— именно такой, как ты, хотя тебе твое положение не нравится... я хотела бы родиться в богатой, как у тебя, семье, где бы мне дали хорошее воспитание... хотела бы жить в таком же прекрасном чистом доме, как твой... хотела бы иметь, как и ты, хороших учителей и гувернанток, которые учили бы меня иностранным языкам... хотела бы проводить лето, как ты, на море или в горах... иметь красивую одежду, ходить в гости и принимать гостей... потом хотела бы выйти замуж за честного, работящего, хорошо обеспеченного человека, который любил бы меня... хотела бы жить с этим человеком и иметь от него детей.

Мы разговаривали, лежа в постели. Внезапно, как это с ним часто бывало, он набросился на меня и начал тискать и тормошить, повторяя:

— Браво, браво, браво! Одним словом, ты хотела бы быть такой, как синьора Лобьянко.

— А кто эта синьора Лобьянко? — спросила я удивленно и немного обиженно.

— Злая фурия, она часто приглашает меня к себе в надежде,

что я влюблюсь в одну из ее ужасных дочерей и женюсь на ней... потому что я, как принято говорить, прекрасная партия.

— Но я совсем не хочу быть такой, как синьора Лобьянко.

— И все-таки ты стала бы такой, если бы имела все то, о чем говоришь... синьора Лобьянко тоже родилась в богатой семье, и ей дали отличное воспитание, нанимали учителей и гувернанток, учили иностранным языкам, потом она училась в школе и даже, кажется, в университете... она как раз выросла в прекрасном чистом доме... она каждое лето ездила на море и в горы... она имела красивые туалеты, ходила в гости и принимала у себя гостей... Бесконечные приглашения и бесконечные приемы... она вышла замуж за честного человека, инженера Лобьянко, который трудится и зарабатывает много денег... наконец, она тоже имеет от мужа, которому, я думаю, она никогда не изменяла, кучу детей... а именно: трех дочерей и одного сына... и несмотря на это, она, как я уже сказал, злая фурия.

— Но она родилась фурией... при чем же тут среда?

— Нет, она такая же, как все ее знакомые и знакомые ее знакомых.

— Может быть, она и такая, — сказала я, пытаясь освободиться от его объятий, — но у каждого человека свой характер... возможно, синьора Лобьянко действительно злая фурия... но я уверена, что, живи я в таких условиях, я стала бы гораздо лучше, чем сейчас.

— Ты стала бы такой же ужасной, как синьора Лобьянко.

— Но почему, скажи, почему?

— Так уж...

— Нет, давай разберемся... свою семью ты тоже считаешь ужасной?

— Разумеется... самой что ни на есть ужасной!

— А сам ты тоже ужасный?

— Во мне ужасно все, что идет от семьи.

— Но почему... объясни.

— Так.

— Это не ответ.

— Точно такой ответ, — произнес он, — дала бы тебе синьора Лобьянко, если бы ты задала ей кое-какие вопросы.

— Какие вопросы?

— Неважно, — ответил он беспечно, — щекотливые вопросы... слово «так», особенно сказанное уверенным тоном, затыкает рот даже самым любопытным... так... без всякого объяснения... просто так.

— Не понимаю тебя.

— Какое имеет значение, понимаем мы друг друга или нет, если, по твоим словам, мы любим друг друга? — заключил он, обнимая меня с насмешливым видом, явно доказывавшим, что он-то меня вовсе не любит.

На том и закончился наш спор. И как Мино никогда целиком не отдавался чувству, оставляя скрытой какую-то, возможно самую важную, часть своей души, что лишало всякой прелести редкие проявления его любви, так он никогда не открывал мне своих сокровенных мыслей; всякий раз, когда мне начинало казаться, что я проникла в глубину его дум, он шуткой или насмешкой отталкивал меня, стараясь отвлечь от себя внимание. Он действительно ускользал от меня во всех смыслах. Я чувствовала себя низшим существом, неким подопытным и изучаемым объектом. И наверно, именно поэтому я любила его так сильно, так преданно и так беззаветно.

Впрочем, иногда мне казалось, что он ненавидит не только свою собственную семью и свою среду, но всех людей на свете. Однажды, не помню уж по какому поводу, он заметил:

— Богатые люди ужасны... но и бедные тоже не лучше, хотя совсем по другим причинам.

— Ты скоро объявишь, — сказала я, — что вообще ненавидишь всех людей без исключения.

Он засмеялся и ответил:

— В принципе, когда я один, я не чувствую к людям ненависти... Вернее, моя ненависть почти совсем исчезает, и я начинаю верить, что люди постепенно становятся лучше... если бы я не верил в это, я не стал бы заниматься политикой... но, когда я нахожусь среди людей, они наводят на меня ужас. — И внезапно с искренней болью добавил: — Люди, по правде говоря, немногого стоят.

— Мы с тобой тоже люди, — сказала я, — и потому ничего не стоим и не имеем права их судить.

Он снова рассмеялся:

— Да я и не осуждаю их... я их чувствую... или, вернее сказать, чую... как собака чует след куропатки или зайца... разве собака может осуждать? Я чую коварство, глупость, эгоизм, мелочность, фальшь, грубость, невежество, всю низость людей... я их чую, это ведь чувство... а разве ты можешь отрицать это чувство?

Я не знала, что ответить, и ограничилась тем, что заметила:

— У меня такого чувства нет.

В другой раз он сказал:

— Впрочем, я не знаю, хороши или плохи люди... но они, это мне ясно, бесполезные и никчемные существа...

— Что ты хочешь этим сказать?

— Я хочу сказать, что можно прекрасно обойтись без человечества... оно всего лишь безобразный нарост на теле земного шара... язва... земля выглядела бы куда лучше, если бы на ней не было людей, их городов, улиц, портов, их мелочной суеты... представь себе, как прекрасен был бы мир, если бы в нем остались только небо, море, деревья, земля, животные.

Я не могла удержаться от смеха.

— Какие странные идеи приходят тебе в голову!

— Человечество, — продолжал он, — не имеет ни начала, ни конца... но оно несет в себе резко отрицательные черты... история человечества — сплошная скучная ошибка... что толку в людях? Я прекрасно мог бы обойтись без них.

— Но ведь ты сам, — возразила я, — частица этого человечества... выходит, без тебя тоже можно обойтись?

— Без меня и подавно.

Была у него еще и другая навязчивая идея — идея воздержания, что казалось особенно странным, поскольку он не пытался применить ее на деле, и она служила ему лишь для того, чтобы отравлять себе жизнь. Он носился с этой идеей и как назло особенно охотно развивал ее сразу же после нашей близости. Он говорил, что любовь — это всего лишь глупый и самый легкий способ освободиться от всех сомнений, изгоняя их из себя низменным путем, вдали от чужого глаза, как через черный ход выпроваживают неугодных гостей.

— А когда дело сделано, мужчина вместе со своей партнершей — женой или любовницей — как ни в чем не бывало отправляется гулять, и они готовы мириться с жизнью, какой бы ужасной она ни была.

— Я тебя не понимаю, — сказала я.

— Хотя бы это ты должна понимать, — ответил он. — Это ведь твоя специальность.

Я обиделась и ответила:

— Моя специальность, как ты выразился, любить тебя... Но если тебе угодно, между нами не будет больше близости... а я все равно буду любить тебя.

Он засмеялся и спросил:

— Ты в этом уверена?

В тот день мы больше не говорили на эту тему. Но впоследствии он не раз возвращался к этому вопросу, и я в конце концов перестала обращать внимание на его слова и принимала их

без возражений, так же как и некоторые другие черты его противоречивого характера.

О политике, если не считать кое-каких туманных намеков, он не говорил со мной. Я и по сей день не знаю, к чему он стремился, каковы были его убеждения, к какой партии он принадлежал. Это неведение отчасти объяснялось тем, что он держал в секрете эту сторону своей жизни, а отчасти тем, что я ничего не смыслила в политике и из робости и безразличия не пыталась получить у него сведения, которые просветили бы меня. Я поступала неправильно, и одному богу известно, как я впоследствии раскаивалась. Но тогда мне было удобнее не вмешиваться в его дела, которые, как я считала, меня не касаются, я думала только о любви. Одним словом, вела себя точно так, как ведут себя сплошь и рядом женщины, неважно, жены или любовницы, не подозревающие, как заработаны деньги, которые мужчины приносят им. Не раз мне приходилось встречаться с теми двумя друзьями Мино, с которыми он сам виделся чуть ли не каждый день. Но и они никогда не говорили о политике в моем присутствии: они либо шутили, либо вели разговор о всяких пустяках.

Однако во мне жил постоянный страх, ибо я понимала, что затевать заговор против правительства — дело опасное. Больше всего я боялась, что Мино пойдет на какое-нибудь открытое столкновение: по невежеству я не могла представить себе заговора без стрельбы и крови. Между прочим, я вспоминаю один случай, когда я, хоть и бессознательно, почувствовала, что должна вмешаться и предотвратить опасность, грозящую Мино. Я знала, что оружие иметь запрещено и что за незаконное ношение оружия можно в два счета угодить в тюрьму. Кроме того, Мино иногда легко теряет выдержку, а оружие часто подводило людей, которые могли бы спастись, не будь оно у них под рукой. Все это натолкнуло меня на мысль, что пистолет, которым Мино так гордился, был ему не только не нужен, хотя сам он утверждал обратное, но мог навлечь на него беду в том случае, если Мино будет вынужден пустить его в ход или если у него просто найдут этот пистолет. Но я не осмеливалась сказать ему об этом, потому что знала: наш разговор ни к чему не приведет. В конце концов я решила действовать тайком. Как-то раз он объяснил мне устройство пистолета. И однажды, пока он спал, я вынула из кармана брюк пистолет, вытянула обойму и разрядила ее. Затем вставила обойму на место и снова засунула пистолет в карман. А патроны спрягала под белье в ящик комода. Все это я проделала в мгновение ока, а потом улеглась возле Мино.

Через два дня я положила патроны в сумочку, вышла из дома и выбросила их в Тибр.

Как раз в это время меня навестил Астарита. Я почти забыла о его существовании, считая, что сделала все от меня зависящее для спасения служанки, и не хотела больше возвращаться к этому. Астарита сообщил мне, что священник принес пудреницу в полицию и что хозяйка, заполучив свою вещь, сняла по совету полиции свое обвинение против служанки, которую признали невиновной и освободили из тюрьмы. Должна заметить, что известие это было мне особенно приятно, потому что рассеяло горький осадок, оставшийся у меня после той исповеди. Я думала теперь не об освобожденной служанке, а о Мино и решила, что после того как опасность доноса со стороны священника отпала, то ни мне, ни Мино теперь ничего не грозит. Поэтому не удержалась и радостно обняла Астариту.

— Неужели тебе так сильно хотелось, чтобы эту женщину освободили? — заметил он с сомнением в голосе.

— Конечно, тебе это должно казаться странным, ведь ты каждый день со спокойной совестью сажаешь десятки невинных людей за решетку... но я-то по-настоящему мучилась! — с притворным жаром воскликнула я.

— Никого я не сажаю за решетку, — пробормотал он, — я только выполняю свой долг.

— А ты видел священника? — спросила я.

— Нет... не видел... я позвонил по телефону... мне сообщили, что действительно какой-то священник принес пудреницу, которую получил во время исповеди... и мне оставалось только отдать распоряжение.

Мне почему-то стало грустно и я спросила:

— Ты в самом деле меня любишь?

Его взволновал этот вопрос, и, обнимая меня, он пробормотал:

— Почему ты спрашиваешь?.. Теперь-то ты должна бы это понять.

Он хотел поцеловать меня, но я увернулась и сказала:

— Я спрашиваю, потому что хочу знать, всегда ли ты будешь помогать мне... всякий ли раз, когда я тебя об этом попрошу... так же, как ты теперь помог мне?

— Всегда, — ответил он, дрожа всем телом. А потом, приблизив ко мне свое лицо, спросил: — А ты будешь ласкова со мною?

После того как Мино вернулся ко мне, я твердо решила не встречаться больше с Астаритой. Я отличала его от всех про-

чих случайных мужчин, хотя и не любила, а иногда даже испытывала отвращение к нему; вероятно, именно поэтому считала, что с ним я вроде бы изменяю Мино. Я собиралась сказать ему всю правду: «Нет, никогда я больше не буду ласкова с тобой», но потом внезапно передумала и промолчала. Ведь сила была на его стороне, а Мино могли в любой момент арестовать, и тогда мне придется обратиться к Астарите, чтобы он помог освободить Мино, поэтому мне невыгодно портить с ним отношения. Я смирилась и выпалила единым духом:

— Да, я буду ласкова с тобой.

— А скажи мне, — спросил он, осмелев, — скажи... ты меня хоть немного любишь?

— Нет, любить не люблю, — решительно ответила я, — это ты сам знаешь... я тебе уже десятки раз говорила.

— И никогда меня не полюбишь?

— Думаю, что нет.

— Но почему?

— Разве объяснишь это?

— Ты любишь другого?

— Это уж тебя не касается.

— Но я так нуждаюсь в твоей любви, — сказал он с отчаянием, уставясь на меня своим колючим взглядом, — почему... почему ты не хочешь хоть чуточку полюбить меня?

В тот день я позволила ему остаться у меня до поздней ночи. Он был безутешен, убедившись еще раз, что я не полюблю его, и, наверное, ему было трудно примириться с моими словами.

— Но я ведь не хуже прочих людей, — твердил он, — почему бы тебе не полюбить именно меня, а не другого?

По правде говоря, он вызывал во мне жалость, и так как он настойчиво выспрашивал, какие чувства я питаю к нему, и старался найти в моих словах хоть зерно надежды, то я почти поддалась искушению обмануть его, чтобы он мог создать себе хотя бы иллюзию чувства, которого так жаждал. В ту ночь он был особенно печален и расстроен. Казалось, он жестами и поведением своим хотел пробудить во мне хотя бы видимость любви, в которой ему отказывало мое сердце. Помню, что он попросил меня сесть обнаженной в кресло. Затем он опустился передо мной, положил голову мне на колени, прижимаясь к ним лицом, и замер в такой позе надолго. А я в это время должна была ласково и нежно гладить его по голове. Он не впервые заставлял меня разыгрывать эту любовную пантомиму; но в тот день он, видимо, был в полном отчаянии. Он со стоном прижимался головой к моему животу, как будто хотел войти в мое

чрево и остаться там. В такие минуты он казался мне не любовником, а ребенком, который уткнулся головой в теплые мамины колени. И я подумала, что многие люди хотели бы вовсе не родиться; в этом его бессознательном жесте было выражено смутное желание вновь оказаться внутри темного лона, из которого он с такой мукой был вытолкнут на свет.

Эта сцена коленопреклонения длилась так долго, что я в конце концов заснула, откинувшись на спинку кресла, рука моя так и осталась лежать на его голове. Не знаю, долго ли я проспала, а проснувшись, увидела, что Астарита уже поднялся с колен, сидит передо мной одетый и смотрит на меня своим колючим и печальным взглядом. А может быть, это только мне приснилось или привиделось. Когда я окончательно проснулась, Астариты уже не было, он ушел, оставив у меня на коленях, где лежала его голова, обычную сумму денег.

А потом в течение двух недель, которые были самыми счастливыми в моей жизни, я почти каждый день встречалась с Мино, и, хотя наши отношения не изменились, я радовалась уже тому, что наши встречи стали своего рода привычкой и что мы оба, казалось, пришли к какому-то согласию. Между нами установился молчаливый договор, из которого следовало, что он меня не любит, никогда не полюбит и во всех случаях предпочитает любви воздержание. Точно так же подразумевалось, что я его люблю, буду всегда любить, несмотря на его безразличие, и предпочитаю его такую ненастоящую и ненадежную любовь полному отсутствию любви. Я не была похожа на Астариту: я смирилась с тем, что нелюбима, и находила много радости в том, что сама люблю. Должна признаться, что в глубине моей души всегда теплилась надежда, что я заставлю Мино полюбить меня и добьюсь этого своей покорностью, терпением и нежностью. Но я ни в коей мере не позволяла этой надежде пустить глубокие корни, и это больше, чем что-либо другое, придавало горький привкус его неискренним и случайным ласкам.

Тем не менее я как бы невзначай старалась войти в его жизнь, и так как я не могла войти в нее с парадного подъезда, то пыталась проникнуть с черного хода. Вопреки всем его разговорам о ненависти к людям, которая, я думаю, была вполне искренней, он в то же время, как это ни странно и ни противоречиво, с неукротимой энергией проповедовал и действовал во имя того, что он считал благом для человечества. Правда, его часто охватывали внезапные приступы разочарования, и они тоже были искренними. В тот период он увлекался тем, что сам иронически именовал моим «просвещением». Как уже было

сказано, я старалась привязать его к себе и всячески потакала этой затее. Однако эксперимент очень скоро провалился, и надо рассказать, как это произошло. Несколько вечеров подряд Мино приносил с собой книги; объяснив мне вкратце, о чем в них шла речь, он читал вслух то один отрывок, то другой. Читал он очень хорошо, меняя интонацию в зависимости от текста, с увлечением, и разрумянившееся его лицо становилось вдохновенным. Но читал он большей частью такие вещи, которые я при всем желании не могла понять, и очень скоро я вообще перестала вникать, а с ненасытным удовольствием следила за изменчивым выражением его лица. Когда он читал, он весь преображался, куда девались его застенчивость и ироничность, он как бы находился в своей стихии и не боялся показаться искренним. Этот факт весьма меня поразил, потому что до сих пор я считала, что любовь, а отнюдь не чтение наиболее благоприятствует раскрытию человеческой души. Но у Мино все было наоборот, никогда, даже в редкие минуты его открытого расположения ко мне, не видела я на его лице такого восторга и такой сердечности, с какими он, то возвышая свой голос и заставляя его звучать необыкновенно раскатисто и глубоко, то понижая его до тона задушевной беседы, читал мне своих любимых авторов. Бесследно исчезала театральная и шутовская наигранность, не покидавшая его даже в самые серьезные моменты и наводившая на мысль, что он все время исполняет придуманную и рассчитанную на внешний эффект роль. Несколько раз я даже замечала, как глаза его увлажнялись. Потом он закрывал книгу и коротко спрашивал:

— Понравилось?

Обычно я отвечала утвердительно, не объясняя причин, да и не могла бы объяснить, потому что почти с самого начала оставила всякую надежду понять смысл книги. Но как-то раз он продолжил разговор:

— А скажи, почему тебе это понравилось... объясни.

— Откровенно говоря, — ответила я после минутного колебания, — я не могу объяснить, потому что ничего не поняла.

— Почему же ты мне об этом раньше не сказала?

— Я ничего не поняла, во всяком случае, поняла очень мало из того, что ты мне читал.

— И ты не остановила меня... не предупредила об этом...

— Я видела, что тебе нравится читать, и не хотела портить тебе удовольствие... впрочем, мне ни капельки не было скучно... на тебя так интересно смотреть, когда ты читаешь.

Он рассердился и вскочил с места:

— Что за черт, вот дура набитая... идиотка, а я-то из кожи лезу ради этой идиотки!

Он сделал движение, будто хотел запустить в меня книгой, но вовремя сдержался и продолжал бранить меня все в том же духе. Я дала ему выговориться, а потом заметила:

— Вот ты говоришь, что хочешь просветить меня, но для этого прежде всего надо создать такие условия, чтобы мне не приходилось зарабатывать себе на жизнь известным тебе способом... для того, чтобы завлекать мужчин, мне, откровенно говоря, незачем читать стихи и трактаты о морали... если бы я не умела ни читать, ни писать, все равно мужчины платили бы мне деньги.

Он насмешливо сказал:

— Ты хотела бы иметь прекрасный дом, мужа, детей, туалеты, автомобиль... но вся беда в том, что синьоры Лобьянко тоже не читают книг... правда, совсем по другой, по не менее непростительной, на мой взгляд, причине.

— Не знаю, чего я хотела бы, — ответила я сердито, — но эти книги для меня не годятся... это все равно что подарить дорогую шляпку нищенке и требовать, чтобы она надевала ее вместе со своими лохмотьями.

— Наверно, так оно и есть, — ответил он, — только я тебе больше ни строчки не прочту.

Я рассказываю об этой стычке, потому что она, как мне кажется, характеризует его взгляды и поступки. Однако сомневаюсь, что он продолжал бы просвещать меня, даже если бы я не призналась, что ничего не понимаю. И произошло бы это не столько из-за его непостоянства, сколько из-за роковой неспособности Мино — чисто физической, сказала бы я, — заниматься тяжелым трудом, требующим последовательности и искренней увлеченности. Он никогда не обсуждал со мной этого, но я поняла: та издевка над самим собой, которая проскальзывала в его словах, отвечала его истинному взгляду на себя. В общем, ему случалось загореться какой-либо идеей, и, пока пылал огонь восторга, идея представлялась ему конкретной и осуществимой. Потом внезапно этот огонь затухал, и Мино испытывал лишь скуку, досаду и, главное, считал свое поведение и свой порыв абсурдными. Тогда он поддавался ленивому, тупому равнодушию либо продолжал действовать, притворяясь — впрочем, довольно безуспешно, — будто огонь восторга еще пылает. Мне трудно объяснить, что с ним происходило: вероятно, наступал резкий упадок сил, словно кровь внезапно отливала от мозга, оставляя после себя лишь пустые и бесплодные мысли. Эта пе-

ремена всегда была внезапной, непредвиденной, бесповоротной, невольно я сравнивала такие взлеты и падения с поворотом электровыключателя: свет внезапно гаснет, и комната, за минуту до этого ярко освещенная, погружается во мрак; или с мотором, который внезапно глохнет, замирает, когда прекращается доступ энергии. С этой постоянной сменой настроений, которую я сперва уловила в том, как часто у Мино состояние восторга и увлечения уступало место апатии и равнодушию, я в конце концов столкнулась непосредственно благодаря любопытному случаю, которому в то время не придала особого значения, но который позднее показался мне весьма знаменательным. В один прекрасный день он неожиданно спросил меня:

— А ты не хочешь ли что-нибудь сделать для нас?

— Для кого это для вас?

— Для нашей группы... не смогла бы ты, например, помочь нам распространять листовки?

Я охотно воспользовалась бы любым предлогом, лишь бы побольше сблизиться с ним и упрочить наши отношения. Я искренне ответила:

— Конечно, скажи только, чт*о* я должна делать, и я непременно вам помогу.

— А ты не боишься?

— Почему я должна бояться? Если ты этим занимаешься...

— Да, но прежде всего, — сказал он, — необходимо объяснить тебе, в чем дело... познакомить тебя с идеями, ради которых ты станешь подвергать себя риску.

— Ну так объясни.

— Тебе ведь это неинтересно.

— Почему? Во-первых, эти идеи сами по себе очень интересуют меня... а кроме всего прочего, мне это интересно, поскольку этим занимаешься ты.

Он посмотрел на меня, и вдруг его глаза заблестели, лицо вспыхнуло.

— Ладно, — сказал он поспешно, — сегодня уже поздно... но завтра я тебе все объясню... своими словами, поскольку книги наводят на тебя тоску... но смотри, это долгая история, и тебе придется внимательно слушать... даже если иногда тебе будет казаться, что ты не понимаешь.

— Постараюсь понять, — ответила я.

— Ты вроде бы должна понять, — пробормотал он, словно разговаривая сам с собою.

И он ушел.

Я ждала его на следующий день, но он не пришел. Спустя два дня он явился и, войдя в мою комнату, молча сел в кресло возле кровати.

— Итак, — сказала я весело, — я готова... и слушаю тебя.

Лицо у него было бледное, помятое, усталое, взгляд мутный, но я не желала обращать на это внимания. Наконец он ответил:

— Напрасно ждешь, ты ровно ничего не услышишь.

— Почему?

— Так.

— Признайся, — заявила я, — ты просто считаешь, что я слишком глупа или невежественна и ничего не пойму... что ж, благодарю!

— Ошибаешься, — ответил он с серьезным видом.

— А тогда почему?

Мы стали пререкаться, я хотела знать причину, а он уклонялся от ответа. Наконец он сказал:

— Хочешь знать почему?.. Да потому, что я сам не сумею изложить тебе эти идеи.

— Но как же так, ведь ты только об этом и думаешь.

— Верно, думаю постоянно, но со вчерашнего дня эти идеи стали мне не совсем ясны, я ничего не смыслю в них сам, и бог знает сколько времени это продлится.

— Вот тебе на!

— Постарайся понять меня, — продолжал он, — если бы два дня назад, когда я предложил тебе работать с нами, я стал излагать тебе эти идеи, уверен, что я сделал бы это так ясно и убедительно, что ты все отлично поняла бы... а сегодня я могу молоть языком, произносить какие-то слова... но все это механически, безучастно... сегодня, — закончил он, отчеканивая каждое слово, — я ничего сам не понимаю.

— Ничего сам не понимаешь?..

— Да, ничего сам не понимаю: идеи, понятия, факты, воспоминания, убеждения — все превратилось в сплошную мешанину... эта мешанина заполнила мою голову, — он ткнул себя пальцем в лоб, — всю голову... и мне так противно, будто там дерьмо.

Я смотрела на него удивленным, вопрошающим взглядом. Его била нервная дрожь.

— Постарайся понять меня, — повторил он, — не только идеи, а любая вещь, написанная, сказанная или задуманная, ка-

жется мне сегодня непостижимой... абсурдной... например... ты знаешь молитву «Отче наш»?

— Да.

— Ну-ка, прочти ее.

— Отче наш, — начала я, — иже еси на небесех...

— Хватит, — перебил он меня. — Теперь подумай-ка, сколько раз в веках произносилась эта молитва... с какими различными чувствами... ну, а я ее не понимаю... совсем не понимаю... я мог бы прочесть ее задом наперед... и мне было бы все равно. — Он помолчал с минуту, а потом продолжал: — И не только слова оказывают на меня такое действие... но и вещи тоже... и люди... вот ты сидишь рядом со мною на подлокотнике кресла и, очевидно, воображаешь, что я тебя вижу... но я тебя не вижу, потому что я тебя не понимаю... Я могу дотронуться до тебя и все равно тебя не понимаю... Вот я трогаю тебя, — сказал он и в каком-то исступлении дернул меня за полу халата и обнажил мою грудь, — вот я дотрагиваюсь до твоей груди... я ощущаю ее форму, тепло, очертания, я вижу ее цвет, ее округлость. Но я не понимаю, что это... я твержу себе: вот округлый, теплый, мягкий, белый, выпуклый предмет с маленьким, круглым и темным соском посредине... Он создан, чтобы выкармливать молоком детей, он доставляет удовольствие, когда его ласкаешь... но я ничего не понимаю... я говорю себе: он прекрасен, он должен вызывать во мне желание... но я все равно ничего не понимаю. Теперь тебе ясно? — спросил он злобно и так сильно сдавил мою грудь, что я не смогла сдержать крика боли. Он тотчас же отпустил меня и задумчиво произнес:

— Вероятно, такое непонимание как раз и порождает жестокость... многие люди пытаются обрести связь с реальностью, причиняя боль другим.

На минуту воцарилось молчание. Потом я спросила:

— Если это действительно так, как же ты можешь заниматься всеми своими делами?

— Какими, например?

— Не знаю... но ты говоришь, что распространяешь листовки... что ты сам их пишешь... если ты не веришь, как же ты можешь писать и распространять их.

Он разразился громким саркастическим смехом:

— Я делаю вид, будто верю.

— Но это же невозможно.

— Почему невозможно? Почти все люди поступают так, кроме тех случаев, когда они едят, пьют, спят или занимаются любовью, почти все поступают так, то есть делают вид, будто ве-

рят... неужели ты этого до сих пор не заметила? — И он опять нервно рассмеялся. Я ответила:

— А я поступаю не так.

— Ты поступаешь не так, — повторил он вызывающе, — потому что ты как раз и довольствуешься тем, что ешь, пьешь, спишь и занимаешься любовью, когда пожелаешь, а для таких вещей не нужно притворяться... это уже много... но в то же время слишком мало.

Он рассмеялся и сильно похлопал меня по бедру, потом обнял меня и по своему обыкновению начал тормошить, повторяя:

— О, разве ты не знаешь, что наш мир построен на обмане? Не знаешь, что в этом мире все — от короля до последнего нищего — обманщики... везде обман, обман, обман...

Я молчала, ибо знала: в такие минуты не стоит на него обижаться, лучше ему не возражать, а ждать, пока он выговорится. Однако я твердо сказала:

— Я тебя люблю... Это единственное, что я знаю, и мне этого вполне достаточно.

Внезапно успокоившись, он просто ответил:

— Ты права.

Вечер прошел, как обычно, мы больше не говорили ни о политике, ни о неспособности Мино разъяснить свои идеи.

Оставшись одна, я после долгих размышлений пришла к выводу, что дело и впрямь обстояло так, как он говорил; но, скорее всего, он просто не хотел говорить со мною о политике, так как считал, что я ничего не пойму, а кроме того, вероятно, опасался, что я могу по неосторожности подвести его. Я не считала, что он обманул меня, по собственному опыту я знала, что человеку иногда начинает казаться, будто весь мир рушится, или, как сказал Мино, вдруг перестаешь что-либо понимать, даже молитву «Отче наш». На меня тоже, когда мне нездоровилось или когда я по той или иной причине бывала в плохом настроении, находила примерно такая же тоска, досада, притуплялись все остальные чувства. Но его отказ допустить меня в святая святых своей жизни, очевидно, объяснялся другими причинами: неверием, как я уже говорила, в мою способность понять его идеи или же боязнью, что я не смогу быть достаточно осторожной. Потом, много позднее, я поняла, что ошибалась: главная причина заключалась в том, что юная неопытность и слабохарактерность определяли все его поступки.

Но в то время я решила, что лучше всего мне стушеваться, не докучать ему своим любопытством; так я и сделала.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Не знаю почему, но мне прекрасно запомнилось, даже какая погода стояла в те дни. Февраль выдался холодный и дождливый, а в марте потеплело. Легкие белые облачка, словно сетью, опутывали все небо и слепили глаза, стоило только выйти из дома на улицу. Воздух был теплый, но в нем еще чувствовалось прохладное дыхание минувшей зимы. Я гуляла по улицам, наслаждаясь этим неярким, бледным убаюкивающим светом, порой я замедляла шаги и опускала веки, а иногда останавливалась надолго, как завороженная смотрела на самые обыденные вещи: на кошку, которая, усевшись на пороге дома, вылизывала свою белую в черных пятнах шерстку; на бессильно повисшую, сломленную ветром ветвь олеандра, которая все равно, наверно, зацветет; на пучок зеленой травки, пробившийся между плит тротуара. Любуясь зеленым мохом, который после зимних дождей расползся по цоколю домов, я испытала чувство покоя и веры в будущее; если на камне и на земле в узких прогалинах мостовой принялся этот чудесный изумрудный бархат, то и моя жизнь, имеющая столь же слабые корни, как мох, и столь же неприхотливая, жизнь, которую можно сравнить лишь с плесенью, покрывающей дома, вероятно, не прекратится и расцветет. Я была убеждена, что неприятности, приключившиеся со мной в последнее время, миновали; я никогда больше не увижу Сонцоньо, не услышу разговоров о его преступлении и отныне смогу спокойно наслаждаться своими отношениями с Мино.

При этой мысли я, кажется, впервые полностью ощутила истинный вкус к жизни, который есть не что иное, как сладостный покой, ощущение свободы и надежды.

Я начала даже помышлять о перемене образа жизни. Любя Мино, я охладела к другим мужчинам, так что в моих случайных встречах не было больше ни любопытства, ни чувственного влечения. Однако я считала, что все равно жизнь есть жизнь, поэтому не стоит прилагать слишком больших усилий, чтобы изменить ее, это должно случиться лишь тогда, когда у меня появятся новые привычки, чувства и интересы, следовательно, я стану совсем иной, чем была до сих пор, но это произойдет не по моему хотению, а в силу сложившихся обстоятельств и, главное, без резких и внезапных перемен. Другого способа изменить свою жизнь я не видела, потому что к этому времени уже забыла свои честолюбивые мечты о богатстве и не верила, что, изменив образ жизни, сама стану от этого лучше.

Как-то раз я поделилась своими мыслями с Мино. Он внимательно выслушал меня, а потом сказал:

— Мне кажется, ты противоречишь сама себе... разве ты не твердила все время, что хочешь быть богатой, иметь красивый дом, мужа и детей? Все эти желания вполне законны, и, возможно, они сбудутся... но если ты будешь думать так, как сейчас, то никогда ничего не добьешься.

Я ответила ему:

— Вовсе я не говорила: хочу... а хотела бы... то есть если бы до рождения мне было дано право выбора, то я, конечно, не выбрала бы своей нынешней участи... но я родилась в этом доме, от этой матери, в этих условиях, и, в конце концов, я такая, какая есть.

— Ну и что?

— А то, что я считаю желание быть другой абсурдным... я хотела бы стать другой только в том случае, если, превратившись в другую, оставалась бы сама собою... одним словом, если бы я по-настоящему могла воспользоваться этой переменой... а быть другой просто ради того, чтобы ею быть, не стоит труда.

— Всегда стоит, — тихо заметил он, — если не для себя, то для других.

— А потом, — продолжала я, не обратив внимание на его слова, — все дело в поступках человека... ты думаешь, я не могла бы найти такого же богатого любовника, как Джизелла? Или же просто женить кого-нибудь на себе?.. Если я этого не делаю, значит, несмотря на всю свою болтовню, я этого действительно не хочу.

— Я женюсь на тебе, — шутливо сказал он, обнимая меня, — я ведь богатый... после смерти бабушки — а она, надеюсь, не заставит нас особенно долго ждать — я унаследую сотни гектаров земли, не считая загородной виллы и квартиры в городе... у нас, как положено, будет открытый дом, в определенные дни ты будешь принимать знакомых дам, мы наймем кухарку, горничную, купим кабриолет или автомобиль... и в один прекрасный день мы вдруг обнаружим — стоит только захотеть,— что мы знатного происхождения, и нас будут называть графами или маркизами...

— С тобою нельзя говорить серьезно, — сказала я, отталкивая его, — вечно ты шутишь.

Однажды мы с Мино пошли в кино. На обратном пути мы сели в переполненный трамвай. Мино собирался зайти ко мне, и мы решили поужинать в остерии возле городской стены. Он взял билеты и протиснулся вперед сквозь толпу пассажиров, загораживавших узкий проход. Я двинулась было за ним, но

толпа разъединила нас, и я потеряла его из виду. И пока, прижатая к сиденью, я искала его глазами, кто-то дотронулся до моей руки. Я посмотрела вниз и увидела Сонцоньо, который сидел как раз возле меня.

У меня перехватило дух, я почувствовала, что бледнею, очевидно, выражение моего лица изменилось. Он смотрел на меня своим обычным пронзительным взглядом. Потом, немного привстав, спросил сквозь зубы:

— Не хочешь ли сесть?

— Спасибо, — пробормотала я, — мне скоро сходить.

— Да садись.

— Спасибо, — повторила я и села.

Если бы я не села, то, наверно, потеряла бы сознание.

Он встал рядом, как бы охраняя меня, одной рукой он держался за спинку моего сиденья, а другой — за спинку переднего. Он совсем не изменился, на нем был все тот же плащ, перетянутый в талии поясом, и все так же на щеке вздрагивал желвак. Я закрыла глаза, стараясь собраться с мыслями. Правда, взгляд Сонцоньо всегда был таким, но на сей раз в его глазах я прочла еще большую суровость. Я вспомнила свою исповедь и подумала: если священник рассказал обо всем в полиции, а Сонцоньо это стало известно, то жизнь моя теперь висит на волоске.

Однако не это страшило меня. Он сам наводил ужас, пугал или, вернее, гипнотизировал и подавлял меня. Я чувствовала, что не могу ни в чем отказать ему и что между нами существуют узы не любви, конечно, но, быть может, более сильные, чем чувство, связывающее меня с Мино. Он интуитивно догадывался об этом и на самом деле повел себя как хозяин. Он вдруг сказал:

— Пойдем к тебе домой.

И я тут же покорно ответила:

— Как хочешь.

Подошел Мино, которому с трудом удалось пробраться сквозь толпу, и молча встал прямо возле нас, держась рукой за ту самую спинку, в которую судорожно вцепился Сонцоньо, длинные худые пальцы Мино почти касались коротких, словно обрубленных, пальцев Сонцоньо. Рывок трамвая толкнул их друг на друга, и Мино учтиво извинился перед Сонцоньо. Я невыносимо страдала, видя, как они стоят рядом, совсем близко, ничего не подозревая; внезапно я сказала Мино, обращаясь к нему подчеркнуто громко, чтобы Сонцоньо не подумал, будто я разговариваю с ним:

— Знаешь, я вспомнила, что у меня сегодня вечером свидание с одним человеком... поэтому давай сейчас расстанемся.

— Если хочешь, я провожу тебя до дома.

— Нет... этот человек ждет меня на остановке трамвая.

Тут не было ничего нового, я продолжала приводить домой мужчин, и Мино знал об этом. Он спокойно ответил:

— Как угодно... тогда увидимся завтра.

В знак согласия я опустила веки, и он начал протискиваться сквозь толпу к выходу.

И в ту минуту, глядя, как он удаляется, я почувствовала страшное отчаяние. Сама не знаю почему, я подумала, что вижу его в последний раз.

— Прощай, — прошептала я, провожая его взглядом, — прощай, любовь моя.

Мне хотелось крикнуть ему: подожди, вернись ко мне, но у меня пропал голос. Трамвай остановился, Мино вышел, и трамвай снова тронулся.

Всю дорогу ни я, ни Сонцоньо не обмолвились ни единым словом. Я успокаивала себя тем, что священник, должно быть, ничего не рассказал в полиции. С другой стороны, немного подумав, решила: не так уж это плохо, что я встретила Сонцоньо. Мне представился таким образом случай раз и навсегда рассеять свои сомнения относительно исхода моей исповеди.

На остановке я встала, вышла из вагона и, не оглядываясь, направилась вперед. Сонцоньо шагал рядом со мною, и, чуть-чуть повернув голову, я разглядывала его фигуру. Наконец я не выдержала:

— Что тебе от меня надо? Зачем ты идешь ко мне?

В голосе его прозвучало удивление:

— Ты ведь сама разрешила.

И верно, но от страха я совсем об этом забыла. Сонцоньо приблизился ко мне и взял меня под руку, крепко прижав ее локтем. Я невольно задрожала всем телом.

— Кто это был? — спросил он.

— Один мой друг.

— Джино ты с тех пор видела?

— Ни разу не видела.

Он незаметно огляделся вокруг:

— Не знаю почему, но с некоторых пор мне чудится, что за мной следят... только два человека могут предать меня... ты и Джино.

— При чем здесь Джино? — чуть слышно спросила я, но сердце мое бешено колотилось.

— Он знал, что я понес пудреницу ювелиру... я ему даже назвал его имя... Джино не знает точно, что это я убил ювелира, но вполне мог догадаться.

— Для Джино нет никакого смысла доносить на тебя... Это все равно что донести на самого себя.

— Я тоже так думаю, — процедил он сквозь зубы.

— Что касается меня, — продолжала я самым спокойным голосом, — то можешь поверить, я никому ничего не говорила... что я, дура... ведь я тоже попаду в тюрьму.

— Я на тебя рассчитываю, — с угрозой произнес он и добавил: — С Джино я недавно виделся... он в шутку сказал мне, что многое знает... я неспокоен... Он такой мерзавец.

— В тот вечер ты действительно обошелся с ним нехорошо, и теперь он тебя ненавидит.

Когда я говорила это, я почти надеялась, что Джино и в самом деле донесет на него.

— Великолепный был удар, — подхватил Сонцоньо с мрачной гордостью, — после него у меня два дня болела рука.

— Джино не пойдет доносить на тебя, — заключила я, — ему это невыгодно... а потом он слишком тебя боится.

Мы шли рядом и разговаривали приглушенными голосами, не глядя друг на друга. Спускались сумерки, голубоватый туман окутывал темные городские стены, белесые ветви платанов, желтоватые дома и уходящую вдаль аллею. Когда мы дошли до подъезда, я впервые остро ощутила, что изменяю Мино. Я хотела было внушить себе, что Сонцоньо мне так же безразличен, как и все прочие мужчины, но я-то знала, что это не так. Я вошла в подъезд, прикрыла дверь и, остановившись там в полной темноте, обернулась к Сонцоньо:

— Послушай, — сказала я, — тебе лучше уйти.

— Почему?

Мне захотелось сказать ему всю правду, несмотря на ужас, который он внушал мне.

— Потому что я люблю другого и не хочу изменять ему.

— Кого? Того самого, который ехал с тобой в трамвае?

Я испугалась за Мино и поспешно ответила:

— Нет... другого... ты его не знаешь... а сейчас, пожалуйста, оставь меня и уйди.

— А если я не желаю?

— Разве ты не понимаешь, что не всего можно добиться силой?.. — проговорила я.

Но я не успела кончить фразу. Страшная пощечина ожгла мне лицо. Я не видела в темноте Сонцоньо, не видела, что он

замахнулся, я даже не поняла, как это случилось. Потом он сказал:

— Иди!

Опустив голову, я быстро направилась к лестнице. Сонцоньо снова схватил меня под руку и помогал преодолевать каждую ступеньку, мне казалось, что он приподнимает меня над землей и я парю в воздухе. Щека моя горела, но сильнее всего меня удручало мрачное предчувствие. Эта пощечина будто оборвала счастливый период моей жизни, и для меня снова начиналось трудное и страшное время. Меня охватило отчаяние, и я решила во что бы то ни стало избежать той участи, которую смутно предугадывала. Сегодня же я уйду из дома, укроюсь у чужих, например у Джизеллы или в меблированных комнатах. Так, занятая своими мыслями, я не заметила, как вошла в квартиру, миновала прихожую и очутилась в своей комнате. Я пришла в себя, вернее, очнулась, уже сидя на краю постели, а Сонцоньо в это время своими точными и размеренными движениями снимал с себя одежду и аккуратно складывал ее на стул. Гнев его прошел, и он спокойно сказал мне:

— Я хотел прийти раньше... да не мог... но я все время думал о тебе.

— Что же ты думал? — машинально спросила я.

— Что мы созданы друг для друга. — Он остановился, держа жилет в руках, а потом многозначительно добавил: — Я даже решил предложить тебе одну вещь.

— Какую?

— У меня есть деньги... давай поедем вместе в Милан, у меня там куча друзей... я думаю приобрести гараж... и там в Милане мы сможем пожениться.

У меня внутри словно бы все оборвалось, и я почувствовала такую слабость, что закрыла глаза. Впервые после Джино мне предлагали выйти замуж, и это предложение мне делал Сонцоньо. Я так мечтала о нормальной жизни с мужем и детьми, и вот теперь моя мечта могла осуществиться. Но эта нормальная жизнь сводилась к простой видимости, по сути же такая жизнь была бы ненормальной и безобразной. Я чуть слышно произнесла:

— Как же так? Мы почти не знаем друг друга, ты меня видел всего один раз...

Усевшись рядом со мною и обняв меня за талию, он сказал:

— Ты знаешь меня лучше всех... знаешь обо мне все.

Я подумала, что он, наверно, взволнован, так как хочет выказать мне свою любовь и ждет от меня взаимности. Но возмож-

но, все это мне только почудилось, потому что внешне он никак не проявлял своего чувства.

— Я ничего о тебе не знаю, — тихо отозвалась я, — знаю только, что ты убил человека.

— А кроме того, — продолжал он, как бы разговаривая сам с собой, — я устал жить бобылем... когда человек один, он рано или поздно натворит глупостей.

После короткого молчания я промолвила:

— Так, сию минуту, я не могу сказать тебе ни да ни нет... дай мне время подумать.

К моему удивлению, он согласился, процедив сквозь зубы:

— Что ж, подумай, подумай... мне не к спеху.

Потом встал и снова принялся раздеваться.

Меня особенно поразили его слова: «Мы созданы друг для друга», и я все раздумывала, уж не был ли он прав. За кого же теперь я могла рассчитывать выйти замуж, как не за человека вроде Сонцоньо? И разве нас с ним не соединяли мрачные, такие страшные узы, существование которых я почти физически ощущала. Я поймала себя на том, что, горестно покачивая головой, тихо шепчу: «Бежать, бежать». Звонким голосом, от которого мой рот наполнился слюной, я произнесла:

— В Милан... а ты не боишься, что тебя будут искать?

— Я ведь просто так сказал... они даже не подозревают о моем существовании.

Внезапно слабость, охватившая меня, исчезла, и я почувствовала себя сильной, полной решимости. Я поднялась, сняла пальто и повесила его на вешалку. Затем по привычке заперла дверь на ключ, а потом медленно направилась к окну, чтобы притворить жалюзи. После этого, остановившись перед зеркалом, начала расстегивать платье, но тотчас же остановилась и повернулась к Сонцоньо. Он сидел на краю постели и, нагнувшись, расшнуровывал ботинки. Стараясь говорить обычным голосом, я произнесла:

— Обожди минутку... ко мне должен был прийти один человек, пойду предупрежу маму, чтобы она его не пускала.

Он ничего не ответил, да и не успел. Я вышла из комнаты и, закрыв за собой дверь, пошла к маме в мастерскую.

Мама возле окна шила на машине. С некоторых пор, желая как-то скоротать время, она снова взялась за работу. Я быстро прошептала:

— Позвони завтра утром Джизелле или Дзелинде, я буду там...

Дзелинда сдавала комнаты в центре города, куда я иногда приводила своих клиентов, и мама была с ней знакома.

— Почему?

— Я ухожу, — продолжала я, — когда этот человек, который сейчас в моей комнате, спросит тебя обо мне... скажи, что ничего не знаешь.

Мама смотрела на меня, открыв рот, а я сняла с гвоздя облезлую меховую жакетку, которую давно уже не носила.

— Главное, не говори ему, куда я ушла, — добавила я, — а то он чего доброго убьет меня.

— Но...

— Деньги лежат на обычном месте... я прошу тебя, молчи и позвони мне завтра утром.

Я быстро вышла, на цыпочках пробралась через прихожую и спустилась по лестнице.

Очутившись на улице, я бросилась бежать. Я знала, что в это время Мино дома ужинает, и мне хотелось повидать его, прежде чем он уйдет куда-нибудь со своими друзьями. Я добежала до площади, села в такси, назвала адрес Мино. Пока машина мчалась по улицам, я внезапно поняла, что я убегаю вовсе не от Сонцоньо, а от самой себя, так как смутно чувствовала, что меня влечет его сила и жестокость. Я вспомнила пронзительный крик ужаса и наслаждения, который вырвался у меня, когда я единственный раз лежала в объятьях Сонцоньо, и я поняла, что в тот день он навсегда подчинил меня своей воле, чего до сих пор не удавалось сделать ни одному мужчине, даже Мино. Да, я не могла не согласиться, что мы действительно созданы друг для друга, но мы были как человек и пропасть, на краю которой кружится голова и темнеет в глазах и которая все-таки манит человека в свою роковую бездну.

Я поднялась по лестнице, перешагивая через две ступеньки, и тяжело дыша спросила у старой служанки, которая открыла мне дверь, дома ли Мино.

Она растерянно посмотрела на меня, а потом, не вымолвив пи слова, убежала, оставив меня одну на пороге,

Решив, что она пошла предупредить Мино, я вошла в прихожую и закрыла за собой дверь.

В этот момент я услышала какое-то шушуканье за портьерой, отделявшей прихожую от коридора. Затем портьера отодвинулась, и в коридор выплыла вдова Медолаги. С тех пор как я ее видела в первый и единственный раз, я совсем о ней забыла. Черная огромная фигура, мертвенно-бледное лицо с черными глазами, сливавшимися в одно темное пятно, напоминав-

шее по форме карнавальную полумаску, сама не знаю почему, я почувствовала в эту минуту такой ужас, будто передо мной предстал призрак. Она остановилась и издали спросила:

— Вам нужен синьор Диодати?

— Да.

— Он арестован.

Я не поняла, в чем дело, и, почему-то подумав, что арест Мино связан с преступлением Сонцоньо, прошептала:

— Арестован... но он ведь тут ни при чем.

— Ничего не знаю, — сказала она, — знаю только, что пришли, устроили обыск и его арестовали.

По ее неприязненному тону я поняла, что она больше ничего не скажет; однако я не могла удержаться и спросила:

— Но за что?

— Синьорина, я уже сказала, что ничего не знаю.

— А куда его увезли?

— Не знаю.

— Но скажите мне хотя бы, он ничего не просил передать?

На этот раз она вообще ничего не ответила, а с видом оскорбленного и неприступного величия отвернулась и крикнула:

— Диомира!

Появилась старая служанка с испуганным лицом. Хозяйка указала на дверь, приподняла портьеру, собираясь уходить, и сказала:

— Проводи синьорину.

И портьера опустилась.

Только выйдя на улицу, я наконец поняла, что арест Мино и преступление Сонцоньо никак не связаны друг с другом. Единственное, что их объединяло, — мое смятение. В этом внезапном потоке бед проявилась особая щедрость судьбы, осыпавшей меня разом своими роковыми дарами, подобно тому как щедрая осень приносит нам самые разнообразные плоды. Недаром пословица гласит: беда никогда не приходит одна. И я скорее сердцем, чем умом, ощущала это, шагая по улице, низко наклонив голову и согнув плечи под тяжестью свалившихся на меня бед.

Понятно, что первым делом я решила обратиться за помощью к Астарите. Я помнила номер его служебного телефона, вошла в первое попавшееся кафе и позвонила. Абонент был свободен, но никто не подошел к аппарату. Я набирала номер несколько раз подряд и в конце концов поняла, что Астариты не было в кабинете. Он, вероятно, пошел ужинать и вернется позднее. Я знала об этом, но, как бывает в подобных случаях, по-

чему-то надеялась, что именно на сей раз в виде исключения застану его в министерстве.

Я взглянула на часы. Было восемь, а раньше десяти Астарита не вернется. Я стояла на углу улицы, глядя на горбатый мост, по которому бесконечным потоком шли мрачные и торопливые прохожие в одиночку и группами, они обгоняли меня, словно сухие листья, гонимые нескончаемой бурей. По ту сторону моста тянулся стройный ряд домов, от их ярко освещенных окон и людей, которые жили и хлопотали за этими окнами, повеяло на меня каким-то покоем. Я подумала, что нахожусь недалеко от главного полицейского управления, куда, видимо, увезли Мино, и, понимая всю безнадежность своего поступка, все-таки решила зайти туда и навести справки. Я заранее знала, что мне ничего не скажут, но это меня не останавливало, мне не терпелось хоть что-нибудь сделать для Мино.

Я быстро направилась в полицию самым коротким путем, держась поближе к домам, и, дойдя до управления, поднялась по лестнице. В дежурной комнате, развалившись на стуле, сидел полицейский и читал газету, ноги он положил на другой стул, а фуражку кинул на стол. Он спросил меня, куда я иду.

— В комиссариат для иностранцев, — ответила я.

Так назывался один из отделов полиции, и однажды я слышала, не помню уж по какому поводу, как Астарита называл его.

Я не знала, куда идти, и стала наугад подниматься по грязной, плохо освещенной лестнице. Я то и дело натыкалась на служащих и полицейских, которые поднимались или спускались по лестницам с бумагами в руках; я держалась ближе к стенке, где было потемнее, и шла, низко опустив голову. На каждом этаже по грязным темным коридорам сновали взад и вперед люди, тускло горели лампочки и по обеим сторонам коридоров находились комнаты, бесконечные комнаты. Полицейское управление было похоже на жужжащий улей, но здешние пчелы не садились на цветы, и мед их, который мне пришлось отведать впервые, был затхлым, черным и горьким. На третьем этаже, отчаявшись окончательно, я свернула наобум в один из коридоров. Никто не глядел в мою сторону, никто не обращал на меня внимания. Вдоль коридора тянулись распахнутые двери, возле них на стульях с соломенными сиденьями сидели люди в полицейской форме, они курили, болтали. Все комнаты были похожи одна на другую: бесчисленные шкафы, забитые бумагами, стол, за ним сидел полицейский и что-то писал. Коридор был не

прямой, а сворачивал в сторону, поэтому скоро я запуталась и уже не могла разобрать, где нахожусь. Время от времени приходилось спускаться либо подниматься на две-три ступеньки, иногда коридор пересекали точно такие же коридоры, с такими же распахнутыми дверьми, и опять такие же полицейские сидели у входа, освещенные тем же тусклым светом. Я совсем растерялась И подумала, что вернулась назад, в тот коридор, где уже была. Мимо меня прошел курьер, и я спросила:

— Где находится вице-полицеймейстер?

Он молча ткнул пальцем на темный проход, отходивший в сторону между двух дверей. Я пошла в указанном направлении, спустилась по четырем ступенькам вниз и оказалась в узком, с низким потолком коридорчике. В эту самую минуту там, где этот коридорчик, похожий на кишку, резко сворачивал, отворилась дверь и появились два человека, сразу же направившиеся в противоположном направлении. Полицейский держал какого-то человека за руку, и мне показалось вдруг, что это Мино.

— Мино! — крикнула я и бросилась туда.

Но я не успела их догнать, потому что кто-то схватил меня за плечо. Это оказался молодой полицейский с худым, смуглым лицом, в фуражке, надетой набекрень на густые черные волосы.

— Что вам надо? Кого вы ищете? — спросил он.

На мой крик те двое, что шли впереди, обернулись, и я поняла, что обозналась. Я ответила задыхаясь:

— Арестован один мой друг... я хотела узнать, не сюда ли его привезли.

— Как его зовут? — важно спросил полицейский, все еще не убирая руку с моего плеча.

— Джакомо Диодати.

— Чем он занимается?

— Студент.

— А когда его арестовали?

Внезапно я поняла, что он задает мне эти вопросы просто так, для форсу, а сам ничего не знает. Разозлившись, я воскликнула:

— Вместо того чтобы задавать мне вопросы, сказали бы лучше, где он находится!

Мы были в коридоре одни, он огляделся вокруг и, подойдя ко мне вплотную, прошептал с развязным видом:

— О студенте мы позаботимся... а ты пока поцелуй меня.

— Пустите... я и так с вами зря время потеряла! — со злостью крикнула я и, оттолкнув его, бросилась бежать в противо-

положную сторону. Тут я увидела открытую дверь и комнату, которая была больше прежних, в глубине ее стоял письменный стол, а за ним сидел мужчина средних лет. Я вошла и одним духом выпалила:

— Мне хотелось бы узнать, куда отвезли студента Диодати... его арестовали сегодня после полудня.

Мужчина бросил читать газету, лежащую на столе, и удивленно посмотрел на меня.

— Вы хотели узнать...

— Да, куда отвезли студента Диодати, арестованного сегодня после полудня.

— А кто вы такая... кто вам разрешил сюда войти?

— Это неважно... скажите мне только, где он.

— Да кто вы такая? — повторил он, возвысив голос и стукнув кулаком по столу... — Кто вам разрешил? Да знаете ли вы, где находитесь?

Внезапно я поняла, что ничего не выясню, а меня не дай бог тоже могут арестовать, тогда не состоится мой разговор с Астаритой, и Мино останется в тюрьме.

— Извините, пожалуйста, — пробормотала я, пятясь назад, — я ошиблась.

Эти слова окончательно разъярили полицейского. Но я была уже возле двери.

— При входе и выходе полагается отдавать фашистский салют, — заорал он, указывая на табличку, висевшую над его головой.

Я закивала, что должно было означать мое согласие с его словами, и, продолжая пятиться, выскочила из комнаты. Я прошла весь коридор и, немного поплутав, нашла наконец лестницу и быстро спустилась вниз. Миновав комнату дежурного, я вышла на улицу.

Единственным результатом моего вторжения в здание полиции было то, что я все-таки как-то убила время. Я рассчитала, что если не буду торопиться, то дойду до министерства минут за сорок пять, а то и за час. Потом где-нибудь поблизости посижу в кафе, а минут через двадцать позвоню Астарите и тогда, быть может, застану его.

Пока я брела по улицам, мне пришла в голову мысль, что Мино арестовал Астарита, желая мне отомстить. Он занимал важную должность именно в той самой политической полиции, которая задержала Мино; они, очевидно, давно вели слежку за Мино и знали о наших отношениях; вполне вероятно, что дело попало в руки Астариты, и он из ревности отдал приказ аресто-

вать Мино. При этой мысли меня охватила злоба против Астариты. Я знала, что он все еще влюблен в меня, и решила, что он дорого заплатит мне за свой низкий поступок, если только мои подозрения подтвердятся. В то же самое время я с тревогой думала, что, скорее всего, дело совсем не в этом и мне предстоит бросить свои слабые силы на борьбу с неведомым безликим противником, больше напоминающим хорошо отлаженную машину, чем живое существо, которому не чужды человеческие слабости.

Добравшись до министерства, я отказалась от своего первоначального плана посидеть немного в кафе, а сразу же подошла к телефону. На сей раз после первого звонка трубку подняли, и мне ответил голос Астариты.

— Это я, Адриана, — выпалила я одним духом, — мне надо тебя увидеть.

— Сейчас?

— Немедленно... по очень срочному делу... я здесь, возле министерства.

С минуту он раздумывал, потом сказал, что я могу прийти. Второй раз в жизни я поднималась по лестницам министерства, но теперь я шла с совершенно иным чувством. В первый раз я опасалась шантажа со стороны Астариты, боялась, что он расстроит мою свадьбу с Джино, я ощущала тогда, как все маленькие люди, имеющие дело с полицией, что надо мной нависла смутная угроза. Я шла тогда с разбитым сердцем и внутренним трепетом. Теперь я явилась сюда в агрессивном настроении, с намерением в свою очередь шантажировать Астариту; я решила использовать любые средства, лишь бы вызволить Мино. Но агрессивность моя объяснялась не только любовью к Мино, но и моим презрением к Астарите, к его министерству, к политике, которой занимался Мино, и к самому Мино. Я ничего не смыслила в политике, и, вероятно, по этой причине мне казалось, что в сравнении с моей любовью к Мино политика — вздорная и ненужная вещь. Я вспомнила, как начинал заикаться и мямлить Астарита всякий раз, когда видел или только слышал меня, и я с удовлетворением подумала, что он, должно быть, не заикается, когда предстает перед своим начальством, будь это хоть сам Муссолини. С такими мыслями я шла по широким коридорам министерства и с презрением смотрела на служащих, попадавшихся мне на пути. Мне ужасно хотелось вырвать у них красные и зеленые папки, которые они зажимали под мышками, подбросить их вверх и развеять эти бумажки, содержащие всяческие запреты и несправедливые обвинения. Чиновнику,

который в приемной подошел ко мне, я сказала повелительным тоном.

— Мне необходимо поговорить с доктором Астаритой... как можно скорее... у меня назначено свидание... и я не могу долго ждать.

Он удивленно взглянул на меня, однако возражать не посмел и пошел доложить о моем приходе.

Увидев меня, Астарита тотчас же поднялся мне навстречу, поцеловал мою руку и подвел меня к дивану, стоящему в другом конце комнаты. Точно так же он встретил меня и в прошлый раз, и думаю, что так он держался со всеми женщинами, приходившими к нему в кабинет. Пытаясь обуздать гнев, переполнявший мое сердце, я сказала:

— Берегись, если это ты велел арестовать Мино... сейчас же выпусти его на свободу... иначе запомни, что ты видишь меня в последний раз.

На лице его появилось выражение крайнего удивления и недоумения, я поняла, что он ровным счетом ничего не знает.

— Постой... какого Мино, черт возьми? — пробормотал он.

— Я думала, ты его знаешь, — ответила я.

И я в нескольких словах рассказала ему историю моей любви к Мино и добавила, что сегодня после полудня он был арестован у себя на квартире. Когда я говорила Астарите, что люблю Мино, он изменился в лице, однако я предпочитала сказать правду не только потому, что боялась ложью повредить Мино, но и потому, что мной овладело бешеное желание кричать всему свету о моей любви. Когда я узнала, что Астарита не имеет никакого отношения к аресту Мино, гнев, который до сих пор поддерживал меня, утих, и я вновь почувствовала себя безоружной и слабой. Свой рассказ я начала твердым возбужденным голосом, а закончила его почти жалобно. Слезы навернулись на мои глаза, когда я с болью проговорила:

— И кроме того, я не знаю, что с ним сделают... говорят, их там бьют.

Астарита перебил меня:

— Успокойся... если бы он был рабочий... а то ведь он студент.

— Но я не хочу... не хочу, чтобы он сидел в тюрьме! — кричала я рыдая.

Мы оба долго молчали. Я пыталась успокоиться, а Астарита смотрел на меня. Впервые он, казалось, не был расположен выполнить мою просьбу. И он не желал оказать мне услугу глав-

ным образом потому, что узнал о моей любви к другому человеку. Поэтому, взяв его за руку, я добавила:

— Если ты его освободишь... я обещаю сделать все, что ты захочешь. — Он недоверчиво посмотрел на меня, и я, сделав над собой усилие, потянулась к нему и подставила губы. — Ну... исполнишь мою просьбу?

Он взглянул на мое мокрое от слез лицо и заколебался, ему, видимо, хотелось поцеловать меня, однако он понимал всю унизительность этого поцелуя, предложенного из чистой корысти. Потом, оттолкнув меня, он вскочил на ноги, велел мне ждать его и вышел.

Теперь я была убеждена, что Астарита распорядится освободить Мино. По своей неопытности в подобных делах я представляла себе, как он сейчас звонит по телефону и сердитым голосом приказывает подчиненному ему комиссару немедленно выпустить на свободу студента Джакомо Диодати. Я с нетерпением считала минуты, и, когда Астарита вошел, я поднялась с места, намереваясь поблагодарить его и побыстрее уйти, чтобы увидеться с Мино.

Но на искаженном лице Астариты было написано разочарование, смешанное с дикой злобой.

— Арестовали, говоришь? — резко произнес он. — Диодати стрелял в агентов и убежал... один из агентов при смерти лежит в больнице... теперь, если его поймают — а его, разумеется, поймают, — я уже не смогу ничем ему помочь.

Я так и застыла от удивления. Я же сама разрядила пистолет Мино, хотя он мог зарядить его снова. Но тут же меня захлестнула огромная радость, и эта радость, как я заметила, была вызвана самыми различными чувствами. Я была рада узнать, что Мино на свободе; меня радовало известие, что он убил агента, на что в глубине души я считала его неспособным, и это в корне меняло мое представление о характере Мино. Я удивилась тому, что отчаянный поступок Мино наполнил мою душу, которой раньше было чуждо всякое насилие, ликованием и каким-то воинственным пылом; такое же непреодолимое удовольствие испытывала я в свое время, когда мысленно рисовала картину преступления Сонцоньо, но на сей раз к удовольствию примешивалось своего рода моральное оправдание. Далее я подумала, что скоро разыщу Мино и мы вместе убежим и скроемся, быть может, даже уедем за границу, где, как я слышала, политические эмигранты находят убежище; и сердце мое наполнилась надеждой. И еще я подумала, что, пожалуй, для меня и впрямь начиналась новая жизнь, и обновлением этим я обязана

мужеству Мино, которому была благодарна и которого полюбила еще сильнее, Астарита тем временем взволнованно шагал взад и вперед по комнате, иногда останавливался возле стола и перекладывал с места на место какие-то бумаги. Я сказала спокойным тоном:

— Должно быть, когда его арестовали, он набрался храбрости, стал стрелять и бежал.

Астарита остановился, посмотрел на меня, и лицо его исказила злобная гримаса.

— А ты довольна, да?

— Он правильно сделал, что убил агента, — откровенно заявила я, — тот ведь хотел отвезти его в тюрьму... и ты бы на его месте поступил точно так же.

Он резко ответил:

— Я политикой не занимаюсь... а тот агент исполнял лишь свой долг... у него есть жена и дети.

— Раз он занимается политикой, — ответила я, — то, видно, на это у него есть свои причины... а агент должен был понимать, что человек готов на все, лишь бы не попасть на каторгу... значит, он сам виноват.

Я была спокойна, ибо мне казалось, что я вижу, как Мино свободно разгуливает по улицам города, и я предвкушала ту минуту, когда он позовет меня куда, где скрывается, и я увижу его снова. Мое спокойствие, казалось, бесило Астариту.

— Но мы его найдем, — вдруг заорал он, — неужели ты воображаешь, будто мы его не найдем?

— Не знаю... я просто рада, что он бежал, вот и все.

— Мы его найдем, и тогда, уж поверь мне, он так дешево не отделается.

Помолчав минуту, я спросила:

— Знаешь, почему ты так разозлился?

— Ничуть я не разозлился.

— Потому что если бы он был арестован, тебе бы удалось сделать великодушный жест, облагодетельствовать меня и его... а он сбежал... поэтому-то ты злишься.

Он раздраженно пожал плечами. Зазвонил телефон, и Астарита с облегчением схватил трубку, как человек, готовый воспользоваться любым предлогом, лишь бы прекратить неприятный разговор. После первых же слов я увидела, как злое и мрачное лицо его вдруг просветлело подобно тому, как в непогожий день случайный луч солнца внезапно освещает все вокруг; и эта перемена, сама не знаю почему, показалась мне дурным знаком. Телефонный разговор продолжался долго, но Аста-

рита отвечал только «да» и «нет», и я не понимала, о чем шла речь.

— Очень сожалею, — сказал он, положив трубку, — но первое сообщение по поводу ареста того студента оказалось неточным... полиция для надежности послала агентов и к нему и к тебе домой... они рассчитывали таким образом схватить его наверняка... и действительно он арестован в доме вдовы, у которой снимал комнату... у тебя же агенты застали какого-то невысокого блондина, говорящего с южным акцентом, который, увидев полицейских, отказался предъявить документы, а начал стрелять и скрылся. Сперва подумали, что это и есть тот студент... но, очевидно, это был кто-то другой, у кого свои счеты с правосудием.

Я почувствовала, что вот-вот потеряю сознание. Итак, Мино в тюрьме; а в довершение ко всему Сонцоньо теперь убежден, что это я на него донесла. Любой на его месте подумал бы то же самое: я убежала из дома, а затем явились агенты. Мино сидит в тюрьме, а Сонцоньо разыскивает меня, желая отомстить. Я была настолько ошеломлена, что смогла только прошептать:

— Какая я несчастная! — и направилась к выходу.

Очевидно, я сильно побледнела, потому что с лица Астариты мигом слетело довольное и торжествующее выражение, он подошел ко мне и с тревогой проговорил:

— Садись-ка... давай поговорим... все еще можно исправить.

Я молча покачала головой и взялась за ручку двери. Астарита остановил меня и пробормотал:

— Послушай... я обещаю тебе сделать все от меня зависящее... я сам его допрошу... а потом, если не обнаружится ничего серьезного, я велю освободить его как можно скорее... идет?

— Идет, — ответила я слабым голосом. И добавила через силу: — Что бы ты ни сделал, знай, я буду благодарна тебе.

Теперь я была уверена, что Астарита и в самом деле поступит так, как говорит, и, если это будет в его власти, он освободит Мино; теперь я испытывала одно-единственное желание: поскорее уйти из этого страшного министерства. Но он с дотошностью полицейского снова начал допытываться:

— Между прочим... если у тебя есть основания опасаться того человека, которого застали в твоем доме... назови его имя... это облегчит его поимку.

— Не знаю я его имени, — ответила я и направилась к выходу.

— Во всяком случае, — продолжал он, — советую тебе пойти в комиссариат... и рассказать все, что знаешь... там тебе скажут,

что, когда ты им понадобишься, они тебя вызовут, а потом разрешат уйти... если ты не пойдешь туда, тебе же будет хуже.

Я ответила, что последую этому совету, и попрощалась с Астаритой. Он не сразу закрыл за мною дверь, а, стоя на пороге, смотрел мне вслед, пока я шла через приемную.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Выйдя из министерства, я быстро, почти бегом добралась до соседней площади. Только когда я очутилась на самой площади, я поняла, что не знаю, куда идти и где мне найти приют. В первую минуту я подумала было о Джизелле, но она жила далеко, а у меня ноги буквально подкашивались от усталости. Кроме того, я не была уверена, что Джизелла охотно меня примет. Оставалась Дзелинда, хозяйка меблированных комнат, о которой я сказала маме перед уходом из дома. Мы дружили с Дзелиндой, вдобавок дом ее находился совсем рядом, и я решила отправиться туда.

Дом Дзелинды, большой, выкрашенный в желтый цвет, вместе с соседними зданиями выходил фасадом на привокзальную площадь. Одной из особенностей этого дома была лестница, круглые сутки погруженная в кромешную тьму. Лифта не было, окон тоже, приходилось подыматься по лестнице в полной темноте, рискуя столкнуться с людьми, которые спускались вниз, цепляясь за те же самые перила. В доме безраздельно царил застарелый запах кухни, словно здесь уже давно не готовили, но этот смрад навечно повис в холодном и сыром воздухе.

С тяжелым сердцем я еле-еле взобралась по лестнице, по которой столько раз поднималась в обнимку с очередным нетерпеливым любовником, и заявила Дзелинде, открывшей мне дверь:

— Мне нужна комната... на сегодняшнюю ночь...

Дзелинда, женщина тучная, еще не очень пожилая, казалась старше своих лет именно из-за неимоверной полноты. Она страдала подагрой, на щеках рдел нездоровый румянец, голубые слезящиеся глаза смотрели тускло, а белокурые жидкие, вечно растрепанные волосы висели длинными, как кудель, сосульками, но, несмотря на все это, лицо ее светилось каким-то дружеским расположением, как светится даже стоячая вода в часы солнечного заката.

— Комната есть,— сказала она, — а ты одна?

— Одна.

Я вошла, она заперла дверь и зашагала передо мной вперевалку, маленькая, толстая, в старом халате; пучок волос расползся, пряди рассыпались по пленам, а шпильки торчали во все стороны. В квартире оказалось так же холодно и темно, как и на лестнице. Но запах кухни был совсем свежим, как будто здесь недавно варились вкусные и изысканные блюда.

— Я готовила ужин, — пояснила с улыбкой Дзелинда.

Дзелинда, сдававшая комнаты на несколько часов, любила меня, уж не знаю за что, и часто, когда мой клиент уходил, задерживала меня; мы болтали, и она угощала меня сладостями и ликером. Дзелинда была незамужняя, очевидно, ее никогда никто не любил, ибо полнота обезобразила ее еще смолоду, и в том робком и стыдливом любопытстве, с каким она расспрашивала меня о моих любовных похождениях, угадывалась целомудренная и чистая натура. Она была лишена зависти и лукавства, но думаю, в душе сожалела, что ей самой не довелось заниматься тем, чем занимались посетители ее квартиры; комнаты она сдавала не только ради денег, но и, пожалуй, из-за подспудного желания быть хотя бы косвенно причастной к запретному раю любовных отношений.

В конце коридора находились две хорошо знакомые мне двери. Дзелинда отворила левую и ввела меня в комнату. Она зажгла люстру с тремя белыми стеклянными плафончиками в виде тюльпанов и прикрыла жалюзи. Комната была большая, чистая. Но чистота еще беспощаднее подчеркивала убогость обстановки: дыры на коврике возле кровати, заштопанное тканьевое одеяло, темные пятна на зеркале, кувшин и таз с отбитой эмалью. Взглянув на меня, Дзелинда спросила:

— Ты плохо себя чувствуешь?

— Я чувствую себя прекрасно.

— Почему же ты тогда не ночуешь дома?

— Так, не хочется.

— Посмотрим, угадала ли я, — произнесла она с лукавым и добродушным видом, — ты, видимо, расстроена... ты ждала кое-кого, а он взял да и не пришел.

— Возможно.

— И этот кое-кто — тот самый чернявый офицер, с которым ты была здесь в прошлый раз.

Дзелинда не однажды задавала мне подобные вопросы. Я ответила как ни в чем не бывало, хотя в горле у меня стоял комок:

— Ты права... ну и что же?

— Ничего... но ты видишь, я тебя понимаю с полувзгляда...

стоило мне посмотреть на тебя, как сразу же догадалась, что с тобой что-то стряслось... но ты не расстраивайся... раз он не пришел, значит, у него были на то свои причины... ведь военные, сама знаешь, народ подневольный.

Я ничего не ответила. Дзелинда смотрела на меня с минуту, а потом нерешительно, но сердечно предложила:

— Не хочешь ли составить мне компанию? У меня сегодня отличный ужин.

— Нет, спасибо, — быстро ответила я, — я уже поела.

Она опять посмотрела на меня и ласково потрепала по щеке. Потом многообещающим и таинственным тоном, каким говорят старые тетушки со своими молоденькими племянницами, сказала:

— Сейчас я угощу тебя кое-чем, и уж от этого ты, конечно, не откажешься.

Она вынула из кармана связку ключей, подошла к комоду и, повернувшись ко мне спиной, отперла ящик.

Я расстегнула жакет и, положив руку на бедро и прислонившись к столу, смотрела, как Дзелинда шарит на дне ящика. Мне вспомнилось, что Джизелла тоже часто приходила сюда со своими любовниками, но Дзелинда не питала к ней ни малейшей симпатии. Она любила меня, потому что это была я, а не потому, что любила всех людей подряд. Это подбодрило меня. В конце концов, подумала я, на свете существуют не только полиция, министерства, тюрьмы и тому подобные страшные места. Дзелинда тем временем перестала шарить в своем ящике. Аккуратно прикрыв его, она подошла ко мне и повторила:

— От этого ты, конечно, не откажешься, — и положила что-то на ковровую скатерть стола. Я увидела пять сигарет хорошего качества с золотыми мундштуками, горсть карамелек в разноцветных обертках и четыре маленьких миндальных печенья в виде раскрашенных фруктов.

— Ну как, годится? — спросила она, снова потрепав меня по щеке.

— Да, спасибо.

— Пустяки, пустяки... если тебе что-нибудь понадобится, позови меня, не стесняйся.

Я осталась одна и почувствовала сильный озноб и беспокойство. Мне не хотелось спать, не хотелось ложиться в постель; но в этой ледяной комнате, где зимний холод, казалось, держится годами, как в церквах и в погребах, ничего другого не оставалось. Когда я приходила сюда раньше, такого вопроса не

возникало: как мне, так и сопровождавшему меня мужчине но терпелось поскорее лечь в постель и заняться любовью; и хотя я не испытывала никаких чувств к своим случайным клиентам, тем не менее сами по себе любовные наслаждения захватывали и покоряли меня своей магией. Теперь мне не верилось, что я могла любить и быть любимой в этой мрачной обстановке, в этой холодной комнате. Чувственность каждый раз вводила в заблуждение и меня и моих спутников, придавая этим чужим и нелепым вещам интимный и милый характер. Я подумала, что если я никогда больше не увижу Мино, то моя жизнь станет похожа на эту комнату. Если взглянуть на мою жизнь объективно, без иллюзий, то в ней и впрямь нет ничего прекрасного и сокровенного, она, как и комната Дзелинды, вся заполнена потертыми, мерзкими, холодными вещами. Я содрогнулась всем телом и начала медленно раздеваться.

Простыня была ледяная и до того пропитана сыростью, что, когда я легла, мне показалось, будто она приняла форму моего тела, словно мокрая глина. Пока простыня медленно нагревалась, я лежала, погруженная в свои мысли. Случай с Сонцоньо захватил меня, и я принялась анализировать причины и следствия этого мрачного дела. Теперь Сонцоньо, конечно, решил, что я на него донесла; все обстоятельства самым роковым образом складывались против меня. Но только ли эти обстоятельства? Я вспоминала его фразу: «Мне кажется, что за мной следят»; и я задавала себе вопрос, уж не проговорился ли в конце концов священник. Очевидно, все-таки не проговорился, но это еще надо было подтвердить.

Думая о Сонцоньо, я представляла себе все, что произошло дома после моего бегства: Сонцоньо наконец надоедает ждать меня, он одевается, тут внезапно входят два агента, Сонцоньо выхватывает пистолет, стреляет и спасается бегством. Как в прошлый раз, когда я думала о преступлении Сонцоньо, так и теперь картины эти будили во мне неясное и жадное удовольствие. Мое воображение снова и снова возвращалось к сцене стрельбы, и я тщательно перебирала и смаковала все подробности; разумеется, что в стычке между агентами и Сонцоньо я всей душой была на стороне последнего. Я дрожала от радости, представляя себе, как падает раненый агент, у меня вырывался вздох облегчения, когда я видела убегающего Сонцоньо, я с тревогой следила за ним, пока он спускался по лестнице, и успокоилась лишь тогда, когда он исчез за углом темной улицы. Наконец я устала от этих непрерывно сменявшихся, как кинокадры, видений и погасила свет.

Я еще раньше заметила, что моя кровать стояла возле запертой двери, ведущей в соседнюю комнату. Очутившись в темноте, я увидела, что створки двери закрывались неплотно и сквозь щель между ними пробивалась вертикальная полоска света. Я приподнялась, положила локти на подушку, просунула голову сквозь железные прутья спинки кровати и приложила глаз к щели. Меня толкало к этому не простое любопытство — ведь я заранее знала, что увижу и услышу там за дверью, — скорее, мною владел страх остаться наедине со своими мыслями и страх одиночества, и это побудило меня, хоть и таким недостойным образом, искать общества людей из соседней комнаты. Сперва я увидела только круглый стол; свет люстры падал на него сверху, а позади в тени я заметила зеркальный шкаф. Однако я слышала разговор: обычные слова, так хорошо мне знакомые, обычные вопросы о месте рождения, о возрасте, об имени. Голос женщины звучал спокойно и сдержанно, а голос мужчины — нетерпеливо и взволнованно. Они разговаривали в углу комнаты, должно быть, лежали уже в постели. Из-за неудобства позы у меня страшно заболел затылок, и я уже собралась было прекратить свои наблюдения, когда вдруг в поле зрения появилась обнаженная женщина и остановилась по ту сторону стола в тени у зеркала. Она стояла ко мне спиной, и я видела ее только до пояса. Вероятно, она была очень молода, курчавая копна волос спадала на худенькую, костлявую спину, обтянутую бледной кожей. Ей, наверное, нет еще и двадцати, подумала я, но у нее есть ребенок, и грудь уже, наверное, дряблая. Вероятно, она принадлежала к тому разряду голодных девиц, которые прогуливаются без пальто, простоволосые, грубо размалеванные и оборванные, обутые в огромные уродливые ботинки, по городским скверам, расположенным возле вокзала. И когда она улыбается, думала я, у нее, должно быть, видны десны. Все эти мысли приходили мне в голову как-то непроизвольно, потому что вид этой худенькой голой спины действовал на меня успокаивающе, мне даже казалось, что я люблю эту девушку и прекрасно понимаю те чувства, которые испытывает она в данную минуту, глядя на себя в зеркало. Но послышался грубый голос мужчины:

— Можно узнать, чем это ты там занимаешься?

Девушка отошла от зеркала. Я на мгновение увидела ее сбоку: покатые плечи и дряблая грудь, именно такой я ее себе и представляла. Потом она исчезла, и вскоре свет в комнате погас.

И в моей душе тоже погасло смутное чувство умиления, ко-

торое вызвала у меня девушка, и я вновь оказалась одна в этой холодной постели, окруженная мраком и старыми чужими вещами. Я подумала об этих двух людях, находящихся за стеной: они оба скоро заснут, она ляжет возле своего партнера, уткнется подбородком в его плечо, сплетет свои ноги с его ногами, ее рука обхватит его талию, кисть прикроет пах, а пальцы утонут в складках живота, подобно корням, которые ищут живительные соки глубоко в земле, и внезапно я почувствовала себя растением, вырванным с корнем и брошенным на гладкие камни мостовой, где этому растению суждено засохнуть и погибнуть. Мино не было рядом со мною, и, когда я вытянула вперед руку, мне показалось, что я физически ощущаю под ладонью огромное ледяное, безжизненное пространство, со всех сторон обступившее меня, в центре которого находилась я сама, беззащитная, одинокая, сжавшаяся в комочек. Я испытывала горестное и непреодолимое желание прижаться к Мино; но его не было возле меня, и мне показалось, что я овдовела, я заплакала, протягивая руки вперед и воображая, будто обнимаю Мино. Не помню уж, как я заснула.

Сон у меня всегда был здоровый и крепкий, который можно сравнить с аппетитом человека, неприхотливого в еде и легко утоляющего свой голод. Так, на следующее утро, проснувшись, я с некоторым удивлением обнаружила, что нахожусь в комнате Дзелинды и лежу в постели, освещенной солнечным светом, который проникает сквозь щели жалюзи, стелется по подушке и по стене. Я еще не совсем очнулась, когда услышала из коридора телефонный звонок. Голос Дзелинды ответил что-то, я услышала свое имя, потом в дверь постучали. Я вскочила с постели и, как была в одной сорочке, подбежала к двери.

В коридоре никого не было, телефонная трубка лежала на столике. Дзелинда вышла на кухню. Я схватила трубку и услышала мамин голос. Она спросила:

— Адриана, это ты?

— Да.

— Почему ты ушла?.. Что тут было... ты могла бы по крайней мере предупредить меня... ой, какой ужас!

— Да, я знаю все... — торопливо ответила я, — можешь не объяснять.

— Я так волновалась за тебя, — сказала она, — а кроме того, у нас синьор Диодати.

— Синьор Диодати?

— Да, он пришел сегодня рано утром... и хочет во что бы то ни стало тебя повидать... он сказал, что подождет тебя здесь.

— Передай ему, что я сейчас приеду... скажи, что сию минуту буду.

Повесив трубку, я бегом вернулась в комнату и быстро оделась. Я никак не думала, что Мино так скоро освободят, и почему-то мне показалось, что, если бы я ждала его освобождения несколько дней или даже целую неделю, радость моя была бы полнее. Столь быстрое освобождение казалось мне подозрительным и невольно вызывало смутное опасение. Каждое событие должно иметь свой смысл, а смысл этого скоропалительного освобождения был мне неясен. Но я успокаивала себя тем, что, видимо, Астарите, как он и обещал, удалось добиться, чтобы Мино выпустили немедленно. Впрочем, я не чаяла снова увидеть Мино, и это нетерпеливое ожидание было все-таки счастьем, хотя и омрачалось тревогой.

Одевшись, я спрятала в сумку, чтобы не обидеть Дзелинду, сигареты, карамель и печенье, к которым даже не притронулась вчера вечером, и прошла на кухню попрощаться с хозяйкой.

— Теперь ты успокоилась, а? — спросила она. — Как твое настроение?

— Я вчера была утомлена... ну, до свидания.

— Иди, думаешь я не слышала твой разговор по телефону... синьор Диодати... да останься хоть на секунду... выпей чашку кофе.

Она говорила еще что-то, но я уже выбежала на лестницу.

В такси я села у самой дверцы, держа сумку в руках наготове, чтобы сразу же выскочить из машины, как только она остановится; я боялась увидеть возле нашего подъезда толпу людей, которые судачат по поводу выстрелов Сонцоньо. И еще я спрашивала себя, следует ли мне вообще возвращаться домой: ведь Сонцоньо может нагрянуть в любую минуту, чтобы расправиться со мной, но я отметила про себя, что это меня совсем не пугает. Если Сонцоньо решил отомстить, пусть мстит, я хочу увидеть Мино и не намерена прятаться от человека, перед которым ни в чем не виновата.

Возле дома не оказалось ни души, на лестнице тоже никого не было. Я стремительно влетела в мастерскую и увидела, что мама возле окна строчит на машинке. Солнце врывалось в комнату сквозь грязные стекла, на столе сидел кот и усердно облизывал лапы. Мама сразу же бросила шитье и сказала:

— Наконец-то ты пришла... могла бы меня по крайней мере предупредить, что идешь за полицией.

— За какой полицией?! Что ты говоришь?

— Я пошла бы с тобой вместе... тут был такой ужас!

— Я вовсе не ходила за полицией, — сказала я раздраженно, — я просто ушла, вот и все... полиция искала кого-то другого... да, видно, у этого совесть была нечиста.

— Даже мне не хочешь сказать правду, — ответила она, укоризненно глядя на меня.

— Да что сказать-то?

— Я ведь не пойду языком болтать... но никогда я не поверю, что ты вышла просто так... и в самом деле, полиция явилась через несколько минут после твоего ухода.

— Но эти неправда, я...

— Впрочем, ты поступила правильно... какие только людишки не разгуливают на свободе... знаешь, что сказал один из полицейских?.. «Я его лицо где-то видел».

Я поняла, что разубедить ее невозможно, она думала, что я пошла и донесла на Сонцоньо, и с этим ничего нельзя было поделать.

— Ну, ладно, ладно, — резко оборвала я, — а раненый... как им удалось переправить его отсюда?

— Какой раненый?

— Мне сказали, что один агент при смерти.

— Тебя обманули... правда, одному из полицейских пуля поцарапала руку... я сама ему перевязала рану... и он ушел на собственных ногах... однако я слышала выстрелы... стреляли на лестнице... я думала, весь дом разлетится... потом меня допрашивали... но я сказала, что ничего не знаю.

— Где синьор Диодати?

— Там... в твоей комнате.

Я намеренно задержалась с мамой, главным образом потому, что не решалась встретиться с Мино, будто предчувствовала что-то недоброе. Я вышла из мастерской и направилась в свою комнату. Там было темно, и, прежде чем я успела повернуть выключатель, я услышала голос Мино:

— Прошу тебя, не зажигай свет.

Меня поразил странный звук его голоса, в котором, по правде говоря, не слышалось радости. Я прикрыла дверь, ощупью добралась до кровати и села на край. Он, видимо, лежал на боку, повернувшись ко мне лицом.

— Ты плохо себя чувствуешь? — спросила я.

— Я чувствую себя отлично.

— Ты, должно быть, устал, а?

— Нет, не устал.

Совсем другой встречи ждала я. Радость неотделима от све-

та. А разве могли в этом мраке радостно сверкать мои глаза, весело звучать мой голос, даже руки мои не могли коснуться дорогого лица. Я долго выжидала, потом, наклонившись к нему, спросила:

— Что ты собираешься делать? Хочешь спать?

— Нет.

— Хочешь, я уйду?

— Нет.

— Мне остаться?

— Да.

— Хочешь, я лягу рядом с тобой?

— Да.

— Хочешь, будем любить друг друга?

— Да.

Этот ответ поразил меня, ибо, как я уже говорила, он некогда не испытывал настоящей потребности в любви. Я встревожилась и ласково спросила:

— А тебе нравится спать со мной?

— Да.

— И теперь всегда будет нравиться?

— Да.

— И мы всегда будем вместе?

— Да.

— Может быть, я все же зажгу свет?

— Нет.

— Неважно, разденусь и в темноте.

Я начала раздеваться, охваченная упоительным чувством победы. Ночь, проведенная в тюрьме, думала я, открыла ему, что он любит и не может жить без меня. Будущее покажет, как я заблуждалась; и хотя я угадывала, что эта внезапная уступчивость как-то связана с арестом, я не понимала, что такая перемена в его поведении ни в коей мере не должна обольщать меня или даже просто радовать. Но в ту минуту мне трудно было разобраться во всем этом.

Я сбрасывала одежду с тем ожесточением, с каким застоявшийся конь стремится освободиться от узды; я сгорала от нетерпеливого желания передать Мино всю свою страсть и всю радость от нашей встречи, чего не могла сделать несколько минут назад, обескураженная темнотой и его поведением.

Но как только я приблизилась к нему и наклонилась над кроватью, чтобы лечь с ним рядом, я вдруг почувствовала, что он обхватил руками мои колени, а сам до крови укусил меня в

левый бок. Меня пронзила острая боль, и одновременно я поняла, какое безграничное отчаяние выражал этот жест, как будто мы были не любовниками, а двумя грешниками, которых ненависть, гнев и безысходность толкают на самое дно нового ада, поэтому они вцепляются друг в друга зубами. Этот укус показался мне бесконечно долгим, как будто он и в самом деле собрался вырвать из моего тела кусок мяса. И хотя я почти радовалась тому, что он это сделал, тем не менее я понимала, как мало любви в его поступке; в конце концов не выдержав боли, я оттолкнула его и сказала убитым, тихим голосом:

— Пусти... что ты делаешь?.. Мне больно.

Так разом рухнули все иллюзии относительно моей победы. Потом, слившись в любовном экстазе, мы не произнесли ни слова; но все равно я смутно догадывалась об истинной причине его отрешенности и страсти, которую он сам впоследствии объяснил мне. Я поняла, что до сих пор он презирал не столько меня, сколько ту часть самого себя, которая жаждала моих ласк; а теперь, наоборот, по какой-то одному ему известной причине он дал полную волю этой до сих пор столь ненавистной ему частице своей натуры: этим все и объяснялось. Я была здесь ни при чем, он, как и прежде, не любил меня. Я ли, другая — ему было все равно; и как раньше, так и теперь я была для него лишь орудием, с помощью которого он либо карал, либо вознаграждал себя. Все это я, лежа в темноте возле него, понимала не столько рассудком, сколько инстинктивно чувствовала всей своей плотью; так же как в свое время почувствовала, что Сонцоньо — убийца, хотя тогда еще ничего не знала о его преступлении. Но я любила Мино, и моя любовь была сильнее этого сознания.

И все же меня поразили неистовая сила и ненасытность его страсти, на которую раньше он был столь скуп. Я всегда считала, что он сдерживает себя еще и по причине своего не очень крепкого здоровья. Поэтому, увидев, что он тут же снова начал ласкать меня, я не удержалась и сказала ему:

— Мне-то ведь все нипочем... смотри, как бы тебе не было вреда.

Мне показалось, что он усмехнулся, и я услышала, как он прошептал мне на ухо:

— Отныне мне ничто не может причинить вреда.

Это слово «отныне» прозвучало зловеще, и поэтому моя радость сразу померкла, я с нетерпением ждала минуты, когда смогу поговорить с Мино и узнать все, что произошло. Потом он забылся, но вроде не заснул. Я некоторое время молча жда-

ла и наконец, сделав над собой усилие, хотя сердце мое сжималось от страха, тихо попросила:

— А теперь расскажи мне, что с тобой случилось.

— Ничего не случилось.

— И все-таки что-то, должно быть, случилось.

Он помолчал с минуту, а потом, как бы разговаривая сам с собой, сказал:

— В конце концов, я считаю, что ты должна узнать об этом... так вот, случилось следующее: с одиннадцати часов прошлой ночи я — предатель.

От этих слов у меня мороз пробежал по коже, вернее, не столько от самих слов, сколько от звука его голоса. Я прошептала:

— Предатель? Почему?

Он ответил холодным и мрачно-насмешливым тоном:

— Синьор Мино был известен среди своих политических единомышленников твердостью взглядов и бескомпромиссностью... они смотрели на синьора Мино как на своего будущего руководителя... а синьор Мино пребывал в уверенности, что при любых обстоятельствах сумеет отличиться, и чуть ли не жаждал быть арестованным и подвергнуться испытанию... да, синьор Мино считал, что аресты, тюрьмы и другие страдания неизбежны в жизни политического деятеля, как неизбежны в жизни моряка опасные путешествия, штормы, кораблекрушения... но при первой же качке моряк сдал, как самая последняя баба... стоило синьору Мино предстать перед каким-то полицейским, как он, не дожидаясь угроз и пыток, выложил все... Одним словом, предал... итак, синьор Мино со вчерашнего дня оставил поприще политического деятеля и начал так называемую карьеру доносчика...

— Ты испугался! — воскликнула я.

Он спокойно ответил:

— Нет, пожалуй, даже не испугался... только со мною случилось то, что случалось уже однажды, когда я пытался объяснить тебе свои взгляды... внезапно все стало мне безразлично... а тот, который меня допрашивал, показался мне даже милым человеком... ему нужно было узнать некоторые вещи... а мне в этот момент не нужно было скрывать их, и я ему рассказал... просто так... или, вернее, — после минутного раздумья Мино прибавил, — не просто так... а усердно, торопливо, я бы сказал, рьяно... даже чересчур, так что ему пришлось умерять мой пыл.

Я подумала было об Астарите, но не мог же он показаться Мино милым человеком:

— А кто тебя допрашивал?

— Не знаю... какой-то черноглазый молодой человек, с желтым лицом, лысый... очень хорошо одетый... должно быть, важная шишка.

— И он тебе показался милым? — я не могла сдержать возгласа изумления, узнав в этом описании Астариту.

Он рассмеялся мне прямо в ухо:

— Успокойся... не он лично... а его действия... когда человек отрекается от самого себя или просто не способен быть тем, кем должен, то, как это ни странно, именно в подобных обстоятельствах проявляется его подлинная сущность... разве я не сын богатого собственника?.. А этот человек разве не стоит на страже моих интересов?.. Ну вот, мы поняли, что мы люди одной и той же породы... связаны одними и теми же узами... Ты думаешь, мне понравился лично он? Нет, нет... мне понравились его действия... я почувствовал, что это я содержал его и платил ему, я — человек, которого он защищал, человек, который был его хозяином, хотя я в стоял перед ним как обвиняемый.

Он смеялся, или, вернее сказать, захлебывался смехом, как кашлем, болезненно отдававшимся у меня в ушах. Я понимала лишь одно: произошло нечто непоправимое, и моя жизнь снова туманна и неопределенна. Спустя минуту он добавил:

— А может быть, я клевещу на себя... и я предал просто потому, что мне было безразлично... потому что внезапно все показалось мне нелепым и бессмысленным и я перестал понимать те вещи, в которые обязан был верить.

— Перестал понимать? — машинально переспросила я.

— Да... или, вернее, я понимал, как понимал всегда, только слова, а не поступки, которые этими словами обозначаются... можно ли так страдать из-за слов? Слова состоят лишь из звуков, ведь это все равно, как если бы меня посадили в тюрьму из-за ослиного рева или скрипа колес... слова не имели для меня никакого значения, они казались мне нелепыми и бессмысленными, тому человеку были нужны слова, и я дал ему их столько, сколько он хотел.

— В таком случае, — возразила я, — если это только слова... что же тебе беспокоиться?..

— Да, но, к сожалению, слова, как только их произнесешь, перестают быть только словами и превращаются в поступки.

— Почему?

— Потому что я сразу начал мучиться... потому что, как только я их высказал, я тут же раскаялся... потому что я понял,

почувствовал, что, произнеся эти слова, я совершил поступок, который обозначается словом «предательство»...

— Зачем же ты тогда их произнес?

Он вяло ответил:

— Почему люди разговаривают во сне? Может быть, я спал... а сейчас вот проснулся.

Таким образом, мы снова и снова возвращались к одному и тому же вопросу. Сердце мое сжалось от боли, и я, преодолев себя, сказала:

— Может быть, ты ошибаешься... тебе кажется, что ты натворил бог знает что, а на самом деле ты ничего и не сказал.

— Нет, не ошибаюсь, — коротко ответил он.

Немного помолчав, я спросила:

— Ну, а твои друзья?

— Какие друзья?

— Туллио и Томмазо.

— Я ничего о них не знаю, — ответил он с деланным безразличием, — их арестуют.

— Нет, не арестуют! — воскликнула я.

Я считала, что Астарита, конечно, не воспользуется этой минутной слабостью Мино. Но только теперь, услышав фразу об аресте двух его друзей, я по-настоящему поняла всю серьезность положения.

— Почему же их не арестуют? — спросил он. — Я назвал их имена... их наверняка арестуют.

— О Мино! — огорченно воскликнула я. — Зачем ты это сделал?

— Тот же вопрос задаю себе я сам.

— Но если их не арестуют, — ухватилась я за единственную оставшуюся у меня надежду, — тогда еще не все потеряно. Они никогда не узнают, что ты...

Он перебил меня.

— Да, но я-то буду знать... я-то буду знать всегда... буду знать всегда, что я уже не тот, каким был прежде, а другой человек, и этого человека породил я сам, когда заговорил, так же, как мать рождает своего ребенка... теперь, к сожалению, этот человек мне не по душе... в этом вся беда... ведь есть мужья, которые убивают своих жен, потому что жизнь с ними становится невыносимой... теперь представь себе, что в одном теле живут два существа, которые смертельно ненавидят друг друга... а моих друзей, конечно, арестуют.

Не удержавшись, я сказала:

— Если бы ты даже ничего не сказал, тебя все равно освободили бы... и твоим друзьям не грозит никакая опасность...

Тут я вкратце рассказала ему историю моих отношений с Астаритой, о том, как я пыталась вызволить его из тюрьмы и об обещании, данном мне Астаритой. Он молча выслушал меня, а потом проговорил:

— Час от часу не легче... итак, свободой я обязан не только своим заслугам в качестве доносчика, но и твоей любовной связи с полицейским.

— Мино, не надо так говорить!

— Впрочем, — добавил он через минуту, — я рад, что мои друзья счастливо отделались... по крайней мере хоть это не будет на моей совести.

— Видишь, — сказала я живо, — теперь, в сущности, нет разницы между тобой и твоими друзьями. Они тоже обязаны своей свободой мне и тому, что Астарита влюблен в меня.

— Пардон... есть разница... они-то никого не выдавали.

— Откуда ты знаешь?

— Я в них верю... однако разобщенность в таких случаях действительно малоприятная вещь.

— А ты веди себя так, будто ничего не случилось, — принялась я снова уговаривать его, — возвращайся к ним как ни в чем не бывало... что поделаешь? У каждого человека бывают минуты слабости.

— Да, но не каждому человеку выпадает случай умереть и все-таки остаться в живых, — ответил он, — знаешь, что произошло со мной в тот момент, когда я говорил? Я умер... просто умер... умер навсегда.

Тоска сжимала мое сердце, и я разразилась слезами.

— Почему ты плачешь? — спросил он.

— Потому что ты говоришь такие ужасные вещи, — ответила я и зарыдала еще громче, — будто ты умер... мне страшно.

— Тебе не нравится лежать с покойником? — насмешливо спросил он. — Однако это вовсе не так страшно, как тебе кажется... даже совсем не страшно... я умер не в прямом смысле... что касается моего тела, то оно живет, и еще как живет!.. Потрогай, жив ли я, ну, видишь, я жив. — Он взял мою руку, провел ею по своему телу, дошел до паха и надавил на него. — Я весь живой, а с тобой, поверь, я никогда не был таким живым, как сейчас... не бойся, что мы мало занимались любовью в то время, когда я был жив, зато мы все наверстаем теперь, когда я умер.

Он со злобным презрением отбросил от себя мою покорную руку. Я уткнулась лицом в ладони и разразилась громкими и

горестными рыданиями, вкладывая в них все свое отчаяние. Мне хотелось плакать без удержу, плакать без конца, потому что я боялась, что наступит минута, когда иссякнут слезы и я, опустошенная и отупевшая, вновь окажусь перед лицом все тех же неразрешимых проблем, которые вызвали этот взрыв отчаяния. Так или иначе минута эта наступила, я вытерла мокрое от слез лицо краем простыни и лежала не шевелясь, глядя в темноту широко раскрытыми глазами. Вдруг он ласковым, задушевным голосом предложил:

— Давай-ка вместе подумаем, что мне делать.

Я быстро повернулась к нему, крепко обняла и начала говорить, почти касаясь губами его губ:

— Не думай больше об этом... не занимайся ты больше этим... что было, то было... вот что тебе надо делать.

— А потом?

— А потом возьмись за учение... получи диплом... возвращайся в свой город... пусть я больше тебя не увижу, лишь бы знать, что ты счастлив... начни работать, а когда придет время, женись на местной девушке, которая будет тебе ровней и которая будет тебя любить по-настоящему... На что тебе политика? Ты не создан для политики, ты поступил неправильно, когда занялся этим делом... это ошибка, но ведь всякий может ошибиться... в один прекрасный день ты сам удивишься, что занимался политикой... а я тебя, Мино, очень-очень люблю, другая женщина на моем месте не захотела бы расстаться с тобой... но, если надо, уезжай хоть завтра... если надо, я готова никогда больше с тобой не видеться... лишь бы ты был счастлив.

— Но я, — сказал он низким и печальным голосом, — никогда больше не буду счастлив... я — доносчик.

— Неправда, — возразила я, — вовсе ты не доносчик... и даже если бы это было так, ты все равно будешь счастлив... есть люди, которые действительно совершили преступления, а они счастливы... с другой стороны, возьми, к примеру, меня... когда говорят: уличная девка, можно подумать бог знает что... а я такая же женщина, как все... и часто я даже чувствую себя счастливой... например, все последнее время, — добавила я с горечью, — я была так счастлива.

— Ты была счастлива?

— Да, очень... но я знала, что так не может продолжаться бесконечно, и правда... — Мне снова захотелось плакать, но я сдержалась и прибавила: — Ты вообразил себя совсем другим человеком, не таким, какой ты есть на самом деле... вот поэтому все так получилось... а теперь будь самим собой... и ты

увидишь, что все сразу станет на свои места... в конце концов, ты страдаешь из-за того, что произошло, потому что стыдишься и боишься мнения других, мнения своих друзей... а ты перестань встречаться с ними, познакомься с другими людьми, ведь свет так велик... если они недостаточно любят тебя, чтобы понять твое поведение в эту минуту слабости, то оставайся со мной, ведь я тебя люблю, понимаю и не осуждаю... по правде говоря, — воскликнула я убежденно, — если бы ты совершил в тысячу раз худший поступок, ты все равно для меня остался бы моим Мино! — Он молчал. Я продолжала: — Я бедная, необразованная девушка, это верно, но в некоторых вещах я разбираюсь лучше, чем твои друзья, и даже лучше, чем ты... я тоже пережила нечто похожее на то, что переживаешь сейчас ты... после нашей первой встречи, когда ты не захотел прикоснуться ко мне, я вбила себе в голову, что ты меня презираешь... и внезапно я потеряла всякий интерес к жизни... я чувствовала себя такой несчастной... я хотела бы стать другой и в то же время понимала, что это невозможно, что я навсегда останусь такой, какая я есть... меня жгло клеймо позора, я тосковала и совсем отчаялась... я онемела, застыла, будто меня связали... иногда я думала, что лучше умереть... потом однажды я вышла из дома с мамой, зашла случайно в церковь, стала молиться и поняла, что мне в конце концов нечего стыдиться, и если я такая, какая есть, то это лишь божья воля, я не должна проклинать свою судьбу, а наоборот, принять ее с покорностью и надеждой; и если ты презирал меня, то в этом виноват ты, а не я... короче говоря, я много передумала, и наконец отчаяние мое развеялось, и мне снова стало весело и легко.

Он рассмеялся своим леденящим душу смехом.

— В сущности, я должен был бы смириться с тем, что сделал, и больше не возвращаться к этой теме... я должен был бы смириться с тем, кем я стал, и не бунтовать... да, возможно, в церкви и случаются подобные вещи... но помимо церкви...

— А ты пойди в церковь, — предложила я, хватаясь за эту новую надежду.

— Нет, не пойду я туда... я не верю в бога, и в церкви мне скучно... а потом, что это за разговоры?

Он снова рассмеялся и, вдруг перестав смеяться и схватив меня за плечи, начал изо всех сил трясти меня и кричать:

— Да ты понимаешь, что я наделал? Понимаешь? Понимаешь?

Он с такой силой тряс меня, что у меня перехватило дыха-

ние, потом оттолкнул, и я услышала, как он вскочил с постели и начал в темноте одеваться.

— Не зажигай свет, — с угрозой в голосе сказал он, — нужно время, чтобы я снова мог смотреть людям в глаза... а пока еще рано... берегись, если ты зажжешь свет!

Но я боялась даже дохнуть. А потом все-таки набралась смелости и спросила:

— Ты уходишь?

— Да... но я вернусь, — сказал он и снова засмеялся, — не бойся, вернусь... я даже порадую тебя... я перееду к тебе жить.

— Сюда, ко мне?

— Да, но я не собираюсь тебе мешать... живи по-прежнему... впрочем, — добавил он, — мы могли бы прожить вдвоем на те деньги, которые мне присылают из дома... ведь я платил за комнату... но в своем доме на двоих вполне хватит.

Его намерение поселиться у нас скорее удивило меня, чем обрадовало. Однако я не осмелилась что-либо сказать. Он молча одевался в кромешной тьме.

— Я вернусь сегодня ночью, — наконец проговорил он.

Я слышала, как он открыл дверь, вышел, захлопнул за собой дверь. Я осталась одна и долго смотрела в темноту открытыми глазами.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

В тот же самый день по совету Астариты я пошла в полицейский комиссариат нашего района, чтобы дать свидетельские показания по поводу случая с Сонцоньо. Я отправилась туда нехотя, потому что после того, что произошло с Мино, все связанное с полицией и полицейскими внушало мне смертельное отвращение. Но я покорилась своей участи: я понимала, что моя жизнь отравлена, и отравлена надолго.

— Мы ждали тебя с утра, — сказал полицейский комиссар, как только я объяснила ему причину своего визита.

Это был довольно крепкий мужчина, я знала его давно; и хотя он был отцом семейства и ему уже перевалило за пятьдесят, он, как я заметила с некоторых пор, питал ко мне нечто большее, чем простую симпатию. Особенно мне запомнился его огромный пористый, как губка, нос, придававший лицу грустное выражение. Волосы у него всегда были растрепанные, а глаза полузакрытые, будто он только что встал с постели. Эти светло-голубые глаза смотрели как бы сквозь прорези маски, потому

что его полное, розовое, морщинистое лицо напоминало маску, а кожа напоминала корку поздних сортов апельсина: хотя они достигают огромных размеров, внутри у них дряблая мякоть.

Я ответила, что не могла прийти раньше. Он с минуту молча смотрел на меня своими голубыми глазами, которые ярко выделялись на его апельсиновом лице, а потом спросил с видом заговорщика:

— А теперь скажи, как его зовут?

— Откуда я знаю?

— Ну, будто бы не знаешь!

— Честное слово, нет, — ответила я, прижав руку к груди, — он остановил меня на Корсо... правда, он вел себя как-то странно... но я не обратила на это внимания.

— Как же так получилось, что он оказался один в твоем доме, а тебя не было?

— У меня было назначено срочное свидание, и я ушла.

— А он подумал, что ты пошла за полицией... ты знаешь об этом?.. И он кричал, что ты доносчица.

— Да, знаю.

— И что ты еще поплатишься за это.

— Поживем — увидим.

— Разве ты не понимаешь, — спросил он, пытливо глядя на меня, — что этот человек опасен и завтра, желая отомстить тебе за твой, как он предполагает, донос, он выстрелит в тебя так же, как стрелял в агентов?

— Конечно, понимаю.

— Тогда почему же ты не хочешь назвать его имя?.. Мы его арестуем, и ты будешь жить спокойно.

— Я же вам говорю, что не знаю его... хорошенькое дело... разве я могу знать имена всех мужчин, которых привожу домой?

— А нам, — внезапно произнес он громко, с театральным поклоном, — нам известно его имя.

Я поняла, что это ложь, и спокойно ответила:

— Если оно вам известно, чего вы пристаете ко мне? Арестуйте его, и дело с концом.

Он с минуту молча смотрел на меня, и, заметив, что его нерешительный и беспокойный взгляд все чаще останавливался на моей фигуре, я поняла, что служебное усердие помимо его воли уступило место давнишнему вожделению.

— И нам известна еще одна вещь, — продолжал он, — раз он стрелял и смылся, он, видно, имел на то причину.

— В этом я тоже уверена.

— И ты знаешь эту причину.

— Ничего я не знаю... раз мне неизвестно его имя, как же я могу знать все остальное?

— Мы прекрасно знаем и все остальное, — сказал он. Он произносил все это как-то механически, видимо думая о чем-то другом; я была уверена, что сейчас он поднимется с места и подойдет ко мне.

— Мы знаем его прекрасно и скоро поймаем... это вопрос всего нескольких дней... а может быть, и часов.

— Тем лучше для вас.

Он встал, как я и предполагала, обошел вокруг стола, приблизился ко мне и, взяв меня за подбородок, сказал:

— Ну-ну... ты же все знаешь, но не хочешь сказать... чего ты боишься?

— Ничего я не боюсь, — ответила я, — ничего не знаю... и уберите-ка руки.

— Ну-ну, — повторил он, но все же вернулся к своему столу и продолжал. — Твое счастье, что ты мне нравишься, я знаю, ты хорошая девушка... а известно ли тебе, как поступил бы другой на моем месте, чтобы заставить тебя говорить? Запер бы тебя в холодную на порядочный срок... или приказал бы отправить в тюрьму Сан-Галликано.

Я поднялась со стула и сказала:

— Ну, мне некогда... если у вас больше нет ко мне вопросов...

— Ладно, ступай... да будь осторожна в подборе клиентов... политических и прочих.

Я сделала вид, что не расслышала его последних слов, сказанных с явным намеком, и поспешно вышла из этого противного помещения.

На улице я опять стала думать о Сонцоньо. Комиссар подтвердил то, о чем я догадывалась: Сонцоньо убежден, что на него донесла я, поэтому он наверняка захочет мне отомстить. Я испугалась, но не за себя, а за Мино. Сонцоньо жесток, если он застанет Мино со мной, он не задумываясь убьет и его. Признаюсь, что меня, как это ни странно, даже прельщала мысль умереть вместе с Мино. Я живо представила себе эту картину: Сонцоньо вынимает пистолет, стреляет, я бросаюсь между ним и Мино, чтобы защитить Мино, и пуля попадает в меня, а не в него. Но мне также нравилась мысль, что и Мино сражен выстрелом: мы умираем рядом, и кровь наша сливается воедино. Однако, думала я, если нас убьют в одну и ту же минуту, это будет не так трогательно, как если бы мы вместе покончили

жизнь самоубийством. Лишить себя жизни одновременно с возлюбленным, казалось мне, — самый достойный финал большой любви. Это все равно что сорвать цветок, прежде чем он успеет завянуть, все равно что замкнуться в тишине, прослушав прекрасную музыку. Я нередко мечтала о таком самоубийстве, что сможет остановить время, прежде чем оно погубит в опошлит любовь, на этот шаг решаешься в радостном экстазе, забывая о страхе перед болью. В те минуты, когда мне казалось, что я люблю Мино так сильно, что не смогу любить его и дальше с той же страстью, мысль о самоубийстве вдвоем возникала у меня столь же естественно, легко и непроизвольно, как возникало желание целовать и ласкать его. Но я никогда не говорила Мино об этом, ибо знала: для того, чтобы одновременно покончить с собой, надо в одинаковой мере любить друг друга. Но Мино меня не любил, а если и любил, то не до такой степени, чтобы лишить себя жизни.

Я шла домой, погруженная в эти мысли. Внезапно у меня закружилась голова, меня затошнило и я ощутила смертельную слабость во всем теле. Я едва успела войти в молочную. До дома оставалось всего несколько шагов, но у меня не хватало сил, чтобы преодолеть даже это короткое расстояние; я боялась упасть.

Я села за столик возле стеклянной двери и, охваченная дурнотой, закрыла глаза. Я все еще чувствовала тошноту и головокружение, и состояние это усугублялось от звуков фыркающего паром кофейника, доносящихся как будто издалека, но отзывающихся странной болью в сердце. На лице и на руках я ощущала теплое дыхание спертого и нагретого воздуха, и все же мне казалось, что я зябну. Хозяин молочной знал меня, он крикнул, не выходя из-за стойки:

— Выпьете чашку кофе, синьорина Адриана?

Не открывая глаз, я кивнула в знак согласия.

Наконец я пришла в себя и выпила чашку кофе, которую хозяин молочной поставил передо мною на столик. По правде говоря, в последнее время я не раз испытывала подобное недомогание, но все это было в более легкой, едва заметной форме. Я не обращала на это внимания еще и потому, что необычайные и грустные события полностью занимали мои мысли. Но теперь, размышляя и сопоставляя это недомогание с известным нарушением моего физического состояния, которое подтвердилось именно в этом месяце, я поняла, что подозрения, которые я гнала от себя и которые все-таки жили где-то в глубине моего сознания, оказались верными.

«Нет никакого сомнения, — внезапно подумала я, — у меня будет ребенок».

Я расплатилась за кофе и вышла из молочной. Чувство, которое я испытывала в тот момент, было весьма сложным, и даже теперь, по прошествии долгого времени, мне трудно объяснить его. Я уже говорила, что беда никогда не приходит одна; и эта новость, которую в другое время и в других условиях я встретила бы радостно, теперь, при нынешних обстоятельствах, показалась мне огромным несчастьем. Но надо признать, я устроена так, что, повинуясь какому-то неодолимому и таинственному движению души, умею находить приятное даже в самых неприятных вещах. На сей раз это было не так уж трудно, мое сердце наполнилось надеждой и радостью, которыми наполняется сердце любой женщины, когда она узнает, что у нее будет ребенок. Правда, мой ребенок родится не в таких хороших условиях, как мне хотелось бы; но все-таки это будет мой ребенок, я рожу его, воспитаю и буду им гордиться. «Дитя есть дитя, — подумала я, — и ни бедность, ни трудности, ни смутное будущее не могут помешать женщине, даже самой бедной и одинокой, радоваться тому, что она даст жизнь ребенку».

Эти размышления настолько успокоили меня, что после минутной тревоги и малодушного уныния я снова почувствовала себя, как всегда, спокойно и уверенно. Тот самый молодой врач из дежурной аптеки, к которому давным-давно потащила меня мама, чтобы выяснить, переспала я с Джино или нет, теперь принимал пациентов в кабинете недалеко от молочной. Я решила пойти к нему. Время приема еще не наступило, в прихожей пациентов не было; врач хорошо знал меня и встретил радушно. Закрыв за собой дверь, я тут же твердо заявила:

— Доктор, я почти уверена, что забеременела.

Он рассмеялся, потому что знал, чем я занимаюсь, и спросил:

— Ты огорчена?

— Ничуть не огорчена, наоборот, рада.

— Посмотрим.

Задав несколько вопросов насчет моего недомогания, он велел мне лечь на клеенчатую кушетку, осмотрел меня, а потом весело сказал:

— На сей раз попалась.

Я была рада, что его слова, подтвердившие мои подозрения, не вызвали во мне ни тени досады, я выслушала их со спокойной душой и сказала:

— Я так и знала... а пришла только для того, чтобы лишний раз удостовериться.

— Тогда можешь не сомневаться.

Он радостно потирал руки, словно сам был отцом ребенка, и переминался с ноги на ногу, весело и сочувственно глядя на меня. Но меня мучило одно сомнение, и я хотела его разрешить.

— А какой срок?

— Да около двух месяцев... чуть меньше, чуть больше... а зачем тебе?.. Хочешь знать, кто отец?

— Я уже и так знаю, — ответила я, направляясь к выходу.

— Если тебе что-либо понадобится, пожалуйста, приходи, — сказал он, открывая дверь, — а когда настанет время... ручаюсь тебе, родишь превосходного малыша.

Как и полицейский комиссар, он питал ко мне симпатию. Но в отличие от комиссара он мне нравился. Это был, как я уже говорила раньше, красивый молодой человек, смуглый, здоровый, сильный, с черными усиками, блестящими глазами, белыми зубами, резвый и веселый, как охотничий пес. Я часто ходила к нему на осмотр, по крайней мере раз в полмесяца, и два или три раза из благодарности, так как он не желал брать с меня денег, отдавалась ему на этой самой клеенчатой кушетке, на которой он только что осматривал меня. Но он был тактичен и никогда, разве что в шутливой и дружеской форме, не настаивал на этом. Он давал мне разные советы; думаю, что по-своему он даже был немного влюблен в меня.

Я сказала доктору, что знаю, кто отец моего ребенка. На самом же деле в тот момент я скорее интуитивно чувствовала это, а точно не знала. Но когда я шла по улице, роясь в памяти и считая дни, мое предчувствие превратилось в уверенность. Я вспомнила, что именно около двух месяцев назад я испытала одновременно чувство ужаса и наслаждения, и это исторгло из моей груди протяжный жалобный крик, крик агонии и экстаза, раздавшийся в темной спальне, и я пришла к заключению, что отцом ребенка мог быть только Сонцоньо. Конечно, страшно было сознавать, что я зачала ребенка от Сонцоньо, от этого беспощадного и жестокого убийцы, и особенно страшно, что ребенок может стать похожим на отца и унаследовать его характер. С другой стороны, я должна была признать, что Сонцоньо имеет право на это отцовство. Сонцоньо был единственным из всех близких мне мужчин, которому удалось по-настоящему овладеть мною, затронуть самую сокровенную и темную сторону моей плоти, не вызывая при этом никакого отклика в моем сердце. И тот факт, что я, испытывая ужас и страх перед ним,

отдалась ему помимо своей воли, не опровергал, а, наоборот, подтверждал всю силу и сложность его власти надо мною. Ни Джино, ни Астарита, ни даже Мино, к которому я питала совершенно особое чувство, не пробудили во мне ощущения столь естественной, хотя и ненавистной мне, власти. Все это казалось мне странным и в то же время жутким; но так уж устроена жизнь: чувства — это единственное, что бесполезно отрицать, их ни отвергнешь, ни проанализируешь до конца. В заключение я пришла к выводу, что для любви нужны одни мужчины, а для зачатия детей — другие, и если верно то, что отец моего ребенка — Сонцоньо, то не менее верно и другое: я ненавидела его, избегала, а любила лишь одного Мино.

Я медленно поднялась по лестнице, думая о той жизни, которую отныне носила в своем чреве. Войдя в переднюю, я услышала разговор, доносящийся из большой комнаты. Я заглянула туда и, к своему удивлению, увидела Мино, он сидел за столом и спокойно беседовал с мамой, которая собиралась шить. В самом центре комнаты горела лампа, положение которой можно было изменить с помощью противовеса, а б*о*льшая часть мастерской была погружена в темноту.

— Добрый вечер, — сказала я, медленно входя в комнату,

— Добрый вечер, добрый вечер, — произнес Мино хриплым и нетвердым голосом. Взглянув на него, я заметила, как блестят его глаза, и решила, что он пьян. На одном конце стола была расстелена скатерть, стояли два прибора, а так как мама всегда ела на кухне, я поняла, что второй прибор предназначался для Мино. — Добрый вечер, — повторил он, — я принес свои вещи... они там... и я успел подружиться с твоей мамой... не правда ли, синьора, мы на редкость хорошо понимаем друг друга?

При звуках этого насмешливого и мрачно-игривого голоса сердце мое сжалось. Я в изнеможении опустилась на стул и на минуту прикрыла глаза. Я услышала мамин ответ:

— Это вы говорите, что мы понимаем друг друга... но если вы будете плохо отзываться об Адриане, то мы никогда не столкуемся.

— А что я такого сказал? — воскликнул Мино с притворным удивлением. — Что Адриана создана для жизни, которую она ведет... что Адриана чудесно приспособилась к этой жизни... что же тут худого?

— Вот это-то и неверно, — услышала я возражение мамы, — Адриана не создана для такой жизни... при ее красоте она заслуживает лучшей участи, самой лучшей... известно ли вам,

что Адриана одна из красивейших девушек в нашем квартале, а может быть, и во всем Риме?.. Многие во сто раз хуже ее, а живут лучше... а у Адрианы, которая прекрасна, как королева, ничего нет... и я знаю почему.

— Почему?

— Потому что она слишком добрая... вот почему... потому, что она красивая и добрая... если бы она была красивой и злой, все было бы иначе.

— Хватит, хватит, — сказала я, раздосадованная этим спором и особенно тоном Мино, который, видимо, подшучивал над мамой, — я голодна... ужин еще не готов?

— Готов, я сейчас.

Мама положила шитье на стол и поспешно вышла. Я поднялась и пошла вслед за ней на кухню.

— Разве мы открыли пансион? — проворчала она, как только я приблизилась. — Явился сюда... как хозяин... поставил чемоданы в твоей комнате... дал мне денег на расходы.

— Ты что, недовольна?

— Я предпочитаю, чтобы все было по-старому.

— Ну, ладно, считай, что мы жених и невеста... а кроме того, это временно, всего на несколько дней, не останется же он здесь навсегда.

Я сказала еще что-то в том же духе и, желая задобрить маму, обняла ее и вернулась в комнату.

Надолго запомню я этот первый ужин Мино в нашем доме. Он беспрестанно шутил, однако не забывал о еде и ел с большим аппетитом. Но его шутки казались мне холоднее льда и горше полыни. Было ясно, что лишь одна мысль владела им, она впилась в мозг, подобно терниям, вонзающимся в тело; шутки только бередили рану и еще глубже проникали в нее своим жалом, всякий раз вызывая новую острую боль. Это была мысль о том, что он проболтался Астарите: по правде говоря, я никогда не видела человека, который бы так раскаивался в своем поступке. Еще в детстве священники внушили мне, будто раскаяние снимает вину, но в отличие от этого раскаянию Мино, казалось, не будет конца, оно никогда не иссякнет, не принесет облегчения. Я понимала, что он ужасно страдает, и сама страдала вместе с ним в равной мере, а быть может, даже больше, ибо не в силах была развеять или хотя бы смягчить эти страдания.

Мы молча съели первое. Потом мама, которая подавала нам и стояла возле стола, сказала что-то о ценах на мясо, и тогда Мино, подняв голову, произнес:

— Не беспокойтесь, синьора... отныне это моя забота, я не сегодня-завтра получу очень хорошее место.

Эти слова вселили в меня надежду. Мама спросила:

— Что это за место?

— В полиции, — ответил Мино с подчеркнутой и удручающей серьезностью, — меня устроит один друг Адрианы... синьор Астарита. — Я отложила нож и вилку и внимательно посмотрела на него. А он продолжал: — Они находят, что у меня есть все качества для службы в полиции.

— Может, это и так, — сказала мама, — но я никогда не любила полицейских... сын прачки, которая живет внизу, тоже стал полицейским... знаете, что заявили ему парни, которые работают здесь рядом, на цементном складе? «Держись-ка теперь от нас подальше, мы тебя и знать не желаем...» И потом в полиции мало платят.

Презрительно скривив рот, мама сменила ему тарелку и поставила перед ним блюдо с мясом.

— Но речь идет не о такой работе, — возразил Мино, накладывая себе жаркое, — в данном случае речь идет об одном важном месте... деликатном... секретном... э-э, черт возьми!.. Разве зря я учился?.. Ведь я почти закончил университет... я знаю языки... в полицейские идут бедняки, а не такие люди, как я.

— Может, это и так, — повторила мама. — Ешь, — прибавила она, положив мне в тарелку самый большой кусок мяса.

Мино сказал:

— Не может, а так оно и есть. — Помолчав немного, он снова заговорил: — Правительству известно, что повсюду есть злоумышленники... не только среди бедных людей, но и среди богатых... чтобы следить за богатыми, нужны образованные люди, которые и разговаривают, как они, и одеваются, как они, и имеют те же манеры, одним словом, умеют войти в доверие... вот мне и поручают это дело... я буду зарабатывать большие деньги, жить в фешенебельных отелях, разъезжать в вагонах первого класса, обедать в лучших ресторанах, одеваться у знаменитого портного, отдыхать на модных курортах, в самых шикарных горных пансионатах... черт возьми... за кого вы меня принимаете?

Теперь мама слушала его, широко раскрыв рот. Весь этот блеск просто ослепил ее.

— Если так, — проговорила она наконец, — мне сказать нечего.

Я перестала есть. Внезапно я поняла, что не могу больше присутствовать при разыгрывании этой мрачной комедии.

— Я устала и иду к себе,— резко сказала я, поднялась и вышла из мастерской.

В спальне я села на кровать, съежилась и тихо заплакала, закрыв лицо руками. Я думала о беде, которая приключилась с Мино, о ребенке, который должен у меня родиться, и мне казалось, что и беда и ребенок росли независимо от меня, я никак не могла повлиять на них, они существовали сами по себе, и ничего уж тут не поделаешь. Немного погодя вошел Мино, я сразу же встала и принялась ходить по комнате, чтобы не показывать ему своих слез и незаметно вытереть глаза. Он закурил сигарету и лег на постель. Я села возле него и сказала:

— Мино, прошу тебя... не разговаривай так с мамой.

— Почему?

— Потому что она-то ничего не понимает... а я все понимаю, и каждое твое слово для меня — нож в сердце.

Он ничего не ответил и продолжал молча курить. Я вынула из ящика комода свою сорочку, взяла иглу и катушку шелковых ниток, села на кровать возле лампы и принялась штопать белье. Я не хотела разговаривать, боясь, что он опять заведет речь все о том же, и надеялась, что в тишине он отвлечется от своих горьких дум. Шитье требует внимательных глаз, но оно не занимает ума, всем, кому приходилось заниматься шитьем, это известно. Я шила, а в голове лихорадочно метались мысли, и, когда я быстро втыкала иголку в материю и делала стежок за стежком, мне казалось, что я пытаюсь сшить воедино обрывки своих мыслей. Теперь меня, как и Мино, преследовало то же наваждение, я не могла не думать о том, что он сказал Астарите, и о тех последствиях, которые вызовет его поступок. Но я старалась отвлечься, потому что в силу необъяснимого воздействия боялась направить его мысли на тот же самый предмет и таким образом поневоле заставить его еще острее почувствовать свое несчастье. Поэтому я решила думать о чем-нибудь светлом, веселом, приятном и всей душой обратилась к мыслям о ребенке, которого ждала и который действительно был единственным светлым пятном в моей печальной жизни. Я представила себе его в двух-трехлетнем возрасте; это самый приятный возраст, в это время дети бывают особенно забавны и милы; и, представляя себе, что он будет делать и говорить и то, как я буду воспитывать его, я и в самом деле повеселела и даже на какое-то время забыла о Мино и его несчастье. Я кончила зашивать сорочку и, взявшись за починку следующей, подумала, что, если я начну понемногу готовить приданое для ребенка, это разря-

дит напряженную атмосферу тех долгих часов, которые мы будем проводить вместе с Мино. Однако необходимо сделать это так, чтобы никто ничего не заметил, или же надо найти какой-нибудь благовидный предлог. Я решила, что скажу Мино, будто делаю приданое в подарок нашей соседке, которая действительно ждала ребенка, и моя выдумка показалась мне удачной, тем более, что я уже говорила Мино об этой женщине и о ее бедственном положении. Эти мысли настолько захватили меня, что я незаметно для себя начала тихонько напевать. У меня хороший слух, хотя голос не очень сильный, но его приятный тембр угадывается даже в разговоре. Я пела популярную в то время песенку «Грустная вилла». Когда, откусывая нитку, я подняла глаза от шитья, то заметила, что Мино в упор смотрит на меня. Я испугалась, что он упрекнет меня за то, что я пою в такую тяжелую для него минуту, и замолчала.

Он все еще смотрел на меня, а потом сказал:

— Спой еще.

— Тебе нравится, что я пою?

— Да.

— Но ведь я плохо пою.

— Неважно.

Я снова взялась за шитье и начала петь уже для Мино. Как все девушки на свете, я заучивала песни, и мой «репертуар» был довольно обширен, ибо у меня прекрасная память и я помню даже те песни, которые слышала в детстве. Я пела песню за песней и, кончив одну, сразу же заводила другую. Сперва я пела тихо, потом, увлекшись, стала петь громко, вкладывая в пение все чувство, на которое была способна. Песня сменяла песню, одна была непохожа на другую, и я, не допев одной, уже думала о следующей. Мино внимательно слушал меня, лицо его было спокойно, и я радовалась, что отвлекаю его от грустных мыслей. И тут я вспомнила, как однажды в детстве я потеряла свою любимую игрушку и долго плакала, мама, желая успокоить меня, присела ко мне на кроватку и начала петь те песни, которые знала. Пела она плохо, фальшиво, и все-таки я сперва успокоилась и слушала ее вот так же, как Мино слушал меня. Но немного погодя мысль о потерянной игрушке снова вернулась ко мне и отравила то сладкое состояние забытья, в котором я находилась под влиянием маминого пения, так что в конце концов я не выдержала и опять разревелась, а мама, потеряв терпение, погасила свет и ушла, оставив меня плакать в темной комнате, сколько мне вздумается. Я знала, что, когда пройдет обманчивое чувство облегчения, вызванное моим пе-

нием, к Мино снова вернутся его муки и рядом с моими легкомысленными и чувствительными песенками они покажутся ему вдвойне невыносимыми; и я не ошиблась. Я пела почти целый час, потом он резко оборвал меня:

— Хватит... надоели мне твои песни.

Он повернулся ко мне спиной и поджал ноги, будто собирался спать.

Я предвидела такой исход и ничуть не обиделась. Впрочем, отныне я уже не ждала ничего, кроме неприятностей, и удивилась бы, если бы все пошло хорошо. Я поднялась и уложила в ящик заштопанные вещи. Потом молча разделась и, откинув одеяло, легла в постель рядом с Мино. Так мы долго лежали, повернувшись друг к другу спиной, и молчали. Я знала, что Мино не спит и думает все о том же, и это сознание, а главное, острое ощущение моего бессилия вызывали целый вихрь беспокойных и отчаянных мыслей. Лежа на боку и продолжая размышлять, я взглянула в угол комнаты. Там стоял один из двух чемоданов, которые Мино принес с собой из дома вдовы Медолаги; старый чемодан из желтой кожи был весь оклеен разноцветными ярлыками гостиниц. Среди этих ярлыков выделялся один, прямоугольный, на нем было изображено голубое море, большая красная скала и ниже написано: Капри. В полумраке комнаты среди тусклых и темных вещей это голубое пятно как бы светилось и казалось мне уже не пятном, а окошком, сквозь которое я видела берег далекого моря. Меня вдруг охватила тоска но веселому морю, в живой воде которого каждый предмет, даже самый безобразный и бесформенный, очищается, шлифуется, округляется, уменьшается в размере, становится красивым и чистым. Я всегда любила море, даже такое знакомое и кишащее людьми, как в Остии; при виде моря меня всегда охватывает чувство свободы, море услаждает не столько мой взор, сколько мой слух своей волшебной и бесконечной музыкой волн. Я думала о море, и мне ужасно хотелось окунуться в его прозрачные воды, которые очищают не только тело, но и душу, наполняют ее радостью и легкостью. Если удастся увезти Мино к морю, то, пожалуй, эта безграничность, это вечное движение и этот вечный шум сделают то, чего я не сумела добиться своей любовью. Внезапно я спросила:

— Ты бывал на Капри?

Не поворачиваясь ко мне, он ответил:

— Да.

— Там красиво?

— Да... очень красиво.

— Послушай, — сказала я, повернувшись К нему и обняв его за шею, — почему бы нам не поехать на Капри... или в какое-нибудь другое место на море?.. Здесь, в Риме, ты будешь все время думать о неприятных вещах... а если ты переменишь обстановку и уедешь, я уверена, ты на все будешь смотреть совсем иначе... ты бы увидел много такого, чего сейчас просто не замечаешь... думаю, что это принесло бы тебе большую пользу.

Он ничего не ответил, казалось, он обдумывал мои слова. Потом сказал:

— Мне нет нужды ехать на море... я бы мог и здесь, как ты говоришь, смотреть на вещи совсем иначе... для этого нужно, чтобы я, как ты советуешь, смирился с тем, что я сделал... и тогда действительно я смог бы наслаждаться небом, землей, тобой, всем остальным... ты думаешь, я не понимаю, что мир прекрасен?

— Ну тогда, — сказала я тревожно, — смирись... что тебе стоит?

Он рассмеялся.

— Надо было так думать и прежде... как ты... смириться с самого начала... нищие, которые греются на солнышке, сидя на церковной паперти, смирились с самого начала... а мне уже поздно.

— Но почему?

— Есть люди, которые смиряются, а есть такие, которые не смиряются... очевидно, я принадлежу ко вторым... — Я молчала, не зная, что сказать. Немного погодя он прибавил: — А теперь погаси свет... я разденусь... пора спать.

Я повиновалась, он разделся в темноте и лег возле меня. Я хотела было обнять его. Но он молча оттолкнул меня и свернулся калачиком на самом краю постели ко мне спиной. Меня огорчила его грубость, и я тоже, поджав ноги и ощущая в душе ужасную пустоту, стала ждать, когда наконец придет сон. Я снова начала думать о море, и мне захотелось утонуть. Мучение, вероятно, продлится всего лишь один миг, а потом мое бездыханное тело еще долго будет носиться по волнам, а надо мною раскинется бескрайнее небо. Чайки выклюют мне глаза, солнце выжжет грудь и живот, рыбы обгложут мою спину. В конце концов я уйду под воду, опрокинусь вниз головой и меня затянет какое-нибудь голубое и холодное течение. И оно будет носить меня в глубинах моря много месяцев и много лет среди подводных скал, рыб и водорослей, и прозрачная соленая вода, непрестанно лаская мой лоб, грудь, ноги, будет уносить части-

цы моего тела, постепенно шлифуя его и уменьшая в размере. И наконец в один прекрасный день волна с шумом выбросит на берег то, что останется от меня: горстку белых и хрупких костей. Мне было приятно представлять, как течение утянет меня за волосы туда, на дно морское, приятно было думать, что я стану лишь горсткой размытых и потерявших очертания человеческого скелета белых костей, которые будут лежать среди гладких камешков на берегу моря. И быть может, какой-нибудь человек нечаянно наступит на мои кости и превратит их в белую пыль. Упиваясь этими печальными картинами, я наконец заснула.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Сколько ни старалась я убедить себя в том, что отдых и сон благотворно подействуют на Мино, я сразу же поняла на другой день: ничто не изменилось. Более того, положение еще ухудшилось. Как и накануне, мрачные часы упорного молчания сменялись у него безудержной, полной сарказма болтовней о каких-то пустяках; но как на бумаге проступают водяные знаки, так во всех его разговорах проскальзывала одна и та же мысль, которая преобладала над остальными. А ухудшение, на мой взгляд, состояло в ленивом равнодушии, апатии, небрежности, что для него, человека деятельного и энергичного, было ново и, по-видимому, указывало на то, что он все больше и больше удаляется от вещей, которыми занимался прежде. Я открыла чемоданы и переложила в свой шкаф его костюм и белье. Когда же дошла очередь до его книг и учебников, я предложила поместить их пока что на мраморную доску комода возле зеркала, но он огрызнулся:

— Оставь их в чемодане... мне они больше не понадобятся.

— Почему же? — спросила я. — Разве тебе не нужно сдавать выпускные экзамены?

— Не буду я больше сдавать никаких экзаменов.

— Ты не хочешь больше учиться?

— Не хочу.

Я не стала настаивать, так как боялась, что он снова заговорит о вещах, которые его мучили, и оставила книги в чемодане. Я заметила также, что он не моется и не бреется. Раньше он всегда отличался чистоплотностью и аккуратностью. Весь второй день он провел в моей комнате: то валялся на постели и курил, то задумчиво шагал взад-вперед, заложив руки в кар-

маны. За обедом он, как и обещал мне, не заговаривал с мамой. Вечером он сказал, что не будет ужинать дома, и ушел, а я не осмелилась пойти вместе с ним. Не знаю, куда он ходил, я уже собиралась ложиться спать, когда он вернулся, и я тотчас же заметила, что он пьян. Он с насмешливым видом неуклюже обнял меня и захотел овладеть мною, я была вынуждена уступить, хотя понимала, что теперь для него любовь, как и вино, была той малоприятной обязанностью, исполняемой через силу, с единственной целью утомить себя и забыться. Я сказала ему:

— Тебе все равно, я или другая женщина.

Он рассмеялся и ответил:

— Верно, мне все равно... но ты тут, под рукой.

Слова эти меня не просто обидели, они ранили меня, ибо доказывали, как мало он меня любит, а вернее, и вовсе не любит.

Потом внезапно меня словно осенило, и я, повернувшись к нему, сказала:

— Послушай... пусть я всего-навсего простая бедная девушка, но ты постарайся полюбить меня... прошу тебя об этом для твоего же блага... если тебе удастся меня полюбить, то в конце концов ты полюбишь и самого себя, поверь мне.

Он посмотрел на меня, потом громко и с издевкой пропел:

— Любовь, любовь, — и погасил свет.

Я еще долго сидела в темноте с широко раскрытыми глазами, огорченная, недоумевающая, не зная, что и подумать.

Последующие дни не принесли никаких перемен, все шло по-старому. Взамен прежних привычек у него вдруг появились новые, только и всего. Раньше он занимался, посещал университет, встречался со своими друзьями в кафе, читал. Теперь он валялся на постели, курил, шагал по комнате, вел все те же странные и многозначительные разговоры, напивался, а потом спал со мной. На четвертый день я впала в полное отчаяние. Я понимала, что его боль нисколько не притупилась, и мне казалось, что жить дальше с такой болью невозможно. Моя комната, полная табачного дыма, представлялась мне фабрикой скорби, которая работает круглые сутки без перерыва; сам воздух, который я вдыхала, стал для меня сгустком грустных и отчаянных мыслей. В такие минуты я проклинала свою глупость и свое невежество и мучилась при мысли, что мама еще глупее и невежественнее меня. В тяжелые периоды жизни первым делом возникает желание обратиться за советом к старым и более опытным людям. Но я не знала таких людей, а просить помощи у мамы было все равно что просить помощи у детей, играющих в нашем дворе. С другой стороны, мне не удавалось

до конца постичь боль Мино, многое оставалось мне непонятным; постепенно я пришла к выводу: больше всего его мучила мысль, что весь разговор с Астаритой остался зафиксированным на бумаге и хранится в архиве полиции как вечное свидетельство его минутной слабости. Кое-какие его фразы подтвердили мои догадки. Однажды я сказала ему:

— Если тебя волнует, что они записали твой разговор с Астаритой... Астарита сделает для меня все... я уверена, если я его попрошу, он уничтожит протокол допроса.

Он посмотрел на меня и спросил каким-то странным тоном:

— Почему тебе пришла в голову такая мысль?

— Ты же сам говорил об этом на днях... я посоветовала тебе забыть, а ты мне ответил, что если ты сам забудешь, то полиция все равно не забудет.

— А как ты его попросишь?

— Очень просто... позвоню ему по телефону и пойду в министерство.

Он не ответил ни да ни нет. Я продолжала настаивать:

— Ну хочешь, я его попрошу?

— Что ж, попроси.

Мы вышли из дома и направились в молочную позвонить по телефону. Я застала Астариту на месте и сказала ему, что мне необходимо с ним поговорить. Я спросила у него, могу ли я прийти к нему в министерство. А он необычно строгим для него, хотя и заикающимся, голосом ответил:

— Или у тебя дома, или нигде.

Я поняла, что он хочет получить вознаграждение за услугу, оказанную мне, и я попыталась увильнуть.

— Встретимся в кафе, — предложила я.

— Или у тебя дома, или нигде.

— Ну, ладно, — согласилась я, — приходи ко мне. И добавила, что буду ждать его сегодня же вечером. — Я знаю, чего он хочет, — сказала я Мино, когда мы возвращались домой. — Он хочет переспать со мной... но никто не может принудить к этому женщину, если она того не хочет... правда, он однажды уже прибегнул к шантажу, но тогда я была совсем неопытна, теперь это ему не удастся.

— А почему ты не хочешь спать с ним? — спросил он небрежно.

— Потому что я люблю тебя.

— Однако, — сказал он все тем же небрежным тоном, — если ты не захочешь спать с ним, он возьмет и откажется уничтожить протокол допроса... и что тогда?

— Уничтожит, не бойся.

— А если он согласится уничтожить его только при одном условии?

Мы поднимались по лестнице, я остановилась и проговорила:

— Тогда я поступлю так, как ты скажешь.

Он обнял меня за талию и медленно произнес:

— Так я скажу вот что: ты пригласишь Астариту и введешь его в свою комнату, будто собираешься с ним спать... я буду стоять за дверью и, как только он войдет, убью его выстрелом из пистолета... потом мы затолкаем его под кровать, а сами будем предаваться любви всю ночь напролет.

Глаза его блестели, впервые с них спала мутная пелена, застилавшая их все эти дни. Я испугалась потому, что предложение его внешне выглядело логичным, и еще потому, что теперь я постоянно ждала каких-то ощутимых жутких событий, и даже это преступление стало казаться мне вполне реальным.

— Пощади меня, Мино! — воскликнула я. — Не говори об этом даже в шутку.

— Не говори даже в шутку, — повторил он, — но ведь я действительно пошутил.

Я подумала, что, может быть, он и не шутит, но меня успокаивала мысль, что его пистолет разряжен, я, как уже говорила, без его ведома вынула оттуда патроны.

— Будь спокоен, — продолжала я, — Астарита сделает все, что я пожелаю... но только не говори таких вещей... мне страшно.

— Уж будто и пошутить нельзя! — легкомысленно отозвался он и вошел в квартиру.

Как только мы очутились в мастерской, им вдруг овладело какое-то волнение. Он принялся шагать взад и вперед по комнате, засунув по своей привычке руки в карманы. Но движения его изменились, стали более энергичными, чем обычно, лицо выражало глубокое и ясное раздумье, а не прежнее отвращение и апатию. Он, несомненно, испытывает облегчение при мысли, что компрометирующие его документы скоро будут уничтожены, подумала я, и в моем сердце вновь родилась надежда, Я сказала:

— Вот увидишь, все уладится.

Он вздрогнул всем телом, взглянул на меня, как будто увидел впервые, а потом машинально повторил:

— Да, конечно... все уладится.

Я выпроводила из дома маму, попросив ее купить что-нибудь к ужину. Внезапно меня охватила радость. Я подумала, что все действительно уладится, быть может, все устроится даже лучше,

чем я предполагаю. Астарита сделает — если уже не сделал — все, о чем я его попрошу, а Мино постепенно избавится от угрызений совести и снова почувствует интерес к жизни, опять будет с надеждой смотреть в будущее. Всем людям, когда с ними случается беда, хочется лишь одного: чтобы она поскорее прошла; и как только им почудится, что ветер переменился, они тут же начинают строить самые невероятные, самые честолюбивые планы. Два дня назад я считала, что готова отказаться от Мино, лишь бы знать, что он счастлив; но теперь, когда я надеялась вернуть ему счастье, я не только не собиралась с ним расставаться, но старалась найти способ покрепче привязать его к себе. Я понимала, что мною в данном случае руководит не расчет, а какое-то непонятное состояние души, в которой всегда теплится надежда и которая не может долго выносить беспокойства и отчаяния. Мне казалось, что при нынешнем положении вещей у нас есть только два выхода: либо мы расстанемся, либо соединим навсегда наши судьбы; и так как я не желала даже и думать о разлуке, то я судорожно искала средства поскорее осуществить свой план совместной жизни. Я не люблю лгать и считаю, что одним из немногих моих достоинств является правдивость, иной раз даже излишняя. И если в тот момент я солгала Мино, то лишь потому, что была уверена, будто я говорю правду... правду, которая правдивее самой правды, правду, которая идет из глубины души, а не от реальных фактов. Впрочем, я ни о чем и не думала, на меня как будто нашло вдохновение.

Он все еще шагал взад и вперед по комнате, а я сидела у стола. Неожиданно я сказала:

— Послушай... да остановись ты... я должна сказать тебе одну вещь.

— Что такое?

— С некоторых пор я чувствую себя неважно... на днях я пошла к врачу... я беременна...

Он остановился, посмотрел на меня и повторил:

— Беременна?

— Да... и я твердо уверена, что ребенок твой.

Мино был умен, и он тотчас же прекрасно понял, что побудило меня сделать это признание, хотя, конечно, не мог догадаться об обмане. Он взял стул, сел возле меня, ласково погладил по щеке и сказал:

— Полагаю, что это и есть самый главный довод, самый убедительный довод, который должен заставить меня забыть все, что произошло, и жить дальше... не так ли?

— Что ты хочешь этим сказать? — спросила я, делая вид, что не понимаю его слов.

— Я превращаюсь в pater familias *, — продолжал он, — и то, чего я не желал делать ради твоей любви, теперь я обязан буду сделать, как обожаете говорить вы, женщины, ради этого создания.

— Поступай как знаешь, — сказала я, пожав плечами, — я сказала только потому, что это правда... вот и все.

— В детях, в конце концов, — продолжал он рассудительным тоном, будто думал вслух, — быть может, заключен весь смысл жизни... многие люди, почти все, и не требуют большего... ведь дети служат прекрасным оправданием... позволительно даже красть и убивать ради детей.

— Но кто тебя просит красть и убивать? — перебила я его с негодованием. — Я хочу только, чтобы тебя это радовало, если не радует — что поделаешь.

Он посмотрел на меня и снова ласково погладил по щеке:

— Если ты довольна, то и я доволен... А ты довольна?

— Я да, — уверенно и гордо ответила я, — во-первых, я люблю детей, а во-вторых, это твой ребенок.

Он рассмеялся и сказал:

— А ты хитрая...

— Почему хитрая... велика хитрость забеременеть!

— Действительно не велика... но признайся, что в такой момент, при таких обстоятельствах это смелый ход... я беременна, итак...

— Итак?..

— Итак, ты обязан смириться с тем, что сделал, — неожиданно закричал он, вскочил на ноги и замахал руками, — итак, ты должен жить, жить, жить!

Невозможно передать, каким тоном он произнес эти слова. Сердце мое сжалось от боли, а глаза наполнились слезами. Я прошептала:

— Поступай как знаешь... если хочешь, оставь меня, да я и сама могу уйти.

Он, видимо, раскаялся в своем поступке, подошел ко мне и, приласкав, сказал:

— Прости меня... не обращай внимания на мои слова... думай о своем ребенке, а обо мне не беспокойся.

Я взяла его руку, провела ею по своему лицу и, оросив ее слезами, прошептала:

---

* Отец семейства (*лат.*).

— О Мино... как же я могу не беспокоиться о тебе?

Мы долго молчали. Он стоял возле меня, а я прижимала его руку к своему лицу, целовала ее и плакала. И тут мы услышали звонок в дверь.

Мино отпрянул от меня и сильно побледнел; но в ту минуту я не поняла причины этого волнения и не стала его расспрашивать. Я вскочила на ноги и сказала:

— Ну... вот и Астарита... уходи скорее.

Он вышел на кухню, неплотно прикрыв дверь. Я торопливо вытерла слезы, поставила на место стулья и пошла в прихожую. Я снова была совершенно спокойна и уверена в себе, и в темной прихожей я даже подумала, что сообщу Астарите о своей беременности: он оставит меня в покое, и если не захочет из любви ко мне оказать ту услугу, о которой я его попрошу, то окажет ее из жалости.

Я открыла дверь и отступила назад: на пороге стоял не Астарита, а Сонцоньо.

Он держал руки в карманах, я было попыталась прикрыть дверь, но он небрежным толчком плеча распахнул ее настежь и вошел. Я пошла вслед за ним в мастерскую. Он остановился возле стола, спиной к окну. Как всегда, он был без шляпы, и, войдя в комнату, я сразу же почувствовала на себе его пристальный и колючий взгляд. Я закрыла дверь и с притворным равнодушием спросила:

— Зачем явился?

— Ты на меня донесла, а?

Пожав плечами, я села за стол и сказала:

— Я на тебя не доносила.

— Ты оставила меня здесь, а сама вышла из дома и побежала за полицией.

Я была спокойна. Если я и испытывала какие-то чувства, то скорее гнев, чем страх. Он уже не внушал мне ужаса, и я чувствовала, как во мне поднимается злоба против всех, кто так же, как и он, мешали мне быть счастливой. Я сказала:

— Я оставила тебя одного, а сама ушла, потому что я люблю другого и не хочу больше иметь с тобой ничего общего... но я не вызывала полицию... доносами я не занимаюсь... полицейские пришли сюда сами... они искали совсем другого человека.

Он подошел ко мне вплотную, схватил меня за щеки двумя пальцами и так сильно сжал, что я невольно раскрыла рот и наклонилась в его сторону. Он произнес:

— Благодари бога, что ты женщина!

Он все сильнее сжимал мое лицо, от боли я скорчила гримасу, чувствуя, какой у меня нелепый и уродливый вид. Мною овладела ярость, я вскочила на ноги, оттолкнула его и закричала:

— Пошел вон, сумасшедший!

Он снова заложил руки в карманы, пододвинулся ко мне и вперил в меня свой пристальный взгляд. Я снова закричала:

— Сумасшедший... пошел вон, убирайся, кретин, противны мне твои мускулы... твои голубые глазки... твоя бритая башка!

Он и впрямь сумасшедший, подумала я, видя, как он все так же молча, но с едва заметной улыбкой, кривившей его тонкие губы, надвигался на меня, по-прежнему держа руки в карманах и пристально глядя мне в глаза. Я отбежала к другому концу стола, схватила тяжелый портновский утюг и закричала:

— Уходи вон, кретин... не то вот эта штука полетит тебе в морду.

Он на минуту остановился в раздумье. В этот момент дверь за моей спиной отворилась и на пороге появился Астарита. Очевидно, он увидел, что дверь не заперта, и вошел. Я повернулась к нему и крикнула:

— Скажи этому типу, чтобы он ушел... не знаю, что ему от меня надо... скажи ему, чтобы он ушел!

Я почему-то обрадовалась, когда увидела элегантно одетого Астариту. На нем было двубортное серое совсем новое пальто и шелковая белая в красную полоску сорочка. Серебристо-серый галстук красиво выделялся на фоне синего костюма. Он посмотрел на меня — я все еще сжимала в руке утюг,— потом перевел взгляд на Сонцоньо и произнес спокойным голосом:

— Ведь синьорина сказала тебе, чтобы ты ушел, чего же ты ждешь?

— Мне и синьорине, — тихо, почти шепотом ответил Сонцоньо, — надо кое о чем поговорить... лучше уйдите вы.

Войдя, Астарита сразу же снял серую фетровую шляпу с полями, отороченную шелковой лентой. Он не спеша положил шляпу на стол и двинулся в сторону Сонцоньо. Меня поразило его поведение. Его черные обычно грустные глаза вдруг загорелись задорным огоньком, большой рот растянулся, и углы губ приподнялись в довольной и вызывающей улыбке, обнажив зубы. Отчеканивая каждое слово, он произнес:

— А-а, ты не хочешь уходить... а я тебе говорю, что ты уйдешь, вот увидишь... и сию же минуту!

Сонцоньо отрицательно замотал головою, но, к моему удивлению, сделал шаг назад. И тогда я особенно отчетливо вспом-

пила, кем был Сонцоньо. Я испугалась, но не за себя, а за Астариту, который в своем неведении бесстрашно бросал ему вызов. И я испытывала то же чувство тревоги, которое охватывало меня в детстве, когда я бывала в цирке и видела, как щуплый укротитель с хлыстом в руке смело шел навстречу огромному рычащему льву и дразнил его.

«Осторожно, — хотела было крикнуть я, — это убийца, злодей».

Но у меня не хватило сил произнести эти слова. Астарита повторял:

— Итак, уйдешь ты... да или нет?

Сонцоньо снова отрицательно покачал головой, но сделал еще один шаг назад. Астарита тоже шагнул вперед. Теперь они стояли друг против друга, оба были почти одного роста.

— Между прочим, кто ты такой? — спросил Астарита все с той же усмешкой. — Как тебя зовут? А ну-ка отвечай быстро!

Сонцоньо ничего не ответил.

— Не хочешь сказать, а? — произнес Астарита почти ласковым голосом, как будто молчание Сонцоньо доставляло ему даже какое-то удовольствие. — Не хочешь назвать себя и не хочешь уходить... не так ли?

Он обождал минуту, потом поднял руку и дважды ударил Сонцоньо сперва по одной щеке, затем по другой. Я поднесла кулак ко рту и впилась в него зубами: «Теперь Сонцоньо убьет его», — подумала я и зажмурила глаза. Но тут я услышала голос Астариты:

— А теперь убирайся... да поскорее, ну, живо!

Когда я открыла глаза, то увидела, как Астарита, ухватив Сонцоньо за шиворот, подталкивал его к двери. Щеки Сонцоньо еще горели от пощечин, но он, кажется, не сопротивлялся и позволял тащить себя, пребывая в какой-то растерянности. Астарита вытолкал его из мастерской, потом я услышала, как с силой захлопнулась входная дверь, и Астарита вновь появился на пороге.

— Кто он такой? — спросил Астарита, машинально снимая ворсинку с рукава и оглядывая себя, как будто опасался, что в этой схватке пострадало его элегантное пальто.

— Я не знаю фамилии... знаю только, что его зовут Карло, — солгала я.

— Карло, — повторил он, усмехаясь и покачивая головой.

Потом он подошел ко мне. Я стояла возле окна и смотрела на улицу. Астарита обнял меня за талию и спросил уже изменившимся голосом.

— Как поживаешь?

— Я живу хорошо, — ответила я, не глядя на него.

Он пристально смотрел на меня, потом сильно прижал к себе, не говоря ни слова. Я мягко отстранилась от него и добавила:

— Ты был очень добр ко мне... я позвонила тебе, чтобы попросить тебя еще об одной услуге.

— Ну, говори, — сказал он, глядя на меня, но казалось, не слышал моих слов.

— Тот юноша, которого ты допрашивал...— начала я.

— Ах да, — перебил Астарита поморщившись, — опять он... да, он вел себя отнюдь не как герой.

Мне захотелось узнать правду о допросе Мино, и я спросила:

— Почему?.. Он струсил?

Астарита ответил, покачав головой:

— Не знаю, струсил или нет... но при первом же вопросе он все выложил... если бы он стал отрицать, я ничего не смог бы с ним сделать... улик-то ведь не было.

«Выходит, — подумала я, — все было именно так, как рассказывал Мино. На него внезапно нашло какое-то затмение, будто он рухнул в бездну, хотя ему не предъявляли никаких улик, ни к чему не вынуждали и у него не было оснований поступить так».

— Очевидно, вы записали все, что он сказал, — продолжала я,— я хочу, чтобы ты уничтожил все записи.

Астарита усмехнулся:

— Это он заставил тебя обратиться ко мне, а?

— Нет, я сама, — ответила я и торжественно поклялась: — Пусть я умру на месте, если лгу.

Он сказал:

— Все люди хотели бы, чтобы протоколы исчезли... полицейские архивы — это их нечистая совесть... если исчезнут протоколы, исчезнут и угрызения совести.

Я подумала о Мино и ответила:

— В общем, это, пожалуй, верно... но в данном случае боюсь, что ты ошибаешься.

Он снова притянул меня к себе, мы стояли друг против друга, он смущенно и тихо спросил:

— А что я получу взамен?

— Ничего, — просто ответила я, — на этот раз действительно ничего.

— А если я откажусь?

— Ты причинишь мне огромное горе, потому что я люблю этого человека... все, что переживает он, переживаю и я.

— Но ведь ты обещала, что будешь ласкова со мной...

— Я обещала... но теперь передумала.

— Почему?

— Так... безо всякой причины.

Он опять обнял меня, начал лихорадочно умолять меня шепотом, чтобы я в последний раз уступила его желанию. Не могу повторить все то, что он говорил мне, потому что вперемежку со словами мольбы он описывал непристойные подробности, которые говорят таким женщинам, как я, и которые такие женщины, как я, говорят своим любовникам. Он тщательно подбирал слова, но произносил их без того радостного подъема, которым обычно сопровождаются такие вспышки, а, наоборот, с мрачным смакованием, словно одержимый. Я видела однажды в больнице сумасшедшего, который говорил санитару, каким пыткам он его подвергнет, если тот попадется ему в руки, безумец описывал все так же подробно и серьезно, как Астарита шептал мне свои скабрезности. В действительности же это была его манера выражать любовь — страстно и мрачно в одно и то же время; со стороны его волнение можно было принять за простую похоть, но я-то знала, насколько сильно, глубоко и по-своему чисто его чувство ко мне. Астарита всегда вызывал во мне главным образом жалость; несмотря на все его странности, я догадывалась, что он одинок и никак не может освободиться от этого одиночества. Я сказала:

— Я не хотела говорить тебе, но ты сам меня вынуждаешь... Поступай как знаешь... но я не могу быть прежней... я беременна.

Он не удивился, но и не отказался от своего намерения:

— Ну... и что?

— Я хочу жить по-другому... я выйду замуж.

Я сказала ему о своем состоянии главным образом для того, чтобы смягчить отказ. Но в то время как я говорила, я заметила, что произношу вслух именно то, о чем думаю, и слова мои идут от самого сердца. Вздохнув, я прибавила:

— Когда мы с тобой познакомились, я ведь тоже хотела выйти замуж... и не я виновата в том, что все получилось иначе.

Он продолжал обнимать меня за талию, но это объятие уже стало слабее, потом он отстранился от меня и сказал:

— Будь проклят тот день, когда я встретил тебя.

— Почему? Ты ведь любил меня.

Он плюнул и снова сказал:

— Будь проклят тот день, когда я встретил тебя, в будь проклят тот день, когда я родился. — Он не кричал, не выражал бурных чувств, а говорил спокойно и уверенно. Потом прибавил: — Твоему другу нечего опасаться... допрос не был запротоколирован... мы не придали никакого значения его словам... в деле он до сих пор значится как политически неблагонадежный... прощай, Адриана.

Я стояла возле окна и, увидев, что он собирается уходить, кивнула ему. Он взял со стола шляпу и не оборачиваясь вышел.

Тотчас же дверь из кухни отворилась и вошел Мино с пистолетом в руке. Я с удивлением, устало и молча посмотрела на него.

— Я думал убить Астариту, — сказал он улыбаясь. — А ты и в самом деле поверила, что для меня так уж важно уничтожить протокол допроса?

— Почему же ты его не убил? — спросила я рассеянно.

Он покачал головой:

— Он так хорошо проклинал день своего рождения... пусть проклинает этот день еще несколько лет.

Что-то угнетало меня, но, сколько я ни старалась, не могла понять, что же именно.

— Во всяком случае, — сказала я, — я добилась того, чего хотела... никакого протокола не существует.

— Я слышал, слышал, — перебил он, — я все слышал... я стоял за дверью, а она была закрыта неплотно... я даже видел... он вел себя смело, — небрежно произнес он, — твой Астарита... бац-бац... влепил Сонцоньо две прямо-таки великолепные пощечины... ведь пощечины можно давать по-разному... а эти пощечины были пощечинами высшего — низшему... пощечины хозяина или человека, который чувствует себя хозяином, своему слуге... а как Сонцоньо себя вел! Даже не пикнул.

Он рассмеялся, засовывая пистолет в карман.

Я была немного растеряна от таких похвал в адрес Астариты. И нерешительно спросила:

— Как ты думаешь, что теперь будет делать Сонцоньо?

— Гм, кто знает?

Было уже поздно, и в комнате стало темно. Он потянулся, включил лампу с противовесом; середина мастерской осветилась, а в углах залегла темнота. На столе валялись мамины очки и карты для ее пасьянсов. Мино сел, собрал карты, перетасовал их и, обращаясь ко мне, сказал:

— Давай сыграем в карты... перед ужином.

— Чего это вдруг! — воскликнула я. — Играть в карты?

— Да, в брисколу *, иди сюда.

Я повиновалась, села напротив него и машинально взяла карты, которые он мне протянул. Мысли мои путались, а руки почему-то дрожали. Мы начали играть. Мне казалось, будто в картах заключен зловещий и мрачный смысл: валет пик весь черный, злой, с черными глазами и с черным цветком, зажатым в кулаке; дама червей — сладострастная, развратная, яркая; бубновый король — пузатый, холодный, равнодушный, бессердечный. Мне казалось, что в нашей игре была какая-то очень важная ставка, но какая именно, я не знала. Я чувствовала смертельную тоску и, продолжая играть, время от времени потихоньку вздыхала, желая удостовериться, не свалился ли с моей души тяжелый камень. И ощущала, что эта тяжесть увеличивается с каждой минутой.

Мино выиграл первую партию, потом вторую.

— Да что с тобой? — спросил он, мешая карты. — Ты играешь из рук вон плохо.

Я бросила карты:

— Не мучь меня, Мино... у меня действительно нет настроения играть.

— Почему?

— Не знаю.

Я встала и прошлась по комнате, украдкой ломая руки. Потом предложила:

— Пойдем в нашу комнату, хочешь?

— Пойдем.

Мы вышли в прихожую, и здесь, в темноте, он обнял меня и поцеловал в шею. И тогда, пожалуй, впервые в жизни мне показалось, что на любовь можно смотреть именно так, как Мино смотрел на нее: как на средство, которое не лучше и не хуже любого другого помогает забыться и ни о чем не думать. Я сжала его лицо ладонями и крепко поцеловала. Так, обнявшись, мы вошли в мою комнату. Здесь было темно, но я не обратила на это внимания. Красная, как кровь, пелена застила мне глаза; и каждое наше движение исторгало искры из того жаркого и внезапного пламени, которое сжигало нас. Иногда кажется, что начинаешь видеть в темноте каким-то шестым чувством, всем телом, и тогда во мраке ощущаешь себя так же свободно, как и при солнечном свете. Но подобное видение связано с тем состоянием, в котором находились мы; я видела лишь

* Карточная игра.

два наших тела, выхваченные из мрака ночи, похожие на тела двух утопленников, выброшенные черной морской волной на берег.

Неожиданно я очнулась. Я лежала на постели, свет лампы падал на мой обнаженный живот. Я вся сжалась, то ли от холода, то ли от стыда, и руками прикрыла живот. Мино посмотрел на меня и сказал:

— Теперь твой живот начнет расти... с каждым месяцем он будет расти все больше и больше... и однажды боль заставит тебя раздвинуть ноги, которые ты так сильно сжимаешь... покажется голова ребенка, уже покрытая волосиками, и ты вытолкнешь его на свет божий, его возьмут и подадут тебе на руки... и ты будешь счастлива... появится еще один человек... Будем надеяться, что он не станет повторять то, что говорит Астарита.

— А что он говорит?

— «Будь проклят день, когда я родился».

— Астарита несчастный человек, — ответила я, — а мой ребенок, я в этом уверена, будет счастливым и везучим.

Потом я укрылась одеялом и, кажется, задремала. Но упоминание об Астарите вновь оживило в моей груди то чувство тяжести, которое мучило меня после его ухода. Внезапно я услыхала незнакомый голос, который громко закричал мне прямо в ухо: «Бах-бах», так кричат, когда хотят изобразить звук пистолетных выстрелов; в страхе и тревоге я быстро вскочила и уселась на постели. Лампа все еще горела, я торопливо встала и пошла к двери, чтобы удостовериться, хорошо ли она заперта. Но я наткнулась на Мино, он был уже одет и, стоя возле двери, курил. Растерянная, я вернулась назад и села на край постели.

— Как ты думаешь, — спросила я, — что теперь будет делать Сонцоньо?

Он посмотрел на меня и ответил:

— Откуда мне знать?

— Я его знаю, — произнесла я, наконец-то сумев выразить словами ту внутреннюю тревогу, которую испытывала все время, — он позволил выгнать себя из комнаты и не сопротивлялся, но это еще ничего не значит... он способен убить Астариту... а ты как думаешь?

— Все бывает.

— Ты думаешь, он его убьет?

— Всякое может случиться.

— Нужно предупредить Астариту, — закричала я, вскочив с постели, и начала одеваться, — я уверена, он его убьет... ах, почему я раньше об этом не подумала?

Я торопливо одевалась и продолжала говорить о своем страхе и предчувствии беды. Мино ничего не отвечал, а только курил и ходил вокруг меня. Наконец я сказала:

— Я иду к Астарите... в это время он всегда дома... а ты обожди меня здесь.

— И я с тобой.

Я не стала возражать, в конце концов, я была рада, что он идет со мною, так как боялась, что от сильного волнения мне станет плохо. Надевая пальто, я сказала:

— Возьмем такси... так быстрее.

Мино тоже надел пальто, и мы вышли.

Я шла быстро, почти бежала, а Мино пытался не отставать, держа меня под руку и тоже ускоряя шаг. Немного пройдя, мы нашли такси, я поспешно села в машину и назвала адрес Астариты. Он жил на одной из улиц в Прати, я никогда не была там, но знала, что это недалеко от Дворца Правосудия.

Такси тронулось, и я, наклонившись вперед, невольно начала следить за движением машины, разглядывая улицы поверх плеча шофера. Вдруг я услышала позади себя тихий голос Мино, который говорил как будто сам с собой:

— Что тут особенного? Одна змея сожрала другую.

Но я не обратила внимания на эти слова. Когда мы оказались перед Дворцом Правосудия, я велела шоферу остановиться, вышла из машины, а Мино расплатился. Мы бегом пересекли дорожки сквера, усыпанные гравием, со скамейками в деревьями. Улица, на которой жил Астарита, внезапно предстала перед нами — длинная и прямая, как шпага, освещенная вереницей больших белых фонарей, она тянулась далеко, насколько хватало глаз. Здесь стояли большие здания, магазинов не было, и улица казалась пустынной. Судя по порядку номеров, дом Астариты находился в самом конце. Улица была такой тихой, что я сказала:

— Может быть, все это мои фантазии... как бы то ни было, но это необходимо проверить.

Мы миновали несколько зданий, пересекли несколько поперечных улиц, и тут Мино спокойным голосом сказал:

— Однако что-то случилось... посмотри-ка.

Я подняла глаза и неподалеку увидела черную толпу людей, собравшихся у одного из подъездов. Люди стояли на тротуаре и смотрели вверх, в темное небо. Я сразу же подумала,

что здесь живет Астарита, и бросилась вперед, мне казалось, что Мино бежит за мной.

— Что такое... что случилось? — спросила я, тяжело дыша, у кого-то из людей, столпившихся возле подъезда.

— Да ничего не разберешь, — ответил тот, к кому я обратилась, белокурый паренек без шапки и без пальто, державший за руль велосипед, — какой-то человек бросился в лестничный пролет, не то его столкнули туда... полицейские поднялись на крышу и ищут убийцу.

Энергично работая локтями, я протиснулась сквозь толпу и вошла в просторный и светлый вестибюль дома, который был битком набит людьми. Белая лестница с литыми чугунными перилами круто шла вверх и повисала над головой. Меня неудержимо влекло вперед, и, протиснувшись, я увидела, заглядывая поверх голов, свободное пространство под лестницей. На круглом пилястре из белого мрамора стояла крылатая обнаженная фигура из золоченой бронзы, в высоко поднятой руке она держала светильник из матового стекла, внутри которого горела лампочка. Как раз тут на полу лежал человек, накрытый простыней. Все смотрели в одну точку, я тоже посмотрела и поняла, что они смотрят на ноги, обутые в черные ботинки, торчащие из-под простыни. В эту самую минуту несколько голосов разом закричало: «Назад... вон отсюда, ну... назад». И меня вместе с другими вытеснили на улицу. Тяжелые двери сразу же захлопнулись.

Слабым голосом я сказала, оборачиваясь:

— Пойдем домой, Мино.

И увидела перед собой незнакомого человека, удивленно смотревшего на меня. Толпа, пошумев в знак протеста еще немного и поколотив кулаками в запертые двери, постепенно разбрелась по улице, продолжая обсуждать происшествие. Со всех сторон подбегали люди, две-три машины и несколько велосипедистов остановились узнать, что произошло. Я начала бродить в толпе, тревожно заглядывая в лица встречных, не решаясь заговорить. Заметив издали знакомый затылок и плечи, я решила, что это Мино, и стремительно протиснулась сквозь толпу, но увидела чужое удивленное лицо. Люди надеялись, что им удастся поглядеть на труп, и потому все еще не отходили от подъезда. Они стояли тесной толпой с терпеливым и серьезным видом, как стоят люди в очереди у входа в театр. Я ходила и ходила вокруг и вдруг поняла, что уже видела всех этих людей, это были все те же лица. Мне послышалось, что в одном конце толпы произнесли имя Астариты, но меня это уже не волновало,

теперь вся моя тревога сосредоточилась на Мино. Наконец я убедилась, что его здесь нет. Должно быть, он ушел, когда я протиснулась в подъезд. Я ведь, в сущности, все время ожидала этого исчезновения и удивилась, что не подумала об этом раньше. Собрав последние силы, я еле-еле доплелась до площади, села в такси и назвала свой адрес. Я надеялась, что Мино потерял меня в толпе, а потом один отправился домой. Но я была почти уверена, что это не так.

Дома его не оказалось, он не пришел ночевать, не вернулся он и на следующий день. Я заперлась в своей комнате, меня охватило такое сильное беспокойство, что я дрожала всем телом. Но это был не озноб: я жила где-то вне самой себя, в необычной и ни на что не похожей обстановке, любой взгляд, любой шум, любое прикосновение причиняли мне боль и заставляли сердце сильно колотиться. Ничто не могло отвлечь меня от мыслей о Мино, даже подробные описания нового преступления Сонцоньо, заполнившие все газеты, которые приносила мне мама. Преступление было характерным для Сонцоньо: вероятно, они несколько минут боролись на площадке, возле двери в квартиру Астариты, потом Сонцоньо прижал Астариту к перилам, приподнял его и сбросил вниз в пролет лестницы. Все это было слишком жестоко: никто, кроме Сонцоньо, не мог бы убить таким образом. Но как я сказала, мною владела только одна мысль. Во мне не вызвали интереса даже сообщения о том, как глубокой ночью Сонцоньо был подстрелен, когда он, как кошка, перебирался с крыши на крышу. Я испытывала отвращение к любому занятию, к любому делу, даже просто к мыслям, отвлекавшим меня от Мино, хотя думы о Мино наполняли меня безудержной тоской. Несколько раз я вспоминала Астариту, его любовь ко мне и его печальную судьбу, и меня вновь охватывала жалость к нему, я думала, что если бы не была так озабочена исчезновением Мино, то оплакивала бы Астариту и помолилась бы о спасении его души, которая никогда не знала счастья и была так преждевременно и так безжалостно разлучена с телом.

Так прошел весь день, вся ночь, весь следующий день и вся следующая ночь. Я либо лежала на кровати, либо сидела в кресле. Я крепко сжимала в руках пиджак Мино, который обнаружила на вешалке, и время от времени нежно целовала его грубую ткань или же кусала ее, чтобы заглушить свое беспокойство. И когда мама заставляла меня поесть, я брала кусок хлеба одной рукой, а другой продолжала судорожно сжимать пиджак. Когда наступила вторая ночь, мама решила уложить меня в

постель, и я позволила ей раздеть меня. Но когда она хотела забрать у меня пиджак, я так пронзительно вскрикнула, что испугала ее. Она ничего не знала, но поняла, что я в отчаянии из-за отсутствия Мино.

На третий день я придумала для себя новую версию и с самого утра ухватилась за нее, хотя невольно чувствовала всю ее несостоятельность. Я решила, что Мино испугался, узнав о моей беременности, захотел уклониться от обязанностей, к которым вынуждало его мое положение, и уехал домой в провинцию. Как ни ужасна была эта версия, но мне было легче считать Мино подлецом, чем искать какое-либо другое объяснение его бегства. Все мои мысли были грустны, казалось, что их мне подсказывали те печальные обстоятельства, которые сопровождали это исчезновение.

В тот же самый день часов около двенадцати мама вошла в мою комнату и бросила мне на постель письмо. Я узнала почерк Мино, и меня охватила радость. Дождавшись, когда мама выйдет и когда утихнет мое волнение, я вскрыла письмо. Вот оно:

Дорогая Адриана,

в ту минуту, когда ты получишь это письмо, я буду уже мертв. Когда я открыл затвор пистолета и обнаружил, что он разряжен, я сразу понял, что это сделала ты, и подумал о тебе с огромной нежностью. Бедная Адриана, ты плохо знакома с устройством оружия и не знаешь, что в стволе есть еще одна пуля. Тот факт, что ты не заметила этой пули, и укрепил меня в моем решении. Впрочем, есть немало способов покончить с собой.

Как я уже говорил тебе, я не могу примириться с тем, что сделал. В эти последние дни я понял, что люблю тебя; но если рассуждать логично, то должен бы тебя ненавидеть, ибо все, что я ненавижу в себе и что открылось мне во время допроса, есть в тебе, и еще в большей мере, чем во мне. В сущности, это был момент, когда рухнул образ того человека, каким мне надлежало быть, а я оказался лишь тем, кем был в действительности. Это не трусость и не предательство, а только лишь странное расслабление воли. Впрочем, возможно, это состояние не так уж странно, но оно могло бы завести меня слишком далеко. Убивая себя, я ставлю вновь все на свои места.

Не бойся, во мне нет ненависти к тебе, я, наоборот, так люблю тебя, что при одной мысли о тебе готов примириться с жизнью. Будь это возможно, я, конечно, остался бы жить, женился бы на тебе, и нам было бы, как ты часто говорила,

очень хорошо вдвоем. Но это, откровенно говоря, неосуществимо.

Я подумал о ребенке, которого ты ждешь, и написал в связи с этим два письма, одно — моим родителям, а другое — своему другу адвокату. В конце концов, они неплохие люди, и, хотя не следует строить иллюзий относительно их чувств к тебе, я уверен, что они исполнят свой долг. Если же, паче чаяния, они откажут тебе в помощи, без всяких колебаний прибегни к защите закона. Мой друг адвокат разыщет тебя, и ты спокойно можешь довериться ему.

Вспоминай иногда обо мне. Обнимаю тебя.

Твой Мино.

P. S. Имя моего адвоката — Франческо Лауро. Адрес его: улица Кола да Риенцо, дом 3.

Прочитав письмо, я укрылась одеялом, зарылась головой в подушку и дала волю слезам. Не знаю, сколько времени я плакала. Каждый раз, когда казалось, что слезы уже иссякли, горечь с новой силой поднималась в моей груди, и я опять разражалась рыданиями. Я не кричала, хотя мне хотелось кричать, я боялась привлечь внимание мамы. Я плакала тихо и чувствовала, что плачу в последний раз в жизни. Я оплакивала Мино, оплакивала самое себя, все свое прошлое и все свое будущее.

Наконец я встала и, не переставая плакать, обессилевшая и подавленная, начала поспешно одеваться, глаза мои ничего не видели из-за слез. Потом я умылась холодной водой, кое-как напудрила красное и опухшее лицо и потихоньку вышла, ничего не сказав маме.

Я побежала в полицию и обратилась к комиссару. Он выслушал мой рассказ и сказал скептическим тоном:

— У нас в районе ничего подобного не произошло... вот увидишь, он передумает.

Как мне хотелось, чтобы он оказался прав! Но в то же самое время, не знаю почему, его слова меня страшно рассердили.

— Вы говорите так, потому что не знаете его, — резко произнесла я, — вы воображаете, что все люди похожи на вас!

— Короче говоря, чего ты хочешь? — спросил он. — Чтобы он был жив или мертв?

— Я хочу, чтобы он был жив, — закричала я, — хочу, чтобы он жил, но боюсь, что он умер.

Комиссар немного подумал, а потом сказал:

— Успокойся... в тот момент, когда он писал это письмо, он, быть может, и хотел убить себя... но потом передумал... он ведь человек... с каждым может такое случиться.

— Да, человек, — прошептала я.

Я уже не понимала, что говорю.

— Во всяком случае, зайди сюда сегодня вечером, — сказал он в заключение, — тогда я смогу что-нибудь сообщить тебе...

Прямо из полиции я пошла в церковь. Это была та самая церковь, где меня крестили, где состоялась моя конфирмация и где я приняла свое первое причастие. Церковь была старая, большая и пустая, по обе стороны шли два ряда колонн из грубого, нешлифованного камня, а пол из серых плит был покрыт пылью; за колоннами в темных боковых нефах виднелись богатые, сверкающие золотом приделы, похожие на глубокие пещеры, полные сокровищ. Один из них — придел Мадонны. Я опустилась в темноте на колени перед бронзовой решетчатой дверью, закрывавшей придел. На большом темном образе, перед которым стояли вазы с цветами, была изображена Мадонна. Она держала на руках младенца, а у ног ее стоял на коленях святой в монашеском одеянии, молитвенно сложив руки на груди. Склонившись до самой земли, я больно ударилась лбом об пол. Я принялась целовать каменные плиты, начертила на пыльном полу крест, а потом обратилась к деве Марии и в душе произнесла клятву. Я обещала, что никогда в жизни не позволю мужчинам, даже Мино, приблизиться ко мне. Любовь была единственной вещью на свете, которой я дорожила и которая мне нравилась, и поэтому я считала, что ради спасения Мино нельзя принести большей жертвы. Потом, стоя на коленях и прижавшись лбом к каменному полу, я долго молилась без слов и мыслей, молилась сердцем. Но как только я поднялась, на меня нашло просветление: мне показалось, что плотная темнота, окутывавшая придел, внезапно озарилась сиянием, и в этом свете я ясно увидела Мадонну, которая смотрела на меня ласковыми, добрыми глазами и все-таки отрицательно качала головой, будто говоря, что не принимает моей молитвы. Это продолжалось всего один миг. Потом я очутилась возле решетчатой двери напротив алтаря. Как во сне я перекрестилась и пошла домой.

Я прождала весь день, отсчитывая секунды и минуты, а вечером опять пошла в полицию. Полицейский комиссар как-то странно посмотрел на меня, я почувствовала, что вот-вот потеряю сознание, и сказала слабым голосом:

— Значит, правда... он убил себя.

Полицейский комиссар взял со стола фотографию и протянул ее мне:

— Человек, личность которого не установлена, покончил жизнь самоубийством в гостинице возле вокзала... посмотри, он ли это.

Я взяла фотографию и сразу же узнала Мино. Его сфотографировали до пояса, он, видимо, лежал на кровати. Из простреленного виска темными струйками стекала по лицу кровь. Но под этими струйками крови лицо было спокойно, таким я его никогда не видела в жизни.

Тихим голосом я сказала, что это он, и поднялась. Полицейский комиссар хотел еще что-то добавить, желая, видно, успокоить меня, но я не стала слушать его и вышла не оглянувшись.

Я пришла домой и сразу бросилась в объятия мамы, но не плакала. Я, конечно, знала, что она женщина темная, но ведь она была единственным человеком, с которым я могла поделиться своим горем. Я рассказала ей обо всем, о самоубийстве Мино, о нашей любви и о том, что я беременна. Но я не сказала, что отцом ребенка был Сонцоньо. Я сказала ей и о своей клятве и о решении переменить образ жизни, сказала, что либо опять примусь за работу белошвейки вместе с нею, либо пойду в услужение. Сперва мама пыталась успокоить меня какими-то не очень умными, но искренними словами, а потом сказала, что не следует торопиться: нужно подождать, что предпримет семья Мино.

— Это касается только ребенка, — ответила я, — а не меня.

На следующее утро неожиданно явились два друга Мино: Туллио и Томмазо. Они тоже получили письмо от Мино, он сообщал им, что кончает жизнь самоубийством, признавался в том, что называл предательством, и предостерегал их.

— Не бойтесь, — сухо сказала я, — опасаться вам нечего, успокойтесь... с вами ничего не случится.

И я рассказала им об Астарите и о том, как погиб этот единственный человек, который знал все, добавив, что допрос не был зафиксирован и, таким образом, они не были изобличены. Мне показалось, что Томмазо искренне огорчен смертью Мино, а Туллио никак не мог прийти в себя от испуга. Немного погодя он сказал:

— Однако в хорошенькую историю он нас впутал... как можно верить полиции? Никогда ничего нельзя знать наперед... это все-таки настоящее предательство.

Он потер руки и разразился своим скрипучим смехом, как будто разговор и вправду шел о чем-то веселом.

Я встала и с негодованием произнесла:

— Какое тут предательство, какое предательство?.. Он убил себя, чего же вам еще надо? Ни у одного из вас не хватило бы мужества сделать то же самое... и еще я вам скажу: вы оба ничуть не лучше его, хотя вы и не совершили предательства... потому что вы оба просто несчастные бедняки, у вас никогда не было ни гроша, и ваши родители тоже несчастные жалкие бедняки, и, если дело обернется по-вашему, вы наконец получите то, чего никогда не имели, вам и вашим родным будет хорошо... а Мино был богат, он родился в богатой семье, он был синьор, и если он занимался этим, то только потому, что верил в свое дело, а не потому, что ждал чего-то для себя... он бы все потерял, точно так же как вы бы все приобрели... вот что я хотела вам сказать... и вам должно быть стыдно, что вы пришли сюда говорить о его предательстве.

Низенький Туллио разинул свой огромный рот, словно собирался ответить, но его друг, который понял меня, жестом остановил Туллио и сказал:

— Вы правы... успокойтесь... что касается меня, то я всегда буду думать о Мино только хорошо.

Он был взволнован, и я почувствовала к нему симпатию, ибо он и в самом деле по-настоящему любил Мино. Потом они попрощались со мной и ушли.

Оставшись одна, я почувствовала, что с той минуты, когда я все высказала этим двум людям, на душе у меня стало как будто легче. Я начала думать о Мино и о своем ребенке. Отец его убийца, а мать — проститутка, думала я, но ведь такое может произойти с любым человеком: мужчина может стать убийцей, а женщина может продавать себя за деньги; пусть только ребенок родится вовремя и вырастет здоровым и сильным. Я решила, что если это будет мальчик, то я назову его Джакомо в честь Мино. А если девочка, я назову ее Летиция *, так как хотела бы, чтобы жизнь ее в отличие от моей была радостной и счастливой, и я верила, что при поддержке родных Мино такой она и будет.

---

* Летиция — по-итальянски радость.

ПРЕЗРЕНИЕ

Il disprezzo

Перевод Г. Д. Богемского и Р. И. Хлодовского
Редактор Е. И. Бабун

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Первые два года после женитьбы — теперь я смело могу это утверждать — мы с женой жили душа в душу. Я хочу сказать, что в течение этих двух лет полнейшая и глубокая гармония наших чувств сопровождалась тем помрачением или, если хотите, тем молчанием разума, когда лишаешься всякой способности рассуждать здраво и, оценивая поступки и характер любимого человека, прислушиваешься лишь к голосу любви. Словом, Эмилия казалась мне полностью лишенной недостатков, думаю, и я представлялся ей таким же. Возможно, я видел ее недостатки, а она — мои, однако в силу чудесного превращения, совершенного любовью, они казались нам обоим не только простительными, но даже милыми и трогательными, словно были это вовсе не недостатки, а достоинства, пусть несколько необычные. Как бы то ни было, мы не судили, а любили друг друга. В этой повести я хочу рассказать, как произошло, что в то время, когда я продолжал по-прежнему любить Эмилию, не задумываясь над ее достоинствами и недостатками, она, наоборот, открыла во мне или вообразила, что открыла, некоторые недостатки, стала меня за них осуждать, а потом и совсем разлюбила.

Чем огромнее счастье, тем меньше его замечаешь. Как ни странно, в первые два года мне порой казалось даже, что я начинаю скучать. Просто я не отдавал себе отчета в том, насколько я счастлив. Я считал, что живу, как и все: люблю свою жену

и любим ею, и наша любовь представлялась мне чем-то вполне обычным, естественным, чем можно было совсем не дорожить — ведь не дорожим мы воздухом, которым дышим и который нас окружает; мы понимаем, что он нам необходим, только когда его вдруг начинает не хватать и мы задыхаемся. Скажи мне кто-нибудь в те времена, что я счастлив, я, пожалуй бы, удивился. И вероятно, ответил бы, что нет, я вовсе не счастлив и что хотя мы с женой любим друг друга, но у меня нет никакой уверенности в завтрашнем дне. Так и было на самом деле: я получал гроши, сотрудничая в качестве кинокритика в одной второстепенной газетке, да еще прирабатывал разной журналистской поденщиной, и мы еле сводили концы с концами. Мы снимали меблированную комнату и, поскольку вечно сидели без денег, не могли позволить себе ничего лишнего, иной раз у нас даже не хватало на самое необходимое. Так разве мог я быть счастлив? И только впоследствии я понял, что именно в то время, когда я так часто жаловался на судьбу, я, по-видимому, вкушал всю глубину и полноту счастья.

Мы были женаты уже два года, когда наконец наши денежные дела немного поправились: я познакомился с кинопродюсером по фамилии Баттиста и написал для него свой первый сценарий. На работу в кино я смотрел тогда как на занятие временное, тем более что всегда мечтал стать известным драматургом, однако именно этой работе суждено было сделаться моей профессией. И как раз в это время наши отношения с Эмилией стали омрачаться. Мой рассказ начинается с первых моих шагов на поприще киносценариста и с первых замеченных мной признаков охлаждения со стороны жены — двух событий, которые произошли одновременно и были, как потом стало ясно, самым непосредственным образом связаны одно с другим.

Пытаясь теперь воскресить в памяти прошлое, я смутно вспоминаю об одном случае, показавшемся мне тогда не заслуживающим внимания; лишь впоследствии я понял, что должен был отнестись к этому серьезно.

Я стою на тротуаре одной из центральных улиц города. Эмилия, Баттиста и я только что поужинали в ресторане. Баттиста предложил закончить вечер у него, и мы приняли приглашение. Мы подходим все вместе к красному автомобилю Баттиста, роскошной, но небольшой машине — в ней всего два места. Баттиста садится за руль, потом открывает дверцу, высовывается из машины и говорит:

— А вам, Мольтени, придется поехать на такси... одному, но хотите, можете подождать меня здесь — я за вами вернусь.

Эмилия стоит рядом со мной в единственном своем вечернем туалете, черном шелковом платье с глубоким вырезом. Меховую накидку она держит в руках — в октябре было еще тепло. Я смотрю на нее, и мне вдруг кажется, что в ее красоте, обычно такой спокойной и безмятежной, в этот вечер появилось нечто новое — какая-то тревога, почти смятение. Я весело говорю ей:

— Конечно, Эмилия, поезжай с Баттистой... я догоню вас на такси.

Эмилия смотрит на меня, потом медленно произносит протестующим тоном:

— Пусть лучше Баттиста поедет вперед, а мы с тобой возьмем такси.

Тогда Баттиста высовывает голову из машины и шутливо возмущается:

— Вот это мило, вы, значит, хотите, чтобы я ехал один?!

— Да нет, но... — возражает Эмилия, и я снова замечаю, что ее красивое, всегда такое безмятежно-спокойное и гармоничное лицо омрачается, глубокое душевное волнение искажает его черты. Но у меня уже вырвалось:

— Баттиста прав, поезжай с ним, я возьму такси.

На этот раз Эмилия уступает, вернее, подчиняется и садится в машину. Сидя рядом с Баттистой, еще не захлопнув дверцы, она глядит на меня, и я вижу в ее растерянном взгляде — то было нечто совсем новое, но осознал я это только теперь, когда пишу эти строки, — мольбу, упрек, смешанные с отвращением. Но тогда я не придал значения тому, что прочел в ее глазах, и решительным жестом, точно человек, закрывающий сейф, захлопнул тяжелую дверцу. Машина уезжает, а я в самом веселом настроении, тихонько насвистывая, направляюсь к ближайшей стоянке такси.

Баттиста жил неподалеку от ресторана, и, если бы мне ничто не помешало, я приехал бы одновременно с ними или всего несколькими минутами позже. Однако на полдороге происходит нечто непредвиденное — такси на перекрестке сталкивается с другой машиной. Оба автомобиля получают легкие повреждения: у такси поцарапано и помято крыло, у другой машины вмятина на боку. Шоферы немедленно выскакивают из машин и начинают ругать друг друга, вокруг собирается толпа, появляется полицейский, с трудом разнимает спорящих, потом записывает их адреса и фамилии. Во время всей этой перепалки я не вылезаю из такси и не только не проявляю ни малейшего нетерпения, но даже впадаю в какое-то блаженное оцепенение

от обильной вкусной еды и вина и от того, что Баттиста в конце ужина предложил мне написать для него сценарий. Однако на пререкания водителей ушло минут десять, а то и пятнадцать, и я приезжаю на квартиру к продюсеру с опозданием. Когда я вхожу в гостиную, Эмилия сидит в кресле, а Баттиста стоит в углу у столика-бара на колесах. Баттиста весело приветствует меня, а Эмилия с какой-то мукой в голосе спрашивает, где я пропадал столько времени. Я небрежным тоном сообщаю о причине задержки, но сам чувствую, что ответ мой звучит как-то уклончиво, словно я пытаюсь что-то скрыть, на самом же деле я просто рассказываю о случившемся, не придавая своим словам решительно никакого значения. Но Эмилия не успокаивается, и в голосе ее слышатся все те же необычные нотки:

— Столкновение... какое еще столкновение?

Меня удивил и, пожалуй, даже несколько озадачил этот вопрос, и я снова принимаюсь по порядку рассказывать обо всем, что со мной произошло. Мне даже начинает казаться, что я слишком вдаюсь в детали, будто опасаюсь, что мне не поверят; словом, я чувствую, что непонятно почему взял ошибочный тон, и то прибегаю к недомолвкам, то пускаюсь в излишние подробности. Наконец Эмилия прекращает свои расспросы, и Баттиста — воплощенная любезность, — весело улыбаясь, ставит на стол три бокала и предлагает нам выпить. Я усаживаюсь, и вот так за болтовней и шутками — болтаем и шутим главным образом мы с Баттистой — проходит часа два. Баттиста так оживлен и весел, что я почти не замечаю подавленного настроения Эмилии. Впрочем, она всегда довольно молчалива и замкнута, так что ее теперешняя сдержанность не слишком меня удивляет. Мне лишь кажется странным, что она не принимает никакого участия в беседе. Она не улыбается, не смотрит на нас и только молча курит и потягивает вино из бокала, будто она одна в комнате. В конце вечера Баттиста заводит со мной деловой разговор о фильме, в создании которого я должен участвовать, излагает сюжет, сообщает фамилии режиссера и моего соавтора по сценарию и предлагает на следующий день зайти к нему в контору и подписать контракт. Эмилия, воспользовавшись короткой паузой, встает и говорит, что устала и хочет домой. Мы прощаемся с Баттистой, выходим на лестницу, спускаемся, вот мы уже на улице и молча идем к стоянке такси. Потом садимся в машину, такси трогается. Меня пьянит радость от неожиданного предложения Баттисты, и, не в силах сдержать ее, я обращаюсь к Эмилии:

— Сценарий подоспел как раз вовремя... Просто не знаю, что бы мы без него делали... Пришлось бы залезать в долги.

Эмилия в ответ только спрашивает:

— А сколько платят за сценарий?

Я называю сумму и добавляю:

— Итак, все проблемы наши решены, по крайней мере на эту зиму.

Говоря это, я беру руку Эмилии и пожимаю ее. Она не отнимает руки и до самого дома не произносит больше ни слова.

ГЛАВА ВТОРАЯ

И вот с того вечера все, что касалось работы, пошло самым великолепным образом. На следующее утро я отправился к Баттисте, подписал контракт и получил аванс. Насколько я помню, мне предстояло написать довольно пустую сентиментальную кинокомедию. Тогда я считал, что, будучи по характеру человеком серьезным, я не подхожу для этого жанра, однако в ходе работы неожиданно оказалось, что это было моим истинным призванием. В тот же день состоялась моя первая деловая встреча с режиссером и соавтором сценария.

Я могу совершенно точно установить, когда началась моя кинокарьера — то был вечер, проведенный у Баттисты, — но мне очень трудно с такой же определенностью сказать, когда стали портиться наши с женой отношения. Вероятнее всего, следует считать началом ее охлаждения тот же самый вечер у Баттисты, но понял я это только теперь, как говорится, задним числом, тем более что в Эмилии пока еще не заметно было ни малейших перемен. Хотя, несомненно, они происходили в течение этого месяца после вечера, проведенного у Баттисты, но я и правда не в состоянии сказать, когда именно в сердце Эмилии одна чаша весов окончательно перевесила другую и что могло послужить тому причиной. В то время мы виделись с Баттистой ежедневно, и я мог бы подробно описать многие другие эпизоды, подобные тому, какой произошел в тот памятный вечер у него дома. Я говорю об эпизодах, которые тогда казались мне ничем не примечательными, не выделяющимися из общего течения нашей жизни; впоследствии, однако, каждый из них приобрел в моей памяти свои отличительные черты, занял свое особое место. Мне только хотелось бы отметить одно обстоятельство: всякий раз, когда нас приглашал Баттиста — а это происходило теперь довольно часто, — Эмилия отказывалась

идти со мной. Правда, противилась она не слишком сильно и решительно, но с удивительным постоянством. Она всегда находила какой-нибудь предлог, чтобы избежать общества Баттисты, а я каждый раз настойчиво доказывал Эмилии, что отговорки ее несостоятельны, и все выспрашивал, не питает ли она к Баттисте антипатию, а если питает, то по какой причине. На мои расспросы она в конце концов неизменно, хотя и не без некоторого замешательства отвечала, что Баттиста ей вовсе не антипатичен, что она ничего против него не имеет, просто ей не хочется идти с нами, поскольку эти вечерние выходы ее утомляют да и вообще надоели ей. Меня не удовлетворяли такие малоубедительные объяснения, и я продолжал донимать ее: не задел ли ее чем Баттиста, возможно, сам того не заметив, или, может, так получилось помимо его воли. Но чем настойчивее я пытался доказать Эмилии, что она не симпатизирует Баттисте, тем упорнее она продолжала это отрицать, и замешательство ее под конец сменялось упрямым и решительным сопротивлением. Тогда, вполне успокоившись относительно чувств, испытываемых ею к Баттисте, и поведения Баттисты по отношению к ней, я начинал излагать ей доводы в пользу наших совместных вечерних развлечений: до сих пор я никогда никуда не ходил один, и Баттиста это прекрасно знает; к тому же Баттисте ее присутствие доставляет удовольствие — всякий раз, приглашая меня, он просит: «Приходите, пожалуйста, с женой»; ее неожиданное отсутствие, которое трудно будет объяснить, может показаться Баттисте признаком неуважения или, что еще хуже, может обидеть его, а от Баттисты теперь зависит наша судьба. В общем, поскольку Эмилия не может привести никаких серьезных причин в оправдание своего отказа, а я, наоборот, могу привести множество самых основательных доводов в пользу того, почему ей надо пойти со мной, то не лучше ли ей примириться со скукой этих вечеров и превозмочь усталость. Эмилия обычно слушала эти мои рассуждения рассеянно, с каким-то отрешенным видом: пожалуй, более внимательно, чем за моими доводами, следила она за жестами, которыми я их сопровождал, и за выражением моего лица; в конце концов она обычно сдавалась и начинала одеваться. Перед самым уходом, когда она бывала совсем готова, я спрашивал ее в последний раз: ей и в самом деле не хочется идти со мной? Спрашивал вовсе не потому, что сомневался в ее полной свободе поступать, как ей нравится. Она самым категорическим тоном отвечала, что и правда не имеет ничего против, и тогда мы выходили из дому.

Однако все это я смог восстановить в памяти, как я уже упомянул, лишь позднее, терпеливо роясь в прошлом и воскрешая многие незначительные факты, которых в то время просто не замечал. Тогда я понимал только, что отношение ко мне Эмилии изменилось к худшему, но совершенно не мог ни объяснить причины этого, ни определить, в чем именно состоит это ухудшение: так при еще безоблачном небе гнетущая тяжесть в воздухе возвещает приближение грозы.

Все чаще я стал думать о том, что Эмилия любит меня меньше, чем прежде: я заметил, что теперь она уже не стремится всегда быть со мной, как в первые дни и месяцы нашей совместной жизни. Раньше, когда я говорил: «Послушай, мне надо часа на два уйти. Постараюсь вернуться как можно скорее», она не спорила, однако весь вид ее — покорный и опечаленный — говорил о том, что мое отсутствие ей неприятно. Поэтому нередко случалось, что, махнув рукой на дела, я оставался дома или, если это было возможно, брал жену с собой. Ее привязанность ко мне в то время была так сильна, что однажды на вокзале, провожая меня — а я уезжал всего на несколько дней в Северную Италию, — она отвернулась, чтобы я не видел ее слез. Я сделал вид, что ничего не заметил, но всю поездку меня мучило воспоминание о слезах, которых она стыдилась, но не могла сдержать, и с тех пор я никогда больше не уезжал один. Теперь же, когда я говорил ей, что ухожу из дому, на лице ее не появлялось привычного, столь любимого мной выражения легкого недовольства и грусти. Она спокойно, часто даже не поднимая глаз от книги, отвечала: «Хорошо... значит, увидимся за ужином... Смотри не задерживайся». Иногда мне даже казалось, что ей хочется, чтобы я подольше не приходил. Скажем, я предупреждал ее: «Я ухожу, вернусь в пять». А она отвечала: «Можешь не торопиться... У меня полно дел». Однажды я в шутку заметил, что она, видимо, предпочитает, чтобы я поменьше бывал дома, но Эмилия уклонилась от прямого ответа. Она лишь сказала, что раз я все равно занят почти целый день, то нам лучше видеться только за едой — тогда и она сможет спокойно заниматься своими делами. Это было верно лишь отчасти: работая над сценарием, я уходил из дому во второй половине дня, а все остальное время неизменно старался проводить с Эмилией. Но после того разговора я стал уходить и по утрам.

Когда Эмилия еще выказывала недовольство моим отсутствием, я отправлялся по делам с легким сердцем, в сущности, радуясь этому ее чувству, так как видел в нем новое доказа-

тельство ее большой любви. Однако стоило мне заметить, что она не только не проявляет ни малейшей досады по поводу моего ухода, но, по-видимому, даже предпочитает оставаться одна, как я ощутил смутную тревогу — нечто подобное, должно быть, испытывает человек, неожиданно почувствовавший, что земля уходит у него из-под ног. Теперь я не бывал дома не только после обеда, но, как я уже сказал, и утром, причем часто с единственной целью — проверить, существует ли это совершенно новое и столь горькое для меня равнодушие Эмилии. Она постепенно не только перестала проявлять какое-либо недовольство моим отсутствием, но, напротив, относилась к этому совершенно спокойно, даже, как мне казалось, с плохо скрытым облегчением. Вначале я пытался объяснить эту холодность, пришедшую после двух лет супружеской жизни на смену любви, неизбежным появлением привычки, пусть даже исполненной самой нежной заботливости, — ведь спокойная уверенность супругов во взаимной любви, конечно, лишает их отношения какого бы то ни было налета страсти. Но я и сам чувствовал, что это не так — именно скорее чувствовал, чем сознавал, — ибо мысль, несмотря на всю ее кажущуюся логичность, обманывает нас чаще, чем смутное и неясное чувство. Словом, я видел, что Эмилия не досадует теперь на мое отсутствие не потому, что считает его неизбежным или не опасается больше, что оно скажется на наших отношениях, — просто она меньше любит меня, а может, и совсем разлюбила. И я понимал: произошло нечто такое, что серьезно повлияло на ее чувство ко мне, недавно еще необыкновенно сильное и страстное.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Когда я впервые встретился с Баттистой, положение мое было крайне затруднительным, чтобы не сказать ужасным, и я не знал, как мне из него выпутаться. Дело в том, что я купил квартиру, хотя у меня не было денег для выплаты необходимой суммы и я даже не представлял себе, где их достать. Первые два года мы с Эмилией жили в большой меблированной комнате. Может быть, другая женщина и не страдала бы от такого временного жилья, но Эмилия — в этом я совершенно уверен, — согласившись жить в таких условиях, дала мне самое большое доказательство любви, какое только может дать мужу преданная жена. Эмилия была что называется женщина «домовитая»; однако ее любовь к дому выходила за пре-

делы естественного и свойственного всем женщинам чувства, это было нечто вроде пылкой и всепожирающей страсти, чуть ли не алчности, страсти, которая была сильнее Эмилии и корнями своими уходила, по-видимому, куда-то очень глубоко. Эмилия выросла в бедной семье. Когда я с ней познакомился, она работала машинисткой. Я думаю, что в ее любви к дому бессознательно проявлялись разбитые надежды тех обездоленных, у которых никогда не было возможности обзавестись своим жильем, пусть даже самым скромным. Не знаю, надеялась ли Эмилия, выходя за меня замуж, осуществить мечту о собственном доме. Но я хороню помню один из тех немногих случаев, когда видел ее плачущей; произошло это вскоре после нашего обручения, когда я вынужден был признаться, что пока не в состоянии купить или даже снять квартиру и что поэтому первое время нам придется довольствоваться меблированной комнатой. Правда, она сразу же совладала со слезами, хоть они, по-моему, были вызваны не одним только горьким сожалением о том, что осуществление столь дорогой мечты отодвигается на неопределенный срок; в этих слезах обнаружилась вся глубина и страстность этой мечты — в сущности, даже не просто мечты, а того, в чем Эмилия видела чуть ли не смысл жизни.

Итак, первые два года мы жили в меблированной комнате. Но какую чистоту и порядок поддерживала в ней Эмилия! Насколько было возможно — а в меблированной комнате это отнюдь не просто,— Эмилия пыталась создать иллюзию, будто у нее собственная квартира. И поскольку у нас не было своей обстановки, она стремилась вложить в чужую обшарпанную мебель всю свою душу домовитой и аккуратной хозяйки. На моем письменном столе неизменно стояла ваза с цветами; бумаги мои были всегда разложены в исключительном порядке и словно звали к работе, гарантируя мне максимальные удобства; не было случая, чтобы на обеденном столе не лежали салфетки и не стояла вазочка с печеньем; никогда одежда или предметы туалета — как это часто бывает в подобного рода тесных и временных обиталищах — не оказывались там, где им меньше всего следует быть: на полу или на стульях. После уборки, наскоро сделанной служанкой, Эмилия еще раз тщательно прибирала комнату, да так, чтобы все, что могло блестеть и сверкать, блестело и сверкало, будь то латунный шарик на оконном шпингалете или самый незаметный кусочек паркета. По вечерам она сама, без помощи прислуги, стелила постель, и всегда на кровати с одной стороны лежала ее прозрачная ночная рубашка, а с другой — моя пижама; одеяло было аккуратно отогнуто,

а подушки удобно уложены. Утром она поднималась раньше меня, шла на общую кухню, готовила завтрак и приносила его мне на подносе. Все это Эмилия делала бесшумно, четко и естественно, но с пылом и старанием, которые говорили о чувстве, слишком глубоком, чтобы в нем можно было признаться. И тем не менее, несмотря на все героические усилия Эмилии, меблированная комната оставалась меблированной комнатой. Иллюзия, которую Эмилия пыталась создать у себя и у меня, никогда не бывала полной. Иной раз в минуты большой усталости она начинала жаловаться, правда, мягко и в силу своего характера сдержанно, но все-таки не без внутренней горечи; в таких случаях она спрашивала меня, до каких же пор будет продолжаться эта наша временная, неустроенная жизнь. Я понимал, что за внешним спокойствием Эмилии скрывается подлинная боль, и меня мучила мысль о том, что рано или поздно мне придется найти способ как-то удовлетворить ее страстное желание обзавестись собственным домом.

В конце концов, как уже было сказано, я решил купить квартиру; но не потому, что у меня появились деньги — их у меня по-прежнему не было, — а потому, что понимал, как страдает Эмилия, и опасался, что в один прекрасный день чаша ее терпения переполнится. За два года нашей совместной жизни я отложил небольшую сумму; добавив к ней деньги, взятые в долг, я смог сделать первый взнос. Однако я не испытал при этом того удовлетворения, какое ощущает человек, приобретя для своей жены квартиру; наоборот, я чувствовал мучительное беспокойство, ибо совершенно не представлял себе, каким образом мне удастся выкрутиться через месяц, когда подойдет срок уплаты следующего взноса. Я впал в такое отчаяние, что был почти зол на Эмилию, чье упорное и страстное стремление иметь собственный дом в какой-то мере вынудило меня пойти на столь необдуманный и рискованный шаг.

Но искренняя радость Эмилии, когда я сообщил ей о покупке квартиры, и потом бурное ликование, охватившее ее, когда мы в первый раз вошли в наши еще не обставленные комнаты, на некоторое время заставили меня забыть обо всех моих тревогах и волнениях. Я уже говорил, что любовь к дому была у Эмилии поистине страстью; более того, в тот день мне показалось, что к этой страсти примешивалась какая-то чувственность, словно то, что я наконец купил для нее квартиру, сделало меня в ее глазах более желанным. Мы осматривали нашу квартиру, и сперва Эмилия просто ходила со мной по пустым и холодным комнатам, а я говорил ей, как мне хотелось бы расставить ме-

бель. Но в конце нашего осмотра, когда я подошел к окну, чтобы распахнуть его и показать, какой из него открывается вид, Эмилия вдруг прижалась ко мне и тихо попросила поцеловать ее. Для нее, обычно столь сдержанной и почти робкой в проявлениях любви, это было чем-то совершенно новым и неожиданным. Пораженный и взволнованный ее тоном, я поцеловал ее. Это был один из самых пылких, самых опьяняющих поцелуев, которыми мы когда-либо обменивались; и внезапно я почувствовал, что ее объятия стали крепче, словно она хотела вызвать меня на еще большую близость; потом она судорожно стянула с себя юбку, расстегнула кофточку и прижалась ко мне всем телом. Оторвавшись от моих губ, она почти неслышно, но жарко и нежно шепнула мне в самое ухо — по крайней мере так мне показалось — «возьми меня», и сама, всей своей тяжестью потянула меня вниз, на пол. И мы любили друг друга на пыльных плитках, под тем самым окном, которое я так и не успел распахнуть.

Однако в пылкости столь неожиданно бурных объятий Эмилии я почувствовал не только любовь ко мне, я ощутил в них прежде всего порыв подавленной страсти к собственному очагу, которая как бы сама собой вылилась в чувственное желание. Необставленные гулкие комнаты, еще пахнущие краской и непросохшей штукатуркой, всколыхнули в глубине ее души что-то такое, чего до сих пор не могли пробудить все мои страстные ласки.

Между нашим посещением еще пустой квартиры и переездом в нее прошло два месяца. За это время мы оформили контракт на покупку квартиры на имя Эмилии — я знал, что это доставит ей удовольствие, — и, насколько позволяли мои весьма ограниченные средства, приобрели кое-какую мебель. Когда прошло первое чувство удовлетворения от того, что квартира все-таки куплена, я, как уже говорилось, стал испытывать мучительное беспокойство при мысли о будущем, а временами просто впадал в отчаяние. Конечно, зарабатывал я неплохо — неплохо, чтобы жить скромно и даже немного откладывать, но заработка моего было явно недостаточно, чтобы сделать ближайший взнос за квартиру. Я испытывал тем большее отчаяние, что не мог даже отвести душу, поговорив обо всем с Эмилией: мне не хотелось отравлять ее радость. Теперь я вспоминаю о том времени, как о поре, когда я пребывал в постоянной тревоге и даже как-то меньше любил Эмилию. Я невольно удивлялся тому, что, хотя она великолепно знала наши возможности, ее нисколько не беспокоило, где я смогу раздобыть такую уйму

денег. Поэтому меня неприятно поражало и чуть ли не выводило из себя то, что радостная и возбужденная Эмилия все эти дни только и бегала по магазинам в поисках обстановки для квартиры и ежедневно без тени беспокойства оповещала меня о какой-нибудь новой покупке. Я спрашивал себя, как может она, любя меня, не догадываться о моих страхах и тревогах. Я понимал, что, по всей вероятности, Эмилия решила: раз уж я купил квартиру, то, конечно, позаботился и о том, чтобы достать необходимые для этого деньги; и все же то, что она была такой безмятежно довольной, когда меня не оставляли тревожные мысли, казалось мне проявлением ее эгоизма или по меньшей мере бесчувственности.

В ту пору я был настолько озабочен мыслями о деньгах, что у меня даже изменилось представление о себе самом. Я считал себя человеком интеллигентным, культурным, драматургом по призванию; я всегда питал пристрастие к драматургии и полагал, что мне следует посвятить ей себя целиком. Этот — скажем так — внутренний мой облик побуждал меня смотреть определенным образом и на собственную внешность: мне казалось, что худоба, близорукость, нервность, бледность, небрежность в одежде являются у молодого человека признаками будущей литературной славы, которая, как я считал, была мне уготована. Но тягостные заботы вытеснили из моего сознания этот столь заманчивый и многообещающий образ и заменили его другим — образом жалкого неудачника, запутавшегося в сетях страсти и погрязшего в тине мелких забот; несчастный, он не смог устоять перед любовью к жене и решился на шаг, превышающий его силы, и кто знает, как долго еще придется ему страдать от унизительного отсутствия денег. Я себе казался уже не молодым, непризнанным театральным гением, а всего лишь голодным журналистом, сотрудничающим во второсортных газетенках и журнальчиках, или, еще хуже, жалким чиновником какой-нибудь частной фирмы или государственного учреждения: бедняга, чтобы не волновать жену, скрывает от нее свои тревоги, целыми днями бегает по городу в поисках работы и не находит ее; он просыпается по ночам, вздрагивает при мысли о долгах, которые надо платить; одним словом, ничего не знает и не видит, кроме денег. В таком, возможно и трогательном, персонаже не было ни блеска, ни достоинства, это был жалкий герой какого-нибудь дешевенького романа, и я остро ненавидел его, так как боялся, что постепенно полностью уподоблюсь ему во всем. Но так уж вышло — я женился не на женщине, которая понимала бы и разделяла мои мысли, вкусы и стремления, а на необразо-

ванной машинистке, зараженной, как мне казалось, всеми предрассудками своего класса. С женщиной, которая бы меня понимала, я мог бы переносить тяготы бедной и неустроенной жизни в какой-нибудь студии или меблированной комнате в ожидании будущих успехов на поприще драматургии; теперь же я вынужден был любой ценой создавать домашний очаг, о котором мечтала моя жена. Ради этого, думал я в отчаянии, мне придется отказаться, и, быть может, навсегда, от столь дорогой для меня честолюбивой мечты о литературной карьере.

Итак, я был во власти тоски и сознания собственного бессилия преодолеть материальные трудности. Если железный прут долго держать над огнем, он становится мягким и гнется; вот и я чувствовал, что свалившиеся на меня заботы постепенно ослабляют и сгибают меня. Я сознавал, что невольно завидую тем, кто подобных забот не знает, людям богатым и привилегированным, и что к этой зависти, опять-таки помимо моей воли, примешивается ожесточение, направленное уже не против отдельных конкретных лиц или обстоятельств, но неудержимо стремящееся к обобщениям, принимающее отвлеченный характер определенного миросозерцания. Одним словом, в эти трудные для меня дни я стал замечать, как раздражение и досада, вызванные отсутствием денег, переходят в чувство возмущения несправедливостью — не только той, которая совершалась по отношению ко мне, но и той, от которой страдало бесчисленное множество мне подобных. Я отдавал себе отчет в том, что мои личные обиды незаметно выливаются в настроения и взгляды, связанные уже не только со мной; я замечал это по тому, как все мои мысли постоянно и неуклонно устремлялись в одном направлении, по своим разговорам, которые независимо от моего желания все время вращались вокруг одних и тех же проблем. Тогда же я обнаружил в себе все возрастающую симпатию к политическим партиям, объявлявшим борьбу против пороков и недостатков того самого общества, которое я винил в терзавших меня заботах. Это общество, думал я, обрекает на голод лучших своих сынов — при этом я имел в виду себя самого — и потакает худшим. У людей попроще и необразованных процесс этот обычно совершается как бы сам собой в темных глубинах сознания, где некая таинственная алхимия перерабатывает эгоизм в альтруизм, ненависть в любовь, страх в мужество; но для меня, привыкшего наблюдать за собой и заниматься самоанализом, все происходившее со мной было предельно ясным, словно я следил, как это совершается в ком-то другом. Я, конечно, понимал, что мною движут чисто материальные и эгоистические побуж-

дения и что я распространяю на все человечество то, что имеет отношение только ко мне одному. Никогда прежде у меня не возникало желания вступить в какую-нибудь партию, как делали почти все в те беспокойные послевоенные годы, и именно потому, что, как мне казалось, я не смог бы заниматься политикой из каких-то личных соображений; меня могли побудить к этому только определенные взгляды, убеждения, но их-то у меня как раз и не было. Поэтому я злился на себя, замечая, что все мысли мои, разговоры, поступки незаметно уносит поток своекорыстных расчетов и что направление их постепенно меняется под воздействием переживаемых мной затруднений. «Значит, и я ничуть не лучше прочих, — думал я с яростью, — значит, мне достаточно было очутиться без гроша, чтобы начать мечтать о возрождении человечества». Но это была бессильная ярость. В конце концов — то ли я почувствовал тогда большее отчаяние, то ли оказался менее тверд, чем обычно, — я позволил одному из своих старых приятелей убедить себя и вступил в коммунистическую партию. Сразу же после этого я подумал, что вот опять я повел себя не как молодой непризнанный гений, а как голодный журналист или чиновник, в которого я так боялся со временем превратиться. Но дело было сделано, я состоял в партии, и отступать было поздно. Кстати, характерно, как приняла известие о моем вступлении в партию Эмилия. «Теперь, — сказала она, — только коммунисты будут давать тебе работу... Остальные станут тебя бойкотировать». У меня не хватило духу сказать ей то, о чем я думал, то есть что, возможно, я никогда не вступил бы в партию, не приобрети я ради ее удовольствия слишком дорогую квартиру. Тем дело и кончилось.

Наконец квартира наша была готова к переезду, а через день — совпадение это кажется мне теперь роковым — я встретил Баттисту и, как уже рассказывал, сразу же получил от него приглашение работать над сценарием одного из его фильмов. Я вздохнул свободно, и на какое-то время мне стало так хорошо и легко, как давно уже не бывало. Я думал, что сделаю четыре или пять сценариев, расплачусь за квартиру, а затем вернусь к журналистике и дорогому моему сердцу театру. Я опять и еще сильнее, чем прежде, любил Эмилию и, часто испытывая при этом мучительные угрызения совести, ругал себя за то, что мог думать о ней плохо, считая ее черствой эгоисткой. Однако просвет этот был недолгим. Довольно скоро горизонт мой заволокли тучи. Впрочем, сперва появилось только маленькое облачко, правда, достаточно мрачное.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Встреча с Баттистой произошла в первый понедельник октября. Через неделю мы въехали в уже полностью обставленную квартиру. Квартира эта, доставившая мне столько хлопот и огорчений, по правде говоря, не была ни большой, ни роскошной. Она состояла всего из двух жилых комнат — просторной гостиной и спальни. Ванная, кухня и комната для прислуги, как это обычно бывает в современных домах, были совсем маленькими. Имелась еще крохотная каморка без окна, где Эмилия пожелала устроить свою гардеробную. Наша квартира находилась на последнем этаже нового дома, такого белого и сверкающего, словно он был сделан из гипса. Стоял он на маленькой, полого спускавшейся улочке. По одну ее сторону выстроились в ряд точно такие же, как наш, дома, по другую — тянулась ограда парка чьей-то виллы, и высокие деревья простирали поверх нее свои ветви. Вид, открывавшийся из нашей квартиры, был превосходный, и я обратил на это внимание Эмилии. Казалось даже, что парк, где сквозь деревья проглядывали извилистые дорожки, фонтаны и лужайки, не отделен от нас ни улицей, ни оградой и что мы можем спускаться и гулять там, когда нам вздумается.

Мы переехали в полдень, у меня были какие-то дела, и сейчас я уже не помню, ни где, ни с кем мы тогда обедали, помню только, что около полуночи я стоял в спальне перед зеркалом и медленно развязывал галстук. Вдруг в зеркале я увидел, как Эмилия взяла с кровати подушку и направилась к двери в гостиную. Я очень удивился и спросил:

— Что ты делаешь?

Я произнес это не оборачиваясь. Опять-таки в зеркале я увидел, как она остановилась в дверях и, оглянувшись, сказала равнодушным тоном:

— Ты не обидишься, если я буду спать на диване?

— Нынче ночью? — спросил я растерянно, ничего не понимая.

— Нет, всегда, — быстро ответила Эмилия. — По правде сказать, это одна из причин, почему мне хотелось перебраться в собственную квартиру... Я не могут больше спать, как ты любишь, с открытыми окнами. Каждое утро я просыпаюсь на рассвете и уже не могу уснуть, а потом весь день хожу сонная... Ты не обидишься?.. Думаю, нам лучше спать врозь.

Я все еще ничего не понимал, подобный сюрприз в первую минуту вызвал у меня лишь легкое раздражение. Подойдя к Эмилии, я сказал:

— Но это же невозможно... у нас всего две комнаты, в одной — кровать, в другой — диван и кресло. Зачем? А кроме того, спать на диване неудобно.

— Я все никак не могла решиться сказать тебе об этом, — проговорила Эмилия, опустив глаза и не глядя на меня.

— Но прежде, — продолжал я, — ты никогда не жаловалась. Я считал, что ты привыкла.

Она посмотрела на меня и, как мне показалось, явно обрадовалась, что разговор принял такое направление.

— Нет, я никак не могу привыкнуть... Я все время спала плохо... Возможно, именно поэтому я стала такой нервной. Если бы еще мы ложились рано, но мы всегда засыпаем поздно... И вот... — Не докончив фразы, она направилась в гостиную.

Я догнал ее.

— Погоди, — торопливо сказал я, — если тебе так уж хочется, я могу спать и с закрытыми окнами... Ну, хорошо, с сегодняшнего дня мы будем спать с закрытыми окнами.

Говоря это, я почувствовал, что мое предложение подсказано не только уступчивостью любящего мужа; вероятно, тогда мне захотелось испытать Эмилию. Она покачала головой и, чуть улыбнувшись, ответила:

— О нет... Почему ты должен жертвовать собой... Ты всегда говорил, что задыхаешься, когда окна закрыты... Лучше уж нам спать врозь.

— Уверяю тебя, мне легче этим пожертвовать... я привыкну.

Эмилия поколебалась, но потом сказала с неожиданной твердостью:

— Нет, я не желаю никаких жертв... ни маленьких, ни больших... я буду спать в гостиной.

— А если бы я тебе сказал, что мне это неприятно и что я хочу, чтобы мы спали вместе?

Она снова заколебалась.

— Какой ты странный, Риккардо, — произнесла она наконец, как всегда, мягко. — Ты не хотел жертвовать этим два года назад, когда мы только поженились... А теперь хочешь пойти на это во что бы то ни стало... К чему? Очень многие супруги спят врозь и тем не менее любят друг друга... По утрам, когда ты уходишь на работу... тебе будет даже удобнее. Ты не будешь меня будить...

— Но ты же сама сказала, что обычно просыпаешься на рассвете... А ведь я не ухожу из дому на рассвете.

— Ох, какой ты упрямый, — сказала она раздраженно. И на этот раз, не дав мне ничего возразить, вышла из комнаты.

Оставшись один, я сел на кровать, где не хватало подушки, и уже одно это наводило на мысль о разлуке и одиночестве. Некоторое время я рассеянно смотрел на дверь, за которой скрылась Эмилия. «Эмилия, — спрашивал я себя, — не хочет спать со мной потому, что ее действительно беспокоит по утрам солнечный свет, или просто потому, что ей не хочется спать со мной?» Я склонялся ко второму предположению, хотя всем сердцем хотел бы поверить в первое. Я чувствовал, что, если приму объяснение Эмилии, у меня останутся сомнения. Я не признавался себе в этом, но вопрос, который меня мучил, сводился к следующему: а может быть, Эмилия вообще меня больше не любит?

Пока, погруженный в подобные мысли, я сидел на постели, Эмилия входила и выходила из спальни; вслед за подушкой она перенесла в гостиную две простыни, которые достала из шкафа, одеяло и халат. Было начало октября, погода стояла теплая, и Эмилия расхаживала по квартире в одной тонкой прозрачной рубашке. Я еще не описал Эмилию и хочу сделать это сейчас, хотя бы для того, чтобы объяснить мои тогдашние переживания. Пожалуй, Эмилия была не высока ростом, но моя любовь к ней делала ее в моих глазах выше, а главное, величественнее всех других женщин. Не могу сказать, действительно ли ей была присуща величественность или это только мне так казалось, но помню, что в первую ночь после свадьбы, когда она сняла туфли на высоких каблуках и я обнял ее, стоя посреди комнаты, меня поразило, что лоб ее оказался на уровне моей груди и что я выше ее на целую голову. А потом, когда она легла рядом со мной в постель, — новая неожиданность: она вдруг показалась мне большой, полной, широкой, хотя я знал, что на самом деле Эмилия отнюдь не грузная женщина. У нее были самые красивые плечи, руки и шея, какие мне когда-либо приходилось видеть, — полные, округлые, изящные и гибкие. Лицо у нее было смуглое, нос прямой и тонкий; когда она улыбалась, за ее свежими чувственными губами влажно сверкали два ряда изумительно белых зубов; в ее больших глазах прекрасного золотисто-каштанового цвета светилась чувственность, а порой в минуты страстного самозабвения они казались какими-то странно растерянными. Эмилия, как я уже говорил, не была настоящей красавицей, но, не знаю уж почему, казалась прекрасно сложенной, то ли благодаря гибкой талии, подчеркивавшей линию бедер и груди, то ли потому, что держалась очень прямо и с большим достоинством, то ли из-за вызывающей красоты и девической силы длинных, стройных ног. Одним словом, в ней была

непринужденная грация и та естественная спокойная величавость, которая дается одной лишь природой и поэтому кажется еще более таинственной и непостижимой.

Пока Эмилия ходила из спальни в гостиную, а я, расстроенный и растерянный, смотрел на нее, не зная, что сказать, мой взгляд соскользнул с ее спокойного лица на ее фигуру, очертания которой по временам проглядывали сквозь тонкую рубашку; и вдруг в мою душу закралось подозрение, что Эмилия меня больше не любит; меня пронзила мучительная мысль, что близость между нами невозможна. Никогда прежде я не испытывал ничего подобного, и на мгновение это ошеломило меня, но вместе с тем я не мог поверить, что это правда. Конечно, любовь — прежде всего чувство, но также и невыразимая, почти одухотворенная плотская близость. До этого я не задумываясь наслаждался своей любовью, как чем-то вполне естественным и само собой разумеющимся. Теперь же я вдруг увидел то, чего раньше никогда не замечал, и понял, что прежней близости между нами, видимо, больше не будет и даже уже нет. Как человек, внезапно очутившийся на краю бездны, я ощутил нечто вроде сосущей тоски при мысли о том, что на смену нашей близости неизвестно почему пришла отчужденность.

Все мои мысли сосредоточились на этом, все перевернувшем во мне ощущении; Эмилия тем временем, по-видимому, принимала ванну: я слышал, как из кранов льется вода. Я остро сознавал свое бессилие и в то же время мучительно желал побороть в себе это чувство. До сих пор я любил Эмилию легко и бездумно; моя любовь к ней словно по волшебству выливалась в бессознательный, бурный, вдохновенный порыв, зависевший, как мне до сих пор казалось, от меня, и только от меня. Теперь же я впервые понял, что все зависело от такого же ответного порыва Эмилии и поддерживалось им; видя, как она переменилась, я испугался, что не смогу любить ее с прежней легкостью, непринужденностью и естественностью. Словом, я боялся, что в чудесную близость между нами проникнет холод и скованность с моей стороны, а с ее... Я не знал, как она себя поведет, но предчувствовал, что всякое принуждение с моей стороны встретит у нее в лучшем случае лишь безучастную пассивность.

В эту минуту Эмилия прошла мимо меня, направляясь в гостиную. Почти непроизвольно я приподнялся и, схватив ее за руку, сказал:

— Пойди сюда... Я хотел бы поговорить с тобой.

В первое мгновенье она сделала шаг назад, но тут же усту-

пила и присела на кровать, правда, на некотором расстоянии от меня.

— Поговорить? О чем ты хочешь со мной поговорить?

Не знаю почему, но у меня тревожно сжалось сердце. Возможно, это была робость, чувство, которого до сих пор в наших отношениях не было и которое, как мне казалось, больше, чем что-либо, указывало на происшедшую перемену.

— Да, поговорить, — сказал я. — Мне кажется, что-то у нас изменилось.

Эмилия взглянула на меня и спокойно ответила:

— Не понимаю... Почему изменилось? Ничего не изменилось.

— Я-то не изменился, а вот ты — да.

— Вовсе я не изменилась... Я такая же, как была.

— Раньше ты любила меня больше... Ты огорчалась, когда я уходил и оставлял тебя одну... А потом, тебе не было неприятно спать со мной... наоборот.

— Ах, вот в чем дело! — воскликнула она, но я заметил, что в голосе ее уже не было прежней уверенности. — Я так и знала, что ты вообразишь что-нибудь такое... Чего ты ко мне пристал? Я не хочу спать с тобой просто потому, что хочу высыпаться, а когда мы спим вместе, мне это не удается, вот и все.

Странно, но теперь я вдруг принял ее доводы, и мое скверное настроение быстро рассеялось: оно растаяло, как воск подле огня. Эмилия сидела рядом со мной в измятой рубашке, сквозь которую просвечивало ее тело; я желал ее, мне казалось непонятным, почему она не замечает этого, почему она не умолкнет и не обнимет меня, как бывало прежде, стоило лишь встретиться нашим взволнованным взглядам. С другой стороны, это желание вселяло в меня надежду не только на то, что во мне пробудится прежнее влечение к Эмилии, но и что оно вызовет у Эмилии ответное чувство ко мне.

— Если ничто не изменилось, докажи мне это, — тихо сказал я.

— Но я же доказываю тебе это ежедневно, ежечасно.

— Нет, сейчас.

Я привстал и, почти грубо схватив ее за волосы, хотел поцеловать. Эмилия позволила привлечь себя, но в последний момент легким движением головы уклонилась от поцелуя, так что губы мои коснулись лишь ее шеи.

— Ты не хочешь, чтобы я тебя поцеловал? — спросил я, выпуская ее из объятий.

— Не в этом дело, — все с тем же безразличием проговорила Эмилия и поправила волосы. — Если бы речь шла только о по-

целуе, я охотно поцеловала бы тебя... Но ты же не ограничишься этим... А теперь уже поздно.

Ее рассудительность и холодность обидели меня.

— Ну, для этого никогда не поздно.

Я опять попытался поцеловать Эмилию и, взяв ее за руку, привлек к себе.

— Ой! Ты сделал мне больно! — воскликнула она.

Я едва коснулся ее; прежде, в пору нашей любви, случалось, что я душил ее в своих объятьях, и все-таки у нее не вырывалось даже стона.

— Раньше тебе не бывало больно, — разозлившись, сказал я.

— У тебя не руки, а клещи, — заметила Эмилия, — ты совсем не считаешься с этим... Теперь у меня останется синяк.

Все это она произнесла равнодушно и без всякого кокетства.

— Ну так как, — спросил я резко, — хочешь ты меня поцеловать или нет?

— Пожалуйста. — Она привстала и по-матерински коснулась губами моего лба. — А теперь пусти меня, я хочу спать... Уже поздно.

Я ничего не мог понять. Я снова обнял ее за талию.

— Эмилия, — сказал я, наклоняясь к ней, так как она отстранялась от меня, — я хотел, чтобы ты поцеловала меня не так.

Она оттолкнула меня и повторила, но теперь уже сердито:

— Пусти меня... Мне больно.

— Неправда, не может быть, — пробормотал я сквозь зубы, сжимая ее в объятьях.

На этот раз Эмилия высвободилась несколькими сильными, резкими движениями, встала и, словно вдруг решившись, сказала мне в лицо:

— Если тебе так уж приспичило, пожалуйста... Но не делай мне больно, я не желаю, чтобы со мной грубо обращались.

Во мне все оборвалось. На этот раз голос Эмилии звучал холодно, сухо, в нем не было даже намека на чувство. На мгновение я замер. Я сидел на кровати, зажав руки между коленями, опустив голову. До меня снова донесся ее голос:

— Если ты действительно хочешь, я буду твоей... Хочешь?

Не поднимая головы, я тихо ответил:

— Да, хочу.

Это была неправда, теперь я уже не хотел ее. Но мне надо было сломить в ней эту новую, странную отчужденность. Я услышал, как она сказала: «Хорошо», — затем прошла по комнате, обогнув за моей спиной кровать. «Ей надо снять одну лишь рубашку», — подумал я и вспомнил, что прежде смотрел на нее в

такие минуты завороженными глазами, словно разбойник из сказки, который, произнеся магическое слово, видит, как медленно распахивается дверь пещеры, открывая его взору блеск несметных сокровищ. Но теперь я не хотел смотреть. Я понимал, что смотрел бы на нее уже другим взглядом — не открытым и чистым, хотя и страстным, а таким, каким его сделало равнодушие Эмилии — алчным, оскорбительным и для нее, и для меня. Я по-прежнему сидел, низко опустив голову и зажав руки между колен. Спустя некоторое время я услышал, как тихо скрипнули пружины матраца: Эмилия легла на постель и забралась под одеяло. Послышался шорох, по-видимому, Эмилия устраивалась поудобнее. Потом она сказала все тем же новым, ужасным тоном:

— Ну же, иди... Чего ты ждешь?

Я не обернулся, даже не пошевелился; и вдруг я спросил себя, а не было ли в наших отношениях всегда все точно так же. Да, ответил я себе, все было более или менее так. Эмилия раздевалась и ложилась в постель, а как же могло быть иначе? Но в то же время все было совсем по-другому. Прежде никогда не было этой бездушной, холодной, пассивной податливости, которая теперь ощущалась не только в тоне Эмилии, но даже в скрипении пружин, в шорохе примятого одеяла. Прежде все совершалось в вихре вдохновенного неосознанного порыва, в опьянении взаимного чувства. Порой, когда ум бывает захвачен важной мыслью, случается, уберешь какую-нибудь вещь — книгу, щетку, ботинок — и потом часами тщетно ищешь ее, пока в конце концов не обнаружишь в самом невероятном месте, куда и положить-то ее было нелегко — на шкафу, или в самом дальнем углу комнаты, или же в ящике стола. Так бывало со мной прежде в минуты любви. Все происходило стремительно, в каком-то опьянении и волшебном самозабвении: я оказывался в объятьях Эмилии, почти не помня, как это случилось и что произошло между той минутой, когда мы сидели друг против друга, еще спокойные, не испытывая желания, и тем мгновением, когда наши тела сплетались. Теперь у Эмилии не было этой самозабвенности, а поэтому не было ее и у меня. Теперь я мог бы холодно и жадно разглядывать ее, а она, несомненно, могла бы точно так же холодно разглядывать меня. Это ощущение, которое обретало все большую ясность, неожиданно породило точный образ: передо мной была уже не жена, которую я любил и которая любила меня, передо мной была проститутка, недостаточно терпеливая и недостаточно опытная, которая равнодушно приготовилась принять мои объятия, надеясь, что они

будут непродолжительными и не слишком ее утомят. На мгновенье образ этот возник перед моими глазами, как призрачное видение, потом он как бы прошел мимо меня и слился с лежавшей за моей спиной Эмилией. В ту же минуту я встал и, не оборачиваясь, сказал:

— Не надо... Я уже не хочу... Пойду спать в гостиную... Оставайся здесь. — И на цыпочках вышел.

Диван был застлан, одеяло отогнуто, рядом лежал халат Эмилии с закатанными рукавами. Я взял ночную рубашку, стоявшие на полу шлепанцы, халат, который Эмилия положила на кресло, и, вернувшись в спальню, сложил все это на стул. На этот раз, не удержавшись, я взглянул на нее. Эмилия лежала все в той же позе, которую приняла, сказав мне: «Ну, иди же», обнаженная, одна рука заложена за голову, лицо с широко раскрытыми, безучастными, словно невидящими глазами обращено ко мне, другая рука вытянута вдоль тела. Это была уже не проститутка, а призрачный образ, овеянный дыханием тоски по невозможному. Эмилия находилась в нескольких шагах от меня, но казалась такой далекой, словно она была существом из другого мира, расположенного за пределами реального и осязаемого.

ГЛАВА ПЯТАЯ

В тот вечер я, конечно, уже предчувствовал, что для меня начинается сложная жизнь, но, странная вещь, я не сделал из поведения Эмилии тех выводов, которые, казалось бы, напрашивались сами собой. Конечно, тогда она проявила холодность и равнодушие, а я предпочел отказаться от любви, не желая принимать ее на таких условиях. Однако я любил Эмилию, а любовь заставляет не только надеяться, но и забывать. Прошел день, и, не знаю уже как, инцидент предыдущего вечера, впоследствии показавшийся мне таким знаменательным, почти утратил в моих глазах всякое значение; тягостное чувство отчужденности рассеялось, все свелось к обычной размолвке. Легко забываешь то, о чем не хочется вспоминать. С другой стороны, забыть о случившемся, думаю, помогла мне и сама Эмилия, которая, хотя она по-прежнему спала одна, больше уже не отвергала моей любви. Правда, Эмилия проявляла все ту же холодность и пассивность, которые вызвали у меня в первый момент чувство возмущения и протеста; но, как это часто случается, то, что сначала было неприемлемым, через несколько дней

стало казаться мне не только приемлемым, но даже приятным. Одним словом, сам того не замечая, я ступил на ту зыбкую почву, где благодаря уверткам и ухищрениям жаждущей обмана души холодность представляется на следующий день самой пылкой любовью. В тот первый вечер я возмутился, подумав, что Эмилия ведет себя как проститутка, но прошло меньше недели, и я уже соглашался обладать ею как проституткой. В глубине души я, вероятно, боялся, что любовь Эмилии ко мне совсем остыла, поэтому был благодарен ей даже за ее холодность и нетерпеливое равнодушие, словно именно такими и должны были быть наши супружеские отношения.

Мне все еще хотелось думать, что Эмилия любит меня, как прежде, вернее, я вообще старался не думать о нашей любви. И все же меня не оставляли подозрения, что отношения между нами изменились. Я даже стал иначе смотреть на свою работу. Отказавшись на время от мечты о театре, я занялся кино только для того, чтобы удовлетворить страстное желание Эмилии иметь собственный дом. Пока я был уверен, что Эмилия любит меня, работа сценариста не казалась мне слишком тягостной, но после того, что произошло в тот вечер, я неожиданно стал замечать, что эта работа вызывает у меня скуку, недовольство и отвращение. В самом деле, ведь я согласился писать сценарии для кино, как согласился бы на всякую другую работу, даже более неблагодарную и менее интересную, только из любви к Эмилии. Теперь же, когда ее любовь от меня ускользала, работа эта утратила для меня всякий смысл и представлялась лишь бессмысленным рабством.

Тут я хочу сказать несколько слов о ремесле сценариста хотя бы для того, чтобы было ясно, что я в то время чувствовал. Как известно, сценарист — это тот, кто, чаще всего в сотрудничестве с другим сценаристом и режиссером, пишет сценарий, то есть создает канву, на основе которой в дальнейшем возникает фильм. В соответствии с развитием действия в сценарии указываются все жесты и реплики актеров, а также различные повороты съемочной камеры. Таким образом, сценарий — это в одно и то же время и пьеса, и кинематографическая разработка, и режиссерский план. Но хотя роль сценариста в создании фильма огромна и в этом смысле он занимает место сразу же за режиссером, по существующей до сих в кино традиции сценарист считается фигурой второстепенной и всегда остается в тени. Если оценивать искусство с точки зрения непосредственного выражения — а по-другому оценивать его и нельзя, — то сценарист — это художник, который вкладывает в фильм

всю свою душу, не получая при этом никакого удовлетворения от сознания, что выразил в фильме самого себя. Труд его творческий, и все-таки он всего лишь поставщик находок, выдумки, технических, психологических и литературных указаний; дело режиссера затем обработать весь этот материал в соответствии со своим талантом и выразить себя в фильме. Сценарист, таким образом, человек, всегда остающийся на втором плане; он жертвует кровью своего сердца ради успеха других, и, хотя судьба фильма на две трети зависит от него, сам он никогда не видит своего имени на афишах, где красуются имена режиссера, актеров и продюсера. Правда, нередко сценарист может достичь высокого мастерства в этом своем второразрядном ремесле и зарабатывать большие деньги, но он никогда не имеет возможности сказать: «Этот фильм сделал я... В этом фильме я выразил себя... Этот фильм — я сам». Говорить так может только режиссер. Сценарист же вынужден довольствоваться работой ради денег, которые ему платят, и, хочет он того или нет, они в конце концов становятся единственной и подлинной целью всей его деятельности. Поэтому сценаристу остается лишь наслаждаться жизнью, если, конечно, он на это способен, на деньги, которые являются единственным ощутимым результатом его труда, и переходить от одного сценария к другому, от комедии к трагедии, от приключенческого фильма к мелодраме — беспрерывно, безостановочно; почти так же, как некоторые гувернантки переходят от одного ребенка к другому: не успев привязаться к одному, они уже расстаются с ним и начинают воспитывать другого, а в результате плоды их усилий достаются матери, которая одна имеет право называть ребенка своим.

Но, помимо этих основных и постоянных, так сказать, недостатков, ремесло сценариста имеет и другие неприятные стороны, меняющиеся в зависимости от качества и жанра фильма, от характера делающих его людей, не становясь от этого менее тягостными. В отличие от режиссера, которому продюсер предоставляет свободу действий, сценарист может лишь согласиться или не согласиться работать над предложенной ему темой, а согласившись, не вправе выбирать себе сотрудников: его — выбирают, он — нет. Бывает, что из-за личных симпатий продюсера, ради его выгоды или каприза или же просто в результате случайности сценарист вынужден работать с антипатичными ему людьми, намного ниже его по культурному уровню, с людьми, чьи манеры и характер вызывают у него раздражение. Работать совместно над сценарием совсем не то же самое, что,

допустим, работать вместе в конторе или на фабрике, где каждый делает свое дело независимо от соседа и где личные взаимоотношения могут быть сведены до минимума либо даже вовсе отсутствовать. Работать над сценарием — это значит с утра до вечера, связывая и соединяя свой ум, свои чувства, свою душу с чувствами и душой остальных сотрудников, жить с ними одной жизнью; словом, это значит в течение двух-трех месяцев, пока идет работа над фильмом, создавать между собой и ними искусственную близость, единственная цель которой — создание сценария, а следовательно, в конечном счете, как я уже говорил, — деньги. Это близость самая неприятная, самая утомительная, самая нервирующая, самая докучливая, какую только можно себе представить, потому что в основе ее лежит не молчаливый напряженный труд, как это бывает у ученых, проводящих совместно какой-нибудь эксперимент, а нескончаемые разговоры. Обычно режиссер собирает своих сотрудников ранним утром — этого требует краткость срока, отпущенного для производства фильма,— и с раннего утра до позднего вечера сценаристы только и делают, что разговаривают большей частью о фильме, но порой, устав, пытаются отвлечься, то есть болтают о чем попало. Одни рассказывают непристойные анекдоты, другие излагают свои политические взгляды, третьи обсуждают поведение общего знакомого, четвертые говорят об актерах или актрисах или делятся своими горестями, между тем комната, где идет работа, наполняется табачным дымом, на столах рядом с листами сценария скапливаются чашки из-под кофе, а сценаристы, которые явились сюда утром выутюженные и причесанные, к вечеру сидят всклокоченные, без пиджаков, вспотевшие и растерзанные. Бездушный автоматизм, с каким фабрикуются фильмы, — это своего рода растление таланта; здесь скорее можно говорить об упорстве и корысти, чем о вдохновении, искренности. Бывает, конечно, что сценарий обладает высокими художественными достоинствами, а режиссер и его сотрудники связаны давней дружбой и испытывают друг к другу взаимное уважение, словом, бывает, что работа проходит в тех идеальных условиях, какие можно встретить в любой области человеческой деятельности, даже самой неблагодарной. Но такое счастливое сочетание столь же редко, как редки хорошие фильмы.

После того как я подписал контракт на второй сценарий — уже не с Баттистой, а с другим продюсером, — меня вдруг покинуло мужество, и я начал со все возрастающим раздражением и отвращением ощущать те неприятные стороны своей ра-

боты, о которых я только что говорил. Предстоящий день уже с самого начала казался мне бесплодной пустыней, выжигаемой неумолимым солнцем вымученного вдохновения. Едва лишь я входил в кабинет к режиссеру, как он встречал меня дежурной фразой, вроде: «Ну, что же ты придумал за ночь? Нашел решение?» Это злило меня и вызывало отвращение. Во время работы все меня раздражало: шутки, которыми режиссеры и сценаристы пытались оживить длительные споры и обсуждения; глупость и тупость моих соавторов или просто разногласия, возникавшие у нас в процессе работы над сценарием; даже похвалы режиссера моим находкам и решениям вызывали у меня лишь горькое чувство досады, ибо, как я уже говорил, мне казалось: я отдаю лучшее, что во мне есть, чему-то, до чего мне, в сущности, нет никакого дела и в чем я принимаю отнюдь не добровольное участие. Похвалы были для меня самым невыносимым. Всякий раз, когда режиссер со свойственными многим людям этой профессии пафосом и фамильярностью подскакивал в кресле и восклицал: «Браво! Ты — гений!» — я думал с досадой: «Хорошо бы включить это в какую-нибудь свою драму, в комедию». Но — и в этом состояло странное и горькое противоречие — несмотря на все свое отвращение к работе в кино, я не мог относиться равнодушно к своим обязанностям сценариста. Работа над сценарием напоминает старинную упряжку четверкой, где есть сильные, резвые лошади, которые действительно тянут карету, и лошади, которые делают вид, что тянут, а на самом деле только бегут следом. Так вот, при всем своем раздражении и недовольстве работой я был той самой лошадью, которая тянет. Я очень скоро заметил, что режиссер и мой соавтор, когда возникает какая-нибудь трудность, всякий раз ждут, чтобы я справился с ней и двинул телегу дальше. И делать это меня вынуждал не дух соревнования, а, скорее, создание долга, более сильное, чем нежелание выполнять эту работу: раз уж мне платят, я должен трудиться. Но всякий раз при этом мне было стыдно перед самим собой, и я испытывал такие угрызения совести, словно продал за бесценок нечто, цены не имеющее и чему я, во всяком случае, мог бы найти гораздо лучшее применение.

Как я уже говорил, все эти неприятные стороны работы в кино стали сильно досаждать мне только через два месяца после того, как я подписал свой первый контракт с Баттистой. Сперва я не понимал, почему не замечал их с самого начала и почему прошло столько времени, прежде чем я обратил на это снимание. Но чувство отвращения и неудовлетворенности, ко-

торое возбуждала во мне столь привлекавшая меня прежде работа, становилось все сильнее, и постепенно я начал связывать это со своими отношениями с Эмилией. В конце концов я понял: работа в кино вызывает у меня отвращение потому, что Эмилия меня больше не любит или по крайней мере хочет показать, что не любит. Я понял, что смело и решительно брался за работу над сценарием, пока был уверен в любви Эмилии. Теперь же, когда у меня больше не было такой уверенности, смелость и решительность оставили меня и работа в кино стала представляться мне рабством, растлением таланта, пустой тратой времени.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

В то время я напоминал человека, которого мучает страшная болезнь, но который никак не решается пойти к врачу. Иными словами, я старался поменьше думать о поведении Эмилии и о своей работе. Я знал: рано или поздно мне придется задуматься и над тем и над другим, но именно потому, что я понимал неизбежность этого, мне хотелось, чтобы все произошло как можно позже; то немногое, что я уже подозревал, заставляло меня гнать от себя подобные мысли и даже бессознательно страшиться их. Наши отношения с Эмилией нисколько не изменились с той минуты, когда я впервые подумал, что они неприемлемы; но теперь, опасаясь худшего, я пытался, хоть и не слишком успешно, убедить себя самого в том, что отношения у нас самые обычные: днем — равнодушные, ничего не значащие, уклончивые разговоры, ночью — время от времени любовь, которую я не без некоторой жестокости навязывал ей и которую она безучастно принимала. Я продолжал работать усердно и упрямо, но со все большей неохотой и со все возрастающим отвращением. Если бы тогда у меня достало смелости разобраться в создавшемся положении, я, несомненно, отказался бы и от работы в кино, и от любви Эмилии, ибо всегда был убежден, что то и другое связано между собой. Но у меня не хватало на это мужества: возможно, я смутно надеялся, что со временем все само собой разрешится. Действительно, со временем все разрешилось, однако совсем не так, как мне того хотелось бы. Итак, Эмилии опротивела моя любовь, а мне опротивела моя работа. Дни проходили в тягостном и томительном ожидании.

Тем временем сценарий, который я писал для Баттисты, был почти закончен. Баттиста тогда же намекнул мне, что ему хоте-

лось бы, чтобы я принял участие в новой работе, значительно более серьезной, чем эта. Подобно всем продюсерам, Баттиста был человек скользкий и уклончивый; бросаемые им мимоходом намеки не шли дальше общих фраз, вроде: «Мольтени, как только вы закончите этот сценарий, мы сразу же примемся за другой... Но уже за настоящий». Или: «Будьте готовы, Мольтени, на днях я намерен вам кое-что предложить». Или несколько более определенно: «Не подписывайте никаких контрактов, Мольтени, через две недели вы подпишете контракт со мной». Таким образом, я был предупрежден о том, что после Этого малоинтересного сценария Баттиста собирается поручить мне работу над другим сценарием, который будет куда более значительным в художественном отношении, и за него, понятно, мне заплатят гораздо больше. Признаюсь, несмотря на мое возрастающее отвращение к подобного рода деятельности, первое, о чем я тогда подумал, была все та же квартира и деньги, которые мне предстояло за нее внести. Поэтому предложение Баттисты меня обрадовало.

Впрочем, такова уж работа киносценариста: даже если, как это было со мной, ее не любишь, всякое новое предложение принимается с благодарностью, а когда никаких новых предложений тебе не делают, начинаешь волноваться и считать, что тебя обошли.

Однако я не сказал Эмилии о новом предложении Баттисты, и вот почему: прежде всего, я еще не знал, соглашусь ли на него, а потом, как я понял, моя работа больше не интересовала Эмилию, поэтому я предпочел ничего не говорить ей, чтобы не получать лишнего подтверждения ее холодности и безразличия, которым я все еще упорно старался не придавать значения. Я смутно связывал новое предложение Баттисты с холодностью Эмилии; и я не был уверен, соглашусь ли на новую работу, именно потому, что чувствовал: Эмилия меня больше не любит. Если бы она любила меня, я, конечно, рассказал бы ей о предложении Баттисты, а рассказать ей о нем — значило бы для меня уже согласиться.

В один из таких дней я вышел из дому и отправился к режиссеру, с которым работал над первым сценарием для Баттисты. Я знал, что иду к нему в последний раз — оставалось дописать лишь несколько страниц, — и мысль об этом меня радовала: наконец-то тягостный труд будет окончен и хотя бы полдня я смогу делать, что захочу. Как это часто случается при работе над сценарием, двух месяцев оказалось вполне достаточно, чтобы у меня возникла глубокая неприязнь и к героям фильма, и

к его сюжету. Я знал, что скоро буду заниматься новыми героями и новым сюжетом и они тоже в свою очередь быстро мне осточертеют; но от этих-то я, во всяком случае, отделаюсь; и при одной только мысли об этом я уже чувствовал огромное облегчение.

Надежда на скорое освобождение окрыляла меня, и в то утро я работал с подъемом. Оставалось лишь внести в сценарий два-три незначительных исправления, над которыми мы бились безрезультатно вот уже несколько дней. В порыве вдохновения мне удалось сразу же направить обсуждение по верному руслу и одну за другой преодолеть все оставшиеся трудности. Не прошло и двух часов, как мы обнаружили, что работа над сценарием закончена, и на этот раз окончательно. Так бывает иногда во время бесконечного изматывающего подъема в гору, когда совсем уже отчаиваешься достигнуть вершины, а она вдруг возникает за ближайшим поворотом. Я написал фразу и удивленно воскликнул:

— Но ведь на этом можно и кончить!

Пока я писал, сидя за столом, режиссер все время расхаживал по кабинету из угла в угол; тут он подошел ко мне, взглянул на рукопись и сказал, тоже удивленно, словно не веря самому себе:

— Ты прав, на этом можно закончить.

Я написал слово «конец», захлопнул папку и встал из-за стола.

С минуту мы оба молча глядели на стол, где лежала папка с уже завершенным сценарием,— совсем как два вконец обессилевших альпиниста смотрят на озеро или утес, до которого они добрались с таким трудом.

Потом режиссер сказал:

— Мы добили его... Ну вот, — повторил он снова, — наконец мы добили его.

Режиссера звали Пазетти. Это был молодой блондинчик, угловатый, сухой, весь какой-то приглаженный и прилизанный. Он был больше похож не на художника, а на педантичного учителя геометрии или счетовода.

Пазетти был моих лет, но, как это часто случается при работе над сценарием, отношения между нами были такими, какие устанавливаются между выше- и нижестоящим: режиссер всегда пользуется бо́льшим авторитетом, чем все другие участники, в работе над фильмом.

Помолчав еще немного, Пазетти произнес со свойственным ему тяжеловесным юмором:

— Должен заметить, Риккардо, что ты, как лошадь, которая чует конюшню... Я был уверен, что нам придется возиться еще по меньшей мере дня четыре... А мы все кончили за два часа... Перспектива гонорара подстегнула тебя!

Несмотря на всю свою ограниченность и почти невероятную тупость, Пазетти не был мне антипатичен. При установившихся между нами отношениях мы в какой-то мере дополняли друг друга: он человек без воображения и нервов, но сознающий свои возможности, а они не превышали уровня посредственности, я же, наоборот, человек легко возбудимый и одаренный, весь во власти своего воображения и сплошной комок нервов.

— Ну, конечно, — ответил я, подделываясь под его тон и обращая все в шутку. — Ты верно сказал: перспектива гонорара.

Закурив сигарету, Пазетти продолжал:

— Но не рассчитывай, что на этом так все и закончилось. Мы сделали сценарий пока лишь вчерне... Нам придется еще пересмотреть все диалоги... Не почивай на лаврах.

Я лишний раз про себя отметил, что Пазетти, как всегда, пользуется штампами и избитыми фразами. Украдкой взглянув на часы — был уже час, — я сказал:

— Не беспокойся... Если что-нибудь придется переделывать, я к твоим услугам.

Пазетти покачал головой.

— Знаю я вашего брата... Чтобы ты не размагнитился, скажу-ка Баттисте — пусть придержит выплату последней части твоего гонорара.

Ему была свойственна шутливая и в то же время поразительная у столь молодого человека властная манера пришпоривать своих сотрудников, переходя от попреков к похвалам, от лести к суровым замечаниям, от просьб к приказаниям; в этом смысле он мог считаться хорошим режиссером, потому что режиссура на две трети заключается в умении как следует использовать труд подчиненных.

Как всегда, дав Пазетти возможность поразглагольствовать вволю, я возразил:

— Нет, ты скажешь, чтобы мне выплатили весь гонорар, а я обещаю, что буду в твоем полном распоряжении, когда понадобится сделать какие-нибудь поправки.

— Но к чему тебе столько денег? — спросил он с неуместным смешком. — Тебе всегда мало... А ведь ты не играешь, и у тебя нет ни любовницы, ни детей...

— Мне надо внести очередной взнос за квартиру, — ответил я серьезно и опустил глаза. Его бестактность начинала меня раздражать.

— А много тебе надо еще выплатить?

— Почти все.

— Бьюсь об заклад, что жена не дает тебе покоя. Я так и слышу: «Риккардо, не забудь, что ты должен внести очередной взнос».

— Да, жена, — сказал я. — Ты знаешь, каковы женщины... Дом для них — все.

— Кому ты говоришь!

И Пазетти принялся рассказывать о своей жене, которая очень походила на него самого, но которую, как я понял, он почему-то считал существом причудливым, капризным и способным на самые невероятные выходки, одним словом, с ног до головы женщиной. Я сделал вид, будто внимательно слушаю его, хотя в действительности думал совсем о другом.

— Все это, конечно, чудесно, — самым неожиданным образом закончил свои разглагольствования Пазетти. — Но знаю я вас, сценаристов: все вы одним миром мазаны... Получите деньги — только потом вас и видели... Все-таки скажу Баттисте, чтобы он попридержал выплату твоего гонорара.

— Не надо, Пазетти. Прошу тебя.

— Ну, там видно будет... Не слишком-то на меня рассчитывай.

Я снова украдкой взглянул на часы. Я дал Пазетти возможность покичиться своей властью — он покичился ею, теперь можно было и уходить.

— Ну вот, — начал я, — рад, что сценарий написан или, как ты говоришь, закончен вчерне... А теперь, пожалуй, мне пора идти.

— Ничего подобного! — воскликнул он добродушно. — Мы должны выпить за успех фильма... Какого дьявола... Сценарий написан, и ты от меня так просто не уйдешь...

— Ну, если надо выпить, — сказал я покорно, — что ж, я готов.

— Тогда пошли... Думаю, жена будет рада составить нам компанию.

Я прошел за ним из кабинета по узкому, пустому белому коридору, в котором стояли запахи кухни и детских пеленок, Пазетти открыл передо мной дверь в гостиную и крикнул:

— Луиза, мы с Мольтени закончили работу над сценарием... Выпьем за успех фильма.

Синьора Пазетти встала с кресла и сделала несколько шагов нам навстречу. Это была невысокая женщина с большой головой и очень бледным продолговатым лицом, обрамленным черными блестящими волосами. Ее большие, но тусклые и невыразительные глаза оживлялись только в присутствии мужа: тогда она не спускала с него взгляда, словно преданная собака. Но когда мужа не было, она сидела потупившись, изображая неприступное целомудрие. Хрупкая и миниатюрная, она за четыре года супружеской жизни родила четырех детей.

— Ну и напьемся же мы сегодня, — с вымученной веселостью заявил Пазетти. — Я приготовлю коктейль.

— Только не для меня, Джино, — предупредила его синьора Пазетти. — Ты ведь знаешь, я не пью.

— Ну, а мы выпьем.

Я сел в обитое узорчатой материей кресло некрашеного дерева, стоявшее у камина, сложенного из красных кирпичей. Синьора Пазетти уселась в такое же кресло по другую сторону камина. Оглядевшись вокруг, я подумал, что комната похожа на хозяина дома. Это была стандартная гостиная в псевдодеревенском стиле, чистенькая и аккуратная и в то же время жалкая, точно у какого-нибудь педантичного бухгалтера или счетовода. Мне только и оставалось озираться по сторонам, потому что синьора Пазетти не сочла нужным поддерживать со мной беседу. Она сидела напротив меня совершенно неподвижно, опустив глаза, сложив на животе руки. Мой взгляд проследовал за Пазетти, который прошел в глубь комнаты, подошел к на редкость безобразному шкафчику, куда были вмонтированы радиоприемник и бар, опустился на свои тощие коленки и неловко извлек оттуда бутылку вермута и бутылку джина, три стакана и шейкер. Я заметил, что обе бутылки не початы и не распечатаны; видимо, Пазетти не часто разрешал себе пить тот коктейль, который он собирался сейчас приготовить. Сверкающий шейкер тоже казался совершенно новым. Пазетти сказал, что сходит за льдом, и вышел.

Мы долго молчали. Наконец, просто чтобы сказать что-нибудь, я произнес:

— Вот мы и закончили работу над сценарием!

Не поднимая глаз, синьора Пазетти ответила:

— Да, Джино мне уже говорил.

— Уверен, что это будет хороший фильм.

— Я в этом тоже уверена, иначе Джино за него не взялся бы.

— Вы знакомы с сюжетом?

— Да, Джино мне рассказывал.

— Вам он нравится?

— Раз нравится Джино, значит, нравится и мне.

— Вы всегда во всем соглашаетесь друг с другом?

— Джино и я? Всегда.

— А кто у вас глава семьи?

— Ну, конечно, Джино.

Я заметил, что она ухитряется произнести имя Джино всякий раз, как только открывает рот. Я разговаривал в несколько шутливом тоне, но она отвечала мне совершенно серьезно.

Вошел Пазетти, держа ведерко со льдом.

— Риккардо, тебя зовет к телефону жена, — сказал он.

У меня почему-то сжалось сердце, и внезапно мною снова овладело ощущение тоскливого беспокойства. Я машинально встал и сделал шаг к двери. Пазетти остановил меня:

— Телефон на кухне... Но если хочешь, можешь говорить отсюда... Я переключу аппарат.

Телефон стоял на тумбочке подле камина. Я поднял трубку и услышал голос Эмилии:

— Извини, но сегодня тебе придется где-нибудь поесть... Я иду обедать к маме.

— Почему же ты не сказала мне об этом раньше?

— Не хотелось отрывать тебя от работы.

— Хорошо, — сказал я, — пообедаю в ресторане.

— Увидимся вечером. До свидания.

Она повесила трубку, и я обернулся к Пазетти.

— Риккардо, — спросил он, — ты не будешь обедать дома?

— Нет, пойду в ресторан.

— Вот что, пообедай с нами... Тебе придется удовольствоваться... тем, что есть. Но мы будем очень рады.

При мысли, что надо обедать одному в ресторане, мне стало почему-то грустно — вероятно, я заранее предвкушал, как сообщу Эмилии об окончании работы над сценарием. Может быть, я и не сделал бы этого, зная, как я уже говорил, что Эмилию больше не интересует, чем я занимаюсь, но в первый момент я поддался старой привычке, сохранившейся от наших прежних отношений. Приглашение Пазетти обрадовало меня. Я чуть ли не рассыпался в благодарностях.

Тем временем Пазетти откупорил бутылки и жестом фармацевта, дозирующего микстуру, налил в мензурку джина и вермута, а затем перелил все это в шейкер.

Синьора Пазетти, как обычно, не спускала глаз со своего мужа. Когда Пазетти, старательно встряхнув шейкер, начал разливать коктейль по бокалам, она сказала:

— Мне только глоток, прошу тебя... И ты, Джино, не пей много... Тебе может стать плохо.

— Ну, сценарий заканчиваешь не каждый день.

Пазетти наполнил бокалы мне и себе, а в третий, по просьбе жены, налил на донышко. Мы чокнулись.

— За сотню еще таких же сценариев,— сказал Пазетти, пригубив коктейль и ставя бокал на столик.

Я выпил залпом. Синьора Пазетти сделала несколько маленьких глотков и встала.

— Пойду взглянуть, что делает кухарка, — сказала она. — Извините.

Она ушла, Пазетти занял ее место в узорчатом кресле. И мы принялись болтать. Вернее, говорил один Пазетти, и почти все время о сценарии, а я только слушал, поддакивал, кивал головой и пил коктейль. Бокал Пазетти оставался почти полным, он не отпил даже половины, а я осушал свой уже трижды. Не знаю почему, но я почувствовал себя очень несчастным и пил в надежде, что опьянение прогонит это чувство. К сожалению, алкоголь всегда на меня мало действует, а коктейль Пазетти был к тому же сильно разбавлен водой. Так что три или четыре выпитых бокала лишь усилили мое скверное настроение. Вдруг я спросил себя: «А почему, собственно, я чувствую себя таким несчастным?» И тут я вспомнил, как защемило у меня сердце в тот момент, когда я услышал по телефону голос Эмилии, такой холодный, такой рассудительный и такой равнодушный, столь не похожий на голос синьоры Пазетти, когда та произносила магическое имя Джино. Однако я не смог целиком отдаться этим мыслям, потому что в эту минуту вошла синьора Пазетти и пригласила нас в столовую.

Столовая Пазетти была похожа и на его кабинет, и на его гостиную: та же новая крикливая, дешевенькая мебель из некрашеного дерева; цветная фаянсовая посуда; бокалы и бутылки из толстого зеленого стекла, скатерть и салфетки из соломки. Мы уселись в маленькой столовой, большую часть которой занимал стол, так что служанке, когда она подавала кушанья, всякий раз приходилось беспокоить кого-нибудь из сидевших.

Мы принялись за обед молча и сосредоточенно. Потом служанка переменила тарелки, и я, чтобы завязать разговор, задал Пазетти какой-то вопрос о его планах на будущее. Он отвечал мне, как всегда, спокойно, четко и размеренно. Посредственность и полное отсутствие воображения ощущались не только в его фразах, но даже в самих интонациях. Я молчал, ибо планы Пазетти меня не интересовали, а если бы даже и интересовали, то от одного его монотонного и бесцветного голоса они стали бы мне неинтересны. Взгляд мой перебегал с предмета на предмет, ни на чем не задерживаясь, и в конце концов остановился на лице жены Пазетти, которая слушала мужа, уперев подбородок в сложенные ладони и, как всегда, не спуская с него глаз. Я взглянул на нее, и меня поразило выражение ее лица: в глазах светилась самозабвенная любовь, к которой примешивалось безграничное восхищение, беспредельная признательность, чувственное влечение и почти меланхолическая робость. Это удивило меня, показалось чем-то поистине загадочным: человек сухой, бесцветный, посредственный, явно лишенный того, что обычно нравится женщинам, Пазетти, по-моему, не способен был вызвать к себе столь глубокое чувство. Потом я подумал, что каждый мужчина в конце концов находит женщину, которая его ценит и любит, и что нельзя судить о чувствах других, исходя только из своих восприятий. Я ощутил симпатию к синьоре Пазетти за такую преданность мужу и порадовался за самого Пазетти, к которому, несмотря на всю его посредственность, я, как уже говорилось, испытывал своего рода ироническую доброжелательность. Моя грусть рассеялась. И вдруг одна мысль, или, вернее сказать, внезапное ощущение, снова пронзило меня: «В глазах синьоры Пазетти все время светится любовь к мужу... И Пазетти доволен собой и своей работой, потому что она его любит... Эмилия уже давно на меня так не смотрит... Эмилия меня больше не любит, она меня уже никогда не полюбит...»

Мысль эта причинила мне почти физическую боль, я поморщился, и синьора Пазетти обеспокоенно спросила, не попался ли мне случайно пережаренный кусок мяса. Я ответил: «О нет, мясо вовсе не пережарено». По-прежнему делая вид, будто слушаю Пазетти, который рассказывал о своих планах на будущее, я попытался разобраться в овладевшем мною чувстве такой острой и в то же время такой смутной печали. Я понял, что весь последний месяц старался приспособиться к невыносимому положению, в котором оказался, но что мне это не удалось: дальше так продолжаться не может, я не могу жить с Эмилией,

если она меня не любит, и заниматься делом, которое мне противно оттого, что Эмилия ко мне охладела. Неожиданно я сказал себе: «Хватит... Я должен объясниться с Эмилией раз и навсегда. Если понадобится, я уйду от нее и перестану работать в кино».

Однако, хотя я думал об этом с решимостью отчаяния, я никак не мог поверить в то, что произошло: я не был еще полностью уверен ни в том, что Эмилия меня больше не любит, ни в том, что найду в себе силы уйти от нее, бросить работу в кино и вернуться к холостой жизни. Иными словами, я испытывал некое мучительное и совсем новое для меня чувство неуверенности перед тем, что разум мой считал бесспорным.

Почему Эмилия меня больше не любит? Чем вызвано ее равнодушие? У меня тоскливо сжималось сердце, я предвидел, что для того, чтобы полностью убедиться в справедливости своего предположения, самого по себе очень мучительного, потребуются доказательства весьма конкретные и, следовательно, еще более мучительные. Одним словом, я был уверен, что Эмилия меня больше не любит, но не знал, почему и как это случилось; чтобы не оставалось никаких сомнений, нужно объясниться с ней, нужно во всем разобраться, ввести безжалостный зонд анализа в рану, которую я до сих пор старался не замечать. Мысль об этом меня ужаснула, тем не менее я понимал: только разобравшись во всем до конца, я найду в себе силы совершить то, что порывался сделать в минуту отчаяния, то есть смогу уйти от Эмилии.

Ничего не замечая вокруг себя, я продолжал есть, пить и слушать Пазетти. Слава богу, обед в конце концов кончился. Мы снова перешли в гостиную, и мне пришлось пройти через все обряды мещанского гостеприимства: кофе с одним или двумя кусочками сахара, ликер, от которого принято отказываться, разговоры ни о чем, лишь бы как-то протянуть время. Наконец, когда мне показалось, что можно откланяться, я встал. В эту минуту гувернантка ввела в комнату старшую дочку Пазетти, чтобы показать ее родителям перед ежедневной прогулкой. Это была темноволосая девочка, бледная, с большими глазами, ничем не примечательная, совсем как и ее родители. Помню, когда я смотрел, как мать ласкает ее, у меня мелькнула мысль: «А вот я никогда не буду таким счастливым... У нас с Эмилией никогда не будет ребенка». И сразу же эта мысль породила другую, еще более горькую: «Как все это пошло и тривиально... Я уподобляюсь всем мужьям, которых разлюбили жены... Я завидую любой супружеской паре, сюсюкающей над своим ди-

тятей... Такое чувство возникло бы у любого неудачника, окажись он на моем месте».

Эта горькая мысль сделала для меня невыносимой трогательную сцену, при которой я вынужден был присутствовать. Я резко сказал, что должен идти.

Пазетти с трубкой в зубах проводил меня до двери. Я почувствовал, что мой уход удивил и обидел синьору Пазетти: возможно, она ожидала, что меня растрогает назидательная картина материнской любви.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Работа над вторым сценарием начиналась в четыре, у меня оставалось еще полтора часа. Выйдя на улицу, я невольно направился к дому. Я знал, что Эмилии нет, что она ушла обедать к своей матери, но, охваченный чувством растерянности и беспокойства, почти надеялся, что это неправда и что я застану ее дома. Тогда, твердил я себе, я наберусь смелости, поговорю с ней откровенно, вызову ее на окончательное объяснение. Я понимал, что это объяснение повлияет не только на наши взаимоотношения с Эмилией, но и на мою дальнейшую работу. Но теперь, после всех жалких и лицемерных уверток, мне представлялось, что лучше любая катастрофа, лишь бы пришел конец тому ненормальному положению, которое становилось для меня все более очевидным и все более невыносимым. Возможно, мне придется уйти от Эмилии и отказаться от работы над вторым сценарием для Баттисты. Ну что ж, тем лучше. Правда, какой бы она ни была, лучше этой неопределенности, унизительного состояния лжи и жалости к самому себе.

Когда я дошел до своей улицы, мною вновь овладела нерешительность: конечно, Эмилии нет дома, и в нашей новой квартире, которая казалась мне теперь не только чужой, но даже враждебной, я буду чувствовать себя еще более одиноким и несчастным, чем где-нибудь в другом месте. Я уже совсем было решил повернуть обратно и провести эти оставшиеся полтора часа в кафе. Но тут роковым образом вспомнил об обещании, данном Баттисте: он должен был позвонить и договориться со мною о встрече. Это была очень важная для меня встреча. Баттиста наконец сделал мне конкретное предложение и собирался представить меня режиссеру. Я заверил Баттисту, что в этот час он, как обычно, найдет меня дома. Правда, я мог бы сам позвонить ему из кафе, но я не был уверен, что застану его, по-

тому что Баттиста часто обедал в ресторане, а кроме того, в том состоянии полнейшей растерянности, в котором я находился, мне надо было найти предлог, чтобы вернуться домой. Им-то и стал звонок Баттисты.

Я миновал подъезд, вошел в лифт, закрыл за собой дверцу и нажал кнопку последнего этажа, на котором мы жили. Но пока лифт поднимался, мне пришла в голову мысль, что, в сущности, я не имею права уславливаться с Баттистой о встрече, так как не знаю, соглашусь ли я на его новое предложение. Все будет зависеть от моего объяснения с Эмилией. И если Эмилия скажет мне откровенно, что она меня больше не любит, я не только не стану заниматься этим сценарием, но вообще навсегда брошу работу в кино. Но ведь Эмилии нет дома. Когда позвонит Баттиста, я не смогу ему честно сказать, согласен я обсуждать его предложение или нет. Договориться о деле, а затем отказаться казалось мне полнейшей нелепостью. Самая мысль об этом была омерзительной, и мной овладело чувство почти истерического раздражения. Я резко остановил лифт и нажал кнопку первого этажа. Будет лучше, говорил я себе, будет гораздо лучше, если Баттиста, позвонив, не застанет меня дома. Сегодня же вечером я объяснюсь с Эмилией. А на следующий день дам ответ продюсеру.

Между тем лифт опускался: за его чисто вымытыми стеклами один за другим мелькали этажи, и я наблюдал за этим с таким же отчаянием, с каким, вероятно, смотрит рыба на то, как опускается уровень воды в аквариуме. Наконец лифт остановился, я собирался уже открыть дверцу. Но тут меня осенила мысль: судьба моей следующей работы у Баттисты зависит от объяснения с Эмилией, а что, если нынче вечером Эмилия убедит меня в своей любви? Ведь тогда Баттиста, не застав меня дома, может рассердиться и я потеряю работу! Продюсеры — я знал это по собственному опыту — капризны, как все маленькие тираны. Этого может оказаться вполне достаточно, чтобы Баттиста раздумал и пригласил другого сценариста. Такого рода мысли быстро проносились в моем воспаленном мозгу, вызывая у меня горькое сознание собственной никчемности. «Ты действительно жалкий человек, — говорил я себе, — тебя обуревает то жажда денег, то любовь, и ты никак не можешь сделать выбор и принять какое-то твердое решение».

Кто знает, как долго простоял бы я в лифте, не решаясь ничего предпринять, если бы дверцы его не распахнула молодая дама, нагруженная покупками. Увидев перед собой мою неподвижную фигуру, она вскрикнула, потом, оправившись от испу-

га, вошла в лифт и спросила, какой этаж мне нужен. Я ответил. «А мне третий», — сказала дама, нажимая кнопку. Лифт снова стал подниматься.

Оказавшись на площадке своего этажа, я почувствовал большое облегчение. Но тут же подумал: «Что же со мной происходит, если я веду себя подобным образом? До чего я дошел?» Размышляя над этим, я машинально открыл дверь квартиры, запер ее за собой и прошел в гостиную. И тут я увидел Эмилию — она лежала в халате на диване и читала журнал. Рядом на маленьком столике стояли тарелки с остатками обеда. Эмилия никуда не уходила, она не обедала у матери, одним словом, она меня обманула.

Вид у меня, видимо, был ужасный, потому что, взглянув на меня, Эмилия спросила:

— Что с тобой? Что случилось?

— Разве ты не собиралась обедать у матери? — прохрипел я. — Почему же тогда ты дома? Ведь ты сказала мне, что уйдешь.

— После нашего с тобой разговора позвонила мама и сказала, чтобы я к ней не приходила, — спокойно ответила Эмилия.

— Так почему же ты не перезвонила?

— Мама позвонила в самый последний момент... Я подумала, что ты уже ушел от Пазетти.

Я сразу же решил, что Эмилия лжет, не знаю даже почему, но, не будучи в состоянии доказать это не только ей, но даже самому себе, промолчал и тоже сел на диван. Через некоторое время она спросила, перелистывая журнал и не глядя на меня:

— А ты что делал?

— Пазетти пригласил меня пообедать с ними.

В эту минуту в соседней комнате зазвонил телефон. Я подумал: «Это Баттиста... Сейчас скажу ему, что решил больше не заниматься сценариями... К черту! Ясно ведь, что у этой женщины нет ни капли любви ко мне».

— Пойди послушай, кто звонит... — как всегда, безразличным тоном сказала Эмилия. — Это, конечно, тебя.

Я встал и вышел.

Телефон стоял в соседней комнате на тумбочке. Прежде чем взять трубку, я взглянул на кровать, увидел лежавшую в изголовье одинокую подушку и укрепился в своем решении: все кончено, откажусь от сценария, а потом уйду от Эмилии. Я поднял трубку, но вместо голоса Баттисты услышал голос тещи.

— Риккардо, Эмилия дома?

Я ответил, не думая:

— Нет, ее нет... Она сказала, что пойдет к вам обедать... Она ушла... Я думал, она у вас.

— Но ведь я же звонила, что не смогу ее принять. Сегодня у прислуги свободный день, — удивленно начала она объяснять мне. В эту минуту я поднял глаза и в раскрытую дверь увидел лежавшую на диване Эмилию. Она смотрела на меня. Ее пристальный взгляд выражал не столько удивление, сколько отвращение и холодное презрение. Я понял, что из нас двоих солгал я и она понимает, почему я это сделал. Я что-то пробормотал, прощаясь с тещей, затем, словно опомнившись, крикнул:

— Нет... Подождите... Эмилия только что вошла... Сейчас я позову ее. — Одновременно я делал знаки Эмилии, чтобы она подошла к телефону.

Эмилия поднялась с дивана, прошла в спальню и молча, не глядя на меня, взяла трубку. Я вышел в гостиную. Нетерпеливым движением руки Эмилия приказала мне закрыть дверь. Я закрыл ее, смущенно уселся на диван и стал ждать.

Эмилия говорила долго. Я мучительно ждал, когда она кончит, и мне даже казалось, что она нарочно затягивает разговор. Но Эмилия всегда подолгу разговаривала по телефону со своей матерью. Она была очень привязана к ней. Мать Эмилии, овдовев, жила одна, и кроме дочери у нее никого не осталось. Думаю, что Эмилия поверяла ей все свои тайны.

Наконец дверь открылась, и вошла Эмилия. Я молчал, видя по необычно суровому выражению ее лица, что она на меня очень сердита.

— Ты что, с ума сошел? — убирая со стола посуду, сказала Эмилия. — Зачем тебе понадобилось говорить маме, что я ушла?

Пораженный ее тоном, я не нашелся, что ответить.

— Чтобы проверить, сказала ли я правду? — продолжала Эмилия. — Чтобы узнать, предупреждала ли меня мама о том, что не сможет со мной пообедать?

— Возможно, — с трудом выдавил я из себя.

— Очень прошу тебя — больше так не делай... Я никогда не лгу... И мне нечего от тебя скрывать... Подобных вещей я просто не выношу.

Все это она сказала очень решительно, взяла поднос, собрала тарелки и вышла из комнаты.

Оставшись один, я на мгновенье испытал даже какое-то горькое удовлетворение. Значит, это правда: Эмилия меня больше не любит. Прежде она, конечно, со мной так не говорила бы. Она сказала бы нежно и с наигранным изумлением: «Неужели ты мог подумать, что я тебя обманула?» — а затем посмеялась

бы над всем этим, как над детской шалостью; а может быть, дала бы понять, что ей это даже приятно: «А ты в самом деле ревнуешь? Разве ты не знаешь, что я люблю тебя одного?» Все кончилось бы почти материнским поцелуем; ее длинные пальцы погладили бы мой лоб, словно желая отогнать мои тревожные мысли. Правда, в прежнее время мне и в голову бы не пришло в чем-либо заподозрить Эмилию, и уж тем более я не смог бы не поверить ей. Все изменилось: и ее любовь, и моя. И, видимо, продолжает меняться к худшему.

Однако человеку всегда хочется верить, даже когда он знает, что верить больше не во что: я получил доказательства того, что Эмилия меня больше не любит, и все-таки у меня оставались некоторые сомнения или, скорее, надежда на то, что я неверно истолковал, в сущности, очень незначительный эпизод. Я говорил себе: не надо ускорять события, пусть Эмилия сама скажет, что она тебя больше не любит, ведь только она одна может представить доказательства, которых тебе пока еще не хватает... Такие мысли проносились в моей голове одна за другой, а я сидел на диване и напряженно смотрел в пустоту. Потом дверь отворилась, и в комнату вернулась Эмилия.

Не глядя на нее, я сказал:

— Скоро позвонит Баттиста, он собирается предложить мне работу над новым сценарием... Над очень серьезным сценарием.

— Ну и что же, ты доволен? — донесся до меня ее спокойный голос.

— На этом сценарии, — продолжал я, — можно хорошо заработать... Во всяком случае, вполне достаточно, чтобы внести два очередных взноса за квартиру.

На этот раз она промолчала. Я продолжал:

— Кроме того, этот сценарий будет много значить и для моей дальнейшей работы... Если я его сделаю, мне закажут еще... Речь идет о большом фильме.

Она спросила рассеянно, как человек, который разговаривает, не желая отрываться от книги:

— А что это за фильм?

— Не знаю, — ответил я. Затем, немного помолчав, произнес почти торжественно: — Но я решил от него отказаться.

— А почему? — Тон ее был по-прежнему спокойный и безразличный.

Я встал, обогнул диван и сел напротив Эмилии. Она читала журнал, но, заметив, что я сел напротив нее, опустила его и взглянула на меня.

— Потому что, — признался я откровенно, — тебе известно, как ненавистна мне эта работа. Я занимаюсь ею только во имя сохранения твоей любви... ведь надо платить за квартиру, которой ты так дорожишь или делаешь вид, что дорожишь. Но теперь я твердо знаю: ты меня больше не любишь... И все это уже ни к чему...

Эмилия смотрела на меня, широко раскрыв глаза, не произнося ни слова.

— Ты меня больше не любишь, — продолжал я, — и я не намерен браться за эту работу... Ну а квартира? Что ж, заложу ее или продам... Короче говоря, дальше так жить я не могу, настало время сказать тебе об этом... Ну вот, теперь ты знаешь все... Скоро позвонит Баттиста, и я пошлю его к черту.

Я высказался. Наступила минута для решительного объяснения, которого я так долго и мучительно жаждал и которого так боялся. При мысли об этом я почувствовал почти облегчение и с неожиданной для Эмилии смелостью взглянул на нее: итак, что она мне ответит?

Эмилия немного помолчала. Ее явно удивила резкость моего тона. Наконец, желая выиграть время, она спросила уклончиво:

— Но что заставляет тебя думать, будто я тебя больше не люблю?

— Все, — ответил я порывисто.

— Например?

— Прежде всего скажи, правда это или нет?

Эмилия упрямо повторила:

— Нет, ты скажи, что тебя заставляет думать, будто это так.

— Все! — снова сказал я. — То, как ты говоришь со мной, как смотришь на меня, как со мной держишься... Все... Месяц назад ты пожелала спать одна. Прежде ты этого не хотела.

Эмилия смотрела на меня, не зная, что ответить. Потом я увидел, что в глазах ее вспыхнул огонек внезапно принятого решения. Вот сейчас, подумал я, она решила, как вести себя со мной, и потом уже не отступит от этого, что бы я ни говорил и ни делал.

Наконец она мягко сказала:

— Уверяю тебя, я готова даже поклясться, что не могу спать с открытым окном... Мне нужно, чтобы было темно и тихо, клянусь тебе.

— Но я же предлагал тебе спать с закрытыми окнами.

— Видишь ли, — она заколебалась, — я должна тебе сказать, что ты не умеешь спать тихо.

— То есть как?

— Ты храпишь. — Она слегка улыбнулась, а затем добавила: — Каждую ночь ты будил меня своим храпом... Потому я и решила спать одна.

Ее слова о том, что я сильно храплю, смутили меня. Но мне трудно было этому поверить: я спал с другими женщинами, и ни одна из них не говорила мне, что я храплю.

— Ты не любишь меня, — сказал я, — потому что жена, которая любит своего мужа... — мне стало немного стыдно, я помолчал немного, подыскивая подходящие слова, — не относится к любви так, как ты... с некоторых пор.

Эмилия сразу же возразила, и в тоне ее я почувствовал скуку и раздражение.

— Не знаю, чего ты хочешь... Я принадлежу тебе всякий раз, как ты пожелаешь... Разве я тебе когда-нибудь отказывала?

Когда у нас заходил разговор о подобного рода вещах, обычно смущался и стыдился только я. Обычно такая сдержанная и скромная, Эмилия в минуты нашей близости, казалось, не знала ни стыда, ни смущения. Меня всегда поражала и привлекала та естественность и прямота, с какой она говорила о чувственной стороне любви — откровенно, поразительно свободно, без тени недомолвок или сентиментальности.

— Нет, не отказывала... — тихо ответил я. — Но...

Эмилия продолжала наступать:

— Всякий раз, когда ты хотел этого, я принадлежала тебе... Ты не из тех мужчин, которые довольствуются обычной близостью... Ты умеешь любить.

— Ты так думаешь? — спросил я, почти польщенный.

— Да, — сказала она сухо, не глядя на меня. — Но если бы я тебя не любила, именно твое умение любить докучало бы мне. Женщина всегда найдет предлог, чтобы отказаться. Не так ли?

— Ну хорошо, — сказал я, — ты принимаешь мою любовь, ты никогда мне не отказывала... Но ты принимаешь мою любовь не так, как это делает женщина, которая действительно любит.

— А как?

Я должен был бы ответить: «Как проститутка, которая безропотно подчиняется клиенту и жаждет лишь, чтобы все кончилось как можно скорее. Вот как». Но из уважения к ней, а также к самому себе я предпочел промолчать. Да, впрочем, что бы это дало? Эмилия, конечно, сказала бы, что я не прав, и, пожалуй, напомнила бы мне с грубой технической точностью некоторые свои чувственные порывы, в которых была опытность, жажда наслаждения, страстность, эротическое неистовство —

все, кроме нежности и невыразимого самозабвения подлинной любви.

Поняв, что объяснение, которого я так желал, закончилось ничем, я сказал с отчаянием:

— Словом, как бы то ни было, я убежден, что ты меня больше не любишь. Вот и все.

Прежде чем ответить, Эмилия еще раз внимательно посмотрела на меня. Казалось, по выражению моего лица она старалась понять, как ей следует вести себя. Я давно уже отметил у нее одну характерную черту: когда Эмилии трудно было решиться на что-то такое, что было ей не по душе, ее красивое, обычно столь правильное и симметричное лицо искажалось — одна щека как бы вваливалась, рот перекашивало, растерянные, потускневшие глаза скрывались под веками, словно за семью печатями. Я знал эту ее особенность — так бывало всегда, когда Эмилии приходилось принимать неприятное для нее решение или идти против своей воли.

Вдруг она порывисто обняла меня за шею.

— Но зачем ты говоришь мне все это, Риккардо? — воскликнула она, однако в голосе ее прозвучали фальшивые нотки. — Я люблю тебя... И ничуть не меньше прежнего.

Ее горячее дыхание коснулось моего уха. Она погладила мне лоб, виски, волосы; затем обеими руками крепко прижала мою голову к своей груди.

Я подумал, что Эмилия обняла меня так, чтобы я не видел ее лица, которое, вероятно, было теперь напряженным и озабоченным, как у человека, заставляющего себя делать то, чего ему совсем не хочется. В отчаянной тоске по любви я прижался к ее полуобнаженной груди и все-таки не мог не подумать: «Она притворяется... Но ее обязательно выдаст какая-нибудь фраза или интонация».

Я ждал этого несколько минут. Потом услышал ее осторожный вопрос:

— А что бы ты сделал, если бы я тебя действительно разлюбила?

«Я был прав, — подумал я с горьким торжеством, — она выдала себя. Ей хочется знать, что я сделаю, чтобы взвесить и оценить, чем она рискует, если решит сказать мне правду». Не пошевелившись, я ответил:

— Я тебе уже говорил... Прежде всего откажусь от новой работы для Баттисты. — Мне хотелось прибавить: «И уйду от тебя», но у меня не хватило духу сказать это в ту минуту, когда моя щека прижималась к ее груди, а ее пальцы гладили

мой лоб. Я все еще надеялся, что Эмилия меня любит, и боялся, что нам действительно придется расстаться, если я заговорю о такой возможности.

Все еще крепко обнимая меня, Эмилия сказала:

— Но ведь я люблю тебя... Все это просто нелепо... Знаешь, что ты сделаешь?.. Когда позвонит Баттиста, ты условишься с ним о встрече, а затем пойдешь и согласишься на предложенную работу.

— Почему я должен поступать так, зная, что ты меня больше не любишь? — крикнул я с раздражением.

На этот раз Эмилия ответила обиженно и рассудительно:

— Я люблю тебя, и не заставляй меня без конца повторять одно и то же. Я хочу остаться в нашей квартире... Если тебе не нравится работа над этим фильмом, я не стану тебя уговаривать... Но если ты не хочешь браться за нее, потому что считаешь, будто я тебя больше не люблю и не дорожу домом, то знай — ты ошибаешься.

У меня мелькнула надежда на то, что Эмилия не лжет. Я понял, что по крайней мере на сегодня она меня убедила. Но теперь мне отчаянно захотелось пойти еще дальше, мне хотелось быть уверенным до конца. Словно угадав мое желание, Эмилия выпустила меня из объятий и прошептала:

— Поцелуй меня, хочешь?

Я встал и, прежде чем поцеловать Эмилию, взглянул на нее. Меня поразила бесконечная усталость, отразившаяся на ее лице, больше чем когда-либо печальном и нерешительном. Словно разговаривая со мной, лаская и обнимая меня, она проделала какую-то нечеловечески тяжелую работу, а теперь приготовилась к поцелую, как к чему-то еще более тягостному и трудному.

Я взял Эмилию за подбородок и приблизил свои губы к ее губам. В эту минуту затрещал телефон.

— Это Баттиста, — сказала Эмилия, с явным облегчением высвобождаясь из моих объятий и убегая в соседнюю комнату.

Я остался сидеть на диване и через открытую дверь увидел, как Эмилия подняла трубку и сказала:

— Да... Он дома... Сейчас я его позову... Как поживаете?

Эмилия еще о чем-то поговорила. Потом, многозначительно кивнув мне, сказала:

— Мы только что говорили о вас и о вашем новом фильме.

Затем последовало еще несколько неопределенных фраз. Потом она сказала спокойно:

— Да, в ближайшее время увидимся... А сейчас передаю трубку Риккардо.

Я поднялся, прошел в спальню и взял телефонную трубку. Как я и предполагал, Баттиста сообщил мне, что завтра в полдень будет ждать меня у себя в конторе. Я сказал, что приду, обменялся с ним несколькими словами и повесил трубку. Лишь тут я заметил, что, пока я разговаривал с Баттистой, Эмилия вышла из спальни. И я вдруг подумал, что она ушла, потому что добилась своего, заставив меня согласиться на встречу с Баттистой: теперь не было никакой надобности ни в ее присутствии, ни в ее ласках.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

На следующий день к условленному часу я отправился на свидание с Баттистой. Контора Баттисты занимала весь первый этаж старого палаццо. Некогда этот дворец принадлежал какой-то патрицианской семье, теперь же в нем помещалось несколько акционерных обществ. Большие залы с расписными потолками и стенами Баттиста разгородил простыми деревянными перегородками на множество маленьких комнат, обставленных канцелярской мебелью. Там, где некогда висели старинные картины на мифологические и библейские сюжеты, теперь пестрели яркие, красочные афиши кинофильмов. Повсюду были развешаны фотографии актеров и актрис, вырезанные из журналов кадры фильмов, грамоты, полученные на фестивалях, и тому подобные украшения, которые можно встретить в помещении любой кинофирмы. В приемной вдоль стены с поблекшими фресками тянулся длинный зеленый металлический барьер, за которым три или четыре секретарши принимали посетителей. Баттиста был еще довольно молодым продюсером, в последние годы сделавшим себе имя на производстве посредственных, но обеспечивающих хорошие сборы фильмов. Его фирма, скромно названная «Триумф-фильм», была в то время одной из самых процветающих.

Когда я появился в приемной, она была уже переполнена. Благодаря приобретенному опыту я с первого же взгляда мог совершенно точно определить, кем является каждый из посетителей; здесь было несколько сценаристов — я узнал их по усталому и в то же время беспечному выражению лица, по папкам, которые они сжимали под мышкой, по небрежно-элегантной манере одеваться; какой-то администратор, сильно смахивающий

на управляющего имением или на торговца скотом; две или три девушки, мечтающие стать актрисами, или, вернее, статистками, юные, даже грациозные, но уже развращенные кино: это было видно по их заученным позам, чрезмерной косметике и вычурным туалетам; наконец, здесь находилось несколько лиц, которых всегда встречаешь в приемной любого продюсера: безработные актеры, неудачливые сценаристы и всякого рода попрошайки. Они расхаживали взад и вперед по грязному мозаичному полу или покачивались на стоящих вдоль стен позолоченных стульях, зевали, покуривали сигареты и вполголоса беседовали друг с другом. Секретарши разговаривали по бесчисленным телефонам или неподвижно сидели за барьером, тупо уставившись перед собой остекленевшими от скуки глазами. Поминутно резко и неприятно верещал звонок, секретарши выкликали фамилию, один из посетителей быстро вскакивал и скрывался за позолоченными створками огромной двери.

Я назвал свое имя и уселся в самом дальнем углу. На душе у меня было так же скверно, как и вчера, но чувствовал я себя уже гораздо спокойнее. После разговора с Эмилией я пришел к твердому убеждению, что она солгала, сказав, что любит меня. Однако на этот раз — отчасти потому, что я очень устал, отчасти потому, что мне непременно хотелось заставить ее объясниться до конца и начистоту,— я решил пока что ничего не предпринимать; иначе говоря, я не отказывался от новой работы у Баттисты, хотя прекрасно сознавал, насколько она теперь бесцельна, как, впрочем, и вся моя жизнь. Потом, думал я, как только мне удастся заставить Эмилию сказать мне правду, я плюну на работу и пошлю все к чертям. В известной мере такое далеко не мирное решение вопроса нравилось мне даже больше, чем то, о котором я подумывал прежде. Скандал и материальный ущерб еще больше подчеркнули бы мое отчаяние, а также мое твердое желание покончить со всякими недомолвками и компромиссами.

Как я уже сказал, я был совершенно спокоен. Но спокойствие это было порождено апатией и равнодушием. Предчувствие неведомой беды вызывает тревожное беспокойство — ведь в глубине души до последней минуты надеешься, что, может быть, все обойдется; осознание же неизбежности несчастья, напротив, порождает на некоторое время тягостное спокойствие. Я был совершенно спокоен, но понимал, что это ненадолго: первая стадия — стадия подозрения — мною пройдена; вскоре на смену ей придет стадия мучительных терзаний, разрыва и раскаяния. Я знал, что так оно и будет. Но знал также и то, что между

этими двумя стадиями временно наступил период мертвого штиля, напоминающего мнимое затишье перед новым и еще более свирепым неистовством бури.

Пока я ждал вызова Баттисты, мне пришло в голову, что до сих пор я только старался узнать, любит меня Эмилия или нет. Теперь же, казалось мне, я уже убедился, что она меня не любит. Значит, решил я, пораженный этим открытием, следует задуматься над другим вопросом: почему она меня не любит? Как только я установлю причину, мне будет гораздо легче заставить Эмилию объясниться.

Должен признаться, подобный вопрос в первое мгновенье показался мне лишенным всякого смысла. Это же невероятно, просто нелепо: у Эмилии не могло быть решительно никакой причины разлюбить меня. На чем основывалась эта моя уверенность, я не сумел бы объяснить, как не сумел бы объяснить и то, почему, хотя у Эмилии, казалось, не было никаких причин разлюбить меня, она тем не менее явно меня не любит. Противоречие между тем, что я чувствовал, и доводами рассудка заставило меня на мгновенье растеряться. В конце концов, подобно студенту, доказывающему теорему, я сказал себе: «Допустим, идя от противного, что причина имеется, но в чем же она состоит?»

Я заметил: чем сильнее овладевают людьми сомнения, тем охотнее они хватаются за мнимую логическую очевидность, надеясь с помощью разума прояснить то, что затуманивает и замутняет чувство. В тот момент, когда инстинкт подсказывал мне столь противоречивые ответы, мне хотелось, подобно сыщику из детективного романа, прибегнуть к логическому анализу. Допустим, убили человека. Необходимо установить причину убийства. Определив причину, нетрудно отыскать убийцу... Так вот, думал я, причины могут быть двоякого рода: во-первых, связанные с Эмилией, во-вторых — со мной. Я тут же решил, что причины первого рода можно свести к одной-единственной: Эмилия больше не любит меня потому, что любит другого.

После минутного размышления мне показалось, что от такого предположения надо отказаться. Ничто в поведении Эмилии не свидетельствовало о том, что в ее жизнь вошел какой-то другой мужчина. Наоборот, как раз в последнее время она стала вести жизнь более замкнутую и очень тесно связанную со мной. Я знал, что Эмилия почти безвыходно сидит дома, читает, разговаривает по телефону с матерью или занимается домашним хозяйством. Все ее развлечения — кино, прогулки, обеды в ресторане — зависели только от меня. Несомненно, первое время после нашей свадьбы ее жизнь была более разнообразной и в

какой-то мере более светской. Тогда Эмилия еще поддерживала отношения с подругами своей юности; но вскоре они исчезли с ее горизонта, и жизнь ее стала настолько зависеть от моей, что это меня начало даже стеснять. Эта зависимость нисколько не ослабла и после того, как она ко мне охладела. Эмилия не сделала ни малейшей попытки вытеснить меня из своей жизни; уже не любя меня, она, как и прежде, ждала моего возвращения с работы, и ее нечастые развлечения были связаны только со мной. В этой зависимости без любви было даже что-то возвышенное и печальное. Эмилия как бы уподобилась женщинам, чье призвание состоит в том, чтобы оставаться верной женой, сохраняя верность даже тогда, когда для этого нет уже никаких оснований. Одним словом, хотя она меня больше не любила, в ее жизни, несомненно, не было никого, кроме меня.

Помимо этого, было еще одно соображение, которое заставило меня отказаться от мысли, будто Эмилия любит другого. Я знал или полагал, что знаю ее очень хорошо. Я знал, что она не способна лгать прежде всего в силу своей невыносимой прямоты и откровенности. Любая ложь казалась ей чем-то не столько постыдным, сколько утомительным и скучным. Наконец, почти полное отсутствие воображения не позволяло ей уверенно говорить о том, чего в действительности не произошло и реально не существует. Я был уверен: влюбись Эмилия в другого человека, она с ее характером не нашла бы ничего лучшего, как сразу же доложить мне об этом с бессознательной жестокостью и резкостью, свойственной мещанской среде, из которой она вышла. Эмилия могла быть молчаливой и замкнутой, такой она и была теперь, поскольку чувство ее ко мне изменилось; но для нее было бы очень трудно — если вообще возможно — вести двойную жизнь, чтобы скрыть адюльтер, то есть придумывать встречи с модистками и портнихами, утверждать, что она ходила к родственникам или подругам, а возвращаясь домой поздно, объяснять все, как обычно делают в таких случаях женщины, театром или городским транспортом. Нет, ее холодность ко мне не означала пылкой страсти к другому. Если причина была — а не быть ее не могло, — искать ее следовало не в жизни Эмилии, а в моей.

Я так погрузился в свои размышления, что не заметил, как ко мне подошла одна из секретарш. Она стояла передо мной и, улыбаясь, повторяла:

— Синьор Мольтени... Доктор Баттиста ждет вас...

Я встрепенулся и, прервав нить своих рассуждений, поспешно вошел в кабинет продюсера.

Баттиста сидел в глубине большого зала с расписным потолком и позолоченными стенами за металлическим письменным столом зеленого цвета.

Хотя я уже довольно много говорил о Баттисте, я до сих пор еще не описал его внешности. Думаю, теперь это следовало бы сделать.

Так вот, Баттиста был одним из тех, кого сотрудники и подчиненные за глаза награждают милыми прозвищами, вроде: Животное, Обезьяна, Скотина, Горилла. Нельзя сказать, что внешний облик Баттисты не отвечал подобным эпитетам. Однако самому мне никогда не приходило в голову применять их к нему — отчасти потому, что я питаю отвращение ко всяким прозвищам, отчасти потому, что все они, как мне кажется, никак не соответствовали истинному характеру Баттисты: его поразительной хитрости, даже хитроумию, скрываемой под маской внешней грубости. Спору нет, Баттиста был толстокожее животное, наделенное колоссальной жизненной силой. Но сила эта проявлялась не только в его чудовищных аппетитах, но и в деловых операциях, зачастую весьма тонких, служащих удовлетворению этих аппетитов.

Баттиста был среднего роста, но широкоплечий, с узкими бедрами и короткими ногами — это и придавало ему то сходство с крупной обезьяной, которому он был обязан своими прозвищами. В лице его тоже было что-то обезьянье: зачесанные назад волосы образовывали по обе стороны лба залысины, густые, подвижные брови, маленькие глазки, короткий широкий нос, большой, но почти лишенный губ, тонкий, как лезвие ножа, рот и слегка выступающий подбородок. Живота у Баттисты совсем не было, и благодаря этому грудь сильно выдавалась вперед. Его мускулистые руки, начиная от самых запястий, были покрыты черной шерстью; увидев его как-то на пляже, я обратил внимание, что эта шерсть густо покрывает и его спину и грудь. Но этот человек с такой грубой внешностью говорил мягко, вкрадчиво, убедительно, с легким иностранным акцентом — Баттиста родился в Аргентине. Голос Баттисты поражал своим неожиданно мягким звучанием, и в этом я тоже усматривал проявление его хитрости и изворотливости.

Баттиста был в кабинете не один. У стола сидел мужчина, которого он, представляя, назвал Рейнгольдом. Я много слышал о нем, но встречался с ним впервые. Рейнгольд был немецким кинорежиссером. В дофашистской Германии он поставил несколько фильмов-«колоссов», имевших в свое время довольно большой успех. Конечно, Рейнгольд не считался режиссером та-

кого масштаба, как Пабст или Ланг, но все-таки это был крупный режиссер; он никогда не ставил чисто коммерческих фильмов, я у него имелись свои, пусть спорные, но все же вполне определенные эстетические взгляды и принципы. После прихода Гитлера к власти о Рейнгольде никто ничего не слышал. Говорили, будто он работал в Голливуде, но последние годы в Италии не показывали ни одного его фильма. И вот теперь совершенно неожиданно он появился в конторе Баттисты.

Пока Баттиста говорил, я с любопытством разглядывал Рейнгольда. Видели ли вы на какой-нибудь старинной гравюре лицо Гёте? Так вот, у Рейнгольда было такое же благородное и строгое лицо олимпийца. И так же, как у Гёте, голову его окружал нимб ослепительно белых волос. Одним словом, у него была голова гения. Однако, присмотревшись повнимательнее, я обнаружил, что величие и благородство Рейнгольда несколько искусственные: черты его лица, крупные и в то же время рыхлые, напоминали картонную маску; казалось, за ней ничего нет, как под теми чудовищно огромными головами, которые на карнавалах надевают на себя карлики. Рейнгольд встал, чтобы пожать мне руку. При этом он слегка склонил голову и щелкнул каблуками с чисто немецкой чопорностью. Тут я обнаружил, что он маленького роста, хотя плечи его, подчеркивая величавость его внешности, были очень широкими. Здороваясь, он приветливо улыбнулся широкой лунообразной улыбкой, обнажив два ряда очень ровных и слишком белых зубов, показавшихся мне, не знаю почему, искусственными. Но едва он сел, улыбка исчезла с его лица внезапно и бесследно, словно на луну набежала туча; лицо приняло суровое, немного неприятное выражение, властное и требовательное.

Баттиста, как всегда, начал издалека. Кивнув в сторону Рейнгольда, он сказал:

— Мы с Рейнгольдом говорили о Капри... А вы, Мольтени, знаете Капри?

— Немного, — ответил я.

— У меня на Капри своя вилла, — продолжал Баттиста. — Я только что рассказывал Рейнгольду, какое восхитительное место Капри... Там даже такой деловой человек, как я, становится немного поэтом.

Эго был один из излюбленных трюков Баттисты: он любил покрасоваться своим восхищением прекрасным, возвышенно-благородным — одним словом, всем тем, что относится к сфере идеального. И больше всего меня поражало то, что восхищение

это было, по-видимому, искренним, хотя далеко не всегда бесокрыстным.

Баттиста снова заговорил, казалось, растроганный собственными словами:

— Роскошная природа, восхитительное небо, вечно лазурное море... и цветы, всюду цветы. Если бы я был, как вы, Мольтени, писателем, мне хотелось бы жить на Капри, для вдохновения... Не понимаю, почему художники вместо того, чтобы писать пейзажи Капри, рисуют свои безобразные картины, на которых ничего не разберешь... На Капри имеются, так сказать, уже готовые прекрасные картины... Остается только взять и скопировать их.

Я промолчал. Взглянув украдкой на Рейнгольда, я увидел, что он одобрительно кивает головой: улыбка на его лице опять напоминала серп луны на безоблачном небе. А Баттиста продолжал:

— Мне всегда хотелось пожить там хотя бы месяц, ничего не делая и не думая о делах. Но осуществить это мне ни разу не удалось. Здесь, в городе, мы ведем противоестественный образ жизни... Человек создан не для того, чтобы жить среди папок, в конторе... В самом деле, жители Капри выглядят гораздо счастливее нас... Посмотрите на них, когда они вечером выходят погулять: юноши, девушки, улыбающиеся, спокойные, красивые, веселые... И это потому, что в их жизни не происходит ничего особенного, а их стремления и интересы — незначительны... Н-да, им хорошо...

Помолчав, Баттиста продолжал:

— Так вот, как я сказал, на Капри у меня вилла, но, к сожалению, я там никогда не бываю... С того времени, как я купил эту виллу, я прожил на ней в общей сложности не больше двух месяцев... Я как раз говорил Рейнгольду, что моя вилла — самое подходящее место для работы над сценарием. Во-первых, вас будет вдохновлять пейзаж. Но, помимо этого, как я уже сказал Рейнгольду, пейзаж этот вполне соответствует сюжету фильма.

— Синьор Баттиста, — заметил Рейнгольд, — работать можно везде... Конечно, и Капри может оказаться подходящим местом... Особенно если, как я предполагаю, мы будем делать натурные съемки в Неаполитанском заливе.

— Вот именно. Рейнгольд говорит, что предпочитает жить в гостинице. У него свои привычки, а кроме того, он любит иногда поразмышлять в одиночестве. Но мне кажется, вы, Мольтени, могли бы поселиться у меня на вилле... Вместе с женой...

Этим вы премного обяжете меня — наконец-то там кто-то будет жить. На вилле имеются все удобства, а женщину, которая будет вести хозяйство, подыскать нетрудно.

Как обычно, я прежде всего подумал об Эмилии. Подумал и о том, что жизнь на Капри, да к тому же на богатой вилле, могла бы разрешить многие наши трудности. Сказать по правде, не знаю уж почему, но у меня возникла уверенность, что это положит конец всем моим проблемам.

— Спасибо, — искренне поблагодарил я Баттисту. — Я тоже думаю, что Капри — подходящее место для работы над сценарием. Мы с женой будем очень рады погостить у вас.

— Великолепно, договорились, — сказал Баттиста и поднял руку, словно желая остановить поток благодарностей, хотя я и не думал в них изливаться. — Договорились. Вы отправитесь на Капри, а я приеду к вам погостить... Теперь побеседуем-ка немного о фильме.

«Давно пора», — подумал я и пристально посмотрел на Баттисту. Теперь я раскаивался в том, что столь поспешно принял его приглашение. Не знаю почему, но я почувствовал, что Эмилия не одобрила бы моей поспешности. «Я должен был бы сказать, что мне нужно все это обдумать, посоветоваться с женой», — упрекнул я себя с некоторым раздражением. Чувство благодарности, с каким я принял приглашение Баттисты, показалось мне неуместным, чуть ли не постыдным.

— Все как будто согласны с тем, — продолжал Баттиста, — что в кино надо найти что-то новое... Послевоенный период кончился, и возникла необходимость в новой формуле... Возьмем, к примеру, неореализм, он всем уже изрядно надоел. Проанализировав причины, по которым зрителям наскучили неореалистические фильмы, мы, возможно, сумеем понять, какой могла бы быть новая формула.

Я уже говорил, что Баттиста не любил играть в открытую. Он не был циником, во всяком случае, старался не казаться им. В отличие от большинства продюсеров Баттиста редко заговаривал о кассовых сборах; вопрос о прибылях, имеющий для него не меньшее, а может быть, даже большее значение, чем для других, он всегда оставлял в тени. Если, допустим, ему казалось, что сюжет фильма не обеспечит приличной прибыли, Баттиста никогда не заявлял, как другие продюсеры: «На таком сюжете не заработаешь ни гроша». Нет, он говорил: «Этот сюжет не нравится мне потому-то и потому-то». И причины, которые он приводил, всегда оказывались причинами эстетического или морального порядка. Однако в конечном счете все для него реша-

ла все-таки прибыль. После долгих споров о прекрасном и нравственном в киноискусстве, после всего того, что я называл дымовой завесой Баттисты, он неизменно выбирал коммерчески наиболее выгодное решение. Поэтому я уже давно утратил интерес к зачастую долгим и сложным рассуждениям Баттисты о хороших и плохих фильмах, о фильмах нравственных и безнравственных. Я обычно ждал, пока он ступит на твердую почву, а ею постоянно и неизменно оказывалась финансовая сторона вопроса. Теперь я тоже подумал: «Конечно, Баттиста не признается, что неореалистические фильмы надоели продюсерам потому, что они больше не приносят прибыли. Послушаем, как он все это подаст...»

И действительно, Баттиста изрек:

— По-моему, неореалистические фильмы надоели всем потому, что это нездоровые фильмы.

После этого он замолчал. Я искоса взглянул на Рейнгольда — тот даже глазом не моргнул. Баттиста, который своим молчанием хотел подчеркнуть слово «нездоровые», пояснил:

— Я хочу сказать, что они не помогают жить, не укрепляют веры в жизнь. Неореалистические фильмы угнетают зрителя, они пессимистичны, мрачны. И к тому же они стараются представить Италию страной нищих, к великой радости иностранцев, которым очень выгодно думать, что наша страна — нищая страна. Не говоря уже об этом, что само по себе достаточно важно, неореалистические фильмы слишком уж подчеркивают все негативное, все низменное, грязное, ненормальное в жизни человека... Одним словом, это пессимистические, вредные фильмы, фильмы, которые напоминают людям о трудностях, вместо того чтобы помогать им преодолевать эти трудности.

Я смотрел на Баттисту и не мог понять, действительно ли он думает то, что говорит, или это только прием. В его тоне слышалась даже какая-то искренность. Возможно, это была всего лишь искренность человека, который охотно соглашается верить в то, во что ему выгодно верить, но все-таки он казался искренним.

Баттиста продолжал развивать свои мысли. Тембр голоса у него был какой-то неестественный, почти металлический, даже когда он старался быть любезным.

— Рейнгольд сделал мне предложение, которое меня заинтересовало. Он обратил мое внимание на то, что в последнее время большой успех имели фильмы на библейские сюжеты, Они делали самые крупные сборы.

Баттиста отметил это, но словно в скобках, как факт, которому лично он не хотел бы придавать слишком большого значения.

— А почему?.. Потому что Библия — самая здоровая книга из всех когда-либо существовавших... Так вот, Рейнгольд сказал мне: «У англосаксов имеется Библия, а у вас, людей средиземноморской культуры, есть Гомер...» Не так ли?

Он обернулся к Рейнгольду, словно спрашивая, правильно ли передал его слова.

— Именно так, — подтвердил Рейнгольд, но на его расплывшемся в улыбке лице мелькнула тень тревоги.

— Для вас, средиземноморцев, — Баттиста продолжал цитировать Рейнгольда, — Гомер — то же, что Библия для англосаксов. Почему бы нам не сделать фильм, например, по «Одиссее»?

Наступило молчание. Я был ошеломлен и, желая выиграть время, спросил:

— Имеется в виду «Одиссея» целиком или какой-нибудь эпизод из нее?

— Вопрос этот мы уже обсудили, — быстро ответил Баттиста, — и пришли к выводу, что лучше будет обратиться к материалу всей «Одиссеи». Впрочем, это не так уж важно. Важнее другое. — Он повысил голос. — Перечитав «Одиссею», я, наконец, нашел в ней то, чего я уже давно и безотчетно ищу... То, чего нельзя найти в неореалистических фильмах. И то, чего, к примеру, я никогда не находил в тех сюжетах, какие в последнее время предлагали мне вы, Мольтени. Одним словом, то, что я чувствую, но не могу хорошенько выразить и что так же необходимо для киноискусства, как и для жизни — поэзию.

Я снова взглянул на Рейнгольда. Тот по-прежнему улыбался. Пожалуй, его улыбка стала даже еще шире. Он одобрительно кивал головой. Неожиданно для себя самого я сказал почти резко:

— Разумеется, поэзии в «Одиссее» сколько угодно... Все дело в том, чтобы передать ее в фильме.

— Верно, — сказал Баттиста. Он взял со стола линейку и прицелился ею в меня. — Верно... Но для этого и существуете вы оба: вы, Мольтени, и вы, Рейнгольд... Я знаю, что поэзия там есть, а ваше дело извлечь ее оттуда.

— «Одиссея», — заметил я, — это целый мир... Можно извлечь из нее все, что пожелаешь. Надо, однако, знать, с какой стороны к ней подступиться.

Казалось, Баттисту удивило, что его предложение не вызвало у меня никакого энтузиазма. Он пристально посмотрел на

меня, словно хотел понять, что скрывается за моей холодностью. Потом, по-видимому отложив выяснение этого на некоторое время, встал из-за стола и, откинув назад голову, засунув руки в карманы, принялся расхаживать по комнате из угла в угол. Мы повернулись и следили за ним глазами. Расхаживая по комнате, Баттиста говорил:

— Больше всего меня потрясло в «Одиссее» то, что поэзия Гомера всегда имеет характер зрелища. Говоря о зрелище, я имею в виду то, что неизменно и безоговорочно нравится публике. Возьмем, к примеру, эпизод с Навзикаей. Прелестные голые девушки плещутся в воде, а Одиссей наблюдает за ними, спрятавшись в кустах... Да это просто вариант сцены из «Купающихся красавиц». Или возьмите Полифема: одноглазое страшилище, великан, сказочное чудовище... Но это же Кинг-Конг — один из популярнейших персонажей довоенного кино. Или вспомните Цирцею с ее дворцом. Это Антинея из «Атлантиды»... Вот что мы называем зрелищем. Но, как я говорил, тут не просто зрелище, это также и поэзия. — Баттиста был в восторге. Остановившись перед нами, он произнес: — Вот как я представляю себе «Одиссею», выпущенную кинофирмой «Триумф-фильм».

Я промолчал. Я понимал, что поэзия для Баттисты совсем не то, что для меня. И если исходить из его понимания поэзии, «Одиссея» производства «Триумф-фильм» должна быть сделана по образцу голливудских фильмов на библейские сюжеты — с чудовищами, обнаженными женщинами, соблазнительными сценами, эротикой и театральной помпезностью. В сущности, говорил я себе, у Баттисты вкус такой же, как и у итальянских продюсеров эпохи Д'Аннунцио. Да и как может быть иначе?

Баттиста уселся за письменный стол и спросил:

— Ну, так что вы на это скажете, Мольтени?

Каждому, кто знаком с миром кино, известно: есть фильмы, о которых еще до того, как написана хотя бы одна строка сценария, можно с уверенностью сказать, что они будут поставлены; и есть другие фильмы — даже после того, как заключен контракт и написаны сотни страниц сценария, твердо знаешь, что они никогда не будут закончены. Пока Баттиста говорил, профессиональное чутье сразу же подсказало мне, что его «Одиссея» — один из тех фильмов, о которых много шумят, но которые так и не выпускают на экран. Почему я так решил? Я не смог бы этого объяснить. Не знаю, может быть, из-за непомерных претензий подобного фильма, а может быть, из-за

того впечатления, которое произвела на меня внешность Рейнгольда, столь величественного, пока он сидел, и оказавшегося таким маленьким, когда он встал. Я чувствовал, что, подобно Рейнгольду, фильм будет иметь великолепное начало и жалкий конец. Совсем как в известной строке о сиренах — «Desinit in piscem» *. Но почему Баттиста пожелал поставить такой фильм? Я знал, что он очень осторожен и не склонен рисковать. Может быть, подумал я, он надеется, сыграв на имени Гомера, на «Одиссее» — этой, по выражению Рейнгольда, Библии средиземноморских народов, — получить солидные ассигнования, возможно даже из Америки. В то же время я знал, что, если фильм не будет поставлен, Баттиста — в этом он ничуть не отличался от других продюсеров — найдет какой-нибудь предлог, чтобы не оплатить мой труд. Так всегда бывает: если работа над фильмом оказывается напрасной, продюсер в большинстве случаев предлагает отложить оплату уже написанного сценария до производства следующего фильма, и бедняге сценаристу не остается ничего другого, как согласиться. Поэтому я сказал себе, что, как бы то ни было, мне следует обезопасить себя, потребовав немедленного подписания контракта, а главное, выплаты аванса. Для этого существовал лишь один способ: сослаться на трудности и заставить Баттисту добиваться моего сотрудничества.

— Мне кажется, что это превосходная мысль, — сухо ответил я.

— Однако не видно, чтобы она привела вас в восторг.

— Боюсь, что это не мой жанр, что я... не справлюсь.

— Но почему? — Заметно было, что Баттиста злится. — Вы всегда утверждали, что хотели бы работать над серьезными фильмами... А теперь, когда я даю вам такую возможность, вы отказываетесь.

— Понимаете, Баттиста, — возразил я, — у меня склонность к психологическим фильмам. А этот фильм, если я правильно вас понял, должен быть чисто зрелищным, вроде американских фильмов на библейские сюжеты.

Баттиста не успел ответить — совершенно неожиданно в разговор вмешался Рейнгольд.

— Выслушайте меня, синьор Мольтени, — сказал он, выпуская на лицо свою лунообразную улыбку, и это напомнило мне жест, которым актер приклеивает себе усы. Чуть наклонившись

---

* «Все кончается рыбьим хвостом» (*лат.*). Из «Послания Пизонам» Горация.

вперед, он заговорил почтительно, даже заискивающе. — Синьор Баттиста прекрасно рассказал о нашем замысле... Он дал очень верное представление о том, какой фильм я намерен поставить с вашей помощью. Но синьор Баттиста говорил как продюсер, обращая внимание главным образом на элементы зрелищности... Если вы испытываете склонность к психологическим сюжетам, вам непременно надо работать над этим фильмом. Потому что в фильме будет дан психологический анализ взаимоотношений Одиссея и Пенелопы... Я хочу сделать фильм о человеке, который любит свою жену, но не любим ею.

Я растерялся, особенно потому, что озаренное театральной улыбкой лицо Рейнгольда приблизилось ко мне и, казалось, отрезало все пути к отступлению. Надо было что-то ответить, и притом сразу же. И вот в тот самый момент, когда я собирался возразить: «Но ведь неверно, что Пенелопа не любит Одиссея», — последняя фраза режиссера неожиданно напомнила мне о моих отношениях с Эмилией, ведь я сам был человеком, который любит свою жену и не любим ею. И в то же мгновенье по какой-то непонятной ассоциации мне вспомнилось нечто такое, что, как я тут же решил, могло дать ответ на вопрос, который я задавал себе в приемной, ожидая вызова к Баттисте: почему Эмилия больше не любит меня?

Сейчас, когда я рассказываю, может показаться, что на это ушло много времени. В действительности же воспоминания пронеслись в моем мозгу стремительно, в какую-то долю секунды. Так вот, пока Рейнгольд склонял ко мне свое улыбающееся лицо, я вдруг увидел себя в нашей гостиной диктующим сценарий. Я диктовал в течение нескольких дней, работа приближалась к концу, а я все еще не мог сказать, хорошенькой была машинистка или нет. Пустячный случай, так сказать, открыл мне на это глаза. Машинистка печатала какую-то фразу, когда я, взглянув на лист через ее плечо, увидел, что она сделала ошибку. Я наклонился и исправил ошибку, напечатав сам нужное слово. Кладя пальцы на клавиши, я непроизвольно коснулся ее руки. Я заметил, что рука у нее большая, сильная и как-то совсем не вяжется с хрупкой фигурой. Она не отдернула руку. Я напечатал следующее слово и на этот раз, пожалуй, уже намеренно тронул ее пальцы. Затем я взглянул ей в лицо, она тоже смотрела на меня, выжидающе и как бы поощряя. Неожиданно, словно увидев ее в первый раз, я понял, что она хорошенькая. У нее был маленький чувственный рот, капризный носик и пышные, зачесанные назад волосы. Ее тонкое, бледное лицо выражало разочарование и досаду. И еще

одна деталь — когда она произнесла с гримаской: «Простите, я отвлеклась», — меня поразил резкий, сухой тембр ее довольно неприятного голоса. Так вот, взглянув на нее, я увидел, что она не только не опустила глаза, но даже посмотрела на меня вызывающе. Должно быть, я немного смутился, и с этой минуты в течение нескольких дней мы только и делали, что обменивались взглядами. Точнее сказать, посматривала на меня она — причем нагло, с бесстыдным вызовом. Ее взгляд преследовал меня, когда я отводил глаза в сторону, старался удержать мой взгляд, когда наши глаза встречались, и погружался в мои глаза, когда я смотрел на нее. Сперва она поглядывала на меня лишь изредка, потом все чаще и чаще. В конце концов, не зная, как уклониться от ее взгляда, я стал диктовать, прохаживаясь у нее за спиной. Но упрямая кокетка сумела выйти из положения, глядя на меня в большое зеркало, висящее на противоположной стене. Всякий раз, когда я поднимал глаза, я встречал в зеркале ее пристальный взгляд. В конце концов случилось то, чего она так старательно добивалась. Однажды, исправляя через ее плечо какую-то ошибку, я поднял на нее глаза, наши взгляды встретились, и губы соединились в коротком поцелуе. Характерно, что, поцеловавшись со мной, она тут же сказала: «Наконец-то! Я начала уже думать, что ты так никогда и не решишься». По-видимому, она была уверена, что теперь я у нее в руках, настолько уверена, что не стала больше целоваться со мной и сразу же принялась за работу. Я почувствовал смущение и раскаяние. Конечно, девушка мне нравилась, иначе я не стал бы ее целовать, но я знал, что не люблю ее. Я поцеловал ее потому, что к этому меня вынудила ее дерзкая и лестная для моего мужского тщеславия настойчивость. Теперь она печатала, не поднимая глаз от машинки. Я смотрел на ее бледное круглое личико, на густую гриву черных волос, и она казалась мне все более хорошенькой. Потом, вероятно нарочно, она сделала ошибку, и, желая исправить ее, я снова наклонился. Она следила за каждым моим движением. Как только моя голова приблизилась к ее лицу, она быстро повернулась, обняла меня и, схватив мою голову, прижала свой рот к моим губам. В эту минуту дверь распахнулась, и в комнату вошла Эмилия.

Я думаю, не стоит подробно рассказывать, что вслед за этим произошло. Эмилия сразу же вышла. Я торопливо сказал девушке: «Синьорина, на сегодня работа закончена... Идите домой» — и чуть ли не бегом бросился в комнату Эмилии. Я ждал сцены ревности, но, когда я вошел, Эмилия мне только сказала: «Ты бы хоть стер с губ помаду». Я вытер губы, сел рядом с

ной и начал оправдываться, рассказывая, как все произошло. Она слушала меня немного недоверчиво, но, в сущности, снисходительно, а потом сказала, что если я действительно люблю машинистку, то не стоит извиняться, она, конечно, согласится дать мне развод. Она сказала это без всякого раздражения, грустно и мягко, словно без слов просила меня сказать «нет». В конце концов мои долгие объяснения и крайнее отчаяние (мысль о том, что Эмилия оставит меня, привела меня в ужас), по-видимому, убедили ее, и, немного поупрямившись, она согласилась меня простить. В тот же день я в присутствии Эмилии позвонил машинистке и сообщил ей, что больше не нуждаюсь в ее услугах. Девушка попыталась назначить мне свидание, но я ответил уклончиво и с тех пор ее больше не видел.

Как я уже говорил, может показаться, что эти воспоминания заняли много времени, в действительности же они озарили мое сознание как вспышка молнии: я вдруг увидел Эмилию, открывающую дверь в тот самый момент, когда я целовал машинистку. Несомненно, подумал я, все развивалось следующим образом: Эмилия сделала вид, что не придала никакого значения этому случаю, но на самом деле он продолжал ее мучить, хотя сама она этого, быть может, и не сознавала. Позднее, вспоминая этот инцидент, она наматывала вокруг него все более тугой и плотный клубок растущего разочарования. Поцелуй, который был для меня минутной слабостью, нанес ее душе, выражаясь языком психиатров, травму, рану, которая со временем не только не зарубцевалась, но стала еще болезненнее.

Должно быть, пока я думал об этом, вид у меня был очень рассеянный, потому что вдруг, словно из густого тумана, до меня донесся встревоженный голос Рейнгольда:

— Вы слушаете меня, синьор Мольтени?

Туман внезапно рассеялся, я встрепенулся и увидел перед собой улыбающееся лицо режиссера.

— Простите, — сказал я. — Я немного отвлекся... Я задумался над тем, что вы мне сказали: человек, который любит свою жену, но не любим ею... — Не зная, однако, что сказать дальше, я привел возражение, какое прежде всего пришло мне на ум: — Но ведь в поэме Гомера Одиссей любим Пенелопой... В известном смысле вся поэма держится на любви Пенелопы к Одиссею.

— Это верность, синьор Мольтени, — Рейнгольд улыбнулся, — а не любовь... Пенелопа верна Одиссею, но мы не знаем, насколько она его любит. А как вам известно, можно быть очень верным и не любить... Иногда верность может оказаться даже местью, расплатой за любовь... Верность, а не любовь.

Эти слова Рейнгольда меня совсем ошеломили. Я опять подумал об Эмилии. Я спросил себя, не предпочел бы я ее измену с последующим раскаяньем верности и равнодушию. Конечно, да. Если бы Эмилия изменила мне, а потом почувствовала себя виноватой, я мог бы держать себя с ней увереннее. Но я только что доказал себе, что это не Эмилия мне изменила, а я изменил Эмилии. Я снова погрузился в свои мысли, когда вдруг услышал голос Баттисты:

— Словом, Мольтени, мы договорились, вы будете работать с Рейнгольдом.

— Договорились, — выдавил я через силу.

— Великолепно. — В голосе Баттисты я почувствовал удовлетворение. — Сделаем так: завтра утром Рейнгольд должен уехать в Париж, он пробудет там неделю, за эту неделю вы, Мольтени, напишете и представите мне либретто сценария «Одиссеи»... Как только Рейнгольд вернется из Парижа, вы оба отправитесь на Капри и немедленно приметесь за работу.

После этой завершившей наш разговор фразы Рейнгольд встал, я машинально поднялся вслед за ним. Я знал, что мне нужно заговорить о контракте и об авансе, иначе Баттиста обведет меня вокруг пальца. Но меня волновали мысли об Эмилии, а еще больше — странное совпадение рейнгольдовской интерпретации Гомера с фактами моей личной жизни. Все-таки, когда мы подошли к двери, я пробормотал:

— А контракт?

— Контракт готов, — неожиданно благодушно ответил Баттиста. — А вместе с контрактом и аванс... Вам надо только зайти в канцелярию, подписать контракт и получить деньги...

Я растерялся от неожиданности. Я ожидал, что, как бывало при работе над другими сценариями, Баттиста будет всячески вилять, стараясь снизить мой гонорар или затянуть выплату аванса, а тут вдруг он платит мне сразу и без проволочек. Пока мы шли в соседнюю комнату, где помещалась канцелярия, я не удержался и промямлил:

— Спасибо, Баттиста... Вы знаете, я сижу без денег.

Я кусал себе губы. Прежде всего, неправда, будто я сидел без денег, во всяком случае, дела мои были не настолько плохи, как можно было бы заключить из сказанной мною фразы. Да и вообще я сразу почувствовал, не знаю даже почему, что мне не следовало этого говорить. Баттиста подлил масла в огонь.

— Я догадывался об этом, мой милый, — сказал он, покровительственно похлопывая меня по плечу, — и обо всем позаботился.

И, обратившись к одному из секретарей, сидевших за барьером, он распорядился:

— Это — синьор Мольтени... контракт и аванс.

Секретарь встал, открыл папку и извлек из нее уже готовый контракт, к которому скрепкой был приколот бланк расписки в получении аванса. Пожав Рейнгольду руку, Баттиста снова похлопал меня по плечу, пожелал мне удачной работы и вернулся к себе в кабинет.

— Синьор Мольтени, — сказал Рейнгольд, подходя ко мне и протягивая руку, — мы увидимся, как только я вернусь из Парижа... Тем временем сделайте либретто сценария «Одиссеи», представьте его синьору Баттисте и обсудите с ним.

— Хорошо, — сказал я, посмотрев на него с некоторым изумлением, мне показалось, что он понимающе и очень по-дружески кивнул мне.

Заметив мой удивленный взгляд, Рейнгольд вдруг взял меня под руку и прошептал на ухо:

— Не волнуйтесь... Не бойтесь... Пусть Баттиста говорит все, что ему угодно... Мы сделаем психологический фильм... только психологический.

Я обратил внимание на то, что слово «психологический» Рейнгольд произнес на немецкий манер: «псюхологический». С коротким поклоном он пожал мне руку и вышел, стуча каблуками. Я проводил его взглядом. Голос секретаря заставил меня вздрогнуть:

— Синьор Мольтени... Не будете ли вы так любезны расписаться вот здесь?..

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Когда я пришел домой, было только семь часов. Я позвал Эмилию, но она не откликнулась — квартира была пуста. Эмилия ушла, и вряд ли ее следовало ждать раньше ужина. Я был разочарован и даже немного огорчен тем, что ее не оказалось дома: я рассчитывал, что застану ее и но откладывая поговорю о случае с машинисткой. Я решил, что причиной нашего разлада послужил именно тот поцелуй, и, преисполненный новой уверенности в себе, надеялся, что мне удастся несколькими словами разъяснить недоразумение, а затем сообщить ей приятное известие о только что заключенном контракте, о полученном авансе, о поездке на Капри. Хотя объяснение

с Эмилией откладывалось всего лишь на два часа, я все равно испытывал разочарование и досаду и даже видел в этом плохое предзнаменование. Сейчас я был уверен в себе, но кто знает, сумею ли я найти столь же убедительные слова через два часа. Потому что, хотя я и обманывал себя, тешил мыслью, что мне удалось отыскать конец нити и распутать клубок, разобраться, в чем истинная причина того, что Эмилия меня разлюбила, в глубине души я далеко не был уверен в этом. И достаточно было мне не застать Эмилии дома, как я снова почувствовал тревогу и впал в дурное настроение.

Подавленный, раздраженный, растерянный, я прошел в кабинет и стал рыться в книжном шкафу, ища «Одиссею» в переводе Пиндемонте. Найдя книгу, я сел к письменному столу, вставил в пишущую машинку лист бумаги и, закурив, приготовился изложить краткое содержание поэмы. Я надеялся, что работа поможет мне успокоиться или по крайней мере забыться. К этому средству я не раз прибегал и прежде. Раскрыв книгу, я не спеша прочитал первую песнь. Затем напечатал заголовок: «Краткое содержание «Одиссеи» — и приступил к изложению. «Троянская война окончилась несколько лет назад. Все участвовавшие в ней греческие герои возвратились домой. Лишь один Одиссей находится еще вдали от родного острова и своей семьи». Однако, дойдя до этого места, я остановился, сомневаясь, следует ли в кратком изложении описывать совет богов, на котором обсуждался вопрос о возвращении Одиссея на Итаку. Я считал этот эпизод важным моментом, поскольку он вносит в поэму идею неотступности рока, тщеты и вместе с тем возвышенности героических усилий человека. Выбросить этот эпизод означало исключить весь внеземной мир поэмы, отрицать всякое божественное вмешательство, отказаться от изображения столь милых и исполненных высокой поэзии богов. Баттиста, несомненно, не пожелает даже слышать о них — он сочтет богов всего лишь пустыми болтунами, хлопочущими о том, с чем герои поэмы прекрасно могут справиться и сами. Что до Рейнгольда, то его недвусмысленное желание создать чисто психологический фильм тоже не предвещало для богов ничего хорошего: психологизм, разумеется, исключал идею рока и самую возможность божественного предопределения: сторонники психоанализа, в лучшем случае, находят фатальную неизбежность в глубинах человеческой души, в темных закоулках так называемого подсознания. Поэтому боги излишни — они не эффектны сценически и неоправданны психологически... Я думал об этом все более вяло, мысли путались. Время

от времени взгляд мой падал на пишущую машинку, и я говорил себе, что должен продолжать работу, но мне это не удавалось, я не в силах был шевельнуть пальцем; я неподвижно сидел за письменным столом, устремив взгляд в пустоту и глубоко задумавшись. В действительности я не столько размышлял, сколько пытался осмыслить все те противоречивые и неприятные чувства, которые наполняли мое сердце горечью и ледяным холодом. Однако я был так подавлен, испытывал такую усталость и глухое раздражение, что никак не мог разобраться, что же происходит в моей душе. И вдруг совершенно неожиданно — так по недвижной поверхности стоячего пруда пробегает легкая рябь — у меня мелькнула мысль: «Сейчас я собираюсь подвергнуть «Одиссею» той хирургической операции, какой обычно подвергают художественное произведение при экранизации... а когда сценарий будет закончен, книга вернется в шкаф, встанет среди прочих использованных мной при работе над другими сценариями томов... и через несколько лет в поисках какой-нибудь книги, которую можно было бы так же изуродовать для очередного фильма, я вновь увижу «Одиссею» и скажу себе: «Ах да, тогда я писал сценарий вместе с Рейнгольдом... а потом дело кончилось ничем... кончилось ничем, после того как мы целыми днями с утра до вечера говорили об Одиссее, Пенелопе, циклопах, Цирцее, сиренах... и говорили впустую, потому... потому что не оказалось денег на постановку». При этой мысли я почувствовал, как во мне вновь поднимается глубокое отвращение к ремеслу, которым я вынужден был заниматься. И снова с острой болью я ощутил, что отвращение это рождает во мне уверенность в том, что Эмилия меня больше не любит. До сих пор я работал для Эмилии, только для нее одной; когда же я убедился, что она меня больше не любит, эта работа утратила всякий смысл.

Не знаю, сколько времени я просидел в такой позе, неподвижно застыв перед пишущей машинкой, устремив взгляд в окно. Внезапно я услышал, как хлопнула входная дверь, затем до меня донесся шум шагов в гостиной, и я понял — возвратилась Эмилия. Но я не тронулся с места, не сделал ни одного движения. Через некоторое время у меня за спиной приоткрылась дверь и раздался голос Эмилии. Она спросила:

— Ты здесь? Что ты делаешь? Работаешь?

Тогда я обернулся.

Она стояла на пороге в шляпке и со свертком в руках. Я ответил с легкостью, которая после стольких сомнений и раздумий самого меня удивила:

— Нет, не работаю... Думаю, следует ли вообще соглашаться писать для Баттисты этот новый сценарий.

Она закрыла за собой дверь, подошла ко мне.

— Ты был у Баттисты?

— Да.

— И вы не столковались?.. Он тебе мало предложил?

— Да нет, предложил он мне достаточно... мы сговорились.

— Тогда в чем же дело?.. Может быть, тебе не нравится сюжет?

— И сюжет неплох.

— А что за сюжет?

Прежде чем ответить, я взглянул на нее, она была все такой же рассеянной и равнодушной, видно было, что говорит она со мной, словно отбывает повинность.

— «Одиссея», — ответил я кратко.

Она положила сверток на письменный стол, затем подняла руки и, осторожно сняв шляпку, тряхнула головой, чтобы распушились примятые волосы. Но лицо ее ничего не выражало и взгляд оставался рассеянным: она либо не поняла, что речь идет о бессмертной поэме, либо это название — пожалуй, так оно и было, — хоть она его и слышала, ничего не говорило ей.

— Ну так что же, — произнесла она наконец почти нетерпеливо, — она тебе не нравится?

— Я тебе уже сказал, что нравится.

— Эта та самая «Одиссея», которую проходят в школе? Почему же ты не хочешь за нее браться?

— Потому что я вообще не намерен больше этим заниматься.

— Но ведь еще сегодня утром ты решил дать согласие!

И вдруг я понял: наступил момент для нового, на этот раз действительно окончательного объяснения. Я вскочил, схватил ее за руку и сказал.

— Пойдем в другую комнату, я должен с тобой поговорить.

Она испугалась, быть может, не столько моего тона, сколько того, как судорожно я сжал ей руку.

— Что с тобой... ты сошел с ума?

— Нет, я не сошел с ума, пойдем поговорим.

С этими словами я потащил упиравшуюся Эмилию в гостиную и, распахнув дверь, подтолкнул ее к креслу.

— Садись.

А сам сел напротив и сказал:

— Теперь поговорим.

Она посмотрела на меня, во взгляде ее было недоверие и еще не прошедший испуг.

— Ну говори, я тебя слушаю.

— Вчера, как ты помнишь,— начал я холодным и бесстрастным тоном, — я сказал тебе: мне не хочется писать этот сценарий, так как я не уверен, что ты меня любишь... А ты ответила, что любишь меня и советуешь мне взяться за него... Не так ли?

— Да, верно.

— Так вот, — произнес я решительно, — я думаю, что ты мне солгала... Не знаю почему, может, из жалости ко мне, может, из собственной выгоды...

— О какой выгоде ты говоришь? — гневно перебила она.

— А вот о какой: ты сможешь по-прежнему жить в квартире, которая тебе так нравится.

Ее ответ поразил меня своей резкостью. Она поднялась с кресла и почти выкрикнула:

— Откуда ты это взял?.. Да мне эта квартира не нужна, совершенно не нужна... Я готова сию же минуту переехать обратно в меблированную комнату... Видно, ты меня не знаешь... мне она совершенно не нужна...

Ее слова причинили мне острую боль, как бывает, когда с презрением отвергают твой дар, ради которого пришлось принести немало жертв. К тому же в этой квартире, о которой она говорила теперь с таким пренебрежением, последние два года заключалась вся наша жизнь, ради этой квартиры я пожертвовал любимой работой, отказался от заветных надежд. Не веря своим ушам, я тихо спросил:

— Она тебе не нужна?

— Нет, совершенно не нужна, — голос ее дрожал от непонятной ярости и презрения, — не нужна... Ты понял? Не нужна!

— Но вчера ты сказала, что хотела бы остаться в этой квартире.

— Я сказала это, чтобы сделать тебе приятное... думала, ты ею дорожишь.

Я изумился: выходит, это я, пожертвовавший своим призванием драматурга, я, никогда в жизни действительно не придававший значения таким вещам, выходит, это я дорожил квартирой? Поняв, что по какой-то неизвестной мне причине она начинает вести спор недобросовестно, я решил: незачем ее ожесточать, возражая ей и напоминая о том, чего она прежде так желала и что теперь упрямо отвергает. Впрочем, квартира была лишь деталью, важно было совсем другое.

— Оставим квартиру в покое, — сказал я, пытаясь овладеть

собой и сохранить примиряющий и рассудительный тон,— я не об этом хотел поговорить с тобой, а о твоем чувстве ко мне... Вчера ты мне солгала — не знаю, с какой целью, — сказав, что любишь меня... Ты мне солгала, и именно поэтому я не хочу больше работать в кино... Ведь я делал это только ради тебя, а если ты меня больше не любишь, мне совершенно незачем всем этим заниматься.

— Но с чего ты взял, что я солгала? Что дает тебе основание так думать?

— Ничего и вместе с тем все... Об этом мы уже говорили с тобой вчера, я не хочу снова заводить разговор... Такие вещи трудно объяснить, их чувствуешь... И я чувствую, что ты меня разлюбила...

Эмилия вдруг сделала какое-то непроизвольное движение, и впервые за все время разговора слова ее прозвучали искренне.

— Ну зачем тебе до всего допытываться? — глядя в окно, спросила она неожиданно печальным и усталым голосом.— Зачем? Оставь все как есть... Так будет лучше для нас обоих.

— Значит, — не отставал я, — ты признаешь, что я, возможно, и прав?

— Ничего я не признаю... Я хочу только одного, чтобы ты оставил меня в покое... — В ее голосе прозвучали слезы. — Ну хватит, я пойду... мне надо переодеться.

Поднявшись, она направилась к двери. Но я успел остановить ее, схватив за руку. Таким же привычным движением, как и прежде: бывало, она поднималась, говоря, что ей надо идти, а я, когда она проходила мимо, ловил ее руку, сжимая узкое и длинное запястье. Тогда я не давал ей уйти, потому что во мне неожиданно поднималось желание, она это знала и послушно останавливалась в привычном ожидании, а я, не вставая, привлекал ее к себе и прижимался лицом к ее платью или сажал к себе на колени. Все это, после недолгого сопротивления и ласк, обычно кончалось объятиями на том же кресле или соседнем диване. Однако на этот раз — и я отметил это с горечью — у меня и в мыслях этого не было. Она не вырывалась, но отстранилась и, глядя на меня сверху вниз, спросила:

— Ну чего ты от меня в конце концов хочешь?

— Правды.

— Ты непременно хочешь, чтобы наши отношения испортились... Вот чего ты хочешь!

— Значит, ты допускаешь, что эта правда будет мне неприятна?

— Ничего я не допускаю.

— Но ведь ты сказала: наши отношения испортятся.

— Я сказала это просто так... а теперь пусти меня.

Однако она не вырывалась, даже не двигалась, а просто ждала, когда я ее отпущу. Я подумал, что этому холодному и презрительному терпению предпочел бы яростную вспышку: и со слабой надеждой пробудить в ней чувство любви я обнял ее. На Эмилии была длинная и очень широкая юбка со множеством складок: под моими руками она, словно спущенный парус вокруг корабельной мачты, плотно обвилась вокруг ее стройных и тугих ног. Я почувствовал, как во мне вспыхнуло желание, оно было непроизвольным, и в то же время я так ясно сознавал полную невозможность, неосуществимость его, что у меня сжалось сердце. Подняв голову, я сказал:

— Эмилия, что ты затаила против меня?

— Решительно ничего... А теперь пусти!

Обеими руками я еще крепче обхватил ее ноги, уткнулся лицом в подол. Обычно после этого я сразу чувствовал, как на голову мне опускается ее большая рука, прикосновения которой я так любил, и медленно, нежно гладит по волосам. Это было признаком ее ответного волнения, знаком согласия. Но на этот раз рука была безжизненной и вялой. И это столь отличное от прежнего поведение Эмилии ранило меня в самое сердце. Я отпустил ее, но тотчас вновь схватил за руку.

— Нет, не уходи, — воскликнул я, — ты должна сказать мне правду... Сейчас же... Ты не уйдешь, пока не скажешь мне всей правды.

Она по-прежнему стояла, глядя на меня сверху вниз; я не видел ее лица, но мне казалось, я ощущаю устремленный на мою поникшую голову взгляд и читаю в нем нерешительность.

— Ну что ж, — произнесла она наконец, — если ты настаиваешь... Я ведь согласна была, чтобы все продолжалось по-прежнему... Но раз ты сам этого хочешь, так слушай: я тебя действительно больше не люблю... Вот тебе правда.

Мы можем сколько угодно рисовать в своем воображении самые неприятные перспективы и даже быть уверенными, что именно так и произойдет в действительности. Однако, когда эти наши предположения, или лучше сказать уверенность, подтверждаются, это всегда бывает для нас неожиданным и болезненным. В сущности, я давно знал, что Эмилия меня разлюбила. Но когда я услышал об этом из ее уст, сердце мое болезненно сжалось. Она меня больше не любит — слова, которые я столько раз мысленно повторял себе, теперь, когда она их произнесла, приобретали совершенно иной смысл. Теперь они были фак-

том, а не предположением, которое, впрочем, было почти что уверенностью. Они стали весомыми, приобрели ту осязаемость, какой никогда раньше не имели в моем воображении. Я уже не помню хорошенько, как воспринял эти слова. Возможно, услышав их, я вздрогнул: так человек, который встает под ледяной душ, прекрасно зная, что он ледяной, все равно, попав под струю, вздрагивает от холода, словно это было для него полной неожиданностью. Я постарался взять себя в руки.

— Иди сюда, — стараясь говорить мягко, произнес я, — сядь и объясни, почему ты меня разлюбила.

Она подчинилась и снова села, на этот раз на диван. Затем немного раздраженно ответила:

— Объяснять здесь нечего... Я тебя больше не люблю, это все, что я могу тебе сказать.

Чем больше старался я быть рассудительным, тем острее пронзала мне сердце нестерпимая боль. С вымученной улыбкой я сказал:

— Однако согласись, что ты должна дать мне хоть какое-то объяснение... Ведь даже когда отказывают прислуге, ей тоже объясняют причину...

— Я тебя разлюбила, мне нечего больше сказать.

— Но почему?.. Ведь ты же любила меня?

— Да, любила... очень... Но теперь не люблю больше.

— Ты меня очень любила?

— Да, очень, а теперь все кончено.

— Но почему? Ведь должна же быть какая-то причина!

— Может, она и есть... Но я не могу ее объяснить... Знаю только, что больше не люблю тебя.

— Да не повторяй же ты этого так часто! — почти непроизвольно вырвалось у меня.

— Ты сам вынуждаешь меня повторять... Ты никак не хочешь понять моих слов, оттого я и повторяю их.

— Теперь я уже понял.

Наступило молчание. Эмилия закурила сигарету, она курила, опустив глаза. Я сидел, согнувшись, обхватив голову руками. Наконец я спросил:

— А если я назову тебе причину, ты признаешь ее?

— Я сама ее не знаю...

— Но если ты услышишь об этом от меня, ты, быть может, со мной согласишься?

— Ну что ж, говори.

Мне хотелось крикнуть ей: «Не смей так вести себя со мной!» — до того острую боль причинял мне ее голос, в котором

явственно звучало равнодушие и желание поскорее кончить наш разговор. Но я сдержался и, пытаясь сохранить прежний рассудительный тон, начал:

— Ты помнишь ту девушку, которая несколько месяцев назад приходила к нам перепечатывать сценарий... машинистку... Ты застала нас, когда мы целовались... Это была с моей стороны глупая слабость... Но тот поцелуй, клянусь тебе, был первым и последним, у меня с ней ничего не было, и после того я никогда ее больше не видел. Теперь скажи мне правду: не из-за этого ли поцелуя ты стала отдаляться от меня?.. Скажи мне правду... Неужели из-за этого ты могла меня разлюбить?

Говоря это, я внимательно следил за Эмилией. Сначала на лице ее отразилось некоторое удивление, затем она отрицательно покачала головой, словно мое предположение показалось ей совершенно нелепым. Потом я отчетливо увидел, как выражение ее лица изменилось — очевидно, у нее неожиданно родилась какая-то мысль.

— Ну, допустим, — медленно ответила она, — что дело в том поцелуе... Теперь ты успокоился?

Я сразу же почувствовал, что причина вовсе не в поцелуе, как она хотела сейчас меня убедить. Все было ясно: сначала Эмилия просто удивилась моему предположению, столь далекому от истины, а затем ей неожиданно пришла в голову мысль, что ей выгодно с ним согласиться. Я чувствовал, что причина ее охлаждения ко мне гораздо серьезнее, чем какой-то невинный поцелуй. Возможно, она не хотела открывать мне этой причины из-за не совсем еще умершего чувства уважения ко мне. Эмилия не была злой и не любила кого-нибудь обижать. Очевидно, истинную причину она считала для меня обидной.

— Неправда, дело не в том поцелуе, — возразил я мягко.

Она удивилась:

— Почему?.. Ведь я же тебе сказала, что дело именно в нем.

— Нет, дело не в поцелуе... Тут что-то другое.

— Не понимаю, что ты хочешь этим сказать.

— Прекрасно понимаешь!

— Нет, не понимаю, честное слово,

— А я говорю, что понимаешь.

На лице ее отразилось нетерпение, и она сказала увещевающим тоном, словно уговаривая непослушного ребенка:

— Ну зачем тебе это нужно знать?.. Что ты за человек такой... вечно тебе нужно до всего допытываться... Какая тебе разница?

— Я предпочитаю знать правду, какова бы она ни была, а не довольствоваться ложью... Кроме того, если ты не скажешь мне правды, я могу вообразить себе бог знает что... может быть, очень плохое.

Она молча и как-то странно посмотрела на меня.

— Какая тебе разница, — повторила она, — ведь твоя-то совесть спокойна?

— Конечно, спокойна.

— Ну так какое же тебе дело до остального?

— Значит, правда... — продолжал я настаивать,— значит, что-нибудь очень плохое?

— Я этого не говорила... Я сказала только, что если твоя совесть спокойна, то тот поцелуй вряд ли может волновать тебя.

— Моя совесть спокойна, это верно... Но это еще ничего не значит... порой совесть тоже может обмануть.

— Только не твоя, не правда ли? — сказала она с еле заметной иронией, которая, однако, не могла ускользнуть от меня и показалась даже еще обидней, чем ее равнодушный тон.

— И моя тоже.

— Ну ладно, мне надо идти, — неожиданно произнесла она,— ты хочешь мне еще что-то сказать?

— Нет, ты не уйдешь, пока не скажешь мне правды.

— Я уже сказала правду: я тебя больше не люблю.

Как глубоко ранили меня эти пять слов! Я побледнел и умоляющим тоном, со слезами в голосе сказал:

— Я же просил тебя не повторять это так часто... Мне слишком больно это слышать.

— Ты сам вынуждаешь меня повторять... Для меня в этом тоже мало приятного.

— Почему тебе так хочется, чтобы я обязательно поверил, будто ты разлюбила меня из-за того глупого поцелуя? — продолжал я, следуя ходу своих мыслей. — Подумаешь... Это была просто легкомысленная девчонка, которую я никогда больше и в глаза не видел... Ты все это прекрасно знаешь и понимаешь... Нет, дело не в этом, — теперь я говорил, медленно связывая воедино отдельные слова, стараясь как-то выразить свои неясные, еще смутные догадки, — разлюбила ты меня не потому... Произошло что-то, что изменило твое чувство ко мне... Или, вернее, что-то, быть может, изменило сначала твое отношение ко мне, а потом уже и твое чувство.

— Надо признать, ты не глуп, — произнесла она с неподдельным удивлением и чуть ли не с похвалой.

— Значит, я сказал правду.

— Я этого не говорю... Я только сказала, что ты не глуп.

Я старался докопаться до истины и чувствовал, что подошел к ней почти вплотную.

— Значит, до того, как что-то произошло, — настаивал я, — ты была обо мне хорошего мнения... А потом стала думать обо мне плохо... и потому разлюбила.

— Ну, допустим, что это так.

Мне стало невыносимо тяжело. Мой рассудительный тон — я сам ощущал это — звучал фальшиво. Я не мог больше выдержать. Не мог больше быть рассудительным, я страдал, страдал сильно и глубоко, весь во власти ярости и отчаяния: к чему мне сохранять этот рассудительный тон? Не знаю, что со мной случилось в ту минуту. Я вскочил с кресла и, прежде даже чем понял, что делаю, закричал:

— Не думай, что я собираюсь заниматься пустой болтовней! — И, бросившись на Эмилию, схватил ее за горло и повалил на диван. — Скажи правду! — крикнул я ей в лицо. — Скажи наконец... сию же минуту!

Подо мной билось ее большое, прекрасное тело, которое я так любил. Лицо Эмилии покраснело и словно разбухло — наверно, я слишком сильно сдавил ей горло. Я вдруг понял, что бессознательно стремлюсь убить ее.

— Скажи мне наконец правду! — Выкрикивая эти слова, я еще сильнее сжал пальцы; у меня мелькнула мысль: «Сейчас я задушу ее... Пусть лучше она умрет, чем будет моим врагом». Я почувствовал, что она старается ударить меня коленом в живот, это ей удалось, удар был столь яростным, что у меня перехватило дыхание. Он причинил мне почти такую же боль, как фраза: «Я больше не люблю тебя», — такой удар и впрямь мог нанести только враг, который стремится возможно больнее ударить противника. Но в ту же минуту я почувствовал, что моя ярость, мое желание убить ее прошли. Я немного ослабил тиски, и она вырвалась, оттолкнув меня с такой силой, что я чуть не упал с дивана. И, прежде чем я успел прийти в себя, с ожесточением выкрикнула:

— Я презираю тебя... Вот что я к тебе испытываю, вот в чем причина, что я тебя разлюбила... Я презираю тебя, я чувствую отвращение всякий раз, когда ты до меня дотрагиваешься... Вот тебе твоя правда... Я тебя презираю, ты мне противен!

Я поднялся. Взгляд мой остановился на тяжелой стеклянной пепельнице, затем к ней потянулась и рука. Эмилия, наверно, подумала, что я хочу убить ее, она испуганно вскрикнула и за-

крыла лицо ладонями. Однако мой ангел-хранитель удержал меня: не знаю как, но мне удалось овладеть собой, я поставил пепельницу на место и вышел из комнаты.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Как я уже говорил, Эмилия не получила настоящего образования, она кончила только начальную школу, два-три года проучилась в средней, а затем забросила науки и приобрела специальность машинистки-стенографистки. В шестнадцать лет она уже служила в конторе одного адвоката. Правда, была она, как принято говорить, из хорошей семьи, то есть из семьи, некогда состоятельной и владевшей какой-то недвижимостью близ Рима. Однако дед ее разорился на неудачных коммерческих спекуляциях, а отец до самой смерти оставался мелким чиновником министерства финансов. Выросла она в бедности, и по воспитанию и образу мыслей ее, пожалуй, можно было бы назвать женщиной из простонародья; как многие простые женщины, она привыкла полагаться лишь на свой здравый смысл и столь непоколебимо верила в него, что порой это казалось даже глупостью или просто ограниченностью. Однако, располагая одним только этим оружием — здравым смыслом,— она совершенно для меня неожиданно и непостижимо иной раз высказывала суждения и давала оценки весьма верные и меткие, как это свойственно именно простым людям — они ближе нас к природе, и голова у них не забита всякими условностями и предрассудками. Обычно свои суждения Эмилия высказывала, лишь обдумав все хорошенько, со всей серьезностью, искренностью, прямотой — и от этого ее слова всегда звучали удивительно веско. Но сама она не считала своих суждений достаточно убедительными и со свойственной ей скромностью старалась привести в подтверждение их какие-нибудь доводы.

Поэтому, когда она крикнула мне: «Я презираю тебя!» — я больше ни минуты не сомневался, что эта фраза, которая в устах другой женщины могла бы и не иметь никакого значения, сорвавшись с уст Эмилии, вполне отвечает своему истинному смыслу: Эмилия действительно меня презирала, и я ничего не мог с этим поделать. Даже если бы я совершенно не знал характера Эмилии, уже один тон, каким она произнесла это, не оставлял никаких сомнений: так человек произносит слово, которое до сих пор он, быть может, еще ни разу в жизни не произносил, но когда к этому вынуждают обстоятельства, оно почти непро-

извольно вырывается из самых глубин его души. Именно так вы можете иной раз внезапно услышать от крестьянина среди множества исковерканных, избитых фраз и диалектизмов блестящие по точности нравственной оценки слова, которые не удивили бы вас в устах другого, но, будучи произнесены крестьянином, изумляют и кажутся просто невероятными. «Я презираю тебя» — в этих словах, как я с горечью констатировал, звучала та же убежденность, что и в трех других словах, которые она произнесла впервые, когда призналась мне в любви: «Я люблю тебя».

Я был настолько уверен в искренности и правдивости этих ее слов, что, оставшись один в кабинете, начал ходить взад и вперед, не в силах ни о чем думать, не зная, что предпринять. Взгляд мой блуждал, руки дрожали. Сказанные мне Эмилией три слова, будто три шипа, с каждой минутой все глубже вонзались мне в сердце, причиняя острую, все возрастающую боль; и кроме этого нестерпимого чувства боли, которое я так отчетливо ощущал, я, в сущности, ничего не воспринимал. Сильнее всего я, конечно, страдал от сознания, что она меня не только больше не любит, но даже презирает. В то же время я не в силах был найти никакой причины, пусть даже самой незначительной, которая могла бы дать повод для презрения; я испытывал острую боль от незаслуженной обиды и одновременно страх перед тем, что, быть может, на самом-то деле меня обидели и не напрасно, что презрение ко мне основано на каких-то объективных фактах, объясняется чем-то таким, в чем я не отдаю себе отчета, тогда как другим это ясно видно. До сих пор я всегда считал, что заслуживаю уважения, пусть, на худой конец, смешанного с некоторой долей жалости, как человек не очень-то удачливый, к которому судьба не слишком благосклонна, но уж во всяком случае никак не ожидал, что способен вызвать чувство презрения. Теперь же фраза, брошенная Эмилией, переворачивала вверх дном это мое представление о себе, заставляла меня впервые заподозрить, что я недостаточно хорошо себя знаю и не могу правильно о себе судить, что я всегда обольщался, глубоко заблуждался в оценке самого себя.

Наконец я прошел в ванную, сунул голову под кран, и холодная струя воды помогла мне; мой мозг пылал, точно охваченный пожаром, вспыхнувшим от слов Эмилии. Я умыл лицо, причесался, повязал галстук, затем вернулся в гостиную. Один вид накрытого в нише стола вызвал у меня чувство возмущения. Разве могли мы теперь сесть, как делали это изо дня в день, за стол в этой комнате, где в воздухе, казалось, еще зву-

чали потрясшие меня слова?! В ту же минуту дверь открылась, и на пороге появилась Эмилия. Лицо ее уже успело принять обычное спокойное и невозмутимое выражение. Не глядя на нее, я сказал:

— Мне не хочется сегодня обедать дома... Скажи прислуге, что мы уходим и поскорее одевайся... пойдем в ресторан...

— Но ведь уже все готово,— ответила она слегка удивленно, — придется выбрасывать...

— Довольно! — крикнул я с неожиданно охватившей меня яростью. — Выкидывай на помойку все, что хочешь, но иди одевайся, я сказал тебе: мы не обедаем дома!

Я по-прежнему не смотрел на нее и услышал только, как она пробормотала: «Что за манеры!» — и закрыла за собой дверь.

Спустя несколько минут мы вышли из дому. На узкой улице, застроенной небольшими новыми домами, как две капли воды похожими на тот, где жили мы, нас ждала, затерявшись среди множества роскошных автомобилей, моя малолитражка — недавняя покупка, за которую так же, как и за квартиру, я еще должен был расплачиваться, рассчитывая в основном на то, что мне удастся заработать в будущем за сценарии. Машину я приобрел всего лишь несколько месяцев назад и испытывал еще чувство почти детского тщеславия, которое на первых порах вызывает собственный автомобиль. Но в тот вечер, когда мы, не глядя друг на друга, молча шли к машине, я невольно подумал: «Вот еще одна вещь, ради которой, как и ради квартиры, я принес в жертву все свои стремления... а жертва эта оказалась никому не нужна». И в самом деле, в ту минуту я остро ощутил всю нелепость противоречия между этой богатой улицей, где все казалось таким новехоньким и шикарным, нашей квартиркой, окна которой смотрели на нас с четвертого этажа, машиной, ожидавшей нас в нескольких шагах от подъезда, и саднящим сердце ощущением пришедшей беды, от чего все эти приобретения стали сразу ненужными и вызывали лишь раздражение.

Сев за руль, я подождал, пока устроится Эмилия, и протянул руку, чтобы захлопнуть дверцу; обычно при этом движении я слегка задевал ладонью ее колени или, нагнувшись к ней, легко касался губами ее щеки. На этот раз я почти непроизвольно постарался не касаться ее. Дверца с громким стуком захлопнулась, и мы некоторое время сидели неподвижно, молча. Потом Эмилия спросила:

— Куда же мы поедем?

Я помолчал, но так ничего и не придумав, ответил наугад:

— Поедем на Аппиеву дорогу.

— Но в это время года еще рано на Аппиеву дорогу, — с легким удивлением возразила она, — мы замерзнем и потом там сейчас никого нет...

— Неважно... зато будем мы.

Она промолчала, а я быстро повел машину в сторону Аппиевой дороги. Выехав из нашего квартала, я пересек центр города и поехал по улице Трионфи и бульвару Пасседжата Аркеолоджика. Вот уже видна древняя, поросшая мхом городская стена, а за ней огороды, сады, прячущиеся среди деревьев виллы, начало Аппиевой дороги. Вот и освещенный двумя тусклыми фонарями вход в катакомбы. Эмилия была права: ехать сюда было еще рано. В зале ресторана, где стены были выложены грубо отесанным камнем на манер древней кладки, увешаны мраморными обломками — фрагментами гробниц, надгробных плит — и уставлены глиняными амфорами, мы увидели одних лишь официантов вокруг пустых столиков. Мы были единственными посетителями, и я невольно подумал, что в этом пустынном и холодном зале, окруженные надоедливым вниманием целой армии официантов, мы вряд ли сможем разобраться в наших отношениях и, пожалуй, еще больше все запутаем. Потом я вспомнил, что года два назад, в пору расцвета нашей любви, мы часто приезжали сюда ужинать, и вдруг понял, почему из множества ресторанов, несмотря на промозглую погоду и отсутствие публики, я выбрал именно этот.

Над нами склонился официант с раскрытым меню, а с другой стороны стоял, держа наготове карту вин, бармен. Я начал заказывать обед, предлагая Эмилии то одно, то другое блюдо, слегка нагнувшись к ней, совсем как заботливый и галантный муж. Она сидела потупившись и, не поднимая глаз, односложно отвечала: «Да... Нет... Хорошо». Я заказал также бутылку дорогого вина, несмотря на протесты Эмилии, твердившей, что она не будет пить. «Тогда я все выпью сам», — сказал я. Бармен улыбнулся мне с заговорщическим видом и ушел вслед за официантом.

Я не собираюсь здесь описывать этот обед во всех подробностях, хочу только рассказать о своем душевном состоянии, в тот вечер совершенно для меня новом, хотя впоследствии это стало обычным в моих отношениях с Эмилией.

Говорят, человеку удается жить, не затрачивая слишком много энергии, только благодаря выработавшемуся в нем автоматизму: большинство наших движений мы совершаем абсо-

лютно бессознательно. Для того чтобы сделать всего один шаг, мы должны привести в действие бесчисленное множество мышц, однако благодаря автоматизму мы совершаем это с безотчетной легкостью. То же самое и в наших отношениях с людьми. До тех пор пока мне казалось, что Эмилия любит меня, нашими отношениями управлял своего рода счастливый автоматизм, свет сознания освещал только внешнюю сторону моего поведения, все же остальное оставалось погруженным во мрак неосознанной, пронизанной любовью привычки. Но теперь, когда иллюзия любви рассеялась, я заметил, что задумываюсь над каждым даже самым незначительным своим жестом, поступком. Предлагал ли я ей налить вина, передавал ли соль, смотрел ли на нее или отводил взгляд — любое мое движение было заранее обдуманным, причиняло мне боль, наполняло смутным чувством бессилия и отчаяния. Я словно был связан по рукам и ногам, оглушен, парализован; прежде чем совершить какой-либо жест, я невольно задавал себе вопрос: надо мне это делать или же нет? Словом, я полностью утратил внутренний контакт с Эмилией. Когда имеешь дело с посторонними людьми, всегда можно надеяться вновь обрести былую близость, но в отношениях с Эмилией приходилось лишь тешить себя навсегда погребенными воспоминаниями прошлого: никакой надежды у меня не оставалось.

Мы сидели, ни о чем не разговаривая, время от времени молчание наше нарушалось редкими, ничего не значащими фразами: «Хочешь вина? Тебе дать хлеба? Положить еще мяса?» Мне хотелось бы передать здесь характер этого молчания, понятный только нам одним, ибо именно в тот вечер оно впервые установилось между нами и отныне больше нас не покидало. Это молчание, тягостное, невыносимое, таившее в себе глубокий разлад между мной и Эмилией, было соткано из всего того невысказанного, что я жаждал ей сказать, подавляя в себе это желание, не находя ни сил, ни слов. Назвать наше молчание враждебным было бы не совсем точно. В самом деле, мы — я, во всяком случае, — не испытывали друг к другу никакой вражды, а ощущали лишь полное бессилие объясниться. Мне хотелось говорить с ней, мне многое нужно было сказать ей, но в то же время я понимал, что все мои слова теперь ни к чему, что мне вряд ли удастся найти нужный тон. Поэтому я хранил молчание. Однако это не было непринужденным спокойствием человека, молчащего просто потому, что у него нет потребности говорить: напротив, меня обуревало желание высказаться, мне очень многое надо было сказать ей, и мысль о невозможности объяснения между

нами не давала мне покоя, невысказанные слова трепетали у меня в сердце, в горле, словно за железной тюремной решеткой. Но и этого еще было мало: я чувствовал, что тягостное молчание для меня все же наилучший выход. Нарушив его, пусть даже тактично и мягко, я рисковал услышать в ответ слова еще более для меня неприятные, еще более невыносимые — если только это вообще было возможно, — чем само наше молчание.

Однако я еще не привык безмолвствовать. Мы съели первое, затем второе, по-прежнему не произнося ни слова. И только когда подали фрукты, я не выдержал и спросил:

— Почему ты все время молчишь?

— Потому что мне нечего сказать, — не задумываясь ответила она.

Она не казалась ни опечаленной, ни озлобленной, и эти ее слова тоже звучали искренне.

— Совсем недавно ты произнесла фразу, — продолжал я нравоучительным тоном, — которая требует объяснений.

— Позабудь о ней... будто ты ее никогда и не слыхал, — ответила она все так же искренне.

— Разве могу я забыть о ней? — спросил я с надеждой. — Я позабыл бы, если бы твердо знал, что это неправда... Если бы это были только слова, вырвавшиеся в минуту гнева...

На этот раз она ничего не ответила. И у меня снова мелькнула надежда. Может быть, в самом деле так оно и было: она крикнула, что презирает меня, в ответ на мою грубость, когда я душил ее, причинил ей боль.

— Ну признайся, — продолжал я осторожно настаивать, — ведь то, что ты мне сегодня сказала, неправда... У тебя вырвались эти ужасные слова нечаянно, в ту минуту ты просто вообразила, что ненавидишь меня, тебе хотелось меня оскорбить...

Она взглянула на меня и вновь промолчала. Мне показалось — хотя, может быть, я и ошибся, — что ее большие темные глаза на мгновенье наполнились слезами. Набравшись смелости, я взял ее руку, лежавшую на скатерти, и сказал:

— Эмилия... значит, все это неправда?

На этот раз она с силой, которой я в ней и не подозревал, вырвала руку и даже, как мне показалось, отшатнулась от меня.

— Нет, это правда.

Меня поразил ее глубоко искренний, хотя и печальный тон. Она, казалось, понимала, что стоило ей в ту минуту прибегнуть ко лжи — и все хотя бы временно, хотя бы внешне пойдет по-старому; я ясно видел, что на какое-то мгновенье она испы-

тала искушение солгать мне. Но после короткого размышления отказалась от этой мысли. Сердце мое сжалось еще болезненнее, еще мучительнее, и, опустив голову, я пробормотал сквозь зубы:

— Ты понимаешь, есть вещи, которые нельзя говорить просто так, без всякого основания... никому... тем более собственному мужу?

Она ничего не ответила, только взглянула на меня почти с испугом: наверное, мое лицо было искажено злобой. Наконец она сказала:

— Ты сам спросил меня об этом, и я тебе ответила.

— Но ты должна объяснить...

— Что именно?

— Ты должна объяснить, почему... почему ты меня презираешь.

— А вот этого я тебе никогда не скажу... Даже когда буду умирать.

Меня поразил ее непривычно решительный тон. Но удивление почти сразу же сменилось яростью, я уже не в силах был рассуждать спокойно.

— Скажи,— я снова взял ее за руку, но на этот раз отнюдь не ласково. — Скажи... за что ты меня презираешь?

— Я ведь говорила уже, что никогда этого тебе не скажу.

— Скажи, не то я сделаю тебе больно.

Вне себя я с силой сжал ее пальцы. Некоторое время она удивленно смотрела на меня, потом стиснула зубы от боли, и на ее лице отразилось то презрение, о котором до сих пор она только говорила.

— Перестань, — резко сказала она, — ты опять хочешь причинить мне боль.

Меня ударило это ее «опять», в нем, казалось, таился намек на какие-то мучения, которым я подвергал ее раньше, я почувствовал, что мне не хватает воздуха.

— Перестань... Как тебе не стыдно!.. На нас смотрят официанты.

— Скажи, за что ты меня презираешь?

— Брось дурить, пусти меня.

— Скажи, за что ты меня презираешь?

— Да пусти же!

Она резким движением вырвала руку, смахнув на пол бокал. Раздался звон разбитого стекла, она встала и направилась к выходу, громко сказав мне:

— Я буду ждать в машине... Ты пока расплатись.

Она вышла, а я остался неподвижно сидеть за столом, оцепенев не столько от стыда (изнывающие от безделья официанты, как и сказала Эмилия, не отрываясь, глазели на нас, не пропустив во время нашей ссоры ни одного слова, ни одного жеста), сколько пораженный необычностью ее поведения. Никогда прежде она не говорила со мной таким тоном, никогда так не оскорбляла меня. Кроме того, у меня в ушах продолжало звучать произнесенное ею «опять» — еще одна печальная загадка, которую мне предстояло разгадать. Когда, каким образом, чем я мог ее ранить, на что она теперь сетовала, подчеркивая это «опять»? Наконец я подозвал официанта, расплатился и вышел.

Выйдя из ресторана, я увидел, что погода, с самого утра пасмурная, окончательно испортилась, моросил частый, мелкий дождь. Впереди в нескольких шагах я различил в темноте фигуру Эмилии. Она стояла у нашей машины, дверцы которой были заперты, и, не проявляя нетерпения, ждала меня под дождем.

— Извини, я забыл, что запер машину, — проговорил я неуверенно и в ответ услышал ее спокойный голос:

— Ничего... дождик совсем маленький.

Покорность, с которой она произнесла эти слова, вновь пробудила в моем сердце — хотя это было чистым безумием — надежду на примирение. Разве могла она, разговаривая со мной таким спокойным, таким нежным голосом, презирать меня? Я открыл дверцу и влез в машину. Эмилия села рядом со мной. Включив мотор, я сказал ей неожиданно веселым, чуть ли не игривым тоном:

— Ну-с, Эмилия, так куда же мы поедем?

Не поворачивая головы, глядя прямо перед собой, она ответила:

— Не знаю... куда хочешь.

Я нажал на стартер, и машина тронулась. Как я уже сказал, меня вдруг обуяла неизвестно откуда взявшаяся игривость и веселость, всю скованность словно рукой сняло. Я чуть ли не вообразил, что, обратив все в шутку, отнесясь к происшедшему менее серьезно, заменив страсть фривольностью, мне удастся наладить отношения с Эмилией. Не знаю, что со мной случилось в эту минуту — быть может, отчаяние, как слишком крепкое вино, бросилось мне в голову. С наигранной веселостью я воскликнул:

— Поедем куда глаза глядят... будь что будет!

Я чувствовал, что, произнося эти слова, я донельзя смешон — как бывает смешон хромой, пытающийся проделать тан-

цевальное па. Но Эмилия молчала, и я поддался овладевшему мной новому настроению. Я почему-то полагал, что запас моей веселости неисчерпаем как море, однако очень скоро убедился, что это всего лишь робкий и мелкий ручеек. Теперь я вел машину по бежавшей впереди нас в свете фар Аппиевой дороге. Сквозь тысячи сверкающих нитей дождя из темноты неожиданно выступали то кипарисы, то какие-то красные кирпичные развалины, то беломраморная статуя, то специально оставленный незаасфальтированным участок древней римской дороги, вымощенной крупными неровными камнями. Неожиданно я произнес неестественно возбужденным голосом:

— Давай постараемся хоть раз в жизни позабыть, кто мы такие в действительности, вообразим, что мы студенты, ищущие укромного уголка, чтобы там спокойно предаться любви.

Она и на этот раз ничего не ответила, ее молчание придало мне смелости, и, проехав еще немного, я резко затормозил. Теперь дождь лил как из ведра, и двигавшиеся вверх и вниз щеточки на ветровом стекле не успевали разгонять струйки воды.

— Мы двое студентов, — неуверенно повторил я, — меня зовут Марио, а тебя — Мария... Наконец-то мы нашли тихое местечко... Это ничего, что идет дождь... В машине нам так хорошо... поцелуй меня.

Говоря это, я с решительностью пьяного обнял ее за плечи и попытался поцеловать.

Не знаю, на что я надеялся: после истории в ресторане я должен был бы понять, чего мне ждать в этом случае. Эмилия сначала довольно мягко попыталась высвободиться из моих объятий, потом, поскольку я не отпускал ее и даже, взяв рукой за подбородок, старался повернуть к себе ее лицо, с силой оттолкнула меня.

— Ты что, сошел с ума?.. Или, может, ты пьян?

— Нет, не пьян, — пробормотал я, — поцелуй меня.

— И не подумаю, — ответила она с неподдельным возмущением, вновь отталкивая меня. И добавила: — И ты еще удивляешься, когда я говорю, что презираю тебя... Как можешь ты так себя вести... после того что между нами произошло...

— Я люблю тебя.

— А я тебя нет.

Я чувствовал, что смешон, и это причиняло мне особенно острую, особенно невыносимую боль. Я понимал, что очутился в положении не только смешном, но и безвыходном. Но я все еще не хотел признавать себя побежденным.

— Ты поцелуешь меня, хочешь ты того или нет! — крикнул я, стараясь, чтобы голос мой звучал по-мужски грубо, и набросился на нее.

На этот раз она не стала отталкивать меня, а просто открыла дверцу, и я повалился на пустое сиденье. Выскочив из машины, Эмилия побежала по дороге, не обращая внимания на все усиливающийся дождь.

На мгновенье я остолбенел, уставившись на пустое сиденье. Потом, мысленно обругав себя дураком, тоже вылез из машины.

Дождь хлестал немилосердно, и, едва я ступил на землю, нога у меня по щиколотку погрузилась в лужу. Это привело меня в ярость, и вместе с тем я почувствовал еще большую жалость к себе.

— Эмилия, иди сюда, — в отчаянии закричал я, — не бойся, я тебя не трону.

— Если ты не прекратишь, я вернусь в Рим пешком, — отозвалась она откуда-то из темноты.

— Иди сюда, — произнес я дрожащим голосом, — обещаю тебе все, что хочешь.

Дождь не утихал, вода стекала за ворот, неприятно холодя затылок и шею, я чувствовал, как она струилась ручьями с моего лба, с висков. Фары машины освещали лишь небольшое пространство впереди — лучи выхватывали из ночного мрака камни каких-то древнеримских развалин и высокий черный кипарис, верхушка которого терялась в темном небе; но, сколько я ни напрягал зрение, мне так и не удалось разглядеть силуэт Эмилии. Охваченный беспокойством, я снова позвал:

— Эмилия... Эмилия! — В моем голосе теперь слышались почти что слезы.

Наконец она появилась из темноты, войдя в пространство, освещенное фарами машины, и сказала:

— Значит, ты обещаешь, что не дотронешься до меня?

— Да, обещаю.

Она подошла к машине и села в нее.

— Что за дурацкие шутки... я вся промокла... И волосы мокрые... завтра утром придется идти к парикмахеру.

Не сказав ни слова, я вслед за ней влез в машину, включил мотор, и мы поехали. Эмилия чихнула раз, немного погодя — другой, затем — еще и еще, притом очень громко и не совсем естественно, словно желая показать мне, что она из-за меня простудилась. Но я не поддался на эту уловку. Я вел машину как во сне. Это был очень скверный сон, в котором меня дей-

ствительно звали Риккардо, и у меня была жена по имени Эмилия, и я любил ее, а она меня не любила, и не только не любила, но даже презирала.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

На следующее утро я проснулся разбитый и вялый, испытывая глубокое отвращение ко всему, что меня ожидало в тот день и во все последующие дни, а также ко всему, что может произойти в будущем. Эмилия еще спала в соседней комнате, а я, лежа в полутьме на диване в гостиной, долго не вставал; постепенно приходя в себя, я восстанавливал в памяти страшную явь, о которой сон заставил меня позабыть. Прежде всего, думал я, надо решить, соглашаться ли мне на работу над сценарием «Одиссеи», затем окончательно установить, почему меня презирает Эмилия, и наконец найти средство вернуть ее любовь.

Я уже сказал, что чувствовал себя разбитым, усталым, расслабленным. Мои старания с какой-то педантичной точностью сформулировать три жизненно важных для меня вопроса были, в сущности, — и я сразу это понял — лишь попыткой обмануть себя, заставить поверить, что я не утратил еще энергии и ясности мысли, хотя всего этого у меня и в помине не было. Генерал, политический деятель, делец вот так же стремятся как можно короче и четче изложить стоящие перед ними задачи, свести их к предельно ясным, безжизненным схемам, которыми столь удобно оперировать. Но ведь я не был человеком такого склада, совсем наоборот. И я чувствовал, что и эта энергия, и ясность мысли, которыми, как мне хотелось думать, я в ту минуту обладал, сразу же покинут меня, едва лишь я попытаюсь перейти от размышлений к делу.

Во всяком случае, я сознавал, что не способен разрешить ни одну из этих трех поставленных перед собой задач. Даже сейчас, лежа с закрытыми глазами на диване, я чувствовал, что, когда я мысленно пытаюсь найти на них ответ, воображение мое тотчас отрывается от печальной действительности и начинает парить где-то в облаках мечты. Мне представлялось, что написать сценарий «Одиссеи» — сущий пустяк, что я уже сумел объясниться с Эмилией и наконец-то выяснил, что эти ее столь ужасные на первый взгляд слова, будто она презирает меня, — плод глупого недоразумения; и наконец, что я вообще помирился с ней. Но вместе с тем я понимал, что все это лишь меч-

ты об удачном выходе из положения, надежды на счастливую развязку, но между желаемым и действительным — глубокая пропасть, и пропасть эту мне никак и ничем не заполнить. Одним словом, я надеялся найти какой-то выход, который полностью устраивал бы меня, но совершенно не представлял себе, как я смогу это сделать.

Я продолжал лежать в полудреме на диване и, по-видимому, незаметно для себя уснул. Неожиданно я вновь проснулся и увидел Эмилию: она сидела у меня в ногах. Жалюзи были опущены, и в гостиной царил полумрак, лишь на столике возле дивана горел ночник. Я не слышал, как Эмилия вошла в комнату, зажгла лампочку и села подле меня.

Ее непринужденная поза, домашний халатик напомнили мне о том, как я просыпался в былые более счастливые времена, и на мгновение я поддался иллюзии. Я приподнялся и, сев на диване, спросил прерывающимся голосом:

— Эмилия, ты, значит, все-таки любишь меня?

Она немного помедлила.

— Послушай, я должна поговорить с тобой, — вместо ответа сказала она.

Я почувствовал, что холодею. Мне хотелось крикнуть, что я не желаю ни о чем с ней говорить, пусть она оставит меня в покое, даст мне снова уснуть, и все же я спросил:

— О чем же?

— О нас с тобой.

— Что уж тут говорить, — сказал я, пытаясь справиться с неожиданно охватившим меня беспокойством, — ты меня больше не любишь и, мало того, презираешь... вот и все.

— Нет, я хотела сказать тебе, — медленно проговорила она, — что сегодня же переезжаю к маме... Хотела предупредить тебя, прежде чем позвоню ей... Ну вот, теперь я тебе сказала.

Я никак не ожидал этого, хотя после всего происшедшего накануне решение ее было вполне логичным и его можно было предвидеть. Мысль о том, что Эмилия уйдет от меня, как это ни странно, до тех пор не приходила мне в голову; ее жестокосердие и безжалостность ко мне, казалось, уже и без того достигли предела. И вот теперь, совершенно для меня неожиданно, она не колеблясь пошла еще дальше. Я невнятно пробормотал:

— Ты хочешь оставить меня?

— Да.

Некоторое время я молчал, потом вдруг почувствовал непреодолимое желание что-то предпринять, я не в силах был больше терпеть пронзившую сердце боль. Я вскочил с ди-

вана, бросился к окну, словно хотел поднять жалюзи и впустить в комнату дневной свет, потом вернулся на прежнее место.

— Нет! — громко крикнул я. — Ты не можешь так уйти... Я этого не хочу!..

— Не глупи, — сказала она, словно увещевала ребенка, — мы должны разъехаться, это единственное, что нам остается... Нас с тобой ничто больше не связывает, по крайней мере меня... Так будет лучше для нас обоих.

Не помню, как я вел себя после этих ее слов, вернее, помню только отдельные фразы, отдельные жесты. Наверное, я тогда говорил и двигался как в бреду, не отдавая себе отчета ни в своих словах, ни в поступках. Помнится, растрепанный, в пижаме, большими шагами ходил взад и вперед по комнате, то умоляя Эмилию не оставлять меня, то пространно объясняя ей, в каком я нахожусь состоянии, то разговаривая сам с собой, будто я один в комнате. Сценарий «Одиссеи», квартира, очередные взносы домовладельцу, мои загубленные драматургические способности, любовь к Эмилии, отношения с Баттистой и Рейнгольдом — все, чем была наполнена моя жизнь, смешалось и мелькало в моем лихорадочном, бессвязном монологе, точно разноцветные стеклышки на дне калейдоскопа, который кто-то встряхивал с яростной силой. Я сознавал, что все это лишь жалкая игра, призрачная забава — так разрозненные кусочки цветного стекла складываются в мозаике, не образуя никакого узора; теперь калейдоскоп разбился, осколки рассыпались и валялись у меня под ногами. Меня пронзило острое ощущение, что все меня покинули. Одиночество внушало мне страх — оно угнетало меня, мешало не только думать, но даже дышать. Все существо мое яростно бунтовало при одной только мысли о разрыве с женой и ожидающем меня одиночестве; и вместе с тем я сознавал, что, несмотря на всю искренность моего возмущения, слова мои звучат неубедительно. И в те короткие мгновения, когда туман растерянности и страха, застилавший мой разум, немного рассеивался, я видел Эмилию, которая все так же сидела на диване и спокойно увещевала меня:

— Ну, Риккардо, поразмысли хоть немного: для нас это единственный выход.

— Но я не хочу, — в который раз повторял я. — Не хочу!

— Почему ты не хочешь? Будь же благоразумен.

Не помню, что я ей отвечал. Кинувшись в глубь комнаты, я стал рвать на себе волосы. Но в таком состоянии, я это понял, мне не только не удастся в чем-либо убедить Эмилию, но даже связно выразить свои чувства и мысли. Собрав всю свою волю,

я овладел собой, снова сел на диван и, сжав голову руками, спросил:

— Когда же ты думаешь уйти?

— Сегодня.

С этими словами она встала и, не обращая больше на меня внимания — а я по-прежнему сидел согнувшись, обхватив голову руками, — вышла из комнаты. Я не ожидал, что она уйдет, так же как раньше не ожидал того, что она сделала и сказала. Некоторое время я сидел не двигаясь, словно не веря тому, что все это совершается наяву. Потом окинул взглядом комнату, и мне вдруг стало страшно: разрыв уже произошел, мое одиночество уже началось. Комната была та же, что и несколько минут назад, когда Эмилия сидела на диване; и все же я чувствовал, что она стала иной. Комната — я никак не мог избавиться от этой мысли — словно лишилась одного измерения. Она казалась больше и была не такой, какой я видел ее, зная, что в ней находится Эмилия, а другой — какой мне предстояло ее видеть кто знает сколько лет, примирившись с тем, что Эмилии в ней нет и никогда больше не будет. Ощущение разлуки витало в воздухе, все вокруг было наполнено им и, странное дело, исходило оно не от меня, а, казалось, от самих вещей. Все это я не столько сознавал, сколько ощущал где-то в самых глубинах своей души — смятенной и растерянной, пронизанной щемящей болью. Я почувствовал, что плачу: что-то защекотало мне щеку, и, дотронувшись до лица рукой, я обнаружил, что оно мокрое. Тогда, глубоко вздохнув и уже больше не сдерживаясь, я разразился судорожными рыданиями. Потом встал и вышел из гостиной.

В спальне, залитой дневным светом, показавшимся мне после полумрака гостиной слепящим и невыносимо ярким, Эмилия, сидя на неубранной постели, разговаривала по телефону. Я сразу же понял, что она говорит с матерью. Выражение лица у нее было какое-то растерянное, она явно была чем-то смущена. Я, по-прежнему в пижаме, тоже сел и, закрыв лицо руками, продолжал всхлипывать. Я и сам не очень хорошо понимал причину моих слез: возможно, плакал я не потому, что рушилась моя жизнь, а от какой-то давней боли, которая не имела никакого отношения ни к самой Эмилии, ни к ее решению оставить меня. Эмилия между тем продолжала разговаривать по телефону: по-видимому, мать что-то объясняла ей, а она с трудом улавливала смысл. Сквозь слезы я видел, как на лице ее, словно тень от набежавшего облака, вдруг появилось разочарование, потом обида и огорчение. Наконец она сказала:

— Хорошо, хорошо, я поняла. Но будем больше об этом говорить. — Здесь ее прервало новое словоизлияние матери. Однако на этот раз у Эмилии не хватило терпения дослушать до конца, и она неожиданно прекратила разговор: — Я ведь тебе уже сказала: хорошо, я все поняла. До свидания.

Мать пыталась еще что-то ей втолковать, но Эмилия повторила: «До свидания» — и повесила трубку, хотя мать все еще что-то говорила. Потом Эмилия словно во сне посмотрела на меня невидящим взглядом. Я инстинктивно схватил ее за руку, бормоча:

— Не уходи, прошу тебя... не уходи.

Дети прибегают к слезам как к крайнему доводу и средству воздействия на окружающих: так же поступает большинство женщин и вообще все слабые духом. В ту минуту я, хотя и плакал искренне, как ребенок или как женщина, как существо слабое, где-то в глубине души надеялся, что мои слезы помогут убедить Эмилию не покидать меня; иллюзия эта немного меня утешила, но вместе с тем мне вдруг показалось, будто я лицемерю и притворяюсь лишь для того, чтобы своими слезами шантажировать Эмилию. Мне сразу стало стыдно, я встал и, не дожидаясь ответа Эмилии, вышел в гостиную.

Через несколько минут туда пришла и Эмилия. Я успел немного успокоиться, вытер слезы и накинул поверх пижамы халат. Я сидел в кресле и машинально, держа в зубах сигарету, чиркал спичкой, хотя курить мне не хотелось. Эмилия тоже села и сразу же сказала:

— Можешь успокоиться... не бойся... я не уйду.

Однако в голосе ее звучали отчаяние и горечь, и произнесла она это как-то равнодушно и устало. Я посмотрел на нее: она сидела, опустив глаза, и, казалось, что-то обдумывала, но я заметил, как вздрагивают уголки ее рта и как она теребит ворот халата, что обычно являлось у нее признаком растерянности и смущения. Потом с неожиданным ожесточением она добавила:

— Мать не хочет, чтобы я к ней переезжала... Она говорит, что сдала мою комнату квартиранту... Двое квартирантов уже жили у нее, теперь их стало трое, и в квартире полно народу... Она не верит, что я это всерьез... говорит, что я должна хорошенько все обдумать... Теперь я просто не знаю, куда идти... Никому я не нужна... и мне придется остаться с тобой.

Эти ее слова, столь жестокие в своей искренности, причинили мне острую боль: помнится, услышав их, я вздрогнул, как от удара, и, не в силах сдержаться, с возмущением воскликнул:

— Да как ты можешь так говорить!.. «Мне придется...» Что

я тебе такого сделал? За что ты меня так ненавидишь?

Теперь заплакала она. Я видел это, хоть она и закрыла лицо рукой.

— Ты хотел, чтобы я осталась... — тряхнув головой, промолвила Эмилия. — Хорошо, я остаюсь. Теперь ты доволен... не так ли?

Я встал с кресла и, сев рядом с ней на диван, обнял ее, но она тихонько отстранилась, пытаясь незаметно высвободиться.

— Конечно, я хочу, чтобы ты осталась, — сказал я, — но не так... не вынужденно... Что я тебе сделал, Эмилия, почему ты так со мной разговариваешь?

Она ответила:

— Если хочешь, я уйду... сниму комнату... Тебе придется помогать мне только первое время... Я опять поступлю работать машинисткой... Как только мне удастся найти место. Я ни о чем больше не буду тебя просить.

— Да нет же! — закричал я. — Я хочу, чтобы ты осталась... Но не потому, что у тебя нет другого выхода, Эмилия, не потому!

— Не ты меня вынуждаешь остаться, — ответила она, продолжая плакать, — а жизнь.

Я сжимал ее в объятьях, а на языке у меня снова вертелись все те же вопросы: почему она разлюбила меня и, мало того, стала еще и презирать, что, в конце концов, произошло, чем я так перед ней провинился? Но, видя ее слезы и растерянность, я даже несколько успокоился. Я подумал, что сейчас не время это выяснять и что своими вопросами я наверняка ничего не добьюсь; если я хочу узнать правду, надо прибегнуть к другим, не столь прямолинейным способам. Немного выждав — она в это время, отвернувшись от меня, продолжала молча плакать, — я предложил:

— Послушай, давай прекратим эти препирательства и объяснения... Они все равно ни к чему не приведут, и мы только причиним друг другу боль. Я не хочу больше тебя ни о чем спрашивать, по крайней мере сейчас... Лучше выслушай меня внимательно: я все-таки согласился писать сценарий «Одиссеи»... Но Баттиста хочет, чтобы мы над ним работали на берегу Неаполитанского залива, где и будет проходить бо́льшая часть натурных съемок... Поэтому мы решили поехать на Капри... Там я не стану тебе докучать, даю слово... Впрочем, и не смогу, даже если бы хотел: мне придется целыми днями работать вместе с режиссером, и мы с тобой будем видеться лишь

за обедом и ужином, да и то не каждый день... Капри — очаровательное место, лето в самом разгаре... Ты отдохнешь, будешь купаться, гулять, успокоишься, все обдумаешь и не торопясь решишь, как поступить... Твоя мать, между прочим, рассуждает совершенно правильно: тебе надо все обдумать... А потом, через несколько месяцев, ты сообщишь мне о своем решении, и тогда, только тогда, мы вновь вернемся к этому разговору.

Она продолжала сидеть отвернувшись, словно ей неприятно было меня видеть. Затем, почти успокоившись, спросила:

— А когда надо ехать?

— Скоро, то есть дней через десять... Как только режиссер вернется из Парижа.

Хотя я по-прежнему обнимал Эмилию и чувствовал рядом ее округлую и мягкую грудь, я не решался поцеловать ее. Она была ко всему так безучастна — просто терпела мои объятья. Но я все же тешил себя надеждой, что ее безучастность, быть может, еще не означает полного охлаждения. Немного помолчав, она спросила все тем же спокойным голосом, в котором, однако, звучала прежняя враждебность:

— А где мы будем жить на Капри? В гостинице?

Я радостно ответил, думая доставить ей удовольствие:

— Нет, не в гостинице, в гостиницах так шумно... У нас есть кое-что получше... Баттиста предоставляет нам свою виллу, она будет в полном нашем распоряжении столько, сколько продлится работа над сценарием.

И я сразу почувствовал — точно так же, как несколько дней назад, когда слишком поспешно согласился на предложение Баттисты, — что Эмилия по каким-то своим причинам этого не одобряет. Действительно, она сразу же высвободилась из моих объятий и, резко отодвинувшись на край дивана, переспросила:

— На вилле Баттисты?.. И ты уже согласился?

— Я думал, тебе это должно понравиться, — попытался я оправдаться. — Жить на вилле гораздо удобнее, чем в гостинице.

— И ты уже согласился?

— Да, я думал, так будет лучше.

— С нами вместе там будет жить и режиссер?

— Нет, Рейнгольд поселится в гостинице.

— Туда приедет Баттиста?

— Баттиста? — спросил я, в глубине души удивленный этим вопросом. — Думаю, что он время от времени будет наезжать... но ненадолго, на уик-энд, на день или на два... чтобы посмотреть, как идет наша работа.

На этот раз Эмилия ничего не сказала, лишь пошарила в кармане халата и, достав платочек, высморкалась. Когда она вынимала платок, халат ее распахнулся. Она сидела, положив ногу на ногу, словно стыдясь своей наготы, но поза ее все равно не могла скрыть белое молодое и тугое тело, перед которым, казалось, бессильны все запреты. Эмилия, сама того не сознавая, как бы предлагала себя, и я вдруг почувствовал неудержимое желание и на мгновенье вообразил, что могу заключить ее в объятия и овладеть его.

Но в глубине души я понимал, что, как бы ни было сильно мое желание, осуществить его невозможно, я только смотрел на нее, пока она вытирала платком нос и глаза, смотрел почти что исподтишка, словно боялся, что она заметит мой нескромный взгляд и пристыдит меня. Поймав себя на этой мысли, я подумал о том, до чего я дошел: тайком, как чем-то запретным, любуюсь наготою собственной жены, словно мальчишка, подглядывающий в щелку кабины на пляже! Я протянул руку и зло, чуть ли не с яростью запахнул ее халат. Она, казалось, даже не заметила моего движения и, спрятав платок в карман, произнесла на этот раз совершенно спокойным голосом:

— Я поеду на Капри... но при одном условии...

— Не смей говорить ни о каких условиях... Я не желаю ничего знать! — неожиданно закричал я. — Мы поедем... Но я не желаю ничего слышать... А сейчас уходи, уходи!

Должно быть, в моем голосе звучало такое бешенство, что она испугалась, сразу же встала и поспешно вышла из комнаты.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Наступил день отъезда на Капри. Баттиста решил ехать с нами, чтобы, по его словам, принять нас, как подобает гостеприимному хозяину. На улице у нашего дома мы увидели рядом с моей маленькой малолитражкой красный мощный несерийный автомобиль продюсера. Хотя стоял июнь, погода все еще не установилась, было туманно и ветрено. Баттиста в кожаной куртке и фланелевых брюках стоял возле своей машины, разговаривая с Рейнгольдом, который, как всякий порядочный немец, был уверен, что Италия страна солнца, и потому оделся в дорогу довольно легко: на нем была белая полотняная кепочка и хлопчатобумажный полосатый костюм в колониальном стиле. Мы с Эмилией вышли из дому в сопровождении швейцара

и нашей прислуги, которые несли чемоданы; Баттиста и Рейнгольд, увидев нас, пошли нам навстречу.

— Ну, так как же мы разместимся? — спросил Баттиста после взаимного обмена приветствиями. И, не ожидая ответа, сказал: — Я предлагаю, Мольтени, чтобы жена ваша ехала со мной, в моей машине, а Рейнгольд сел в вашу машину... Таким образом, вы уже дорогой сможете побеседовать о фильме... Поскольку, — произнес он с улыбкой, но серьезным тоном, — с сегодняшнего дня нам необходимо работать по-настоящему... Сценарий должен быть у меня в руках через два месяца.

Я невольно посмотрел на Эмилию и увидел, что лицо ее вдруг исказилось, я уже не раз прежде замечал у нее эту гримасу, являвшуюся признаком душевного смятения и протеста. Но я не обратил на это внимания, не задумался над тем, что именно такое выражение лица было у нее, когда она услышала о предложении — впрочем, вполне разумном, — которое сделал мне Баттиста.

— Превосходно, — сказал я, изо всех сил стараясь выглядеть оживленным и веселым, мне казалось, что именно этого требуют обстоятельства: ведь мы отправлялись в приятную поездку к морю. — Прекрасно... Эмилия поедет с вами, а Рейнгольд со мной... Но не обещаю, что говорить мы с ним будем о сценарии!

— Я боюсь быстрой езды... — воскликнула вдруг Эмилия. — А вы на своей машине всегда гоните как сумасшедший...

Но Баттиста, стремительно схватив ее под руку, воскликнул:

— Со мной вам нечего бояться... И вообще, чего вы боитесь? Ведь мне тоже дорога жизнь.

С этими словами он чуть ли не силой увлек ее к своей машине. Я видел, что Эмилия растерянно и вопросительно смотрит на меня, и я подумал, а может быть, надо настоять на том, чтобы она села со мной? Но тут же решил, что Баттиста обидится: автомобильная езда была его страстью, и, надо отдать ему должное, водил он машину великолепно, поэтому я и на этот раз промолчал. Эмилия продолжала возражать, но все менее решительно:

— Мне хотелось бы все-таки ехать в машине мужа...

А Баттиста шутливо парировал:

— Почему обязательно в машине мужа?.. Вы и так целые дни проводите со своим мужем... Садитесь, не то я обижусь.

Так, пререкаясь, они подошли к автомобилю продюсера. Баттиста распахнул дверцу. Эмилия села на переднее сиденье, Баттиста обошел машину, чтобы сесть с другой стороны...

Я смотрел на них как в полусне и даже вздрогнул от неожиданности, услышав голос Рейнгольда:

— Ну как, поехали?

Стряхнув с себя оцепенение, я сел рядом с ним и нажал на стартер.

Позади я услышал гудение мотора тронувшейся вслед за нами машины Баттисты, затем она обогнала нас, резко рванула вперед и стала удаляться по узкой, идущей под гору улочке. Я едва успел разглядеть сквозь стекло спины сидящих рядом Эмилии и Баттисты, потом машина свернула на повороте и скрылась из виду.

Баттиста порекомендовал нам во время пути поговорить о сценарии... излишний совет: едва мы выехали за город и на умеренной скорости — такой, какую позволяла развивать моя маленькая машина, — покатили по шоссе на Формию, как Рейнгольд, хранивший до тех пор молчание, начал:

— Скажите откровенно, Мольтени, тогда, у Баттисты, вы испугались, что вам придется делать кинобоевик? — Он с улыбкой подчеркнул это слово.

— И продолжаю этого бояться, — рассеянно проговорил я, — тем более что сейчас на итальянских киностудиях наблюдается именно такая тенденция.

— Все это так, но вам-то бояться нечего, — сказал он, и голос его неожиданно зазвучал твердо и властно,— мы создадим психологический фильм, чисто психологический. Как я уже говорил вам в тот раз у Баттисты... я, дорогой Мольтени, не имею привычки делать то, чего хотят продюсеры... Я привык делать то, чего хочу я сам... В студии хозяин я и никто другой... иначе я отказываюсь ставить фильм... Все очень просто, не правда ли?

Я ответил, что все это и в самом деле совсем просто, и в моих словах прозвучала неподдельная радость, ибо такое проявление независимости со стороны Рейнгольда сулило надежду на то, что мне легко удастся найти с ним общий язык и работа над сценарием будет не такой скучной и неприятной, как обычно. Помолчав немного, Рейнгольд продолжал:

— Теперь я хочу изложить вам некоторые свои соображения. Вы сможете вести машину и одновременно следить за ходом моих мыслей?

Я ответил: «Разумеется»,— однако едва я приготовился внимать откровениям Рейнгольда, как с проселочной дороги на шоссе выехал запряженный волами воз, и мне пришлось резко свернуть в сторону. Машина накренилась, сделала зигзаг, и мне с трудом удалось выровнять ее, чуть не налетев на дерево.

— Пожалуй, вам следовало ответить: «Разумеется, нет», — расхохотался Рейнгольд.

— Ерунда! — сказал я, несколько раздосадованный случившимся, — просто волы эти появились совсем неожиданно... Продолжайте, я вас слушаю.

Рейнгольд не заставил себя просить.

— Видите ли, Мольтени... я согласился поехать на Капри... потому что мы действительно собираемся вести натурные съемки на берегу Неаполитанского залива... Но это будет лишь фон... Вообще мы могли бы даже остаться в Риме... Ведь драма Одиссея вовсе не драма моряка-открывателя новых земель или возвратившегося домой солдата... Это драма любого из нас... В мифе об Одиссее заключена подлинная история человека определенного типа.

Я сказал первое, что пришло в голову:

— В основе каждого из греческих мифов лежит человеческая трагедия, потому-то они не подвержены действию времени. Они бессмертны.

— Вот именно... другими словами, греческие мифы не что иное, как аллегорическое изображение человеческой жизни... Что же должны сделать мы, современные люди, чтобы воскресить эти столь древние и далекие от нас мифы? Во-первых, определить, какое значение могут они иметь для нас, современных людей, и, во-вторых, расшифровать, раскрыть, разъяснить их значение... Но сделать это следует живо, по-своему, не испытывая благоговейного трепета перед шедеврами греческой литературы, созданными на основе этих мифов... Приведу пример... Вы, разумеется, знаете пьесу «Траур идет Электре» О'Нила, по которой был поставлен фильм?

— Конечно.

— Так вот, О'Нил тоже постиг ту весьма простую истину, что древние мифы нужно толковать па современный лад. Так он и поступил в своей пьесе... Но я все же не люблю «Траур идет Электре»... и знаете почему? О'Нил позволил Эсхилу запугать себя. Он правильно посчитал, что миф об Оресте может быть истолкован психологически... Но, устрашившись темы, слишком буквально пересказал миф... Точно примерный ученик, пишущий изложение в школьной тетрадке в линейку... Так и чувствуется, что он писал по разлинованной бумаге, Мольтени.

Я услышал самодовольный смех Рейнгольда, пришедшего в восторг от того, как ловко он разделал О'Нила.

Теперь мы проезжали римскую Кампанью, совсем близко от моря, между отлогими холмами, склоны которых были по-

крыты золотистой спелой пшеницей, тут и там изредка попадались одинокие раскидистые деревья. Должно быть, мы намного отстали от Баттисты, подумал я: сколько я ни вглядывался, перед нами на дороге — и когда она шла прямо, и когда петляла — не видно было ни одной машины. Баттиста мчался сейчас, делая больше ста километров в час, где-то далеко впереди, он обогнал нас, наверное, километров на пятьдесят. Рейнгольд снова заговорил:

— Если О'Нил постиг ту истину, что греческие мифы нужно толковать по-современному, согласно последним открытиям психологии, ему не следовало так держаться темы, он должен был не бояться отойти от нее, раскрыть ее по-своему, обновить... А он этого не сделал, и его пьеса «Траур идет Электре» получилась скучной и холодной... как школьный урок.

— А мне она все же нравится, — возразил я.

Рейнгольд, не обратив внимания на мои слова, продолжал:

— Теперь мы должны сделать с «Одиссеей» то, что О'Нил не захотел или не сумел сделать с «Орестеей» Эсхила... Вскрыть ее, как на анатомическом столе, проникнуть в ее внутренний смысл, разобрать на составные части, а потом вновь собрать в соответствии с требованиями современности.

Так и не поняв, куда клонит Рейнгольд, я сказал первое, что пришло в голову:

— Внутренний смысл «Одиссеи» всем известен. Одиссей тоскует по дому, семье, родине, но на пути его встают бесчисленные препятствия, которые мешают его скорому возвращению на родину, домой, к семье... Вот в чем конфликт... По-видимому, любой военнопленный, любой солдат, задержавшийся после окончания войны по каким-то причинам вдали от родины, — тоже своего рода маленький Одиссей.

Рейнгольд издал кудахтающий смешок.

— Я так и ожидал, что вы это скажете — солдат, пленный... Однако дело совсем не в том, Мольтени... Вы ограничиваетесь только внешней, чисто фактической стороной... При таком подходе фильм, сделанный по «Одиссее», действительно рискует оказаться лишь обычным фильмом «колоссаль», приключенческим кинобоевиком, как того хотел бы Баттиста... Но Баттиста — продюсер, и вполне понятно, что он мыслит таким образом... А вы, Мольтени, вы же интеллигент... вы умный человек и должны поработать головой... Попробуйте немножко поразмыслить.

— Именно этим я весь день и занимаюсь, — сказал я немного обиженно.

— Нет, вы не хотите поразмыслить... Ну, подумайте хорошенько, постарайтесь вникнуть поглубже, и прежде всего учтите, что история Одиссея — это история его отношений с женой.

На этот раз я промолчал. И Рейнгольд продолжал:

— Что нас больше всего поражает в «Одиссее»? Медлительность, с какою возвращается Одиссей, то, что он тратит на возвращение домой десять лет... И в течение этих десяти лет, несмотря на любовь к Пенелопе, о которой он так много говорит, пользуется всяким удобным случаем, чтобы ей изменить. Гомер старается уверить нас, что Одиссей только и думает, что о Пенелопе, только и желает поскорее оказаться с ней... Но можно ли верить ему, Мольтени?

— Если не верить Гомеру, — сказал я шутливо, — то уж прямо не знаю, кому же тогда верить.

— Себе самому, современным людям, умеющим разглядеть то, что скрыто за мифом... Мольтени, я читал и перечитывал «Одиссею» бесчисленное множество раз и пришел к выводу, что в действительности Одиссей, хотя, возможно, он и сам не отдавал себе в этом отчета, совсем не хотел возвращаться домой, не стремился вновь обрести Пенелопу... Таков мой вывод, Мольтени.

Я снова промолчал. Рейнгольд, ободренный моим молчанием, продолжал:

— На самом деле Одиссей страшится возвращения к жене, и далее мы увидим почему; страшась этого, он подсознательно сам старается создать препятствия, которые могли бы помешать его возвращению... Его пресловутая любовь к странствиям не что иное, как бессознательное стремление затянуть возможно дольше свое путешествие, участвуя во множестве различных приключений, которые и в самом деле неоднократно прерывают и удлиняют его... Возвращению Одиссея препятствуют не Сцилла и Харибда, не Калипсо и феаки, не Полифем и Цирцея, даже не боги; возвращению его препятствует подсознательное желание самого Одиссея, оно подсказывает ему один за другим удобные предлоги, чтобы на год задержаться в одном месте, на несколько лет в другом и так далее...

Значит, вот к чему клонил Рейнгольд: это была типично фрейдистская интерпретация классики. Я только удивился, что не догадался об этом раньше, ведь Рейнгольд — немец, свои первые шаги он делал в Берлине в те времена, когда начал пользоваться известностью Фрейд, затем переехал в Соединенные Штаты, где психоанализ в большом почете; естественно,

что он пытается применить эти методы даже к такому, совершенно не знающему сложных переживаний герою, как Одиссей. Я сухо сказал:

— Очень здорово придумано... Однако мне еще не совсем ясно...

— Одну минутку, Мольтени, одну минутку... Как это совершенно очевидно при таком моем толковании, являющемся единственно правильным, «Одиссея», согласно открытиям современной психологии, представляет собой сугубо личную историю, историю разлада одной супружеской пары... Одиссей долгое время страдает и вместе с тем сам усугубляет этот разлад, пока наконец после десяти лет внутренней борьбы ему не удается найти выход, хотя для этого ему приходится вернуться к той ситуации, которая этот разлад и породила... Иначе говоря, в течение десяти лет Одиссей сам придумывает всевозможные поводы для задержки, изобретает всевозможные предлоги, чтобы не возвращаться под супружеский кров... Он даже не раз намеревается связать свою судьбу с другими женщинами... Однако в конце концов ему удается побороть себя, и он возвращается... Возвращение Одиссея как раз и означает, что он примиряется с положением, из-за которого уехал и не хотел возвращаться.

— С каким положением? — спросил я, на этот раз действительно удивленный. — Разве Одиссей уехал не для того, чтобы принять участие в Троянской войне?

— Это только внешняя сторона событий, внешняя сторона... — нетерпеливо повторил Рейнгольд. — Но о положении на Итаке до того, как Одиссей отправился на войну, о женихах и обо всем прочем я скажу после того, как объясню причины, по которым Одиссей не желает возвращаться на Итаку и боится встречи с женой... А пока что мне хотелось бы подчеркнуть первое важное обстоятельство: «Одиссея» — не описание приключений или каких-либо внешних событий, происходящих в различных странах, хотя Гомер и хотел бы заставить нас в это поверить... А наоборот, описание сугубо личной душевной драмы Одиссея... И все, что происходит в «Одиссее», — лишь отражение подсознательных чувств... Вы, конечно, знакомы с учением Фрейда, Мольтени?

— Да, немного.

— Так вот, Фрейд будет нашим проводником в сложном внутреннем мире Одиссея, а не какой-нибудь Берар с его географическими картами и филологией, которая ничего не объясняет... И вместо Средиземного моря мы станем исследовать душу Одиссея... или, вернее, его подсознание.

Чувствуя, как во мне поднимается раздражение, я сказал, возможно, излишне резко:

— Но тогда ни к чему ехать на Капри, раз речь идет просто о будуарной драме... Мы прекрасно могли бы работать и в меблированной комнате в одном из новых районов Рима!

При этих словах Рейнгольд бросил на меня изумленный и вместе с тем оскорбленный взгляд, и я услышал его неприятный смех — так смеются, когда хотят обратить в шутку грозящий плохо кончиться спор.

— Лучше давайте продолжим этот разговор на Капри, в спокойной обстановке, — сказал он и перестал смеяться. — Вы, Мольтени, не можете одновременно вести машину и разговор об «Одиссее»... Так что лучше уж ведите машину, а я полюбуюсь очаровательным пейзажем.

Я не рискнул ему возражать, и почти целый час мы ехали молча. Так мы миновали древние Понтийские болота; по правую сторону дороги тянулся канал с почти неподвижной, застоявшейся водой, по левую — зеленела орошаемая низина; мелькнула Чистерна, за ней Террачина. Дальше дорога пошла по самому берегу моря, вдоль невысоких, каменистых, выжженных солнцем гор. Море было неспокойно, за желтыми и черными прибрежными дюнами оно казалось мутно-зеленым, по-видимому, его взбаламутила недавняя буря, поднявшая со дна пласты песка. Тяжелые волны, лениво вздымаясь, набегали на узкий пляж, окатывая его белой, словно бы мыльной пеной. Вдали от берега море было подернуто рябью и казалось уже не зеленым, а синим, почти фиолетовым. Под порывами ветра, то появляясь, то исчезая, пробегали белоснежные барашки. И небо было такое же беспокойное, в причудливом беспорядке плыли в разные стороны белые облака, а в разрывах сверкала лазурь, ослепительно яркая, вся пронизанная солнцем, морские птицы кружили, падали как подстреленные вниз и то снова взмывали ввысь, то парили над самой водой, словно стараясь приноравливать свой полет к порывам ветра, непрестанно менявшего направление. Я вел машину, не отводя глаз от этого морского пейзажа, и вдруг совершенно неожиданно, словно в ответ на укоры совести, вызванные удивленным и обиженным взглядом, который бросил на меня Рейнгольд, когда я назвал его толкование «Одиссеи» будуарной драмой, решил, что я прав — так и виделись мне в этом море, расцвеченном сочными живыми красками, под этим ярким небом, у этого пустынного берега черные корабли Одиссея, держащие путь к еще девственным и неведомым землям Средиземноморья. Гомер хотел

изобразить именно такое вот море, такое же небо и такое же побережье, и герои его сами походили на эту природу, наделившую их классической простотой, удивительным чувством меры. Вот и все. И ничего более! А теперь Рейнгольд пытается превратить этот яркий и красочный мир, овеянный свежими ветрами, щедро залитый солнцем, населенный хитроумными и жизнерадостными существами, в какой-то бесцветный, бесформенный, лишенный солнца и воздуха мир подсознательного — тайники души Одиссея. Выходит, «Одиссея» вовсе не рассказ об удивительных странствиях, сопутствовавших открытию Средиземноморья в легендарном детстве человечества, а бесконечное копание в тайниках души, описание внутренней драмы современного человека, запутавшегося в противоречиях, находящегося на грани психоза. Как бы подытоживая свои размышления, я подумал, что, пожалуй, трудно было бы найти более неподходящего для меня соавтора; к обычно наблюдаемому в кино стремлению без всякой надобности все изменять, причем изменять к худшему, в данном случае добавлялась еще особая мрачность, свойственная чисто механическому и абстрактному психоанализу. И в довершение всего эксперимент этот проводился над таким удивительно ясным и светлым произведением, как «Одиссея»!

Теперь мы ехали почти по самому берегу моря; вдоль дороги, совсем рядом с прибрежными песками, вились зеленые лозы густого виноградника, а за ним темнел усеянный обломками скал узкий пляж, на который время от времени, сверкая пеной, неторопливо обрушивались волны. Я резко затормозил и сухо сказал:

— Надо немного размять ноги.

Мы вышли из машины, и я зашагал по тропинке, которая, пересекая виноградник, вела к пляжу. Как бы в оправдание я сказал Рейнгольду:

— Я целых восемь месяцев просидел дома взаперти... с прошлого лета не видел моря... пойдемте на минутку на пляж.

Он шел за мной молча, все еще обиженный и мрачный. Мы не прошли и полсотни метров, как бегущая вдоль виноградника тропинка уткнулась в прибрежный песок. Неживой и однообразный стук мотора сменился теперь то нараставшим, то затихавшим рокотом волн; беспорядочно громоздясь, они набегали друг на друга и разбивались о берег. Я прошелся по пляжу, стараясь не попасть под обрушивавшиеся на него волны, потом остановился и долго стоял неподвижно на песчаном холмике, устремив взгляд к горизонту. Я чувствовал, что обидел

Рейнгольда и должен как можно любезнее возобновить с ним разговор, поскольку он этого ждет. Мне очень не хотелось прерывать те размышления, в которые я погрузился, созерцая безбрежный морской простор, но все же я наконец решился.

— Простите меня, Рейнгольд, — неожиданно сказал я, — несколько минут назад я, возможно, не слишком удачно выразился... но, говоря откровенно, ваше толкование показалось мне не совсем убедительным... Если хотите, объясню вам почему.

Он сразу же с готовностью ответил:

— Пожалуйста... объясните... Ведь споры составляют часть нашей работы, не так ли?

— Ну, хорошо, — продолжал я, не глядя на него, — допустим, что «Одиссею» можно истолковать и так, как делаете вы, хотя я в этом совсем не убежден... И все же отличительной чертой гомеровских поэм и вообще античного искусства является то, что любое толкование, как ваше, так и множество других, могущих прийти в голову нам, современным людям, должно подтверждаться строго законченной формой этих произведений, исполненной, сказал бы я, глубокого содержания. — И с внезапным, необъяснимым раздражением я добавил: — Я хочу сказать, что вся прелесть «Одиссеи» именно и состоит в верности реальному миру, такому, каким он предстает перед нами в действительности. И эту законченную форму гомеровской «Одиссеи» нельзя видоизменять ни полностью, ни частично — ее надо либо принять, либо вообще отказаться от мысли ставить фильмы по Гомеру. Иначе говоря, — закончил я, по-прежнему глядя не на Рейнгольда, а на море, — мир Гомера — это реальный мир... Гомер принадлежал к цивилизации, которая развивалась в полной гармонии с природой, а не в противоречии с ней... Поэтому Гомер верил в реальность осязаемого мира и видел его реально, так, как он его себе представлял. Поэтому и мы тоже должны брать его таким, каков он есть, верить в него так, как верил Гомер, понимать его буквально, не ища в нем скрытого, подспудного смысла.

Я умолк, но не успокоенный, а, наоборот, охваченный непонятным раздражением: попытка объяснить свою точку зрения оставила у меня ощущение тщетности предпринимаемых мной усилий. И действительно, почти тотчас раздался ответ Рейнгольда, сопровождаемый его обычным смешком, на этот раз торжествующим:

— Экстроспективно, экстроспективно!.. Вы, Мольтени, как все южане, экстроспективны и не понимаете того, кто интроспективен... Однако в этом нет ничего плохого... просто я интро-

спективен, а вы экстроспективны... Я именно потому и выбрал вас... вы уравновесите своей экстроспективностью мою интроспективность... Вот увидите, мы с вами великолепно сработаемся...

Я уже собирался ему ответить, и, думаю, ответ мой, наверное, опять обидел бы его, ибо я чувствовал, как во мне поднимается раздражение, вызванное его тупым упрямством, но внезапно услышал у себя за спиной хорошо знакомый голос:

— Рейнгольд, Мольтени... что вы здесь делаете?.. Дышите свежим морским воздухом?

Я обернулся и увидел на гребне одного из песчаных холмов две четко выступающие в ярком утреннем свете фигуры — Баттисту и Эмилию. Баттиста быстро шел к нам, приветственно махая рукой. Эмилия следовала за ним не спеша, опустив голову. Баттиста казался еще более веселым и самоуверенным, чем обычно, тогда как весь облик Эмилии выражал недовольство, растерянность и чуть ли не отвращение.

Немного удивленный, я сказал приближавшемуся Баттисте:

— А мы думали, вы намного опередили нас... наверное, уже в Формии или еще дальше!

— Мы сделали круг... — непринужденным тоном ответил Баттиста, — я хотел показать вашей жене один из земельных участков возле Рима, где я строю виллу... потом нас несколько раз задерживали шлагбаумы у железнодорожных переездов. — И, повернувшись к Рейнгольду, он спросил: — Все в порядке, Рейнгольд?.. Говорили об «Одиссее»?

— Все в порядке, — ответил в таком же телеграфном стиле Рейнгольд из-под козырька своей полотняной кепочки. Видимо, появление Баттисты его раздражало: ему хотелось продолжить начатый со мной разговор.

— Вот и прекрасно, просто великолепно. — Баттиста фамильярно подхватил нас под руки и увлек по направлению к Эмилии, стоявшей рядом на пляже. — Итак, — добавил он с галантностью, показавшейся мне невыносимой, — итак, прелестная синьора, вам предстоит сделать выбор... Где мы будем обедать, в Неаполе или в Формии?.. Решайте.

Эмилия вздрогнула и сказала:

— Решайте вы... мне все равно.

— Ну нет, решать должна, черт возьми, дама.

— Тогда пообедаем в Неаполе, у меня еще нет аппетита.

— Отлично, значит, в Неаполе... Рыбный суп с томатной приправой... оркестрик: «О, мое солнце». — Баттиста был очень весел.

— В котором часу отходит пароход на Капри? — спросил Рейнгольд.

— В половине третьего. Пожалуй, нам пора ехать, — заметил Баттиста. Он оставил нас и направился к дороге.

Рейнгольд последовал за ним и, догнав его, пошел рядом. Эмилия же, словно желая пропустить их вперед, некоторое время стояла не двигаясь, делая вид, будто смотрит на море. Но, едва я поравнялся с нею, она схватила меня за руку и сказала шепотом:

— Теперь я сяду в твою машину... пожалуйста, не возражай.

Меня поразил ее встревоженный тон.

— Но что произошло?

— Ничего... Баттиста слишком быстро ездит.

Мы молча пошли по тропинке. Когда мы выбрались на дорогу и приблизились к стоявшим неподалеку машинам, Эмилия решительно направилась к моей машине.

— Как? — закричал Баттиста. — Разве вы поедете не со мной?

Я обернулся: Баттиста стоял у распахнутой дверцы своего автомобиля посреди залитой солнцем дороги. Рейнгольд остановился в нерешительности между двумя машинами и смотрел на нас. Эмилия, не повышая голоса, спокойно сказала:

— Теперь я сяду к мужу... Встретимся в Неаполе.

Я ожидал, что Баттиста уступит, не настаивая. Однако, к некоторому моему удивлению, он побежал нам навстречу.

— Синьора, вы проведете с мужем на Капри целых два месяца... А я, — добавил он тихо, чтобы его не услышал режиссер, — слишком долго находился в обществе Рейнгольда в Риме и могу вас заверить, что это не очень-то весело... Ваш муж, конечно, не будет иметь ничего против, если вы поедете со мной, не правда ли, Мольтени?

Мне только и оставалось, сделав над собой усилие, ответить:

— Абсолютно ничего... Вот только Эмилия говорит, что вы слишком быстро ведете машину.

— Поеду черепашьим шагом, — с шутливой горячностью заверил Баттиста. — Но прошу вас, не оставляйте меня наедине с Рейнгольдом. — Он снова понизил голос. — Если бы вы знали, до чего он скучен... все время рассуждает о кино.

Не знаю, почему я так поступил в ту минуту... Может быть, подумал: не стоит портить Баттисте настроение по столь пустячному поводу. Но так или иначе у меня вырвалось:

— Иди, Эмилия, разве тебе не хочется доставить удоволь-

ствие Баттисте?.. К тому же он прав, — добавил я, улыбаясь, — с этим Рейнгольдом невозможно ни о чем говорить, кроме кино.

— Вот именно, — с довольным видом подтвердил Баттиста. Затем он взял Эмилию под руку, очень высоко, у самой подмышки: — Идемте, прелестная синьора, не надо упрямиться... я обещаю вам плестись шагом.

Эмилия бросила на меня взгляд, значение которого я не сразу понял, а затем медленно проговорила:

— Ну, если это говоришь мне ты...

Потом с неожиданной решительностью повернулась и, добавив: «Идемте же», — пошла с Баттистой, который все так же крепко держал ее под руку, словно боясь, что она от него убежит. Я продолжал стоять в нерешительности у своей машины и смотрел вслед удалявшимся Эмилии и Баттисте. Она шла рядом с приземистым Баттистой, который был гораздо ниже ее ростом, но, несмотря на вялую походку, была в ней какая-то загадочная чувственность; Эмилия показалась мне в ту минуту очень красивой, и красота ее необыкновенно гармонировала со сверкающим морем и ярко-голубым небом, на фоне которых четко вырисовывалась ее фигура. Но в красоте Эмилии ощущалось какое-то смятение, какой-то внутренний протест, и я не знал, чему это приписать. Потом — я все еще смотрел ей вслед — у меня мелькнула мысль: «Дурак... быть может, она хотела остаться с тобой... поговорить, наконец-то объясниться, раскрыть тебе душу, сказать, что любит тебя... а ты заставил ее уйти с Баттистой!» При этой мысли у меня сжалось сердце, и я поднял руку, словно намереваясь позвать ее. Но было уже поздно: она садилась в автомобиль Баттисты, тот усаживался рядом с ней, а навстречу мне шел Рейнгольд. Я тоже влез в машину, Рейнгольд опустился на сиденье рядом со мной. В ту же минуту автомобиль Баттисты промчался мимо нас и вскоре, превратившись в черную точку, скрылся вдали.

Быть может, Рейнгольд заметил охватившее меня раздражение, почти что ярость; вместо того чтобы продолжить, как я этого боялся, наш разговор об «Одиссее», он, надвинув на глаза кепку, откинулся на спинку сиденья, застыл в неподвижности и очень быстро задремал. Я все так же молча вел машину, выжимая предельную скорость из мотора своей слабосильной малолитражки, и с каждой минутой во мне нарастала безотчетная ярость. Дорога отдалялась от моря и теперь шла мимо цветущих позолоченных солнцем полей. В другое время как бы я восхищался густыми деревьями, сплетавшими над нашей головой свои кроны, образуя живой коридор из шумящей листвы, и

серебристо-серыми оливами, разбросанными по красноватым склонам холмов, и апельсиновыми рощами, где среди глянцевито-темной листвы сверкало золото плодов, и одиноко стоящими старыми, почерневшими от времени крестьянскими домишками, и торчащими рядом двумя-тремя скирдами светло-золотистой соломы! Но я вел машину, словно ничего не замечая вокруг, с каждой минутой чувствуя себя все более подавленным. Я не пытался искать причину того, что со мной происходит, но она, безусловно, была глубже, чем просто раскаяние в своей уступчивости Баттисте в том, что позволил Эмилии ехать в его машине; впрочем, если бы я даже и хотел найти объяснение, мозг мой был настолько затуманен яростью, что я все равно не в состоянии был это сделать. Бывают такие припадки неудержимых нервных конвульсий, которые длятся ровно столько, сколько им положено, затем начинают постепенно ослабевать и наконец проходят, оставляя больного совсем разбитым, лишенным сил. Так и мое раздражение, пока я гнал машину через поля, леса, холмы и долины, достигнув апогея, начало затем постепенно ослабевать и наконец, когда мы уже подъезжали к Неаполю, совсем исчезло. Теперь мы быстро спускались с холма по направлению к морю. Дорога шла среди пиний и магнолий, впереди уже виднелась голубая гладь залива. Я чувствовал себя обессилевшим и отупевшим — такое ощущение, наверное, испытывает эпилептик, который только что перенес потрясший его тело и душу яростный, неотвратимый припадок.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Вилла Баттисты, как он сказал нам по прибытии на Капри, находилась вдали от центральной площади городка, в уединенном уголке побережья, в той стороне Капри, что смотрит на Сорренто. Проводив Рейнгольда до гостиницы, Баттиста, Эмилия и я по узкой улочке направились к вилле.

Улочка вывела нас в тенистую аллею, огибающую весь остров. Наступали сумерки, и в тени цветущих олеандров по выложенным кирпичом дорожкам, идущим вдоль ограды густолиственных садов, в тишине медленным шагом прогуливались лишь несколько туристов. Где-то далеко внизу сквозь кроны пиний и рожковых деревьев неожиданно проглядывало необычайно яркое густо-лазурное море, освещенное ослепительно сверкающими холодными лучами заходящего солнца. Я шел по-

зади Баттисты и Эмилии, то и дело останавливаясь, чтобы полюбоваться красотой окружающей меня природы, и впервые за много времени чуть ли не с удивлением чувствовал, как сердце мое наполняется, если не радостью, то, во всяком случае, умиротворением и спокойствием. Мы прошли до конца всю аллею, потом свернули на другую, более узкую дорожку. На одном из поворотов перед нами вдруг открылась морская ширь и скалы Фаральони, и я с радостью услышал, как Эмилия вскрикнула от изумления и восторга. На Капри она была впервые и до сих пор всю дорогу молчала. Эти высящиеся среди водной глади два огромных красных утеса производили отсюда, с высоты, странное впечатление — они походили на метеориты, упавшие с неба на необозримое зеркало моря. Я был тоже восхищен открывшимся перед нами видом и сказал Эмилии, что на утесах Фаральони живет разновидность ящериц, нигде больше не встречающихся: они голубого цвета, потому что над ними голубое небо, а под ними — голубое море. Она выслушала мои объяснения с интересом, словно на миг позабыв о своей враждебности, и меня вновь с огромной силой охватила надежда на примирение. Голубая ящерица, живущая в расселинах этих утесов, о которой я только что говорил, вдруг превратилась в моем воображении в некий символ. Кто знает, какими могли бы стать мы сами, если бы надолго остались на острове; безмятежная жизнь у самого моря постепенно очистила бы наши души от копоти тоскливых городских мыслей, души и чувства у нас стали бы такими же ясными, светящимися изнутри голубизной, как море, как небо — как все, что светло, радостно и чисто.

Миновав скалы Фаральони, дорожка принялась петлять меж крутых каменистых обрывов, лишенных всякой растительности, здесь больше не было ни вилл, ни садов. Наконец в одном из пустынных уголков мы увидели длинное и низкое белое строение с обращенной к морю широкой террасой. Это и была вилла Баттисты.

Она оказалась небольшой — всего три комнаты, не считая выходящей на террасу гостиной. Баттиста шел впереди и, пожалуй, чуточку хвастливо при каждом удобном случае стремился подчеркнуть свою роль хозяина дома, объясняя нам, что сам он здесь никогда еще не жил и вилла эта досталась ему меньше года назад от одного из его должников в уплату части долга. Он старался показать, что к нашему приезду позаботился о любой мелочи: в гостиной стояли вазы с цветами, натертый до блеска паркет издавал резкий запах воска, а на кухне мы увидели хлопотавшую у плиты жену сторожа, занятую приготов-

лением ужина. Баттиста, казалось, жаждал продемонстрировать нам все без исключения удобства своей виллы: он заставил нас заглянуть во все чуланы и простер свою любезность так далеко, что даже распахивал шкафы в спрашивал Эмилию, хватит ли вешалок для одежды. Потом мы вернулись в гостиную. Эмилия сказала, что пойдет переодеться, и вышла. Я хотел последовать за ней, но Баттиста задержал меня. Он опустился в кресло и сделал приглашающий жест. Закурив сигару, он без всякого вступления неожиданно спросил:

— Скажите, Мольтени, что вы думаете о Рейнгольде?

Несколько удивленный, я ответил:

— Право, затрудняюсь сказать... Я мало его знаю и не могу судить о нем... Но мне он кажется серьезным человеком... его считают опытным режиссером...

Баттиста немного подумал, а потом продолжал:

— Видите ли, Мольтени, я ведь тоже мало с ним знаком, но все же более или менее знаю, о чем он думает и чего хочет... И прежде всего он немец, не так ли? А мы с вами итальянцы — два разных мира, два различных мировоззрения, два мироощущения.

Я промолчал. Баттиста, как обычно, начинал издалека и с того, что не касалось его финансовых интересов; я решил выждать и посмотреть, куда он клонит.

Он продолжал:

— Так вот, Мольтени, я решил, что вместе с Рейнгольдом должны работать вы, итальянец, именно потому, что вижу: он совсем не такой, как мы с вами... Вам, Мольтени, я доверяю и, прежде чем уехать — а, к сожалению, мне придется уехать довольно скоро, — хочу кое о чем вас предупредить.

— Говорите, я вас слушаю, — холодно произнес я.

— Я наблюдал за Рейнгольдом, — сказал Баттиста, — во время наших бесед о фильме... Он или соглашается со мной или молчит... Но я теперь слишком хорошо узнал людей, чтобы верить им, когда они начинают себя так вести... Вы, художники, все без исключения, более или менее единодушно считаете, что продюсеры — только дельцы и ничего больше... Не возражайте, Мольтени, и вы тоже так думаете, и, разумеется, так же думает Рейнгольд... Однако это верно лишь до известной степени... Может быть, Рейнгольд надеется, что ему удастся усыпить мою бдительность своим пассивным поведением... но я начеку... Я гляжу в оба, Мольтени...

— Короче говоря, — резко спросил я, — вы не доверяете Рейнгольду?

— Я ему верю и в то же время не верю... Я ему доверяю как специалисту, как мастеру своего дела... Но я не доверяю ему как немцу, как человеку другого мира, который так отличается от нашего... Теперь же, — Баттиста положил сигару на край пепельницы и посмотрел мне в глаза, — теперь же, Мольтени, я хочу со всей ясностью сказать вам, что мне нужен фильм возможно более похожий на «Одиссею» Гомера. Чего хотел Гомер в своей «Одиссее»? Он хотел рассказать приключенческую повесть, которая все время держала бы читателя в напряжении... Историю, которая, так сказать, воздействовала бы на воображение. Вот чего хотел Гомер... И я требую, чтобы вы оставались верны Гомеру... У Гомера в «Одиссее» великаны, чудеса, бури, волшебницы, чудовища...

— Но они будут и у нас, — сказал я, немного удивленный.

— Они будут и у нас, они будут и у нас... — с неожиданным раздражением передразнил меня Баттиста. — Вы что, Мольтени, считаете меня дураком?.. Но я-то не дурак!

Он повысил голос и с яростью уставился на меня. Я был удивлен этой вспышкой злобы, а еще больше выносливостью Баттисты: целый день он вел машину, потом его качало на пароходе от Неаполя до Капри, и теперь вместо того, чтобы отдохнуть, как сделал бы на его месте я, он еще способен спорить о намерениях Рейнгольда! Я вяло проговорил:

— Но с чего вы взяли, будто я принимаю вас за... за дурака?

— Я сужу по вашему поведению, Мольтени, да и по поведению Рейнгольда.

— Что вы хотите этим сказать?

Немного успокоившись, Баттиста вновь закурил и продолжал:

— Вы помните тот день, когда впервые встретились с Рейнгольдом в моем кабинете... Вы тогда еще сказали, что не подходите для работы над развлекательным фильмом, не так ли?

— Кажется, да.

— А что вам ответил Рейнгольд, желая вас успокоить?

— Сейчас не припомню...

— Могу освежить это в вашей памяти... Рейнгольд вам сказал, чтобы вы не волновались... что он намерен ставить психологический фильм... фильм о супружеских отношениях между Одиссеем и Пенелопой... Разве не так?

Я снова удивился: Баттиста оказался куда более проницательным, чем можно было бы предположить, исходя из его внешней грубости и невежества. Я подтвердил:

— Да, кажется, он действительно говорил что-то в этом роде.

— Так вот, поскольку сценарий еще не начат и ничего до сих пор не сделано, я считаю своим долгом самым серьезным образом вас предупредить: для меня поэма Гомера — не история супружеских отношений между Одиссеем и Пенелопой.

Я ничего на это не ответил, и Баттиста, помолчав немного, продолжал:

— Когда я хочу поставить фильм об отношениях между мужем и женой, я беру какой-нибудь современный роман, никуда не трогаюсь из Рима и снимаю фильм в спальнях и гостиных квартала Париоли... И тогда мне нет дела ни до Гомера, ни до «Одиссеи». Вы поняли, Мольтени?

— Разумеется, понял.

— Отношения между супругами сейчас меня не интересуют, вы поняли, Мольтени?.. «Одиссея» — это история странствий Одиссея, и мне нужен фильм именно о его странствиях... И чтобы не оставалось никаких сомнений, мне требуется развлекательный фильм, Мольтени, раз-вле-ка-тель-ный! Вы поняли?

— Не беспокойтесь, — сказал я, так как этот разговор уже начиная мне надоедать, — вы получите развлекательный фильм.

Баттиста швырнул сигару и сказал обычным тоном:

— А я и не беспокоюсь, ведь, помимо всего, деньги-то плачу я... Вы должны понять, Мольтени, я говорю все это во избежание неприятных недоразумений... Принимайтесь за работу завтра же с утра. Я хотел вас вовремя предупредить, и в ваших собственных интересах тоже... Я вам доверяю, Мольтени, и хочу, чтобы, работая с Рейнгольдом, вы, так сказать, представляли меня... Вы должны напоминать Рейнгольду всякий раз, когда в этом возникнет необходимость, что «Одиссея» нравится и всегда нравилась людям потому, что она исполнена поэзии... И я хочу, чтобы эта поэзия целиком и полностью была сохранена в фильме...

Я понял, что Баттиста совсем успокоился: в самом деле, теперь он заговорил уже не о развлекательном фильме, которого от нас требовал, а о поэзии. После короткого экскурса в насквозь земную презренную область кассового успеха мы вновь воспарили в заоблачные выси искусства и духовных интересов. С болезненной гримасой, которая должна была изображать улыбку, я сказал:

— Не сомневайтесь, Баттиста, вы получите сполна всю поэзию Гомера или по крайней мере столько, сколько мы сумеем из него выжать.

— Прекрасно, прекрасно, не стоит больше об этом говорить!

Баттиста, потягиваясь, поднялся со своего кресла, посмотрел на часы и, буркнув, что хочет привести себя в порядок к ужину, вышел. Я остался один.

Сначала я тоже хотел уйти к себе в комнату, чтобы переодеться к ужину. Но разговор с Баттистой взволновал меня и отвлек от этого намерения: почти машинально я принялся ходить взад и вперед по гостиной. В самом деле, все то, что сказал Баттиста, заставляло меня впервые задуматься над трудностью работы, которую я довольно легкомысленно, беспокоясь только о материальных выгодах, взвалил на себя. И мне казалось, что я уже сейчас заранее ощущаю ту страшную усталость, какую мне предстоит испытать в конце работы над сценарием. К чему все это? — думал я. Зачем мне обрекать себя на столь неприятную и тяжелую работу, на споры, которые, несомненно, будут возникать у нас с Баттистой, не говоря уже о спорах, которые придется вести в Рейнгольдом, на неизбежные компромиссы, на горечь при мысли, что мое имя появится под произведением, извращающим «Одиссею» и созданным только ради кассовых сборов?.. К чему все это? Еще совсем недавно, когда я с высоты бегущей по обрыву тропинки смотрел на скалы Фаральони, пребывание на Капри представлялось мне таким привлекательным. Теперь же оно казалось беспросветно мрачным, и виной тому была стоящая передо мною неблагодарная и невыполнимая задача: примирить свои требования честного литератора с прямо им противоположными требованиями продюсера. И вновь я необычайно остро ощутил, что Баттиста — хозяин, а я — слуга и что слуге многое дозволено, кроме одного — неповиновения хозяину, а те способы, с помощью которых он старается защитить себя от хозяйской власти — хитрость и лесть, — еще унизительнее беспрекословного подчинения... Короче говоря, я чувствовал, что, подписав этот контракт, продал душу дьяволу, требовательному и вместе с тем мелочному, как все дьяволы. Баттиста в припадке откровенности выразил это с предельной ясностью. «Деньги-то плачу я», — сказал он. Мне же требовалось проявить совсем немного откровенности, чтобы сказать самому себе: «А я тот, кому платят». Фраза эта неотступно звучала у меня в ушах, едва только я начинал думать о сценарии. Неожиданно я почувствовал, что задыхаюсь, словно эти мысли вызывали у меня приступ удушья. Мне захотелось поскорее уйти из этой комнаты, перестать дышать тем воздухом, которым еще недавно дышал Баттиста. Я подошел к стеклянной двери, распахнул ее и вышел на террасу.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Тем временем спустилась ночь, террасу освещало мягкое, серебристое сияние, разлитое по небу невидимой луной. Ступеньки с террасы вели прямо на дорожку, обегавшую весь остров.

Сначала я хотел спуститься по этим ступенькам и пойти побродить по острову, но потом заколебался — час был уже поздний, а дорожка погружена во мрак. Я решил остаться на террасе, облокотился на балюстраду и закурил. Вокруг высоко вздымались, упираясь в звездное небо, темные остроконечные скалы. Далеко внизу, подо мной, угадывались в темноте такие же огромные скалы. Ничто не нарушало ночной тишины: только вслушавшись, можно было различить легкий шелест волн, набегающих на прибрежные камни и мягко откатывающихся назад. Но, быть может, это был даже не шелест волн внизу, в маленькой бухточке, а лишь мерное дыхание моря, движение прилива и отлива. Воздух был недвижим, ни малейшего дуновения ветерка. Очень далеко, где-то на самой линии горизонта, я с трудом различал слабый белый огонек — то был маяк в Пунта Кампанелла, на материке; он то вспыхивал, то потухал, и этот еле различимый, затерянный в ночном просторе огонек был единственным признаком жизни, который я мог заметить вокруг.

Я чувствовал, как мне передается спокойствие этой тихой ночи, хотя и сознавал, что никаким красотам на свете не отвлечь меня от тревожных дум. И действительно, зачарованный красотой этой ночи, я простоял так довольно долго, не думая ни о чем определенном, но затем, почти против своей воли, вновь вернулся к неотступно мучавшим меня мыслям об Эмилии. Однако на этот раз мысли о ней были удивительно путаными и переплетались с размышлениями о сценарии, может быть, из-за разговора с Баттистой и Рейнгольдом, а также того впечатления, которое произвел на меня этот остров, столь напоминающий места, описанные в гомеровской поэме. Неожиданно, сам не знаю в какой связи, мне пришел на память отрывок из последней песни «Одиссеи», тот, в котором Одиссей подробно описывает свое супружеское ложе, после чего Пенелопа наконец узнает мужа. Она бледнеет и чуть не лишается чувств, а потом вся в слезах с плачем бросается к нему в объятия и произносит слова, которые я хорошо запомнил, не раз их перечитывая и повторяя самому себе:

О, не сердись на меня, Одиссей! Меж людьми ты всегда был
Самый разумный и добрый. На скорбь осудили нас боги!
Было богам неугодно, чтоб, сладкую молодость нашу
Вместе вкусив, мы спокойно дошли до порога веселой
Старости... *

К сожалению, я не знаю древнегреческого, но я всегда чувствовал, что перевод Пиндемонте неточен и никоим образом не передает чарующей непосредственности подлинника. Однако эти стихи мне все же особенно нравились: они согреты подлинным чувством, хотя и звучат несколько напыщенно. Читая этот отрывок, я невольно сравнивал его со стихами Петрарки, с его известным сонетом, который начинается строкой:

Спокойный порт Любовь явила мне...

и кончается терциной:

И, может быть, в ответ она сказала б
Утешные слова об этих двух
Поблекших ликах с равной сединой. **

Как у Гомера, так и у Петрарки на меня тогда наиболее сильное впечатление произвело это чувство верной и нерушимой любви, которую ничто, даже годы, не в силах ни уничтожать, ни охладить. Почему же теперь в моей памяти всплыли эти стихи? Я понял: о них напомнили мне наши с Эмилией отношения, столь непохожие на те, что были между Одиссеем и Пенелопой, Петраркой и Лаурой, отношения, над которыми нависла угроза не после долгих десятилетий супружеской жизни, а всего через каких-нибудь два года, и, конечно, нельзя было тешить себя надеждой пройти вместе жизненный путь до конца, любя друг друга, как в первый день, читая эту любовь пусть на «поблекших ликах с равной сединой». И я, так надеявшийся, что наши отношения приведут нас к такому будущему, чувствовал себя сейчас растерянным, был напуган непонятным для меня разрывом, разрушившим мои мечты. Но что же, что же произошло? И, словно вопрошая эту виллу, в одной из комнат которой находилась Эмилия, я повернулся лицом к окнам.

Из того угла террасы, где я стоял, я видел все, что происходит в гостиной, сам оставаясь незамеченным. Подняв глаза, я увидел Баттисту и Эмилию; на Эмилии было то же сильно декольтированное черное шелковое платье, что и при нашей пер-

---

* Гомер. «Одиссея». *Перевод В. Жуковского.*
** Петрарка. Избранная лирика. Сонет 104. *Перевод А. Эфроса.*

вой встрече с Баттистой. Она стояла возле уставленного бутылками маленького сервировочного столика, а Баттиста, наклонившись, приготавливал в большом хрустальном кубке коктейль. Мне сразу бросилась в глаза какая-то неестественность в позе Эмилии — в ней чувствовались и смятение и в то же время развязность, словно, поддаваясь искушению, она пыталась что-то побороть в себе. Эмилия стояла, ожидая, когда Баттиста подаст ей бокал, и время от времени неуверенно озиралась вокруг; лицо ее было искажено какой-то растерянной и вместе с тем двусмысленной улыбкой. Баттиста кончил смешивать ликеры, осторожно наполнил два бокала и, выпрямившись, подал один из них Эмилии; она вздрогнула, словно очнувшись от глубокой задумчивости, и медленно протянула руку за бокалом. Я смотрел на нее не отрываясь, Эмилия стояла перед Баттистой, слегка откинувшись назад и опершись одной рукой на спинку кресла, в другой руке она держала бокал: мне невольно бросилось в глаза, что она, выставив вперед туго обтянутые блестящей тканью грудь и живот, точно предлагала себя Баттисте. Эта готовность, однако, нисколько не отражалась на ее лице, сохранявшем столь не вязавшееся с такой позой обычное выражение неуверенности. Наконец, словно желая нарушить тягостное молчание, она что-то проговорила, показав жестом на стоявшие у камина в глубине гостиной кресла, а затем, осторожно ступая, чтобы не расплескать полный до краев бокал, направилась к ним. И здесь произошло то, чего я, в сущности, давно уже ожидал: Баттиста на середине комнаты догнал ее, обвил рукой ее талию и, вытянув шею, прижался щекой к ее щеке. Она сразу же воспротивилась этому, но не слишком решительно, даже, наверно, шутливо и кокетливо, прося отпустить ее и показывая глазами на полный бокал, который она осторожно несла перед собой в вытянутой руке. Баттиста засмеялся, отрицательно покачал головой и привлек ее к себе еще крепче таким резким движением, что вино, как она и предупреждала, расплескалось. Я подумал: «Сейчас поцелует ее в губы», но я, видимо, позабыл характер Баттисты, его грубость. В самом деле, он не стал целовать Эмилию, а, собрав в кулак платье у нее на плече у самого выреза, с непонятной и жестокой яростью перекрутил материю и с силой дернул. Плечо Эмилии обнажилось, и Баттиста впился в него губами; она же стояла неподвижно, выпрямившись, словно терпеливо ожидая, когда он насытится, но я успел заметить, что во время этого поцелуя ее лицо и глаза оставались по-прежнему растерянными и недоумевающими. Потом она посмотрела в сторону окна, и мне почудилось, что взгляды наши встретились: она

сделала движение, выражающее досаду, и, придерживая рукой на груди оборванную бретельку, поспешно вышла из комнаты. Я тоже отошел в глубь террасы.

В ту минуту я прежде всего почувствовал замешательство и глубокое удивление: мне казалось, что все виденное мною противоречит тому, что я до сих пор знал или предполагал. Эмилия, которая не только меня разлюбила, но, как она призналась, презирала, на самом деле изменяла мне с Баттистой! Теперь положение резко менялось: смутное ощущение своей неправоты перешло в ясное сознание того, что правда на моей стороне; после того, как меня без всякой причины начали презирать, теперь с полным основанием мог в свою очередь презирать и я; а все загадочное поведение Эмилии по отношению ко мне объяснялось самой обыкновенной любовной интрижкой! Возможно, эти первые пришедшие мне в голову мысли, может быть, и примитивные, но наиболее логичные, продиктованные прежде всего самолюбием, помешали мне в ту минуту ощутить боль от измены (или того, что казалось мне изменой) Эмилии. Но когда я в полной растерянности подошел, словно в тумане, к краю террасы, у меня болезненно сжалось сердце, и меня вдруг охватила уверенность в том, что увиденное мною в гостиной не было, не могло быть истинной причиной. Несомненно, твердил я, Эмилия позволила Баттисте целовать себя; тем не менее ощущение собственной неправоты странным образом не покидало меня, и я чувствовал, что все увиденное еще не позволяет мне начать презирать в свою очередь Эмилию; более того, не знаю почему, мне казалось, что это право по-прежнему принадлежит ей и она, несмотря на тот поцелуй, может испытывать ко мне презрение. Так, значит, я, в сущности, заблуждался: Эмилия не изменила мне или, во всяком случае, измена ее лишь внешняя; истинная глубокая причина измены Эмилии еще не обнаружена, она скрывается за этим внешним проявлением неверности.

Я вспомнил, что Эмилия всегда проявляла по отношению к Баттисте упорную и непонятную мне неприязнь и что не далее как в этот самый день, утром, она дважды просила меня не оставлять ее наедине с продюсером в его машине. При таком ее отношении к нему чем же все-таки можно было объяснить этот поцелуй? Несомненно, он был первым: Баттиста, по всей вероятности, воспользовался благоприятным моментом, который до этого вечера ему не представлялся. Значит, не все еще потеряно; я могу еще выяснить, почему Эмилия позволила Баттисте целовать себя, а главное понять, почему я безотчетно, но твердо чувствовал, что, несмотря на этот поцелуй, наши отношения

не изменились, и она, как и раньше, и не в меньшей степени, чем раньше, имеет право все так же отказывать мне в любви и презирать меня.

Могу сказать, что время для подобных размышлений было неподходящим и что первый мой порыв — ворваться в гостиную и предстать перед любовниками — был куда более естественным. Однако слишком я много размышлял об отношении ко мне Эмилии, поэтому не мог реагировать так непосредственно и простодушно; с другой стороны, для меня не так важно было доказать Эмилии ее вину, как пролить свет на наши отношения. Если бы я вошел в гостиную, это окончательно лишило бы меня возможности не только узнать истину, но и вновь завоевать любовь Эмилии. Мне, напротив, следует, убеждал я себя, действовать со всей осторожностью и благоразумием, каких требуют от меня деликатные и вместе с тем не совсем ясные обстоятельства.

Было еще одно соображение, возможно, более эгоистичное, которое остановило меня на пороге гостиной: теперь у меня был достаточный повод отделаться от сценария «Одиссеи», развязаться с этой работой, вызывающей у меня отвращение, и вернуться к любимому делу — драматургии! Достоинством такого рода рассуждений было то, что они устраивали всех троих — Эмилию, Баттисту и меня. В самом деле, поцелуй этот явился как бы кульминационным пунктом двусмысленного положения, в каком находилась теперь вся моя жизнь, и это касалось также моей работы. Наконец мне представилась возможность раз и навсегда покончить с этой двусмысленностью. Но действовать я должен не спеша, постепенно, без скандалов.

Все эти мысли пронеслись у меня в голове с той бешеной скоростью, с какой в неожиданно распахнувшееся окно врывается порыв ветра, наполняя комнату песком, сухими листьями и пылью. И так же, как в комнате, где едва лишь окно вновь захлопнется, сразу наступает тишина и воздух становится недвижим, так и моя голова словно вдруг опустела, сознание отключилось, и я, ни о чем больше не думая, ничего не чувствуя, застыл в глубоком оцепенении, вперив взгляд в темноту ночи. В том же состоянии полузабытья, почти не отдавая себе отчета в своих намерениях, я с трудом оторвался от балюстрады, подошел к выходящей на террасу стеклянной двери, открыл ее и появился в гостиной. Сколько времени провел я на террасе после того, как увидел Эмилию в объятьях Баттисты? Несомненно, больше, чем мне показалось, так как Баттиста и Эмилия уже сидели за столом и ужинали. Я заметил, что Эмилия сняла пла-

тье, разорванное Баттистой, и вновь надела то, которое было на ней во время поездки; эта деталь, не знаю почему, глубоко меня взволновала, словно я увидел в ней особенно красноречивое и жестокое подтверждение измены Эмилии.

— А мы уже думали, что вы отправились ночью купаться, — весело сказал Баттиста, — где это вас черти носили?

— Я стоял здесь, на террасе, — тихо ответил я.

Эмилия подняла глаза, бросила на меня быстрый взгляд и вновь опустила их; я был совершенно уверен, что она заметила, как я подглядывал за ними с террасы, и знала, что я знаю о том, что она меня видела.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

За ужином Эмилия была молчалива, но не обнаруживала сколько-нибудь заметного смущения, и это меня удивляло; я думал, что она, наоборот, будет взволнована, ведь до сих пор я считал ее неспособной на притворство. Что же до Баттисты, то он не скрывал своего торжества и приподнятого настроения и болтал, не закрывая ни на минуту рта, что, впрочем, не мешало ему с аппетитом поглощать блюдо за блюдом и прикладываться, пожалуй, даже слишком часто, к бутылке с вином. О чем разглагольствовал в тот вечер Баттиста? О многом, но я заметил, что, о чем бы он ни заводил речь, говорил он главным образом о себе самом. Слово «я» агрессивно гремело в его речах, срывалось с его уст настолько часто, что это вызывало у меня раздражение; не в меньшей степени злило меня и то, как легко удавалось ему постепенно переводить разговор с самых, казалось бы, далеких тем на собственную персону. Однако я понимал, что этот хвалебный гимн самому себе объяснялся не столько тщеславием, сколько чисто мужским желанием произвести впечатление на Эмилию, а, может быть, и унизить меня; ведь он был уверен, что завоевал Эмилию, и теперь, вполне естественно, ему хотелось, подобно распускающему свой ослепительный хвост павлину, немного покрасоваться перед покоренной Эмилией. Следует признать, что Баттиста был неглуп и что, даже теша свое мужское самолюбие, не терял присущего ему практического взгляда на вещи. Все или по крайней мере большая часть того, что он говорил, было интересно; например, в конце ужина он очень живо и вместе с тем рассуждая здраво и серьезно рассказал нам о своей недавней поездке в Америку, о посещении киностудий в Голливуде. Но его авторитетный, не терпящий воз-

ражений, самодовольный тон казался мне невыносимым, и я наивно полагал, что таким же он должен казаться и Эмилии; вопреки всему, что я увидел и узнал, я по-прежнему почему-то думал, что она все еще относится к Баттисте неприязненно. Это была еще одна моя ошибка: Эмилия не испытывала неприязни к Баттисте, напротив! В то время как он говорил, я наблюдал за выражением лица Эмилии, и в глазах ее я прочел, что она если не увлечена Баттистой, то по крайней мере серьезно им заинтересована; порой она даже бросала на него взгляды, исполненные уважения и восхищения. Эти ее взгляды приводили меня в замешательство, они были мне, пожалуй, еще более неприятны, чем шумное и неуместное бахвальство Баттисты. Они напоминали мне чей-то другой, но схожий взгляд, однако я никак не мог припомнить, у кого же я его подметил. И только в самом конце ужина неожиданно вспомнил: такое же, или, во всяком случае, очень похожее выражение не так давно я заметил в глазах жены режиссера Пазетти, когда у них обедал. Бесцветный, незначительный, педантичный Пазетти разглагольствовал, а его жена была не в силах отвести от него взгляд, где можно было прочесть и любовь, и глубокое уважение, и восхищение, и преданность. Конечно, отношение Эмилии к Баттисте пока еще не дошло до такого обожания, но мне казалось, что в ее взгляде я уже различаю в зародыше все те чувства, которые питала к своему мужу синьора Пазетти. Одним словом, Баттиста мог ходить гоголем: Эмилия каким-то необъяснимым образом была им уже почти порабощена, и, по-видимому, скоро ее порабощение будет окончательным. При этой мысли сердце мне пронзила еще более острая боль, чем та, какую я испытал, увидев тот его поцелуй. Я невольно нахмурился, не в силах скрыть своего состояния. Баттиста, вероятно, заметил происшедшую во мне перемену; бросив на меня проницательный взгляд, он неожиданно спросил:

— Что с вами, Мольтени... вы недовольны, что приехали на Капри? Вам что-нибудь не нравится?

— С чего вы взяли?

— Но у вас такой грустный вид, — сказал он, наливая себе вина. — Вы что, в дурном настроении?..

Итак, он перешел в атаку, зная, что лучший способ защиты — нападение. Я ответил с быстротой, самого меня удивившей:

— Настроение у меня испортилось, когда я стоял на террасе и любовался морем.

Он поднял брови и, не теряя хладнокровия, вопрошающе уставился на меня:

— Вот как? И почему же?

Я взглянул на Эмилию — она тоже совсем не была взволнована. Оба были невероятно уверены в себе. А ведь Эмилия, несомненно, видела меня и, по всей вероятности, сказала об этом Баттисте. Неожиданно с губ моих сорвались слова, которых я не собирался произносить:

— Баттиста, могу я с вами говорить откровенно?

Меня вновь восхитила невозмутимость Баттисты:

— Откровенно?.. Само собой разумеется!.. Вы всегда должны говорить со мной откровенно.

Я сказал:

— Видите ли, любуясь морем, я на минуту представил себе, что я здесь, на острове, работаю один, самостоятельно... моя мечта, как вы знаете, писать для театра... И я подумал: вот, как говорится, идеальное место для того, чтобы посвятить себя любимому делу; красота окружающей природы, тишина, спокойствие, моя жена со мной, никаких забот... Потом я вспомнил, что здесь, в таком красивом и таком благоприятном для творческого труда месте, мне придется — извините, но вы сами призывали к откровенности, — мне придется тратить время на сочинение сценария, который, несомненно, сам по себе штука неплохая, но до которого мне, в сущности, нет никакого дела... Я отдам все силы, все свои способности Рейнгольду, а Рейнгольд использует это так, как ему заблагорассудится, и в конечном счете я останусь с банковским чеком в кармане... потеряв три-четыре месяца лучшей и самой плодотворной поры своей жизни... Я знаю, что не следовало бы говорить такие вещи вам или какому-либо другому продюсеру... но вы сами пожелали, чтобы я был откровенен... Теперь вы знаете, почему у меня плохое настроение.

Почему я заговорил обо всем этом вместо того, чтобы сказать совершенно о другом, что было готово сорваться у меня с языка и касалось отношения Баттисты к моей жене? Я сам не знал почему; быть может, из-за усталости, неожиданно охватившей меня после слишком сильного нервного напряжения, или, может быть, таким образом вырвалось наружу мое отчаяние, рожденное неверностью Эмилии; я чувствовал, что между ее неверностью и продажным, зависимым характером моей работы существует какая-то связь. Однако Баттиста и Эмилия ничем не обнаружили, что испытали облегчение, услышав мое жалкое признание в собственной слабости, так же как прежде не проявили ни малейших признаков беспокойства при моем таящем угрозу вступлении. Баттиста самым серьезным тоном произнес:

— Но я уверен, Мольтени, что вы напишете отличный сценарий.

Я чувствовал, что пошел по неверному пути, но уже не мог остановиться. И раздраженно ответил:

— Боюсь, что вы меня не поняли... Я драматург, Баттиста, а не профессиональный сценарист, которых теперь развелось видимо-невидимо... И сценарий, как бы он ни был хорош и даже безупречен, для меня будет всего лишь одним из многих сценариев... Работой, разрешите это вам прямо сказать, за которую я берусь исключительно ради заработка... Однако мне двадцать семь лет и у меня есть то, что принято называть идеалами... И мой идеал — писать для театра. Почему же я не могу этим заняться? Да потому, что современный мир устроен так, что никто не может заниматься тем, чем ему хочется, а, наоборот, должен делать то, к чему стремятся другие... Всегда все упирается в деньги, от этого зависит и то, что мы делаем, и то, что мы собой представляем, чем хотим стать, наша работа, наши самые заветные мечты, даже отношения с теми, кого мы любим.

Я чувствовал, что слишком возбужден, глаза мои даже наполнились слезами. Я сам стыдился своей чувствительности и проклинал себя за то, что раскрываю душу перед человеком, который всего лишь несколько минут назад пытался — причем весьма успешно — соблазнить мою жену. Однако такие пустяки не могли нарушить невозмутимости Баттисты.

— Знаете, Мольтени, — сказал он, — слушая вас, я словно вижу себя самого, когда мне было столько же лет, сколько вам теперь!

— Вот как? — пробормотал я, несколько сбитый с толку.

— Да, я был очень беден, — продолжал Баттиста, наливая себе вина, — и у меня тоже имелось то, что вы называете идеалами... Каковы же были эти мои идеалы?.. Теперь, пожалуй, я затруднился бы сказать и, быть может, хорошенько не знал этого даже тогда... Но они у меня были... возможно, даже не идеалы, а Идеал с большой буквы. Потом я встретил человека, которому очень многим обязан, он меня многому научил... — Баттиста помолчал немного, напустив на себя обычную нелепую торжественность, и я невольно вспомнил, что человек, на которого он намекал, был кинопродюсером, ныне почти забытым, но некогда, в годы становления итальянского кино, весьма известным; в самом деле, свою успешную карьеру Баттиста начинал именно с ним и под его руководством, однако, насколько мне было известно, достойным восхищения в том продюсере только и было его умение делать деньги... — И вот однажды, — продолжал Бат-

тиста, — я высказал ему примерно то, что сегодня вечером говорили мне вы... Знаете, что он мне ответил? До тех пор, пока вы сами хорошенько не знаете, чего хотите, об идеалах лучше вовсе позабыть, их следует отложить подальше, в сторонку... Но как только вы прочно встанете на ноги, сразу же вспомните о них и сделайте своим идеалом... первую заработанную вами ассигнацию в тысячу лир... Вот вам идеал. Потом, как он мне сказал, идеал начнет расти, превратится в киностудию, кинотеатры, фильмы, уже поставленные и те, которые вы только собираетесь ставить. Идеал — это наша повседневная работа... Вот что он мне сказал... Я последовал его совету и не раскаиваюсь. У вас, однако, то огромное преимущество, что вы хорошо знаете, каков ваш идеал — вы хотите писать пьесы... И вы будете их писать.

— Я буду писать пьесы? — не удержавшись, переспросил я, полный сомнений и в то же время уже испытывая от этого утешение.

— Да, вы будете их писать, — подтвердил Баттиста. — Будете их писать, если действительно этого хотите, даже работая только ради заработка, даже сочиняя сценарии для «Триумф-фильма»... Хотите знать, в чем секрет успеха, Мольтени?

— В чем?

— Встать в очередь и ожидать своей минуты в жизни. Точно так, как вы стоите в очереди за билетами у окошечка вокзальной кассы... Ваш черед обязательно придет, если вы ждете терпеливо и не перебегаете из одной очереди в другую... Всему свой срок, и кассир в окошечке выдаст каждому его билет... Разумеется, в соответствии с тем, чего он заслужил... Тому, кто должен и может ехать далеко, билет хоть до самой Австралии... А другому — на более короткое расстояние... Ну, скажем, до Капри... — Он засмеялся, довольный своим намеком, и добавил: — А вам я желаю получить билет куда-нибудь очень, очень далеко... Хотите в Америку?

Я посмотрел на Баттисту, улыбавшегося мне с отеческим видом, потом на Эмилию и увидел, что она тоже улыбается, и хотя улыбка ее была еле заметна, тем не менее эта улыбка была, по крайней мере мне так показалось, совершенно искренней! Я снова ощутил, что Баттисте за один день каким-то непонятным образом удалось превратить былую неприязнь к нему Эмилии чуть ли не в чувство симпатии. При этом сердце у меня сжалось от тоски, как в ту минуту, когда мне почудилось, что я узнаю во взгляде Эмилии взгляд синьоры Пазетти. Да, я ощутил тоску, а не ревность; я и в самом деле ужасно устал после по-

ездки и множества событий этого дня, ко всем моим чувствам, даже самым бурным, примешивалась усталость, ослабляя их и превращая в бессильную, близкую к отчаянию тоску.

Ужин закончился непредвиденным образом. После того, как Эмилия с симпатией слушала Баттисту, она словно вдруг вспомнила обо мне или, лучше сказать, о моем существовании, и поведение ее еще более усилило мое беспокойство. В ответ на произнесенную мной без всякого умысла фразу:

— Может быть, выйдем на террасу... наверно, взошла луна, — она сухо сказала:

— Мне не хочется выходить на террасу... Я иду спать... Я устала. — И, резко поднявшись, пожелала нам спокойной ночи и вышла.

Баттиста, казалось, не был удивлен ее внезапным уходом, напротив — во всяком случае, так мне показалось, — он, пожалуй, был даже доволен, расценив это как лестный для себя признак волнения, которое он сумел вызвать в душе Эмилии. Но я чувствовал, что во мне с каждой минутой растет беспокойство. И хотя, как я говорил, меня сковывала смертельная усталость и я понимал, что все объяснения надо отложить до следующего дня, все же в конце концов я не устоял и, сославшись на то, что тоже хочу спать, пожелал Баттисте спокойной ночи и вышел из гостиной.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Моя комната была соединена дверью с комнатой Эмилии. Не раздумывая, я прямо направился к этой двери и постучал. Сразу же раздался голос Эмилии:

— Войди.

Она сидела на постели неподвижно, в задумчивой позе. Едва я вошел, она сразу же спросила усталым и сердитым тоном:

— Чего тебе еще от меня надо?

— Абсолютно ничего, — холодно ответил я, ибо теперь уже совершенно успокоился, голова у меня была ясная, и я чувствовал себя даже менее усталым, — хотел только пожелать тебе спокойной ночи.

— Или же узнать мое мнение обо всем том, что ты наболтал сегодня Баттисте... Так вот, если хочешь, я тебе прямо скажу: все это было не только неуместно, но просто глупо.

Я взял стул, сел и спросил:

— Почему же?

— Не понимаю тебя, — сказала она раздраженно, — совершенно тебя не понимаю... Ты все время так держался за этот сценарий, а теперь вдруг заявляешь продюсеру, что работаешь только из-за денег, что работа тебе не нравится, что ты мечтаешь писать для театра и тому подобное... Но разве ты не понимаешь, что сегодня он тебе поддакивал из простой вежливости, а завтра вспомнит обо всем, что ты наговорил ему, и не захочет давать тебе другую работу? Неужели ты не способен понять такой простой вещи?

Итак, она же еще на меня нападала. И хотя я понимал, что она делает это, чтобы скрыть от меня другие, куда более беспокоящие ее мысли, я все же почувствовал в ее голосе искренние нотки, пусть даже эта искренность была для меня оскорбительной и унизительной. Я дал себе слово сохранять спокойствие, но, услышав, каким презрительным тоном она со мной разговаривает, невольно возмутился:

— Но это же правда. Эта работа мне совсем не по душе и никогда не была по душе... И вообще, с чего ты взяла, что я вечно буду этим заниматься?!

— Будешь, будешь, можешь не сомневаться. — Никогда раньше она еще так глубоко не презирала меня.

Я стиснул зубы и сделал усилие, чтобы сдержаться.

— Кто знает, может, и не буду, — сказал я спокойно. — Еще сегодня утром я готов был писать сценарий... Но в течение сегодняшнего дня произошло нечто такое, после чего, по всей вероятности, я завтра же объявлю Баттисте, что отказываюсь работать над сценарием.

Я произнес эту загадочную фразу с умыслом, охваченный почти мстительным чувством. Она так долго меня мучила, и теперь мне хотелось помучить ее, намекнув на то, что я увидел через окно, но не говоря ей об этом открыто и прямо. Она пристально на меня посмотрела, а потом спокойно спросила:

— Что же такое произошло?

— Многое.

— А именно?

Она настаивала и, казалось, искренне хотела, чтобы я начал обвинять ее, упрекать в неверности. Но я продолжал все так же уклончиво:

— Это имеет отношение к фильму... и касается лишь меня и Баттисты... Не стоит об этом говорить.

— Почему же ты не хочешь сказать, в чем дело?

— Потому что тебе это не интересно.

— Не хочешь говорить, не надо, только у тебя все равно не хватит духу отказаться от сценария. Ты его напишешь.

Я хорошенько не понял, прозвучало ли в этой фразе просто обычное презрение ко мне или же в ней сквозила еще и какая-то смутная надежда. Я осторожно спросил:

— Почему ты так думаешь?

— Да потому что я тебя знаю. — Немного помолчав, она добавила, желая смягчить свои слова: — Впрочем, со сценариями у тебя всегда так... Сколько раз ты мне заявлял, что не будешь писать то тот, то этот сценарий, а потом все-таки писал... Стоит тебе приступить к работе, все твои сомнения тотчас же исчезают.

— Да, но на этот раз затруднения кроются вовсе не в сценарии.

— А в чем же?

— Во мне самом.

— Что ты хочешь этим сказать?

«То, что тебя целовал Баттиста», — хотелось мне ответить ей. Но я сдержался: мы никогда не были настолько откровенны, чтобы выяснять до конца наши отношения, всегда ограничивались намеками. Прежде чем выложить всю правду, нам надо было еще слишком многое сказать друг другу. Я наклонился вперед и серьезным тоном проговорил:

— Эмилия, ты же знаешь, в чем дело, я все сказал за столом. Просто я устал работать на других, мне хочется наконец поработать для себя.

— А кто тебе мешает?

— Ты, — произнес я с пафосом, но увидев, что она сделала протестующее движение, сразу же добавил: — Конечно, не ты сама, а та роль, которую ты играешь в моей жизни... Не секрет, во что превратились наши отношения... лучше о них и не говорить... Но все же ты моя жена, и я — в который раз это повторяю — согласился на подобную работу прежде всего ради тебя... Если бы тебя не было, я бы на это не пошел... Короче говоря, тебе прекрасно известно, что у нас много долгов, мы должны выплатить уйму денег за квартиру, да и наша машина еще полностью не оплачена... Поэтому-то я и пишу сценарии... Однако теперь я хочу сделать тебе одно предложение...

— А именно?

Мне казалось, что я очень спокоен, рассуждаю очень здраво, очень разумно. В то же время какое-то еле уловимое неприятное чувство говорило мне, что мое спокойствие, моя рассудительность, моя разумность — все это напускное и, хуже того, — аб-

солютно нелепы. Ведь я видел Эмилию в объятьях Баттисты! Только одно это и было важно. Тем не менее я продолжал:

— Предложение, которое я хочу тебе сделать, следующее: ты сама решишь, писать мне этот сценарий или нет... Если ты не советуешь мне за него браться, то завтра же утром я сообщу Баттисте о своем отказе... и мы сразу уедем с Капри.

Она продолжала сидеть, опустив голову, казалось, погруженная в раздумье.

— Хитер ты все-таки, — наконец сказала она.

— Почему?

— А потому, что если ты впоследствии пожалеешь об этом, ты сможешь обвинить во всем меня.

— Да мне и в голову не придет говорить тебе что-нибудь подобное... Тем более что сейчас я сам прошу тебя принять решение.

Я видел, что она обдумывает ответ. И я понял, что ответ, который она мне даст, будет, безусловно, свидетельством ее чувств ко мне, каковы бы они ни были. Если она скажет, что я должен писать сценарий, значит, она меня и впрямь глубоко презирает, настолько, что, несмотря на создавшееся положение, считает возможным, чтобы я продолжал работу; если же ее ответ будет отрицательным, значит, она еще сохраняет ко мне некоторое уважение и не хочет, чтобы я работал под началом у ее любовника. Итак, в конечном счете передо мной вновь стоял все тот же вопрос: в самом ли деле она меня презирает и за что? Наконец она проговорила:

— Такие вещи нельзя решать за других.

— Но ведь я тебя об этом прошу.

— Запомни, ты сам настаивал, — вдруг произнесла она неожиданно торжественным тоном.

— Хорошо, запомню.

— Так вот, я считаю, что раз ты уже взял на себя обязательство, не стоит от него отказываться... Впрочем, ты ведь сам мне много раз говорил... это может рассердить Баттисту и он никогда больше не даст тебе работы... Думаю, ты должен написать этот сценарий.

Значит, она мне советовала не оставлять работы над сценарием; значит, как я и предполагал, она испытывала ко мне самое глубокое презрение. Не веря своим ушам, я переспросил:

— Ты действительно так считаешь?

— Безусловно.

Я не сразу нашелся, что сказать. Потом, охваченный враждебным чувством, предупредил:

— Прекрасно... только не говори потом, что дала этот совет, так как поняла, что я, мол, сам хочу заняться этой работой... Как ты говорила, когда надо было заключить контракт... Я заявляю тебе со всей ясностью, что не желаю писать сценарий.

— Ох, как ты мне надоел! — пренебрежительно проговорила она, вставая с постели и подходя к шкафу. — Я дала тебе совет... А ты можешь поступать, как тебе угодно...

В ее тоне слышалось презрение; итак, мои предположения подтвердились. И внезапно я почувствовал, как сердце мое вновь пронзила острая боль, как и тогда в Риме, когда она крикнула мне прямо в лицо о том, что меня не любит. У меня невольно вырвалось:

— Эмилия, что же это такое? Разве мы враги?

Раскрыв шкаф и смотрясь в зеркало на внутренней стороне дверцы, она рассеянно сказала:

— Что поделаешь, такова жизнь!

У меня перехватило дыхание, я оцепенел и не в силах был произнести ни слова. Никогда еще Эмилия так не разговаривала со мной, с таким равнодушием, с такой апатией, такими избитыми словами. Я понимал, что могу еще придать этому разговору совсем иное направление, сказав, что видел ее с Баттистой (впрочем, она и сама прекрасно это знала); что, попросив ее совета, работать ли мне над сценарием, я только испытывал ее, и это было правдой; и что, короче говоря, теперь, как и раньше, все дело только в наших отношениях. Но у меня не хватило духу или, вернее, сил так поступить; я чувствовал себя бесконечно, безнадежно усталым. И я даже почти что робко спросил:

— А что ты будешь делать здесь на Капри, пока я буду работать над сценарием?

— Ничего особенного... Буду гулять... купаться... загорать... Буду жить как все.

— Одна?

— Да, одна.

— И тебе не будет скучно?

— Мне никогда не бывает скучно... Мне много о чем надо подумать...

— Ты думаешь иногда и обо мне?

— Разумеется, и о тебе.

— И что же ты обо мне думаешь?

Я встал, подошел к ней и взял ее за руку.

— Мы уже много раз говорили об этом.

Ее рука сопротивлялась, но не слишком решительно.

— Ты по-прежнему думаешь обо мне то же, что и раньше?

При этих словах она отступила назад, затем резко сказала:

— Слушай, шел бы ты лучше спать... Есть вещи, которые тебе неприятно слушать, и это вполне понятно... Но, с другой стороны, я могу только тебе их повторять... Что за удовольствие в подобных разговорах?

— Нет, давай все-таки поговорим.

— Но зачем?... Мне придется еще раз повторить тебе то, что я уже много раз говорила... Или, может, ты думаешь, что я изменила свое мнение после приезда на Капри? Напротив.

— Что значит «напротив»?

— Напротив... — объяснила она, немного смешавшись, — этим я хотела сказать, что вовсе не изменила своего мнения. Вот и все.

— Значит, ты продолжаешь испытывать ко мне... все то же чувство... Не так ли?

Неожиданно для меня в ее голосе послышались возмущение, чуть ли не слезы:

— Ну зачем ты меня так мучаешь?.. Может, ты думаешь, мне приятно говорить тебе такое?.. Мне это еще тяжелее, чем тебе!

Слова ее прозвучали искренне, в них чувствовалась боль, и это меня тронуло. Я сказал, снова взяв ее за руку:

— А я думаю о тебе только хорошее... И всегда так буду думать. — Затем, желая дать понять, что прощаю ей измену (а я ведь действительно простил ее), добавил: — Что бы ни случилось!

Эмилия ничего не ответила. Она смотрела куда-то в сторону и, казалось, чего-то ждала. И в то же время незаметно, но с упрямой враждебностью пыталась высвободить свою ладонь. Тогда я резко отпустил ее руку и, пожелав спокойной ночи, быстро вышел. И почти сразу же я услышал, как в замке ее двери щелкнул ключ, и этот звук вновь наполнил мое сердце острой болью.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

На следующее утро я поднялся рано и, не спрашивая, где Баттиста и Эмилия, ушел, вернее, убежал из дому. Я выспался и отдохнул, события предыдущего дня, и прежде всего мое собственное поведение, вставали теперь передо мной в довольно неприглядном свете, как цепь сплошных нелепостей, которым я пытался противостоять самым нелепым образом. Те-

перь мне хотелось спокойно обдумать, что следует предпринять, оставляя за собой свободу действий, не ограничивая ее каким-нибудь поспешным решением, которое может оказаться непоправимым. Итак, выйдя из дому, я пошел той же дорогой, что и накануне вечером, и направился в гостиницу, где жил Рейнгольд. Я спросил режиссера, мне ответили, что он в саду. Я вошел в сад, в глубине аллеи сквозь деревья виднелась легкая балюстрада, ослепительно белая в ярком сиянии безмятежных, залитых солнцем моря и неба. На небольшой площадке перед балюстрадой стояло несколько стульев и столик; заметив меня, сидевший там человек поднялся и приветственно помахал мне рукой. Это был Рейнгольд, одетый, как капитан дальнего плавания: ярко-синяя фуражка с золотым якорем, такого же цвета пиджак и белые брюки. На столике стоял поднос с остатками завтрака, тут же лежали папка и письменные принадлежности.

Рейнгольд казался очень веселым. Он тотчас спросил меня:

— Ну, Мольтени... как вам нравится сегодняшнее утро?

— Утро просто замечательное.

— А что бы вы сказали, Мольтени, — продолжал он, беря меня под руку и становясь рядом со мной у балюстрады, — что бы вы сказали, если бы мы с вами плюнули на работу, взяли лодку и, выйдя в море, покатались вокруг острова?.. Разве не было бы это гораздо приятнее, чем работать, несравненно приятнее?

Я ответил без особого воодушевления, подумав про себя, что общество Рейнгольда в значительной мере лишило бы такую прогулку ее очарования.

— Да, в известном смысле это было бы приятнее.

— Вы сказали, Мольтени, в известном смысле... — воскликнул он торжествующе. — Но в каком же именно? Не в том, в каком мы понимаем жизнь... Ведь для нас жизнь — прежде всего долг... Не так ли, Мольтени?.. Долг... и потому за работу, Мольтени, за работу!

Он отошел от балюстрады, вновь уселся за столик, а потом, нагнувшись ко мне и глядя мне в глаза, не без некоторой торжественности, произнес:

— Садитесь поближе... Сегодня утром мы только поговорим... Я должен вам многое сказать...

Я сел, Рейнгольд надвинул фуражку на глаза и продолжал:

— Помните, Мольтени, по дороге из Рима в Неаполь я начал излагать вам свою концепцию «Одиссеи»... Но нашу беседу прервало появление Баттисты... А потом я решил отложить даль-

нейшее объяснение и весь остальной путь дремал... Помните, Мольтени?

— Конечно.

— Вы помните также, как я интерпретировал «Одиссею»: Улисс десять лет не возвращается домой, потому что на самом деле в своем подсознании не хочет возвращаться?

— Да.

— Теперь же я вам открою причину, по которой, я считаю, Одиссей не спешит возвращаться домой,— сказал Рейнгольд. Он минутку помолчал, словно желая этой паузой подчеркнуть, что сейчас начнет излагать сделанное им открытие, а затем, нахмурив брови и уставившись на меня со своим обычным серьезным и важным видом, продолжал: — Одиссей подсознательно не хочет возвращаться на Итаку, потому что в действительности у него плохие отношения с Пенелопой. Вот в чем причина, Мольтени... И испортились они еще до того, как Одиссей ушел на войну... Более того, на самом деле Одиссей и на войну уезжает именно потому, что ему не по себе в собственном доме... А ему не по себе там потому, что он не ладит с женой.

Рейнгольд вновь немного помолчал, сохраняя при этом важный и поучающий вид, а я воспользовался паузой и повернул стул так, чтобы мне в глаза не било солнце. Наконец он продолжал:

— Если бы у него с Пенелопой было все в порядке, он не пошел бы на войну... Одиссей не драчливый хвастун, не вояка. Он благоразумный, мудрый, осмотрительный человек. Если бы у Одиссея с женой были хорошие отношения, то он, чтобы показать свою солидарность с Менелаем, возможно, ограничился бы только посылкой экспедиционного корпуса под командованием какого-нибудь верного человека... А он отправился сам, воспользовался войной как предлогом, для того чтобы уехать, бежать от своей жены.

— Очень логично.

— Вы хотите сказать — очень психологично, Мольтени, — поправил меня Рейнгольд, видимо, уловив в моем тоне некоторую иронию, — очень психологично... И не забывайте, что все зависит от психологии, без психологии не может быть характеров, а без характеров — истории... Теперь разберемся в психологии Одиссея и Пенелопы. Так вот, Пенелопа — женщина, верная традициям архаической, феодальной, аристократической Греции — добродетельная, благородная, гордая, религиозная, хорошая хозяйка, хорошая мать и хорошая жена... Характер же Одиссея, напротив, предвосхищает греческий характер более

позднего периода, Греции мудрецов и философов... Одиссей — человек без предрассудков и в случае необходимости не слишком щепетилен, он проницателен, рассудителен, умен, не религиозен, он скептик, а иногда даже циник.

— Мне кажется, — возразил я, — что вы рисуете характер Одиссея в черных красках... В самой же поэме...

Но он нетерпеливо прервал меня:

— Да нам вовсе и дела нет до «самой поэмы»... Или вернее, мы вправе толковать ее по-своему, развивать... Мы создаем фильм, Мольтени... «Одиссея» уже написана... А фильм еще надо поставить.

Я молчал, а он продолжал:

— Итак, причину плохих отношений между Одиссеем и Пенелопой следует искать в несходстве их характеров... До того, как началась Троянская война, Одиссей сделал нечто такое, что не понравилось Пенелопе... Но что же именно? Вот здесь на сцене появляются женихи... Из «Одиссеи» мы узнаем, что они хотят жениться на Пенелопе, а пока что бесчинствуют в доме Одиссея и расхищают его добро... Необходимо коренным образом изменить ситуацию.

Я смотрел на него с изумлением.

— Не понимаете? — спросил он. — Хорошо, сейчас я вам объясню... Женихи — нам, возможно, стоит сделать из них один персонаж, ограничившись, например, только Антиноем, — итак, женихи влюблены в Пенелопу уже давно, еще до того, как началась Троянская война... И, будучи влюблены, осыпают ее, согласно древнегреческому обычаю, подарками... Пенелопа, воспитанная по-старинке, гордая, исполненная чувства собственного достоинства женщина, хотела бы отвергнуть эти подарки, хотела бы прежде всего, чтобы муж прогнал женихов... Однако Улисс — причины мы еще не знаем, но ее легко будет найти — не желает сердить женихов... Как человек рассудительный, он не придает большого значения их ухаживаниям, ибо знает, что жена ему верна; не придает он большого значения и подаркам, которые даже, может быть, для него не так уж и неприятны... Не забывайте, Мольтени, что греки очень любили получать подарки... Разумеется, Одиссей вовсе не собирается советовать Пенелопе уступить домогательствам женихов, он лишь рекомендует ей не раздражать их, так как ему кажется, что этого не стоит делать... Одиссей хочет жить спокойно, он ненавидит скандалы... Пенелопа, ожидавшая чего угодно, кроме такой пассивности со стороны Одиссея, раздосадована, не может этому поверить. Она протестует, возмущается. Но Одиссея это не тро-

гает, он не видит в подарках ничего оскорбительного... Он вновь советует Пенелопе принять подарки, быть любезной, тем более что ей в конце концов нетрудно так себя вести. И Пенелопа следует совету мужа... Но в то же время начинает испытывать к нему глубокое презрение... Она чувствует, что больше его не любит, и говорит ему об этом. Слишком поздно прозревает Одиссей, убеждаясь, что своей осмотрительностью и хитроумием он убил любовь Пенелопы. Одиссей пытается исправить положение, вновь завоевать любовь жены, но это ему не удается... его жизнь на Итаке становится адом... И в конце концов, отчаявшись, он решает участвовать в Троянской войне, воспользовавшись этим поводом, чтобы уехать из дому. Через семь лет война окончена, и Одиссей снова отправляется в путь, чтобы морем возвратиться на Итаку. Но он знает: дома ждет женщина, которая не только не любит, но даже презирает его... И потому Одиссей бессознательно пользуется любым предлогом, чтобы оттянуть свое безрадостное возвращение, которого он так боится. Однако рано или поздно, а возвращаться надо... И когда он наконец возвращается, с ним происходит то же, что с рыцарем в сказке о драконе. Вы помните, Мольтени?.. Принцесса потребовала от рыцаря, чтобы он победил дракона, если хочет заслужить ее любовь... Рыцарь убил дракона, и принцесса его полюбила... Так и Пенелопа. По возвращении Одиссея она доказывает мужу, что была ему верна, и вместе с тем дает понять: верность ее объясняется не любовью, а лишь чувством собственного достоинства... Полюбить же Одиссея снова она сможет только при одном условии — если он убьет женихов... Одиссей, как мы знаем, отнюдь не кровожаден и не мстителен... Он, возможно, предпочел бы избавиться от женихов по-другому, уговорить их уйти, что называется, добром. Но на сей раз он решается на убийство... Ведь Одиссей понимает: от этого зависит, будет ли Пенелопа уважать его, а значит, и любить... Вот почему он убивает женихов... И тогда — только тогда — Пенелопа перестает его презирать и дарит ему свою любовь... Итак, Одиссей и Пенелопа после долгих лет разлуки вновь любят друг друга... и празднуют свою настоящую свадьбу... Bluthochzeit, кровавую свадьбу... Ну как, Мольтени, поняли? Резюмирую: первое — Пенелопа презирает Одиссея за то, что он не реагировал, как подобает мужчине, мужу и царю, на домогательства женихов. Второе — ее презрение приводит к тому, что Одиссей уезжает на войну... Третье — Одиссей, зная, что дома его ждет женщина, которая его презирает, бессознательно всячески оттягивает свое возвращение... Четвертое — для того, чтобы вновь завоевать лю-

бовь и уважение Пенелопы, Одиссей убивает женихов... Вы поняли, Мольтени?

Я ответил, что понял. И действительно, понять все это было не так уж трудно. Но теперь чувство отвращения, которое с самого начала вызывала у меня психоаналитическая трактовка Рейнгольдом «Одиссеи», охватило меня еще сильнее прежнего; я не знал, что сказать, и слушал Рейнгольда как во сне. Он же между тем продолжал педантично объяснять:

— Вы спросите, как мне удалось дойти до понимания этого ключевого момента всей ситуации? Единственно путем размышлений по поводу избиения женихов... Мне бросилось в глаза, что это избиение, столь зверское, жестокое, безжалостное, совершенно не соответствует характеру Одиссея, который, как мы могли убедиться, всегда отличался хитростью, гибкостью, проницательностью, рассудительностью, благоразумием... И я сказал себе: «Одиссей отличнейшим образом мог просто выставить женихов за дверь... Он мог это сделать по-хорошему, он хозяин у себя в доме, он царь, ему достаточно было лишь открыться... Если же он этого не сделал, значит, у него была какая-то серьезная причина. Какая же?.. Очевидно, Одиссей хотел показать, что он не только хитроумен, гибок, проницателен, рассудителен и благоразумен, но в случае необходимости также и яростен, как Аякс, безрассуден, как Ахилл, безжалостен, как Агамемнон... Теперь встает вопрос, кому же он хотел все это доказать? Ясно кому — Пенелопе... Итак — эврика!

Я промолчал. Ход рассуждений Рейнгольда был на редкость гладок и полностью отвечал его стремлению превратить «Одиссею» в психоаналитическую драму. Но как раз эти-то его попытки, в которых я видел профанацию «Одиссеи», и вызывали у меня глубокое отвращение. У Гомера все было просто, чисто, благородно, наивно, даже само хитроумие Одиссея, которое в поэтическом плане предстает лишь как проявление его умственного превосходства. В интерпретации же Рейнгольда все низводилось до уровня современной драмы с претензией на нравоучительность и психологизм. Между тем Рейнгольд, весьма довольный своим объяснением, подходил к концу.

— Как видите, Мольтени, фильм уже готов во всех деталях... Нам остается лишь написать сценарий.

Я резко прервал Рейнгольда:

— Послушайте, Рейнгольд, но эта ваша интерпретация мне вовсе не нравится!

Он широко раскрыл глаза, пожалуй, более удивленный моей горячностью, чем несогласием.

— Она вам не нравится, мой дорогой Мольтени? А чем же она вам не нравится?

Я начал говорить сначала с усилием, но постепенно голос мой зазвучал увереннее:

— Ваше толкование мне не нравится потому, что оно представляет полную фальсификацию подлинного характера самого Улисса... У Гомера он действительно человек проницательный, рассудительный, если хотите, даже хитрый, однако никогда не забывающий о чести и достоинстве... Он никогда не перестает быть героем, то есть доблестным воином, царем, верным мужем. А при такой трактовке, как ваша — разрешите сказать вам это, дорогой Рейнгольд, — вы рискуете превратить его в человека, лишенного чести и чувства собственного достоинства, в человека, не вызывающего уважения... Уж не говоря о том, что вы слишком далеко отходите от подлинника...

Я видел, что по мере того, как я говорил, у Рейнгольда постепенно сходила с лица его широкая улыбка, она все таяла и таяла, пока совсем не исчезла. Потом он, не стараясь, как обычно, скрыть свой немецкий акцент, резко сказал:

— Дорогой Мольтени, разрешите заметить вам, что вы, как всегда, ничего не поняли.

— Как всегда? — обиженно повторил я с подчеркнутой иронией.

— Да, как всегда, — подтвердил Рейнгольд. — И я вам сейчас объясню почему... Слушайте меня внимательно, Мольтени.

— Можете не сомневаться, я слушаю вас внимательно.

— Я вовсе не собираюсь превращать Одиссея, как вы полагаете, судя по вашим словам, в человека, лишенного чувства собственного достоинства, чести, не заслуживающего уважения... Я просто хочу сделать его таким, каким он предстает в «Одиссее». Что представляет собой Улисс в поэме, каким мы его там видим? В поэме это просто цивилизованный человек... Среди прочих героев, людей нецивилизованных, Одиссей единственный человек, приобщенный к цивилизации. В чем же это проявляется у Одиссея? Да в том, что он свободен от предрассудков, в том, что он неизменно прислушивается к голосу разума, даже и в тех случаях, когда речь идет, как вы выражаетесь, о чести, о собственном достоинстве, уважении... В том, наконец, что он умен, объективен, я бы даже сказал, обладает умением мыслить аналитически... Цивилизованность, — продолжал Рейнгольд, — разумеется, имеет свои недостатки... Одиссей очень бы-

стро забывает, например, о том значении, какое придают так называемым вопросам чести люди нецивилизованные... Пенелопа же — человек нецивилизованный, это женщина, которая чтит традиции старины, прислушивается только к тому, что подсказывают ей инстинкт, горячая кровь, ее гордость... Теперь будьте особенно внимательны, Мольтени, и постарайтесь понять, что я хочу сказать... Всем тем, кто нецивилизован, цивилизация может показаться — да нередко и кажется — моральным разложением, безнравственностью, беспринципностью, цинизмом... Такие обвинения против цивилизации выдвигал, например, Гитлер, который, несомненно, был человеком нецивилизованным... Он ведь тоже немало разглагольствовал о чести... Но мы-то теперь знаем, что представлял собой Гитлер и какова была его честь... Одним словом, в «Одиссее» Пенелопа олицетворяет собой варварство, а Одиссей — цивилизацию... Знаете ли, Мольтени, я считал вас цивилизованным человеком, а вы, оказывается, рассуждаете, как эта варварка Пенелопа!

Последние слова он произнес с широкой, ослепительной улыбкой, было видно, что, сравнив меня с Пенелопой, Рейнгольд остался очень доволен этой своей остротой. Но именно это сравнение, сам даже не знаю почему, было мне особенно неприятно. Я побледнел от бешенства и сказал изменившимся голосом:

— Если вы считаете проявлением цивилизованности такое положение, когда муж закрывает глаза на ухаживание другого мужчины за собственной женой, тогда, дорогой Рейнгольд, сознаюсь, я — человек нецивилизованный.

На этот раз Рейнгольд, к моему удивлению, не полез в бутылку.

— Одну минутку, — сказал он, поднимая руку, — одну минутку! Сегодня, Мольтени, вы не в состоянии рассуждать хладнокровно... Совсем как Пенелопа... Сделаем так... Идите сейчас выкупайтесь и поразмыслите хорошенько над всем, о чем мы тут с вами говорили... а завтра утром возвращайтесь и расскажите мне, к чему вы пришли в результате ваших размышлений... Ну как, согласны?

Я ответил в замешательстве:

— Согласен... Но только не думаю, что смогу изменить свою точку зрения.

— Поразмыслите обо всем, о чем мы тут с вами говорили, — повторил он, поднимаясь и протягивая мне руку.

Я тоже встал. Рейнгольд спокойным тоном добавил:

— Уверен: завтра, поразмыслив обо всем этом, вы согласитесь, что я прав.

— Не думаю, — ответил я и пошел по аллее, ведущей к гостинице.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

С Рейнгольдом я провел не более часа — ровно столько, сколько длился наш спор об «Одиссее». Итак, у меня впереди был целый день, чтобы, как он выразился, «обо всем поразмыслить», или, иначе говоря, решить, согласен ли я с его трактовкой поэмы. Сказать по правде, едва лишь я вышел из гостиницы, меня тотчас охватило непреодолимое желание не только не размышлять больше по поводу идей, высказанных Рейнгольдом, но и вообще поскорее забыть о них и насладиться изумительным солнечным днем. Но в то же время мне казалось, что в словах Рейнгольда заключено нечто выходящее за рамки нашей совместной работы над сценарием: нечто, что я сам еще не мог определить и что открылось мне из-за моей слишком бурной реакции на этот разговор. Таким образом, мне и в самом деле следовало «обо всем поразмыслить». Я вспомнил, что, выходя утром из дома, заметил внизу под обрывом, на котором стояла вилла, маленькую уединенную бухточку, и решил к ней спуститься: там я как раз и мог бы спокойно «обо всем поразмыслить», а если бы я не пожелал этого, то и вовсе ни о чем не думать, просто искупаться в море.

С этими мыслями я направился по уже знакомой мне аллее, опоясывающей остров. Время было еще раннее, и на узкой тенистой дорожке я почти никого не повстречал — лишь несколько мальчишек мягко простучали среди царившей вокруг тишины босыми пятками по мощенной кирпичом дорожке, затем прошли, обнявшись, две совсем молоденькие девушки, вполголоса болтая друг с другом, да две или три пожилые дамы, вышедшие прогулять своих собачек.

В конце аллеи, там, где она проходила по самой пустынной и обрывистой части острова, я свернул на узенькую дорожку. Пройдя еще немного, я дошел до бегущей в сторону тропинки, она оканчивалась террасой, казалось, висящей над бездной. Достигнув террасы, я остановился и глянул вниз. Метрах в ста подо мною дрожала и блестела в лучах солнца, переливаясь и меняя свой цвет в зависимости от направления ветра, необъятная гладь моря. В одном месте море было голубое, в другом —

синее, почти лиловое, а еще дальше от берега — зеленое. Выступая из моря, далекого и молчаливого, словно стая летящих навстречу мне стрел, устремляли вверх свои голые, сверкающие на солнце верхушки громоздившиеся вдоль берега острова отвесные скалы. При виде их, сам не знаю почему, меня вдруг охватило какое-то странное возбуждение; жить мне больше не для чего, подумал я, и у меня мелькнула мысль: а что, если прыгнуть в эту сверкающую бескрайнюю бездну? Может быть, такая смерть не будет недостойной всего того хорошего, что во мне заложено. Да, я готов был покончить с собой, чтобы хоть после смерти обрести ту чистоту, которой не было у меня при жизни.

Это искушение покончить с собой было вполне искренним и сильным, и, возможно, какое-то мгновенье моей жизни действительно грозила опасность. Потом почти инстинктивно я подумал об Эмилии и спросил себя, как она восприняла бы известие о моей смерти. И тогда я вдруг сказал себе: «Нет, ты хочешь покончить с собой не потому, что устал от жизни... ты ведь совсем не устал от нее... Ты кончаешь самоубийством из-за Эмилии». Меня смутила эта мысль: она весьма коварно сводила мой порыв к личной заинтересованности. Затем я задал себе еще один вопрос: «Из-за Эмилии или ради Эмилии?.. Ведь это существенное различие». И тотчас же сам себе ответил: «Ради Эмилии, ради того, чтобы вновь вернуть ее любовь, ее уважение, пусть даже после моей смерти... Чтобы заставить ее мучиться угрызениями совести, из-за того, что она несправедливо презирала меня».

Все это самокопание напоминало детскую игру в кубики: сваленные в кучу кубики нужно разложить в определенном порядке, чтобы получился определенный рисунок. Едва я успел додумать все до конца, как сразу же картину моего нынешнего положения, которую я себе нарисовал, дополнила пришедшая мне в голову мысль: «Ты столь бурно реагировал на слова Рейнгольда потому, что тебе показалось, будто, разъясняя отношения между Улиссом и Пенелопой, Рейнгольд, возможно, сам того не сознавая, намекал на отношения между тобой и Эмилией... Когда он заговорил о презрении Пенелопы к Одиссею, ты сразу же подумал о презрении Эмилии к тебе... Короче говоря, тебе неприятно было услышать правду, и ты восстал против нее».

Однако картина все еще была неполной, и вот ее завершила, на этот раз уже окончательно, новая мысль: «Ты думаешь о самоубийстве потому, что не можешь разобраться в себе самом... Однако, если ты хочешь вновь обрести уважение Эмилии, тебе

вовсе не обязательно кончать с собой. Достаточно сделать нечто гораздо более легкое... Как ты должен поступить, тебе уже подсказал Рейнгольд... Одиссей, стремясь вернуть любовь Пенелопы, убивает женихов... Значит, рассуждая теоретически, тебе следовало бы убить Баттисту... Но мы живем в менее жестоком и более сложном мире, чем мир «Одиссеи». Ты можешь ограничиться тем, что откажешься писать сценарий, порвешь все отношения с Рейнгольдом и завтра же утром уедешь обратно в Рим. Эмилия советовала тебе не отказываться от сценария потому, что ей, в сущности, хочется тебя презирать и она желает, чтобы своим поведением ты сам подтвердил, что ее презрение к тебе обоснованно... Но ты не должен слушать ее советов, наоборот, ты должен поступать именно так, как, по мнению Рейнгольда, поступил Одиссей».

Теперь картина была действительно полной: я проанализировал свое положение до конца, безжалостно, предельно правдиво по отношению к самому себе. И мне стало ясно: больше нет никакой необходимости «обо всем поразмыслить», как советовал Рейнгольд; я со спокойной совестью могу вернуться в гостиницу и объявить режиссеру о своем на этот раз уже в самом деле бесповоротном решении. Однако я тут же подумал, что, поскольку больше нет необходимости «обо всем поразмыслить», не следует также действовать поспешно, чтобы не создалось ошибочное впечатление, будто я поступаю необдуманно, сгоряча. Пойду к Рейнгольду после обеда и совершенно спокойно сообщу ему о принятом мною решении. Возвратившись домой, я так же спокойно велю Эмилии укладывать чемоданы. Что же касается Баттисты, то разговора с ним я намеревался вообще избежать, хотел утром перед отъездом просто оставить короткую записку, в которой объясню свое решение расхождением во взглядах с Рейнгольдом, что, в сущности, было правдой. Баттиста — человек проницательный, он поймет, в чем дело, и я никогда в жизни его больше не увижу.

Погруженный в эти свои мысли, я и сам не заметил, как снова вернулся в аллею и прошел по ней до обрыва, на котором стояла вилла. Я пришел в себя, лишь обнаружив, что чуть ли не бегом спускаюсь по крутой, осыпающейся под ногами тропинке, ведущей к маленькой бухточке — той самой, которую приметил еще утром, выйдя из дому. Задыхаясь, я сбежал вниз и, с трудом переводя дух, несколько минут стоял на одной из прибрежных скал, озираясь вокруг. Небольшой каменистый пляж был со всех сторон окружен каменными глыбами, словно только что скатившимися с гор. Бухточку замыкали два скали-

стых мыса, вздымающихся из зеленой морской глади; вода здесь была настолько прозрачна, что солнечные лучи проникали до самого дна, потом я заметил наполовину ушедший в песок черный утес, весь в трещинах и выбоинах, и решил расположиться под его сенью, чтобы укрыться от жаркого солнца. Но обогнув утес, я внезапно очутился перед Эмилией — совершенно обнаженная она лежала на прибрежной гальке.

По правде говоря, узнал я ее не сразу, потому, что лицо у нее было закрыто большой соломенной шляпой; в первую минуту я хотел даже уйти: мне показалось, что передо мной какая-то незнакомая женщина. Но потом мой взгляд упал на руку загоравшей незнакомки, и я сразу же заметил у нее на указательном пальце золотое кольцо с двумя маленькими опаловыми желудями, которое незадолго до того я подарил Эмилии в день рождения.

Я стоял в головах у Эмилии и видел ее как бы в ракурсе. Как я уже сказал, она была обнажена, одежда ее лежала рядом с ней на камнях — кучка пестрых тряпок, даже трудно было поверить, что они могут прикрыть такое крупное тело. В самом деле, когда я смотрел на нагую Эмилию, меня больше всего поражала в ней, если можно так выразиться, не какая-то та или иная часть ее тела, а гармоническое целое, величина и мощь всей ее фигуры. Хотя я и знал, что Эмилия вряд ли была крупнее других женщин, но в ту минуту ее нагое тело показалось мне огромным, словно ему передалось что-то от необъятности моря и неба. Она лежала на спине, и очертания ее грудей были мягкими и расплывчатыми, но мне эти два невысоких упругих холмика представлялись большими и тяжелыми, большими казались и розоватые кружочки сосков; такими же большими казались и ее бедра, удобно и мощно покоившиеся на камнях пляжа, и живот, словно собравший в свою округлую чашу весь солнечный свет, и длинные, стройные ноги, лежавшие немного ниже корпуса из-за уклона пляжа, хотя у меня было такое впечатление, будто их тянет вниз их собственная тяжесть. Я вдруг спросил себя, откуда у меня это столь острое и столь волнующее ощущение массивности и мощи всей ее фигуры, и тут я понял, что породило его неожиданно проснувшееся во мне желание. Желание, скорее духовное, чем физическое, настоятельное и неотложное, слиться с ней, но не с ее плотью и не ради самой плоти, а лишь при ее посредстве. Одним словом, я изголодался по Эмилии, однако не в моей власти было утолить этот голод, все зависело только от нее, от ее согласия насытить меня. А я чувствовал, что в этом своем согласии она мне

отказывает, хотя на первый взгляд могло даже показаться — но это, увы, было лишь обманом зрения! — будто, раскинувшись передо мной нагая, она предлагает себя.

Бесконечно долго созерцать эту запретную наготу я был не в силах. И вот я шагнул вперед и, нарушив окружающую тишину, отчетливо произнес:

— Эмилия!

Она сделала два быстрых движения: сначала сбросила шляпу, потом, протянув руку, молниеносно выхватила из лежащего рядом вороха одежды блузку, чтобы прикрыть ею свою наготу; в то же время она приподнялась и села, торопливо озираясь, пытаясь увидеть, кто же ее зовет. Когда я произнес: «Это я, Риккардо», — она наконец меня заметила и тогда выпустила из рук упавшую на камни блузку. Затем Эмилия повернулась всем телом в мою сторону, чтобы лучше видеть меня. «Значит, — подумал я, — в первую минуту она испугалась того, что здесь оказался кто-то чужой, но, увидев меня, решила, что стесняться ей незачем, как если бы тут никого не было». Я рассказываю об этой своей, в сущности, нелепой мысли лишь для того, чтобы дать как можно более точное представление о том состоянии, в каком я тогда находился. Мне даже в голову не пришло, что она не прикрыла свою наготу именно потому, что я был не посторонний, а ее муж. Я был убежден, что больше не существую для нее, по крайней мере как мужчина, и в ее движении, которое можно было истолковать по-разному, естественно, увидел еще одно подтверждение этой своей уверенности. Тихим голосом я произнес:

— Вот уже целых пять минут я стою здесь и смотрю на тебя... И, знаешь, мне кажется, я вижу тебя впервые...

Она ничего не ответила и только еще немного повернулась в мою сторону, чтобы получше видеть меня, поправив при этом с видом равнодушного любопытства темные очки.

Я добавил:

— Если ты не против, я останусь здесь; или, может, ты хочешь, чтобы я ушел?

Она посмотрела на меня, затем вновь неторопливо опустилась на камни и, растянувшись на солнце, сказала:

— По мне, оставайся, раз тебе хочется... Только, пожалуйста, не заслоняй солнце.

Итак, я действительно был для нее пустым местом или, самое большее, неодушевленным предметом, который может помешать солнечным лучам греть ее обнаженное тело. Такое безразличие со стороны Эмилии вызывало у меня мучительное ощуще-

ние растерянности; у меня вдруг, словно от страха, пересохло во рту, а на лице невольно отразились неуверенность и смущение, даже какое-то наигранное, неестественно веселое выражение.

Я сказал:

— Здесь так хорошо... Мне тоже хочется немного позагорать. — И, стараясь держаться непринужденно, я уселся неподалеку от нее, прислонившись спиной к одной из высящихся на пляже скалистых глыб.

Последовало продолжительное молчание. Меня захлестывали набегавшие одна за другой, ласково обжигающие, ослепительно сверкающие волны золотистого света, и я невольно закрыл глаза, всем существом ощущая довольство и покой. Но мне не удалось обмануть себя, заставить поверить, что я пришел сюда действительно загорать; я чувствовал, что до тех пор, пока Эмилия не вернет мне свою любовь, я не смогу по-настоящему наслаждаться сиянием солнца. Я сказал или, вернее, подумал вслух:

— Это место словно создано для тех, кто любит друг друга.

— Совершенно верно, — продолжая все так же неподвижно лежать, отозвалась Эмилия из-под закрывавшей ее лицо соломенной шляпы.

— Но не для нас, потому что мы друг друга больше не любим.

На этот раз она ничего не ответила. А я по-прежнему, не отрываясь, глядел на нее, и чем больше я смотрел, тем сильнее просыпалось во мне желание, охватившее меня, когда я увидел ее, выйдя из-за скалы.

Сильные чувства отличаются тем, что внезапно, помимо нашей воли и сознания, переходят в поступки. Сам не знаю, как это произошло, но неожиданно я увидел, что уже не сижу в стороне, прислонившись спиной к большому камню, а стою на коленях подле неподвижно распростертой Эмилии, склоняюсь над ней все ниже и ниже. Не помню уже как, я отбросил шляпу, прикрывавшую ее лицо, и хотел ее поцеловать, но никак не мог отвести взгляда от ее губ: так иногда долго любуешься каким-нибудь плодом, прежде чем впиться в него зубами. У Эмилии был крупный рог с очень полными губами, помада на них высохла и потрескалась, словно иссушенная не солнцем, а каким-то внутренним жаром. Я подумал о том, что эти губы давно меня не целовали и что, произойди это сейчас, в сладкой полудремоте, поцелуй их был бы пьянящим, как старое, крепкое вино. Наверно, целую минуту, если не больше, я смотрел на ее рот, потом совсем осторожно коснулся губами ее губ. Но поце-

ловал я ее не сразу: какое-то мгновение я медлил, чувствуя ее губы совсем близко от своих. Я слышал ее легкое и спокойное дыхание, ощущал, казалось мне, жар ее пылающих уст. Я еще только предвкушал этот поцелуй, когда мои губы уже встретились с губами Эмилии. Их прикосновение, казалось, не разбудило и не удивило ее. Я прижался губами к ее губам, сначала нежно, потом настойчивее, а затем, видя, что она по-прежнему неподвижна, рискнул поцеловать ее еще крепче. И я почувствовал, что губы ее, как я этого ждал, медленно раскрылись, подобно раковине, створки которой открываются, когда в ней начинает трепетать живое, омытое прохладной морской водой существо; губы раскрывались все шире и шире, обнажая десны, и одновременно ее рука обвила мою шею...

Вдруг меня словно кто-то сильно толкнул, и я, вздрогнув, очнулся, пробудился от дремоты, навеянной тишиной и солнечным зноем. Эмилия, как и прежде, лежала в нескольких шагах от меня, и лицо ее все так же закрывала соломенная шляпа. Я понял, что поцелуй этот мне приснился или, вернее, пригрезился в том полубредовом состоянии острой тоски, когда сегодняшней жалкой действительности предпочитаешь призраки прошлого. Я ее поцеловал, и она ответила на мой поцелуй; но и тот, кто целовал, и та, что ответила на поцелуй, были лишь призраками, воскрешенными моим желанием, лишь двумя тенями, которые не имели ничего общего с нашими неподвижными, ставшими столь чужими друг другу телами. Я взглянул на Эмилию и внезапно спросил себя: «А что, если сейчас ты действительно поцелуешь ее?» Но тут же сам ответил на свой вопрос: «Нет, у тебя не хватит смелости... Ты скован робостью и сознанием того, что она тебя презирает».

И тут я неожиданно громко позвал:

— Эмилия!

— Что тебе?

— Я задремал, и мне приснилось, что я тебя целую.

Она ничего не ответила. Испуганный этим молчанием, я хотел переменить тему и спросил первое, что пришло на ум:

— А где Баттиста?

Она спокойным голосом ответила из-под шляпы:

— Не знаю, где он... Кстати, сегодня его не будет за обедом, он обедает с Рейнгольдом в гостинице.

Внезапно, не успев даже осознать своих слов, я проговорил:

— Эмилия, вчера вечером я видел, как тебя в гостиной целовал Баттиста...

— Знаю... я тебя тоже видела.

Голос ее звучал совершенно обычно, он был лишь слегка приглушен полями шляпы.

Меня сбило с толку спокойствие и равнодушие, с которыми она восприняла мое признание; отчасти меня смущало и то, как я сам это признание сделал. Мне, видимо, казалось, что расслабляющее действие зноя и безмолвие моря заставят нас позабыть о ссоре, примирят нас, помогут понять суетность всего, что произошло, и навсегда вытравят это из памяти.

Сделав над собой усилие, я все же добавил:

— Эмилия, нам с тобой надо поговорить.

— Только не теперь, дай мне спокойно позагорать.

— Тогда сегодня вечером.

— Хорошо... сегодня вечером.

Я поднялся, и, не оглядываясь, направился к тропинке, ведущей в сторону виллы.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

За обедом мы почти не разговаривали. Безмолвие, казалось, окутывало виллу так же плотно, как лившийся на нее со всея сторон нестерпимо яркий полуденный свет; сверкание неба и моря, проникавшее в большие окна, слепило нас и отдаляло друг от друга. Вся эта слепящая лазурь будто приобрела вдруг плотность, как морская вода на большой глубине, и мы двое сидели, словно на дне моря, разделенные окрашенными во все цвета радуги льющимися на нас струями света, не в силах произнести ни слова. А я к тому же считал недостойным начинать объяснение с Эмилией до наступления вечера, поскольку я сам это предложил. Казалось бы, при подобных обстоятельствах два сидящих друг перед другом человека, у которых имеется какой-то неразрешенный и очень важный для обоих вопрос, только о нем и должны были бы думать, однако все было совсем иначе: мои мысли блуждали где-то далеко, я не думал ни о поцелуе Баттисты, ни о наших взаимоотношениях с Эмилией; не думала об этом, наверно, и она. Пожалуй, я еще не вышел из состояния какого-то внутреннего оцепенения и безразличия, мной еще владело то нежелание что-либо предпринимать, которое утром на пляже побудило меня отложить объяснение с Эмилией.

После обеда Эмилия поднялась из-за стола, сказала, что хочет отдохнуть, и ушла. Оставшись один, я долго сидел неподвижно, устремив взгляд в окно, на сверкающую, четкую линию горизонта вдали, где яркая синева моря переходила в более спокойную и мягкую синеву бездонного неба. Вдоль этой ли-

нии, словно муха по натянутой нитке, двигался маленький черный кораблик. Я следил за ним глазами, и мне, сам не знаю почему, приходили в голову нелепые мысли о том, что делается сейчас на борту этого судна. Я представлял себе матросов, надраивающих медные части корабля и моющих палубу; кока, перетирающего тарелки в камбузе; офицеров, возможно, еще не вставших из-за стола; а внизу, в машинном отделении, по пояс голых кочегаров, бросающих в топку полные лопаты угля. Это было маленькое суденышко, и со столь большого расстояния оно казалось мне всего лишь черной точкой; однако вблизи оно наверняка было большим, полным живых людей, человеческих судеб. Я думал и о том, что они, эти люди на борту, возможно, в свою очередь смотрят на Капри и невольно задерживаются взглядом на затерянной среди прибрежных скал белой точке, даже и не подозревая о том, что эта белая точка — вилла и что в ней нахожусь я, а со мной Эмилия, и что мы с ней не любим друг друга, Эмилия меня презирает, а я не знаю, как мне вернуть ее уважение и любовь...

Почувствовав, что меня снова охватывает дремота, я сделал над собой усилие, решив, не откладывая, привести в исполнение первую часть выработанного мною плана: сообщить Рейнгольду, что я «обо всем поразмыслил» и пришел к решению отказаться от участия в работе над сценарием. Эта мысль произвела на меня такое же освежающее действие, как если бы я подставил голову под струю холодной воды. Я окончательно пришел в себя, поднялся и вышел из дому.

Пройдя быстрым шагом по огибающей остров дорожке, спустя полчаса я входил в вестибюль гостиницы. Я велел доложить о себе и сел в кресло. Мне казалось, что голова моя работает необычайно ясно, но это была какая-то лихорадочная, судорожная ясность. Однако все возрастающее чувство облегчения, едва ли не радости от сознания того, что я собирался сделать, говорило мне, что я наконец-то на верной дороге. Спустя несколько минут Рейнгольд появился в вестибюле и шагнул ко мне навстречу с обеспокоенным и вместе с тем удивленным видом; к его изумлению, вызванному моим приходом в столь необычный час, казалось, примешивалось опасение, что я принес какую-то неприятную весть. Из вежливости я спросил:

— Я вас не разбудил, Рейнгольд?

— Нет-нет, — заверил он меня, — я не спал, я вообще никогда не сплю после обеда... Идемте, Мольтени, пройдем в бар.

Я вошел вслед за ним в бар, в это время дня совершенно безлюдный. Словно желая оттянуть начало разговора, смысл кото-

рого он предчувствовал, Рейнгольд осведомился, что мне заказать — черный кофе или рюмку ликера. Он спросил об этом с озабоченным и недовольным видом, точно скупец, вынужденный тратиться на дорогие угощения. Но я понимал, что причина тут другая — он предпочел бы меня здесь не видеть. Как бы то ни было, я отказался и после нескольких ничего не значащих фраз прямо перешел к главному:

— Возможно, вас удивляет, что я вернулся так скоро. В моем распоряжении был целый день... но мне кажется, что откладывать решение до завтра не к чему... Я достаточно хорошо все обдумал... И хочу сообщить вам, к какому выводу я пришел...

— К какому же?

— Я не смогу делать с вами этот сценарий... Одним словом, я отказываюсь от работы.

Рейнгольд воспринял мое заявление без особого удивления — очевидно, он ждал его. Но мне показалось, что мои слова все же проняли его. Он сразу же раздраженно произнес:

— Мольтени, мы с вами можем говорить откровенно.

— Мне кажется, я сказал достаточно откровенно: я отказываюсь работать над сценарием «Одиссеи».

— Разрешите узнать, почему?

— Потому что не согласен с вашей интерпретацией сюжета.

— Значит, — вдруг проговорил он другим тоном, — вы согласны с Баттистой?

Это неожиданное обвинение, не знаю уж почему, меня рассердило, и я в свою очередь разозлился на Рейнгольда. Я не считал, что мое несогласие с Рейнгольдом должно означать согласие с Баттистой. И я сказал раздраженно:

— При чем тут Баттиста?.. Я не согласен и с Баттистой... Но прямо скажу, если бы мне пришлось выбирать между вами двумя, я, несомненно, выбрал бы не вас, а Баттисту... Извините меня, Рейнгольд, но я считаю, что нужно либо ставить «Одиссею» так, как ее написал Гомер, либо вообще отказаться от этой затеи.

— Значит, вы предпочитаете этот раскрашенный маскарад с голыми женщинами, страшилищем Кинг-Конгом, танцами живота, бюстгальтерами, драконами из папье-маше и демонстрацией мод?

— Я этого не говорил, я сказал: предпочитаю то, что написал Гомер.

— Но «Одиссея» Гомера — это как раз то, о чем говорю я, — наклоняясь вперед, произнес он убежденно, — это моя «Одиссея», Мольтени.

Неизвестно почему, мне вдруг захотелось оскорбить Рейнгольда: его фальшивая дежурная улыбка, скрывающая властность и упрямство, его дурацкие ссылки на психоанализ показались мне в тот момент просто невыносимыми. Я со злостью проговорил:

— Нет, Рейнгольд, гомеровская «Одиссея» не имеет ничего общего с вашей. И я вам скажу даже больше, раз вы сами меня к этому вынуждаете: «Одиссея» Гомера меня восхищает, тогда как ваше толкование вызывает у меня чувство омерзения!

— Мольтени! — На этот раз Рейнгольд, кажется, был действительно возмущен.

— Да, чувство омерзения! — повторил я, приходя во все большее возбуждение. — Ваше постоянное желание принизить, опошлить гомеровского героя, потому что вы не в силах воссоздать его таким, каков он у Гомера, эти попытки во что бы то ни стало развенчать его мне отвратительны, и я ни за что не буду во всем этом участвовать.

— Мольтени... погодите, Мольтени.

— Вы читали «Улисса» Джеймса Джойса? — в бешенстве прервал его я. — Вы знаете, кто такой Джойс?

— Я читал все, что относится к «Одиссее», — отвечал Рейнгольд, глубоко уязвленный, — но вы...

— Ну так вот, — продолжал я, совсем обозлившись. — Джойс тоже по-новому интерпретировал «Одиссею»... И в ее модернизации или, лучше сказать, в ее опошлении он пошел гораздо дальше вас, дорогой Рейнгольд... Он сделал Улисса рогоносцем, онанистом, бездельником, импотентом, а Пенелопу непотребной девкой... Остров Эола превратился у него в редакцию газеты, дворец Цирцеи в бордель, а возвращение на Итаку — в бесконечные ночные шатания по улочкам Дублина, с остановками в подворотнях, чтобы помочиться... Но у Джойса все же хватило благоразумия оставить в покое средиземноморскую культуру, море, солнце, небо, неизведанные земли античного мира... У него нет ни солнца, ни моря... все современно, то есть все приземлено, опошлено, сведено к нашей жалкой повседневности... У него все происходит на грязных улицах современного города, в кабаках, борделях, спальнях и нужниках... А вам не хватает даже этой последовательности Джойса... Вот почему я предпочитаю Баттисту с его бутафорией из папье-маше... Да, предпочитаю Баттисту... Вам хотелось знать, почему я не желаю работать над этим сценарием... Теперь вы знаете.

Я упал в кресло, обливаясь потом. Рейнгольд нахмурил брови и посмотрел на меня сурово и строго.

— Итак, вы заодно с Баттистой?

— Нет, совсем не заодно с Баттистой... Я просто не согласен с вами.

— И все же, — сказал Рейнгольд, неожиданно повышая голос, — вы не просто не согласны со мной... Вы заодно с Баттистой.

Я вдруг почувствовал, как от лица у меня отхлынула кровь, я, видимо, смертельно побледнел.

— Что вы хотите этим сказать? — спросил я изменившимся голосом.

Рейнгольд вытянул вперед шею и прошипел совсем, как змея, почувствовавшая опасность:

— Я хочу сказать то, что сказал... Баттиста обедал сегодня со мной. Он не утаил от меня своих планов и того, что вы их разделяете... Вы, Мольтени, не просто расходитесь со мной во взглядах, вы заодно с Баттистой, чего бы он ни пожелал... Искусство для вас не имеет значения, для вас важно только, чтобы вам платили... В этом-то все дело, Мольтени. Вам нужно, чтобы вам платили, на любых условиях.

— Рейнгольд! — крикнул я.

— Я раскусил вас, дорогой мой, — не унимался он, — и скажу вам прямо в лицо: на любых условиях!

Мы стояли друг против друга, тяжело дыша, я белый как бумага, он красный как рак.

— Рейнгольд! — повторил я так же резко и звонко.

Но я почувствовал, что теперь в моем голосе звучит не столько негодование, сколько глубокая скорбь. Это «Рейнгольд» заключало в себе скорее мольбу, чем гнев оскорбленного человека, который может перейти от угроз к действию. Все же я и сейчас еще готов был отвесить режиссеру пощечину. Но не успел этого сделать. Странно, я считал его толстокожим человеком, а Рейнгольд, видимо, уловил в моем голосе боль и сразу же взял себя в руки. Подавшись немного назад, он произнес тихо и примирительно:

— Простите меня, Мольтени... Я сказал то, чего не думаю.

Я судорожно мотнул головой, словно говоря: «Прощаю вас», и почувствовал, что глаза мои наполнились слезами. После минутного замешательства Рейнгольд проговорил:

— Ну, хорошо, я понял... Вы не хотите участвовать в работе над сценарием... И уже предупредили об этом Баттисту?

— Нет.

— А собираетесь его предупредить?

— Скажите ему об этом вы... Думаю, я больше не увижусь с Баттистой.

Немного помолчав, я добавил:

— Скажите ему также, пусть подыщет себе другого сценариста. Вы хорошо меня поняли, Рейнгольд?

— В чем дело? — спросил он удивленно.

— Я не буду работать над сценарием «Одиссеи» — ни над тем, который замыслили вы, ни над тем, которого ждет Баттиста... Ни с вами, ни с другим режиссером... Понятно?

Наконец он понял, в глазах его мелькнуло сочувствие. Но он все-таки осторожно спросил:

— Вы не хотите работать над моим сценарием или вообще не хотите участвовать в создании этого фильма?

Немного подумав, я ответил:

— Я вам уже сказал: я не хочу работать над вашим сценарием. Однако я понимаю, что, мотивируя так свой отказ, я бросаю на вас тень в глазах Баттисты... Поэтому сделаем так: для вас — я не хочу работать над вашим сценарием... Для Баттисты — условимся, что я не хочу работать над фильмом вообще, как бы ни трактовался его сюжет... Передайте Баттисте, что я плохо себя чувствую, что я устал, у меня нервное переутомление... Идет?

Выслушав меня, Рейнгольд приободрился. Тем не менее он спросил:

— А Баттиста поверит этому?

— Не беспокойтесь, поверит... Уверяю вас, поверит.

Наступило длительное молчание. Мы оба испытывали какую-то неловкость. Ссора еще висела в воздухе, и ни мне, ни ему не удавалось забыть о ней окончательно. Наконец Рейнгольд сказал:

— А все же мне жаль, Мольтени, что вы не будете работать со мной над этим фильмом... Может быть, все же попробуем договориться?

— Вряд ли что-нибудь выйдет.

— Возможно, наши разногласия не так уж серьезны...

Я ответил твердо и теперь уже совершенно спокойно:

— Нет, Рейнгольд, очень серьезны... Кто знает, вдруг вы и правы, толкуя поэму Гомера таким образом... Но я все-таки убежден, что даже сегодня «Одиссею» следует ставить так, как ее написал Гомер.

— Вы мечтатель, Мольтени... Мечтаете о мире, подобном миру Гомера... Вам хотелось бы, чтобы он существовал... Но — увы! — его не существует.

Я сказал примирительно:

— Допустим, что вы правы: я мечтаю о мире, подобном миру Гомера... А вот вы, прямо скажем, нет.

— Я тоже мечтаю о нем, Мольтени... Кто о нем не мечтает? Но когда надо ставить фильм, одной мечты мало...

Опять наступило молчание. Я смотрел на Рейнгольда и понимал, что мои доводы его совсем не убедили. Неожиданно я спросил:

— Вы, конечно, помните песнь Улисса у Данте?

— Да, — ответил он, несколько удивленный моим вопросом, — помню... Правда, не слишком хорошо.

— Тогда разрешите, я прочту ее вам. Я знаю ее наизусть.

— Что ж, если хотите, пожалуйста.

Не знаю, почему мне пришло в голову прочесть ему этот отрывок из Данте: возможно, так я решил позднее, мне хотелось еще раз напомнить Рейнгольду о некоторых вещах, не рискуя его снова обидеть.

Режиссер уселся в кресло, и лицо его приняло устало-снисходительное выражение.

— В этой песне, — сказал я, — Данте просит Улисса рассказать, как погибли он и его товарищи.

— Знаю, Мольтени, знаю... читайте.

На минуту я задумался, опустив глаза, потом начал:

С протяжным ропотом огонь старинный
Качнул свой бо́льший рог...

Мало-помалу я стал читать стихи обычным голосом и, насколько мог, просто. Сердито взглянув на меня из-под козырька фуражки, Рейнгольд отвернулся к морю и больше не двигался. Я продолжал читать медленно и размеренно. Но, дойдя до слов:

О братья, так сказал я, на закат
Пришедшие дорогой многотрудной, —

я вдруг почувствовал, что волнуюсь и что голос у меня начал дрожать. Ведь в этих немногих строках было заключено не только мое понимание образа Одиссея, но и мое представление о себе самом и о том, какой должна была бы стать моя жизнь и какой она, к сожалению, не стала. Волнение мое, я понимал это, было порождено несоответствием между ясностью прекрасной идеи и моим полным внутренним бессилием. Однако мне все-

таки удалось заставить свой голос не дрожать и дочитать до последней строки:

И море, хлынув, поглотило нас. *

Окончив, я тут же встал, Рейнгольд тоже поднялся со своего кресла.

— Простите, Мольтени, — быстро заговорил он, — простите. Для чего вы прочли мне этот отрывок из Данте?.. Зачем?.. Конечно, все это прекрасно, но зачем?

— Это, — ответил я, — тот Одиссей, чей образ я хотел бы создать. Таким я представляю себе Одиссея... Прежде чем расстаться с вами, мне хотелось показать его вам как можно яснее... Я решил, что Данте сделает это лучше, чем я.

— Конечно, лучше. Но Данте — это Данте... Он человек средневековья... а вы, Мольтени, современный человек.

На этот раз я ничего не ответил и протянул ему руку. Он понял и сказал:

— А все-таки, Мольтени, мне будет жаль отказаться от сотрудничества с вами... Я уже привык к вам.

— До следующего раза, — ответил я. — Мне бы тоже хотелось работать с вами, Рейнгольд.

— Но тогда в чем же дело? В чем дело, Мольтени?

— Судьба, — ответил я и, улыбнувшись, пожал ему руку. Я направился к выходу, Рейнгольд остался сидеть за столиком бара, и его руки, казалось, застыли в безмолвном вопросе: «В чем же дело?»

Я быстро вышел из гостиницы.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Я возвращался на виллу с той же поспешностью, с какой ее покинул. Чувство нетерпения и воинственного порыва не давало мне спокойно поразмыслить над тем, что же в конце концов произошло. Не думая ни о чем, я бежал по дорожке под лучами палящего солнца. Я понимал, что сошел наконец с мертвой точки, нарушил невыносимое положение, длившееся слишком долго, и теперь вскоре узнаю, почему Эмилия меня больше не любит. Что будет потом, я не загадывал. Размышления либо предшествуют действию, либо следуют за ним. Когда мы действуем, нас подвигают на это наши прошлые, уже забытые размышления, переплавившиеся в нашей душе в стра-

* Данте. «Божественная комедия». *Перевод М. Лозинского.*

сти. Я действовал и потому не думал. Я знал, что думать буду потом, после того, как что-то сделаю.

Добежав до виллы, я быстро поднялся по лестнице, ведущей на террасу, и вошел в гостиную. Там никого не было, но на кресле лежал раскрытый журнал, в пепельнице торчали испачканные губной помадой окурки, из включенного радиоприемника тихо лилась танцевальная музыка, — я понял, что Эмилия только что вышла. Возможно, на меня подействовал приятный рассеянный свет полуденного солнца и приглушенная музыка, но я вдруг почувствовал, что ярость моя исчезла, хотя я по-прежнему ясно и отчетливо сознавал, чем она вызвана. Больше всего меня поразил обжитой вид гостиной: в ней было спокойно, удобно и уютно. Казалось, на вилле живут давно, и Эмилия уже привыкла считать ее своим постоянным местопребыванием. Это радио, этот журнал, эти окурки, не знаю уж почему, напомнили мне о страсти Эмилии к домашнему уюту, о ее беспредельной, такой органической и такой женской любви к домашнему очагу. Я понял: несмотря на все, что случилось, Эмилия собирается прожить здесь долго и, в сущности, очень довольна тем, что находится на Капри, в доме у Баттисты. А я пришел сказать ей, что нам надо уезжать.

Задумавшись, я подошел к двери, ведущей в спальню Эмилии, и открыл ее. Эмилии в спальне не было. Здесь тоже все говорило о ее домовитости. Аккуратно сложенная ночная рубашка лежала на кресле возле кровати. Рядом с креслом стояли домашние туфли. На туалетном столике перед зеркалом в идеальном порядке были расставлены флаконы и баночки с кремом. На ночном столике — книга, грамматика английского языка, которым Эмилия недавно начала заниматься, тетрадь для упражнений, карандаш, пузырек с чернилами. Нигде никакого следа чемоданов, с которыми мы приехали из Рима. Я невольно заглянул в шкаф. Немногочисленные платья Эмилии висели на плечиках. На полках лежали платки, пояса, ленты, стояла пара туфель. «Конечно, — подумал я, — для Эмилии неважно, кого любить — Баттисту или меня, — для нее важно одно: иметь свой дом, где она могла бы спокойно и надежно устроиться, не зная никаких забот».

Я вышел из спальни и по коридору прошел на кухню, которая помещалась в маленьком строении позади виллы. Подходя к кухне, я услышал голос Эмилии, разговаривающей с кухаркой. Я невольно остановился у открытой двери и прислушался. Насколько я понял, Эмилия давала указания, что приготовить на ужин.

— Синьор Риккардо, — говорила Эмилия, — любит простые кушанья, без соусов и пряностей... Одним словом, вареное или жареное мясо, рыбу... Вам же лучше, Аньезина, меньше хлопот.

— Ну, синьора, хлопот всегда хватает... И простое блюдо сделать не так-то уж просто... Так что же приготовить сегодня к ужину?

На некоторое время наступило молчание. По-видимому, Эмилия думала. Потом спросила:

— А можно еще достать рыбу?

— Если сходить к торговцу рыбой, который обслуживает гостиницу, то можно.

— Тогда купите хорошую, большую рыбу... Так на килограмм или больше... но не слишком костистую... Зубатку или, еще лучше, кефаль... Словом, что удастся... И поджарьте ее... Или нет, лучше сварите... Вы умеете делать майонез?

— Да, умею.

— Вот и хорошо... Если сварите рыбу, приготовьте майонез... И салат или вареные овощи... Морковь, кабачки, фасоль... что найдется. И фрукты, побольше фруктов. Фрукты, как только вернетесь, поставьте в холодильник, чтобы они, когда будете подавать их на стол, были совсем свежие.

— А что на закуску?

— Ах да, еще закуска... Сегодня сделаем что-нибудь попроще: купите ветчины, но только понежнее... К ветчине подайте винные ягоды... Винные ягоды у вас найдутся?

— Найдутся.

Не знаю уж почему, но, пока я слушал их разговор, такой спокойный, такой рассудительный, мне вдруг припомнились последние слова, которыми мы обменялись с Рейнгольдом. Он сказал, что я стремлюсь жить в мире, подобном миру «Одиссеи», и я ответил ему, что он прав. Тогда Рейнгольд заявил, что мое желание неосуществимо, ибо современный мир — вовсе не мир «Одиссеи». Но теперь я подумал: «А все-таки точно такая же сцена могла бы произойти и много сотен лет назад, в эпоху Гомера... Хозяйка, беседуя со служанкой, объясняет ей, что приготовить на ужин». Мне вспомнился мягкий, рассеянный солнечный свет, заливавший гостиную, и мне вдруг показалось, будто вилла Баттисты — это дом на Итаке, а Эмилия — Пенелопа, беседующая со своей рабыней. Да, я был прав, все могло быть точно таким же, как и тогда. Но, увы, все было до обидного по-другому. Я заглянул на кухню и позвал:

— Эмилия.

Она спросила, чуть обернувшись:

— Чего тебе?

— Ты сама знаешь... Мне надо поговорить с тобой.

— Подожди в гостиной... Мне надо закончить с Аньезиной. Я скоро приду.

Я вернулся в гостиную, сел в кресло и стал ждать. Теперь я уже раскаивался в том, что хотел предпринять: по всему было видно, что Эмилия собирается долго прожить на вилле, а я вдруг объявлю ей об отъезде. Но тут же вспомнил, как вела себя Эмилия, когда решила уйти от меня. Сопоставив ее тогдашнее отчаяние с ее теперешним спокойствием, я подумал, что, значит, она готова жить со мной, даже презирая меня. Иными словами, теперь она соглашалась на то, против чего так протестовала тогда. Для меня это было еще оскорбительнее. Это говорило о том, что Эмилия сдалась, что воля ее сломлена и что теперь она презирает не только меня, но и себя. Одной этой мысли было достаточно, чтобы я перестал раскаиваться в принятом решении. И для нее, и для меня необходимо уехать, и я должен объявить ей, что мы уезжаем.

Я подождал еще немного. Вошла Эмилия, выключила приемник и села.

— Ты сказал, что тебе надо поговорить со мной.

Я ответил вопросом:

— Ты уже распаковала свои чемоданы?

— Да, а что?

— Мне очень жаль, — сказал я, — но тебе придется снова уложить их... Завтра утром мы уезжаем в Рим.

Мгновение она смотрела на меня пристально и неуверенно, словно ничего не понимая. Потом резко спросила:

— Что еще случилось?

— Случилось то, — сказал я, вставая с кресла и закрывая дверь в коридор, — случилось то, что я решил бросить работу над сценарием. Я послал его ко всем чертям... И поэтому мы возвращаемся в Рим.

По-видимому, такая новость ее по-настоящему рассердила. Она спросила, нахмурив брови:

— Почему ты решил отказаться от этой работы?

— Меня удивляет твой вопрос, — сухо ответил я. — Мне кажется, после того, что я видел вчера вечером в гостиной, я не мог поступить иначе.

Эмилия холодно возразила:

— Вчера вечером ты был иного мнения... А ведь тогда ты уже все видел.

— Вчера вечером я позволил убедить себя... Но потом решил не считаться с твоими доводами... Не знаю, почему ты советуешь мне работать над этим сценарием, и не желаю знать... Знаю только одно: для меня, а также и для тебя, лучше, чтобы я над ним не работал.

— Баттиста об этом знает? — неожиданно спросила Эмилия.

— Не знает, — ответил я. — Но об этом знает Рейнгольд... Я только что был у него и сказал ему все.

— Ты поступил неумно.

— Почему же?

— Потому, — голос ее звучал неуверенно, — что нам нужны эти деньги для уплаты за квартиру... А потом, ты сам не раз говорил, что разорвать контракт — значит отрезать возможность получить новую работу... Ты поступил необдуманно, тебе не следовало этого делать.

Я разозлился и крикнул:

— Да ты понимаешь, что положение, в котором я оказался, невыносимо... Не могу я получать деньги от того, кто... От того, кто соблазнил мою жену...

Она промолчала. Я продолжал:

— Я отказался от сценария потому, что работа над ним в создавшихся обстоятельствах была бы для меня позором... Но я отказался также и ради тебя, во имя того, чтобы ты снова поверила в меня... Не знаю уж почему, но ты теперь считаешь меня человеком, способным соглашаться работать даже на подобных условиях... Но ты ошибаешься... Я не такой человек!

Я увидел, как в ее глазах появились враждебность и злоба. Она сказала:

— Если ты поступил так ради себя, ну что же... Но если ты сделал это ради меня, у тебя еще есть время передумать. То, что ты делаешь, глупо и бессмысленно, уверяю тебя... Все это ни к чему не приведет, ты окажешься на мели... Только и всего.

— Что ты хочешь этим сказать?

— То, что уже сказала: все это ни к чему.

У меня похолодели виски, я почувствовал, что бледнею.

— А все-таки?

— Скажи мне сначала, какой вывод, по-твоему, я должна сделать из того, что ты отказался от работы?

Я понял: настало время для окончательного объяснения. Эмилия сама шла на это. Мной овладел страх, но я все-таки сказал:

— Ты как-то заявила, что... что презираешь меня... Ты так сказала... Не знаю, за что ты меня презираешь... Знаю только, что презирают за нечто постыдное... Продолжать работу над сценарием теперь — постыдно... Мое решение, помимо всего прочего, докажет тебе, что я не тот, за кого ты меня принимаешь...

Она сразу ответила мне, торжествуя и радуясь, что поймала меня в ловушку:

— Но ведь твое решение ровным счетом ничего мне не доказывает... Поэтому-то я и советую тебе передумать.

— То есть как ничего не доказывает? — Я сел и непроизвольным жестом, в котором выразилось все мое смятение, схватил ее руку, лежавшую на спинке кресла. — Эмилия, и ты говоришь мне об этом?

Она резко вырвала руку.

— Прошу тебя, оставь... Очень прошу, не прикасайся ко мне... Я больше не люблю тебя и никогда не смогу полюбить.

Я тоже убрал руку и сказал раздраженно:

— Хорошо, не будем говорить о любви... Поговорим о твоем... о твоем презрении... Даже если я откажусь от сценария, ты все равно будешь презирать меня?

— Да, буду... И оставь меня в покое.

— Но почему ты меня презираешь?

— Потому что ты, — она вдруг закричала, — потому, что ты так уж устроен и, как бы ни старался, другим не станешь.

— Но как я устроен?

— Не знаю, как именно, тебе лучше знать... Знаю только, что ты не мужчина и ведешь себя совсем не по-мужски.

Меня снова поразил резкий контраст между неподдельной искренностью чувств, прозвучавших в ее словах, и избитостью, банальностью сказанной ею фразы.

— А что значит быть мужчиной? — спросил я с иронией. — Не кажется ли тебе, что это ничего не говорит.

— Брось, все ты отлично понимаешь.

Она подошла к окну и говорила, отвернувшись от меня. Я сжал голову руками и с минуту смотрел на нее в полном отчаянии. Эмилия отвернулась от меня не только физически, но и, так сказать, всей душой, всем существом своим. Она не хочет или, подумал я вдруг, не умеет объясниться со мной. Несомненно, существует какая-то причина, вызвавшая ее презрение ко мне, но не настолько определенная, чтобы можно было ее точно указать: поэтому она предпочитает объяснять свое презрение присущей мне врожденной подлостью, беспри-

чинной, а следовательно, неисправимой. Я вспомнил, как Рейнгольд объяснял отношения между Одиссеем и Пенелопой, и вдруг меня осенило: «А может быть, у Эмилии создалось впечатление, будто все эти последние месяцы я знал, что Баттиста ухаживает за ней и пытался использовать это в своих интересах, иначе говоря, вместо того, чтобы возмутиться, поощрял Баттисту?» При мысли об этом у меня перехватило дыхание. Теперь я припомнил отдельные факты, которые могли вызвать у нее подобное подозрение, например, мое опоздание в тот вечер, когда мы впервые встретились с Баттистой. Тогда такси попало в аварию, но Эмилия могла усмотреть в этом только предлог, па который я сослался, чтобы оставить ее наедине с продюсером. Как бы подтверждая мои мысли, Эмилия сказала, не оборачиваясь:

— Мужчина, мужчина в полном смысле этого слова, ведет себя совсем не так, как ты вел себя вчера вечером, увидев то, что ты увидел... А ты преспокойно пришел ко мне советоваться, притворившись, что ничего не заметил... И ждал, что я посоветую тебе работать над сценарием... Я дала тебе тот самый совет, какой ты хотел от меня получить, и ты согласился... А сегодня, не знаю уж что там у тебя вышло с этим немцем, ты вдруг приходишь и заявляешь, что отказался от работы из-за меня; от того, что я тебя презираю, а ты не желаешь, чтобы я тебя презирала... Но уж теперь-то я тебя раскусила. Возможно даже, что не ты сам отказался, а он заставил тебя это сделать... Впрочем, сейчас это уже все равно. Поэтому не устраивай никаких историй и раз навсегда оставь меня в покое.

Мы пришли к тому, с чего начали. Я по-прежнему думал: она презирает меня, но не хочет сказать о причине, вызвавшей ее презрение. Мне было бесконечно противно самому называть ей причину, и не только потому, что причина была отвратительна, но и потому, что, называя ее, я, как мне казалось, в какой-то мере допускал ее обоснованность. Тем не менее я хотел выяснить все до конца, иного выхода у меня не было. Я сказал как мог спокойно:

— Эмилия, ты презираешь меня, но не хочешь сказать почему... Возможно, ты и сама этого не знаешь... Но я должен знать, мне необходимо объяснить тебе, насколько ты неправа, чтобы оправдаться... Если я сам назову тебе причину твоего презрения ко мне, обещай, что ты скажешь, правда это или нет.

Эмилия по-прежнему стояла у окна, повернувшись ко мне спиной, некоторое время она молчала. Потом сказала устало и раздраженно:

— Ничего я тебе не обещаю... Ох, оставь ты меня в покое.

— Причина вот в чем. — Я говорил медленно, почти что по слогам. — Ложно истолковав некоторые факты, ты вообразила, будто я... будто я знал о Баттисте, но ради собственной выгоды решил закрыть на все глаза, будто я даже толкал тебя в объятия Баттисты... Не так ли?

Я взглянул на Эмилию в ожидании ответа. Но ответа не последовало. Эмилия смотрела в окно и молчала. Я вдруг почувствовал, что покраснел до ушей: я сам устыдился того, что сказал. И я понял: Эмилия может истолковать мои слова как доказательство того, что ее презрение ко мне вполне обоснованно. Этого-то я больше всего и боялся. Я продолжал с отчаянием в голосе.

— Если это так, клянусь тебе, ты ошибаешься... Я ничего не подозревал до вчерашнего вечера... Конечно, ты можешь верить мне или не верить... Но если ты мне не веришь, значит, ты хочешь презирать меня во что бы то ни стало и отказываешься дать мне возможность оправдаться.

Эмилия опять ничего не ответила. Но я понял, что попал в самую точку: возможно, она действительно не знала, за что презирает меня, и не желала этого знать, продолжая считать меня подлецом просто так, без всякой причины, как нечто само собой разумеющееся. Я почувствовал, что сказанное мной прозвучало весьма неубедительно. Невиновный, подумал я, отнюдь не всегда способен доказать свою правоту. В отчаянии, побуждаемый каким-то внутренним движением души, которое было сильнее рассудка, я ощутил необходимость подкрепить свои слова вескими аргументами. Я встал, подошел к Эмилии, все еще стоявшей у окна, и взял ее за руку:

— Эмилия, за что ты меня так ненавидишь?.. Почему ты не хочешь позабыть об этом хоть на минутку?

Она отвернулась, словно не желала, чтобы я увидел ее лицо. Но позволила пожать ей руку, а когда мое бедро коснулось ее бедра, не отстранилась. Тогда, осмелев, я обнял ее за талию. Наконец она повернулась, и я увидел, что она плачет.

— Я никогда тебе этого не прощу! — крикнула она. — Никогда не прощу, что ты разрушил нашу любовь... Я так тебя любила... Я не любила никого, кроме тебя, и никогда не полюблю... А ты, с твоим характером, все испортил... Мы могли быть так счастливы вместе... А теперь это уже невозможно... Как я могу позабыть об этом?.. Как я могу не сердиться на тебя?

У меня появилась надежда, что бы там ни было, а Эмилия призналась мне: она любила меня и никогда не любила никого, кроме меня.

— Послушай, — сказал я, пытаясь привлечь ее к себе, — сейчас ты уложишь чемоданы, а завтра утром мы уедем... В Риме я тебе все объясню... и я уверен, сумею убедить тебя.

С какой-то яростью она вырвалась из моих объятий.

— Не поеду! — закричала она. — Что мне делать в Риме? В Риме мне придется уйти из дому... Мать не хочет, чтобы я жила у нее, и значит, мне придется снимать меблированную комнату и снова работать машинисткой... Нет, я не уеду... Останусь здесь, мне нужен покой, отдых... Я останусь... Уезжай, если тебе это так уж хочется... Я останусь здесь. Баттиста сказал, что я могу оставаться здесь сколько захочу... Я остаюсь.

Я тоже был в ярости:

— Ты уедешь со мной... Завтра утром.

— Мне очень жаль, но ты ошибаешься, я останусь здесь.

— Тогда я тоже останусь... И сделаю так, что Баттиста вышвырнет нас обоих.

— Ты этого не сделаешь.

— Нет, сделаю.

Эмилия взглянула на меня и, не сказав ни слова, вышла из гостиной.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Итак, я связал себя сделанным под горячую руку заявлением: «Я тоже останусь». На самом же деле, как я это осознал сразу же после ухода Эмилии, я не мог здесь больше оставаться: только мне одному и следовало уехать. Я порвал с Рейнгольдом, порвал с Баттистой, а теперь, по всей вероятности, также и с Эмилией. Словом, я был здесь лишний, и мне следовало уехать. Но я крикнул Эмилии, что остаюсь, и, в сущности, то ли потому, что я еще на что-то надеялся, то ли просто из упрямства, но мне и правда захотелось остаться. При других обстоятельствах положение, в котором я оказался, было бы только смешным, но при моем тогдашнем душевном состоянии, при том отчаянии оно было невыносимо тягостным; я был точно альпинист, поднявшийся на крутую скалу, который вдруг осознал, что не в силах ни удержаться на ней, ни двигаться дальше, ни вернуться назад. Я взволнованно ходил из угла в угол и все спрашивал себя: как мне следует поступить? Не могу же я сегодня вечером сесть за один стол с Эмилией и Баттистой, будто ничего не произошло. Я даже подумывал, не

пойти ли поужинать в Капри и вернуться домой поздно ночью? Но за этот день я уже четыре раза проделал путь от виллы до города, все время бегом, все время под палящим солнцем. Я очень устал, и еще раз выходить из дому мне не хотелось. Я взглянул на часы: шесть. До ужина оставалось по крайней мере два часа. Что делать? Наконец я принял решение: я ушел в свою комнату и запер дверь на ключ.

Я закрыл ставни и в темноте бросился на постель. Я и в самом деле устал и, едва лег, сразу почувствовал, как тело мое инстинктивно ищет позу наиболее удобную для сна. В эту минуту я был благодарен своему телу, более мудрому, чем мой рассудок: оно сразу же дало молчаливый ответ на мучивший меня вопрос: «Что делать?» И вскоре я действительно крепко уснул.

Спал я долго и без сновидений. Проснулся я, когда было уже совсем темно. Встав с постели, я подошел к окну, распахнул его: был поздний вечер. Я зажег свет и посмотрел на часы: девять. Я проспал три часа. Ужин, как мне помнилось, подавали в восемь, самое позднее в половине девятого. Передо мной снова встал вопрос: «Что мне делать?» Я отдохнул и поэтому сразу же нашел смелый и простой ответ: «У меня нет никаких оснований прятаться, явлюсь к столу и — будь что будет». Я был настроен прямо-таки воинственно и чувствовал, что готов не только выдержать стычку с Баттистой, но и заставить его вышвырнуть вон и меня, и Эмилию. Я быстро привел себя в порядок и вышел из комнаты.

В гостиной за накрытым столом никого не было. Я заметил, что стол накрыт на одну персону. Почти сразу же вошла служанка и подтвердила возникшее у меня подозрение, сообщив, что Баттиста и Эмилия ушли ужинать в Капри. Если угодно, я могу присоединиться к ним: они в ресторане «Беллависта». Или же могу поесть дома, ужин уже полчаса как готов.

Я понял, что перед Эмилией и Баттистой тоже возник тот же вопрос: «Что делать?» И разрешили они его весьма просто — ушли из дому, предоставив меня самому себе. Однако на этот раз я не почувствовал ни ревности, ни обиды, ни огорчения. Не без грусти я подумал, что Эмилия и Баттиста поступили именно так, как только и можно было поступить; я должен быть благодарен им за то, что они уклонились от неприятной встречи. Понял я и другое: их уход был своеобразным тактическим приемом, направленным на то, чтобы выжить меня; если они будут придерживаться такой тактики и в последующие дни, то, несомненно, достигнут цели. Но все это потом, а что про-

изойдет потом, никому не известно. Я сказал служанке, чтобы она подала ужин, и сел за стол.

Ел я мало и неохотно. Едва прикоснулся к ломтику ветчины и съел кусочек рыбы, которую Эмилия велела купить для нас троих. Через несколько минут я покончил с ужином. Сказал служанке, чтобы она шла спать,— мне она больше не нужна. И вышел на террасу. На террасе в углу стояли шезлонги. Я раздвинул один из них и сел у балюстрады лицом к морю, которого сейчас, в темноте, не было видно.

Возвращаясь на виллу после разговора с Рейнгольдом, я обещал себе, что, поговорив с Эмилией, спокойно все обдумаю. В тот момент я сознавал, что мне пока неизвестны причины, по которым Эмилия разлюбила меня. Но мне и в голову не приходило, что и после объяснения с ней я их не узнаю. Напротив, я был почему-то уверен, что наше объяснение прольет свет на все, что до сих пор было скрыто мраком неизвестности, так что, когда этот мрак рассеется, я воскликну: «И это все?.. И из-за такой чепухи ты разлюбила меня?»

Однако я никак не ожидал того, что произошло; объяснение состоялось, во всяком случае то объяснение, которое было возможно между нами, и тем не менее я знал обо всем не больше, чем раньше. Хуже того: я установил, что причину презрения Эмилии можно определить, только разобравшись в наших прошлых отношениях; но Эмилия не хотела и слышать об этом; в действительности она желала по-прежнему беспричинно презирать меня, отнимая у меня всякую возможность оправдаться и тем самым вернуть ее любовь.

Короче говоря, я понял, что чувство презрения зародилось у Эмилии гораздо раньше, чем мои поступки могли дать для этого какой-либо повод, действительный или мнимый. Презрение возникло без всякого повода, попросту из-за продолжительного сосуществования наших характеров. В самом деле, когда я рискнул предположить, что ее презрение ко мне порождено ложной оценкой моего поведения по отношению к Баттисте, Эмилия не сказала ни да, ни нет, она промолчала. Видимо, подумал я с горечью, она и впрямь считает, что я на все способен. Ей не хотелось ни о чем меня расспрашивать, из опасения, что мои ответы только усилят ее чувство презрения. Другими словами, Эмилия в своем отношении ко мне исходила из оценки моего характера, независимой от моих поступков. Последние, к сожалению, только подтверждали эту ее оценку. Но даже и без такого подтверждения она, по всей вероятности, относилась бы ко мне точно так же.

Доказательством тому, если мне еще нужны были какие-либо доказательства, служила необъяснимая странность всего ее поведения. Эмилия могла бы, поговорив со мной откровенно и высказавшись начистоту, полностью уничтожить недоразумение, убившее нашу любовь. Но она не сделала этого и не сделала именно потому, что, как я крикнул ей, и в самом деле не желала, чтобы ее разубеждали, хотела по-прежнему презирать меня.

Обо всем этом я думал, сидя в шезлонге. Но мысли мои так взволновали меня, что я почти машинально встал и оперся о балюстраду. Я, вероятно, бессознательно искал успокоения, глядя на тихую безмятежную ночь. Но едва лишь моего разгоряченного лица коснулось легкое дыхание морского ветра, как я подумал, что не заслуживаю этого облегчения. Я понял, что презираемый не может и не должен знать покоя, до тех пор пока его презирают. Как грешник на страшном суде, он может, конечно, воскликнуть: «Горы, сокройте меня, моря, поглотите!» Но презрение последует за ним, где бы он ни укрылся, ибо оно проникло в его душу и он повсюду носит его с собой.

Я снова уселся в шезлонг и дрожащими пальцами зажег сигарету. «Заслуживаю я презрения или нет?» — спрашивал я себя. Я был убежден, что вовсе его не заслуживаю, ведь у меня как-никак остается мой ум, качество, которое признает за мной даже Эмилия. «Умом своим я могу гордиться, в нем — оправдание моего существования. Поэтому я должен думать, неважно над чем. Я должен бесстрашно обнаруживать силу своего интеллекта перед лицом любой тайны. Если я перестану размышлять, у меня в самом деле не останется ничего, кроме страшного ощущения, что я достоин презрения, хотя и неизвестно почему».

Так вот, я принялся рассуждать, упрямо и трезво. Отчего же я все-таки достоин презрения? Мне припомнились слова Рейнгольда, которыми он, не отдавая себе в этом отчета, определил мою позицию по отношению к Эмилии, считая, что говорит об Одиссее и Пенелопе: «Одиссей — человек цивилизованный, а Пенелопа — натура примитивная». Словом, Рейнгольд, сам того не желая, своей фантастической интерпретацией «Одиссеи» вызвал тогда кризис в моих отношениях с Эмилией; теперь же, опираясь на эту же интерпретацию (несколько напоминавшую копье Ахиллеса, способное излечивать нанесенные им раны), он старался меня утешить, называя человеком «цивилизованным», а не «варваром». Я понимал, что это могло

бы служить довольно серьезным утешением, захоти я его принять. Я в самом деле был тем цивилизованным человеком, который, попав в банальную ситуацию, затрагивающую его честь, не пожелал размахивать ножом; цивилизованный человек не перестает мыслить, даже оказавшись перед лицом того, что является или почитается святыней. Но, едва подумав об этом, я сразу же обнаружил, что подобное, так сказать, историческое объяснение не может меня удовлетворить. Не говоря уже о том, что я отнюдь не был убежден, что мои отношения с Эмилией действительно походят на выдуманные режиссером отношения Одиссея и Пенелопы. Такого рода доводы, возможно, и объясняющие что-то в плане историческом, ничего не могут объяснить в глубоко интимной и индивидуальной области человеческого сознания, находящейся вне времени и пространства. В ней диктует законы наш внутренний демон. История могла оправдать и помочь мне только в своей собственной области, а ее область в ситуации, в какой я оказался, независимо от породивших ее исторических причин, не была той действительностью, в которой мне хотелось бы жить и работать. Но почему же все-таки Эмилия перестала меня любить, почему она презирает меня? И прежде всего, почему она испытывала потребность презирать меня? Я неожиданно вспомнил фразу Эмилии: «Потому что ты не мужчина», меня тогда еще поразил контраст между банальностью, избитостью этой фразы и той искренностью и непосредственностью, с какой она была произнесена. И я подумал, что, может быть, в этой фразе ключ ко всему поведению Эмилии? В ней негативно отразился идеальный образ того мужчины, который для Эмилии, говоря ее же словами, был настоящим мужчиной, мужчиной, каким я, с ее точки зрения, не был и быть не мог. Но с другой стороны, сама банальность фразы заставляла предполагать, что этот идеальный образ возник у Эмилии не в результате сознательной оценки достоинств человека, а под влиянием условностей, присущих той среде, в которой она выросла. Для этой среды настоящим мужчиной был именно Баттиста, с его животной силой, с его преуспеянием в жизни. Что это так, доказывали те чуть ли не восторженные взгляды, какие вчера за столом бросала на Баттисту Эмилия, и то, что она в конце концов уступила его домогательствам, пусть даже в припадке отчаяния. Одним словом, Эмилия презирала меня и желала презирать и дальше потому, что вопреки своей непосредственности и простоте или, лучше сказать, именно благодаря им она совершенно погрязла в традиционных представлениях, свойственных среде Батти-

сты. Сюда же относилось и представление о том, что бедный человек не может не зависеть от богача, а значит, не в состоянии быть человеком, мужчиной. Я не был уверен, действительно ли Эмилия подозревала, что я поощрял домогательства Баттисты, но если это было так, то она, по всей вероятности, думала: «Риккардо зависит от Баттисты, Баттиста платит ему, он рассчитывает получить следующую работу от Баттисты, за мной волочится Баттиста, значит, Риккардо толкает меня на то, чтобы я стала любовницей Баттисты».

Меня поразило, как я не додумался до этого раньше. Странно, что именно я, так проницательно увидевший в тех двух интерпретациях «Одиссеи», какие дали Баттиста и Рейнгольд, два очень различных миропонимания, не понял, что, создавая свое столь не соответствующее действительности представление обо мне, Эмилия, по сути, проделала ту же работу, что продюсер и режиссер. Разница здесь состояла только в том, что Рейнгольд и Баттиста интерпретировали образы Одиссея и Пенелопы, персонажей вымышленных, а Эмилия приложила схему, созданную жалкими условностями, которые над ней тяготели, к живым, реальным людям, к себе и ко мне. Ее нравственная чистота в соединении с врожденной вульгарностью и породила ту идею, которую Эмилия, правда, не принимала, но и не отвергала,— идею о том, что я хотел толкнуть ее в объятья Баттисты.

«Допустим на мгновенье, — сказал я себе, — что Эмилии предстояло бы выбрать одну из трех различных интерпретаций «Одиссеи» — Рейнгольда, Баттисты и мою. Она, конечно, поймет те чисто коммерческие мотивы, по которым Баттиста требует, чтобы фильм по «Одиссее» был чисто зрелищным; она может также одобрить умозрительную и психологическую концепцию Рейнгольда; но, бесспорно, при всей своей естественности и непосредственности она будет не в состоянии подняться до моей интерпретации или, правильнее сказать, до точки зрения Гомера и Данте. Она не сможет сделать этого не только потому, что необразованна, но также и потому, что живет не в мире идеального, а целиком в реальном мире всех этих Баттист и Рейнгольдов». Так круг замкнулся. Эмилия была в одно и то же время женщиной, о которой я мечтал, и женщиной, которая судила обо мне, основываясь на жалких, ходячих представлениях, и поэтому презирала меня, Пенелопой, которая десять долгих лет хранила верность уехавшему мужу, и машинисткой, подозревающей корыстный расчет там, где его не было. Чтобы обладать той Эмилией, какую я любил, и чтобы

она могла увидеть меня таким, каким я был на самом деле, мне следовало вывести ее из того мира, где она жила, и ввести ее в мир такой же простой и естественный, как она сама, в тот мир, где деньги ничего не значат, а язык вновь обретет свою чистоту, в мир, к которому, по словам Рейнгольда, я мог страстно стремиться, но которого не существует в действительности.

Однако мне надо было продолжать жить, то есть существовать и работать, в мире Баттисты и Рейнгольда. Что же я должен предпринять? Я решил, что прежде всего мне следует отделаться от мучительного чувства неполноценности, возникшего у меня под влиянием нелепого предположения, будто я по природе своей, так сказать, от рождения человек презренный. Ибо, как я уже говорил, именно эта мысль сквозила в отношении Эмилии ко мне: мысль о моей врожденной подлости, вытекающей не из моих поступков, а из самой моей натуры. Я был твердо убежден, что никто не может считаться человеком презренным сам по себе, независимо от его поведения и его отношения к другим. Но чтобы освободиться от чувства собственной неполноценности, мне надо было убедить в этом также и Эмилию.

Я припомнил три толкования образа Одиссея, в которых я усмотрел три возможные формы существования. Образ, нарисованный Баттистой, образ, созданный Рейнгольдом, и, наконец, тот, который создал я, единственный, как мне казалось, истинный и, в сущности, принадлежащий самому Гомеру. Почему Баттиста, Рейнгольд и я столь по-разному представляли себе Одиссея? Именно потому, что так непохожи наша жизнь и наши человеческие идеалы. Образ, нарисованный Баттистой, поверхностный, вульгарный, риторичный, бессодержательный, отражал идеалы или, лучше сказать, интересы продюсера. Более реальный, но сниженный и мелкий образ Рейнгольда соответствовал нравственным и творческим возможностям этого режиссера. И, наконец, мой образ, несомненно более возвышенный и вместе с тем более естественный, более поэтичный и в то же время более истинный, был порожден моим пусть неосуществимым, но искренним стремлением к жизни, не загрязненной и не обездушенной деньгами, не опускающейся до животного уровня и чисто физиологического существования. Меня до некоторой степени утешило, что образ, который рисовался мне, был наилучшим. Я должен стать вровень с ним, даже если мне не удалось создать его в сценарии, даже если, что очень вероятно, мне не удастся воплотить его в реальной жизни. Толь-

ко так я сумею заставить Эмилию поверить мне и верну ее уважение и любовь. Но как это сделать? Я видел лишь одну возможность — любить Эмилию еще больше, доказывать ей постоянно, изо дня в день, чистоту и бескорыстность своей любви.

Однако я подумал, что мне не следует пока что принуждать к чему-либо Эмилию и насиловать ее волю. Останусь до завтра и уеду с дневным пароходом, не делая попыток повидаться и поговорить с ней. Потом из Рима я напишу ей большое письмо, в котором объясню все, чего не смог объяснить сегодня, во время нашего разговора.

В эту минуту до меня донеслись приглушенные голоса с дорожки, ведущей к террасе. Я сразу же узнал голоса Эмилии и Баттисты. Я поспешно вошел в дом и заперся у себя в комнате. Но спать мне не хотелось, и к тому же я изнемогал от того, что сижу здесь взаперти, в душной комнате, в то время как они, оживленно болтая, расхаживают по всей вилле. Я страдал бессонницей, особенно в последнее время, и привез из Рима сильное и быстродействующее снотворное. Приняв двойную дозу, я не раздеваясь бросился на кровать. Уснул я почти мгновенно: голоса Эмилии и Баттисты я слышал не более нескольких минут.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Проснулся я поздно, судя по солнечным лучам, пробивавшимся в комнату сквозь щели в ставнях, и некоторое время прислушивался к глубокой тишине, столь непохожей на городскую; в городе, даже когда становится совсем тихо, тишина как бы хранит следы отзвучавшего грохота. Лежа неподвижно на спине, я вслушивался в эту девственную тишину, и мне вдруг показалось, что в ней чего-то недостает, чего-то вроде тех спокойных размеренных звуков, которые издают электрический насос, накачивающий по утрам воду в цистерну, или половая щетка служанки, звуков, которые словно бы подчеркивают тишину и делают ее еще более глубокой. Было так тихо, что казалось, будто вокруг не осталось ни одного живого существа. Словом, стояла не тишина, полная жизни, а мертвая тишина. Тишина, как сказал я себе, найдя наконец нужное слово, полнейшего одиночества.

Едва в моем сознании мелькнуло это слово, как я тут же вскочил с кровати и бросился к двери, ведущей в комнату

Эмилии. Я отворил дверь, и первое, что мне бросилось в глаза, было письмо, положенное на подушку в изголовье широкой смятой и неприбранной постели.

Письмо было очень короткое: «Дорогой Риккардо, поняв, что ты не желаешь уехать, уезжаю я. Вероятно, сама я не решилась бы на это — пользуюсь отъездом Баттисты. И еще потому, что боюсь одиночества. Как бы там ни было, но общество Баттисты все-таки лучше, чем одиночество. В Риме, однако, я расстанусь с ним и буду жить одна. Если вдруг до тебя дойдут слухи, что я стала любовницей Баттисты, не удивляйся: я не железная, это будет значить, что у меня не было иного выхода в что мужество меня покинуло. Прощай. Эмилия».

Прочтя эти строке, я сел на кровать, не выпуская письма из рук, и уставился прямо перед собой. Через открытое окно я видел пинии и облупленную стену за их стволами. Потом я огляделся вокруг: в комнате, холодной и нежилой, царил беспорядок — ни одежды, ни туфель, ни предметов туалета, только пустые, выдвинутые ящики и раскрытые шкафы с висящими в них пустыми плечиками. В последнее время мне часто приходилось думать о том, что Эмилия может уйти от меня. Я думал об этом, как о каком-то страшном бедствии, и вот оно настигло меня. Я почувствовал глухую боль, которая, казалось, шла из самой глубины моей души. Если бы вырванное из земли дерево могло чувствовать боль, оно ее почувствовало бы корнями. Я стал таким вырванным деревом, корни мои обнажились, а милая земля, Эмилия, которая питала их своей любовью, была далеко; мои корни не смогут больше погружаться в ее любовь и черпать из нее жизненные соки, и мало-помалу они засохнут: я чувствовал, что они уже засыхают, и это причиняло мне невыносимые страдания.

Наконец я встал и вернулся в свою комнату. Я был ошеломлен и растерян и испытывал тупую боль; я чувствовал — скоро она станет нестерпимой — и со страхом ждал этой минуты, не зная, когда она наступит. Прислушиваясь к этой боли, я в то же время старался не думать о ней из боязни растравить рану. Машинально я взял плавки и по тропинке, огибающей остров, вышел на площадь. Здесь я купил газету и сел за столик какого-то кафе. Мне казалось, что в моем положении я не смогу ни о чем думать, но, к своему удивлению, я прочел всю газету от первой до последней строчки. Вот так же, подумал я вдруг, муха, у которой жестокий мальчишка оторвал голову, некоторое время, как бы ничего не замечая,

ходит, чистит лапки и только потом падает мертвой. Пробило двенадцать, гулкие удары часов на колокольне заполнили всю площадь. В эту минуту на пляж Пиккола Марина отходил автобус. Я сел в него.

Вскоре я был уже на месте. Ярко светило солнце. На автобусной остановке остро пахло мочой. Здесь стояли пролетки, запряженные лошадьми. Кучера, собравшись в кружок, не спеша болтали о чем-то. Легкой походкой я стал спускаться по ступенькам, ведущим к купальне. Глядя вниз, я видел небольшой пляж из белой гальки и лазурное море, раскинувшееся под летним небом море. Совершенно неподвижное, оно сверкало и переливалось, словно атлас. Я подумал: хорошо бы сейчас покататься на лодке; гребля отвлекла бы меня, и потом я был бы совершенно один; на пляже, уже усеянном купающимися, это было невозможно. Подойдя к купальне, я окликнул служителя и попросил его приготовить мне лодку. Потом вошел в кабинку, чтобы раздеться.

Я вышел из кабинки и босиком направился по настилу купальни, опустив вниз глаза, стараясь не занозить ноги о шершавые, изъеденные солью доски. Июньское солнце припекало, оно заливало меня своим светом, жгло спину. Это было очень приятное чувство, совсем не соответствовавшее тому состоянию подавленности и растерянности, которое я испытывал. Все так же глядя себе под ноги, я спустился по ступенькам небольшой лесенки и пошел вдоль берега, усеянного горячей галькой. Только подойдя к самой воде, я поднял глаза и увидел Эмилию.

Служитель купальни, худощавый, мускулистый, сильно загорелый старик в сдвинутой на глаза огромной соломенной шляпе, стоял у лодки, наполовину спущенной на воду. Эмилия сидела на корме в хорошо знакомом мне зеленом, немного выгоревшем купальном костюме, состоявшем из бюстгальтера и трусиков. Она сидела, крепко сжав колени, опираясь на отставленные назад руки, чуть изогнув стройный обнаженный стан в неустойчивой, исполненной женственной грации позе. Видя мое удивление, она улыбнулась и пристально посмотрела на меня, словно желая сказать: «Я тут... Но ничего никому не говори... Поступай так, как если бы ты заранее знал, что встретишь меня здесь».

Я подчинился ее безмолвной просьбе и, не произнося ни слова, ни жив ни мертв, с замирающим сердцем машинально оперся на протянутую мне руку служителя и очутился в лодке. Служитель вошел в воду по колено, вставил весла в уклю-

чины и оттолкнул лодку. Я сел на весла и принялся, опустив голову, грести под палящим солнцем, держа курс на мыс, который отгораживал маленькую бухту. Я греб сильно и размеренно, молча, не глядя на Эмилию, и минут через десять достиг мыса. Я чувствовал, что не в силах заговорить с Эмилией, пока еще виден пляж с его кабинками и купающимися. Мне хотелось, чтобы мы были совсем одни, только она и я, как бывало, на вилле, когда мне нужно было сказать ей что-нибудь важное.

Я все греб и греб, и меня охватило вдруг чувство глубокой грусти, к которой примешалась какая-то новая, неизъяснимая радость. Я обнаружил, что плачу. Я греб и чувствовал, что слезы щиплют мне глаза, каждая слезинка, стекающая по щеке, жгла мне лицо. Поравнявшись с мысом, я стал грести еще сильнее, чтобы справиться с течением — в этом месте вода бурлила и пенилась. Справа от меня торчал из воды большой камень, слева высилась отвесная скала. Я направил лодку между ними, налег на весла в том месте, где вода особенно бурно клокотала, и обогнул мыс. Камень был весь белый от соли, и всякий раз, когда на него набегали волны, на солнце сверкала зеленая борода водорослей. За мысом, по другую сторону отвесной скалы, открывался огромный амфитеатр больших камней. Между камнями виднелись маленькие, совершенно пустынные пляжи, сплошь усеянные белой галькой. Море тоже было пустынно — ни лодок, ни купающихся. Вода здесь казалась маслянистой, густо-синего цвета, что свидетельствовало о большой глубине. Вдалеке вырисовывались другие мысы, врезающиеся, подобно кулисам причудливого театра, в спокойное залитое солнцем море.

Я стал грести медленнее и взглянул на Эмилию. Пока мы не обогнули мыс, она все время молчала, но тут улыбнулась мне и спросила:

— Почему ты плачешь?

— Я плачу от радости, что вижу тебя.

— Ты рад меня видеть?

— Очень... Я был уверен, что ты уехала... Но ты не уехала.

— Я решила уехать... Сегодня утром я уже отправилась с Баттистой на пристань... Но в последний момент раздумала и осталась.

— А что ты делала до сих пор?

— Побродила по пристани... Посидела в кафе... Потом на фуникулере поднялась в Капри и позвонила на виллу... Мне сказали, что ты ушел... Тогда я подумала, что ты, наверно, от-

правился на пляж Пиккола Марина, и пошла туда... Разделась и стала ждать... Увидала тебя, когда ты просил дать тебе лодку... Я лежала на солнце, а ты прошел мимо, не заметив меня... Тогда, пока ты раздевался, я села в лодку.

Некоторое время я молчал. Мы были на полпути между мысом, который обогнули, и сильно выдававшейся в море скалой. Я знал, что за ней находится Зеленый грот, и мне вдруг захотелось искупаться. Потом я тихо спросил Эмилию:

— А почему ты не уехала с Баттистой? Почему ты осталась?

— Потому что сегодня, подумав, я поняла, что ошибалась в тебе... И все, что случилось, просто недоразумение.

— Что же заставило тебя так подумать?

— Не знаю... Может быть, интонация твоего голоса вчера вечером.

— И теперь ты действительно веришь, что я не сделал ничего постыдного, ничего, в чем ты меня обвиняла?

— Да, я уверена в этом.

Мне оставалось задать ей еще один, последний вопрос и, пожалуй, самый важный.

— Но ведь ты, — сказал я, — ты ведь не считаешь, что я подлец... по самой своей натуре... Скажи, ты так не считаешь, Эмилия?

— Я этого никогда не считала... Мне просто показалось, что ты повел себя неверно, и я перестала уважать тебя... Но теперь я знаю: все это было только недоразумением. Не будем больше говорить об этом, хорошо?

Я ничего не ответил, она тоже молчала. Я принялся грести с удвоенной силой и, как мне казалось, с еще большей радостью, которая, словно восходящее солнце, поднималась во мне и отогревала мою застывшую, окоченевшую душу. Тем временем мы доплыли до Зеленого грота, и я направил лодку к его входу. Он был уже виден и вздымался темной аркой над зеркальной поверхностью холодной зеленой воды.

— И ты меня любишь?

Эмилия заколебалась, потом ответила:

— Я всегда тебя любила... И буду всегда любить.

Меня поразила печаль, с какой она произнесла эти слова. Обеспокоенный, я снова спросил ее:

— Почему ты говоришь об этом так грустно?

— Не знаю... Может, потому, что было бы гораздо лучше, если бы никакое недоразумение не разлучало нас и если бы мы всегда любили друг друга, как прежде...

— Конечно, — ответил я. — Но теперь все уже позади... Мы не должны больше думать об этом... Теперь мы будем всегда любить друг друга.

Мне показалось, что она кивнула в знак согласия. Но глаз она не поднимала и была все время несколько опечалена. Я на мгновенье опустил весла и, наклонившись вперед, сказал:

— Сейчас мы поплывем в Красный грот... Это очень маленький и глубокий грот, он находится за Зеленым гротом. В глубине его есть крошечный пляж... Там, в темноте, мы будем любить друг друга... Эмилия, хочешь?

Она подняла голову и молча кивнула, взглянув на меня понимающе и даже несколько застенчиво. Я снова налег на весла.

И вот мы уже в гроте, под каменистым сводом, на котором весело играет густая подвижная сеть изумрудных отблесков от воды и солнца. Дальше, в глубине, там, где от размеренных ударов воли гулко гудят своды, вода совсем темная, и черные блестящие камни выступают из нее, как спины морских животных. А вот и проход меж двух скал, ведущий к Красному гроту.

Эмилия сидела неподвижно, глядя на меня, и следила за каждым моим движением в податливой, выжидающей позе, как женщина, которая только ждет знака, чтобы отдаться. Отталкиваясь то одним, то другим веслом от скал, я провел лодку под сталактитовым сводом, вывел ее на открытую воду и направил к темному входу в Красный грот. Я крикнул Эмилии: «Нагнись», — сделал взмах веслом, и лодка плавно проскользнула в грот.

Красный грот состоит из двух частей: первая, словно прихожая, отделена от второй большим уступом; за ним грот изгибается и тянется до пляжа, расположенного в самой его глубине. Эта вторая часть погружена почти в полный мрак, и глаза должны привыкнуть к темноте, чтобы можно было различить маленький пляж, освещенный странным красноватым светом, давшим название всему гроту.

— Это очень темный грот, — сказал я Эмилии. — Но скоро наши глаза привыкнут, и мы начнем видеть.

Лодка все еще по инерции скользила под низкими темными сводами. Я больше ничего не различал. Наконец нос лодки со скрипом зарылся в гравий. Тогда я бросил весла и, приподнявшись, протянул руку к тому месту, где находилась корма.

— Дай руку, — сказал я, — я помогу тебе встать.

Она не отвечала. Я повторил, ничего не понимая:

— Дай руку, Эмилия, — и снова наклонился к ней с протянутой рукой. Видя, что она не отвечает, я наклонился еще ниже и осторожно, чтобы не попасть ей рукой в лицо, стал ощупью искать ее на корме. Но там никого не было. В том месте, где, как мне казалось, должна была сидеть Эмилия, пальцы мои ощутили лишь гладкую доску сиденья. Неожиданно к моему удивлению примешался ужас.

— Эмилия! — закричал я. — Эмилия!

Мне ответило лишь слабое эхо. Во всяком случае, так мне показалось. Тем временем глаза мои привыкли к темноте, и в густом мраке я смог наконец различить врезавшуюся в берег лодку, пляж, усеянный мелким, темным гравием, и изогнувшиеся над моей головой блестящие влажные своды. Я увидел, что лодка пуста, на корме никого нет, пляж тоже пуст, и вокруг меня — ни души; я был совсем один.

Глядя на корму, я прошептал растерянно: «Эмилия». Потом повторил чуть громче: «Эмилия, где ты?» И в ту же минуту понял все. Я вышел из лодки и бросился на землю, уткнувшись лицом в хрустящий гравий. Вероятно, я потерял сознание и пролежал так долго, не двигаясь, и ничего не ощущая.

Потом я встал, машинально сел в лодку и вывел ее из грота. Меня ослепил яркий солнечный свет, отраженный морем. Я взглянул на свои часы: два часа дня. В гроте я пробыл чуть больше часа. Мне вспомнилось, что полдень — час призраков; и я понял, что та, с которой я говорил, была всего лишь видением.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Обратно я плыл бесконечно долго. Я то и дело переставал грести, сидел неподвижно, подняв весла, уставившись ничего не видящим взглядом на сверкающую поверхность лазурного моря. Совершенно ясно — я стал жертвой галлюцинации; точно так же, как два дня назад, когда увидел обнаженную Эмилию, тогда мне тоже показалось, что я наклонился и поцеловал ее, хотя на самом деле я к ней даже не подошел. На этот раз галлюцинация была гораздо более отчетливой и ясной; тем не менее это была всего лишь галлюцинация: об этом свидетельствовал хотя бы мой воображаемый разговор с призраком Эмилии. Я заставил Эмилию сказать все, что мне хотелось от нее услышать, и вела она себя именно так, как

мне бы хотелось. Тут все исходило от одного меня. Я не только представил себе все так, как мне хотелось, чтобы это произошло, но благодаря силе переполнявшего меня чувства вообразил, что все на самом деле так и произошло. Странно, но меня ничуть не удивила моя галлюцинация, столь редкостная, пожалуй, даже единственная в своем роде. Словно все еще во власти ее, я восстанавливал в своей памяти отдельные детали и почти сладострастно останавливался на тех, которые радовали меня больше других. Как прекрасна была сидящая на корме моей лодки Эмилия, больше не презирающая меня, а любящая, как нежно она со мной говорила, какое страстное смятение овладело мной, когда я сказал, что желаю ее, а она ответила мне «да», слегка кивнув головой. Подобно человеку, который, увидев сладостный и очень ясный сон, просыпается и долго смакует вызванные им образы и ощущения, я был еще весь во власти галлюцинации; мне было все равно, что это галлюцинация, ведь я испытывал сейчас те же чувства, с которыми обычно вспоминаешь о чем-то реально случившемся.

Я с наслаждением припоминал отдельные подробности своего видения, как вдруг мне пришло в голову еще раз сопоставить время, когда я отплыл на лодке от Пиккола Марина, и время, когда я выплыл из Красного грота. И снова меня поразило, как долго я пробыл на подземном пляже. Если считать, что я плыл от Пиккола Марина до грота сорок пять минут, то провел я там больше часа. Как я уже сказал, я приписал это своего рода обмороку, состоянию, очень близкому к потере сознания. Но теперь, поразмыслив над своей галлюцинацией, столь сложной и в то же время столь отвечающей моим самым сокровенным желаниям, я спросил себя: не приснилось ли мне все это? Другими словами, может быть, я сел в лодку у купальни совсем один, один заплыл в грот, улегся там на пляже и заснул. Там мне приснилось, что я отъехал от купальни с Эмилией, поговорил с ней, попросил ее быть моей и уплыл с нею в грот. А потом мне пригрезилось, что я протянул ей руку, чтобы помочь встать, и, не найдя Эмилии, я испугался, подумал, будто совершил прогулку с призраком — упал на берег и лишился чувств.

Такое предположение показалось мне теперь весьма вероятным. Но не более чем вероятным. В голове у меня все перепуталось, я не мог провести четкую границу между сном и явью. Этой границей, должно быть, стал тот момент, когда я улегся на подземном пляже в глубине грота. Я заснул, и мне приснилось, будто я вместе с Эмилией, с настоящей Эмилией из плоти

и крови? Или я заснул и мне приснилось, будто меня посетил призрак Эмилии? Или же я заснул и мне приснилось, что я сплю и вижу один из этих двух снов? Подобно китайским шкатулкам, в каждой из которых находится другая, поменьше, действительность заключала в себе сон, который в свою очередь заключал в себе действительность, а та — опять сон, и так до бесконечности.

Несколько раз я переставал грести и, подняв весла, спрашивал себя снова и снова: видел ли я сон или у меня была галлюцинация, или же, что труднее всего представить, меня в самом деле посетил призрак? В конце концов я пришел к выводу, что установить это я не в состоянии и что, по всей вероятности, так этого никогда и не узнаю,

Я снова налег на весла и доплыл до купальни. Быстро оделся, поднялся на автобусную остановку и успел вскочить в автобус, который как раз в эту минуту отъезжал на площадь Капри. Теперь я торопился обратно. Не знаю почему, но я был уверен, что найду на вилле ключ к разгадке всех тайн. Я торопился еще и потому, что до отхода парохода, который отчаливал в шесть, мне надо было успеть поесть и уложить чемоданы. Времени у меня оставалось в обрез. С площади я почти бежал по тропинке, огибающей остров. Через двадцать минут я был уже на вилле.

Войдя в пустую гостиную, я даже не успел испытать грустного чувства одиночества. На накрытом столе рядом с тарелкой лежала телеграмма. Обеспокоенный, ничего не понимая, я взял со стола желтый конверт и вскрыл его. Подпись Баттисты поразила меня и, не знаю почему, вселила надежду на благоприятные известия. Потом я прочел телеграмму. В нескольких словах меня извещали, что Эмилия попала в автомобильную катастрофу и что состояние ее «крайне тяжелое».

Дальше мне рассказывать уже почти не о чем. Излишне говорить, что в тот же день я покинул виллу. Приехав в Неаполь, я узнал, что Эмилия не ранена, а погибла в результате автомобильной катастрофы неподалеку от Террачины. Смерть ее была очень странной. Истомленная жарой и усталостью, она, по-видимому, уснула, свесив голову на грудь. Баттиста, как обычно, вел машину на большой скорости. Неожиданно с боковой дороги на шоссе выехала телега, запряженная волами, Баттиста резко затормозил. Выругав возницу, он снова тронулся в путь. Эмилия молчала, голова ее раскачивалась из стороны в сторону. Баттиста заговорил с ней, она не отвечала. На повороте от толчка она упала на него. Баттиста остановил ма-

шину и обнаружил, что Эмилия мертва. Когда Баттиста неожиданно затормозил, чтобы не наскочить на телегу, все тело Эмилии было расслаблено, как обычно во время сна; при внезапном толчке голова ее резко повернулась, и у нее переломился позвоночник. Смерть наступила мгновенно, она ее даже не почувствовала.

Стояла сильная жара. Жара притупляет скорбь, которая, как и радость, не терпит рядом с собой никаких других ощущений. В день похорон была страшная духота, небо сплошь затянуто тучами, во влажном воздухе ни малейшего дуновения ветерка. Вечером после похорон, войдя в нашу, теперь уже навсегда пустую и ненужную квартиру и закрыв за собой дверь, я наконец осознал, что Эмилия действительно умерла и что я ее никогда уже не увижу. Все окна были раскрыты настежь, спускались сумерки; переходя из комнаты в комнату по сверкающему паркету, я чувствовал, что задыхаюсь. Освещенные окна соседних домов приводили меня в бешенство. Их ровный свет напоминал мне о мире, где люди живут спокойно и любят друг друга без всяких недоразумений, о мире, откуда, как мне казалось, я был изгнан навеки. Чтобы вновь вернуться туда, в тот мир, я должен был бы объясниться с Эмилией, убедить ее сотворить еще раз чудо любви, состоящее в том, что не только сам зажигаешься любовью, но и зажигаешь ее в сердце другого человека. Однако теперь это было уже невозможно. Мне казалось, я схожу с ума при мысли, что смерть Эмилии была, видимо, последним, окончательным проявлением ее враждебности ко мне.

Но надо было как-то жить дальше. На следующий день я взял чемодан, который так и не распаковывал, запер входную дверь на ключ с таким чувством, словно запирал склеп, и, отдавая ключ швейцару, сказал, что намерен по возвращении с Капри избавиться от этой квартиры. Я опять уехал на Капри. Странно, но возвратиться туда меня заставляла какая-то смутная надежда, что я снова увижу Эмилию — либо там, где мне она явилась, либо в каком-нибудь другом месте. Тогда я еще раз объясню ей, почему все так произошло, скажу о своей любви и снова услышу от нее, что она понимает и любит меня. Надежда моя походила на безумие, и я сознавал это. Никогда я не был так близок к потере рассудка, как в те дни, когда я испытывал отвращение к действительности и тоску по галлюцинации.

К счастью, Эмилия мне больше не являлась ни во сне, ни наяву. Сопоставив тот час, когда я ее увидел в последний раз,

с часом ее смерти, я установил, что по времени события эти не совпадали. Эмилия была еще жива, когда мне показалось, что я вижу ее на корме лодки. Но, по всей вероятности, она уже умерла, когда я лежал без сознания в глубине Красного грота. Итак, ничто не совпадало — ни в жизни, ни в смерти. Я так никогда и не узнаю, был ли это призрак, галлюцинация, сон или какой-нибудь иной обман чувств. Недоразумение, отравившее наши отношения, продолжалось и после смерти Эмилии.

Движимый тоской по ней и тем местам, где я видел ее в последний раз, я забрел однажды на тот самый пляж у виллы, на котором я видел обнаженную Эмилию и вообразил, что поцеловал ее. На пляже никого не было. Пробравшись между камнями и глядя на ласковую лазурную ширь моря, я опять подумал о поэме Гомера, об Одиссее и Пенелопе и сказал себе, что Эмилия, так же как Одиссей и Пенелопа, находится теперь в беспредельных морских просторах, навеки застыв в той форме, в которую была облечена при жизни. Теперь только от меня одного, а не от сновидений или галлюцинаций зависит, смогу ли я вновь обрести ее и продолжить тот разговор, какой мы начали с ней на земле. Только так Эмилия сможет отделиться от меня и, освободившись от бремени моих чувств, склониться надо мной, как образ умиротворяющей красоты. И я решил написать эти воспоминания в надежде, что желание мое осуществится.

РАССКАЗЫ

ЗИМА БОЛЬНОГО

Обычно, когда шел дождь или снег и прекращались солнечные ванны, двое больных принуждены были проводить целые дни друг подле друга в тесной палате. Брамбилла убивал время, потешаясь над своим младшим соседом Джироламо и всячески его мучая. Джироламо был из семьи прежде богатой, а теперь обедневшей, и Брамбилле, коммивояжеру, сыну каменщика, за восемь месяцев вынужденного сожительства удалось понемногу убедить юношу, что не быть выходцем из народа, а тем более родиться в семье буржуа — чуть ли не позор.

— Я-то, во всяком случае, не барчук, — говорил он бывало, приподнимаясь в постели и с хорошо разыгранным презреньем глядя голубыми лживыми глазами на уязвленного юношу. — Меня в вате не держали... В пятнадцать лет — уже на стройке, вечно без гроша в кармане, да и отец у меня никогда бездельником не был... Ничего за душой не имел... Ну и что? На плечах лохмотья, а котелок варит... В Милан приехал простым каменщиком, а сейчас у него строительная фирма, и дела идут... Он — папаша мой — всего сам достиг... Ну, что вы на это ответите? Только делом, слова тут не нужны.

Джироламо, высунувшись по пояс из-под одеяла и опершись на локоть, пристальным страдальческим взглядом смотрел на старшего соседа; выдумать ему ничего не удавалось, и он испытывал глубочайшее унижение.

— Да разве мой отец виноват, что родился богатым? — спрашивал он дрожащим голосом, в котором ясно слышалось давнее ожесточение.

— Еще как виноват! — отвечал Брамбилла, пряча усмешку (жестокое развлечение нравилось ему). — Еще как виноват! Я тоже родился в семье по крайней мере зажиточной, а сидеть на отцовской шее не мог и подумать. Я сам работаю!

Убедившись в собственной неправоте, Джироламо не находил, что ответить, и умолкал. Но Брамбилле этого было мало: покончив с отцом Джироламо, он принимался насмехаться над его сестрой. В самые первые дни юноша имел неосторожность показать соседу фотографию сестры, стройной девушки, едва перешагнувшей за двадцать. Он гордился сестрой, уже взрослой и такой элегантной, и, когда показывал карточку Брамбилле, надеялся хоть этим подняться в его глазах. Но этот наивный расчет, как сразу же стало ясно, оказался ошибочным.

— Так что же? — время от времени спрашивал коммивояжер. — Как поживает ваша сестрица? С кем она сейчас спит?

— Да нет... Я не думаю, чтобы сестра с кем-нибудь спала... — возражал Джироламо, слишком обескураженный, чтобы протестовать решительно.

Сосед хохотал в ответ:

— Вот так история! Рассказывайте-ка другому, а не мне! Такие девицы, как ваша сестра, всегда заводят любовников...

В душе Джироламо закипало негодование. Ему хотелось крикнуть: «У моей сестры любовников нет!» Но уверенность взрослого была так безусловна, так порабощала юношу атмосфера унижения, в которой ему пришлось жить эти восемь месяцев, что сам он начинал сомневаться в собственной памяти

и спрашивал себя: «А вдруг у нее на самом деле есть любовник?»

— Такие девицы, как ваша сестра, всегда заводят любовников, — продолжал Брамбилла. — Глазки опущены, держатся чинно, строят из себя святых, а стоит папеньке и маменьке отвернуться, сразу бегут к любовнику. Подите вы! Я уверен, что ваша сестра из тех, которых не приходится долго упрашивать. С такими глазами, с таким ртом! Да наверняка она таскается по холостым квартиркам, ваша сестрица!

— Как можно так говорить о незнакомом человеке! — протестовал Джироламо.

— Как можно? — отвечал Брамбилла. — Да ведь это правда! Я лично на такой девице, как ваша сестра, ни за какие деньги не женился бы... На таких девицах, как ваша сестра, не женятся.

Это ни на чем не основанное презрение коммивояжера так унижало Джироламо, что он уже не думал о нелепости всех этих утверждений и в своем малодушии, отчасти даже сознательном, доходил до того, что говорил:

— Но зато сестра принесла бы вам в приданое свою красоту, свой ум...

— А на кой они мне? — обрывал его Брамбилла. — Нет уж... Хоть за курицу, да со своей улицы.

Джироламо до того погрузился в удушливую атмосферу санатория, что переносил все эти унижения, почти не досадуя. С жестокостью у Брамбиллы сочеталось тиранство, веселое и самодовольное, которому юноша подчинялся, впрочем, подчинялся по доброй воле, что и было следствием тех психологических сдвигов, которые произвели в нем болезнь и заброшенность. Угнетаемый другими, Джироламо готов был признать себя неправым и сам добровольно примыкал к своим угнетателям. Бывало так, что он навлекал на себя насмешки соседа заведомо глупыми и нелепыми высказываниями; нередко он сам заговаривал о своей семье ради мучительного удовольствия еще раз услышать издевательства коммивояжера; или же он разыгрывал напоказ прихоти богатого баловня, придумывал вовсе ему не свойственные пустые капризы — в уверенности, что ирония Брамбиллы отзовется послушным эхом. Со своей стороны, коммивояжер никогда не умел отгадывать эти печальные хитрости и неукоснительно попадался на крючок. В таком благоприятном климате набор пыток быстро обогащался. Один из любимых приемов Брамбиллы состоял в том, чтобы подстрекать низший персонал — братьев милосердия, служите-

лей — обращаться с юношей фамильярно либо презрительно. Например, когда в палату заходил австрияк Йозеф, брат милосердия с дипломом, Брамбилла, бывший с ним в наилучших отношениях, говорил:

— Так вот, представьте себе, Йозеф, синьор Джироламо во что бы то ни стало хочет, чтобы я женился на его сестре. Что вы на это скажете?

— Смотря как на это поглядеть, синьор Брамбилла, — отвечал тупица-австрияк, смеясь с видом сообщника.

— Как по-вашему, что за этим скрывается? — продолжал коммивояжер. — Синьорина, наверно, изрядно нагрешила, забеременела, а меня хотят заставить расхлебывать... Ведь эти буржуи — страшное дело... Как вы думаете, Йозеф?

— Ну, наверняка у синьора Джироламо есть свои соображения, — насмешливо отвечал Йозеф, который, не науськивай его Брамбилла, никогда не решился бы потешаться над больным. — Зря ничего не делается.

— Да я и не говорил так! — протестовал Джироламо.

— Подите вы... Целый божий день только и твердит мне о своей сестре, нахваливает ее красоту... Ну скажите, Йозеф, что бы вы подумали на моем месте?

— Хм, синьор Брамбилла... конечно, я подумал бы... кое-что...

— Нет, вы еще не видали, на ком меня хотят женить, — говорил после этого Брамбилла и оборачивался к Джироламо. — Покажите-ка Йозефу карточку вашей сестрицы... ну, вытаскивайте, вытаскивайте!

Джироламо колебался, отнекивался:

— Я не знаю, где она...

Но Брамбилла говорил на это:

— Ладно, не валяйте дурака... Если Йозеф в отличие от вас не буржуа, вы считаете себя вправе его презирать... Да вы знаете, что Йозеф стоит в тыщу раз больше вас?

— Я и не думаю презирать Йозефа, — защищался Джироламо и скрепя сердце протягивал фотографию брату милосердия. Тот брал ее красными, мозолистыми руками.

— Ну, как по-вашему, Йозеф, заслуживает она такого мужа, как я? — спрашивал Брамбилла. — Вам не кажется, что она из тех девиц, с которыми... как бы это сказать?.. На которых не женятся?

Было ясно, что брат милосердия, несмотря на все науськивания, не решается обращаться с юношей так оскорбительно, как хотелось бы коммивояжеру. Взглянув сперва на Джирола-

мо, потом на Брамбиллу, он наконец преодолевал естественную для него почтительность и произносил:

— Красивая барышня, синьор Брамбилла... Но может быть, вы правы... Может быть, жениться на ней не обязательно...

Это панибратство было противно юноше, и все же в его просьбах вернуть карточку было какое-то жеманство, преувеличенное искательство:

— Ведь вы уже посмотрели, будьте добры, синьор Йозеф, верните мне, пожалуйста, карточку...

Он знал, что тем самым отдает и самого себя, и сестру в грубые руки австрияка, но ему казалось, что этой наигранной мольбою, добровольным еще более жестоким унижением, он мстит этим двоим за те унижения, которым они его подвергали. Ни коммивояжер, ни брат милосердия не замечали, сколько лжи и ломания было в его пылких просьбах, и видели в них скорее слабость изнеженного, избалованного юноши.

— Вернуть или нет, синьор Брамбилла? — спрашивал, осклабясь, Йозеф.

— Верните, верните! — умолял Джироламо.

— Отдайте ему, ладно, — вмешивался коммивояжер. — Нам-то с ней нечего делать, с вашей сестрицей. У нас получше есть. Скажите ему, Йозеф, что у нас есть и получше...

Для Брамбиллы это был просто способ убить время, между тем как Джироламо от таких шуточек день ото дня все глубже погружался в атмосферу унижения и страдания. Но с другой стороны, он так втянулся в свою новую роль, так самозабвенно сжился с этой действительностью, что на вопрос, страдает ли он, Джироламо, возможно, ответил бы «нет». Чтобы осознать, в какое жалкое положение он попал, у него не было критериев для сравнения, ясного представления о том, какой должна быть его жизнь — жизнь юноши среди сверстников и родных; постепенно и почти незаметно для себя он привык к этой удушливой атмосфере, к непрестанному унижению, к отсутствию того внимания, которое раньше, в семье, оказывали ему столь щедро, и полагал эту жизнь нормальной, а себя самого — прежним Джироламо, каким он был восемь месяцев назад. Но противоестественность такого состояния духа находила выход во внезапных приступах раздражения или в слезах. Плакал он чаще всего ночью, когда Брамбилла спал; натянув на голову одеяло, с глазами полными слез, юноша не раз болезненно тосковал по материнским ласкам, теперь таким далеким, или в порыве раскаяния, сама острота которого свидетельствовала о том, что провинности нет и каяться не в чем, шепо-

том просил прощенья у сестры за все совершенные днем в угоду другим подлости. Потом, в изнеможении, он медленно углублялся в то подобие подземной галереи, каким был его сон — сон больного. Но и сон не приносил покоя, забытье его было населено видениями, иногда ему чудилось, будто он плачет и на коленях умоляет Брамбиллу простить его бог знает за какой проступок; но Брамбилла остается непреклонным и тащит его, исступленно сопротивляющегося, на неведомую казнь, и все его обещания быть покорным, соглашаться на любую низость, повиноваться остаются напрасными; и когда глухой звук сметал и их обоих, и самый сон, Джироламо просыпался среди ночи, дрожа всем телом, с мокрым от пота лбом. Потом он понимал, что разбудило его тяжелое падение свежего снега, сорвавшегося с крыши санатория на террасу, и быстро засыпал снова.

В начале января снег шел несколько дней подряд. Запертые в палате больные могли видеть, как густо валит снег за окном, падая почти вертикально и так медленно, что, если глядеть пристально, возникал обман зрения и казалось, будто снежинки не падают, а однообразными смерчами взлетают от земли к небу. А серые унылые призраки за плотной завесой снегопада — то были ели на ближней опушке; и по царившей снаружи тишине можно было судить, как плотно валит снег и как широко он засыпал все вокруг. Но если для обитателей больших гостиниц, стоявших ниже по склону, снег был радостью, живописным зрелищем, обещанием ровных и белоснежных лыжных полей, то для больных он был чем-то вроде бурного моря для рыбаков: докучным, неприятным перерывом, оттяжкой выздоровления. В палате, тесной даже для двух кроватей, где свет зажигали с утра, а затхлый воздух, накопившийся за ночь, никогда не выветривался до конца, часы тянулись бесконечно.

Брамбилла, наскучив потешаться над Джироламо, принимался обычно повествовать о своих любовных похождениях. Хотя по внешности своей он — белобрысый, с голубыми лживыми глазами, румяным лицом — являл собой классический тип коммивояжера, сам Брамбилла, сверх меры поддаваясь самообману, считал себя искуснейшим обольстителем. Для Джироламо, в его семнадцать с небольшим лет, совершенно несведущего в таких делах, это был мир новый и неведомый: юноша ни в чем не сомневался, слушал развесив уши, и, если бы коммивояжер поведал, что был любовником какой-нибудь титулованной особы, Джироламо без всяких сомнений поверил бы ему.

Впрочем, по всей вероятности, рассказы Брамбиллы, хотя бы в основе своей, были невыдуманными: почти всегда речь в них шла о горничных, которых он хватал за бока, когда они стелили постель, или о белошвейках, которых он вел сперва поужинать, потом в кино и, наконец, в номера, или просто-напросто о проститутках, встреченных на улице и покинутых через два-три часа. Что наверняка было ложью, так это описание красоты всех этих женщин, страсти, которую умел разжечь в них Брамбилла, пренебрежения, с каким он обращался с ними. Но, как уже было сказано, Джироламо ему верил, с каждым днем все сильнее восхищался коммивояжером и втайне завидовал его успеху; отныне Брамбилла был для него идеалом, он испытывал потребность во что бы то ни стало, ценой каких угодно усилий стать похожим на Брамбиллу.

Иногда во время этих рассказов заходил Йозеф, прямо из операционной, с засученными рукавами на мускулистых руках, с перепачканными гипсом пальцами, с торчащими из кармана халата ножницами для разрезания ортопедических повязок. Он облокачивался на спинку кровати и застревал возле Брамбиллы на десять — пятнадцать минут, внимательно слушая, иногда усмехаясь, иногда вставляя слово. Однажды, едва Брамбилла окончил рассказ, австрияк обернулся к юноше и сказал:

— А когда вы, синьор Джироламо, расскажете нам о своих похождениях?

Легче всего юноше было бы ответить правду, что никаких похождений у него не было, но ему было стыдно признаться в таком своем изъяне, страшно дать язвительному соседу повод для новых насмешек, и этот стыд и страх удержали его от казавшегося позорным признания и заставили напустить на себя таинственность, чтобы можно было вообразить, будто он умалчивает о невесть каких распутных шалостях.

— О моих похождениях? — ответил он, краснея и жеманясь. — О моих похождениях рассказывать не стоит...

Брамбилла пристально смотрел на него, приподнявшись на локте.

— Не валяйте дурака! — взорвался он наконец. — Какое еще похождения? Если что и было, так с кормилицей, когда вы еще в пеленках лежали... новорожденным... Нет уж, извините... С такой-то физиономией, как у вас, с такой физиономией!

— Что же, — неуверенно возражал Джироламо, — по-вашему, только у вас и могут быть связи с женщинами?

— Да я этого и не говорю, — ответил сосед. — Вот Йозеф, например. Уверен, что женщин у него было больше, чем у меня.

Ведь правда, Йозеф? Расскажите-ка ему сами, чего требуется некоторым пациенткам. — Брамбилла подмигивал брату милосердия и тот смеялся то ли от смущения, то ли по своей неотесанности. — Но только не у вас! Йозеф — он человек дельный, а вы что? И вы, с вашей физиономией, беретесь утверждать, что у вас были связи с женщинами? Курам на смех! Скажите-ка вы, Йозеф, какие там связи могли быть у синьора Джироламо!

Брат милосердия, который, несмотря на подначку Брамбиллы, покуда не переступал границ осторожной иронии, на этот раз не устоял перед искушением:

— Вы забыли, синьор Брамбилла, что синьор Джироламо покорил сердце синьорины Полли.

Синьорина Полли — это был для Брамбиллы излюбленный повод к насмешкам. Полли, так звали маленькую англичанку лет четырнадцати, с больным позвоночником; она лежала в отделении первого разряда, где у каждого была отдельная палата. Джироламо познакомился с нею благодаря ее матери, которая, желая чем-нибудь занять дочку, сочла его и по возрасту, и по происхождению самым подходящим товарищем для маленькой больной. Возможностей развлечься в санатории было так мало, что Джироламо в конце концов, несмотря на разницу в возрасте, стал находить вкус в этих посещениях и с нетерпением ждал назначенных для встречи дней. Выбраться не без труда из палаты, преодолеть, пусть и в кровати, всю длину темных коридоров, спуститься в нижний этаж на приятно-неторопливом, нерешительном лифте, торжественно въехать в чужую палату, много просторнее его собственной, где все вещи: цветы в вазах, фотокарточки, книги, обои, даже свет — благодаря своей новизне и непривычности казались ему незаслуженно праздничными, — все это было для Джироламо, хотя он себе в том и не признавался, таким же острым наслаждением, как для заключенного первые шаги за пределы его камеры. Однако с того момента, как появился Брамбилла, все изменилось. Довольно было немногих насмешек, немногих фраз вроде такой: «Сегодня синьор Джироламо отправляется вниз, в детский сад», — чтобы положить конец этому невинному удовольствию. Джироламо стал стыдиться этой дружбы; игры с Полли, полудетская болтовня с ней уже не доставляли ему удовольствия, и если он не прекратил своих посещений, то лишь из уважения к матери девочки.

Поэтому реплика австрияка не могла его не задеть; однако, испытывая новую систему самозащиты, он в ответ только томно

покраснел и почти по-женски смутился; все это прибавляло к унижению, которому подверг его Йозеф, еще большее унижение, а потому служило противоядием и к тому же, казалось, позволяло догадаться, что уж это-то сердце он сумел завоевать.

Но Брамбилла, повернувшись на правый бок, все смотрел на него, скроив такую страшную рожу, какой свет не видывал; казалось, он не убежден словами Йозефа.

— Да нет, и ее не покорил, — произнес он наконец, — даже эту полусиньорину или как ее там... Подождите, приедет из Англии какой-нибудь англичанин, и вы увидите, как она сразу же распрощается с нашим Джироламо, как сразу же постарается от него отделаться... Я же вам говорю, он ни на что не годен.

Тут дверь отворилась и вошла сестра милосердия с ужином на подносе; Йозеф вспомнил, что ему нужно еще спуститься в рентгеновский кабинет, и ушел. В этот вечер разговора о маленькой англичанке больше не было.

Если бы Джироламо в то время спросили, что он думает о Брамбилле, то в конце концов он признал бы, что коммивояжер вовсе не тот человек, которого следует брать себе за образец; если бы ему задали вопрос не о его чувствах, а только о том, кого он больше уважает — своего отца или Брамбиллу, — в ответе не пришлось бы сомневаться; и все-таки, как бывает всегда, когда чувства отвергают доводы рассудка, юноша испытывал к своему соседу по палате, которого ничуть не уважал, такую сильную тягу, какой никогда никто не мог в нем вызвать. Случалось, что друзья семьи Джироламо, люди весьма изысканного круга, приезжавшие сюда на зимний спортивный сезон, поднимались в санаторий, умиленные ощущением собственной доброты, возможностью сделать доброе дело, вполне уверенные, что будут встречены с восторгом, — и вместо этого находили нетерпеливый, холодный прием, видели нервного и уклончивого Джироламо, которому больше всего хотелось поскорее дождаться их ухода, вернуться в тесную палату к своему коммивояжеру, к сладостному своей привычной мучительностью безжалостному разговору... А иногда приезжала мать Джироламо, маленькая женщина с лицом, увядшим от косметики и огорчений, с быстрыми суетливыми жестами, такая низкорослая, что казалось невероятным, чтобы Джироламо мог быть ее сыном (она и сама постоянно и не без кокетства удивлялась этому). Мать приезжала на Рождество, закутанная в шубу, нагруженная подарками, она едва удерживала слезы при виде сына, распростертого на кровати, старалась улыбаться, казаться веселой. И Джи-

роламо, который всего несколько месяцев назад без конца целовал ее щеки, волосы, шею, теперь стеснялся обнять расчувствовавшуюся женщину, держался скованно, был молчалив и чуть ли не холоден и, машинально отстраняя мать руками, то и дело косил глаза в сторону коммивояжера из страха показаться ему смешным и в то же время тревожась, что тот подумает о матери. Свидание, натянутое, холодное и унылое, длилось два-три дня, потом мать уезжала, к великому облегчению Джироламо, который возвращался к соседу; но тот вопреки всем ожиданиям и не думал высмеивать сыновнюю привязанность юноши и даже, наоборот, упрекал его в бессердечности, черствости, в плохом обращении с матерью.

— Вот они, эти детки из буржуазных семейств! — заключал он с презрением. — Родителей и то не любят.

В ту же ночь чувства вырвались наружу с тем большей силой, чем дольше и упорнее их подавляли: Джироламо вдруг охватила такая тоска по уехавшей матери, что его рыдания и приглушенные вскрики разбудили Брамбиллу.

— Даже ночью нет от вас покоя! — крикнул он из темноты.

Испуганный Джироламо съежился под одеялом, стараясь сдержать дыхание, страх прогнал тоску, и наконец он заснул, полный горечи и смятенья.

Юношу тянуло к Брамбилле, и эта тяга рождала в нем горячее желание заслужить уважение коммивояжера, войти, так же как Йозеф, в число его друзей. Казалось, причиной выказываемого Брамбиллой презрения была выдуманная им никчемность или наивность юноши; стоит доказать соседу, что он, Джироламо, вовсе не никчемный, не наивный, что он способен на те же проделки, какими постоянно хвастался коммивояжер, словом, что он такой же мужчина, как Йозеф, — и тогда уважение будет завоевано, дружба приобретена, простодушно полагал Джироламо. Что ни о какой дружбе или уважении тут не может быть и речи, что все это только жестокий способ убить время, юноша даже не догадывался и, в отличие от Брамбиллы или от австрияка, участвовал в этой горестной комедии всей душой. В уверенности, что его задача — делом опровергнуть язвительные насмешки соседа, Джироламо долго искал удобного случая; упоминание о Полли и слова: «Я же вам говорю, он ни на что не годен», подсказали ему наконец давно искомую идею: чтобы завоевать уважение и дружбу Брамбиллы, он соблазнит маленькую англичанку.

Была середина зимы, казалось, все складывается так, чтобы способствовать выполнению его замысла, И прежде всего

погода: шел то дождь, то снег, небо было все время затянуто пеленой серых низких туч, о солнечных ваннах нечего было и думать, больным приходилось сидеть взаперти по палатам; кроме того, мать Полли, вызванная по делам в Англию, уже несколько дней как уехала — предварительно добившись, однако, у главного врача разрешения, чтобы и в ее отсутствие Джироламо по-прежнему навещал девочку. Таким образом, Джироламо мог осуществить свое намерение в полной уверенности, что никто его не накроет и не помешает ему.

Это решение, хотя, с одной стороны, утишало его желанье показать себя Брамбилле в выгодном свете, с другой — все же держало его в небывалом волнении. Он никогда не прикасался к женщине, даже подумал об этом впервые и, хотя в принципе знал, как положено себя вести, но по чрезвычайной своей робости опасался, осмелится ли не то что соблазнить, а просто взглянуть на свою маленькую приятельницу из палаты первого разряда иначе, как спокойно и безразлично.

К этим вполне естественным сомнениям присоединялась тревога неспокойной совести. И от матери, и от дочери он ничего, кроме хорошего, не видел, на праздники получал от них подарки, и даже его семейство несколько раз обменялось с английской дамой письмами, полными взаимных изъявлений благодарности. Джироламо понимал, что при таких обстоятельствах совращение — поступок и без того достаточно неприглядный — становится вдвойне неприглядней; у него даже мелькала мысль, что если все обнаружится, то и он сам, и вся его семья окажется в весьма неловком положении. Но эти нравственные колебания он одолел легче, чем сомнения физического порядка.

Джироламо давно уже досадовал на этих двух иностранок, мать и дочь, и вот почему: во-первых, он был обижен тем, что его сочли ровней четырнадцатилетней девочке; во-вторых, ему был неприятен дух семейной близости, переписка между англичанкой и его родителями; наконец, его глубоко задевали знаки жалостливого, почти материнского внимания, которые мать Полли выказывала ему здесь, где все над ним потешались. «Она считает меня бедным больным ребенком, — так примерно он думал, — мальчиком-паинькой, которого нужно ублажать, дарить шоколадки, книжки, а потом говорить себе: какая я добрая!.. Так вот, я покажу ей, что никто мне не нужен, что я не такой хороший, как она, нет, я плохой, очень плохой, и нечего ей возиться со мною». И еще он всегда подозревал, что все эти любезности — только приманка, чтобы он охотнее навещал де-

вочку. «Брамбилла прав, — размышлял он, — появись тут англичанин, она бы наверняка со мною не возилась...»

От таких мыслей он казался самому себе страшным негодяем, воображал, будто пал так низко, что дальше некуда, и уже безвозвратно. И яростное желание новых, еще горших унижений немало способствовало тому, что он окончательно решился выполнить свой план совращения.

В тот день, когда Джироламо по заведенному обычаю полагалось спуститься на нижний этаж, свет зари попытался пробиться сквозь низкие набухшие облака, и от этого снежный ландшафт в своей мертвенной неподвижности исполнился какого-то ожидания... Ночная тьма задержалась в коридорах и палатах санатория; после завтрака при желтом свете лампы Брамбилла и Джироламо, чтобы скоротать время, начали партию в шахматы.

Доска лежала на стуле между кроватями; больные, высунувшись из-под одеяла, расставили тяжелые фигуры королей и ферзей, коней, ладей а слонов, которых руки бесчисленных больных отполировали до блеска, словно зерна четок, без перерыва перебираемых старой богомолкой. Обычно Джироламо играл лучше Брамбиллы, но в тот день его мысли носились далеко, ему было не по себе от гнетущего беспокойства. Он испытал чуть ли не наслаждение, дважды подряд проиграв хихикавшему, торжествующему Брамбилле; но метко направленные насмешки пробудили в нем дух соперничества, и третью партию он играл, стиснув зубы, старался находить неотразимые комбинации, анализировать каждый ход противника, одним словом, выиграть во что бы то ни стало. Но вдруг он обнаружил, что проигрывает снова, и в ярости толкнул доску. Этот поступок — следствие нервозности — вызвал гневную отповедь Брамбиллы. Испуганный собственным поведением, юноша, не отрывая глаз от лица соседа, судорожно отмахивался и робко пытался расставить рассыпавшиеся фигуры в прежнем порядке. Брамбилла, который сам не верил, что ему представился такой удобный повод для новых насмешек, удвоил рвение... Но в этот миг раздался стук, и вошел Йозеф.

— Приказано отвезти синьора Джироламо к синьорине Полли, — отрапортовал он почти по-военному и подмигнул Брамбилле, после чего покатил кровать юноши.

«Ну вот, начинается», — подумал Джироламо. Беспокойство, приглушенное азартом игры, вернулось вновь. Не обращая внимания на Брамбиллу, который кричал: «Отправляйтесь, отправляйтесь к вашей англичанке») — он откинулся на

подушки и на мгновенье закрыл глаза; поднял он веки уже за дверьми палаты, в коридоре.

По всей длине темного коридора там и сям горели лампы, дюжие женщины в белых халатах толкали и направляли белевшие в полутьме кровати, на которых вытянулись неподвижные бледные больные, накрытые одеялами, лежавшими так плоско, будто под ними ничего не было; резиновые колесики катились по джутовым дорожкам с глухим, наводящим уныние шуршанием; потом был лифт и нескончаемый жужжащий спуск, и Йозеф, в тесной кабине сидевший в ногах кровати, словно ангел-хранитель новейшего образца... Все это было привычно Джироламо, но сегодня его чувства были так обострены и напряжены, что каждое впечатление было для него несказанно мучительным, все казалось новым и чудовищно нелепым.

Но едва он очутился в палате девочки и австрияк ушел, установив его кровать рядом с кроватью Полли, волнение разом покинуло Джироламо, и он почувствовал себя даже слишком спокойным. Палата, довольно просторная, была погружена в приятный теплый сумрак, лампа на стене, над сближенными изголовьями, освещала лица. Кровати — белая Джироламо и покрытая клетчатым пестрым одеялом, под которым лежала девочка, — стояли вплотную, и эта близость, открывавшая столько неожиданных возможностей для осуществления замысла, немало волновала Джироламо. Он высунулся из-под одеяла, даже опирался локтем на чужую кровать, и расспрашивал на своем неуклюжем французском, что Полли делала в эти дни, и изучал девочку с таким любопытством, словно видел ее впервые.

Полли выглядела ничуть не старше своих четырнадцати лет. У нее были белокурые волосы, аккуратно подстриженные и окаймлявшие щеки, голубые глаза, лицо бело-розовое, пышущее здоровьем; при всей его заурядности девочка была бы очень миловидна, если бы не легкое ожирение, явное следствие долгого лежанья, придававшее ей вид ленивый, сонный и угрюмый. Словом, в ней не чувствовалось раннего развития, даже физического, не осознанного ею самой; наоборот, болезнь, по-видимому, задержала его, отбросила ее назад, в запоздалое детство, не в пример тому, что было с Джироламо.

Юноша смотрел на нее, не зная, с чего начать, и старался вообразить себе, как на его месте действовал бы Брамбилла. Коммивояжер приучил его видеть во всякой чувствительности одну глупость, и ему казалось наивным и бесполезным начать словами «я тебя люблю», тем более что прежде он их никогда

не произносил. Не то чтобы он считал, что нужно быть циничным, нет, он искренне полагал, будто наедине с женщиной годится только одно: ряд действий, все более дерзких и постепенно, но наверняка ведущих к окончательному совращению. Поэтому в конце концов он принял решение и с непринужденным видом спросил приятельницу, целовалась ли она с кем-нибудь или целовал ли кто-нибудь ее.

Девочка отрицательно покачала головой. Она лежала на спине, голова ее ушла в подушки, и из них на мальчика смотрели ее глаза — то ли удивленные, то ли любопытствующие; одеяло прикрывало до половины ее жирную грудь; либо от чрезмерной жары в палате, либо от безотчетного стыда ее щеки запылали ярким румянцем. Руку, голую до локтя, она закинула за голову и машинально теребила пальцами куколку, висевшую на спинке кровати.

— Ведь это очень приятно,— настаивал Джироламо, понемногу начиная нервничать. Не зная, с чего начать, полный самых дерзких намерений, он счел свою фразу чрезвычайно пошлой. — Хочешь, попробуем? — продолжил он, сделав над собою усилие.

Девочка явно не поняла даже, о чем он говорит, и слегка улыбнулась с вопросительным видом. Тогда Джироламо, вытянувшись через край кровати, поцеловал ее в щеку.

Голубые глаза уставились на него с испугом. «Она боится, — подумал Джироламо, — видно, думает, что я сошел с ума». Хотя он был весьма разочарован этим первым в жизни любовным поцелуем, что-то разжигало его упрямство, не позволяло отказаться от затеи, которая, казалось ему, почти что провалилась. И он продолжал торопливо целовать девочку в губы, в шею, и лоб и даже в какой-то миг схватил заложенную за голову руку Полли и закинул себе за шею, давая понять, что она должна как-то ответить на его ласки. Но рука так и осталась неподвижной и вялой; Джироламо уже потерял весь запал и подумывал окончательно отказаться от своих попыток соблазнения, когда в дверь дважды стукнули.

Джироламо, раскрасневшийся не так от возбуждения, как от усилий, испытывая скорее скуку, чем страх, подался назад. Но вид у него был куда более встрепанный, чем он мог себе представить, потому что вдруг, вопреки всем ожиданиям, он увидел, как девочка села в постели и дружелюбным и в то же время повелительным жестом пригладила ему разметавшиеся волосы, потом оправила откинутое одеяло. Сделав это, она снова улеглась, довольная собой, и с почти что лицемерной без-

мятежностью крикнула неизвестному посетителю, чтобы он вошел.

Принесли почту. Но жест девочки, такой непосредственный и женственный, как бы выдававший в ней сообщницу, вдруг вызвал у Джироламо необычайное волнение, какого он никогда еще не испытывал. Маленькая приятельница перестала казаться ему совсем уж инфантильной. «Она понимает в этом деле больше меня», — размышлял он, глядя, как девочка с полнейшим спокойствием берет из рук почтальона письма. Не успела дверь закрыться, как он уже метнулся из-под одеяла и прижался губами к неподвижным губам девочки.

Поведение Полли было прежним: она не шелохнулась, не сказала ни слова и до последней минуты сохраняла лицемерную неподвижность. Отчасти из-за этой неподвижности, отчасти из-за того, что он ожидал большего, соблазнение показалось Джироламо довольно-таки пресным. Но юноша утешался одной мыслью: и он теперь испытал то, что всякому необходимо испытать, отныне ему нет причины стыдиться перед Брамбиллой. Однако временами сознание его обретало ясность, и тогда не столько моральная сторона, сколько ощущение собственной неуклюжести, неловкости своих поз (например, в какую-то минуту он спиною почувствовал холод и заметил, что, стараясь подтянуться к Полли, почти вылез из кровати) заставляло его сомневаться, так ли уж выгодно происшедшее для его самолюбия, и он чувствовал себя павшим так низко, что отныне самым сладостным было бы совсем опуститься на дно. «То, что я делаю, и гнусно, и нелепо, — так примерно он думал, — но ведь я все равно погиб, так зачем же удерживаться?»

В палате было сумрачно и тихо, только кровати-близнецы выделялись белесым пятном да на темных стенах можно было различить некоторые предметы — цветы, фотокарточки, платья, — и они производили на Джироламо впечатление роскоши, увеличивали чувство близости... Время от времени он откидывался назад, на кровать, оглядывался кругом, с удовольствием прислушивался к доносившимся снаружи звукам, например звону колокольчиков на санях, непонятно, то ли приближавшихся, то ли удалявшихся; и тогда ему хотелось, чтобы сделанное не было сделано, чтобы можно было вернуться к прежним невинным развлечениям. Однако бледность, смущенная неподвижность Полли и выражение ожидания на ее лице явно говорили о том, как нелепа его тоска по прошедшему, и он без всякого воодушевления вновь принимался за свое дело соблазнителя.

В коридоре, пока австрияк вез его обратно в палату, он вдруг почувствовал гордость при мысли о совершенном, потому что вспомнил о Брамбилле и вообразил, как расскажет ему о случившемся, как они вместе посмеются над неискушенностью его маленькой приятельницы, как он наконец почувствует себя мужчиной в обществе мужчины. Щеки его горели, уверенный, что заслужил полное уважение соседа, он чувствовал себя почти счастливым, ему хотелось заговорить с братом милосердия или окликнуть одну из санитарок, разносивших по палатам ужин. Но в лифте его вывел из опьянения голос Йозефа, по обыкновению усевшегося в ногах кровати.

— Так-то, синьор Джироламо, — начал австрияк, — теперь придется вам сменить соседа.

— Почему?

— А, да вы, верно, не знаете, — стал объяснять Йозеф. — Синьор профессор недавно осмотрел синьора Брамбиллу и нашел, что он излечился... Так что через неделю синьор Брамбилла нас покидает.

Лифт поднимался с однообразным жужжаньем. Неподвижный, забившись под одеяло, юноша глядел в лицо Йозефа, красное и глупое, и в голове его вертелись только две мысли: «Брамбилла вылечился. Брамбилла уезжает». Испытывал он не зависть, а скорее острый стыд: все, что он сделал, разыгрывая соблазнителя, было напрасно, он понимал, что теперь глупо и незачем хвастаться перед коммивояжером своими детскими шашнями; Брамбилла вылечился, уезжает и даже не станет его слушать; Брамбилла уезжает, а он остается в своей унылой, жалкой тюремной камере, среди больных, отягощенный таким ненужным теперь дурным поступком. Кроме того, Джироламо смутно угадывал, что только он один смотрит на все всерьез, воспринимает болезнь и санаторий как некое нормальное состояние, между тем как коммивояжер, по всей вероятности, не переставал считать свою болезнь и все навязанные ею привычки, отношения, настроения и удовольствия лишь преходящими и только потому терпимыми. Страстная преданность соседа была для Брамбиллы дополнительным удобством, вот и все, а теперь он уезжал и покидал юношу с его болезнью и с его искренней привязанностью.

Толчок кровати, ударившейся о притолоку двери, пробудил Джироламо от этих горестных размышлений. Он поднял глаза и увидел на малом пространстве палаты пустое место, которое надлежало вновь занять его кровати, зажженную лампочку а Брамбиллу, который сидел, откинув одеяло, и глядел на его

приближение взглядом человека, намеренного сообщить потрясающую новость. «Я все знаю», — хотелось крикнуть Джироламо, а потом накрыться с головою и выплакаться или выспаться под простыней — лишь бы только ничего не видеть и не слышать. Однако остатки чувства собственного достоинства заставили его смириться и сыграть роль ничего не ведающего.

— Вот оно как, — начал Брамбилла, едва затворилась дверь, причем лицо его, хоть и выражало довольство собой, оставалось злым. — Знаете песенку:

Мой путь лежит далеко,
Прощайте, господа,
Я не вернусь сюда!

— Что вы хотите сказать? — спросил Джироламо.

— Хочу сказать, — ответил коммивояжер, — что отбываю... уезжаю отсюда... Что профессор меня осмотрел и нашел, что я вылечился.

— Вот и хорошо, — начал Джироламо, полагавший, что следует поздравить коммивояжера, но тот перебил его.

— Я всегда говорил, что у меня дело пустяковое. И вот я уезжаю, милейший синьор Джироламо, через неделю я буду в Милане. И пусть меня черти припекут, если я на другой же день не поужинаю у Кова с какой-нибудь хорошенькой бабенкой.

— Да, конечно... но первое время, — воспротивился Джироламо, полный искреннейшего благоразумия и любви к ближнему, — первое время лучше остерегаться...

— Зачем остерегаться? Скажите пожалуйста! И чего остерегаться? Профессор сказал, что я могу делать, что захочу, и если я кого и буду слушаться, так это его. Подумайте раньше, как самому вылечиться, а потом другим советуйте. Хорошенькое дело! Сам болен, а тому, кто сумел вылечиться, советует, что ему делать и чего не делать...

Брамбилла не умолкал, а Джироламо, уязвленный, смотрел на него и думал, что опять коммивояжер взял над ним верх еще в одном: прежде это были любовные похождения, теперь — болезнь; и если раньше, может быть, довольно было соблазнить маленькую англичанку, чтобы добиться у Брамбиллы уважения, то теперь он достигнет вожделенной цели, только если выздоровеет. Презрение соседа было столь явным, а чувство унижения столь глубоким, что вдруг Джироламо — впервые за время пребывания в санатории — показалось, будто он ясно постигает всю противоестественную извращенность и своего ха-

рактера, и своих поступков. Одно то, что он привык воспринимать болезнь как некое нормальное состояние, что мог дышать в этой атмосфере, свидетельствовало, на его взгляд, о непоправимой ненормальности его натуры; сомнения не было: Брамбилла — человек здоровый, а он сам — больной, и даже в шашнях с «хорошенькими бабенками», о которых говорил коммивояжер, было нечто дозволенное и чистое, между тем как в его отношениях с маленькой англичанкой все было недозволенным, унылым и мутным.

Все эти соображения окончательно убедили его в собственной неизлечимой испорченности. И покуда Брамбилла, опьяненный неожиданным выздоровлением, говорил о том, что он сделает и с кем повидается в Милане, самолюбие Джироламо отреагировало примерно так же, как в других случаях, когда он унижался по доброй воле, чтобы не быть униженным: юноша вдруг решил, что коль скоро он болен и живет в санатории, то лучше всего не только не стыдиться своего положения, но и бросить всем вызов, всячески показывая свое удовлетворение тем, что есть, а в вытекающих отсюда последствиях, практических и нравственных, идти до конца. Каковы эти последствия, он не мог бы объяснить точно: вероятно, нужно было еще более осознанно погрузиться во мрак, в котором он, казалось, жил, довести до конца совращение маленькой приятельницы, словом, доказать себе и другим, что он может вести себя естественно, как животное в своей природной стихии. Это решение успокоило его злость и досаду, ему показалось, что, полностью признав свою слабость, он себя обезопасил и обеспечил достаточное оправдание всем своим — в ином случае предосудительным — поступкам, которые намерен был совершить.

Но следующие дни были, наверное, самыми черными днями за всю эту зиму в санатории. Неустойчивая погода, то блиставшая ненадежною роскошью солнца, то внезапно и угрожающе мрачневшая и вскоре обрушивавшая снежный заряд, мешала успешному лечению. Брамбилла, который начал вставать, спускался на санях в городок и, возвращаясь, привозил рассказы о красивых женщинах, больших отелях, всевозможных развлечениях, полные столь наглого счастья, что юноша страдал от них больше, чем прежде от насмешек. К тому же Джироламо заметил, что решение махнуть на себя рукой и признать собственное ничтожество не прибавило ему сил.

— Вам это покажется странным, — пытался он втолковать Брамбилле, — но у меня нет ни малейшего желания встать... Мне и здесь, в санатории, хорошо.

— Кто что любит, — ответил коммивояжер, — а я предпочитаю ходить и быть здоровым.

Почти каждый день Джироламо отвозили в нижний этаж, к Полли. Он ехал со смутным желанием напакостить, а инфантильность девочки и собственные намерения делали в его глазах это желание совсем уж извращенным и беспричинным, не оправданным даже потребностью заслужить уважение Брамбиллы. То, что происходило во время этих посещений, озадачивало его и оставляло чувство отвращения... Его маленькая приятельница была слишком даже податлива, и такая безвольность возбуждала в нем жестокое раздражение. «Стоит мне пожелать, — думал он, — Полли с тем же усердием и с тем же безразличием вернется к прежним нашим невинным играм». Ему хотелось, чтобы она не была так послушна ему, власть тяготила его, ему казалось, что он ею злоупотребляет. Он даже решил было доверить все Брамбилле, но потом отказался от этого. И намерение вернуться в отношениях с девочкой к прежнему — то ли из любопытства, то ли из слабости — так и осталось намерением.

Посещения продолжались по два-три часа. По возвращении в палату Джироламо чувствовал себя обессиленным, к тому же его лихорадило; высокая температура была самым осязаемым результатом его поведения, она не падала до ночи и сопровождалась легкими болями в пораженном колене; и если в первое время заметны были явные признаки улучшения, то теперь, по-видимому, болезнь опять обострилась. Но Джироламо смотрел на эти угрожающие симптомы с полным безразличием, он и не надеялся, и не хотел выздороветь, думал, что если уж терпеть поражение, так на всех фронтах. Правда, мысль о смерти даже не приходила ему на ум, но зато было заманчиво предвкушение какой-то катастрофы, которая рано или поздно произойдет и положит конец безвыходному, непоправимому положению.

Наступил день отъезда Брамбиллы. Сразу после завтрака он встал с постели и тщательнейшим образом занялся своим туалетом: побрился, попудрился, надушился одеколоном, густой гребенкой расчесал на прямой пробор белобрысые волосы, намазал их бриллиантином, доведя до полной гладкости и блеска, потом извлек из баула ярко-синий костюм, лакированные туфли, черное пальто с бархатным воротником, твердую черную шляпу — и начал одеваться.

Все утро шел снег; белесое небо казалось заспанным и грязным, в палате было сумрачно, за двойным окном без занавесок на фоне мутного неба видны были две черные фигуры:

это санитары, вооружившись широкими лопатами, сбрасывали с террасы навьюженный снег. Неподвижно съежившись под сбившимся одеялом, со встрепанными, свисающими на бледное, пылающее лицо волосами, Джироламо смотрел то на Брамбиллу, который стоял в полосатых трусиках перед зеркалом, стараясь в тусклом свете пристегнуть слишком тесный воротничок, то на санитаров. Он чувствовал легкий жар, глухие удары снега, падавшего на площадку внизу, пробуждали в нем лихорадочную сумятицу образов... Он думал о стуже, о мертвом спокойствии и тишине там, снаружи. Он представил себе, как санитары время от времени прерывают работу и стоят, шумно выдыхая облачка пара, опершись на лопаты и неторопливо разглядывая заснеженный ландшафт. Ему казалось, что он тоже видит эту белизну и угольно-черные деревья, и домишки с повисшим между скатами крыш и небом дымом, чуть менее белым, чем снег, чуть менее серым, чем небо. Вот стая ворон неожиданно вылетает из глубины долины, их плотный строй вычерчивает в небе изящный черный пунктир. Стая приближается, она летит низко-низко, то сгущаясь, то разрежаясь, но все время сохраняя строй. Чем она ближе, тем кажется многочисленней, в какой-то миг небо заполняется птицами, стая летит так низко, что можно различить крылья и сужающиеся хвосты ворон. Но вот из-за округлого холма раздается выстрел. Посреди стаи словно бы разорвалась бомба: вороны лежат на снегу, мертвые и застылые, каждый труп на белом — отдельное, не похожее на другое пятно, потому что одна ворона раскинула оба крыла, другая вытянула одно, третья распустила веером хвост, четвертая подобрала хвостовые перья, как лепестки тюльпана, еще одна лежит на боку, другая на спине вверх ножками; а пятна поменьше, едва различимые на снегу — это перья и пух, разметенные во все стороны выстрелом... Эта картина вороньего побоища с особой настойчивостью все снова приходила на ум Джироламо, он испытывал что-то вроде мучительного наслаждения, воображая траурных птиц, рассеянных по снежному склону под оцепенелым небом. Ему хотелось думать о своей маленькой приятельнице, но из этого ничего не получалось, и он, досадуя, смотрел, как одевается Брамбилла, и вновь погружался в лихорадочные видения. В эту минуту в дверь постучали, и вошел Йозеф.

«Он пришел, чтобы отвезти меня к Полли», — подумал Джироламо; потянувшись, он сел в кровати и стал искать на столике рядом зеркало и расческу, чтобы поправить сбившиеся волосы; однако брат милосердия остановил его движением руки.

— Сегодня никаких посещений, синьор Джироламо, — сказал австрияк сдержанно, почти сухо, а потом обратился к коммивояжеру: — Сани поданы, синьор Брамбилла.

— В чем дело? — спросил Джироламо, которому от этой холодности сразу стало не по себе. — Неужели синьорина Полли нехорошо себя чувствует?

— Синьорина Полли бредила всю ночь, — ответил Йозеф тем же деревянным голосом, — но сейчас ей лучше. Только вам, синьор Джироламо, нельзя к ней — ни сегодня, ни в ближайшие дни... вообще нельзя.

«Они обо всем узнали», — подумал юноша; у него перехватило дыханье, виски похолодели, он откинулся на подушки, близкий к обмороку. Тем временем брат милосердия, наклонившись у двери, затягивал ремни на бауле Брамбиллы, а сам коммивояжер, уже одетый, в пальто и шляпе, серьезно и хмуро наблюдал за его действиями.

— Почему вообще нельзя? — спросил наконец Джироламо слабым голосом.

— Приказ синьора профессора, — ответил австрияк, поднимая красное от натуги лицо. — Синьор профессор нынче утром долго беседовал с матерью синьорины Полли, — ведь она приехала этой ночью. Потом он вызвал меня и сказал: «Йозеф, с сегодняшнего дня ни синьор Джироламо, ни другие больные не должны покидать свои палаты».

— А он не сказал, почему? — настаивал юноша, которого просто добивала холодная официальность Йозефа. — Он ничего больше не сказал?

Лицо австрияка стало строгим и неприязненным.

— Причины, синьор Джироламо, известны вам лучше, чем мне... Так зачем столько вопросов?

Брамбилла, перестав изучать свой баул, подошел ближе.

— Что случилось? — спросил он. — Какая-нибудь новая выходка синьора Джироламо?

— Ну конечно, — ответил брат милосердия, насупившись, — А кому достаются все неприятности? Нам, обслуживающему персоналу. Как будто мы можем знать, что там, в палатах, творится между больными...

Юноша лежал неподвижно и блестящими глазами смотрел на обоих мужчин; ему хотелось кричать. «Сейчас Брамбилла, — думал он, — начнет выспрашивать подробности, а потом, как всегда, поднимет меня на смех». Он не смел себе в этом признаться, но на самом деле в ту минуту Джироламо больше всего хотелось, чтобы коммивояжер бросил ему в лицо обычные

свои грубые насмешки: даже такого рода участие казалось ему в тысячу раз лучше нынешней холодной сдержанности. С трепетом ожидал он какой-нибудь реплики вроде: «Ах, так вы занялись растлением малолетних», реплики, которая позволила бы ему, пусть приползши на брюхе, вернуться к роли скромного спутника при надменном светиле. Однако его ждало разочарование.

— Всегда так, — презрительно процедил Брамбилла, казалось, не желавший знать о том, что было сказано. — Эти маменькины сынки все одинаковы, только о себе и думают. А что за их глупости придется расплачиваться другим, какое им дело? Это их не касается...

— Если я что и сделал, причем тут Йозеф? — начал было Джироламо, совсем теряя голову от холодности обоих взрослых. — Что хочу, то и делаю!

Брамбилла, собиравший какие-то газеты, обернулся:

— Замолчите-ка, стыда у вас нет. — Потом обратился к брату милосердия: — Ну что ж, можем идти.

Йозеф распахнул дверь, наклонился и взвалил на плечо баул. Но, прежде чем уйти, он сказал юноше:

— Впрочем, вам это тоже не сойдет с рук, синьор Джироламо! Синьор профессор так рассердился... Завтра услышите!

Теперь последняя надежда Джироламо была на то, как попрощается с ним коммивояжер. Холодность обоих взрослых, их укоризна пробудили в нем такое острое ощущение вины, он так глубоко уверился в собственной непорядочности, что в ту минуту любой приязненный жест соседа по палате тронул бы его до слез, как проявление сверхчеловеческой доброты. Поэтому Джироламо глядел на Брамбиллу глазами, полными тревоги. «Почти девять месяцев бок о бок, — думал он, — неужели нельзя хоть поцеловаться?»

Но Брамбилла, который кончил собирать пожитки, был уже ближе к двери, чем к его кровати.

— Кажется, ничего не забыл, — сказал он с порога, обшаривая погруженную в предвечерний полумрак палату пристальным взглядом. Юноша увидел, что он на миг заколебался, потом отворил дверь.

— Ну ладно, до свиданья, всего лучшего, — донеслось вдруг из полутьмы, окутавшей выход.

Джироламо хотел приподняться, что-нибудь сказать, но не успел: дверь захлопнулась.

Тьма сгустилась совсем, заполнившая палату чернота разрывалась только мутной белизной скомканных простынь на

кровати Брамбиллы. Некоторое время юноша лежал неподвижно, с жадностью прислушиваясь к каждому звуку, доносившемуся снаружи; он услышал, как удаляется в студеную ночь и совсем замирает звон бубенцов на санях, увозивших прочь коммивояжера; услышал, как в соседней палате хлопнули дверью и кто-то заговорил; в эту минуту он почувствовал, как по спине пробежал озноб — может быть, следствие высокой температуры, — и машинально сжался в комок, натянув на уши смятое одеяло.

Все, что мрачным, неприязненным тоном рассказал ему о маленькой англичанке Йозеф, теперь вернулось и овладело его мыслями с навязчивостью, обычной при высокой температуре. Сперва, думая о том, что девочка была в бреду целую ночь, Джироламо испытывал жалость и горькие угрызения; он воображал свою приятельницу такой, какой видел ее столько раз: белую, неподвижно лежащую в свете низко висевшей лампы; ему казалось, что он угадывает связь между застылым выражением страха, которое он часто замечал в ее глазах, и этим бредом, за которым последовало разоблачение, скандал, вмешательство матери. «Как видно, — думал он, — она, хоть и не говорила об этом, чувствовала ко мне необычайное почтение, что-то вроде благоговения... Вот почему она мне все это позволяла и не воспротивилась... Даже вздохнуть боялась... А потом от всего случившегося ей стало так стыдно и страшно, что она не переставала об этом думать и в конце концов пробредила целую ночь, а как только увидела мать, не могла удержаться, расплакалась и во всем ей призналась». Представляя себе все это, он вдруг понял, что его маленькая приятельница стала — и с полным правом — на сторону Брамбиллы и австрияка. «Теперь я один, — подумал Джироламо, — никто не хочет больше меня знать».

Тут вошла сестра милосердия и принесла поднос с ужином; ее неожиданное вторжение заставило юношу резким движеньем сесть в постели и зажечь свет. Темноволосая, небольшого роста женщина, полнотелая и даже привлекательная, была наделена странной особенностью: на руках ниже локтя, на щеках, на верхней губе и даже на шее — всюду росли у нее густые волосы, так что и тело ее всякому представлялось буйно заросшим. Сестра сначала поставила на стол поднос, потом, не говоря ни слова, стала снимать белье с кровати Брамбиллы. Она имела обыкновение всякий раз, когда заходила к ним в палату, застревать на некоторое время, болтать с Джироламо и особенно с Брамбиллой, которого тянуло к ней именно из-за ее во-

лосатости. Юноша привык видеть эту сестру непринужденной и даже немного развязной и сейчас сразу же ощутил в ее демонстративной холодности упрек и осуждение. «И она все знает, — подумал он в отчаянии, — и презирает меня, как все они». Всем существом он желал теперь одного: добиться хотя бы от этой женщины знака уважения и сострадания; ему хотелось сказать какие-нибудь слова, сделать какой-нибудь жест, чтобы в них была непреодолимая сила убеждения; но стоило ему взглянуть на ее фигуру, наклоненную над грудой простынь в углу, — и он чувствовал, что язык его немеет.

Только когда сестра совсем уже собралась уходить, ему удалось наконец одолеть робость.

— Скажите, — спросил он с усилием, — как себя чувствует синьорина Полли?

Женщина со свертком простынь под мышкой была уже у двери.

— И у вас, — воскликнула она, — у вас хватает наглости спрашивать меня об этом! Ну и гусь! — прибавила она с язвительным смехом. — Сперва напакостил, а потом, как ни в чем не бывало, справляется с невинным видом о здоровье... — Она умолкла на мгновенье. Джироламо покраснел до ушей. — Синьорине Полли лучше, — заключила сухо сестра. — Что вам еще угодно?

— А профессор, — спросил еще Джироламо, — когда он будет делать обход?

— Завтра утром... уж он вам напоет пластинку! Что вам еще угодно?

— Что такое? — упорствовал внезапно побледневший Джироламо. — Что вы хотите сказать? Какую еще пластинку?

Женщина косо взглянула на него. Она сама не знала, что имела в виду, говоря так, не могла знать, что на другой день решит профессор, но была так искренне возмущена, что самая суровая кара казалась ей слишком мягкой.

— Что я хочу сказать? — повторила она наконец. — Хочу сказать, что после всех ваших дел профессор может выгнать вас вон... Что вам еще угодно?

— Унесите ужин, — сказал Джироламо, смутно желая хотя бы добровольным постом вызвать у женщины жалость. — Сегодня я есть не буду.

Она снова язвительно засмеялась:

— Нечего строить из себя жертву. Ешьте не ешьте, а синьорине Полли от этого лучше не будет. Что вам еще угодно?

— Ничего.

Дверь затворилась. Еще минуту Джироламо сидел в прежней позе, потом, не прикоснувшись к подносу с едой, снова свернулся калачиком под одеялом, лицом к окну. Мысли его путались, ему казалось, что он погиб. «Прогонят меня, — думал он. — Профессор выгонит меня вон». Хотя, по собственному мнению, он заслужил такое наказание, но от подобной перспективы совсем пал духом. Юноша знал, что его семейство во многом себе отказывает, чтобы содержать его в санатории, и с отчетливой ясностью, вызванной высокой температурой, воображал себе все, что произойдет, минута за минутой: отъезд из санатория, прибытие домой, слезы матери, упреки отца, все те ссоры, унизительные и болезненные, которые такое событие вызовет в семье вроде его семейства, и так весьма стесненного во всем, которому Джироламо по своей юношеской совестливости, но безо всяких действительных оснований считал себя обязанным бесконечной благодарностью.

Воображая себе все это, он пришел в такое возбуждение, как будто профессор уже сейчас принуждал его уехать. Джироламо заметался под одеялом, стал трясти головой. «Нет, нет, — думал он, не переставая метаться, — все что угодно, только не это». Хотя он сам себе в том не признавался, печальная перспектива быть изгнанным мучила его больше всего боязнью потерять уважение и любовь родителей; не усматривая разницы между ними и людьми в санатории, Джироламо был уверен, что они, едва узнают правду, запрезирают его, как все прочие, и с ужасом представлял себе, какая жизнь ждет его дома, больного и презираемого, постоянно вызывающего раздражение и досаду, почти без надежды на выздоровление и без всякой надежды на счастье. «Нет, только не это, — повторял он в страхе, — только не это».

От небывалой усталости ему вдруг захотелось уснуть, забыть обо всем, провалиться в черную пропасть сна; он погасил свет, и действительно, не прошло и пяти минут, как он уже крепко спал. Но тотчас же стал видеть какие-то путаные сны: будто он лежит, вытянувшись на железной кровати, в большой пустой комнате с голыми серыми стенами, посредине стоит стол из резного дерева, и на него облокотился еще не старый господин — отец Джироламо. Разговор у них спокойный, отец объясняет, что у него больше нет средств содержать сына в санатории; отец говорит без раздражения, без неприязни, с покорной улыбкой; Джироламо согласен с отцом, ведь ясно, что если денег больше нет, то невозможно продолжать лечение, но сам упорно думает, соображает, ищет выход, и вот, кажется, он

нашел его: «Я женюсь на Полли», — восклицает он. Это предложение отец полностью одобряет, нужно только дать знать маленькой англичанке. Отец встает из-за стола и тащит кровать сына за дверь. Вот они в коридоре санатория, отец с трудам управляется с кроватью, у него нет сноровки Йозефа, и к тому же коридор полон белыми кроватями, их катят во все стороны сестры и братья милосердия. И еще путь замедляют бесконечные остановки перед магазинами, которые непонятным образом распахивают роскошные витрины тут же по обеим сторонам коридора. Магазины действительно роскошны: в глубоких, как пещеры, витринах, в хвастливо-ярком свете выставлены всякие редкости из золота и других драгоценных металлов, безделушки, платья, бронза, оружие. Все эти вещи привлекают взгляд Джироламо, он думает, что хорошо бы сделать будущей жене сюрприз, привезти ей полное приданое. Сказано — сделано: отец заходит в один из магазинов, недолго спустя выносит блестящий подвенечный наряд, белый и сверкающий, с длинным шлейфом из легкого, как туман, крепа; из другого магазина он возвращается с венком из флердоранжа, из третьего — с пакетами всевозможной одежды, все это складывается на кровать Джироламо; подвенечное платье со своими рюшками и шлейфом выделяется в темноте большим ослепительно-белым пятном; путешествие вдоль коридора продолжается. Наконец они добираются до лифта, который доставит их на нижний этаж, вот они уже в кабине, лифт спускается, но спуск этот кажется дольше обычного, а сопровождающее его жужжание электричества громче и настойчивее. Джироламо смотрит на подвенечное платье на спинке кровати, его гнетет нелепая тревога, он повторяет себе: «Нужно остановиться, нужно остановиться». Но спуск все продолжается, жужжание нарастает, от нарастания тембр его изменяется, превращается в протяжный вой... И тут картины сна распались, Джироламо проснулся.

Знакомая темнота палаты заполнила его широко раскрывшиеся глаза, но завывание не прекратилось, оно становилось с каждым мигом все пронзительней, заполняло собой малейший уголок тишины. Еще не опомнившись от сна, юноша сперва не мог понять, в чем дело, потом шум поспешных шагов, удалявшихся вниз по деревянной лестнице рядом с палатой — словно люди разбегались из санатория, — вдруг открыл ему истину: «Это сирена на колокольне, сигнал пожара... Санаторий горит, а сестры и братья милосердия удирают — вот что это за топот».

Он поспешно зажег свет, покой, царивший в палате, между тем как сирена все завывала, а за стеной топали вниз по ле-

стнице люди, показался ему страшным. «Санаторий почти весь деревянный, — соображал Джироламо, — сгорит в полминуты... А лифт всего один, и кабина на одну кровать... а кроватей десятков восемь...» Занятый такими расчетами, он смотрел на дверь, завывание сирены все набирало громкости, и по-прежнему слышен был топот людей вниз по лестнице... Отлично понимая, что с ногой, привязанной к блоку вытяжки, он никак не сможет освободиться сам, Джироламо все же стал метаться в кровати. Блок скрипел, кровать стонала; спустя немного времени Джироламо изменил тактику: теперь он силился подкатить кровать к дверям, но кровать не сдвинулась с места. «Придется остаться здесь, — подумал он наконец, откинувшись на подушки и чувствуя больше ярость, чем страх. — Остаться в западне, привязанным за ногу, и ждать смерти...» Эта смерть казалась ему последней несправедливостью в череде незаслуженных несчастий. Внезапно он страшно вознегодовал против этого рока, направившего все удары на него и щадящего других.

«Проклятье!» — начал повторять он, озираясь вокруг и скрежеща зубами, с бледным лицом; ему хотелось кусаться, ломать вещи, в последние минуты жизни отомстить за все, что он вытерпел... «Проклятье! Проклятый санаторий, проклятая Полли, проклятые врачи!» На глаза ему попался поднос с ужином, тарелки с остывшей едой; юноша вытянулся и столкнул его со стола, раздался громкий звон разбитого фарфора; потом пришла очередь чернильницы и прочих вещей; остановился Джироламо, лишь когда почувствовал себя обессилевшим, а ломать было больше нечего.

Только тут он с изумлением обнаружил, что вой сирены и топот на лестнице прекратились, что ни треск, ни пламя, ни дым, словом, ни один из зловещих признаков пожара не нарушал покоя в санатории.

И вдруг он понял, что произошло: наверное, занялся какой-нибудь стог сена, и народ бежал по лестнице не с тем, чтобы спастись, а чтобы полюбоваться редкостным зрелищем пожара на снегу, глубокой зимней ночью.

От облегчения глаза его наполнились слезами, потом он увидел осколки тарелок на полу, вспомнил, как только что корчился в кровати, как проклинал всех и вся, и вдруг почувствовал неодолимый стыд. В минуту растерянности, он дошел до того, что проклинал девочку, которой сам же — он знал это — причинил зло; могло ли быть более явственное свидетельство того, в какой мрак он дал себе погрузиться за последнее время? «Я и вправду заслуживаю смерти», — подумал он убежденно.

Теперь он был исполнен раскаяния и благих намерений. Вот если бы он мог ходить! Тогда он отправился бы просить прощения у своей маленькой приятельницы; Джироламо даже подумал, что дал бы торжественное обещание жениться на ней, как только она вырастет, но отбросил этот замысел в виду явной его нелепости. Самому себе он казался последним негодяем, мысль о том, что завтра профессор выгонит его из санатория, больше не пугала его, даже приносила некоторое облегчение. «Я этого заслуживаю», — думал Джироламо. Теперь ему казались желанными ожидавшее его унижение, общее презрение, собственное ничтожество, он получал удовольствие, воображая себя справедливо наказанным. Он полагал, что новые мучения избавят его наконец от глухой злости, которая грузом лежала на душе с того вечера, когда он впервые поцеловал девочку, и ему удастся найти умиротворение и обратить все помыслы на собственное выздоровление. Мысль, что завтра некто накажет его сурово, но справедливо, с полным на то правом, внушала ему спокойную и безмятежную уверенность. Закрыв глаза, в том же примерно состоянии духа, в каком младенец после испуга или каприза засыпает на руках матери, Джироламо перешел наконец из бодрствования в сон.

Только поздним утром был он разбужен солнечным лучом, не горячим, но ярким и сверкающим; пробиваясь из угла окна, свет заливал ту часть палаты, где стояла кровать. Открыв глаза, он прежде всего обрадовался хорошей погоде. «Какое ослепительно голубое небо, — думал он, глядя в окно. — Сегодня наконец можно будет принять солнечную ванну». Он даже удивлялся, почему никто не пришел его разбудить и не вывез на террасу; но тут из соседней палаты донесся звук мужских голосов, один из них, самый властный и уверенный, задавал вопросы и отдавал распоряжения, а остальные, в которых слышались преданность и повиновение, лишь отвечали. «Там профессор, — понял вдруг Джироламо, и от этой мысли ему стало нестерпимо скверно. — Он уже у соседей и сейчас будет здесь».

Только теперь он вернулся к действительности и, вспомнив все, что его угнетало — скандальную историю с девочкой, изгнание из санатория, — на мгновение почувствовал невыносимую тоску. «Сейчас он будет здесь, а я еще не умыт, не причесан, — думал мальчик, — и в палате беспорядок... И вонь стоит с ночи...» Он метался, не зная, с чего начать, как хоть немного навести вокруг порядок. В какой-то миг его испуганный взгляд опустился вниз, Джироламо увидел на полу между кроватями поднос, разбитые тарелки и среди осколков фарфора комки пищи, за-

стывшей в темном воске подливы. «И я об этом забыл!» — подумал юноша в ярости. Поколебавшись, он свесился головой почти до полу, с намерением затолкать под кровать все осколки. Но в эту минуту мужские голоса, сопровождаемые топотом ног, послышались совсем близко и отчетливо, потом дверь отворилась и в сопровождении Йозефа и врача-ассистента вошел профессор.

Профессор, внушавший ужас Джироламо и — совсем по другим причинам — всему лечащему персоналу, от ассистента до самого смиренного брата милосердия, был совершенным воплощением врача современного образца: не столько ученого, сколько ловкого и корыстного эксплуататора и собственных способностей, и непомерной доверчивости больных. Лишенный творческого дара, но неплохой хирург, он был более всего наделен психологическим и, если можно так выразиться, политическим чутьем; смолоду насмотревшись на трусость пациентов перед болью и на бессилие и невежество врачей (а это зрелище не менее поучительное), он проникся глубочайшим презрением к людям и пришел к убеждению, что в медицине, как и на любом другом поприще, лучшие средства преуспеяния — это хмурый вид, хорошо подвешенный язык, резкий и уверенный тон, словом, все те внешние признаки авторитетности, за которыми, как воображает толпа, непременно кроются непогрешимое знание и блестящий талант. Профессор был высок и грузен, руки у него были белые, короткопалые, с редкими, но длинными черными волосами; подстрижен он был бобриком, холодные глаза его блестели, нос был крючковат, бородка и усы — острые: настоящая голова мушкетера или инквизитора. Если к этому прибавить резкую и повелительную манеру двигаться, говорить, смотреть, раскатистый добродушный смех, раздававшийся редко, но всегда вовремя и заставлявший поклонников профессора говорить: «Он резок, правда, зато сколько доброты в его смехе!» — то можно составить достаточно полное представление об этом субъекте.

Звук отворяемой двери заставил Джироламо, который, загоняя осколки под кровать, высунулся до пояса из-под одеяла и свесился вниз, почти касаясь волосами пола, живо выпрямиться, оправить простыни и пригладить, насколько возможно, шевелюру, и все это неотрывно глядя на профессора, который в сопровождении Йозефа и ассистента медленно и как будто даже с некоторой осторожностью приближался к больному. Сердце Джироламо яростно билось, от волнения ему не хватало воздуха. Потом он понял причину своего волнения и как по волшеб-

ству сразу успокоился. «Сейчас он скажет, чтобы я отправлялся домой, — думал юноша, стискивая зубы, чтобы одолеть подступавшую дурноту, — так как я совершил чудовищный поступок... Я готов повиноваться, готов к любому наказанию — но только поскорее!» Ему хотелось крикнуть: «Скорее, синьор профессор, скорее!» — но он сумел удержаться и только густо покраснел, глядя, как профессор с двумя сопровождающими приближается к нему.

Но профессор, словно нарочно действуя назло Джироламо, ничуть не спешил. Он приблизился, остановился в двух шагах от кровати, иронически покачал головой при виде разбитых тарелок и подноса на полу, потом поглядел на юношу:

— Хорошенькие вещи мне про вас рассказывают!

Джироламо побледнел. «Ну вот», — подумал он, страдая так, что хотелось закричать. Наконец ему удалось произнести дрожащим голосом:

— Если я должен уехать, то прошу вас, синьор профессор, отправьте меня поскорее...

Врач взглянул на него:

— Уехать? Кто вам сказал, что вы должны уехать?

Перед глазами Джироламо поплыл густой туман.

— Но из-за Полли... За все, что я наделал... на нижнем этаже...

Профессор наконец понял.

— Ах, вот оно что! — воскликнул он холодно и подошел вплотную к кровати, сделав спутникам знак следовать за ним. — В этом случае, мой мальчик, вы ошиблись... Поведение больных меня не касается. Здесь не исправительное заведение, а клиника! Мы занимаемся их телом, а не душой, только их телом и даже одною его частью. Я распорядился, чтобы вас больше не возили на первый этаж, вот и все. А что касается отъезда, так вы отсюда уедете, когда мы сочтем это необходимым. — Он повернулся к брату милосердия и с повелительным жестом приказал ему: — Снимите одеяло.

Австрияк повиновался. Обнаженный Джироламо дрожал, мысли его путались, думать он был не в силах; ему казалось, что его уничтожили, и дальше этого ощущения — что его не существует — он пойти не мог. Между тем профессор наклонился и сосредоточенно ощупывал короткими пальцами больное колено. Джироламо смотрел на него, ощущая себя только телом, лишенным воли и разума. Профессор выпрямился.

— Покажите мне снимки! — сказал он ассистенту.

У того под мышкой было несколько металлических кассет.

Он вынул три рентгеновских снимка колена Джироламо и протянул хирургу, а тот долго рассматривал их на свет и сравнивал. На первом снимке видно было на черном фоне белесое ядро: коленная чашечка и сочленение берцовой и бедренной кости, все затуманенное и искаженное; на втором негативе эта затуманенность, это искажение стали меньше, вокруг появилось черное поле; но на третьем снимке туман и искажение были такие же, как на первом, и даже, казалось, немного увеличились. Профессор вернул снимки ассистенту и обернулся к мальчику:

— Вы вернулись к тому же состоянию, в каком прибыли в санаторий... Довольны?

— Какое состояние? — начал было юноша, но собеседник его прервал:

— Думайте о том, как вылечиться! Я бы на вашем месте не стал так наплевательски относиться к болезни. А теперь отправляйтесь на солнце! Йозеф, выставьте его на террасу! — И профессор в сопровождении ассистента вышел, не дожидаясь ответа Джироламо.

Йозеф распахнул дверь, дал мальчику темные очки и узкий плед, чтобы прикрыть живот, убрал одеяла и несколькими движениями сильных рук вытолкнул кровать на террасу. Джироламо, голый, съежившийся на матраце и стыдящийся своей наготы, вдруг очутился на воздухе. Было холодно, заливавшее террасу веселое сверкающее солнце только что не давало замерзнуть. Другие кровати с растянувшимися на ослепительных простынях смуглыми телами уже стояли на солнце, и в великолепном свете зимнего утра казались не такими отвратительными даже язвы, свищи и нарывы, безобразившие эти неподвижные члены... Некоторые больные читали, другие, ничего не делая, лежали на спине неподвижно, как мертвые: на дальнем конце террасы кто-то из больных завел патефон, ветер с перерывами доносил оттуда легкие нестройные звуки. День выдался такой солнечный, что ярче некуда. Всюду, куда хватал глаз, на фоне твердого блистающего неба отчетливо виднелись зубчатые снежные вершины, горным венцом охватившие долину; еловые леса были припорошены недавними метелями: на искрящихся склонах можно было различить черные фигурки лыжников, которые скользили во все стороны, падали, вставали, исчезали за белыми холмами и вновь появлялись. Но Джироламо смотрел на этот ликующий пейзаж глазами, полными слез: ничего не случилось, он только не увидит больше ни Брамбиллы, ни маленькой англичанки; теперь он один, а выздоровление отодвинулось куда-то далеко-далеко.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ТЕННИС-КЛУБЕ

В середине зимы правление Теннис-клуба — одного из самых известных клубов нашего города — решило дать большой бал. Правление в составе синьоров Лучини, Мастроджованни, Коста, Рипанделли и Микели, ассигновав значительную сумму на шампанское, ликеры и пирожные, а также на то, чтобы нанять приличный оркестр, перешло к составлению списка гостей. Члены клуба в большинстве своем принадлежали к тому классу общества, который принято называть «крупная буржуазия»: это были отпрыски богатых и почтенных семейств, и все они, поскольку работать где-то все-таки было нужно, делали

вид, что заняты какой-то профессиональной деятельностью. Поэтому им нетрудно было набрать среди родственников, друзей и знакомых необходимое число имен, перед многими из которых стояли дворянские титулы, пусть не самые высокие, но внушительные и способные придать празднеству аристократический блеск, когда отчеты о нем появятся в светской хронике. Но в последнюю минуту, когда оставалось только разослать приглашения, возникло — как, впрочем, всегда бывает — неожиданное затруднение.

— А княгиню пригласим? — спросил Рипанделли, молодой человек лет за тридцать, с черными блестящими волосами, черными глазами и безукоризненно-правильными чертами смуглого узкого лица; эта южная красота придавала ему сходство со знаменитейшим американским киноактером, о чем он и сам знал и умело пользовался этим, чтобы произвести впечатление на женщин.

Мастроджованни, Лучини и Микели одобрили мысль пригласить «княгиню»: будет еще одно, а может быть, единственное развлечение. И они, хохоча и хлопая друг друга по спине, стали вспоминать все события последнего вечера: пьяную «княгиню» с мокрыми от шампанского волосами, спрятанные туфли и то, как она дожидалась отбытия последнего гостя, чтобы уйти босиком...

Только Коста, каркающая ворона, как все его называли, высокий, какой-то развинченный, в толстых черепаховых очках на длинном носу, всегда плохо выбритый, со щетиной на впалых щеках, только один Коста воспротивился:

— Нет, на сей раз пусть княгиня посидит дома... Хватит с меня того, что было на прошлом балу. Хотите развлекаться — отправляйтесь к ней с визитом, а здесь ни за что...

Его сотоварищи возмутились и выложили ему все, что о нем думают: он просто дурак, вечно портит им праздник и, в конце-то концов, не он хозяин в клубе.

Уже два часа они сидели в комнатке правления, где плавали в воздухе облака табачного дыма и было жарко и сыро из-за свежевыбеленных стен; под пиджаками у всех были надеты толстые пестрые свитеры. А там, за стеклами, торчала одна-единственная еловая ветка, такая неподвижная и печальная на сером фоне неба, что, даже не выглядывая наружу, нетрудно было догадаться, что моросит дождь. Коста встал и резко сказал:

— Я знаю, вы опять собираетесь учинить над этой несчастной какое-нибудь свинство. Так вот, говорю вам раз навсегда: это подлость, и вам самим должно быть стыдно...

— Коста, право, я считал тебя умнее, — заявил Рипанделли, продолжая сидеть.

— А я тебя порядочнее, — ответил Коста, снял с вешалки пальто и вышел, не прощаясь. После пятиминутной дискуссии правление единогласно решило пригласить на бал «княгиню».

Бал был открыт в одиннадцатом часу вечера. Весь день лил дождь, ночь была сырая и туманная. Из дальнего конца загородного проспекта, где высилось деревянное строение клуба, можно было наблюдать внизу, в отдаленном сумраке, между двумя темными рядами платанов, размытый свет движущихся огней: это подъезжали машины приглашенных. В вестибюле специально нанятый гардеробщик принимал пальто у гостей, и потом они — дамы в воздушных туалетах, мужчины во фраках, — беседуя и смеясь, проходили в огромный, ослепительно освещенный зал.

Просторный зал был во всю высоту дома, на уровне второго этажа вдоль стен тянулась галерея с деревянной, выкрашенной в синий цвет балюстрадой. На галерею выходило несколько раздевалок и кладовок для спортивных снарядов. На потолке висела огромная люстра, того же цвета и в том же стиле, что и балюстрада; по случаю праздника к ней прикрепили гирлянды венецианских фонариков, разбегавшихся во все четыре угла. Цоколь тоже был крашен синим, а под скосом лестницы, что вела на второй этаж, примостился бар: разноцветные ряды бутылок и блестящий кофейный автомат.

«Княгиня», которая вовсе не была княгиней, а всего только, как уверяли, графиней (при этом рассказывали о ее прежней светской жизни и о том, как свет изгнал ее из-за какой-то неблаговидной истории, где были и адюльтер, и побег, и банкротство), «княгиня» прибыла вскоре после одиннадцати. Рипанделли, который сидел в кружке дам лицом к распахнутой в вестибюль двери, сразу заметил знакомую фигуру, невысокую, приземистую, с вывернутыми наружу, точно ласты, ступнями; повернувшись к залу сутуловатой спиной, женщина протягивала гардеробщику плащ с капюшоном.

«Ну вот, наконец!» — подумал Рипанделли с ликованием в сердце и бросился ей навстречу через толпу танцующих; он поспел как раз вовремя, чтобы помешать ей закатить пощечину гардеробщику, с которым она затеяла ссору из-за какого-то пустяка.

— Добро пожаловать, добро пожаловать... — закричал он с порога.

— Ах, Рипанделли, избавьте меня от этого животного, — сказала «княгиня», оборачиваясь к нему.

Лицом она была нехороша: под копной вьющихся, коротко подстриженных волос блестели усталые и испуганные круглые черные глаза, с морщинками в уголках; нос был длинный и чувственный, из ноздрей торчали волосы; широкий рот с накрашенными, увядшими губами то и дело растягивался, одаряя встречных ослепительной, ничего не значащей улыбкой. Одета «княгиня» была броско и в то же время убого: вышедшее из моды платье с длинной юбкой и плотно облегающим корсажем, на ее торчащей вперед исхудалой груди играли отблески света, а поверх платья, быть может, чтобы прикрыть слишком низкий вырез, была накинута черная шаль в цветах, птицах и разноцветных узорах; вокруг головы была повязана лента, из-под которой выбивались непослушные локоны. В таком наряде, увешанная фальшивыми драгоценностями, глядя перед собой в серебряный лорнет, «княгиня» торжественно вступила в зал.

К счастью, в суматохе бала никто ее не заметил. Рипанделли отвел ее в угол и сразу же заговорил развязным тоном:

— Дорогая княгиня, что с нами было бы, если бы вы не приехали!

Женщина явно была польщена, взгляд ее говорил о том, что она принимает всерьез любую сказанную ей глупость, но из кокетства она ответила:

— Вы, молодые, закидываете крючок каждой встречной женщине, чем больше попадется, тем лучше. Разве не правда?

— Потанцуем, княгиня, — сказал Рипанделли вставая.

Они пошли танцевать.

— Вы танцуете легко, как перышко, — сказал молодой человек, чувствуя, как тело его партнерши всей тяжестью виснет у него на руке.

— Мне все об этом говорят, — отвечала она пронзительным голосом. Прижимаясь грудью к накрахмаленному пластрону Рипанделли, «княгиня» трепетала в блаженном исступлении. Рипанделли стал смелее.

— Когда же вы, княгиня, пригласите меня к себе домой?

— У меня очень узкий круг друзей, — ответила несчастная женщина, которая, как всем было известно, жила в полном одиночестве. — Вчера я как раз говорила об этом герцогу Л., он просил меня о том же... Узкий кружок, самое избранное общество... Что вы хотите, сейчас такие времена, что ни в ком нельзя быть уверенным.

«Уродливая ведьма!» — подумал про себя Рипанделли, а вслух сказал:

— Нет, я не хочу, чтобы вы приглашали меня вместе со всеми... Вы должны принять меня наедине... у вас в будуаре, например... или... или в спальне.

Фраза была довольно рискованная, но женщина приняла ее не протестуя.

— А если я вас приглашу, — спросила она нежно, слегка задыхаясь, возбужденная танцем, — вы обещаете мне быть умницей?

— Клянусь!

— Тогда сегодня вечером я разрешу вам проводить меня домой. У вас ведь есть машина, правда?

Танец кончился, и, так как толпа медленно направилась к буфету, Рипанделли указал на отдельную гостиную на втором этаже, где их ждала бутылка шампанского.

— Сюда, — сказал он, делая жест в сторону лестницы, — здесь нам никто не помешает побеседовать интимно...

— О, вы хитрец, — воскликнула женщина, торопливо поднимаясь по лестнице и грозя ему лорнетом. — Вы обо всем подумали...

Гостиной служила небольшая комната, заставленная белыми шкафчиками, в которых обычно хранились ракетки и мячи.

Посредине комнаты на столе стояла бутылка шампанского в ведерке со льдом. Молодой человек затворил дверь, пригласил «княгиню» садиться и сразу же налил ей вина.

— За здоровье прекраснейшей из княгинь, — провозгласил он стоя, — за ту женщину, о которой я думаю день и ночь.

— За ваше здоровье, — отвечала она, растерянная и возбужденная. Она больше не куталась в шаль и открыла плечи и грудь: эти худые лопатки могли, казалось, принадлежать молодой женщине, однако при каждом ее движении платье спереди сползало то вправо, то влево, отчего вырез увеличивался и бледность пожелтевшей, сморщенной кожи ясно свидетельствовала об опустошениях, произведенных возрастом. Рипанделли, подперев голову ладонью, пристально смотрел на нее притворно-страстным взглядом.

— Княгиня, ты меня любишь? — вдруг спросил он вдохновенным тоном.

— А ты меня? — ответила она с необычайным самообладанием. Но потом, словно поддавшись слишком сильному искушению, протянула руку и положила ее на затылок молодого человека. — А ты? — повторила она.

Рипанделли украдкой взглянул на затворенную дверь, в зале, по-видимому, снова начали танцевать, снизу доносилось мерное шарканье ног.

— Я-то, моя милая, — ответил он с расстановкой, — я сохну по тебе, с ума схожу, света божьего не вижу...

Раздался стук, дверь распахнулась, в комнату ворвались Лучини, Микели, Мастроджованни и с ними некий Янкович. Этот нежданный гость был самым пожилым из членов клуба, было ему под пятьдесят, и в волосах проглядывала седина. Был он весь какой-то расхлябанный; лицо длинное, узкое и унылое, с тонким носом и двумя глубокими складками от глаз до самой шеи, придававшими ему иронический вид. Янкович был процветающим промышленником; большую часть дня он проводил за картами в Теннис-клубе, где даже юнцы обращались к нему по имени, называя Беньямино. Сейчас он, увидев Рипанделли наедине с «княгиней», испустил горестный вопль, как было заранее условлено, и воздел руки к потолку:

— Как, мой сын здесь? С женщиной? С той самой женщиной, которую я люблю?

Рипанделли обернулся к «княгине»:

— Мой отец... мы погибли!

— Прочь отсюда! — продолжал между тем Янкович все с тем же театральным подвыванием. — Прочь отсюда, выродок!

— Отец мой, — надменно ответил Рипанделли, — я повинуюсь лишь одному голосу — голосу страсти.

— А ты, любовь моя, — присовокупил Янкович, поворачиваясь в сторону «княгини» с унылым и важным видом, — не позволяй этому мерзавцу, моему сыну, дурачить себя, поди лучше ко мне, положи прелестную головку на грудь своего Беньямино, ведь он никогда не переставал тебя любить.

В кровь кусая себе губы, чтобы не рассмеяться, Рипанделли кинулся на своего мнимого родителя:

— Я — мерзавец, я?

И далее последовала роскошно разыгранная сцена смятения и негодования. Янкович стоял лицом к Рипанделли, Рипанделли — к Янковичу, друзья с трудом удерживали их, а они делали вид, будто рвутся изо всех сил, готовые сцепиться. Среди всеобщей суматохи доносились крики: «Держите их, держите, не то они убьют друг друга!» — сопровождаемые плохо скрытыми взрывами смеха. «Княгиня», перепуганная, забилась в угол и ломала руки. Наконец бесноватых удалось успокоить.

— У нас нет средства помочь, — сказал Лучини, делая шаг вперед. — Отец и сын влюблены в одну и ту же женщину; нужно, чтобы выбирала княгиня.

От «княгини» потребовали произнести свой приговор. Польщенная, встревоженная, нерешительная, она вышла из угла раскачивающейся походкой, загребая ногами.

— Я не могу выбрать, — сказала она наконец, внимательно оглядывая соперников,— ведь вы... вы оба мне нравитесь.

Смех и аплодисменты.

— А я тебе нравлюсь, княгиня? — спросил вдруг Лучини, обнимая ее за талию. Это послужило как бы сигналом к началу вакханалии; отец и сын помирились, заключив друг друга в объятия, «княгиню» усадили между ними и щедро налили ей шампанского. Через две минуты она была уже пьяна, смеялась, хлопала в ладоши, волосы ее растрепались, и голова казалась огромной.

Мужчины начали задавать ей наглые вопросы.

— Мне тут один говорил, — сказал Микели, — что ты вовсе не княгиня, что ты вообще никто, дочка колбасника, торгующего на углу. Это правда?

— Сам он сын колбасника, этот твой сплетник... — возмутилась женщина. — Чтоб вы знали, тут у нас перед войной побывал один принц крови, он прислал мне роскошный букет орхидей с записочкой... А в записочке было: «Моей Аделине от ее Гого».

Все встретили эти слова громким хохотом. Пятерым мужчинам, которые в интимные минуты заставляли своих любовниц называть себя «Нини», «Лулу», «мой амурчик», «мой поросеночек», уменьшительное имя «Гого» и ласкательное «Аделина» показались донельзя нелепыми и смешными. Держась за бока, они хохотали до изнеможения. «Ах, Гого, шалун Гого!» — повторяли они. «Княгиня», пьяная и польщенная, награждала всех улыбками и взглядами через лорнет.

— Княгиня, до чего ты забавная, — кричал ей в лицо Лучини, а она смеялась, будто получила комплимент.

— Княгиня, княгиня, княгиня моя, — с чувствительным видом напевал Рипанделли; но вдруг его лицо стало жестким, вытянув руку, он свирепо схватил женщину за грудь. Она, вся покраснев, пыталась высвободиться, потом внезапно засмеялась и метнула на молодого человека такой взгляд, что он немедля разжал руку.

— У, какая дряблая грудь, — крикнул он остальным, — совсем тряпка. А что, если нам ее раздеть?

Намеченная программа шуточек была почти исчерпана, и предложение имело большой успех.

— Княгиня, — сказал Лучини, — нам говорили, что ты прекрасно сложена... Будь так великодушна, покажи нам свое тело... чтобы мы могли умереть спокойно.

— Ну-ка, княгиня, — произнес своим серьезным блеющим голосом Янкович, без дальнейших церемоний обхватив «княгиню» и стараясь спустить с ее плеч бретельки платья, — ты не должна прятать от нас свое тельце... свое чудное тельце, белое и розовое, все в ямочках, как у шестилетней девчурки.

— Бесстыдники! — твердила «княгиня» со смехом. Но потом, сдавшись на их настоятельные просьбы, согласилась спустить платье до середины груди. Глаза ее блестели, уголки губ подрагивали от удовольствия.

— Правда я хорошо сложена? — спросила она у Рипанделли.

Молодой человек скривил рот, а остальные закричали, что этого мало, они хотят видеть больше. Лучини дернул платье и порвал вырез. Но то ли «княгиня» стыдилась показывать свое перезрелое тело, то ли в мгновенном проблеске сознания, промелькнувшем среди винных паров, увидела себя в этой выбеленной комнатушке, среди озверелых мужчин, красную, растрепанную, с голой грудью, — только она вдруг стала сопротивляться, отбиваться от них.

— Пустите, говорю вам, пустите меня, — требовала она, высвобождаясь.

Но игра раззадорила мужчин: двое держали ее за руки, трое спустили платье до пояса, обнажив желтое морщинистое тело с болтающимися темными грудями.

— Боже, какая уродина! — закричал Микели. — А сколько на себя всего напялила! Ишь, закуталась, на ней, наверно, и штанов четыре пары.

Остальные смеялись, их веселило зрелище этой жалкой и разъяренной наготы, они старались ослабить на талии жгут из платья и комбинации. Это было нелегко, «княгиня» яростно отбивалась, ее лицо под разметавшейся копной волос выглядело жалким, столько в нем было страха, стыда и отчаяния. Но сопротивление не только не вызывало у Рипанделли жалости, а, наоборот, злило его, как судороги раненого животного, которое никак не хочет умирать.

— Будешь ты стоять спокойно или нет, ведьма уродливая? — внезапно заорал он и, чтобы придать веса своим словам, схватил со стола бокал и выплеснул ледяное вино в лицо и на грудь

несчастной. За неожиданным окроплением последовал жалобный, горестный вопль и новый приступ отчаянного сопротивления. Неведомо как высвободившись из рук своих мучителей, голая по пояс, подняв руки над пламенеющей шевелюрой, в свисающей поверх юбки комбинации, «княгиня» кинулась к дверям.

На миг пятеро мужчин оцепенели от неожиданности, не в силах ничего предпринять. Но Рипанделли закричал:

— Держите ее, не то она выскочит на галерею!

И тут все пятеро накинулись на женщину, бегству которой помешала предусмотрительно запертая дверь. Микели схватил «княгиню» за руку. Мастроджованни — поперек туловища, Рипанделли — за волосы. Ее оттащили обратно к столу. Встретив сопротивление, мужчины озверели, в них кипело жестокое желание бить ее, щипать, мучить. Рипанделли заорал ей в лицо:

— Мы хотим тебя видеть голой, голой!

Она испуганно таращила глаза, отбивалась, потом вдруг стала кричать.

Сперва раздался хриплый вопль, потом другой, похожий на рыданье, и наконец неожиданно пронзительный, раздирающий слух визг: «И-и-и-и!» Микели и Мастроджованни, испуганные, разжали руки. Может быть, лишь в эту минуту Рипанделли впервые ощутил всю серьезность положения, в котором оказались и он сам, и его приятели. Как будто чья-то огромная рука сжала его сердце, зажала в горсть, как губку. Им овладела бешеная ярость; он смертельно ненавидел эту женщину, которая снова метнулась к двери и с криком колотила по ней кулаками, и в то же время в нем нарастало смутное ощущение тревоги, когда думаешь: «Выхода нет, самое худшее произошло, лучше не удерживаться, катиться под откос...» Секунду он колебался, потом словно бы чужой, неподвластной его воле рукой схватил со стола пустую бутылку и с силой опустил на темя женщины, всего один раз.

Она осела на пол, упала на кучу своего тряпья головой к порогу, в позе, не оставлявшей никаких сомнений: рухнула на правый бок, упершись лбом в запертую дверь. Рипанделли, стоя над нею с бутылкой в руке, сосредоточенно разглядывал спину «княгини». На уровне подмышки родимое пятно величиною с чечевицу, эта деталь и, может, еще то, что густая шевелюра заслоняла лицо, заставили его на минуту вообразить, что ударил он кого-то другого и совсем по другой причине: скажем, некую прекрасную девушку с безукоризненным телом, которую любил долго и напрасно, на чью безжизненную грудь го-

тов был броситься со слезами раскаяния, горького раскаяния, способного, быть может, воскресить ее к жизни. Но вдруг тело странно дернулось и перевалилось на спину, открыв раскинувшиеся в разные стороны груди и лицо, на которое было страшно глядеть. Волосы закрывали глаза («К счастью», — подумал Рипанделли), но полуоткрытый безжизненный рот отчетливо напомнил ему виденных в детстве убитых животных. «Она умерла», — подумал он спокойно и сразу испугался собственного спокойствия. И тут только он повернулся и поставил бутылку на стол.

Четверо остальных сидели в глубине комнаты у окна и с недоуменным видом смотрели на него. Стоявший посреди комнаты стол мешал им разглядеть тело «княгини», они видели только, как он ударил. Наконец с осторожным любопытством Лучини привстал и, вытянув шею, бросил взгляд в сторону двери. Нечто лежало на полу, головой к порогу. Приятели увидели, что Лучини побледнел.

— Мы, кажется, на этот раз наделали дел, — сказал он тихо, испуганно, не глядя на них.

Микели, сидевший в самом дальнем углу, тоже встал. Он был студент-медик и поэтому чувствовал какую-то ответственность.

— Может быть, она потеряла сознание, — сказал он спокойно, — надо привести ее в чувство. Подождите...

Он взял со стола недопитый бокал, наклонился над телом, остальные стали в кружок. Они видели, как он подсунул руку под спину «княгини», приподнял ее, налил ей в рот немного вина. Но голова болталась, руки безжизненно свисали. Тогда Микели снова опустил женщину на пол и приложил ухо к ее груди. Через секунду он встал.

— По-моему, она умерла, — сказал он, еще красный от напряжения.

Все молчали. Потом Лучини, который не мог оторвать глаз от трупа, вдруг закричал:

— Прикройте ее!

— Прикрой сам.

Снова замолчали. Снизу доносились звуки оркестра, сейчас более приглушенные, как видно, играли танго. Пятеро переглядывались. Рипанделли, единственный из всех, сидел, подперев голову обеими руками, и глядел прямо перед собой. Он видел, как черные брюки друзей образовали вокруг него кружок, недостаточно тесный, однако, чтобы не разглядеть между ними белой двери и под ней пятна распростертого тела.

— Чистое сумасшествие, — начал наконец Мастроджованни, словно возражая против какой-то нелепой мысли, обращаясь к Рипанделли. — Бутылкой! Что на тебя нашло?

— Я тут ни при чем, — произнес чей-то дрожащий голос. Рипанделли, не подняв головы, узнал Лучини. — Вы все свидетели, я сидел у окна.

Ответил ему Янкович, самый старший из всех, с унылым видом, каким-то неестественным голосом:

— Да, да, мальчики, можете теперь спорить... кто тут при чем и кто ни при чем. А пока мы спорим, кто-нибудь сюда войдет, и мы все отправимся продолжать наш интересный спор в другое место.

— Мы в любом случае туда отправимся, — угрюмо отозвался Рипанделли.

Янкович возразил с решительным жестом, выглядевшим комично:

— Он с ума сошел... Ему хочется в тюрьму, и непременно вместе с нами. — На мгновение его худое лицо сплошь покрылось морщинками: он смеялся. — Послушайте, что я вам скажу...

— ???

— Так вот. Княгиня жила одна, правда? Значит, раньше чем через неделю ее исчезновения никто не заметит. Сейчас мы отправимся танцевать и будем вести себя так, будто ничего не случилось. Когда бал окончится, мы погрузим ее в мою машину и увезем куда-нибудь за город... Или можем бросить ее в реку. Тогда решат, что это самоубийство. Живет одна... минута отчаяния... Такие вещи случаются... Во всяком случае, если нас спросят, скажем, что в какой-то момент она вышла из зала и больше мы ее не видели... Договорились?

Остальные побледнели от ужаса: женщина была мертва, это они поняли, но мысль, что совершено преступление, убийство и они все в нем виновны, не приходила им в голову. Они чувствовали себя соучастниками развлечений Рипанделли, а не совершенного им убийства. Предложение бросить труп в реку неожиданно поставило их лицом к лицу с действительностью. Лучини, Микели и Мастроджованни запротестовали, утверждая, что они не причастны к этому и не хотят быть причастными, пусть Рипанделли сам выпутывается.

— Ну что же, — ответил Янкович, прикинувший в уме возможные юридические последствия преступления, — значит, увидимся в суде... Рипанделли будет приговорен за убийство, и мы тоже получим по нескольку лет за непредумышленное соучастие.

Последовало растерянное молчание. Лучини, самый молодой из всех, стоял бледный, с глазами полными слез; он вдруг стал размахивать кулаком в воздухе:

— Я знал, что так кончится, я знал... Ах, не приходить бы мне сюда!

Но всем было ясно, что Янкович прав. И пора принимать решение: с минуты на минуту в дверь могли постучаться. Предложение самого старшего было одобрено, и сразу же все пятеро мужчин, словно торопясь заглушить тягостные мысли лихорадочной деятельностью, принялись устранять следы преступления. Бутылку и бокалы заперли в шкафчик, труп не без труда перетащили в угол и набросили сверху губчатый мат; на стене висело зеркало, и каждый внимательно поглядел на себя, в порядке ли прическа, одежда. Потом они друг за дружкой вышли из комнаты, погасили свет, заперли дверь; ключ забрал Янкович.

К этому времени бал был в полном разгаре и блеске. Зал был забит людьми: тесно сбившись в группки, гости сидели у стен, стояли опираясь на подоконники; в центре зала во всех направлениях двигались танцующие; отовсюду летели звезды с хвостами из канители, пестрые ватные шарики, из всех углов доносился пронзительный писк уйди-уйди и картонных дудок, среди свисавшего с люстры серпантина болтались разноцветные воздушные шары, время от времени лопавшиеся с резким хлопком, танцующие хватали их, отнимали друг у друга, затевали свалку вокруг тех, кому удавалось сохранить свои шары в целости. Смех, голоса, звуки, краски, фигуры, голубые облака табачного дыма — все это слилось воедино перед исступленными взглядами пятерых, склонившихся с галереи над залитой светом пропастью, расплывалось в радужное марево, казалось недостижимым царством Тысячи и одной ночи, раем беззаботности и легкости — утраченным, навсегда утраченным для них. Вопреки всем усилиям, мысль тянула их назад, загоняла в заставленную шкафчиками комнату с бокалами на столе, со стоящими в беспорядке стульями и трупом в углу. Но в конце концов им удалось сбросить оцепенение, и они спустились с лестницы.

— Советую вам, — сказал в заключение Янкович, — побольше оживления: танцуйте, развлекайтесь, как будто ничего не случилось.

И вот Мастроджованни, а за ним и остальные четверо замешались в толпу, растворились в ней, неотличимые от прочих танцующих, которые, тоже в черном, как и они, медленно двигались, обняв дам, проплывая в танце перед подмостками оркестра.

АНГЛИЙСКИЙ ОФИЦЕР

Она остановилась перед магазином, чтобы взглянуть, едет ли за ней машина или почему-либо отстала. Это был небольшой военный автомобиль, весь заляпанный грязью. За рулем сидел офицер, и, кроме него, в машине никого не было. Поравнявшись с магазином, он притормозил. Сесть ли ей в машину, подумала она, если пригласит офицер, и решила, что не стоит. Особенно на этой улице портних и модисток, где ее все знают. Отвернувшись, она принялась рассматривать выставленный в витрине шелковый шарф. Несколько дней назад, загоревшись желанием купить его, она интересовалась ценой.

Машина проползла за ее спиной вдоль тротуара и поехала дальше. Поглощенная созерцанием вожделенного шарфа, она лишь слегка пожала плечами, словно говоря: «Скатертью дорожка». Шелковый шарф очень ей нравился, но он был для нее слишком дорог. Поэтому, вдоволь налюбовавшись им, она вспомнила о машине, которой с гордым пренебрежением позволила проехать мимо. Ведь именно из-за этого шарфа, который совсем свел ее с ума, она пококетничала с офицером, весьма недвусмысленно улыбнувшись ему разок-другой. По правде говоря, она вышла сегодня из дому с твердым намерением подцепить кого-нибудь, кто купил бы ей этот шарф. Такой разлад между волей и характером выводил ее из себя. Отчего она не может хоть однажды быть последовательной? Раз уж ступила на эту дорожку, нечего корчить недотрогу.

Она с сожалением оторвала взгляд от шарфа и взглянула на себя в стекло витрины, где была выставлена женская галантерея. Ветер растрепал ей волосы — длинные белокурые пряди падали на лоб и на большие смеющиеся глаза. День выдался морозный и ясный. У нее закоченело лицо, под густым слоем пудры оно казалось бледным и бескровным. Но ее рот казался от этого еще более красным и припухшим. Она была без шляпки, в коричневом пальто, стянутом в талии поясом, со стоячим воротником. Она подумала, что, конечно же, она совсем не похожа на этих ужасных девиц, шляющихся по улицам под руку с солдатами. Внезапно она решила — и как ей показалось, твердо и окончательно — не поддаваться больше соблазнам случайных знакомств. Такое решение вернуло ей беспечное и бездумное спокойствие. Стоя перед витриной, она безмятежно рассматривала себя в стекло и поправляла волосы.

Улица слегка поднималась вверх и заканчивалась площадкой, с которой открывалась широкая панорама города. Посреди площадки возвышался обелиск. Отвернувшись от витрины, она посмотрела в конец улицы и увидела, что машина остановилась у обелиска так, что офицер имел возможность следить за каждым ее движением: если бы она направилась не вверх к площадке, он мог бы сразу же повернуть назад и следовать за ней. «Он ждет меня, он купит мне шарф», — подумала она с радостным облегчением, словно все то время, пока разглядывала себя в зеркале витрины, ее мучали сожаления об упущенной возможности. Она тут же подошла к двери магазина, открыла ее, окликнула хозяйку, с которой была знакома, и попросила отложить для нее шарф до следующего дня. Потом весело направилась к обелиску.

Но еще не дойдя до обелиска, она вдруг вспомнила о решении, принятом ею за несколько минут до этого, и закусила губу, досадливо мотнув головой. Вот чего стоят все ее благие намерения. Она разозлилась на себя. Но не стала поворачивать обратно. Оправдываясь, она сказала себе, что это ничего не изменило бы: офицер все равно догнал бы ее. А теперь она даже не взглянет на него и пройдет мимо, а если он привяжется, отошьет его, да так, что он не посмеет усомниться в ее порядочности.

Выйдя на площадку, она, потупив глаза, прошла мимо машины, подошла к парапету и принялась любоваться открывающимся оттуда видом города. Она великолепно понимала, что останавливаться и смотреть на столь хорошо знакомую ей панораму — значило приглашать офицера вылезти из машины и подойти к ней. Но она подумала, что, в конце концов, в этом нет ничего дурного. От разрешения подойти к ней и, пожалуй, даже заговорить до всего остального еще весьма и весьма далеко. Она облокотилась о парапет и, поправив волосы, взглянула вниз.

Как она и предполагала, офицер подошел и прислонился к парапету рядом с ней. Она украдкой взглянула на него. Он показался ей совсем молоденьким, гораздо моложе ее. У него было круглое, румяное лицо с крупными чертами и маленькие, глубоко посаженные светло-голубые глаза. Положив руки на парапет, он не отрываясь смотрел на крыши домов, чуть ли не с изумлением, словно то, что он их увидел, было для него полной неожиданностью. Она посмотрела на него пристально, бесстыдно, думая при этом, что как только их взгляды встретятся, ему придется заговорить. Но офицер, казалось, не решался обернуться в ее сторону. Время шло, и она все больше злилась на себя за то, что так ясно дает понять, что ждет, когда он станет приставать к ней. При завязывании подобного рода знакомств она всегда испытывала точно такое же раздражение; всякий раз голос мужчины, пытающегося под каким-нибудь предлогом начать с ней разговор, заставлял ее дрожать от злости. Но другие, подумала она, хотя бы брали на себя инициативу. А этот — она совершенно уверена, — если не заговорить с ним самой, не промолвит ни слова. Свирепо уставившись на смущенно молчавшего офицера, она вдруг сказала:

— Хорошая погода, не правда ли?

Офицер тут же обернулся и ответил с глубоким убеждением:

— Чудесная.

Голос у него оказался приятным, вежливым. Потом опять наступило молчание.

«Больше я ему ничего не скажу,— подумала она, досадливо скривив рот. — Постою немного и уйду».

Видно было, что офицер старается побороть свою робость. Наконец, кивнув в сторону машины, он сказал так, словно обычная в таких случаях сделка между ними уже состоялась:

— Поехали.

Она почувствовала, что ноги ее словно бы сами собой рванулись к машине, и еще больше разозлилась.

— Зачем? — спросила она, пристально глядя на него и кокетливо улыбаясь.

— Чтобы побыть вместе, — простодушно ответил офицер.

— А зачем нам быть вместе?

Теперь ей казалось, что она должна держать себя, как добропорядочная дама, неизвестно почему остановленная на улице незнакомым мужчиной и готовая доказать ему, что он ошибся. Молодой человек, видимо, растерялся.

— Чтобы поговорить, — ответил он. И осторожно добавил. — Мы можем зайти в кафе.

— Но я никогда не хожу в кафе.

— Почему?

— Потому,— ответила она, высокомерно и надменно отчеканивая каждый слог,— что я не имею обыкновения ходить в кафе.

— О, — воскликнул офицер, словно сказанное ею заставило его понять очень многое. — Тогда просто покатаемся, — предложил он, снова указывая на машину.

— Я не привыкла кататься с незнакомыми молодыми людьми.

Она увидела, что на этот раз офицер покраснел.

— Меня зовут Брюс, — сказал он. — Гильберт Брюс... а вас?

— Для вас меня никак не зовут,— ответила она, очень довольная тем, что так ловко его отбрила.

Наступило молчание.

— Вы плохо обо мне думаете,— упрямо продолжал офицер.— Но ведь вы не знаете, чего я от вас хочу.

Тут она вконец обозлилась.

— Еще как знаю! — ответила она.— Вы хотите предложить мне деньги за удовольствие приятно провести со мной часок-другой, не так ли?

Она заметила, что он опять покраснел, но промолчал.

— И я знаю даже, — добавила она ехидно, — сколько вы собираетесь мне предложить... Две-три тысячи лир или, может, чуть больше... Не так ли?

Офицер попробовал отшутиться:

— Однако вы неплохо знаете цену.

— Еще бы не знать... Ведь ваши товарищи обычно бывают расторопнее вас и, не разводя канители, сразу называют сумму.

— Мои товарищи смелее меня.

— А потом, — продолжала она, — вы предложите мне еще несколько пачек сигарет.

— Сигарет? Да, конечно, — сказал офицер, пытаясь улыбнуться.

— И пару банок консервов, если я вас попрошу. Не так ли?

Не переставая улыбаться, он слегка кивнул головой. Потом взял ее за руку и сказал смущенно:

— Я вижу, что ошибся... Извините.

Она поняла, что офицер прощается, и вдруг испугалась, что он и в самом деле принял ее совсем за другую женщину и что теперь, после стольких усилий, она же еще останется с носом. Ее задор и злость тут же исчезли.

— Да нет, — сказала она с поспешностью, показавшейся ей самой комичной, — вы нисколько не ошиблись.

— Не ошибся?

— Говорят же вам, нет, — повторила она, теряя терпение.

Она увидела, что он сильно покраснел; но на этот раз, должно быть, уже не от смущения.

— Тогда поехали?

— Поехали.

Они направились к машине. Офицер помог ей сесть, уселся и сам рядом с ней и включил мотор.

— Куда?

— Ко мне домой, — сказала она просто. — Я покажу дорогу.

Машина тронулась, объехала обелиск и, почти задевая низко свисающие ветви деревьев, помчалась по бульварам. День был чудесный, и все дорожки были заполнены гуляющими. Она поглядывала на прохожих и не могла подавить в себе чувства тщеславной радости от того, что едет мимо всех этих людей в машине, пусть даже в военной машине, заляпанной грязью. Теперь она спрашивала себя, почему так грубо разговаривала с офицером даже после того, как решила согласиться. Она злилась на себя и в то же время испытывала смутное удовлетворение от того, что еще раз поступила так, как поступать — она понимала это, — совсем не следовало.

Повинуясь ее указаниям, офицер провел машину по бульварам, затем по широкой, обсаженной деревьями аллее. В стремительном беге машины, в самом ветре, заполнявшем ей рот и

трепавшем волосы, она ощущала нетерпение страстного желания, уверенного, что скоро оно будет удовлетворено; ей было стыдно, и в то же время она испытывала чувство горькой радости. Они въехали в бедный квартал. За голыми ветками больших платанов потянулись уродливые типовые строения со множеством окон.

— Сюда, — сказала она, указывая боковую улицу.

Офицер осторожно переехал через трамвайные пути и въехал на улицу. Многоэтажные здания занимали лишь начало улицы, за ними раскинулся квартал жалких лачуг.

— Сюда... Направо... Теперь налево, — говорила она, по мере того как один переулок сменялся другим. Офицер вел машину, внимательно прислушиваясь к каждому ее слову. Наконец она сказала:

— Приехали.

Машина остановилась.

Они оказались перед воротами, увитыми виноградом. Сад, узкой лентой опоясывающий дом, был, по-видимому, густой, но маленький. Сам же дом, грязно-коричневого цвета и тоже небольшой, с приземистым мезонином и четырьмя окнами по фасаду, выглядел довольно невзрачно.

— Если хотите, можете поставить машину в сад.

Офицер кивнул в знак согласия и снова включил мотор. Она распахнула сперва одну створку ворот, затем с трудом — вторую. «Я предложила ему поставить машину в сад, — думала она, возясь с воротами, — только потому, что мне будет стыдно, если ее увидят перед моими воротами».

Перед крыльцом оставалась небольшая заасфальтированная площадка, на которой могла поместиться машина. Остальная часть сада между оградой и стеной дома густо заросла травой и старым плющом. В глубине сада, в зарослях лавра, виднелся маленький вольер, окруженный проволокой. Здесь они держали трех кур и петуха. Не зная, чем заняться, пока офицер разворачивался, чтобы поставить машину, она подошла к вольеру и заглянула туда. На темном фоне сырых опавших листьев ярко выделялись белое оперенье петуха, его красный гребень и красная бородка. Но все три курицы были черного цвета, и в тени кустарника их почти не было видно. «Не могу я стоять у двери, словно прислуга, — подумала она. — Лучше уж покормлю кур... Когда он подойдет, увидит, какая я домовитая. Так я произведу на него лучшее впечатление». Она подняла с земли миску и стала медленно сыпать корм курам, давая офицеру время поставить машину у дома. Прогрохотала въехавшая во двор ма-

шина, потом сразу же наступила тишина. но она не обернулась. Три курицы жадно клевали. Ей казалось, что все это представляет трогательное зрелище: хорошо одетая женщина сыплет корм, а у ее ног копошатся куры. Она услышала скрип закрываемых ворот, но продолжала сыпать корм. Петух, видимо, не был голоден: он стоял поодаль и время от времени точил клювом шпору. Наконец она услышала, как под сапогами офицера зашуршали листья и нарочно повернулась к нему спиной. Офицер вошел в курятник и подошел к ней.

— Я запер ворота, — сказал он бодро.

— Правильно сделали, — ответила женщина, не глядя на него.

Как раз в это время у нее кончился корм. Она наклонилась и поставила миску на землю.

— Вам нравятся куры? — спросила она выпрямляясь.

— По правде сказать, нет, — улыбнувшись ответил юноша.

— Они несут яйца, — сказала она серьезно, словно намекая на нечто очень важное и как будто желая сказать: «Я женщина бедная, а в наше время куры, несущие яйца, представляют немалую ценность».

Стоящий поодаль петух вдруг как бы невзначай подошел к одной из куриц, особенно надутой и важной, и вскочил на нее. Курица присела, но не сделала попытки удрать. Петух крепко вцепился клювом в ее гребень и некоторое время потрепыхался на ней. Потом отпустил ее и принялся сосредоточенно клевать оставшиеся зерна. Курица встала, взъерошила перья, опять привела их в порядок и еще более важная и надутая, чем прежде, стала клевать рядом с петухом.

— У них тоже любовь, — сказал офицер с фатоватой усмешкой.

Она подумала, что сказанная им фраза вульгарна, и ничего не ответила.

— Прошу, — произнесла она холодно и подчеркнуто учтиво.

Они вышли из курятника и направились к входной двери.

Заляпанная грязью военная машина стояла перед крыльцом.

— Вы приехали с фронта? — спросила она, указывая на машину.

— Да с фронта.

— Там идут бои? — снова спросила она, поднимаясь по ступенькам крыльца и улыбаясь ему.

Ей стало неприятно, оттого что она спросила его об этом, но почему, она сама не понимала.

— Да, идут бои, — равнодушно сказал офицер.

Женщина вынула из сумочки ключ, отперла дверь и вошла в дом. Офицер вошел следом за ней и снял фуражку. Они оказались перед лестницей с железными перилами. В доме было темно и холодно.

— Я живу на втором этаже, остальные — на третьем, — объяснила она, проходя вперед. Офицер ничего не ответил.

На первой площадке она открыла дверь и пригласила его войти. Потом заперла дверь, оставив ключ в замке. Взяв из рук офицера фуражку, она повесила ее на вешалку. Офицер снял шинель и повесил ее под фуражкой. Вешалка из полированного дерева стояла в узеньком коридорчике с темными, облезлыми стенами. Они прошли в гостиную — небольшую квадратную комнату, такую же облезлую, как и коридор. Вся обстановка здесь состояла из старого дивана и двух кресел у покрытого стеклом столика на никелированных ножках. В углу на тумбочке стоял радиоприемник. Она подошла к окну и подняла жалюзи. Но в комнате не стало светлее. На окнах висели синие занавески, и сквозь них смутно просвечивали голые ветки какого-то большого дерева. Офицер огляделся, не решаясь сесть на жесткий продавленный диван холодного голубоватого цвета.

— Садись, садись, — сказала она, с намеренной развязностью переходя на «ты». Офицер сел и, когда она проходила мимо него, видимо, осмелев от этого перехода на «ты», схватил ее за руку.

— Нет... нет... Погоди, — сказала она и вышла из комнаты.

Она прошла в конец коридора, подошла к внутреннему телефону и сняла трубку. И почти сразу же услышала голос матери, которая, волнуясь, как всегда, спросила, неужели она уже вернулась.

— Конечно, раз я тебе звоню, — ответила она резко. И добавила. — Не пускай вниз девочку... У меня гость... Потом я сама поднимусь.

Мать хотела еще что-то сказать, но она бросила трубку.

Теперь она спрашивала себя, в самом ли деле ей нравится этот офицер, надо ли и дальше сохранять принятую в хорошем обществе позу лицемерного презрения к продажной любви, в которую она встала с первых минут их знакомства.

«Во всяком случае, сегодня, — подумала она, — я не должна брать у него денег».

В тот первый раз, когда она уступила домогательствам одного из ищущих приключения военных, она сделала это совершенно бескорыстно, не собираясь вовсе на этом подзаработать. Но потом, когда они расставались, военный предложил ей деньги,

и, почти не задумываясь, с веселой, милой и беспечной непринужденностью, глубоко поразившей ее самое, с покорностью, наверное показавшейся мужчине преднамеренной, но которая была всего лишь результатом ее полнейшей неопытности, она эти деньги взяла. Затем она об этом пожалела, так как уловила, а может быть, ей это только почудилось, — бог знает какое презрение к себе в тоне своего случайного любовника. И тогда она поклялась, пряча, однако, деньги в сумочку, что это случилось с ней в первый и последний раз. Но со вторым военным — она сама не могла бы объяснить почему — все произошло точно так же: она была такой же сговорчивой и вела себя с той же милой и унизительной для нее непринужденностью. Так же было и с третьим. В конце концов она помимо своей воли всецело предалась этому своего рода призванию, которое оказалось столь прибыльным. Однако неизменно она испытывала чувство горькой досады. Сегодня ее досада невольно обернулась грубостью, с которой она встретила предложение молоденького офицера. И вот теперь перед ней снова встал вопрос: брать деньги или нет? Правда этот офицер нравился ей не больше всех прочих. Но в пользу бескорыстной любви говорило то, что он был еще очень юн, почти мальчик, моложе ее лет на пять или шесть. Его зеленая молодость, подумала она, проявляется и в его робости, и в том, как вежливо и почтительно он с ней держится. Должно быть, студент, решила она, и, конечно же, из хорошей семьи. Кто знает, были ли у него до нее женщины.

Размышляя об этом, она зашла в маленькую, чистенькую кухню. Подошла к буфету, открыла его, вынула бутылку и два бокала, поставила их на поднос и понесла.

День клонился к вечеру. Комната погрузилась в серые сумерки, делавшие еще более странной и нереальной фигуру офицера, который, положив ногу на ногу и засунув руки в карманы, сидел в глубине дивана против пустого стола и кресел. Она поставила на стол поднос, откупорила бутылку и, наклонив голову так, что волосы упали ей на нос, придав ее хорошенькому лицу выражение хлопотливое и сосредоточенное, налила в бокалы виски.

— Английское, — сказала она с улыбкой и села рядом с ним на диван. — Тебе нравится?

— Приятное, — ответил офицер. Он вынул из кармана пачку сигарет и протянул ей.

— Сигареты? — воскликнула она с излишней живостью. — Спасибо... у меня есть свои... Посмотри. — И принялась искать сумочку.

Офицер сделал настойчивый жест, как бы говоря «да бери же»; она тут же прекратила поиски сумочки и с той же унизительной покорностью, которая заставляла ее брать деньги, взяла сигарету.

Некоторое время они молча курили. Женщина сняла пальто и дрожала от холода в своей шерстяной кофточке и легкой юбке.

— Холодно, — улыбнулась она и, дохнув, показала на облачко пара.

— Да, очень, — спокойно согласился офицер.

— Вы, англичане, больше привыкли к холоду, чем мы, итальянцы... В вашей стране всегда холодно.

— В этом году даже в Лондоне холодно, — сказал офицер, не глядя в ее сторону.

— Почему?

Он пожал плечами.

— Составы заняты под военные перевозки... Не подвозят угля.

— Вы ведете войну всерьез... В Англии все работают для войны... Даже женщины, не правда ли?

— Конечно, — сказал офицер очень убежденно. — Все работают для войны... Даже женщины... Совершенно верно.

Наступило долгое молчание. Офицер пристально смотрел на нее своими глубоко посаженными маленькими голубыми глазами, и под его взглядом она ощущала, как ею овладевает тревога и растерянность. «Сейчас он попробует поцеловать меня», — подумала она. Мысль об этом почти ужаснула ее, и рот ее сам собой исказился в брезгливой гримасе. Впрочем, предчувствие неизбежности первого поцелуя всегда вызывало в ней гадливость и отвращение. Она была замужем, у нее была дочь, у нее бывали любовники, но едва лишь чужие губы касались ее губ, как всю ее с головы до ног охватывало почти истеричное чувство девической стыдливости. Однако офицер не поцеловал ее. Вместо этого он взял ее руку и, показав на обручальное кольцо, спросил:

— Ты замужем?

— Да.

— А где твой муж?

Она заколебалась: сказать ли ему правду? Сказать ли, что она просто разъехалась с мужем? Как-то, неизвестно уж почему, она соврала одному офицеру, заявив, что муж ее попал в плен, и теперь эта ложь показалась ей самым удобным объяснением. С одной стороны, это, конечно, выставляло ее поведение в еще более непривлекательном свете, но, с другой — вызы-

вало к ней жалость, оправдывая ее поступки бедностью и одиночеством.

— Мой муж в плену, — сказала она, нагло глядя ему прямо в глаза.

Офицер по-прежнему молча смотрел на нее. Но ей показалось, что в его взгляде она прочла что-то вроде сочувствия, и она уцепилась за это.

— Я осталась совсем одна, — продолжала она, подчеркивая каждое слово. — Мой муж неплохо зарабатывал... А теперь у меня нет ни гроша.

Ей казалось, что она говорит правду, но в то же время она знала, что все это ложь, что муж ее совсем не в плену, что он присылает достаточную сумму, чтобы у нее было все необходимое, и что те деньги, которые она таким путем зарабатывала и намеревалась зарабатывать и впредь, тратятся ею только на ее собственные прихоти. Но ей казалось, что она говорит правду, и, как всякий человек, рассказывающий о себе грустную правду, она растрогалась.

— А ты женат? — спросила она офицера.

— Обручен.

Он сунул руку в задний карман брюк, извлек бумажник и, вынув из него фотографию, протянул ей. На фотографии была изображена не то чтобы безобразная, но и не красивая девушка, стоявшая на фоне деревьев, опершись о велосипед. Она сознавала, что рассматривает фотографию с глупым и лицемерным почтением.

— Хорошенькая, — сказала она, возвращая карточку.

— Да, очень хорошенькая, — с гордостью сказал офицер, пряча фотографию в бумажник.

Вдруг она испугалась, что фотография невесты расхолодила его; ей захотелось вызвать его на тот самый поцелуй, которого она только что так боялась.

— Не прошло и часа, как мы познакомились, — сказала она с улыбкой, — а кажется, знаем друг друга давным-давно. Не правда ли?

Говоря это, она положила свою ладонь на ладонь офицера и просунула пальцы между его пальцами.

Сумерки сгустились в комнате, густые тени выползли из углов, подобрались к дивану, к сидящим на нем женщине и офицеру.

Офицер сжал ей руку, привлек ее к себе. Но не поцеловал ее, а лишь положил ее голову себе на плечо. Некоторое время они сидели так, не двигаясь, в сером, холодном полумраке. Скло-

нив голову на плечо офицеру, она таращила в темноте глаза, не зная, что же теперь делать. Она не впервые сталкивалась с сентиментальностью там, где предполагала встретить циничную дерзость, но всякий раз это смущало и даже злило ее. Ей казалось, что прошло бесконечно много времени. Наконец офицер попытался ее поцеловать.

— Подожди, — сказала она рассудительно и стерла с губ помаду.

Потом они поцеловались.

Поцеловав ее, офицер опять положил ее голову себе на плечо и принялся гладить, поправляя ей волосы на лбу, взъерошивая их, снова поправляя и снова взъерошивая. Он гладил ее голову в каком-то немом чувствительном исступлении, и казалось, он хочет отполировать ее лоб, подобно тому как мерно набегающие на берег волны полируют белую гальку. Она поняла, что ей попался мужчина, больше нуждающийся в нежности и ласке, чем в физической близости, в страсти, и, хотя она не мешала ему, ей вдруг сделалось невыносимо скучно. Время от времени офицер переставал гладить ее, осторожно целовал и снова проводил пальцами по ее лбу, сперва над бровями, а потом там, где начинались волосы. Рука его была нежной и в то же время тяжелой; нежной, потому что ею двигало какое-то теплое чувство, тяжелой, потому что она сильно давила на ее лоб, как бы желая втереть под кожу эту ласку, словно своего рода питательный крем. Неожиданно в глубокой тишине раздался стук в дверь.

— Извини, — сказала она, вставая с дивана. Она прошла в коридор и слегка приоткрыла входную дверь. В первый момент она никого не заметила, но, опустив глаза, увидела круглое личико дочки, ее длинные волосы и завязанный на голове бант.

— Я же просила бабушку не пускать тебя вниз... У меня гости,— сказала она, не открывая двери.

— Бабушка спрашивает, придешь ли ты обедать.

— Приду... А теперь иди... и больше не заходи за мной... Я сама приду.

— Ладно.

Девочка послушно ушла. В приоткрытую дверь женщине не было ее видно, она только слышала, как девочка медленно поднималась по слишком высоким для ее ножек ступенькам. Потом звук детских шагов затих, и она осторожно прикрыла дверь. Она почувствовала, что офицер стоит на пороге гостиной. Не оборачиваясь, она наклонила голову так, что волосы опять упали ей на глаза, и сказала:

— Может, пойдем в мою комнату?

Они прошли по коридору в спальню. Там тоже царил холодный полумрак; словно неосязаемое пыльное облако, он окутывал низкую кровать и два-три простых стула, и от этого спальня казалась пустынной и нежилой. Она пропустила офицера вперед и закрыла дверь. Потом обернулась и сразу очутилась в его объятиях. На этот раз он обнял ее так сильно и неумело, что, не удержавшись на ногах, они оба сели на постель. Все еще находясь в его объятиях, она протянула руку и зажгла стоящую на тумбочке лампу. Он сразу же отпустил ее. Не зная, что сказать, она спросила растерянно:

— Что ты обо мне думаешь?

Офицер внимательно оглядел ее. На мгновенье она испугалась, что он скажет какую-нибудь пошлую, грубую фразу, которая обидит ее, и пожалела, что задала подобный вопрос.

— Я думаю, — ответил он наконец совершенно искренне и даже как-то застенчиво, — я думаю, что ты очень красивая.

Она опустила глаза с довольной усмешкой.

— Спасибо, ты очень любезен. — Затем, оправив юбку, встала с кровати. — Пойду, закрою окно.

Она подошла к окну и опустила жалюзи. И подумала: «Надо сказать, чтобы он раздевался». И опять ее злила его неопытность, вынуждающая ее к бесстыдству. Но едва эта мысль промелькнула у нее в голове, как она вдруг заметила, что офицер спокойно снимает мундир и вешает его на стул. Затем он стал расстегивать брюки. Такая неожиданная развязность рассердила ее. Ей показалось, что она совсем не вяжется с робостью первых объятий.

Присев на край кровати, она, не говоря ни слова, сжав зубы от затопившей ее ярости, наклонилась, чтобы снять туфли. Она слышала, как юноша укладывается за ее спиной; и тут вдруг мысль о том, что он смотрит на нее, окончательно вывела ее из себя.

— Прошу тебя, — сказала она сердито, резко обернувшись к нему, — отвернись... Не выношу, чтобы на меня глазели, когда я раздеваюсь.

Она заметила, что ее негодующий тон несколько озадачил его. Тем не менее он послушно повернул голову на подушке, но остался лежать на спине, наполовину прикрыв одеялом голую грудь. Она встала и, дрожа от холода, торопливо сняла все, что на ней было надето. Но то ли нетерпение, то ли любопытство заставило юношу обернуться и увидеть ее в самой неизящной и неуклюжей позе, когда, стоя одной ногой на полу и уперев колено другой в край кровати, вытянувшись всем телом вперед,

с болтающимися грудями и свисающими вниз волосами, она забиралась в постель. Это обозлило ее еще больше. Перегнувшись через него, подставив его взгляду теплую темноту подмышек, она погасила лампу на тумбочке.

Потом они лежали обнявшись под грубым стеганым одеялом, царапающим их голые тела. В темноте она ощущала его руку, которая опять упорно, не переставая гладила ей лоб и глаза. К его прежней сентиментальной нежности прибавился трепет ревнивой страсти. Там, где ее тело не прикасалось к нему, ей было холодно, и она чувствовала, как под лавиной его ласк губы ее кривит горькая гримаса печальных раздумий. Ей хотелось бы ни о чем не думать, но мозг, точно высвободившись из-под контроля ее воли, лихорадочно и неустанно работал. Правда, в сознании ее возникали не столько мысли, сколько образы, несуразные, несвязные, перемешанные с воспоминаниями и туманными мечтами. Она представляла, например, как юноша влюбится в нее и увезет ее к себе на родину. А потом воображала, как она будет жить в Англии, рисовала себе людей, с которыми будет встречаться, дом, где поселится, свою дочь и мать. От этих картин она переходила к другим, никак не связанным с предыдущими, а они в свою очередь порождали следующие, странные и, казалось бы, совершенно неожиданные. Она вдруг спрашивала себя, кто был тот мужчина, который поздоровался с ней сегодня незадолго до того, как она встретила английского офицера. Все эти невольные порождения фантазии раздражали ее. К тому же ее все время, точно холод, от которого коченела спина, мучила настойчивая, неотвязная мысль: брать или не брать деньги?

Так лежала она в темноте, в глубокой тишине теперь уже спустившегося вечера. Наконец она задремала. Проснувшись, она никак не могла понять, сколько времени она проспала. Она увидела, что офицер уже встал, оделся и застегивает мундир. Лампа освещала комнату, в которой царил беспорядок, обычный при такого рода свиданиях.

— Я подожду тебя там,— сказал офицер, кивнув на дверь, и вышел.

Когда он ушел, она некоторое время лежала не двигаясь на смятой постели. Потом вдруг испугалась, что офицер улизнул, не заплатив. Такое с ней уже случалось; одно то, что он ушел столь поспешно, было подозрительно. Ей стало противно своего страха, и все еще лежа в постели она почти надеялась, что офицер в самом деле удрал: тогда бы он по крайней мере оказался перед нею в долгу — и не только потому, что не заплатил. Тем

не менее она встала и быстро натянула платье, не в силах отделаться от обступивших ее, словно ароматы продажной любви, гнусных опасений.

Она подошла к зеркалу причесаться и увидела в нем свои широко раскрытые, словно в ярости, глаза — алчные, злые, подозрительные. Всматриваясь в эти бесстыдные глаза, она обнаружила на тумбочке подзеркальника пачку денег, сложенных вчетверо. Наморщив лоб, она пересчитала их с чувством горького любопытства. Денег оказалось гораздо больше, чем она ожидала. Тогда она испугалась, что офицер действительно ушел и быстро вышла из комнаты.

Она нашла его в гостиной, сидящим на диване. Он зажег лампу, налил себе в бокал виски и закурил. Увидев ее, он встал.

Она подошла к нему запыхавшись, сказала:

— Это хорошо, что ты решил выпить... Налей немного и мне.

Офицер взял бутылку и наполнил ее бокал. Она села и жадно выпила. Теперь ей было страшно, что офицер уйдет, так же как раньше она боялась, что он ее поцелует. Ее охватила мучительная тоска, чувство унизительного и безысходного одиночества. Ей хотелось, чтобы он остался. Они бы вместе выпили, напились бы. Она понимала: ей хочется выпить потому, что напившись она сможет сказать офицеру многое такое, до чего ему, вероятно, нет дела, но что рано или поздно ей придется кому-нибудь высказать.

Она налила себе второй бокал и хотела налить ему. Но он отказался, помахав рукой.

— Больше не хочешь? — спросила она испуганно.

— Нет, спасибо.

— Идея! — воскликнула она, взглянув на него, и в глазах ее вспыхнула вдруг надежда.— Почему бы тебе не остаться у меня поужинать... Я сама приготовлю... Приготовлю тебе спагетти... Ты любишь спагетти?

— Люблю, — ответил он и с сожалением добавил: — Но мне надо скоро идти.

— Нет... не уходи... Оставайся ужинать, а потом переночуешь у меня.

Она приободрилась, увидев, как он, словно оправдываясь, качает головой, точно она упрекнула его в чем-то таком, в чем он совсем не виноват.

— Мне хотелось бы остаться, — сказал он просто. — Всякий бы на моем месте захотел остаться... Но не могу.

Сказав это, он встал. Ее охватила паника, и, бросившись к нему, она взяла его руку и поднесла к губам.

— Не уходи, — попросила она. И уже не отдавая себе отчета в том, что говорит, добавила: — Я чувствую, что полюблю тебя, если ты останешься.

— Я должен уйти. Ничего не поделаешь — служба, — объяснил он. Потом сказал, отнюдь не желая ее уколоть: — Завтра ты будешь с кем-нибудь другим и не вспомнишь обо мне.

Она не решилась возразить и, огорченная, пошла следом за ним, поправляя волосы и кусая губы. Офицер надел шинель, достал из кармана фонарик и вышел на крыльцо. Яркий круг фонаря прорезал темноту сада и осветил заляпанный грязью борт машины.

Они спустились с крыльца.

— Ну, а теперь до свидания, — сказал офицер, протягивая ей руку.

— До свидания, — ответила она, пожимая его руку. И добавила: — Садись в машину, я сама открою ворота.

Офицер сел в машину и включил мотор. Подбежав к воротам, она с трудом распахнула их. Машина двинулась мимо нее и выехала на улицу. Ей вдруг припомнилось, как сегодня днем, открыв ворота, она прошла в курятник и как потом они вместе с офицером смотрели на кур. Какой надутой и исполненной собственного достоинства казалась курица до того, как на нее вскочил петух. Такой же надутой и исполненной собственного достоинства была она и потом. Как для нее все это просто кончилось: встряхнулась и пошла себе как ни в чем не бывало.

Она вздрогнула, услышав шум мотора уезжающей в ночь машины. Потом заперла ворота и направилась к двери. «Встряхнулась и пошла себе как ни в чем не бывало», — подумала она, входя в дом.

КРОКОДИЛ

Около пяти часов вечера синьора Карапузо надела шляпку и отправилась с визитом к синьоре Верзили.

Синьора Верзили, супруга директора банка, занимала большую квартиру в бельэтаже несколько обветшавшего, по аристократического палаццо, расположенного в квартале некогда фешенебельном, а ныне пришедшем в полный упадок. Для синьоры Карапузо, муж которой был подчиненным синьора Верзили, визит этот представлял исключительную важность. Во-первых, живя в нескольких хоть и новых, но жалких комнатенках од-

ного из многоэтажных зданий на окраине города, она по своему общественному положению стояла значительно ниже синьоры Верзили. Во-вторых, синьора Верзили впервые после почти что годового знакомства, соизволила пригласить ее к себе в гости.

Синьора Карапузо удивительно походила на суетливую курицу, которая, готовясь снести яйцо, долго и старательно, с загадочным видом разгребает землю. Была она маленькой, широкобедрой, с крупными чертами смуглого лица, близко посаженными глазами и остреньким носом. Синьора Верзили, напротив, была величественной, высокой и дебелой дамой, надменной, манерной, жеманной, надутой, чванливой и чрезвычайно важной. У синьоры Карапузо имелось пятеро маленьких детей, и ни о чем другом говорить она не могла. У синьоры Верзили детей вовсе не было, зато она посещала театральные спектакли, покровительствовала музыкантам и декламировала стихи. Синьора Карапузо почти всегда одевалась в черное, носила большие туфли, напоминающие крестьянские сабо, и нелепые зеленые шляпки, украшенные бисером и вуалетками. И напротив, о синьоре Верзили можно было сказать, что она не снимает вечернего платья, либо лиловатых, либо темно-зеленых тонов. Не удивительно, что при столь больших различиях между обеими дамами синьоре Карапузо, совсем недавно приехавшей из провинции, синьора Верзили представлялась совершенством, живым воплощением столичного изящества, а ее салон — чуть ли не алтарем храма, святилищем в пещере оракула.

Впрочем, столь робкое и восторженное поклонение не помешало синьоре Карапузо составить для себя определенный план, как ей следует действовать во время визита. План этот заключался в твердом намерении глядеть во все глаза и хорошенько запомнить все, что будет говорить и делать синьора Верзили, а также постараться, запечатлеть в памяти то, что покажется ей в доме синьоры Верзили наибольшей достопримечательностью. Мы уже говорили, что синьора Карапузо была провинциалка; добавим, что родители ее были людьми бедными и воспитание она получила далеко не блестящее. Поэтому ее вечно мучали сомнения, когда дело касалось светского этикета, знание которого совершенно необходимо жене банковского чиновника, мечтающего сделать хорошую карьеру. Надо ли даме первой подавать руку мужчине или ждать, пока он сам тебе ее протянет? Следует ли, сморкаясь, отворачивать лицо в сторону? Прилично ли даме курить? Можно ли сидеть, закинув ногу на ногу? Снимать ли перчатки здороваясь? Надо ли вставать всякий раз, как в комнату входит новое лицо? Можно ли размачивать печенье в

чае или же надо кушать его сухим? И вообще, как приличнее подать чай? С пирожными или с сухариками? Как обставить квартиру? Какие занавески повесить в гостиной? И какие в столовой? Как должна быть одета горничная? Какой туалет следует надевать в пять часов вечера, принимая приятельниц? И так далее, и тому подобное. Синьора Карапузо надеялась, что во время этого визита манеры и поведение хозяйки дома помогут ей разрешить множество подобного рода вопросов, раз и навсегда покончив с мучающими ее сомнениями.

Кроме того, синьора Карапузо, в душе которой этот визит вызвал лавину дотоле скрытого тщеславия, надеялась, что синьора Верзили пригласит на чай нескольких своих приятельниц, дам не менее светских и элегантных. Правда, сегодня была не пятница, день, в который синьора Верзили обычно принимала гостей. Но все равно, могла же она, чтобы уважить синьору Карапузо, позвать кое-кого из своих приятельниц, хорошо известных в банковских кругах: синьору Зануди, например, синьору Дурило, синьору Балдуччи. Синьора Карапузо почти не сомневалась, что если встретит у синьоры Верзили этих дам — каждая из которых имела свой журфикс — то уж как-нибудь сумеет выбить из них парочку приглашений. А там — за одним приглашением последуют другие...

Однако тут синьору Карапузо постигло разочарование. Синьора Верзили приняла ее в небольшой полутемной гостиной, которая показалась синьоре Карапузо обставленной в восточном стиле, поскольку там стояла резная мебель, а на стенах висело оружие и ковры. Гостиная же, в которой проходили знаменитые приемы, оказалась закрытой; свет в ней не горел, и сквозь стекла двустворчатой двери ничего нельзя было разглядеть. Хозяйка дома в темно-красном бархатном платье с искусственной розой на большом декольте встретила синьору Карапузо любезно, даже приветливо, но с холодной вежливостью. Усевшись друг против друга на краю софы, дамы тут же принялись болтать в приглушенном свете лампы, тоже в восточном стиле.

Разочаровав синьору Карапузо в ее мечтах завязать знакомства со светскими дамами, синьора Верзили не обманула остальных надежд своей гостьи. Прихлебывая чай и отвечая на церемонные, чуть равнодушные вопросы синьоры Верзили о ее доме, детях, муже, даче и тому подобных мало кого волнующих предметах, синьора Карапузо имела возможность сделать множество ценных наблюдений. Синьора Верзили сидела, высоко закинув нога на ногу под темно-красным бархатным платьем; она не макала сухарики в чай, а кусала их, слегка приподнимая при

этом верхнюю губу; она не сморкалась (правда, у нее не было насморка); время от времени томным движением руки она поправляла свои пышные светлые волосы, уложенные в старомодную прическу; спросив у синьоры Карапузо, налить ей чая покрепче или послабее, она как ни в чем не бывало жестом ласковым и доверительным положила ей на колено руку; говорила она вполголоса, отчетливо произнося каждый слог и поджимая губы; поднося чашку ко рту, она слегка оттопыривала мизинец, на котором красовался большой зеленый камень; выплевывая вишневую косточку, попавшуюся ей в шоколадной конфете, она прикрыла рот рукой; к чаю были поданы сладкие и соленые сухарики — и никаких пирожных; она не переставая курила, посасывая длинный красный мундштук (вероятно, цвет его должен был гармонировать с цветом ее платья), и выпускала дым через нос; пепельницу она называла явно иностранным словом «сандрие»...

Изучая обстановку гостиной, помимо уже упоминавшейся резной мебели, которую гостья сочла чересчур экзотичной, но вполне под стать такой несколько эксцентричной даме, как синьора Верзили, синьора Карапузо отметила, что занавески на окнах были красного цвета и присборены; что они доходили до половины окна и были прикреплены сверху и снизу к двум медным прутьям; что обои на стенах тоже были красные; что в подлокотники кресел были вделаны пепельницы; что одетая турчанкой кукла сидела в глубине софы на груде разноцветных подушек; что у чайного столика имелись колесики, благодаря чему его легко можно было передвигать куда угодно, и множество тому подобных мелочей.

Но самой удивительной и вместе с тем наименее приемлемой новинкой показался синьоре Карапузо крокодил. Не успели они присесть на софу, как, толкнув мордой дверь, выходившую в коридор, в гостиную вполз крокодил. В первое мгновенье синьора Карапузо хотела было указать хозяйке дома на этого гада. Но синьора Верзили сидела как раз против двери и не могла не заметить пресмыкающееся, тем более что, проковыляв шаг-другой, крокодил ткнулся поднятой мордой ей в колени. Из этого синьора Карапузо заключила, что крокодил — ручной, и, поскольку ей казалось неприличным обращать внимание хозяйки на то, что той угодно было не замечать, она промолчала и как ни в чем не бывало продолжала прихлебывать свой чай. Тем временем крокодил, все также тяжело переваливаясь с боку на бок, обогнул синьору Верзили и, опершись на хвост и задние лапы, встал за ее спиной. Вслед за этим синьора Карапузо уви-

дела, как синьора Верзили таким же ленивым и безразличным движением, каким, не прерывая беседы, подбирают брошенное на спинку кресла манто, протянула назад руки и помогла крокодилу прильнуть брюхом к ее спине и вцепиться всеми четырьмя лапами в ее плечи и бедра. Все это синьора Верзили проделала, поеживаясь от удовольствия и поводя плечами так, словно она укутывалась в мягкую и теплую шаль. Потом, видимо убедившись, что крокодил держится крепко и не сорвется с ее спины, она с любезной улыбкой спросила у гостьи, не налить ли ей еще чашечку чая.

Конечно, синьора Карапузо ждала всяких экстравагантностей от такой известной своей эксцентричностью дамы, как синьора Верзили, но крокодил намного превзошел ее ожидания. На минуту она, можно сказать, мысленно застыла с открытым ртом. Но вопрос синьоры Верзили привел ее в чувство, и синьора Карапузо устыдилась своего изумления, столь наивного и провинциального. Если синьора Верзили не моргнув глазом напяливает на себя живого крокодила, то с какой стати ей удивляться этому, словно последней деревенщине? Сильно покраснев, синьора Карапузо наклонилась вперед и поспешила ответить, что, конечно же, она с удовольствием выпьет еще чашечку такого чудесного чая. И чтобы скрыть свое смущение, она стала расхваливать чай, а затем спросила у синьоры Верзили, где та его купила и не могла бы она достать и ей такого же чая, хотя бы пачку.

Все остальное время, пока длился визит, крокодил уже больше не двигался, опираясь, как было сказано, на массивный хвост и вцепившись всеми четырьмя лапами в бедра и плечи синьоры Верзили. Его треугольная морда возвышалась над ее головой. Раза два синьора Верзили вставала, чтобы налить чай, и тогда с крокодилом за спиной она выглядела несколько странно, хотя бы потому, что это был очень крупный экземпляр: от кончика носа до хвоста в нем было никак не меньше трех метров, так что морда его почти касалась потолка, а хвост подметал пол за спиной синьоры Верзили. Однако неизменно величественная синьора Верзили непринужденно расхаживала по комнате с вцепившимся в ее полуобнаженную спину чудовищем, и казалось, что ей вовсе не тяжело.

Чем дальше, тем все больше синьора Карапузо приходила к мысли, что крокодил без сомнения является последним криком причудливой моды, о чем она, живя в домах стандартной застройки на окраине города, до сих пор и понятия не имела. В конце концов она пришла к выводу, что в подобном новшестве

много хорошего: хотя крокодил и тяжеловат, он несомненно очень идет высоким и крупным дамам вроде синьоры Верзили; кроме того, он прикрывает спину от ветра, а это уже немалое достоинство. Впрочем, разве не изготовляют туфли из крокодиловой кожи? А от кожи до живого крокодила всего один шаг. Вот только стоит он, верно, дороговато. Вспомнив цену на крокодиловую кожу, синьора Карапузо решила, что синьоре Верзили пришлось изрядно потратиться, чтобы заполучить такой огромный экземпляр. Нельзя также забывать, во что обходится его содержание. Всем известно, что крокодилы страшно прожорливы. Тяжело вздохнув, синьора Карапузо подумала, что на жалкое жалование своего мужа она не может себе позволить не то что крокодила, но даже большую ящерицу.

Обнаружив, что к чаю не подано лимона, синьора Верзили позвонила горничной. Цепляясь за остатки сомнений, гостья, затаив дыхание, ждала появления девушки. Ей хотелось посмотреть, как та воспримет крокодила. Но за спиной у горничной, ядреной фриуланки, крепкое упругое тело которой так и выпирало из узкого черного платья, висел, вцепившись в нее, свой крокодил. Синьоре Карапузо оставалось только смириться с очевидностью: это была, несомненно, последняя мода. Но все-таки она не могла не подумать, что на этот раз синьора Верзили хватила через край: позволять служанке носить те же самые украшения, что в госпожа, — это уже фанфаронство, и притом дурного тона.

Крокодил горничной был гораздо меньше крокодила синьоры Верзили; он был такой маленький, что его можно было увидеть, только когда она поворачивалась спиной. Крокодил ее был немного длиннее огромной ящерицы, но значительно шире и толще. Не крокодил, а, можно сказать, крокодильчик. Он, как бы ласкаясь, вцепился в гибкую талию девушки, чешуйчатый хвост его свисал между ее ягодиц, остренькой мордой он уткнулся в пучок на ее затылке. Может быть, это уже поношенный крокодил, подумала синьора Карапузо: хозяйка поносила его немного, потом он ей надоел, и она подарила его служанке. Однако размеры крокодила, как раз под стать маленькому и кокетливому переднику, топорщившемуся на пышных бедрах фриуланки, заставляли скорее предположить, что синьора Верзили специально купила его для своей горничной. «Барское транжирство», — подумала синьора Карапузо не без зависти.

Когда горничная ушла, синьора Верзили принялась ее расхваливать. Но синьора Карапузо пожелала дать синьоре Верзили понять, насколько она не одобряет ее чрезмерной и губи-

тельной снисходительности (взять хотя бы этот случаи с кроко¬дилом), и заметила, что следует остерегаться слишком потакать прислуге, не то та начнет много о себе воображать и в конце концов сядет вам на шею. Особенно, закончила синьора Карапузо, не годится баловать прислугу подарками. На это синьора Верзили возразила, что относится к прислуге как к членам своей семьи и что такова уж ее система.

Синьора Карапузо не надеялась, конечно, что сможет когда-нибудь купить себе крокодила, особенно таких размеров, как у синьоры Верзили. Тем не менее она захотела рассмотреть его получше, чтобы потом иметь возможность рассказать о нем своему мужу и приятельницам. Крокодил стоял неподвижно, задрав к потолку огромную треугольную морду, словно собираясь исторгнуть из своей слюнявой пасти звуки торжественного гимна. Его белая и чуть подрагивающая глотка создавала светло-сероватый фон для волос синьоры Верзили, и нельзя не признать, что это было красиво. Зато, вероятно, весьма обременительным было давление лап, которыми крокодил вцепился в плечи и бедра синьоры Верзили. Было видно, как острые когти его лягушачьих лап врезаются в нежное и пышное женское тело. Из-за этого на темно-красном бархате платья образовались складки и вздутия, выглядевшие отнюдь не изящно. Одежда от этого, несомненно, портится, не говоря уж о синяках от когтей, подумала синьора Карапузо. Но она тут же вспомнила, что многие десятилетия дамы носили корсеты из китового уса, чрезвычайно тесные и вредные для здоровья; что поделаешь, ради моды можно примириться с некоторыми неудобствами! Зеленый с черной рябью хвост, щетинившийся остроконечными чешуйками, выглядел весьма эффектно: массивный и треугольный, он легко касался земли и извивался, словно змея. Преимущества этой новой моды особенно были заметны, когда синьора Верзили передвигалась по гостиной. С крокодилом за плечами, крутой и бронированный хребет которого удваивал, даже более чем удваивал ее объемы, синьора Верзили походила на дракона, и сама собой возникала линия очень современная и в то же время исполненная причудливой и прихотливой фантазии. Проницательная синьора Карапузо осведомилась, не была ли синьора Верзили недавно в Париже, и, услышав в ответ, что она только что оттуда вернулась, окончательно уверовала в то, что столь необычное и, в сущности, очень дерзкое нововведение завезено из Франции. Ну, конечно же, подумала синьора Карапузо, не сумев подавить в себе чувства зависти, всем известно, что в Париже что ни день придумывают что-нибудь этакое; не так

уж трудно не отставать от моды, когда имеешь возможность то и дело ездить во французскую столицу.

Синьоре Карапузо страшно хотелось узнать, как устраивается синьора Верзили, когда ей приходится выходить из дома. Подобно некоторым высоким, точно башни, прическам, крокодил, должно быть, является немалой помехой в автобусе, в трамвае и вообще в местах, где скапливается много народа. Правда, у синьоры Верзили имелась машина, а владельцы машин могут позволить себе многое, недоступное беднякам, вынужденным передвигаться пешком. Но даже для людей, имеющих машину, крокодил является все-таки модой довольно обременительной. Для того чтобы носить крокодила, надо либо все время стоять, либо сидеть на сиденье без спинки, чтобы животное могло вцепиться в вас хорошенько и свободно опустить хвост на землю. А как быть в автомобиле? Может быть, синьора Верзили садится на крокодила и подсовывает под ноги его большой хвост? Но не задыхается ли тогда крокодил? В конце концов синьора Карапузо решила, что либо синьора Верзили носит крокодила только дома, либо же всучает его шоферу и забирает назад, когда выходит из машины. Впрочем, подумала синьора Карапузо, никому же ведь не приходит в голову ездить в трамвае в вечернем платье со шлейфом, диадемой и декольте. По-видимому, крокодила надевают только по вечерам и в особо торжественных случаях, отправляясь в оперу или на бал. Нельзя отрицать, однако, что даже днем — в саду или же в манеже — крокодил, но только меньших размеров, вроде того, что был у горничной, свободно сидящий на английском костюме цвета опавших листьев, выглядел бы весьма элегантно.

Обо всем этом синьора Карапузо размышляла про себя, не открывая своих мыслей синьоре Верзили: она понимала, что они еще недостаточно близки, чтобы беседовать о такого рода предметах. Но синьора Карапузо дала себе слово полностью удовлетворить свое любопытство, как только они подружатся. И кто знает, может быть, синьора Верзили — а она, кажется, женщина щедрая — достанет ей у своего поставщика по дешевке какого-нибудь крокодила, пусть даже немного поношенного.

Единственным существенным недостатком новой моды показалось синьоре Карапузо то, что крокодил, не переставая впиваться в синьору Верзили своими когтями, то и дело широко разевал огромную зубастую пасть и резко захлопывал ее с неприятным лязгом. При этом синьора Верзили всякий раз вздрагивала, как при землетрясении. Вероятно, крокодил проголодался, подумала синьора Карапузо, а может, он просто зевает от

скуки. Недостаток этот, впрочем, было бы нетрудно исправить. Достаточно надеть на крокодила намордник вроде тех, что надевают на собак. Правда, красота крокодила при этом, конечно, пострадает.

Прошел чуть ли не час. Синьора Карапузо, всегда уверявшая, что знакома с правилами хорошего тона, встала и принялась прощаться. Ей хотелось бы получить у синьоры Верзили кое-какие сведения о крокодиле, но она не решалась ее расспрашивать. Величественно, по-прежнему волоча на себе огромное пресмыкающееся, хвост которого свисал на пол на добрых полметра, синьора Верзили прошествовала впереди своей гостьи по коридору, ведущему в прихожую. Оказавшись в коридоре, синьора Карапузо не устояла перед вполне простительным искушением и, подавшись вперед, погладила спину чудовища. Она надеялась проделать это незаметно, но, споткнувшись о проклятый хвост, уткнулась носом прямо в чешую и едва не задохнулась от источаемого ею едкого болотного зловония.

— Осторожно, — не оборачиваясь предупредила синьора Верзили, — в этом коридоре довольно темно.

Они попрощались в прихожей. Горничная, со своим крокодилом за спиной, открыла входную дверь. Синьора Верзили не пригласила синьору Карапузо навестить ее в ближайшее время. Синьора Карапузо не могла не приписать подобную холодность скудости своего гардероба. «Только бы муж получил повышение, — подумала она, направляясь к автобусной остановке, — а уж тогда я тоже обзаведусь хорошеньким крокодильчиком... И тогда посмотрим еще, дорогая моя синьора Верзили...»

СОДЕРЖАНИЕ

Р. ХЛОДОВСКИЙ. РЕАЛИЗМ И АНТИФАШИЗМ АЛЬБЕРТО МОРАВИА 5

РИМЛЯНКА. *ПЕРЕВОД Т. БЛАНТЕР* 20

ПРЕЗРЕНИЕ. *ПЕРЕВОД Г. БОГЕМСКОГО И Р. ХЛОДОВСКОГО* 370

ЗИМА БОЛЬНОГО. *ПЕРЕВОД С. ОШЕРОВА* 547

ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ТЕННИС-КЛУБЕ. *ПЕРЕВОД С. ОШЕРОВА* 578

АНГЛИЙСКИЙ ОФИЦЕР. *ПЕРЕВОД Р. ХЛОДОВСКОГО* 590

КРОКОДИЛ. *ПЕРЕВОД Р. ХЛОДОВСКОГО* 606

Моравиа, Альберто. Избранное

В однотомник одного из крупнейших итальянских писателей включены романы «Римлянка», «Презрение» и рассказы. Произведения писателя проникнуты антифашистским и гуманистическим духом, пафосом неприятия буржуазной действительности, ее морали, ее идеалов.

Альберто Моравиа

Римлянка

Презрение

Рассказы

Составитель *Георгий Дмитриевич Богемский*

ИБ № 3526

Редакторы *Бабун Е. И., Заславская И. М.*
Иллюстрации *Сапожникова А. В.*
Художественный редактор *Купцов А. П.*
Технические редакторы *Касаткина Н. И., Гоц Е. В.* Корректор *Понкратова Е. Н.*

Сдано в набор 31.03.77. Подписано в печать 26.01.73. Формат 60X84 1/16 Бумага типографская № 1. Обыкновенная гарнитура. Высокая печать. Условн. печ. л. 36,27. Уч.-изд. л. 37,23. Тираж. 150000 экз. Зак. № 1037. Цена 4 р. 10 к. Изд. № 24214

Издательство «Прогресс»
Государственного комитета
Совета Министров СССР по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли.
Москва, 119021, Зубовский бульвар, 21

Отпечатано в ордена Трудового Красного Знамени Ленинградской типографии № 2 имени Евгении Соколовой Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 198052, Ленинград, Л-52, Измайловский проспект, 29 с матриц ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени Первой Образцовой типографии имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, М-54, Валовая, 28

мастера современной прозы

АЛЬБЕРТО МОРАВИА